

Ханс Фаллада

МАЛЕНЬКИЙ
ЧЕЛОВЕК,
ЧТО ЖЕ
ДАЛЬШЕ ?

■

У НАС
ДОМА
В ДАЛЁКИЕ
ВРЕМЕНА



Ханс Фаллада

МАЛЕНЬКИЙ
ЧЕЛОВЕК,
ЧТО ЖЕ
ДАЛЬШЕ ?



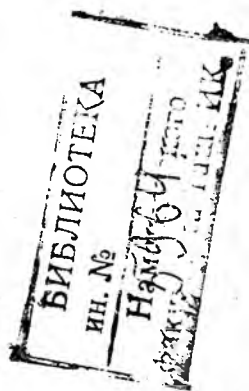
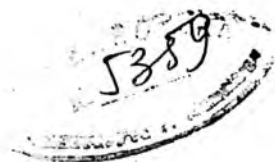
У НАС
ДОМА
В ДАЛЕКИЕ
ВРЕМЕНА

БИБЛИОТЕКА
№ 2797
ФАЛЛАДА ХАНС

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
1983

Перевод с немецкого

Вступительная статья
Б. Сучкова



Фаллада Ханс

Ф 19 Маленький человек, что же дальше? У нас дома в далекие времена; Пер. с нем./ Вступ. ст. Б. Сучкова.— М.: Правда, 1983.— 656 с.

В романе известного немецкого писателя Х. Фаллады (1893—1947) «Маленький человек, что же дальше?» показана трагедия мелкого служащего, деклассированного и морально раздавленного безработицей.

Повесть «У нас дома в далекие времена» посвящена юности писателя.

Ф 4703000000—611
080(02)—83 611—83

84.4 Г

ПИСАТЕЛЬ И ЕГО ГЕРОИ¹

Судьба даровала Хансу Фалладе (1893—1947) пронизательность истинного художника и способность удивительно естественно воспроизводить течение будничной жизни обыкновенных людей — излюбленных героев его романов. Он умел ясно видеть и не менее ясно обнаруживать драматизм бытия, скрытый за каждодневными трудами и заботами, обременяющими существование его героев, и внешняя простота, кажущаяся безыскусственность его повествования лишь приумножали впечатляющую силу, с какой изображал он зияющие конфликты живой истории. Его романы были рождены тревожным, изменчивым временем и несли в себе тревоги и горести этого времени. Терпка и щмяща печаль, пронизывающая лучшие его произведения. Сумрачные, правдивые и суровые, они заняли выдающееся место в критическом реализме нашего века.

С редкостной пластичностью воспроизводил Фаллада среду, быт и обстановку, в которой жили и действовали его герои. Но его нельзя отнести к числу бытописателей, каких немало в искусстве, — его талант несравненно значительнее: Фаллада был художником-аналитиком, которого интересовало и увлекало исследование взаимоотношений человека и истории, личности и общества. Его герои чрезвычайно чутко и самым непосредственным образом отражали в своей психике глубинные колебания общественного бытия, нарастания социальных бедствий, ломавших их жизни и сокрушавших свойственные им иллюзии.

Наблюдательный психолог, Фаллада сосредоточенно и вдумчиво изображал внешне неприметные изменения, происходившие

¹ Вступительная статья дается по книгам: Б. Сучков. Предисловие к роману: Г. Фаллада. «Маленький человек, что же дальше?» «Художественная литература», М., 1966, стр. 5—15; Б. Сучков. Лики времени. «Художественная литература», М., 1969, стр. 153—240.

в сознании его героев. Он подвергал многостороннему исследованию внутренний строй человеческой души, но в отличие от писателей, сделавших своим исповеданием веры самодовлеющий психологизм и считавших внутренние человеческие переживания феноменом, не зависящим от внешних условий, Фаллада рассматривал внутренний мир человека в органическом единстве с миром внешним. Поэтому его герои были не только чувствительными мембранами, ловящими гул времени, но и той силой, которая входила составной частью в поток истории, в общественную борьбу двадцатых и тридцатых годов нашего века.

Ему удалось уловить и запечатлеть многие существенные особенности исторического времени, роковыми рубежами которого стали две мировые войны. Неповторимые черты жизни немецкого общества этой поры, схваченные в их становлении, зарождении, движении чутким к общественным переменам художником, вставали в его романах в их свеобразии, разительной остроте. Они определяли и формировали умонастроения и поступки многочисленных героев Фаллады, создавшего обширнейшую галерею типов и характеров, выпестованных и выкованных этим неустойчивым, кровавым временем и несших в своих душах его непримиримые конфликты.

Долго, очень долго Фалладе казалось, что нет возможности разорвать тенета, опутывающие человека, и освободить его от гнета повседневной нужды, от унижений и забитости, на которые обрекают его тяжкие условия общественного существования. Смысл и цель человеческой жизни он искал в тех светлых радостях, которые приносит людям любовь, и видел в ней главную объективную силу, способную разрушить отъединенность людей друг от друга, их взаимную вражду, силу, способную вдохнуть надежду в сердца тех, кто изнемог в непрестанной борьбе с превратностями жизни и брошен на самое ее дно.

Настоящие произведения искусства долговечны. Роман «Маленький человек, что же дальше?» — лучшее произведение Ханса Фаллады, — бесспорно, выдержал испытание временем. Написанный в 1932 году, он сразу же завоевал широкое признание: его перевели на многие языки и дважды экранизировали. Ныне, как и прежде, он продолжает волновать читателя и вызывать чувство жалости и сострадания к своим героям — заурядным, ничем не примечательным маленьким людям, затерявшимся в катакомбах капиталистической цивилизации.

Пожалуй, никто так глубоко не проникал в душу маленьких людей, как Фаллада, никто столь бережно и любовно не изображал их повседневные радости и невзгоды. Фаллада хорошо знал среду, которую описывал: он сам был выходцем из этой среды.

Сын судейского чиновника, Рудольф Дитцен, прославившийся впоследствии под именем Ханса Фаллады, прожил большую часть своей трудной жизни так же, как жили его герои. Рано испытал он лишения, безработицу, необеспеченность. Ему не удалось получить законченного образования — нужда и забота о куске хлеба бросали его из стороны в сторону, заставляя часто менять профессию. Он работал ночным сторожем, побывал и в тюрьме, торговал зерном, служил в адресном бюро, редактировал захудалую провинциальную газету и, наконец, стал знаменитым писателем. Свой огромный жизненный опыт, знание людей, знание быта и нравов низов буржуазного общества Фаллада вложил в роман «Маленький человек, что же дальше?», выдвинувший его в первые ряды немецких прозаиков первой трети нашего века.

Ко времени написания романа Фаллада не был новичком в литературе. Ранние его произведения — романы «Юный Годашаль», «Антон и Герда», созданные еще в начале двадцатых годов, не принесли ему успеха, но обнаружили, что как писатель он тяготеет к реализму, к исследованию и изображению острых и важных общественных конфликтов. Следующий его роман «Крестьяне, бонзы и бомбы» (1930), положивший настоящее начало его творческой деятельности, был построен на животрепещуще-конфликтном материале — в нем описывались события крестьянского мятежа, вспыхнувшего в 1929 году в провинции Гольштейн. Восставших крестьян, отказавшихся платить непосильные налоги, Фаллада рисовал твердыми и по-своему честными людьми. Описывая их борьбу с буржуазным обществом, он оставлял в стороне вопрос о политических целях мятежа и его классовом характере — особенность, ставшая типичной для творчества Фаллады. Он видел перед собой лишь несчастных, затравленных людей и показывал, как тяжела и запутанна жизнь; не зная, как распутать ее противоречия, он возлагал все надежды на добро, заложенное природой в человеке, которое дает ему возможность вынести и претерпеть все невзгоды и иногда согревает его сердце недолгим счастьем. Роману не хватало ясности социальных оценок происходящего, но собранные в нем жизненные наблюдения писателя подтверждали, что добропорядочных граждан Веймарской республики братья за оружие заставляли сами условия их существования, сложившаяся в стране политическая и экономическая обстановка.

Несравненно сильнее социальная критика буржуазного общества прозвучала в романе «Маленький человек, что же дальше?». Нигде раньше и нигде позже Фаллада не изображал с такой силой враждебность буржуазного общества человеку, его естественным жизненным запросам и потребностям, как в этом романе.

Иоганнес Пиннеберг и его возлюбленная Эмма, два здоровых молодых человека, не могут оградить себя в том обществе, в котором они живут, от нужды и нищеты. Вдвоем ведут они жестокую, изнурительную борьбу против недоброго мира за нормальные и простые человеческие права — трудиться, любить, иметь семью. Затерявшись в людском потоке, среди тускло освещенных, пропахших кухонным чадом улиц бедных берлинских кварталов, в трущобах пригорода, бесправные, униженные, они тщетно лелеют надежду на то, что им удастся отстоять свое маленькое счастье перед натиском страшных сил — безработицы и нищеты. Но им не выстоять в жизни.

Для Пиннеберга, со дня его женитьбы, жизнь превращается в сплетение страхов, оскорблений, безнадежности и отчаянной битвы за существование. Ему на простых фактах раскрывается простая истина: в собственническом мире идет непрестанная взаимостребляющая борьба между людьми, в которой каждый борется сам за себя и — против всех. Даже собственную женитьбу Пиннеберг должен скрывать, ибо рискует потерять место у хозяина, который хочет сплавить перезрелую дочку за кого-нибудь из своих приказчиков. Выбор его падает на Пиннеберга. Приказчики, поклявшиеся поддержать Пиннеберга в мужественном сопротивлении, — ибо и на них могла распространиться хозяйская «милость», — немедленно предают его, спасая собственную шкуру и пуще всего боясь потерять место, и неизбежное свершается. Первая ледяная волна омывает Пиннебергов: они оказались на улице. У них еще есть надежда — предали товарищи, но остались родственники. Но и здесь их постигает разочарование: мать Пиннеберга, дама весьма легкомысленная, добывающая себе средства на жизнь из крайне сомнительных источников, строит свои отношения с сыном и его женой на голом расчете, который, подобно едкой кислоте, вытраивает все родственные чувства. По протекции Яхмана — любовника фрау Пиннеберг — новоявленный глава семейства становится продавцом крупного магазина готового платья, человеком, казалось бы, имеющим приличное общественное положение и способным просодержать себя и собственную семью. Но страх перед жизнью и будущим, цепко сдавивший душу Пиннеберга, не отпускает его. Как неотвратимое несчастье, своего рода фатум подстерегает его на каждом шагу опасность оказаться безработным. Эпизоды, посвященные описанию деятельности Пиннеберга на поприще торговли готовым платьем, принадлежат к наиболее значительным в романе. В них писатель раскрывает механику капиталистической эксплуатации и воздействия на сознание человека такого обычного для капитализма явления, как безработица.

Пиннеберг — существо бесправное, он зависит целиком и полностью от воли предпринимателя, власть которого над душой и телом служащих представляется ему безграничной. Но и предприниматель всего-навсего участник конкурентной борьбы, охватывающей сверху донизу все общество, все его звенья. Чтобы уцелеть самому, он выжимает все соки из своих служащих. Администрация магазина ставит продавцов в конкурентные отношения между собой, и в магазине воцаряется атмосфера безудержной слежки: коллеги Пиннеберга начинают шпионить друг за другом. Они ненавидят друг друга, у них начисто атрофируется чувство взаимопомощи. Липкий, неотвязный страх преследует Пиннеберга; мысль о безработице неотвратимо возвращается к нему, окончательно истребляя в нем чувство уверенности в своих силах и озлобляя его. Как выясняется, эти ощущения далеко не чужды и старшим служащим магазина — его администраторам, которые, послушно и покорно выполняя волю своих работодателей, сами трясутся за собственную шкуру. Для Пиннеберга принимающий его на службу начальник отдела личного состава магазина Леман кажется всесильным существом, восседающим на вершине общественного благополучия, своего рода символом прочности и незыблемости, но с появлением в магазине «организатора» Шпанфуса, ведающего вопросами экономии и рационализации, Леман становится жертвой интриг нового сослуживца, вдохновленного жгучим желанием истребить конкурента. Нет ничего прочного и устойчивого в мире — личность человека, да и самая его жизнь не стоят ничего, и человек вынужден тратить весь запас имеющихся у него сил лишь на то, чтобы как-то удержаться на краю бездны, куда его толкает свирепая толпа ожесточенных собственническим обществом людей. Самый уклад жизни капиталистического общества, условия каждодневной борьбы за кусок хлеба безжалостно угнетают человека, лишая его не только простых радостей бытия, возможностей духовного развития, но и мешают ему отчетливее осознать свое положение, иссушая его ум и душу примитивными заботами о хлебе насущном, изгоняя из отношений между людьми чувство братства. И сам Пиннеберг, почувствовав себя на мгновение хозяином положения, начинает куражиться над ближним своим, стараясь унижить его. Так поступает он с продавцом мебельного магазина, у которого покупает туалет, приглянувшийся беременной Эмме. Трагизм и горечь этой сцены романа заключаются в том, что для Пиннеберга покупка, которую он безрассудно совершает, непосильна, ибо пробивает незаполнимую брешь в его тощем бюджете. И сознание собственной несостоятельности застав-

ляет Пиннеберга — человека, в общем, добродушного — измываться над пожилым продавцом, чьи повседневные тревоги ему известны лучше, чем кому-либо иному.

Просветом для него была дружба с Гейльбутом, единственным порядочным человеком среди скопища сослуживцев. Пиннеберг — в душе немного ханжа и строгий блюститель неколебимых норм буржуазной морали — прощает Гейльбуту его странности, в частности членство в обществе «Культура нагого тела», — подобные объединения действительно существовали в те годы в Германии и отнюдь не являются плодом фантазии писателя, — ради дружбы, которая давала ему некоторую опору в жизни и немного скрадывала его одиночество. Пиннебергу импонирует самостоятельность и независимость Гейльбута, но Гейльбут может позволить себе немного самостоятельности — он одинок и у него водятся деньги, чего не скажешь о Пиннеберге, бюджет которого становится все ограниченнее и ограниченнее. Но и Гейльбут не устоял в атмосфере повального доноительства, царившей на службе у обоих приятелей. Обвиненный в нарушении нравственности, он увольняется из магазина, и Иоганнес Пиннеберг остается наедине со своей судьбой.

Восбще образ Гейльбута, как и образ Яхмана, человека без определенных занятий, находящегося в некотором разладе с законом, играет в романе немаловажную роль. Оба персонажа выступают своего рода эпизодическими ангелами-хранителями Пиннебергов, выручая их из беды в минуту жизни трудную. Но этим их роль не ограничивается. Для Фаллады они, кроме всего прочего, являются носителями того бескорыстного добра, которое дремлет в человеке и иногда прорывается наружу из недр душевных. Добро лежит в основании жалости и сострадания — этих естественных человеческих чувств, полное отсутствие которых сделало бы жизнь невыносимой. И Гейльбут и Яхман отнюдь не являются рыцарями без страха и упрека, но даже их остывшие в борьбе с жизнью души порой способны открыться любви к ближнему.

Писатель знает, что в том мире, где живет Пиннеберг, добро так же редко, как влага в раскаленной солнцем пустыне. Эту истину хорошо усваивает и его герой. Общество и государство равнодушны к бедствующим сынам своим. Так называемые организации трудящихся — профсоюзы, с их больничными кассами и пособиями по безработице, с их бюро по трудоустройству — сами превратились в отрасль крупного предпринимательства, и, обращаясь к ним за помощью, Пиннеберг сталкивается не только

с чиновничьей волокитой, но и с прямым равнодушием. Для профсоюзных деятелей Пиннеберг обуза: он ценен лишь как аккуратный плательщик членских взносов. Если же он требует поддержки, то к нему относятся с холодной недоброжелательностью. Это Пиннеберг неоднократно испытывал на собственной шкуре. Германский Союз служащих, членом которого он является, ни разу не встал на защиту его непосредственных жизненных интересов. Более того, чиновник Союза, господин Фридрихс, покаторевший в искусстве ведения казенных бесед с алчущими службы безработными, доказывает Пиннебергу невозможность устроить его дела и на вопль о помощи отвечает лишь брезгливо-лицемерным выражением сочувствия и обещаниями столь же туманными, как и будущее Пиннеберга. И когда Пиннеберг окончательно становится завсегдатаем биржи труда, Союз и не помышляет о том, чтобы вывести его из бедственного состояния. Для профсоюзных бонз важнее всего классовый мир, и они пытаются сохранить его всеми средствами.

Имущие классы хорошо знают, что миллионы людей страдают и терпят лишения; их страдания и лишения даже становятся материалом для щекочущих нервы киноевников, подобных тому пробуждающему сентиментальное, неубыточное сочувствие к беднякам фильму, который взволновал супругов Пиннеберг, увидевших в нем некое подобие собственной скудной жизни. Пиннебергу невдомек, что имущие классы добро и любовь к ближнему сделали тоже своего рода бизнесом. И когда он в простоте душевной обращается за помощью к господину Шлютеру — удачливому киноактеру, сыгравшему заглавную роль в столь понравившемся супругам боевике, то становится жертвой открытой враждебности. И Пиннеберга захлестывает и уносит с собой вторая ледяная волна: Шлютер жалуется на него администрации, и маленький человек становится безработным и оказывается на улице, среди миллионов людей, не имеющих средств к существованию. Наступил крах — глава семейства, Эмма и их малыш выброшены обществом за борт. Им не остается ничего иного, как медленно погибать. Теряя последние силы, Пиннеберг и Эмма подходят к тому рубежу, за которым начинается полная безнадежность, и вопрос писателя, заданный им своему герою — а что же дальше? — приобретает трагическую определенность. И в часы испытания силы и воли супругов обнаруживаются очень существенные различия между Иоганнесом Пиннебергом и его Эммой, различия отнюдь не психологического свойства.

В образе Пиннеберга Ханс Фаллада создал тип мелкого буржуа, «пролетария в крахмальном воротничке», обремененного грузом предубеждений, воспитанных мещанской средой, в которой

он вырос и продолжает жить. Бедняк, он презирает бедняков, раб капитализма, он не помышляет о том, чтобы сбросить с себя его ярмо. Он обладает известными положительными качествами — добротой, честностью, добропорядочностью, он нежный супруг и отец, самоотверженно любящий свою семью, своего ребенка. Но это, пожалуй, и все. Одновременно он одиночка и по складу мышления индивидуалист. Главная мечта его жизни — выбиться в люди, обрести достаток. Если бы он достиг всего этого, ему бы больше ничего и не потребовалось.

Иное дело Эмма. Выросшая в рабочей семье — что сознательно подчеркнуто писателем, — она на голову выше, сильнее, решительнее и цельнее своего супруга. Она обладает не только высокими нравственными достоинствами, но и стойкой верой в жизнь. Эти душевные качества воспитаны и привиты ей рабочей средой, в которой прошли детство и юность Эммы. Фаллада весьма недвусмысленно сопоставляет семью Пиннеберга с семьей Эммы Мершель. Если Миа Пиннеберг — матушка героя романа — просто расчетливая эгонстичная мещанка, напичканная предрассудками, совершенно равнодушно относящаяся и к сыну и к его жене, то мать Эммы Мершель, работница и жена рабочего, несмотря на грубоватую резкость обращения, полна нежности и любви и к дочери и к ее жениху. Ей некогда заниматься сантиментами, но привить дочери понятия нравственности она сумела и сумела научить ее отличать добро от зла, хорошее от плохого. Она глубоко убеждена в том, что люди в большинстве своем плохи не сами по себе, а потому, что их заставляют, вынуждают быть плохими. Она сочувствует коммунистам, и даже Иоганнес Пиннеберг понимает, что ей место в КПГ. Она и сама не скрывает своих убеждений и готова голосовать за коммунистов. Но ее более высокая политическая сознательность не оказала на Пиннеберга влияние. Он старается сохранить нейтральность в общественной борьбе и целиком погружен в непосредственные бытовые заботы, которые обступают его со всех сторон и ломают его жизнь.

Фаллада любит свою героиню, любит ее за сильный характер и свойственный ей — истой дочери народа — прирожденный оптимизм. Бережно и проникновенно изображает он ее внутренний мир — ее милые и трогательные капризы, бесхитростные и безобидные, ее маленькие желания, пробуждение в ней чувства собственного достоинства, присущего супруге и хозяйке дома, и пробуждение в ней в часы испытаний могучей жизнестойкости и душевной крепости, когда она защищает своего мужа и ребенка.

Лишь ее упорная воля поддерживает в Пиннеберге жалкие остатки достоинства и веру в то, что еще не все погибло и впереди, может быть, мелькнет свет надежды. И в страшную минуту жизни Пиннеберга, когда он, избитый полицейскими, бежал по мостовой и, затаившись у жалкой трущобы, где они жили, не решался показаться на глаза любимой женщине, — столь унижено и осквернено было в нем человеческое достоинство, — Эмма самоотверженно, с великой целительной мощью любви утешила его и укрепила его слабеющие душевные силы. Но ее любовь бессильна помочь Пиннебергу разрешить коренной для него вопрос: что делать дальше, как выбраться из тупика, куда его загнала жизнь.

С неотразимой художественной убедительностью изобразил Фаллада самый процесс падения своего героя на дно жизни, но гораздо менее отчетливо были им раскрыты исторически конкретные политические причины, обуславливающие этот процесс. По существу, Фаллада притушил важнейшую внутреннюю тему романа, закономерно возникавшую из обобщенного в нем жизненного материала. Иоганнес Пиннеберг не только жертва несправедливого общественного устройства. Он самой историей поставлен перед необходимостью сделать политический выбор, принять решение, за какими общественными силами ему пойти, за какие идеи бороться. Реальные Пиннеберги не были столь далеки от политики, как считал писатель. Она непрерывно и настойчиво, каждодневно сама вторгалась в их жизнь. Драма Пиннеберга разыгрывалась в совершенно конкретных исторических условиях, в канун прихода Гитлера к власти, в обстановке необычайно обострившейся классовой борьбы, в период жестокого кризиса капиталистического общества. Время, о котором повествовал писатель, было переломным для исторических судеб немецкого народа, и вопрос — а что же дальше? — имел вполне определенный политический, а не отвлеченно гуманистический смысл. Поддерживаемый крупной буржуазией, немецкий фашизм ломал остатки буржуазно-демократического режима, готовясь к полному захвату власти в стране. Передовая часть немецкого пролетариата во главе с коммунистами вела самоотверженную борьбу с реакцией, перед которой капитулировала германская социал-демократия, окончательно ставшая на путь предательства интересов рабочего класса. Фаллада уклонился от изображения политической борьбы, раздиравшей Германию в те годы. Правда, он мельком упоминает, что в семье Эммы идет разлад между ее отцом и братом. Один из них социал-демократ, другой — коммунист. Оба они беспрерывно спорят друг с другом, не сходясь в убеждениях, но это чисто семейная распря, частная бытовая деталь. Образы этих представителей противобор-

ствовавших партий эпизодичны, как эпизодичен и образ фашиста — одного из сослуживцев Пиннеберга. О нем известно только, что он участвует где-то в потасовках, организованных нацистами, и возвращается из этих походов разукрашенный синяками и кровоподтеками. А ведь от исхода борьбы этих партий и стоящих за ними социальных сил прямо и непосредственно зависела и судьба Пиннеберга.

Писатель горячо и искренне сочувствовал своим героям и всем содержанием романа обвинял капиталистический строй в бесчеловечности. Однако он выступал как мелкобуржуазный критик капитализма, не очень высоко поднимавшийся над уровнем политического сознания своих героев. Разумеется, Фалладу нельзя ни в какой мере отождествлять с его героями. Но его роман — при реалистической точности описаний бытового фона и психологической правде характеров — отличается исполнотой охвата событий живой истории.

Пиннеберга в дни его несчастий не оставляло чувство ненависти против несправедливости жизни, против существующего порядка вещей. Этот гнев естествен для миллионов пиннебергов, угнетаемых капитализмом. Однако мелкий буржуа, несмотря на свойственное ему анархическое бунтарство и ненависть к более обеспеченным классам, никогда не был и не является последовательным защитником идей социальной справедливости. Он демократ, но до известных пределов. Он жаждет свободы, но такой, которая не ущемляла бы его частных интересов, отнюдь не совпадающих с интересами эксплуатируемых капитализмом народных масс, ставящих перед собой задачу переустройства общества на социалистических началах. Хансу Фалладе не удалось раскрыть эту диалектику общественного сознания и общественного поведения своего героя, поэтому в романе не нашел отражения процесс фашизации мелкобуржуазных масс. А между тем мелкая буржуазия уже делала свой роковой выбор: сынки лавочников натягивали на себя коричневые рубахи и горланили погромные песни на улицах германских городов. Пиннеберги втягивались в зловещую игру реакционных сил и поставляли из своей среды ландскнехтов фашизму: ослепленные его демагогией, они надеялись под знаменем свастики поправить свои пошатнувшиеся делишки. Замечательному по своим художественным качествам роману Фаллады не достало той ясности общественной мысли, которая дала бы писателю возможность провидеть ход исторических событий, определивший дальнейшую судьбу его героев. Он бросает их на распутье, наедине с мраком жизни. Но история очень быстро ответила на вопрос — что же дальше? Дальше была гитлеровская диктатура, пушки вместо масла, помпезные военные парады

в Берлине, ужасающий гестаповский террор в стране, удушение свободной мысли, угарное опьянение легкими военными победами в Западной Европе, газовые камеры и колючая проволока концлагерей, кровопролитные бои на Восточном фронте, военный разгром, национальная катастрофа. В том, что произошло с Германией за минувшее тридцатилетие, во многом повинны и так называемые «маленькие люди», позволившие нацизму увлечь себя на гибельный исторический путь.

О годах своей юности Фаллада рассказал в очаровательной и поэтичной книге, озаренной светом печального юмора, которую он написал в 1941 году, уходя от кошмаров и каждодневных ужасов развязанной гитлеровцами войны, от мрака повседневного существования третьей империи в мир собственного детства. Книгу он назвал многозначно — «У нас дома в далекие времена». И действительно, времена его детства и юности, пришедшиеся на канун первой мировой войны, были безмерно далеки от тех дней, когда Фаллада, одинокий и в своей стране и в собственном доме, заканчивал первую книгу воспоминаний.

Между его юностью и годами зрелости пролегла целая эпоха, помеченная социальными и духовными катастрофами и катаклизмами неслыханных ранее масштабов. Поражение Германии в войне со странами Антанты и союзными ей государствами; Великая Октябрьская революция; Версальский мир и крах Веймарского режима; приход гитлеровцев к власти и начало их конца — вот что пришлось увидеть и пережить Фалладе, человеку и писателю, как и множеству его героев.

Возвращаясь к своему детству, рассказывая о нем подробно и очень искренне, смешивая в повествовании «поэзию и правду», то есть художественный вымысел и подлинные факты, Фаллада создал живую и выразительную картину жизни немецких буржуа начала века, твердо веривших в незыблемость существующего порядка вещей, в несокрушимость ценных бумаг, в которые они вкладывали свои сбережения, в устойчивость империи и будущего, ради которого они экономили на еде и одежде, откладывая каждый пфенниг, возводя скопидомство в житейский принцип. «Тот, кто сам не испытал этого, вряд ли представит себе, с какой интенсивностью экономило поколение, жившее на рубеже минувшего и нынешнего столетий. И не из скупости, а из глубокого уважения к деньгам. Деньги были трудом — часто очень тяжелым, часто очень плохо оплачиваемым, а потому небрежное обращение с деньгами считалось грехом и заслуживало презрения», — писал Фаллада о поколении «отцов», с которым он вскоре придет в открытое столкновение.

В собственной семье Фаллада ощутил силу этого действовавшего в бюргерской среде принципа. Его отец, бывший намного старше своей покорной и послушной жены — матери Фаллады, — вносил в дом педантичную, не терпящую возражений расчетливость, которая причиняла подростку Фалладе немало разнообразных неприятностей. Положение отца требовало, чтобы его сын Ханс учился в привилегированной гимназии. Но родители послали своего сына на уроки в старых заплатанных штанишках, считая, что он обойдется и так. Фаллада сразу же стал объектом насмешек и издевательств со стороны богатых учеников, умело и изощренно отравлявших его жизнь. Разумеется, это была мелочь, но таких мелочей в детстве Фаллады было предостаточно, и постепенно между ним и родителями выростала стена взаимного непонимания и отчуждения. В тяжкие периоды юности Фаллады, да и потом родители предоставляли ему самому выбирать из жизненных лабиринтов, куда Фаллада попадал весьма часто из-за своего неуравновешенного, импульсивного характера, из-за своей огромной впечатлительности — свойства его художественной природы. Нельзя сказать, что родители не любили его, но они опасались тронуть свои сбережения и поэтому предоставляли сына его собственной судьбе. Была и другая причина, охлаждавшая сыновние чувства и отчуждавшая Фалладу от семьи, и коренилась она в ходовой буржуазной морали тех лет, ханжеской и лицемерной. Это было время сюртуков и бород, корсетов и длинных платьев, фланелевых панталон и набрюшников. Ходовая буржуазная мораль была строга: закрывая глаза на существование «прекрасных, но падших созданий», жизнь городских улиц, трущоб и окраин, она сурово осуждала стремление молодежи вырваться из-под власти ее омертвелых канонов и установить новые нравственные принципы, основанные на уважении к женщине и признании ее человеческих и гражданских прав. Этот конфликт между установлениями ходячей буржуазной морали и естественными человеческими чувствами преломился и в литературе — в пьесах Ведекинда, создавшего образ стихийно-демонической женщины Лулу, в романах Генриха Манна о герцогине Асси. Для молодежи того времени — и, разумеется, юного Рудольфа Дитцена — конфликт этот становился оправданным в переоценке тех ценностей, которыми жило старшее поколение, и нередко был исходным моментом общественного развития личности.

Очень рано стал он уходить от прозаичных и несколько черствых порядков родительского дома. Сначала в мир книг, открывавших ему врата искусства. Он нашел в шкафу у отца пачку забытых книг в дешевых изданиях, которые ему никто не разрешил бы читать, но он зачитывался ими тайно. «Эти

щники оказались для меня истинной сокровищницей! В одиннадцать или двенадцать лет я попал на Флобера и Золя, Доде и Мопассана! Эротическое я не понимал и лишь пробегал глазами. Но какой неожиданный мир открылся для меня! Я никогда не думал, что романы могут быть такими! Сцены из жизни, подлинной жизни, которые могли разыгрываться в любой момент, в любом уголке земли! Во всем, что я читал до сих пор, и читал с доверием, было что-то неправдоподобное, присущее скорее сказкам моего детства, чем самой жизни... Приключенческие истории никогда не утоляли ни моего сердца, ни разума! Но здесь, этот совершенно новый мир!.. Очевидно, я уже тогда почувствовал, что надо писать только так, чтобы все получалось правдоподобно! Эти книги я буквально проглатывал... Наверное, именно потому, что они так прочно «сидели» во мне, я постепенно сумел освободиться от них. Золя я сейчас не переносу, Доде кажется безвкусным. Флобером я люблю, однако всему нужному для меня я у него научился и больше не перечитываю, но каждый из этих писателей оставил во мне свой след.

А когда в «английском» ящике мне попался — «Остров сокровищ» Стивенсона! А когда открыл Чарльза Диккенса, — его «Коперфильда» я и сейчас читаю и перечитываю с прежним восторгом. Я мог бы исписать страницу за страницей этими воспоминаниями о книгах, которые я тогда открыл для себя и которые продолжают во мне жить! А потом — русские: «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы»!

Разумеется, в этом признании слышен голос зрелого Фаллады, рассматривающего и характеризующего истоки, питавшие его собственное творчество. Но факт остается фактом: от прозаичного существования в собственной буржуазно-ограниченной семье, от бессмысленной зубрежки латинских глаголов в гимназии, где Фаллада претерпевал постоянные издевательства и со стороны учеников и латиниста, зачислившего непоседливого гимназиста в разряд умственно отсталых и хронических второгодников, Фаллада прятался в мир искусства, фантазии, воображения.

Впоследствии, возвращаясь к прожитому и пережитому, Фаллада отмечал, что им всегда руководил огромный интерес к людям. Он называл себя «пожирателем людей» и говорил, что запоминал всех людей, встречавшихся на его пути, со всеми их повадками, манерой говорить, чувствовать, и был способен в любое время пустить в дело все, что хранилось в его памяти. Ничто так не интересовало Фалладу, как знание того, почему люди поступают так, как они поступают. Он подчеркивал, что интерес к людям был заложен в его натуре и поставлял ему материал для художественного творчества.

Фаллада был одним из немногих крупных немецких писателей, не покинувших своей родины после 1933 года. О том, что он испытал за время жизни в фашистской Германии, он необычайно искренне рассказал в двух страшных книгах, полных невыразимого отчаяния и тоски, вышедших уже посмертно, — в романах «Пьяница» и «Кошмар».

Но подлинным — достойным и бескомпромиссным — завершением его творческого и жизненного пути стала одна из самых замечательных книг немецкой литературы нашего времени — роман «Каждый умирает в одиночку», обвинительный акт против фашизма, книга, в которой явственно ощущается рождение новой надежды и веры в будущее.

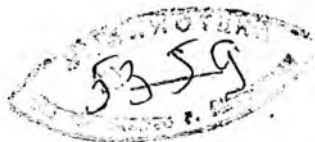
Б. Сучков



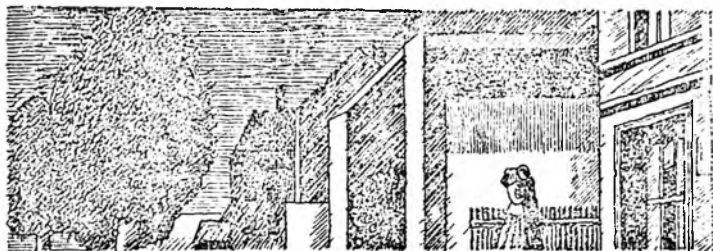
МАЛЕНЬКИЙ
ЧЕЛОВЕК,
ЧТО ЖЕ
ДАЛЬШЕ ?

Перевод
с немецкого
И. Татариновой
и В. Смирнова

5964







Пролог

БЕСПЕЧНЫЕ

Пиннеберг узнает что-то касающееся Киски
и принимает серьезное решение

Пять минут пятого. Пиннеберг это только что констатировал. Он — молодой блондин приятной наружности — стоит на Ротенбаумштрассе перед домом № 24 и ждет.

Итак, сейчас пять минут пятого, а они с Киской условились встретиться без четверти четыре. Пиннеберг спрятал часы и посмотрел на дощечку, прибитую к дверям дома № 24 на Ротенбаумштрассе. Он прочел:

Доктор Сезам
Женские болезни
Прием с 9 до 12 и с 4 до 6

«Так! А сейчас уже пять минут пятого. Не успею и закурить, как Киска появится из-за угла. Лучше не буду. Сегодняшний день и так уже дорого обойдется».

Он отвел взгляд от дощечки. На Ротенбаумштрассе всего один ряд домов: по ту сторону мостовой, по ту сторону газона, по ту сторону набережной течет Штрела; здесь, недалеко от впадения в Балтийское море, она уже широкая. С реки веет свежий ветерок, кусты колыхают ветками, деревья чуть шелестят.

«Вот так бы и нам пожить, — думает Пиннеберг, — уж, наверное, у этого Сезама семь комнат. Деньги, должно быть, загребают большие. За квартиру платит... пожалуй, марок двести? А то и триста? Э, да откуда мне знать? Десять минут пятого!»

Пиннеберг сунул руку в карман, достал сигарету и закурил.

Из-за угла выпорхнула Киска, на ней белая плиссированная юбочка, чесучовая блузка, она без шляпы, светлые волосы растрепаны.

— Здравствуй, мальчуган. Честное слово, раньше никак не могла. Сердишься?

— Нисколько. Только нам придется долго ждать. За то время, что я здесь торчу, вошло человек тридцать, не меньше.

— Ну не все же они к доктору. А потом мы ведь по записи.

— Теперь сама видишь, как правильно мы поступили, что записались?

— Конечно, правильно. Ты всегда прав! — А на лестнице она обеими ладонями сжимает его лицо и страстно целует. — Господи, как я счастлива, мальчуган, что мы опять вместе. Подумать только, ведь почти две недели!

— Да, Киска, — отвечает он. — Я уже не ворчу.

Дверь открывается, перед ними в полутемной передней белое привидение.

— Ваши больничные карточки! — грозно требует привидение.

— Дайте раньше войти, — говорит Пиннеберг и проталкивает вперед Киску. — А кроме того, мы частным образом. Я записан. Моя фамилия Пиннеберг.

При слове «частным образом» привидение подымает руку и включает свет.

— Доктор сейчас выйдет. Минутку придется обождать. Попрошу пройти сюда.

Они направляются к указанной двери и проходят мимо другой, полуоткрытой. Должно быть, это и есть приемная, и там, верно, сидят те тридцать человек, которых видел Пиннеберг. Все смотрят на них, подымается гул голосов:

— Где это видано!

— Мы уже давно ждем!

— Какого черта мы платим в больничную кассу?

— Подумаешь, господа какие!

Сестра подходит к двери.

— Успокойтесь, пожалуйста! Не мешайте доктору! Вы напрасно волнуетесь. Это зять доктора с женой. Верно ведь?

Пиннеберг польщенно улыбается. Киска спешит к указанной двери. На минуту воцаряется тишина.

— Побыстрее! — шепчет сестра и проталкивает Пиннеберга вперед.— Эти бесплатные пациенты такие грубые. Больничная касса за них гроши платит, а они бог знает что о себе воображают...

Дверь захлопнулась, Пиннеберг и Киска очутились в окружении красного плюша.

— Это, надо полагать, его гостиная,— замечает Пиннеберг.— Как тебе здесь нравится? По-моему, ужасно старомодно.

— Мне было страшно неприятно,— говорит Киска.— Ведь мы обычно тоже бесплатные пациенты. Вот и узнали, что у врачей про нас говорят.

— Чего ты расстраиваешься? — спрашивает он.— Это уж так полагается. С нами, людьми маленькими, не считаются.

— А меня это расстраивает...

Открывается дверь, входит другая сестра.

— Господин Пиннеберг с супругою? Доктор просит минутку подождать. А пока разрешите записать нужные данные.

— Будьте любезны,— говорит Пиннеберг.

И тотчас же следует вопрос:

— Возраст?

— Двадцать три года.

— Имя?

— Иоганнес.

И после минутной запинки:

— Бухгалтер.— А затем уже быстрее: — Ничем не болел. Обычные детские заболевания, и все. Насколько мне известно, мы оба здоровы.

Опять запинка:

— Да, мать еще жива. Нет, отца в живых нет. От чего умер, сказать не могу.

Затем очередь Киски:

— Двадцать два. Эмма.

Теперь замялась она:

— ...урожденная Мершель. Здорова. Родители живы. Здоровы.

— Одну минутку. Доктор сейчас освободится.

— К чему вся эта канитель,— проворчал Пиннеберг, когда дверь снова закрылась.— Мы ведь только...

— Не очень-то ты охотно сказал: бухгалтер.

— А ты споткнулась на — урожденная Мершель! — Он засмеялся. — Эмма Пиннеберг, по прозвищу Киска, урожденная Мершель. Эмма Пинне...

— Хватит! О господи, мальчуган, мне опять нужно. Как ты думаешь, где здесь?..

— Вечно с тобой такая история!.. Надо было раньше думать...

— Я и подумала, родненький. Честное слово. Еще на Базарной площади. Целый грош отдала. Но когда я волнуюсь...

— Слушай, Киска, потерпи немного. Если ты правда только что...

— Не могу, мальчуган...

— Прошу, — раздался чей-то голос. В дверях стоял доктор Сезам, знаменитый доктор Сезам, об отзывчивости, больше того, о добром сердце которого шепчутся не только в городе, но даже чуть ли не по всей округе. Во всяком случае, он выпустил популярную брошюру по половому вопросу, и Пиннеберг набрался смелости, написал ему и попросил принять их с Киской.

Итак, в дверях стоял этот самый доктор Сезам.

— Прошу, — сказал он.

Доктор Сезам поискал у себя на письменном столе письмо Пиннеберга.

— Вы писали мне, господин Пиннеберг. Вам в данное время нельзя иметь детей. Вам это не по средствам.

— Да, — подтвердил Пиннеберг и ужасно смутился.

— Раздевайтесь пока что, — сказал врач Киске, затем опять обратился к Пиннебергу: — И вы хотели бы прибегнуть к верному средству. Так, к очень верному средству... — Через свои золотые очки он бросил скептический взгляд на Пиннеберга.

— Я прочитал в вашей книге, — говорит Пиннеберг, — что пессуарии...

— Пессуарии, — поправляет врач. — Да, но не для всякой женщины это годится. И потом, пользоваться ими не так уж просто. Сумеет ли ваша жена...

Он взглянул на нее. Она разделась, собственно только начала раздеваться, сняла блузку и юбку. У нее стройные длинные ноги, она очень высокая.

— Пройдемте-ка туда,— говорит врач.— Блузку для этого снимать было не обязательно, деточка.

Киска краснеет до корней волос.

— Ну да теперь уже все равно. Не надевать же ее снова. Идемте. Одну минуточку, господин Пиннеберг.

Они проходят в соседнюю комнату. Пиннеберг смотрит им вслед. Доктор Сезам не достает «деточке» до плеча. Пиннеберг опять находит, что она чудо как хороша, что она самая красивая девушка на свете, что она вообще единственная. Он работает в Духерове, а она здесь, в Плаце, видит он ее самое большее раз в полмесяца, вот его восхищение и не остывает и аппетит разгорается все сильнее.

Он слышит, как в соседней комнате врач время от времени задает вполголоса вопросы, вот какой-то инструмент звякнул о край лоточка, звук этот знаком ему по зубоврачебному кабинету, неприятный звук.

Вдруг он вздрогнул. Такого голоса у Киски он еще не слышал — она сказала очень громко, звонко, почти крикнула: «Нет, нет, нет!» и еще раз «Нет!» А потом совсем тихо, но он все же разобрал: «О господи!»

Пиннеберг шагнул к двери — что это? Что там происходит? Говорят, эти врачи ужасные развратники... Но вот доктор Сезам опять заговорил, слов разобрать нельзя, вот опять стукнул инструмент.

И затем долго ни звука.

Лето в самом разгаре. Середина июля, чудесный солнечный день. Небо на улице синее-синее, в окна лезут ветки, их колышет морской ветер. Пиннебергу вдруг вспоминается старая песенка, песенка поры его детства:

Ветер, ветер, ветерок,
Не сорви с сынка платок.
Сладко дремлет мой сынок,
Будь же ласков, ветерок.

Пациенты в приемной разговаривают. И для них время тянется слишком долго. Эх, ваши бы мне заботы. Ваши бы заботы...

Доктор и Эмма возвращаются. Пиннеберг бросает робкий взгляд на Киску, у нее такие большие глаза, словно они широко открылись от испуга. И какая она бледная! Но вот она уже улыбнулась ему, сперва чуть-чуть, а затем все лицо расплылось в улыбке, расцвело, засияло... Доктор стоит в углу, моет руки. Искоса поглядывает на Пиннеберга. Затем быстро говорит:

— С мерами предосторожности, господин Пиннеберг, вы опоздали. Никакие средства тут не помогут. Я полагаю, что уже второй месяц.

У Пиннеберга перехватило дыхание. Такой удар!

— Не может быть, доктор! Мы были так осторожны,— лепечет он.— Не может быть. Скажи сама, Киска...

— Милый,— говорит она.— Милый...

— И все же это так,— прерывает ее врач.— Ошибки быть не может. И поверьте мне, господин Пиннеберг, ребенок вносит радость в каждую семью.

— Доктор,— говорит Пиннеберг, и губы у него дрожат,— доктор, я получаю сто восемьдесят марок в месяц! Доктор, пожалуйста!

У доктора Сезама такой усталый вид. Все, что сейчас последует, он наизусть знает, он это по тридцать раз на день слышит.

— Нет,— говорит он.— Нет. И не просите. Даже речи быть не может. Вы оба здоровы. И получаете вы не так уж мало. Да. Не так уж мало.

— Доктор,— волнуясь, опять начинает Пиннеберг. За его спиной стоит Киска, она гладит его по голове.

— Не надо, милый, не надо! Как-нибудь справимся.

— Но ведь это же совершенно невозможно...— Пиннеберг замолкает: в комнату вошла сестра.

— Господин доктор, вас просят к телефону.

— Извините,— говорит врач.— Вот увидите, вы еще рады будете. А после рождения ребенка сразу же приходите ко мне. Тогда и поговорим о мерах предосторожности. И не очень-то полагайтесь на кормление. Итак... Не падайте духом, деточка!

Он пожимает Киске руку.

— Я хотел бы...— говорит Пиннеберг и достает кошелек.

— Ах да,— уже стоя в дверях, доктор еще раз окинул обоих оценивающим взглядом.— Пятнадцать марок, сестра.

— Пятнадцать марок...— протянул Пиннеберг и посмотрел на дверь.

Доктор Сезам уже исчез. Пиннеберг медленно вынимает двадцатимарковую бумажку и, наморщив лоб, следит за сестрой, выписывающей квитанцию.

Получив квитанцию, он немного повеселел.

— Больничная касса возместит, не правда ли?

Сестра смотрит на него, затем на Киску.

— Диагноз — беременность, так ведь? — и, не дожидаясь ответа, говорит: — Нет. Этого касса не оплачивает.

— Идем, Киска, — говорит он.

Они медленно спускаются по лестнице. На площадке Киска остановилась и сжала его руку в своих ладонях.

— Не огорчайся! Ну, пожалуйста! Как-нибудь справимся.

— Н-да... — протянул он в раздумье.

Они прошли по Ротенбаумштрассе, свернули на Майнцерштрассе. Здесь высокие дома, многолюдно, вереницы машин, уже продают вечерние выпуски газет. До них двоих никому нет дела.

— Он сказал: и получаете не так уж мало, и взял пятнадцать марок из моих ста восьмидесяти, ну и разбойник!

— Я что-нибудь придумаю, — говорит Киска, — вот увидишь, придумаю.

— Ах ты моя милая! — умиляется он.

После Майнцерштрассе они вышли на Крюмпервег, и сразу наступила тишина.

— Теперь мне многое понятно, — сказала Киска.

— Что понятно? — спросил он.

— Да так, пустяки, то, что меня по утрам поташнивает... И вообще так странно...

— Так почему же ты не обратила внимания?

— Я все время думала, вот-вот начнутся. Ведь не придет же сразу в голову такое.

— А вдруг он ошибся?

— Нет. Не думаю. Так оно и есть.

— Но все-таки, возможно, он и ошибся.

— Нет, я думаю...

— Подожди! Послушай, что я говорю! Все-таки возможно, что он ошибся.

— Ты говоришь — возможно. Ну, конечно, возможно. Все что угодно возможно.

— Так что, может быть, завтра начнутся. Тогда я ему такое письмо напишу!.. — Он задумался, мысленно он уже пишет письмо.

За Крюмпервег — Геббельштрассе. Вечереет. Медленно идут они по улице, обсаженной прекрасными вязами.

— Уж тогда-то я свои пятнадцать марок с него стребую! — вдруг выпалил Пиннеберг.

Киска не ответила. Она осторожно ступает на всю ступню и внимательно смотрит под ноги, теперь все приобрело совсем иной смысл.

— А куда мы, собственно говоря, идем? — вдруг спросил он.

— Мне надо зайти домой, я не предупредила мать, что запоздаю.

— Велика важность!

— Не сердись, мальчуган! Но я постараюсь выйти в половине девятого. Ты с каким поездом едешь?

— С десятичасовым.

— Так я провожу тебя на вокзал.

— И это все? — протянул он. — И на этот раз все? Ну и жизнь.

Лютенштрассе настоящая рабочая улица, всюду детвора, даже попрощаться как следует нельзя.

— Не принимай этого так близко к сердцу, родненький. — Она протянула ему руку. — Уж я что-нибудь придумаю.

— Н-да, — говорит он и пробует улыбнуться. — Ты, Киска, козырной туз, кроешь всякую карту.

— В половине девятого выйду. Обязательно выйду.

— А сейчас не поцелуешь?

— Нельзя, право же, нельзя, сплетни пойдут. Не расстраивайся.

— Ладно, Киска, — говорит он. — И ты тоже не принимай этого так близко к сердцу. Как-нибудь обойдется.

— Ну, конечно, — говорит она. — Я духом не падаю. Ну, пока!

Она быстро взбегает по темной лестнице, ее чемоданчик стучается о перила: тук... тук... тук...

Пиннеберг следит взглядом за ее ногами в светлых чулках. Тысячу раз уже Киска уходила от него по этой чертовой лестнице.

— Киска, — кричит он ей вслед, — Киска!

— Ну? — отзывается она сверху и перегибается через перила.

— Минутку! — Он взлетает наверх, останавливается, переводит дух, кладет руки ей на плечи.— Киска,— говорит он, задыхаясь от возбуждения и бега,— Эмма Мершель! А что, если нам пожениться?..

Мамаша Мершель. Папаша Мершель. Карл Мершель.
Пиннеберг попадает в мершелевский семейный бульон

Эмма Мершель ничего не сказала. Она отстранила Пиннеберга и осторожно села на ступеньку. И сразу не стало видно ее ног. Она сидела и снизу вверх смотрела на своего мальчугана.

— Господи, мальчуган,— сказала она,— если бы мы поженились!

Глаза у нее просияли. Темно-голубые, чуть зеленоватые глаза; сейчас они прямо-таки лучились.

«Словно свечи всех рождественских елок зажглись у нее внутри!» — подумал Пиннеберг и даже смутился от умиления.

— Значит, все в порядке, Киска,— сказал он.— Поженимся. И как можно скорее, а?

— Родненький, но ты не обязан это делать. Я и так справлюсь. В одном ты, конечно, прав, лучше, чтобы у Малышонка был отец.

— У Малышонка,— повторил Иоганнес Пиннеберг.— Правильно, у Малышонка.

На минутку он замолчал. Он переживал внутреннюю борьбу— сказать или нет Киске, что, делая ей предложение, он думал вовсе не о Малышонке, а о том, что очень уж глупо в такой летний вечер три часа торчать на улице, поджидая свою девушку. И он не сказал. А вместо того попросил:

— Встань, Киска, лестница-то ведь грязная. На тебе такая нарядная белая юбка...

— А ну ее, юбку, ну ее совсем! Какое нам дело до всяких юбок! Ганнес! Миленький мой! И счастлива же я! — Она встала и опять крепко прижалась к нему. И дом пожалел их: хотя время было вечернее, после пяти часов, когда кормильцы возвращаются домой, а хозяйки спешат прикупить к ужину то, что позабыли взять днем, из двадцати жильцов, снующих вверх и вниз по лестнице, не прошел ни один. Ни один.

До тех пор, пока Пиннеберг не высвободился из ее объятий и не сказал:

— Но ведь теперь мы можем и у тебя дома— ведь мы жених и невеста. Идем наверх.

Киска призадумалась.

— Ты уже сейчас хочешь к нам? А не лучше мне предупредить отца с матерью, ведь они не знают о твоём существовании?

— То, что все равно надо сделать, лучше делать сразу,— заявил Пиннеберг и не пошел на улицу.— А потом, они ведь обрадуются?

— Ну да,— нерешительно заметила Киска.— Мать очень обрадуется, а отец... знаешь, ты на него не обижайся, отец любит подковырнуть, он это не со зла.

— Я не буду обращать внимания,— сказал Пиннеберг.

Киска отперла дверь, крошечная передняя. Из-за прикрытой двери послышался голос:

— Эмма! Иди-ка сюда!

— Одну минутку, мама,— крикнула Эмма,— сниму туфли.

Она взяла Пиннеберга за руку и на цыпочках провела в комнатку с окнами во двор, в которой стояли две кровати.

— Клади сюда твои вещи, сюда, на мою постель, я здесь сплю. На другой спит мать. Отец с Карлом спят напротив в чулане. А теперь идем. Постой, пригладь волосы.— Она быстро провела гребенкой по его взлохмаченной голове.

У обоих сильно стучало сердце. Эмма взяла его за руку, и они пошли через переднюю и открыли дверь в кухню. У плиты стояла, согнувшись, сутулая женщина и что-то жарила на сковороде. Пиннеберг увидел коричневое платье и длинный синий передник.

Женщина не подняла головы от плиты.

— Сбегай-ка в погреб, Эмма, и принеси угля. Карлу хоть сто раз говори...

— Мама,— сказала Эмма,— это мой друг Иоганнес Пиннеберг из Духерова. Мы решили пожениться.

Женщина у плиты подняла голову. Лицо у нее было темное, все в морщинах, с волевым ртом, с сурово сжатым опасным ртом, лицо с суровым взглядом очень светлых глаз. Типичная женщина из рабочей среды.

Она смотрела на Пиннеберга мгновение, не больше, смотрела испытующе, сурово. Затем опять занялась картофельными оладьями.

— Вот еще выдумала,— сказала она.— Будешь теперь своих парней ко мне в дом таскать?! Ступай углей принеси, жара в плите нету.

— Мама,— сказала Киска и попыталась улыбнуться.— Он правда хочет на мне жениться.

— Принеси углей, тебе, девка, говорят! — крикнула старуха, орудуя вилкой.

— Мама!..

Старуха подняла голову, сказала очень медленно:

— Ты все еще не ушла? Оплеухи дожидаясь?!

Киска быстро пожала руку своему Ганнесу. Затем взяла корзину и крикнула как можно веселее:

— Сейчас вернусь!

Дверь на лестницу захлопнулась.

Пиннеберг остался в кухне. Он робко посмотрел на фрау Мершель, боясь даже взглядом рассердить ее, затем посмотрел в окно. Он увидел только трубы на фоне голубого летнего неба.

Фрау Мершель отставила сковородку и загремела конфорками. Она помешала кочергой в печке и буркнула себе что-то под нос. Пиннеберг вежливо спросил:

— Извините, что вы сказали?..

Это были первые слова, которые он произнес у Мершей.

Лучше бы он их не произносил: старуха коршуном налетела на него. В одной руке она держала кочергу, в другой вилку для оладий. Но страшно было не это, хотя она и размахивала ими. Страшно было ее лицо, которое все дергалось и кривилось, и еще страшнее были ее злые, свирепые глаза.

— Посмейте только осрамить мою девку! — кричала она, не помня себя.

Пиннеберг отступил на шаг.

— Но ведь я собираюсь жениться на Эмме, фрау Мершель! — робко пролепетал он.

— Вы думаете, я не знаю, что тут у вас,— уверенно сказала старуха.— Вот уже две недели стою здесь и жду. Думаю, сама мне скажет, думаю, приведет своего парня, сижу здесь и жду.— Она перевела дух.— Моя Эмма девушка хорошая. Она для вас не игрушка, слышите? Она никогда нюни не распускает. Никогда слова поперек не скажет — и вы хотите ее осрамить!

— Нет, нет, не хочу,— испуганно пролепетал Пиннеберг.

— Нет, хотите, хотите! — не унималась фрау Мершель.— Хотите! Две недели стою здесь и жду — вот сейчас даст постирать свои бинты — не дает! Как это у вас такое дело вышло, а?

Пиннеберг не знает, что ей сказать.

— Мы ведь люди молодые,— кротко оправдывается он.

— И как только вы мою дочку на такие дела подбили,— в голосе ее все еще слышится злоба. И вдруг она опять раздражается бранью: — Все вы подлецы, все мужчины подлецы, тьфу!

— Мы поженимся, как только уладим все формальности,— заявляет Пиннеберг.

Фрау Мершель опять стоит у плиты. Сало шипит. Она спрашивает:

— А кем вы работаете? Имеете ли вы право жениться?

— Я бухгалтер. В фирме, торгующей зерном.

— Стало быть, служащий?

— Да.

— По мне бы, уж лучше рабочий. А сколько зарабатываете?

— Сто восемьдесят марок.

— Чистых?

— Нет, с вычетами.

— Не так уж много. Это хорошо,— говорит старуха.— Не к чему моей дочери богатой быть.— И вдруг она опять набрасывается на Пиннеберга: — Приданого за ней не ждите. Мы пролетарии. У нас этого не водится. Только то бельишко, что на свои деньги купила.

— И не нужно ничего,— говорит Пиннеберг.

Старуха опять разозлилась:

— У вас тоже ничего за душой нет. Не похоже, чтобы вы что скопили. Раз такой костюм почему зря носите, так уж, значит, ничего не отложили.

Тут вернулась Киска с углем, и Пиннебергу не пришлось признаваться, что старуха попала в точку. Киска была в отличном настроении.

— Живьем тебя съела, бедненький мой мальчуган? — спросила она.— Мать у меня — настоящий кипяток.

— Не груби, дура,— огрызнулась мать,— не то получишь! Ступайте в спальню и ложитесь там на здоровье. Я сперва сама с отцом поговорю.

— Ладно,— сказала Киска.— А ты спросила у моего жениха, любит ли он картофельные оладьи? Сегодня едь наша помолвка.

— Ну, живо! Да смотрите у меня, чтобы дверь запереть не вздумали, я разок-другой загляну, чем вы там занимаетесь,— крикнула фрау Мершель.

И вот они сидят на табуретках, за маленьким столиком, друг против друга.

— Мать — простая работница,— говорит Киска.— Она грубая. Раскричалась на нас, но это без всякой задней мысли.

— Задняя-то мысль у нее, положим, была,— улыбается Пиннеберг.— Твоя мать догадалась о том, что мы сегодня услышали от доктора, понимаешь?

— Конечно, догадалась. Мать всегда догадается. Мне кажется, ты ей понравился.

— Ну, знаешь, что-то не похоже.

— Такая уж у меня мать. Всегда ругается. Я теперь ее ругань мимо ушей пропускаю.

На минутку наступила тишина, они сидят как пайньки друг против друга, положив руки на стол.

— Кольца надо купить,— задумчиво произносит Пиннеберг.

— Господи, конечно, надо, — тут же отзывается Киска.— Скажи быстро, какие тебе больше нравятся: блестящие или матовые?

— Матовые! — говорит он.

— И мне тоже, мне тоже! Это замечательно, у нас во всем вкусы сходятся. А сколько они могут стоить?

— Не знаю. Марок тридцать?

— Так много?

— Это если золотые!

— Само собой, золотые. Ну-ка давай снимем мерку. Он подвигается к ней. Они отрывают нитку от мотка. Снять мерку не легко, нитка то врезается в палец, то болтается на нем.

— Рассматривать руки — это к ссоре,— говорит Киска.

— Да я их совсем не рассматриваю,— говорит он.— Я их целую, я целую твои руки, Киска...

Кто-то стучит твердыми костяшками в дверь.

— Ступайте на кухню! Отец пришел!

— Идем,— отзывается Киска и высвобождается из его объятий.— Надо поскорей привести себя в порядок. Отец вечно подковыривает.

— А какой у тебя отец?

— Господи, сейчас сам увидишь. Да и не все ли равно? Ты берешь замуж меня, меня, меня одну, без отца с матерью.

— Но зато с Малышонком.

— С Малышонком, это верно. Ну и миленькие же родители достанутся ему, такие беспокойные. Четверть часика не могут посидеть спокойно.

В кухне за столом сидел долговязый мужчина в серых брюках, в серой жилетке и белой трикотажной рубашке, без пиджака, без воротничка, в шлепанцах. Желтое, морщинистое лицо, сквозь пенсне глядят маленькие, колючие глазки; сивые усы, почти белая борода. Он читал «Фольксштимме». Но когда вошли Пиннеберг и Эмма, опустил газету и стал разглядывать молодого человека.

— Итак, вы и есть тот самый юноша, что хочет жениться на моей дочери? Очень рад, садитесь. Впрочем, вы еще подумаете.

— О чем? — спросил Пиннеберг.

Эмма тоже надела фартук и теперь помогает матери. Фрау Мершель ворчит:

— Где этот бездельник опять застрял? Оладьи перестоятся.

— На сверхурочной,— лаконично заметил папаша Мершель. И подмигнул Пиннебергу.— Небось тоже иногда на сверхурочной задерживаетесь, а?

— Бывает,— ответил Пиннеберг.— Даже довольно часто.

— И бесплатно?

— К сожалению, бесплатно. Хозяин говорит...

Папашу Мершеля не интересует, что говорит хозяин.

— Вот видите, потому-то мне для дочери желательнее был бы рабочий. Когда Карл остается на сверхурочную, ему за это платят.

— Господин Клейнгольц говорит...— снова начинает Пиннеберг.

— Что работодатели говорят, нам, молодой человек, давно известно,— заявляет папаша Мершель.— Это нас

не интересуется. Нас интересуется, что они делают. Ведь есть же у вас коллективный договор, а?

— Я думаю, есть,— говорит Пиннеберг.

— Пусть ученые думают, рабочему думать не к чему. Коллективный договор обязательно есть. А в нем сказано, что за сверхурочные полагается платить. Почему у меня будет зятек, которому не платят за сверхурочные?

Пиннеберг пожимает плечами.

— Потому что вы, служащие, не организованы,— заявляет старик.— Потому что не стоите горой друг за друга, не солидарны. Вот они и делают с вами, что хотят.

— Я организован,— угрюмо замечает Пиннеберг.— Я в профсоюзе.

— Эмма! Мать! Слышите, наш молодой человек стоит в профсоюзе! Кто бы мог подумать! Такой пижон и в профсоюзе! — Папаша Мершель склонил голову на плечо и, прищурившись, разглядывает своего будущего зятя.— А в каком вы профсоюзе, молодой человек, позовьте вас спросить?

— В профсоюзе германских конторских и торговых служащих! — отвечает Пиннеберг, раздражаясь все больше и больше.

Старик Мершель сложился чуть не вдвое, такой его смех разбирает.

— Вот так распотешил! Мать, Эмма, держите меня, наш женишок-то из крахмальных воротничков! Он говорит: в профсоюзе! Да это желтый союз, он служит и нашим и вашим. О господи, дети, нечего сказать, удружил!

— Позвольте, какой же мы желтый профсоюз,— окончательно разозлившись, протестует Пиннеберг.— Нас работодатели не субсидируют. Мы существуем на собственные взносы.

— Бонз кормите! Желтых бонз! Ну, Эмма, выбрала ты себе женишка что надо! Крахмальный воротничок! Из желтого профсоюза!

Пиннеберг бросает на Киску умоляющие взгляды, но Киска не смотрит на него. Может быть, для нее все это и привычно, но если это привычно для нее, то ему приходится туго.

— Вы, служащие, воображаете, будто вы лучше рабочих,— говорит Мершель.

— Ничего я не воображаю.

— Нет, воображаете. А почему воображаете? Потому, что ждете не неделю, а целый месяц, когда хозяин вам заплатит. Потому, что не требуете за сверхурочные, потому, что получаете ниже существующих ставок, потому, что никогда не бастуете, потому, что вы известные штрейкбрехеры...

— Дело ведь не только в деньгах,— возражает Пиннеберг.— У нас не те взгляды, что у большинства рабочих, у нас другие потребности...

— Не те взгляды, не те взгляды,— ворчит старик Мершель,— те же у вас взгляды, что и у пролетариев...

— Не думаю,— говорит Пиннеберг,— я, например...

— Вы, например,— ухмыляется Мершель, щуря глаза.— Вы, например, взяли аванс, а?

— Какой аванс? — недоумевает Пиннеберг.

— Ну да, аванс,— старик ухмыляется еще ехиднее.— Взяли же вы аванс у Эммы. Не очень-то это, милостивый государь, красиво. Самая что ни на есть пролетарская привычка.

— Я...— лепечет Пиннеберг и краснеет до корней волос, ему хочется хлопнуть дверью и заорать: «А ну вас всех к черту!»

Но фрау Мершель осаживает мужа:

— А теперь, отец, хватит зубы скалить! Это дело улажено. И тебя не касается.

— Вот и Карл пришел! — крикнула Киска, услышав, как хлопнула наружная дверь.

— Ну, так подавай на стол, жена,— говорит Мершель.— А я все-таки прав, зятек, спросите вашего папстера, некрасиво это...

В комнату входит молодой человек, но эпитет «молодой» относится только к его возрасту, на вид он совсем не молодой, он еще более желтый, еще более желчный, чем старик отец. Буркнув: «Добрый вечер»,— и не обращая на гостя ни малейшего внимания, он снимает пиджак, жилет, а потом и рубашку. Пиннеберг с все возрастающим удивлением следит за ним.

— Работал сверхурочно? — спрашивает отец.

Карл Мершель что-то бурчит в ответ.

— Помоешься потом, Карл,— говорит фрау Мершель.— Садись за стол.

Но Карл уже отвернул кран и теперь усердно моется над раковиной. Он оголился до пояса, Пиннеберга

это немножко шокирует из-за Киски. Но она как будто не находит тут ничего особенного, ей, верно, кажется, что так и надо.

А Пиннебергу многое кажется не так, как надо. Некрасивые фаянсовые тарелки, почерневшие на выщербленных местах, остывшие, пахнущие луком картофельные оладьи, соленые огурцы, тепловатое пиво, поставленное только для мужчин, да еще эта неприглядная кухня и моющийся Карл...

Карл сел за стол, угрюмо пробурчал:

— Ишь ты, пиво...

— Это Эммин жених, — объяснила фрау Мершель. — Они хотят пожениться.

— Заполучила-таки женишка, — отозвался Карл. — Да еще буржуя. Пролетарий для нее недостаточно хорош.

— Вот видишь, — с удовольствием поддакнул старик Мершель.

— Ты бы сперва деньги в хозяйство внес, а потом бы уже горло драл, — заметила мать.

— Что значит «вот видишь»? — не без ехидства обратился Карл к отцу. — Настоящий буржуй, по мне, все же лучше, чем вы — социал-фашисты.

— Социал-фашисты! Эх ты, советский подголосок, еще вопрос, кто из нас фашист, — обозлился старик.

— Ну ясно, вы, броненосные герои, — отпарировал сын.

Пиннеберг слушал не без удовольствия. Сын с лихвой воздал отцу за все, что тот высказал ему, Пиннебергу. Только картофельные оладьи не стали от этого вкуснее. Не очень-то приятный обед; он, Пиннеберг, не так представлял себе свою помолвку.

Ночной разговор о любви и деньгах

Пиннеберг пропустил поезд, можно уехать и утром, с четырехчасовым. Все равно успеешь вовремя на службу.

Они с Эммой сидят в темной кухне. В одной комнате спит старик Мершель, в другой старуха Мершель. Карл ушел на собрание КПГ.

Они сдвинули два табурета и сели спиной к остывшей плите. Дверь на небольшой кухонный балкончик открыта; ветер чуть колышет платок, которым занаве-

шена балконная дверь. За окном раскинулось ночное небо, темное, с бледно мерцающими звездами, а под ним душный, наполненный звуками радио двор.

— Мне бы хотелось, чтобы у нас было уютно,— шепчет Пиннеберг и сжимает Кискину руку.— Знаешь,— он пробует пояснить,— чтобы в комнате было светло и на окнах белые занавески, и всегда ужасно чисто.

— Понимаю, понимаю,— говорит Киска.— Тебе, с непривычки, у нас уж очень, должно быть, плохо показалось.

— Нет, я это не потому, Киска.

— Нет, потому, потому. Почему бы тебе этого не сказать? У нас и вправду плохо. И то, что Карл с отцом вечно ссорятся, плохо. И что отец с матерью вечно спорят, тоже плохо. И что они вечно норовят дать матери поменьше на стол, а мать норовит стянуть с них побольше... все плохо.

— Но почему это так? У вас ведь трое зарабатывают, как будто должно хватать.

Киска не отвечает.

— Они мне как чужие,— говорит она помолчав.— Я всегда ходила у них в замарашках. Когда отец и Карл приходят домой, они отдыхают. А я начинаю мыть, и гладить, и шить, и штопать носки. Ах, да не в этом дело,— вдруг вырывается у нее,— я бы охотно. Но то, что все это как будто так и нужно и что тебя же еще шпыняют и попрекают, что никогда слова доброго не услышишь и что Карл старается показать, будто он меня содержит, потому что больше вносит в хозяйство... Я ведь не много зарабатываю — какой сейчас заработок у продавщицы?

— Скоро всему этому конец,— говорит Пиннеберг.— Теперь уже очень скоро.

— Ах, не в этом дело, совсем не в этом,— в отчаянии говорит она.— Знаешь, миленький, они мной всегда помыкали. Я у них из дур не выхожу. Конечно, я не такая уж умная. Я многого не понимаю. А потом я некрасивая...

— Ты красивая!

— Я это от тебя первого слышу. Когда мы ходили на танцы, я всегда подпирала стенку. А когда мать говорит он прислал своих друзей, он говорит «та танцевать с такой дылдой?» — слышу...

В душу Пиннеберга закрадывается неприятное чувство. «Нет, она не должна была мне это говорить,— думает он.— Я всегда считал, что она красивая. А вдруг она совсем некрасивая...»

А Киска продолжает:

— Понимаешь, родненький, я совсем не собираюсь тебе жаловаться. Вот только сейчас один-единственный разочек все выскажу, чтоб ты знал, что они мне чужие, только ты мне не чужой, ты один. И что я ужасно тебе благодарна, и не только за Малышонка, но и за то, что ты полюбил меня, замарашку...

— Милая,— говорит он,— милая, милая...

— Нет, не сейчас, погоди. Ты вот говоришь, у нас всегда должно быть светло и чисто, так тебе придется набраться терпения, я ведь даже готовить как следует не умею. И если я что не так сделаю, ты мне скажи, я тебе никогда врать не буду...

— Да, Киска, да, хорошо.

— И мы никогда, никогда не будем ссориться. Господи, родной мой, как мы будем счастливы с тобой вдвоем, только вдвоем. А потом и третий появится, Малышок.

— А вдруг будет девочка?

— Нет, будет Малышок, такой миленький, хорошенький Малышочек.

Через минуту они встают и выходят на балкон.

Да, там над крышами небо, и звезды на нем. Некоторое время они стоят молча, положив руки друг другу на плечи.

Затем они возвращаются на землю, на землю с двором-колодцем, с множеством светлых квадратов окон, с квакающим джазом.

— Мы тоже купим радио? — вдруг спрашивает он.

— Ну, конечно. Знаешь, когда ты будешь на службе, мне будет не так одиноко. Но только не сразу. Нам еще столько всего нужно!

— Да,— говорит он.

Молчание.

— Родненький,— робко начинает она.— Я хотела тебя кое-что спросить.

— Ну? — неуверенно откликается он.

— А ты не рассердишься?

— Нет.

— У тебя есть сбережения?

Молчание.

— Очень немного,— нерешительно говорит он.—

А у тебя?

— Тоже очень немного.— И затем Киска быстро добавляет: — Совсем, совсем немножечко.

— Скажи, сколько,— говорит он.

— Нет, вперед ты скажи,— говорит она.

— У меня...— говорит он и замолкает.

— Не бойся, скажи! — просит она.

— Правда же, совсем немного, может быть, еще меньше, чем у тебя.

— Наверное не меньше.

Молчание. Длительное молчание.

— Скажи, сколько,— просит он.

— Ну,— она глубоко вздыхает.— Больше чем...

— Чем сколько? — спрашивает он.

Ей вдруг делается очень смешно:

— Да что там, чего мне стесняться. У меня на книжке сто тридцать марок.

Он важно, с расстановкой произносит:

— У меня четыреста семьдесят.

— Замечательно! — говорит Киска.— Как раз шестьсот марок. Мальчуган, да ведь это же куча денег!

— Ну, я бы этого не сказал... Правда, холостяцкая жизнь обходится очень дорого.

— А у меня из жалованья в сто двадцать марок семьдесят уходят на еду и квартиру.

— Не скоро накопишь такую сумму,— говорит он.

— Очень не скоро,— соглашается она.— Ну никак больше не отложить.

Молчание.

— Не думаю, что мы сейчас же подыщем квартиру в Духерове,— говорит он.

— Значит, придется снять меблированную комнату.

— А тем временем можно будет еще сколько-нибудь отложить на собственное обзаведение.

— Но меблированная комната стоит ужасно дорого.

— Знаешь что, давай подсчитаем,— предлагает он.

— Да. Посмотрим, как мы справимся. Только давай считать так, будто на книжке у нас ничего нет.

— Да, эти деньги мы трогать не будем, пусть лежат и накапливаются. И так, сто восемьдесят марок жалованья...

— Женатым платят больше.

— Да, только вот, я не знаю... — Он мнетя. — По договору, может быть, это и так, но мой хозяин такой странный...

— А я не стала бы стесняться из-за этого.

— Киска, давай сперва подсчитаем, исходя из ста восьмидесяти. Если будет больше, тем лучше, но сто восемьдесят это уже твердо.

— Хорошо, — соглашается она. — Начнем с вычетов.

— Да, — говорит он. — Тут уж ничего не попишешь. Налог — шесть марок и страховка по безработице — две марки семьдесят. И касса взаимопомощи — четыре марки. И больничная касса — пять сорок. И в профсоюз — четыре пятьдесят...

— В твой-то профсоюз вот уж, пожалуй, ни к чему...

— Ну, это ты оставь. С меня и твоего отца хватит, — раздраженно прерывает он.

— Хорошо, — говорит Киска, — всего двадцать две марки шестьдесят. На проезд тебе деньги нужны?

— Слава богу, нет.

— Значит, остается сто пятьдесят семь марок. Сколько стоит квартира?

— Право, не знаю. Комната с мебелью и кухня?.. Не меньше сорока марок.

— Скажем — сорок пять, — решает Киска. — Остается сто двенадцать марок. Как ты думаешь, на еду сколько надо?

— Это тебе лучше знать.

— Мать говорит, что полторы марки в день на человека.

— Значит, девяносто марок в месяц, — подсчитывает он.

— В таком случае остается двадцать две марки сорок пфеннигов, — говорит она.

Они смотрят друг на друга.

— А еще отопление. И газ. И освещение. И почтовые расходы. И одежда. И белье. И обувь. И посуду время от времени покупать приходится, — быстро говорит Киска.

А он прибавляет:

— И в кино иногда хочется. А по воскресеньям за город. И сигарету выкурить не плохо.

— И отложить что-нибудь надо.

— Самое меньшее двадцать марок в месяц.

— Нет, тридцать.

— Но из каких денег?

— Подсчитаем еще раз.

— Вычеты все те же.

— И комнату с кухней дешевле не снять.

— Может быть, найдем марок на пять дешевле.

— Ну ладно, посмотрим. Газету почитать тоже надо.

— Конечно. Только на еде и можно сэкономить, хорошо, сбросим десять марок.

Они опять смотрят друг на друга.

— И все равно не сведем концы с концами. А чтобы еще отложить, и думать нечего.

— Скажи, а тебе обязательно нужно носить крахмальные сорочки? — спрашивает она с озабоченным видом. — Я не умею их гладить.

— Обязательно. Хозяин требует. Выгладить верхнюю сорочку стоит шестьдесят пфеннигов и десять пфеннигов воротничок.

— В месяц это пять марок, — подсчитывает она.

— А потом еще подметки.

— Да, еще и подметки. Это тоже ужасно дорого.

Молчание.

— Ну, давай подсчитаем еще раз.

И немного спустя:

— Скостим с еды еще десять марок. Но дешевле, чем на семьдесят, не прокормиться.

— А как же другие справляются?

— Не знаю. Многие зарабатывают куда меньше.

— Не понимаю, как же это они...

— Верно, мы в чем-то ошиблись... Давай еще раз подсчитаем.

Они считают и пересчитывают, но результат все тот же. Они смотрят друг на друга.

— Знаешь, когда я выйду замуж, я смогу потребовать обратно свои взносы в кассу взаимопомощи, — вдруг говорит Киска.

— Замечательно! — отзывается он. — Это уж никак не меньше ста двадцати марок.

— А как твоя мать? — спрашивает она. — Ты мне ничего о ней не рассказывал.

— Да и рассказывать-то нечего. Я с ней не переписываюсь.

— Да. Ну тогда и говорить не о чем.

Опять наступает молчание.

Они встают и выходят на балкон, так ничего и не решив. Во дворе почти во всех окнах погас свет, и город тоже замолк. Вдали слышны автомобильные гудки.

Он задумчиво говорит:

— И постричься стоит восемьдесят пфеннигов.

— Брось; не думай,— просит она.— Если другие справляются, справимся и мы. Сведем концы с концами.

— Послушай, Киска,— говорит он.— Я не буду выдавать тебе деньги на хозяйство. В начале месяца мы все деньги положим в вазу, и каждый будет брать оттуда, сколько ему нужно.

— Да,— соглашается она.— У меня и ваза есть, красивая, голубая фаянсовая. Я покажу тебе. И мы будем ужасно экономны. Подожди, я еще научусь гладить верхние сорочки.

— Пятипфенниговые сигареты тоже ни к чему,— говорит он.— И за три пфеннига вполне приличные.

Но тут она вскрикивает:

— Господи, миленький, а Малышонка-то мы позабыли! Он ведь тоже денег стоит!

Пиннеберг размышляет:

— Что может стоить маленький ребенок? А кроме того, ведь выплатят пособие по родам, и пособие кормящей матери, и налогов будем платить меньше... Думаю, что первые годы он ничего не будет стоить.

— Не знаю...— сомневается она.

В дверях появляется фигура в белом.

— Спать вы когда-нибудь ляжете? — спрашивает фрау Мершель.— Еще три часа поспать можете.

— Да, мама,— говорит Киска.

— Теперь уже все равно, я сегодня с отцом посплю. Карл ночевать не придет. Забирай его к себе, твоего...

Дверь захлопнулась, кого «твоего», так и не было сказано.

— Но мне бы, правда, не хотелось...— говорит немножко обиженный Пиннеберг.— Ведь это же, правда, неприятно здесь, у твоих родителей...

— Господи, мальчуган, я начинаю думать, что Карл прав, ты буржуй...— смеется она.

— Ничего подобного,— возражает он.— Если твои родители не имеют ничего против...— Он минутку колеблется: — А вдруг доктор Сезам ошибся, ведь у меня ничего нет с собой.

— Ну, тогда давай опять сядем и будем сидеть на кухне,— предлагает она.— У меня уже все тело болит.

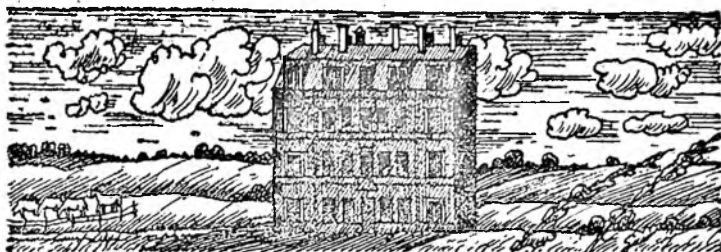
— Ладно, ладно, пойдем,— говорит он, чувствуя раскаяние.

— Но зачем же, если тебе не хочется?..

— Я дурак, Киска! Настоящий дурак!

— Ну, тогда, значит, мы как раз подходящая пара.

— Это мы сейчас увидим,— говорит он.



Часть первая

В ПРОВИНЦИАЛЬНОМ ГОРОДКЕ

Брак начинается по всем правилам—свадебным путешествием, но вот вопрос: нужна ли гусятница?

Поезд, отходящий сегодня, в августовскую субботу, из Плаца в Духеров, уносит в вагоне третьего класса в купе для некурящих супругов Пиннеберг, а в багажном вагоне «не такую уж маленькую» корзину с Эмминым добром, портплед с Эммиными подушками и одеялами—но только с ее подушками, «о своих подушках пусть сам позаботится, нам это не по карману»—и ящик из-под яиц с Эмминой посудой.

Поезд спешит покинуть город Плац, на вокзал никто не пришел, последние дома пригорода остались позади, уже начались поля. Некоторое время поезд шел по берегу сверкающей на солнце Штрелы, затем вдоль полотна потянулись леса, березы.

В купе, кроме супругов Пиннеберг, сидит угрюмый господин, который никак не может решить, чем ему заняться: читать газету, любоваться видами или наблюдать за молодой четой. Он совершенно неожиданно переходит от одного занятия к другому и вглядывается на молодоженов как раз тогда, когда они чувствуют себя в безопасности от любопытных взоров.

Пиннеберг демонстративно кладет правую руку на колено. Обручальное кольцо приятно поблескивает. Пусть мрачный тип видит, что они законные супруги. Но тот смотрит не на кольцо, а в окно.

— Красивое кольцо,—довольным тоном замечает Пиннеберг.— Совсем не заметно, что оно только позолочено.

— Знаешь, а у меня какое-то странное ощущение, я все время чувствую на пальце кольцо, и нет-нет да и взгляну на него.

— Потому что не привыкла. Старые супруги кольца совсем не чувствуют. Потеряют — и не заметят.

— Со мной этого не случится, — с возмущением говорит Киска. — Я всегда буду его чувствовать, всегда-всегда.

— И я тоже, — заявляет Пиннеберг. — Ведь оно напоминает мне о тебе.

— А мне — о тебе.

Они подвигаются друг к другу все ближе, ближе. И сразу отстраняются: мрачный субъект смотрит на них в упор, ну, прямо-таки без всякого стеснения.

— Он не из Духерова, а то бы я его знал, — шепчет Пиннеберг.

— Неужели ты всех у вас в Духерове знаешь?

— Людей более или менее с положением, конечно, всех. Ведь я служил у Бергмана в магазине мужского и дамского готового платья. Тут уж, разумеется, всех знаешь.

— А почему ты ушел? Ведь это же как раз твоя специальность.

— Поссорился с хозяином, — говорит Пиннеберг, вдаваясь в объяснения.

Киска охотно бы расспросила его, она догадывается, что тут еще что-то есть, но лучше не надо. Теперь, когда они стали законными супругами, можно не торопиться.

Он, должно быть, подумал о том же.

— Твоя мать, верно, уже давно дома, — говорит он.

— Да, — отвечает она: — Мать рассердилась, потому и на вокзал не пошла. Не свадьба, а черт знает что, сказала она, когда мы выходили из отдела регистрации браков.

— У нее же деньги целее будут. Мне противна эта обжираловка и пошлые шуточки.

— Конечно, — соглашается Киска. — Но матери это доставило бы удовольствие.

— Не для того мы поженились, чтобы доставить удовольствие твоей матери, — отрезает он.

Молчание.

— Послушай, — начинает Киска. — Меня очень интересует, какая у нас квартира.

— Надеюсь, она тебе понравится. В Духерове выбирать не из чего.

— Знаешь, Ганнес, опиши мне ее еще раз.

— Хорошо,— говорит он и рассказывает то, что рассказывал уже не раз: — Что она за городом, это я тебе уже говорил. Среди зелени.

— Мне кажется, это как раз очень хорошо.

— Но это настоящий дом-казарма. Его выстроил ээ чертой города подрядчик Мотес; думал, и другие за ним потянутся. Но никто за ним не потянулся и не построился там.

— А почему?

— Не знаю. Может быть, показалось, что там слишком уединенно, в двадцати минутах от города. Дорога немощеная.

— Ну, а теперь про квартиру,— напоминает она.

— Ну так вот, мы будем жить на самом верху, у вдовы Шаренхефер.

— Какая она?

— Господи боже мой, почему я знаю. Она держала себя настоящей дамой, говорила, будто бы видела лучшие дни, но инфляция... в общем, здорово ныла.

— О господи!

— Не будет же она вечно ныть. А потом, давай решим не заводить знакомств. Зачем нам чужие люди? Нам и вдвоем хорошо.

— Разумеется. Но что, если она навязчива?

— Не думаю. Она настоящая старая дама, совсем седая. И она ужасно трясется над своей мебелью, мебель-то все хорошая, еще от ее покойной матери осталась, на диван надо садиться с опаской, пружины в нем старые, прочные, от неожиданной нагрузки чего доброго испортятся.

— Ну как это можно все время о них думать,— задумчиво говорит Киска.— Скажем, обрадуюсь вдруг чему-нибудь или, наоборот, взгрустнется и захочу плакать и быстро сяду на диван, где уж тут думать о старых, прочных пружинах.

— Придется думать,— строго заявляет Пиннеберг.— Придется. И часы под стеклянным колпаком, те, что на шкафчике, ни тебе, ни мне заводить не разрешается, только она одна умеет с ними обращаться.

— Так пусть забирает свои поганые старые часы. Не хочу, чтобы у меня стояли часы, которые мне нельзя заводить.

— В конце концов все уладится. Скажем ей, что нам мешает тиканье.

— Сегодня же вечером скажем! Может быть, такие драгоценные часы заводятся ночью, откуда мне знать... Ну, а теперь расскажи наконец про саму квартиру: мы поднимаемся по лестнице, открываем дверь, и...

— И входим в переднюю. Она общая. И сразу же налево дверь — в нашу кухню. Собственно, сказать, что это самая настоящая кухня, нельзя, раньше это было просто чердачное помещение с косою крышей, но там есть газовая плитка...

— С двумя конфорками,— грустно добавляет Киска.— Как я буду управляться, ума не приложу. Приготовить обед на двух конфорках никто не может. У матери четыре конфорки.

— Не сомневаюсь, что и на двух приготовишь.

— Нет, ты послушай, что я скажу, миленький...

— У нас будет самый простой стол, тогда и двух конфорок хватит.

— Конечно, самый простой. Но суп нужен: одна кастрюля. А потом мясо: вторая кастрюля. И овощи: третья кастрюля. И картофель: четвертая кастрюля. На двух конфорках будут подогреваться две кастрюли, а две другие тем временем будут стынуть. Вот тебе, пожалуйста!..

— Как же быть...— задумчиво произносит он. И вдруг испуганно смотрит на Киску.— Так, значит, тебе нужны четыре кастрюли!

— Конечно, четыре,— гордо заявляет она.— И четырех еще мало. Мне и гусятница нужна.

— Господи, а я купил только одну.

Киска неумолима.

— В таком случае нам придется прикупить еще четыре.

— Но на жалованье не купить, придется на сбережения!

— Ничего не поделаешь, мальчуган, надо рассуждать здраво: что необходимо, то необходимо. Кастрюли нам нужны.

— Я представлял себе это совсем иначе,— грустно заявляет он.— Я думал, мы будем откладывать, а мы с места в карьер собираемся транжирить денежки.

— Но раз это необходимо!

— Гусятница совсем ни к чему,— волнуется он.— Не буду есть тушеное мясо. Не буду, и все! Из-за какого-то кусочка тушеного мяса покупать гусятницу. Не буду!

— А рулет будешь есть? — спрашивает Киска.— А жаркое?

— Да, водопровода в кухне нет,— говорит он смущенно.— За водой тебе придется ходить на кухню к фрау Шаренхедер.

— О господи! — снова вздыхает она.

Со стороны кажется, что брак — самое простое дело: двое женятся, появляются дети. Вместе живут, вместе пробиваются в жизни, стараются не ссориться. Дружба, любовь, взаимная приветливость; едят, пьют, спят, ходят на службу, ведут хозяйство, по воскресеньям выезжают за город, вечером ходят в кино! И все!

Но на самом деле брак — это решение тысячи всевозможных проблем. Брак как таковой в известной мере отступает на задний план, он нечто само собой разумеющееся, предпосылка, а вот как, например, быть теперь с гусятницей? И неужели он, Пиннеберг, должен сегодня же вечером сказать фрау Шаренхедер, чтобы она забрала часы. Вот то-то оно и есть.

Оба смутно чувствуют это. Но разрешать эти проблемы немедленно не требуется. Пиннеберги забывают о всех кастрюлях на свете: они остались одни в купе. Их угрюмый спутник сошел на какой-то станции. Они даже не заметили, когда Гусятница и часы отодвинулись на задний план; Пиннеберг и Киска крепко обнимаются, поезд громыкает. Время от времени они переводят дух и снова вчасос целуются; наконец поезд замедляет ход! Духеров.

— Господи, уже! — восклицают оба.

Пиннеберг напускает на себя таинственность
и задает Киске загадки

— Я заказал машину,— быстро говорит Пиннеберг,— пешком ты, пожалуй, не дойдешь.

— Но как же так? Ведь мы хотели экономить! В прошлое воскресенье мы же целых два часа по Плацу бегали!

— Но у тебя вещи...

— Носильщик донес бы. Или кто-нибудь с твоей службы. Есть же у вас рабочие...

— Нет, нет, этого я не люблю, это выглядит так...

— Ну, хорошо, как хочешь,— покорно соглашается Киска.

— И вот что еще,— торопливо говорит он, в то время как поезд уже останавливается.— Давай не будем вести себя как супружеская пара. Давай будем держать себя так, словно мы только немного знакомы.

— Но чего ради?— удивляется Киска.— Я ведь твоя законная жена.

— Знаешь, это из-за людей,— смущенно объясняет он.— Мы ведь не посылали приглашений на свадьбу, вообще никому ничего не сообщали, люди могут обидеться, правда?

— Этого я не понимаю,— удивляется Киска.— Объясни мне, пожалуйста. Почему то, что мы поженились, должно кого-то обидеть?

— Потом я растолкую тебе. Только не сейчас. Сейчас мы должны... Чемоданчик возьмешь? И, пожалуйста, сделай вид, будто мы почти незнакомы.

Киска молчит, но украдкой с сомнением поглядывает на «миленького». Он проявляет изысканную вежливость, помогает своей даме выйти из вагона, смущенно улыбается, говорит:

— Это главный духеровекский вокзал. А есть еще узкоколейка в Максфельде. Сюда, пожалуйста.

С платформы Пиннеберг спускается первый, немножко, пожалуй, слишком поспешно для столь заботливого супруга, который даже заказал машину, чтобы жену не утомила дорога, и он все время идет шага на три впереди. Затем выходит через боковую дверь. Там стоит такси, крытая машина.

Шофер здоровается:

— Здравствуйте, господин Пиннеберг. Здравствуйте, фрейлейн.

Пиннеберг торопливо бормочет:

— Минутку! Пожалуй, уже можно садиться... Я сейчас пойду получу багаж,— и исчезает.

Киска стоит у машины и смотрит на вокзальную площадь с двухэтажными домиками. Как раз напротив—вокзальная гостиница.

— Контора Клейнгольца тоже тут?— спрашивает она шофера.

— Это где господин Пиннеберг работает? Нет, фрейлейн, мы мимо нее поедem. Она на Базарной площади, рядом с ратушей.

— Послушайте, нельзя ли опустить верх? Сегодня такой чудесный день,— говорит Киска.

— Простите, фрейлейн, но господин Пиннеберг заказал закрытую машину. Обычно в такую погоду я езжу в открытой.

— Ну что же, раз господин Пиннеберг на этом настаивал...— говорит Киска и садится в машину.

Вот и Пиннеберг, он идет вслед за носильщиком, который катит на тележке корзину, портплед и ящик. Последние пять минут Киска смотрит на своего мужа совсем другими глазами, поэтому она сразу замечает, что правую руку он держит в кармане брюк. Вообще это не в его привычках, вообще он этого не делает. Но так или иначе, сейчас он держит правую руку в кармане.

Машина трогается.

— Так, теперь ты бросишь мимолетний взгляд на весь Духеров. Весь Духеров, собственно, одна длинная улица,— говорит он и несколько смущенно хихикает.

— Да, ты хотел мне растолковать, на что могли обидеться знакомые,— говорит она.

— Успеется,— отвечает он.— Сейчас что-то не хочется разговаривать. Мостовая у нас отвратительная.

— Успеется, так успеется,— говорит она и тоже замолкает. И вдруг она замечает, что он забился в самый угол,— если кто-нибудь заглянет в машину, Пиннеберга ему не узнать.

— Вот и твоя торговая фирма,— говорит она,— «Эмиль Клейнгольц. Зерно, корма, удобрения. Картофель оптом и в розницу». Ну, так я буду покупать картошку у тебя.

— Нет, нет,— торопливо возражает он.— Это старая вывеска. Картофелем в розницу мы уже не торгуем.

— Жалко,— говорит она.— А то как бы хорошо: я прихожу к тебе в лавку и покупаю десять фунтов картошки. Представляешь? И я бы держала себя совсем не как твоя жена.

— Да, жалко,— соглашается он.— Замечательно было бы.

Она энергично постукивает носком по дну машины и возмущенно сопит. А потом задумчиво спрашивает:

— А вода здесь есть?

— Какая вода? — осторожно спрашивает он.

— Ну, чтоб купаться! Какая же еще? — нетерпеливо отзывается Киска.

— Да, да, купаться здесь есть где, — говорит он.

Они едут дальше. Главную улицу, должно быть, уже проехали. Киска читает: «Полевая улица». Отдельные домики, и при каждом сад.

— Слушай, здесь очень красиво, — радуется она. —

Сколько цветов!

Машина то и дело подпрыгивает на ухабах.

— Вот мы и на Зеленом Конце, — говорит он,

— На Зеленом Конце?

— Да, наша улица называется «Зеленый Конец».

— Это улица? А я уж думала, что шофер спутал дорогу.

Налево выгон, огороженный колючей проволокой, там пасутся несколько коров и лошадь. Направо клеверное поле, клевер как раз цветет.

— Открой окно, — просит она.

— Мы уже приехали.

И выгон и поле кончились. За ними город воздвиг свою последнюю твердыню — и что за твердыню! На открытом месте стоит высокий, узкий доходный дом подрядчика Мотеса, выкрашенный в коричневый и желтый цвета, но только с фасада; боковые стены не отделаны, в ожидании, что к ним прилепят другие дома.

— Красивым, его не назовешь. — Киска оглядывает дом сверху донизу.

— Зато квартира очень недурна, — утешает ее Пиннеберг.

— Ну, так идем, — говорит она. — Малышонку здесь, конечно, будет очень хорошо, очень полезно.

Пиннеберг и шофер берутся за корзину, Киска тащит ящик из-под яиц.

— Портплед я потом принесу, — говорит шофер.

В нижнем этаже, где находится лавка, пахнет сыром и картофелем, во втором этаже преобладает запах сыра, в третьем он царствует безраздельно, а совсем наверху, под крышей, опять пахнет картофелем, пахнет затхлым и сыростью.

— Объясни мне, пожалуйста, почему пропал запах сыра?

Но Пиннеберг уже открыл дверь.

— Пройдем сразу в нашу комнату, да?

Передняя крошечная, действительно совсем крошечная, да еще справа стоит гардероб, а слева сундук. Мужчины с трудом протащили корзину.

— Сюда! — сказал Пиннеберг и открыл дверь.

Киска переступила порог.

— Господи! — вырвалось у нее. — Да что же это такое?..

Но затем она бросила все, что держала в руках, на обитый плюшем старомодный диван — под тяжестью ящика из-под яиц жалобно застонали пружины — и подбежала к окну; в длинной комнате четыре больших светлых окна. Киска распахнула окно и высунулась наружу.

Внизу под ней — разъезженная полевая дорога, с песчаными колеями, по обочинам трава, чертополох, лебеда — это и есть улица. А дальше клевер, она вдыхает запах клевера, что может быть лучше аромата цветущего клевера, нагретого за день солнцем?

А за клеверным полем — другие поля, желтые и зеленые, а там, где росла рожь, уже вспаханное жнивье. А дальше темно-зеленые полосы — луга — и среди ив, ольхи и тополей — Штрела, здесь совсем узенькая, просто ручеек.

«Она течет в Плац, в мой родной Плац, где я работала и мучилась, и была так одинока в комнатке с окнами во двор. Перед глазами только стены и камни... А здесь — простор»..

И вдруг она видит в соседнем окошке своего Ганнеса, он выпроводил шофера, принесшего портплед; он глядит на нее сияющими глазами, в блаженном самозабвении.

— Посмотри вокруг. Вот где раздолье!.. — вырывается у нее.

Она протягивает ему из окна правую руку, он берет ее в свою левую.

— Лето! — восклицает она и свободной левой рукой описывает полукруг.

— Видишь там игрушечный поезд? Это максфельдовская узкоколейка, — говорит он.

Внизу появляется шофер. Он, верно, заходил в лавку, потому что приветствует их бутылкой пива. Он тщательно обтирает ладонью горлышко бутылки, за-

прокидывает голову, кричит: «За ваше здоровье!» — и поет.

— И за ваше! — кричит в ответ Пиннеберг, Кискину руку он тем временем отпустил.

— Так, а теперь обследуем нашу комнату ужасов, — говорит Киска.

Конечно, не так уж это приятно: только что перед глазами был простор полей, а повернулся и видишь комнату, где... Нет, Киску избалованной никак не назовешь. Киска самое большее раза два видела в витрине на Майнцерштрассе у себя в Плаце простую, модную мебель. А здесь...

— Миленький, возьми меня, пожалуйста, за руку и веди, — просит Киска. — А то я чего доброго еще что свалю или где-нибудь застряну, так что потом ни туда, ни сюда.

— Ну, ты уж преувеличиваешь, — говорит он несколько обиженным тоном. — По-моему, здесь есть очень уютные уголки.

— Да, уголки есть, — соглашается она. — Но скажи, ради бога, что это? Нет, лучше не говори ничего. Подойдем ближе, мне эту штуку надо вблизи рассмотреть.

Они пускаются в путь. И хотя идти можно только гуськом, Киска крепко держится за руку Ганнеса.

Итак: комната представляет собой ущелье, может быть, и не такое уж узкое, но бесконечно длинное, прямо какой-то манеж. И три четверти этого манежа до отказа заставлены всякой всячиной, тут и мягкая мебель, и столики орехового дерева, шкафчики, подзеркальники, жардиньерки, этажерки, огромная клетка для попугая (без попугая), а в последней, четвертой, четверти стоят всего-навсего две кровати да умывальник. Но Киску привлекает некое сооружение, отделяющее третью четверть от четвертой. Оно разгораживает столовую и спальню, но это не оштукатуренная деревянная перегородка, не занавеска, не ширма... Это... Вот что это: из деревянных планок сколочено что-то вроде трельяжа, идущего от пола до самого потолка, с аркой для прохода посредине, что-то вроде шпалеры для винограда. И не думайте, что это простые некрашенные деревянные планки, нет, это полированные коричневые планки орехового дерева, и каждая с пятью канелюрами. А чтобы шпалера не казалась голой, в нее вплетены цветы; цветы бумажные и матерчатые, розы, нар-

циссы и букетики фиалок. А кроме того, длинные гирлянды из зеленой бумаги, какими украшают во время празднеств бочки пива.

— О господи! — вздыхает Киска и садится. Садится там, где стояла, но опасность сесть на пол ей не грозит, куда ни повернись, куда ни ткнись — всюду что-нибудь да стоит; она плюхнулась, не глядя, и угодила на вертящийся табурет из черного дерева, с плетеным сиденьем; собственно, такому табурету полагается стоять перед роялем, но рояля здесь нет.

Пиннеберг молчит. Он не знает, что сказать. Когда он снимал комнату, все показалось ему более или менее подходящим, а трельяж даже очень веселеньким.

Вдруг глаза Киски сверкнули, ноги снова обрели крепость, она встала, она подошла к трельяжу, она провела пальцем по планке. Планка, как уже было сказано, украшена канелюрами, завитушками, бороздками. Киска посмотрела на палец.

— Вот, полюбуйся! — говорит она и показывает палец Ганнсу. Палец серый от пыли.

— Чутьочку запылится, — лепечет он.

— Чутьочку! — Киска испепеляет его взором. — Ты мне прислугу наймешь, а? Здесь, не меньше чем на пять часов ежедневно, прислуга нужна.

— Но как же так? Для чего?

— А кому прикажешь наводить здесь чистоту и порядок? Девяносто три предмета с завитушками, бороздками, колонками, раковинами; ладно, я бы уж взяла это на себя, хоть это и грех такой ерундой заниматься. Но трельяж, с ним одним каждый день три часа провозишься. Да еще бумажные цветы...

Она щелкает пальцем по розе. Роза падает на пол, и тут же в солнечном луче начинают свою пляску мириады серых пылинок.

— Наймешь мне прислугу, да? — спрашивает Киска, она уже не мурлычет, она выпускает коготки.

— А может быть, достаточно как следует убираться раз в неделю?

— Вздор! И ты хочешь, чтобы здесь рос Малышок? А сколько он себе шишек набьет обо все эти выступы и завитушки, а?!

— К тому времени мы, может быть, снимем квартиру.

— К тому времени снимем квартиру! А зимой кто

топить будет? Под самой крышей! Две наружные стены! Четыре окна! За день израсходуешь полцентнера брикетов, да и то еще зуб на зуб не попадет!

— Знаешь ли, меблированная комната и собственная квартира это большая разница,— говорит он, несколько уязвленный.

— Это я знаю. Но скажи сам, как тут, по-твоему? Тебе нравится? Ты бы хотел тут жить? Ты только представь себе: приходишь домой и боишься шаг ступить. Да еще повсюду салфеточки. Ай!.. так я и думала, булабочками приколоты.

— Но лучшего мы ничего не найдем.

— Я найду. Будь покоен. Когда мы можем отказаться от комнаты?

— Первого сентября, но...

— А когда съехать?

— Тридцатого сентября, но...

— Полтора месяца,— выдыхает она.— Ну, ничего, потерплю. Мне только Малышоночка бедного жалко, все ему со мной вместе переживать приходится. Я-то думала, мы с ним будем здесь так хорошо гулять. Не тут-то было. Придется в комнате чистоту наводить.

— Но нельзя же так сразу взять и отказаться!

— Нет, можно! И лучше всего сейчас же, сегодня же, сию же минуточку!

Она — воплощенная решимость, щеки пылают, глаза блестят, голова гордо запрокинута, хоть сейчас в бой!

— Знаешь, Киска,— медленно говорит Пиннеберг,— я думал, ты совсем другая. Гораздо более кроткая...

Она рассмеялась, бросилась к Ганнесу, взъерошила ему волосы.

— Ну, конечно, я совсем другая, не такая, как ты думал, сама знаю. Ты думал, я сахар, это после того как я прямо со школьной скамьи за прилавок стала, да еще при таком отце, при таком брате, и при такой заведующей, и при таких товарках.

— Да, знаешь...— задумчиво говорит он.

Часы под стеклянным колпаком, заветные часы, которые стоят на шкафчике между амуром с молоточком и стеклянной птицей, торопливо бьют семь раз.

— А теперь быстро, мальчуган! Нам еще вниз, в лавку надо, купить чего-нибудь к ужину и на завтра. А потом мне еще любопытно посмотреть так называемую кухню!

Супруги Пиннеберг делают свой первый визит.
Фрау Шаренхефер плачет, а свадебные часы бьют и бьют

Ужин окончен, ужин, купленный и приготовленный Киской, оживленный ее болтовней, заполненный планами на будущее совершенно преобразившейся Киски. К ужину были бутерброды и чай.

Пиннеберг предпочел бы пиво, но Киска категорически заявила:

— Во-первых, чай дешевле. А во-вторых, пиво совсем не полезно для Малышонка. До родов мы спиртного в рот не возьмем. Да и вообще...

«Мы», — грустно подумал Пиннеберг, но спросил только:

— Что «вообще»?

— И вообще мы только сегодня вечером так роскошествуем. Два раза в неделю, по меньшей мере, будем обходиться жареной картошкой и хлебом с маргарином. А сливочное масло... Ну, разве что по воскресеньям. В маргарине тоже есть витамины.

— Есть, да не те.

— Как тебе угодно, или мы будем выбиваться в люди, или понемножку проживем то, что отложено.

— Нет, ни в коем случае, — быстро сказал он.

— Так, а теперь уберем посуду. Вымыть можно и завтра утром. А потом я соберу первую партию, и мы отправимся к фрау Шаренхефер. Так будет приличнее.

— Ты и вправду хочешь сразу же в первый вечер?..

— Да, в первый же вечер. Надо уже сегодня поставить ее в известность. Между прочим, ей давно бы следовало самой пожаловать.

В кухне, а кухня и вправду чердак с газовой плиткой, Киска еще раз повторила:

— В конце концов полтора месяца не так уж долго.

Вернувшись в комнату, она развила кипучую деятельность. Сняла все скатерки и вязаные салфеточки и аккуратненько сложила их вместе.

— Быстро, миленький, принеси из кухни блюдо. Пусть не думает, что мы зажилили ее булавки.

Наконец все собрано.

— Так.

Она берет под мышку сверток со скатерками, осматривается:

— А ты, мальчуган, возьмишь часы.

Он все еще колеблется:

— Ты действительно хочешь, чтобы я...

— Ты возьмешь часы. Я пойду вперед и буду открывать двери.

Она в самом деле идет вперед, бесстрашно входит сперва в переднюю, затем в помещение, похожее на чулан, где стоят веники и всякий хлам, затем в кухню...

— Вот это кухня так кухня! Но сюда мне разрешается только ходить за водой.

...затем в спальню, с двумя кроватями, длинную и узкую, как полотенце...

— Это она кровать своего покойного мужа не убрала?! Ну, что же, все лучше, чем если бы она ее к нам поставила.

...а затем в небольшую комнатку, почти совсем темную — единственное окно завешено тяжелыми плюшевыми портьерами.

Фрау Пиннеберг остановилась в дверях, робко сказала в темноту:

— Добрый вечер. Мы пришли пожелать вам доброго вечера.

— Минуточку, — отозвался кто-то жалобным голосом. — Минуточку, я сейчас зажгу свет.

За Кискиной спиной возится у стола Пиннеберг, она слышит, как тихонько зазвенели драгоценные часы. Он, верно, постарался поскорее от них избавиться.

«Все мужчины трусы», — тут же решила Киска.

— Сейчас зажгу свет, — слышится жалобный голос все из того же угла. — Вы ко мне, мои молодые друзья? Я сейчас приведу себя в порядок; по вечерам я люблю поплакать...

— Неужели? — спрашивает Киска. — Но если мы некстати... Мы только хотели...

— Нет, нет, сейчас я зажгу свет. Не уходите, мои молодые друзья. Я расскажу вам, почему я плакала, и сейчас дам свет...

И действительно, появился свет, или, вернее, то, что старая фрау Шаренхефер назвала светом: слабая лампочка под потолком, тусклые сумерки, в которых бледными, мертвенно-серыми пятнами мутнеют бархат и плюш. И в этом неясном свете — высокая костлявая женщина в сером шерстяном платье, бледная с длинным красным носом, с заплаканными глазами, с жидкими косицами седых волос.

— Мои молодые друзья,— повторяет она и подает Киске влажную костлявую руку.— Вы ко мне! Ко мне, мои молодые друзья?

Киска прижимает покрепче к себе сверток со скатерками. Только бы старуха не заметила, только бы не рассмотрела его своими тусклыми, заплаканными глазами. Как хорошо, что Ганнес поставил часы, пожалуй, потом можно будет незаметно унести их обратно. Кискиной решимости как не бывало.

— Мы, правда, не хотели вас беспокоить,— говорит Киска.

— Какое там беспокойство! Ко мне теперь уже никто не ходит. Вот когда еще мой дорогой муж в живых был! Но это и лучше, что его уже нет в живых!

— Он был тяжело болен? — спрашивает Киска и сама пугается своего глупого вопроса.

Но старуха не слушает.

— Видите ли, мои молодые друзья,— говорит она,— перед войной у нас было ни много ни мало пятьдесят тысяч марок. И вдруг деньги кончились. Как могли деньги кончиться? Не могла же я, старая женщина, столько истратить?

— Сейчас инфляция,— осторожно замечает Пиннеберг.

— Не могли все деньги кончиться,— твердит свое старуха, не слушая его.— Вот я и считаю. Написано: фунт масла три тысячи марок... Разве может фунт масла стоить три тысячи марок?

— Во время инфляции...— заикается было Киска.

— Вам я скажу. Теперь я знаю: деньги украли. Кто-то из квартирантов. Вот я и раздумываю: кто? Но фамилий мне не запомнить, с начала войны здесь столько народу перебивало. Вот я и ломаю себе голову. Одно ясно — жулик был очень умный; чтобы я ничего не заметила, он подделал мою расходную книгу: взял и приписал к тройке три нуля, а я не заметила.

Киска в полном отчаянии смотрит на Пиннеберга. Пиннеберг не поднимает головы.

— Пятьдесят тысяч... Ну как могли кончиться пятьдесят тысяч? Я считала и пересчитывала все, что купила с тех пор, как умер муж, чулки купила, несколько рубашек; за мной хорошее приданое дали, много покупать не пришлось, все у меня записано. И на пять тысяч не купила, уверяю вас...

— Но ведь деньги обесценены,— снова пытается вставить Киска.

— Ограбили меня,— жалуется старуха, и светлые слезы обильно текут из ее глаз.— Я вам и книги покажу, я заметила, цифры совсем другие, столько нолей.

Она встает и идет к секретеру из красного дерева.

— Право же, не стоит,— уверяют ее супруги Пиннеберг.

И вдруг — о ужас! — часы, которые Пиннеберг оставил в спальне старухи, торопливо и звонко пробили девять.

Старуха остановилась на полдороге. Подняла голову, всматривается в темноту, прислушивается, полуоткрыв рот, губы ее дрожат.

— Что это? — испуганно спрашивает она.

Киска схватила Ганнеса за руку.

— Это свадебный подарок моего мужа. Они же всегда стояли там, а не здесь...

Часы перестали бить.

— Мы хотели вас попросить, фрау Шаренкефер,— начинает Киска.

Но старуха не слушает, возможно, она вообще не слушает, что говорит собеседник. Она открывает притворенную дверь: на столе стоят часы, ясно видные даже при таком слабом свете.

— Они принесли мне часы,— шепчет старуха.— Свадебный подарок моего мужа. Им у меня не нравятся, они не останутся. Никто здесь не остается...

И не успела она окончить, как часы опять зазвонили, и как будто еще торопливее, еще звонче, раз, другой, десять, пятнадцать, двадцать, тридцать.

— Это от переноски. Их уже нельзя переносить.— шепчет Пиннеберг.

— О господи, уйдем поскорее,— просит Киска.

Они поднимаются. Но в дверях стоит старуха, не пропускает их, смотрит на часы.

— Бьют,— шепчет она.— Бьют и бьют. А потом перестанут бить, навсегда. Я последний раз слышу их бой. Все уходит. Деньги ушли. Когда часы били, я всегда думала: мой покойный муж слышал их бой...

Часы остановились.

— Простите, пожалуйста, фрау Шаренкефер, мне очень жаль, что я притронулся к вашим часам,

— Я виновата, я одна во всем виновата,— рыдает Киска.

— Ступайте, ступайте, мои молодые друзья. Так должно быть. Желаю вам спокойной ночи.

Перепуганные, притихшие, как дети, Пиннеберги проскользнули мимо нее.

Неожиданно старуха отчетливо и громко крикнула им вслед:

— Не забудьте в понедельник сходить в полицию! А то мне будут неприятности.

Завеса таинственности приподнимается. Бергман и Клейнгольц.
Почему Пиннебергу нельзя быть женатым

Ганнес и Киска сами не знали, как добрались до своей комнаты, как прошли через все эти темные, заставленные вещами, помещения, держась за руки, будто дети, которым страшно. И вот они стоят, прижавшись друг к дружке, в темноте, у себя в комнате, тоже какой-то призрачной. Им чудится, будто свет не захочет ярко гореть, будто и здесь он окажется таким же тусклым, как жалкий свет рядом, у старухи хозяйки.

— Какой ужас,— говорит Киска и глубоко вздыхает.

— Да,— соглашается он. И спустя немного повторяет: — Да. Она помешалась, Киска, помешалась из-за своих денег.

— Да, она помешанная. И я...— они все еще стоят в темноте, держась за руки,— и я целый день буду одна в квартире, и она в любую минуту может войти. Нет! Нет!

— Успокойся, Киска. В тот раз она совсем другая была. Может, это только сегодня так...

— «Мои молодые друзья...» — повторяет Киска.— Она это так противно говорила, словно мы еще чего-то не знаем. Слушай, миленький, я не хочу стать такой, как она! Ведь я не буду такой, правда? Мне страшно.

— Но ведь ты моя Киска,— говорит он и обнимает ее. Она такая беспомощная, такая большая и беспомощная, и она ищет у него защиты.— Ты Кисанька, и всегда будешь Кисанькой, ну, как можешь ты стать такой, как старуха Шаренхер!

— Правда? И для Малышонка нехорошо, чтобы я тут жила. Ему вредно пугаться, его мама всегда должна быть веселой, тогда и он будет веселым.

— Да-да, все уладится, все образуется,— говорит он и гладит и баюкает ее.

— Ты так говоришь. Но ты же не обещаешь, что мы съедем. Сразу же съедем!

— Как же это можно? Ведь у нас нет денег, чтобы полтора месяца платить за две квартиры.

— Ах, эти деньги! Неужели из-за каких-то там денег я буду жить в вечном страхе, а Малышок родится уродом?

— Вот именно, ах, эти деньги! — говорит он. — Проклятые деньги. Милые деньги.

Он баюкает ее в своих объятиях. И вдруг он ощущает себя старым и мудрым, то, что раньше казалось важным, теперь уже не кажется важным. Он может быть честным.

— У меня, Киска, нет особых талантов, — говорит он. — Я ничего не добьюсь, мы вечно будем нуждаться в деньгах.

— Милый, милый ты мой! — говорит она певучим голосом.

Ветер колышет белые занавески на окнах. Комната оварена ласковым светом. Влекомые таинственной силой, идут они, обнявшись, к открытому окну и высовываются из него.

Поля залиты лунным светом. Далеко справа поблескивает мерцающая точка: последний газовый фонарь на Полевой улице. А перед ними раскинулись поля: пятна ласкового света, красиво перемежающиеся мягкой глубокой тенью там, где деревья. Тишина такая, что даже здесь, наверху, слышно, как плещется о камни Штрела. И ночной ветерок нежно касается лба.

— Какая красота, — говорит она. — Какой покой.

— Да, — вторит он. — Тут действительно набираешься сил. Дыши полной грудью, здесь не то, что у вас в Плаце.

— У вас... я уже не в Плаце, я уже оторвалась от Плаца, я на Зеленом Конце, у вдовы Шаренхерфер...

— Только у нее?

— Только у тебя!

— Сойдем вниз?

— Не сейчас, милый, давай побудем еще немного здесь. Мне надо тебя о чем-то спросить.

«Теперь держись», — думает он.

Но она ни о чем не спрашивает. Она высунулась из

окна, ветер треплет ее светлые волосы, путает пряди на лбу. Пиннеберг следит за его игрой.

— Какой покой,— повторяет Киска.

— Да,— соглашается он. И потом прибавляет: — Пора в постель, Киска.

— Давай посидим еще немножко! Завтра воскресенье, можно поспать подольше. А потом я еще хочу тебя спросить.

— Ну так спрашивай! — В голосе его слышится раздражение. Он берет сигарету, осторожно закуривает, затягивается и опять, но уже гораздо мягче, говорит: — Спрашивай, Киска!

— А сам не скажешь?

— Но я не знаю, о чем ты хочешь спросить.

— Знаешь,— говорит она.

— Право же, не знаю, Киска...

— Знаешь.

— Киска, прошу тебя, не дури. Спрашивай!

— Знаешь.

— Ну, как тебе угодно! — Он обижен.

— Мальчуган,— говорит она,— мальчуган, помнишь, как мы в Плаце сидели на кухне? В день нашей помолвки? Было совсем темно и столько звезд, и мы вышли на балкон.

— Ну да, знаю, знаю,— недовольно ворчит он. — А дальше что?..

— Ты не помнишь, о чем мы тогда говорили?

— Ну, знаешь, о чем только мы тогда не трепались! Разве я могу помнить!

— Но мы говорили о чем-то очень определенном. И не только говорили, но и договорились.

— Не помню,— отрезает он.

Итак, перед глазами фрау Эммы Пиннеберг, урожденной Мершель, раскинулись освещенные луною поля. Справа мигает газовый фонарик. А напротив, еще на этом берегу Штрелы, растет группа деревьев, пять или шесть. Плещется Штрела, ночной ветерок такой хороший.

Вообще все такое хорошее, и, пожалуй, не стоит портить этот вечер: он такой хороший. Но что-то не дает Киске покоя, гложет ее, словно внутренний голос твердит: это иллюзия, самообман, все совсем не так уж хорошо. Успокойсь на том, что все хорошо, а потом вдруг окажется, что по уши окунулась в грязь.

Киска быстрым движением отворачивается от окна и говорит:

— И все же до одного мы договорились. Мы твердо обещали всегда быть честными по отношению друг к другу и не иметь секретов.

— Извини, это не совсем так. Это ты обещала.

— А ты не хочешь быть честным?

— Конечно, хочу. Но есть вещи, о которых женщинам не надо знать.

— Так,— говорит Киска. Она совсем подавлена, но она быстро берет себя в руки.— А то, что ты дал шоферу пять марок, когда по счетчику следовало всего две сорок, такие вещи нам, женщинам, не надо знать?

— Ведь он же принес наверх корзину и портплед!

— И за это две марки шестьдесят? А почему ты держал правую руку в кармане, чтобы не было видно кольца? А почему верх у машины был поднят? А почему ты не спустился со мной в лавку? А почему люди должны обижаться на то, что мы поженились? А почему?..

— Киска, пожалуйста,— просит он,— Киска, мне очень не хотелось бы...

— Все это вздор, Ганнес, у тебя не должно быть от меня секретов. Раз уже завелись секреты, начнется и обман, и пойдет такая же жизнь, как у всех.

— Верно, Киска, но...

— Ты мне все можешь сказать, родненький, все! Я не так наивна, как ты думаешь. Упрекать тебя я не стану.

— Да-а, Киска, знаешь, не так-то это просто. Я бы и хотел, но... Это выглядит так глупо, это звучит так...

— Тут замешана девушка? — напрямик спрашивает она.

— Нет, нет. Или все-таки да, но совсем не так, как ты думаешь.

— В чем же дело? Расскажи, мальчуган. Я страшно заинтригована.

— Хорошо, Киска, изволь.— Но он опять медлит.— А нельзя завтра?

— Нет, сегодня! Сию же минуту! Ты думаешь, я засну, если у меня это из головы не выходит? Тут замешана девушка, и в то же время девушка тут ни при чем... Это звучит очень таинственно.

— Будь по-твоему, слушай. Начну с Бергмана, ты знаешь, раньше я служил здесь у Бергмана.

— В магазине готового платья, знаю. И, по-моему, готовое платье куда приятнее картофеля и удобрений. Удобрения... вы и самый настоящий навоз продаете?

— Знаешь, Киска, если ты еще надо мной издеваться станешь...

— Ну, хорошо, слушаю.— Она сидит на подоконнике и смотрит то на своего Ганнеса, то на залитые лунным светом поля. Теперь она опять может смотреть на них. Все опять по-настоящему хорошо.

— Значит, у Бергмана я был старшим продавцом на жалованье в сто семьдесят марок...

— Старший продавец — и сто семьдесят марок?!

— Помолчи, пожалуйста! Мне часто приходилось обслуживать Эмиля Клейнгольца. Он постоянно покупал у нас костюмы, Знаешь, он пьет, для пользы дела, с крестьянами и помещиками. А пить не умеет. Вот потом и валяется на улице, и костюм никуда.

— Фу! А какой он?

— Да ты слушай. Значит, мне часто приходилось его обслуживать, хозяйин да и хозяйка редко имели с ним дело. Если меня тут не было, им ничего не удавалось ему навязать, а я всегда умел ему угодить. И вечно он меня уговаривал, взялся бы я за ум и плюнул на эту еврейскую лавочку... вот у него чисто арийская фирма, и место бухгалтера есть, и заработаю я у него больше... Я думал: болтай себе на здоровье! Здесь я по крайней мере знаю, что имею, и Бергман совсем не плохой человек, всегда вежлив со служащими.

— Так почему же ты все-таки ушел к Клейнгольцу?

— Ах, из-за ерунды! Знаешь, Киска, здесь в Духерове такой порядок: каждая фирма посылает на почту за утренней корреспонденцией ученика. Другие фирмы, торгующие тем же товаром, что и мы — Штерн, Нейвирт и Мозес Минден, — тоже посылают. Ученикам строго-настрого запрещено показывать друг другу корреспонденцию. Они обязаны тут же тщательно зачеркнуть на конверте адрес отправителя, чтобы конкурент не узнал, кто наш поставщик. Но ученики — все приятели еще с училища, вот они и болтают друг с другом и забывают зачеркивать. А некоторые хозяева — и в первую голову Мозес Минден — даже подучивают их подсматривать и выведывать.

— Как в таком маленьком городке все мелко! — говорит Киска.

— Э, в большом тоже не лучше. Тут как-то рейхс-баннеру потребовалось триста штурмовок. И все мы — четыре магазина готового платья — получили запрос об имеющемся товаре. Мы знали, что конкуренты постараются пронюхать, во что бы то ни стало узнать, откуда мы получаем образцы. И так как мы не доверяем ученикам, я сказал Бергману: «Я сам пойду, эти дни я сам буду ходить за корреспонденцией».

— Ну и что? Выведали? — любопытно интересуется Киска.

— Нет, разумеется, нет, — Пиннеберг оскорблен в своих лучших чувствах. — Если кто-нибудь из учеников, пусть даже за десять шагов, коснулся на мои конверты, он тут же получал затрещину. Заказ достался нам.

— Ах, милый, да когда же наконец ты скажешь о девушке, которая не то, что я думаю! Из-за чего ты все-таки ушел от Бергмана?

— Да ведь я уже сказал: из-за ерунды, — не очень-то уверенно говорит он. — Две недели я сам ходил за корреспонденцией. И это очень понравилось хозяйке — от восьми до девяти мне в магазине делать нечего, а ученики вычистят в мое отсутствие товар. Вот она и заявила: «Пусть теперь господин Пиннеберг всегда ходит на почту». А я сказал: «Нет, как это возможно? Я старший продавец, не буду я по городу с письмами бегать». А она сказала: «Будете!» — а я сказал: «Нет». И в конце концов мы оба разошлись, и я сказал ей: «Вы вообще не можете мне приказывать, меня нанимал хозяин!»

— А что сказал хозяин?

— Что он мог сказать? Не мог же он идти против жены? Он меня уговаривал. Я стоял на своем, тогда он замялся и сказал: «Что же, придется нам расстаться, господин Пиннеберг!» А я сказал, — очень уж я был взвинчен: «Отлично, первого числа следующего месяца мы расстанемся». А он сказал: «Вы-таки одумаетесь, господин Пиннеберг». И я бы еще одумался, но, как нарочно, в тот же день в магазин пришел Клейнгольц и заметил, что я взволнован, и все от меня выведал, и тут же пригласил зайти вечером к нему. Угостил коньяком и пивом, и, когда я вернулся от него домой, все уже было кончено: я принял предложение работать у него бухгалтером с жалованьем в сто восемьдесят марок. А я ничего толком в настоящей бухгалтерии не емыслил.

— Ох, милый! Ну, а прежний хозяин, Бергман? Что он сказал?

— Он был огорчен. Уговаривал. Все время твердил: «Откажитесь, Пиннеберг. Нельзя же с открытыми глазами в петлю лезть?! Неужели вы хотите на его дочке жениться, когда сыночек того и гляди доведет своего тателе до белой горячки. А дочка еще хуже братца».

— Он так и сказал — тателе?

— Понимаешь, здесь еще есть старые правоверные евреи. Они нисколько не стесняются того, что они евреи, даже наоборот. Бергман часто говорил: «Не будь подлецом, ты ведь еврей!»

— Я евреев не очень-то люблю, — говорит Киска. — А что у них с дочкой?

— Представь себе, тут-то и зарыта собака. Четыре года прожил я в Духерове и не знал, что Клейнгольц хочет во что бы то ни стало сбыть дочь с рук. И мать хороша, — вечно в какой-то вязаной кофте по всему дому шлепает и целый день ругается, а уж дочь и того чище, ее, стерву, Мари зовут!

— И ты, бедненький мой, предназначался ей в мужья?

— Я и сейчас предназначаюсь ей в мужья, Киска! Клейнгольц держит только холостых служащих, нас у него трое, но за мной они больше всего охотятся.

— А сколько лет этой Мари?

— Не знаю, — коротко ответил он. — Впрочем, нет, знаю: тридцать два. А может, и все тридцать три. Неважно. Я же на ней не женюсь.

— Ох ты, мой бедненький. Да разве это возможно: ему двадцать три, а ей тридцать три! — сокрушается Киска.

— Почему невозможно? Очень даже возможно, — сердито говорит он, — и попробуй только надо мной издеваться, чтоб я тебе тогда еще хоть раз что сказал... И заикаться не смей.

— Да я же не издеваюсь... Но, знаешь, мальчуган, ты должен согласиться, что это все-таки смешно. Она хорошая партия?

— В том-то и дело, что нет. Торговля не так уж доходна. Старик Клейнгольц слишком много пьет, а кроме того, покупает слишком дорого, а продает слишком дешево. Торговля достанется сыну, ему сейчас только десять лет. А Мари достанутся всего несколько тысяч

марок, да и то еще неизвестно, достанутся ли, вот потому никто до сих пор и не клюнул.

— Так вот оно что,— говорит Киска.— И это ты хотел от меня скрыть? Потому и обвенчался тайком, потому и верх на машине велел поднять и руку с обручальным кольцом в кармане держал?

— Ну да, все потому. Господи боже мой, Киска, если станет известно, что я женат, мать с дочерью через неделю меня выживут. А тогда как быть?

— Тогда опять поступишь к Бергману!

— Об этом и думать нечего! Видишь ли,— он мнется, но потом все же продолжает: — Бергман мне наперед сказал, что с Клейнгольцем у нас дело не сладится. И говорил: «Пиннеберг, вы вернетесь ко мне! Куда вам в Духерове податься? Только к Бергману! Да,—сказал он,—вы вернетесь ко мне, Пиннеберг, и я вас возьму. Но сперва вы мне поклоняетесь; месяц по крайней мере ходите на биржу труда и ко мне — кланяться, чтобы я взял вас на работу. За такой бессовестный поступок полагается наказание!» Вот что сказал Бергман, не могу же я после этого опять к нему. Ни за что, ни за что этого не сделаю.

— Но если он прав? Ты же сам видишь, что он прав?

— Киска, милая Киска, не проси, никогда не проси меня об этом,— умоляюще говорит он.— Да, он, конечно, прав, и я свалил дурака, и оттого, что я ходил бы за почтой, меня нисколько не убыло бы. Если ты меня будешь очень просить, я пойду к Бергману, и он возьмет меня обратно. А жозьяка и другой продавец, Мамлок, этот дурак, будут вечно меня колоть, и я этого тебе никогда не прощу.

— Нет, нет, не буду просить, как-нибудь уладится. А ты не думаешь, что даже если мы будем очень осторожны, это все-таки станет известно?

— Нельзя, чтобы стало известно! Нельзя. Я все устроил так, чтобы никто не узнал: мы живем за городом, а в городе нас никогда не увидят вместе, а если мы случайно встретимся, мы не поздороваемся.

Киска минутку молчит, но потом говорит:

— Все-таки долго здесь жить нельзя. С этим-то ты согласен?

— Попробуй, Киска,— просит он.— Пока хотя бы две недели, до первого. Раньше первого мы ведь не можем отказаться.

Она соглашается не сразу. Она всматривается в их манеж, но теперь там ничего нельзя различить,—слишком темно. Потом вздыхает:

— Хорошо, милый, попробую. Но ты сам понимаешь, это продолжаться не может, здесь мы никогда, никогда не будем счастливы!

— Спасибо, спасибо,—говорит он.— А остальное все устроится, должно устроиться. Все, что угодно, только не безработица.

— Да, только не безработица! — соглашается и она. А затем они еще раз смотрят в окно на поля, на тихие, залитые лунным светом поля, и ложатся спать. Завешивать окна не нужно. Напротив никто не живет. И им кажется, что сквозь сон они слышат тихий плеск Штрелы.

Что мы будем есть? С кем нам можно танцевать?
Надо ли нам теперь пожениться?

В понедельник Пиннеберги сидят за утренним кофе, глаза у Киски блестят.

— Ну, значит, сегодня примусь по-настоящему! — И, окинув взглядом «комнату ужасов», добавляет: — Я с этим старым хламом расправлюсь! — Затем, посмотрев в чашку: — Как тебе нравится кофе? Двадцать пять процентов настоящего.

— Ну, раз уж ты хочешь знать...

— Ведь мы же решили наводить экономию...

В ответ на это Пиннеберг заявляет, что по утрам он всегда позволял себе «настоящий» кофе. А она разъясняет ему, что на двоих надо больше денег, чем на одного. А он говорит, что всегда слышал, будто одному жить дороже, что питаться дома двоим дешевле, чем одному в ресторане.

Завязывается долгий спор, но вдруг Пиннеберг спохватывается:

— Черт возьми! Мне пора!

Она провожает его до двери. Он уже почти сошел вниз, и тут Эмма зовет его:

— Мальчуган, мальчуган, стой! Что мы сегодня будем есть?

— Что хочешь! — кричит он в ответ.

— Нет, скажи, скажи, пожалуйста! Я же не знаю...

— Я тоже не знаю! — Дверь захлопнулась.

Она бросается к окну. Он уже на улице. Сперва он машет рукой, потом платком, а она до тех пор не отходит от окна, пока он не миновал фонарь и не исчез за углом желтоватого дома. Теперь Киска впервые за свою двадцатидвухлетнюю жизнь сама располагает своим утром, своей квартирой, сама должна придумать меню. Она приступает к работе.

А Пиннеберг встретил на углу главной улицы Кранца, секретаря муниципалитета, и вежливо с ним поздоровался, И вдруг вспомнил: он приподнял шляпу правой рукой, а на правой руке кольцо. Надо надеяться, что Кранц не заметил. Пиннеберг снял кольцо и заботливо спрятал его в «потайной» карманчик бумажника. Это, конечно, неприятно, но раз надо, так надо...

* Тем временем у его работодателя Эмиля Клейнгольца тоже проснулись: Пробуждение в их семье обычно приносит мало радости: уже с утра все в плохом настроении и, едва протерев глаза, начинают высказывать друг другу горькие истины. А по понедельникам утро особенно тягостно: в воскресенье вечером папаша склонен повеселиться, за что и расплачивается при пробуждении.

Ибо фрау Эмилия Клейнгольц не из кротких, она укротила своего Эмиля настолько, насколько супруга вообще можно укротить. И последнее время все было в порядке; в воскресенье вечером Эмилия попросту запирала входную дверь, к ужину ставила перед мужем бутылку пива, а затем с помощью коньяка держала его в узде. Тогда и вправду получалось что-то вроде семейного уюта, мальчишка потихоньку хныкал где-нибудь в уголке (у мальчишки глаза на мокром месте), женщины сидели за рукоделием (готовили Мари приданое), а отец читал газету и время от времени просил: «Нацеди-ка еще одну, мать». На что фрау Клейнгольц неизменно отвечала: «Подумай о мальчишке, отец!» Но потом все же нацеживала еще одну, а иногда и нет, смотря по состоянию супруга.

Так прошел и этот воскресный вечер, и к десяти часам все улеглись.

В одиннадцать фрау Клейнгольц проснулась, в комнате темно, она прислушалась. Услышала, как в соседней комнате стонет дочка Мари (она часто стонет во сне), услышала, как в ногах отцовской кровати сопит сын, только отцовского храпа не хватало в семейном хоре.

Фрау Клейнгольц сунула руку под подушку: ключ от входной двери на месте. Фрау Клейнгольц зажгла свет: мужа нет на месте. Фрау Клейнгольц встала, фрау Клейнгольц обошла квартиру, фрау Клейнгольц прошла в погреб, фрау Клейнгольц вышла во двор (уборная во дворе): нигде нет. В конце концов она заметила, что в кабинете одно из окон только притворено, а она отлично помнила, что закрыла его. Такие вещи она всегда отлично помнит.

И вот фрау Клейнгольц — воплощение кипящей, шипящей злобы: четверть бутылки коньяку, бутылка пива, и все напрасно! Она кое-как оделась, набросила на плечи стеганый лиловый халат и отправилась на поиски мужа. Уж конечно, он в трактире у Брюна, пошел выпить.

Торговая контора Клейнгольцев на Базарной площади — старая солидная фирма. Ею владеет уже третье поколение. Это зарекомендовавшая себя, пользующаяся доверием фирма, у которой триста старых клиентов — крестьян и помещиков. Если Эмиль Клейнгольц сказал: «Франц, удобрение хорошее», Франц уже не интересуется составом, он покупает и может быть спокоен: удобрение действительно хорошее.

Однако в такой торговле есть одно «но». Сделку надо вспрыснуть, по самой природе своей эта торговля требует поливки. Требуется выпивки. Каждый вагон картофеля, каждая накладная, каждый счет омываются пивом, водкой, коньяком. В этом еще нет большой беды, если у тебя жена добрая и хозяйственная, если дома уют, в семье мир и лад, но это очень большая беда, если жена вечно ругается.

Фрау Эмилия Клейнгольц начала ругаться с первого же дня. Она сама знала, что не следует, но она была честолюбива, она вышла замуж за красивого, состоятельного человека, она, бедная девушка, без гроша в кармане, вырвала его у других. И теперь, после тридцати четырех лет замужества, как и в первый день, с остервенением боролась за него.

Итак, в туфлях на босу ногу и в халате шлепает она на угол к Брюну. Мужа там нет. Она могла бы вежливо спросить, заходил ли туда ее муж, но вежливости ей от природы не отпущено, она раздражается бранью: трактирщики такие мерзавцы, дают пьяницам пить, она на него донесет, он спаивает народ.

Старик Брюн, крупный мужчина с окладистой бородой, собственноручно выпроваживает ее за дверь, она корчится от ярости, но у него железная хватка.

— Так-то, дамочка,— говорит он.

Фрау Клейнгольц на улице, на плохо вымощенной Базарной площади провинциального города, вокруг двухэтажные дома, фронтоны, двухскатные кровли, окна все темные, занавешенные. Только газовые фонари поблескивают да подмигивают.

Что же теперь — домой? Нет, она не таковская! Чтобы Эмиль потом целый день издевался, дурой ее считал: искала мужа и не нашла. Нет, она должна его найти, должна извлечь, даже если попойка в самом разгаре, даже если вся компания перепилась — даже если там пир горой!

Пир горой!

И вдруг ее осенило: сегодня в «Тиволи» танцы, Эмиль там.

Он там! Он там!

И в чем была, в шлепанцах и в халате, она тащится чуть ли не через весь город в «Тиволи», кассир общества «Гармония» хочет получить с нее марку за вход, она только спрашивает: «А по морде не хочешь?»

И кассир уже ничего от нее не хочет.

И вот она в танцевальном зале, пока еще она сдерживается, стоит за колонной, но вдруг стервенеет: ее муж, красавец с окладистой русой бородой, танцует, если только можно назвать танцами эту пьяную толкотню, с какой-то молоденькой чернявой мерзавкой, которую она даже не знает. Распорядитель удерживает фрау Клейнгольц:

— Сударыня, сударыня, прошу вас!

Но для него уже ясно: это стихийное бедствие, ураган, извержение вулкана, люди тут бессильны. И он отступает. Между рядами танцующих открывается проход, и между двумя людскими стенами она надвигается на одну пару, которая, не чуя грозы, и притопывает и прихлопывает.

Она тут же отвешивает мужу оплеуху.

— Ой, крошка моя! — вскрикивает он, еще ничего не понимая. Но потом понимает...

Она знает: теперь надо ретироваться, ретироваться с достоинством, с полным самообладанием. Она берет его под руку:

— Пора, Эмиль, идем.

И он идет. Посрамленный, тащится он за женой из зала, как большой побитый пес, оглядывается еще раз на свою миловидную, кроткую брюнеточку, работницу со штосселевской багетной фабрики; жизнь ее не очень-то баловала, и она так радовалась, что подцепила денежного кавалера и ловкого танцора. Он уходит, она уходит. Неожиданно на улице оказывается машина. Что в таких случаях лучше всего тут же вызвать по телефону такси, уж это-то председатель общества «Гармония» отлично понимает.

В машине Эмиль Клейнгольц крепко засыпает, он не просыпается и тогда, когда жена с помощью шофера втаскивает его в дом и укладывает в постель, в ненавистную супружескую постель, которую он ровно два часа назад покинул, предприимчиво пустившись на поиски развлечений. Он спит. А жена выключает свет и лежит некоторое время в темноте, потом опять включает свет и смотрит на мужа, на своего красивого, распутного, русоволосого мужа. За вспухшим бледным лицом ей видится прежний Эмиль, Эмиль той поры, когда он за ней ухаживал, такой был веселый шельмец, такой озорник и охальник, все было ему нипочем: и за грудь лапал — не спрашивал, и по физиономии за это получал — не обижался...

И в меру мыслительных способностей, отпущенных природою ее глупому птичьему мозгу, она размышляет о пройденном ею с тех пор пути — двое детей, сварливая дочь и плаксивый, невзрачный сын. Торговое дело, наполовину промотанное беспутным мужем, — а она? Она что?

Да, в конце концов ей остается только плакать, а плакать можно и в темноте, по крайности сэкономить на освещении, — ведь деньги так и летят. И вдруг ей приходит на ум, что сегодня за два часа он тоже, должно быть, немало прокутил, и она снова включает свет и принимается за обследование его бумажника, и считает и пересчитывает. И опять, уже в темноте, дает себе слово с завтрашнего дня быть с ним ласковей, и вздыхает, и причитает: «Нет, теперь уже не поможет. Надо его окончательно к рукам прибрать!»

А потом опять плачет и в конце концов засыпает, — ведь в конце концов всегда засыпашь и после зубной

боли, и после родов, и после ссоры, и после большой радости — увы! — такой редкой.

Затем следует первое пробуждение — в пять утра она быстро отдает приказчику ключ от ларя с овсом, а потом — второе, в шесть, когда служанка стучится в дверь и просит ключ от кладовой. Еще час сна! Еще час покоя! И затем третье, окончательное пробуждение — без четверти семь, сыну пора в школу, а муж все еще спит. В четверть восьмого она снова заглядывает в спальню — муж уже не спит, мужа рвет.

— Так тебе и надо, опять наакался,— говорит она и уходит.

Затем он появляется к утреннему кофе, мрачный, примолкший, растрепанный.

— Подай селедку, Мари! — только и говорит он.

— Постыдился бы, отец, так распутничать,— язвительно замечает Мари, уходя за селедкой.

— Черт меня побери! — свирепеет отец.— Давно пора ее с рук сбыть!

— Твоя правда, отец,— вторит ему жена.— Что ты зря трех дармоедов кормишь?

— Пиннеберг самый подходящий. Пусть Пиннеберг и действует,— говорит Клейнгольц.

— Конечно. Только надо его подстегнуть.

— Об этом уж я позабочусь,— отвечает муж.

С этими словами работодатель Иоганнеса Пиннеберга, кормилец, в руках которого благополучие всей семьи: и миленького, и Киски, и еще не родившегося Малыша, уходит в контору.

Измывательство начинается. Нацист Лаутербах, демонический Шульц и тайный супруг попадают в беду

Из всех служащих первым в контору пришел Лаутербах: без пяти восемь. Но не от усердия — от скуки. Этот коренастый светло-русый парень с красными ручищами прежде был сельскохозяйственным служащим. Но в деревне ему не понравилось. Лаутербах перебрался в город. Лаутербах перебрался в Духеров, к Эмилю Клейнгольцу в качестве своего рода специалиста по семенам и удобрениям. Крестьяне не слишком-то радовались его присутствию при поставке картофеля. Лаутербах сейчас же замечал, если сорт был не тот, что по договору, если они сплутовали и подмешали к желтому картофелю сорта Индустри белый Силезский. Но, с

другой стороны, Лаутербах был не такой уж вредный. Правда, его нельзя было задобрить водкой,— водки он в рот не брал, ибо почитал себя обязанным беречь арийскую расу от алкогольного яда, ведущего к вырождению,— итак, он не пил и сигар тоже не принимал. Он хлопал мужика по плечу, да так, что только держись: «Ах ты, старый плут!» — сбавлял десять, пятнадцать, двадцать процентов, но зато — и в глазах крестьян, вто искупало все — он носил свастику, рассказывал сногшибательные еврейские анекдоты, сообщал о последних вербовочных походах штурмовых отрядов в Бурков и Лензан — словом, он был истый германец, свой парень, ненавидел евреев, французов, репарации, социалистов и КПГ. Это искупало все.

В нацисты Лаутербах пошел тоже от скуки. Выяснилось, что в Духерове, так же как и в деревне, ему нечем скрасить свои досуги. Девушки его не интересовали, кино начиналось только в восемь вечера, а обедня отходила уже к половине одиннадцатого, и, таким образом, у него оставалось много ничем не заполненного времени.

А у нацистов не соскучишься. Он быстро попал в штурмовики, в драках он проявил себя чрезвычайно рассудительным молодым человеком: он пускал в ход свои кулачищи (и то, что в данный момент было в них зажато), с чуткостью истинного художника предугадывая результаты. Лаутербах утолил свою тоску по полноценной жизни: он мог драться почти каждое воскресенье, а по вечерам иногда и в будни.

Контора была для Лаутербаха родным домом. Здесь были сослуживцы, хозяин, хозяйка, работники, мужики: всем им можно было рассказывать, что уже свершено и что еще предстояло свершить. И на праведников и на грешников изливал он поток своей тягучей, медленной речи, оживлявшейся громким гоготом слушателей, когда он изображал, как отделал советских прихвостней.

Сегодня, правда, такими подвигами он, Лаутербах, похвастаться не может, но зато они получили новый приказ, общий для всех груфов, и теперь он преподносит Пиннебергу, пунктуальному Пиннебергу, явившемуся ровно в восемь: штурмовики получили новые отличительные знаки!

— По-моему, вто просто гениально! До сих пор у нас были только номера штурмовых отрядов, знаешь,

Пиннеберг, на правой петлице вытканы арабские цифры. А теперь нам дали еще двухцветный шнур на воротник. Это просто гениально, теперь и со спины видно, к какому отряду принадлежит штурмовик. Представляешь, какое это имеет практическое значение! Например, мы, скажем, ввязались в драку, и я вижу, как один дубасит другого, я смотрю на воротник...

— Замечательно! — соглашается Пиннеберг и начинает разбирать накладные, полученные в субботу с вечерней почтой. — Что, Мюнхен 387 536 — общий заказ?

— Вагон с пшеницей? Да... И представляешь, у нашего груфа теперь на левой петлице звездочка.

— А что такое груф? — спрашивает Пиннеберг.

Но тут приходит Шульц, третий дармоед, приходит в десять минут девятого. Приходит Шульц, и сразу забыты и нацистские значки и накладные на пшеницу. Приходит Шульц, демонический Шульц, гениальный, но совсем не добродетельный Шульц; Шульц, правда, может высчитать в уме быстрее, чем Пиннеберг на бумаге, сколько стоят 285,63 центнера по 3,85 марки за центнер, но зато он бабник, отчаянный кутила, он бегаёт за каждой юбкой, ему единственному удалось поцеловать Марихен Клейнгольц, правда, так сказать, мимоходом, от щедрости сердца, и все же избежать брачных уз.

Приходит Шульц — над желтым морщинистым лбом напояженные черные кудри, большие, сверкающие черные глаза, — Шульц, духеровский модник в отутюженных брюках и черной фетровой шляпе (пятьдесят сантиметров в диаметре), Шульц, с массивными кольцами на желтых от табака пальцах, Шульц, властитель сердец всех служанок, кумир всех продавщиц, они поджидают его вечером у конторы, за счастье потанцевать с ним — ссорятся.

Приходит Шульц.

Шульц говорит:

— Здрасте!

Вешает пальто, аккуратно, на плечики, смотрит на сослуживцев сперва испытующе, затем с сожалением, затем с презрением и говорит:

— Ну, вы, как обычно, ничего не знаете?

— Какую девку ты вчера хапал-лапал? — спрашивает Лаутербах.

— Ничего вы не знаете. Ровно ничего. Сидите здесь, накладные подсчитываете, над контокорренте корпите, а тем временем...

— Что тем временем?

— Эмиль... Эмиль и Эмилия вчера вечером в «Тиволи»...

— Неужели он ее с собой потащил? Быть того не может!

Шульц садится:

— Пора бы уже и за образцы клевера приниматься. Кто ими займется, ты или Лаутербах?

— Ты!

— Клевер не по моей части, по клеверу специалист наш дорогой сельскохозяйственник. Хозяин отплясывал с брюнеточкой Фридой, что с багетной фабрики, а я на два шага сзади, и вдруг наша старуха как налетит на него. Эмилия в халате, а под халатом, должно быть, только сорочка...

— В «Тиволи»?

— Заливаешь, Шульц.

— Провалиться мне на этом месте! «Гармония» устроила в «Тиволи» семейный танцевальный вечер. Военный оркестр из Плаца — во-о! Рейхсвер — во-о! И вдруг наша Эмилия как налетит на своего Эмиля, и бац его по уху, ах ты старый пьянчуга, ах ты свинья...

К черту накладные, к черту работу! Контора Клейнгольца смакует сенсационную новость.

Лаутербах молит:

— Расскажи все сначала, Шульц. Значит, фрау Клейнгольц входит в зал... Я не совсем себе представляю... через какую это дверь? Когда ты ее заметил?

Шульц польщен.

— Что тут еще рассказывать? Ты уже все знаешь. Ну, так вот, входит она, значит, через ту дверь, что прямо из коридора, а сама такая красная, знаешь, просто багрово-малиновая... Входит, значит...

Входит Эмиль Клейнгольц, в контору, само собой. Трое служащих отскакивают друг от друга, спешат по своим местам, шуршат бумагой. Клейнгольц смотрит на них, стоит перед ними, взирает на склоненные головы.

— Вам нечего делать?! — вопит он. — Нечего делать? Так я одного уволю. Ну, кого?..

Никто не поднимает головы.

— Нужна рационализация. Где трое могут бездельничать, двое будут работать. Что вы скажете, Пиннеберг? Вы поступили последним.

Пиннеберг молчит.

— Ну, разумеется, теперь все как язык проглотили. А минуту назад... Какая у меня старуха, а? Отвечайте, старый козел, — малиновая, багровая, а? Вас, что ли; выгнать? Взять да сию же минуту и выгнать?

«Подслушивал, собака, — думают все трое, бледные от страха. — Господи, господи боже мой, что я говорил?»

— Мы вообще не о вас толковали, господин Клейнгольц, — говорит Шульц, но чуть слышно, так, бормочет себе под нос.

— Ну, а вы? Вы? — обращается Клейнгольц к Лаутербаху.

Но Лаутербах не так легко запугать, как его сослуживцев, Лаутербах принадлежит к тем немногим служащим, которым наплевать, есть у них место или нет. «Это чтобы я боялся? При моих-то лапищах? Я на всякую работу пойду, — и конюхом, и грузчиком. Подумаешь, служащий! Даже слушать противно! Только одно название!»

Итак, Лаутербах без страха смотрит в налитые кровью глаза хозяина.

— Да, господин Клейнгольц?

Клейнгольц ударяет кулаком по перегородке, так что гул идет.

— Одного из вас, дармоедов, я выгоню! Вот увидите... Но это еще не значит, что остальные могут успокоиться. Таких, как вы, хоть пруд пруди... Лаутербах, ступайте на склад и вместе с Крузе пересыпьте в мешки сто центнеров жмыхов. Тех, что от Руфиске! Нет, ступайте вы, Шульц! И вид же у вас сегодня — краше в гроб кладут, вам полезно будет поворожить мешки.

Шульц исчезает, не говоря ни слова, рад, что отделался.

— Вы, Пиннеберг, отправляйтесь на вокзал, да поторапливайтесь. Закажите на завтрашнее утро, на шесть часов, четыре двадцатитонных вагона, надо отгрузить пшеницу на мельницу. Живо!

— Слушаюсь, господин Клейнгольц, — говорит Пиннеберг и смывается. На душе у него кошки скребут. Скорее всего Эмиль только спяну болтает. И все же...

На обратном пути с товарной станции он видит на противоположной стороне улицы знакомую фигуру, знакомого человека, знакомую женщину, ее, свою жену...

Он медленно переходит через улицу на ту сторону...

Там идет Киска, в руках у нее хозяйственная сумка. Киска его не видит. Вот она остановилась у мясной лавки Брехта, рассматривает выставленный товар. Он подходит совсем близко, окидывает внимательным взглядом улицу, дома, — как будто опасности ждать неоткуда.

— Что сегодня шамать будем, дамочка? — шепчет он ей на ухо и тут же спешит отойти, оглядывается еще раз на ее засиявшее от радости личико. Ой, вдруг фрау Брехт видела из окна... она-то его знает, он всегда покупал у нее колбасу... Эх, опять он забыл о благоразумии, но что прикажете делать, если у вас такая жена. Видно, кастрюль она не купила, да, надо быть очень бережливыми...

В конторе сидит хозяин. Соло. Лаутербаха нет. Шульца нет. «Дело дрянь, — думает Пиннеберг. — Со всем дрянь!»

Но хозяин не обращает на него никакого внимания, подперев голову одной рукой, он водит пальцем другой по строчкам кассовой книги, медленно, словно читает по складам.

Пиннеберг взвешивает положение. «Самое лучшее сесть за пишущую машинку, — думает он. — Буду стучать, тогда не станет донимать разговорами».

Но Пиннеберг ошибся. Не успел он написать: «Милостивый государь, при сем прилагаем образец нашего клевера урожая нынешнего года, качество гарантировано, всхожесть девяносто пять процентов, чистота девяносто девять процентов...» — как на плечо ему ложится рука, и хозяин говорит:

— Минуточку, Пиннеберг...

— Да, господин Клейнгольц? — отзывается Пиннеберг и снимает пальцы с клавишей.

— Вы заняты предложением клевера? Предоставьте это Лаутербаху...

— Я...

— С вагонами все в порядке?

— Все в порядке, господин Клейнгольц.

— Сегодня после обеда все за работу — ссыпать пшеницу в мешки. Заставлю и моих баб тоже помогать: пусть мешки завязывают.

— Да, господин Клейнгольц.

— Мари работница хоть куда. Да и вообще она хоть куда. Красавицей ее не назовешь, а в остальном хоть куда.

— Ну, само собой, господин Клейнгольц.

Они сидят друг против друга. В разговоре наступила пауза. Господин Клейнгольц ждет воздействия своих слов— они, так сказать, проявитель, теперь должно выявиться, что запечатлелось на пластинке.

Подавленный Пиннеберг с тревогой смотрит на сидящего напротив него хозяина в грубошерстном зеленом костюме и высоких сапогах.

— Да, Пиннеберг, вы подумали? — снова начинает хозяин, и голос его звучит прочувствованно.— Ну так как же, подумали?

Перепуганный до смерти, Пиннеберг думает. Но выхода не находит.

— О чем подумал? — задает он глупый вопрос.

— Да об увольнении,—выдержав долгую паузу, произносит работодатель,— об увольнении! Будь вы на моем месте, кого бы вы уволили?

Пиннеберга бросает в жар. Вот ведь сволочь. Вот ведь свинья, как измывается над человеком!

— Этого я сказать не могу, господин Клейнгольц,— волнуясь, говорит он.— Не могу же я выступать против своих сослуживцев.

Клейнгольц наслаждается ситуацией.

— Себя бы вы не уволили, если бы вы были мною? — спрашивает он.

— Если бы я был... Сам себя? Не могу же я...

— Ну, я уверен, что вы над этим вопросом еще подумаете,— говорит Эмиль Клейнгольц и встает.— По условию я должен предупредить вас за месяц. Значит, первого сентября, а уволить первого октября, так ведь?

Клейнгольц покидает контору, идет доложить жене, как поизмывался над Пиннебергом. Глядишь, она и нацедит ему рюмочку. Очень бы сейчас кстати было.

Гороховый суп приготовлен, письмо написано, но вода оказалась слишком жидкой

С утра Киска прежде всего отправилась за покупками, только положила на подоконник подушки и перины, чтобы проветрились, и ушла за покупками. Почему он

не сказал, что готовить на обед? Она же не знает! И понятия не имеет, что он любит.

По мере размышления возможности все сужались, и в конце концов Кискина изобретательная фантазия остановилась на гороховом супе. Это просто и дешево, его можно и на второй день есть.

О, господи, хорошо девушкам, которых по-настоящему обучили готовить! Меня мать всегда прогоняла от плиты. «Ступай прочь, не умеешь, так не суйся!»

Что нужно для супа? Вода есть. Кастрюля есть. Горох? Сколько гороха? Полфунта на двоих за глаза достаточно. Горох хорошо разваривается. Соль? Зелень? Немножко сала? Да, пожалуй, на всякий случай надо взять. А мяса сколько? И прежде всего какое мясо? Говядину, конечно, говядину. Полфунта должно хватить. Горох очень питателен. А есть много мяса вредно. И, конечно, картошка.

Киска пошла за покупками. Замечательно вот так, в самый обычный будничный день, утром, когда все сидят в конторах, гулять по улице; еще совсем свежо, хотя солнце уже светит вовсю.

На Базарной площади гудит большая желтая почтовая машина. Может быть, там, за окном конторы, сидит ее мальчуган. Но он не сидит за окном, десять минут спустя он останавливается у нее за спиной и спрашивает, что они будут шамать за обедом. Жена мясника, несомненно, что-то заметила, уж очень чудно она себя держит, и за фунт костей для супа спросила тридцать пфеннигов, за голые кости, без кусочка мяса, их бы просто в придачу дать надо. Она, Киска, напишет матери и спросит, не жульничество ли это? Нет, лучше не надо, лучше она сама во всем разберется. Но его матери она должна написать. И по дороге домой она начинает сочинять письмо.

Можно подумать, будто Шаренхеферша бесплотный дух, в кухне, куда Киска ходила за водой, не заметно, чтобы там готовили или собирались готовить, все прибрано, плита холодная, и в комнате, что за кухней, не слышно ни звука. Киска ставит горох на огонь. Что, соль сразу кладется? Лучше подождать, пока сварится, вернее будет.

Ну а теперь за уборку. И трудное же это дело, еще гораздо труднее, чем Киска думала, ох, уж эти мне старые бумажные розы, гирлянды, кое-где выгоревшие, кое-

где ядовито-зеленые, выцветшая мягкая мебель, уголки, закуточки, завитушки, колонки! К половине двенадцатого надо все закончить и сесть за письмо. У миленького обеденный перерыв с двенадцати до двух, он придет без четверти час, не раньше, ему еще надо в ратушу.

Без четверти двенадцать Киска сидит за письменным столиком орехового дерева, перед ней лежит желтая почтовая бумага, оставшаяся еще с поры ее девичества.

Прежде всего адрес: «Фрау Мари Пиннеберг. Берлин. Северо-запад, 40 — Шпенерштрассе, 92,11».

Матери нужно написать, мать надо известить, когда женишься, особенно если ты единственный сын, больше того, единственный ребенок. Даже если ты ее не одобряешь, как сын не одобряешь ее образ жизни.

— Мать должна была бы стыдиться, — заявил Пиннеберг.

— Но, миленький, ведь она уже двадцать лет как овдовела!

— Все равно! Да к тому же у нее их несколько было.

— Ганнес, я у тебя тоже не первая.

— Это совсем другое дело.

— Что же тогда должен сказать Малышок, если он высчитает, когда он родился и когда мы поженились.

— Это еще совсем неизвестно, когда родится Малышок.

— Отлично известно. В начале марта.

— Как же так?

— Да, да, мальчуган! Я-то знаю. И твоей матери я напишу, это надо.

— Делай как знаешь, только я об этом больше слышать не хочу.

«Милостивая государыня», — ужасно глупо, правда? Так не пишут. «Дорогая фрау Пиннеберг». — Но ведь это же я сама, и это тоже как-то не звучит. Миленький, конечно, прочитает письмо.

«Ах, что там, — думает Киска, — или она такая, как Ганнес думает, и тогда все равно, как ни написать, или она по-настоящему славная женщина, так уж лучше напишу ей, как хотела. Итак...»

«Дорогая мама! Я ваша новая невестка Эмма, по прозвищу Киска, мы с Ганнесом обвенчались позавчера, в субботу. Мы счастливы и довольны, и были бы еще

счастливей, если бы вы порадовались вместе с нами. Нам живется хорошо, только Ганнесу, к сожалению, пришлось оставить готовое платье, теперь он работает в фирме, торгующей удобрениями, что нам не очень нравится».

Привет от

Ваших Киски и...»

Она оставляет свободное место. «Письмо ты все-таки подпишешь, миленький!»

У нее еще полчаса времени, она достает книгу, купленную у Викеля две недели тому назад: «Святое чудо материнства».

Читает, наморщив лоб: «Да, с появлением ребеночка наступают счастливые, светлые дни. Этим божественная природа примиряет с человеческим несовершенством».

Киска старается понять прочитанное, но смысл ускользает от нее, ей кажется, что это очень трудно и непосредственно к Малышонку не относится. Затем следует стишок, она медленно несколько раз перечитывает его.

О младенца уста, о младенца уста!
В вас мудрость живет ясна и чиста!
Ведь ребенок пернатых язык,
Словно царь Соломон, постиг.

И его Киска тоже не совсем понимает. Но стишок какой-то такой радостный. Она откидывается на спинку стула, теперь часто бывают минуты, когда она остро ощущает в своем лоне драгоценную ношу. Она сидит с закрытыми глазами и повторяет про себя:

Ведь ребенок пернатых язык,
Словно царь Соломон, постиг.

Она чувствует: «Это, должно быть, самое радостное, что только есть на свете, Малышок должен всегда радоваться!..»

— Обед готов? — раздается еще из передней голос Ганнеса.

Вероятно, она вздремнула, теперь она часто бывает такая усталая.

«Обед!» — вспоминает она и медленно встает.

— На стол еще не накрыла? — спрашивает он.

— Сейчас, миленький, сию минуту, — она бежит на кухню. — Можно прямо в кастрюле на стол? Но я с удовольствием подам и в миске!

— А что у нас?

— Гороховый суп.

— Чудно. Ну, давай прямо в кастрюле. А я пока накрою на стол.

Киска наливает ему тарелку. Вид у нее немного испуганный.

— Жидковат? — озабоченно спрашивает она.

— Наверно, хорош, — говорит он и разрезает на маленькой тарелке мясо.

Она пробует суп.

— Господи боже мой, жидкий какой! — невольно вырывается у нее. А затем следует: — Господи боже мой, а соль!

И он тоже опускает ложку; теперь они смотрят друг на друга поверх стола, поверх тарелок, поверх большой коричневой эмалированной кастрюли.

— А я думала, суп будет такой вкусный, — сокрушается Киска. — Я все, что нужно, купила: полфунта гороха, полфунта мяса, целый фунт костей, суп должен получиться очень вкусный!

Он встает и сосредоточенно мешает большим эмалированным уполовником в кастрюле.

— Только и попадается гороховая шелуха! Сколько ты воды налила?

— Это горох виноват! Никакой от него густоты!

— Сколько воды налила? — повторяет он.

— Полную кастрюлю.

— Пять литров и на них — полфунта гороха. Мне думается, Киска, — говорит он, напуская на себя таинственность, — это вода виновата. Вода слишком жидкая.

— Ты думаешь, я налила слишком много воды? — огорченно спрашивает она. — Пять литров. Но я варила на два дня.

— Пять литров... мне думается, на два дня это многовато. — Он пробует еще ложку. — Прости меня, Киска, но это, правда, одна горячая вода.

— Ах ты, мой бедненький, ты ужасно проголодался? Что же делать? Может, сбегать за яйцами, поджарить картошку и сделать глазунью? Глазунью и жареную картошку — это я умею.

— Ну, так действуй! За яйцами я сам сбегаю.

И его уж и след простыл.

Он возвращается в кухню, у Киски из глаз текут слезы, и это не от лука, который она нарезала для картошки.

— Кисанька, — говорит он, — трагедии тут никакой нет.

Она бросается к нему на шею.

— Миленский, ну что делать, раз я такая плохая хозяйка! Мне так хочется во всем тебе угодить. А если Малышок будет плохо кушать, он не вырастет!

— Это когда же не вырастет; сейчас или потом? — смеясь, спрашивает он. — Ты думаешь, ты так и не научишься готовить?

— Ну вот, теперь ты надо мной смеешься.

— Насчет супа я еще на лестнице подумал. Суп совсем не плохой, только воды слишком много. Поставь его снова на огонь и пусть себе долго-долго по-настоящему кипит, чтобы лишняя вода выкипела, тогда все же получится настоящий хороший гороховый суп.

— Отлично! — говорит она, просияв. — Ты совершенно прав. Сейчас же после обеда так и сделаю, тогда и за ужином по тарелке съедим.

Они несут в комнату жареную картошку и яичницу.

— Нравится? Правда, нравится, совсем по твоему вкусу? У тебя есть время? Может, приляжешь на минутку? У тебя, родненький, такой утомленный вид.

— Нет, не лягу. Не потому, что опоздаю, просто сегодня я не могу спать. Этот подлец Клейнгольц...

Он долго колебался, стоит ли ей вообще говорить.

Но ведь в субботу ночью они договорились не иметь больше друг от друга секретов. Вот он рассказывает ей все. А кроме того, когда выложишь то, что на душе, легче становится!

— Что же мне теперь делать? — спрашивает он. — Если я ему ничего не скажу, первого числа он наверняка уволит меня. Что, если просто сказать правду? Что, если сказать, что я женат, не может же он выбросить меня на улицу?

Но в этом вопросе Киска — истая дочь своего отца: от работодателя служащему ничего хорошего ждать не приходится.

— На это ему наплевать, — с возмущением говорит она. — Прежде, возможно, и попадались среди них различные... Но в наше время... Когда столько безработных и всем кушать хочется... Я на его место всегда найду человека — вот как они рассуждают!

— Пожалуй, Клейнгольц не такой уж плохой, — говорит Пиннеберг. — Просто он не подумал. Надо бы ему

как следует растолковать. Сказать, что мы ждем Малыша и потому...

Киска возмущена...

— И ты хочешь рассказать это ему! Ему? Да ведь он тебя шантажирует! Нет, мальчуган. Не делай этого, ни в коем случае не делай.

— Ну, а что мне тогда делать? Должен же я ему что-нибудь сказать.

— Я бы... я бы поговорила с сослуживцами,— задумчиво говорит Киска.— Вероятно, он им тоже грозил. Если вы будете стоять друг за друга... не уволит же он всех троих.

— Возможно, так дело и выгорит,— соглашается он.— Если только они не подведут. Лаутербах не обманет, он слишком глуп, но Шульц...

Киска верит в солидарность всех трудящихся.

— Не подведут же тебя твои сослуживцы! Нет, миленький, так все уладится. Я верю, нам не должно плохо житься. Сам посуди — мы трудолюбивы, мы экономны, и люди мы не плохие, и Малышонка мы ждем, и ждем его с радостью — ну, почему, собственно, нам должно плохо житься? Это было бы просто нелепо!

Клейнгольц затевает ссору. Кубе затевает ссору, а служащие прячутся в кусты. Гороховый суп снова не удался.

У фирмы Эмиль Клейнгольц чердак для хранения пшеницы старый и неудобный. Нет даже порядочного приспособления для засыпки мешков. Сперва надо взвесить мешки на десятичных весах, а потом через люк спустить вниз прямо в грузовую машину.

Ссыпать в мешки за один день тысячу шестьсот центнеров пшеницы — такое только Клейнгольц способен придумать. Никакой организации работы, никакой распорядительности. Пшеница лежит тут уже неделю, а то и две, можно бы давно начать ссыпать ее в мешки, так нет же, извольте все за один день!

На чердаке полным-полно народу, помогают все, кого Клейнгольц наспех собрал. Несколько женщин подгребают пшеницу обратно к кучам: работают трое вёсов: у первых Шульц, у вторых Лаутербах, у третьих Пиннеберг.

Эмиль бегаёт от одного к другому. Эмиль ещё злее, чем утром: Эмилия ни вот столечко не дала ему выпить,

потому он и не пустил на чердак ни ее, ни Мари. Злость на тиранку жену возобладала над отцовским желанием пристроить дочь. «Чтоб и духом вашим там не пахло, стервы!»

— Вес мешка прибавили, вес правильный, Лаутербах? Ну и идиот! Мешок на два центнера весит три фунта, а не два! Мешок должен весить ровно два центнера три фунта, господа. И чтобы без походу. Я никому ничего дарить не собираюсь. Я сам перевешаю, Шульц.

Двое мужчин волокут мешок к спуску. Мешок развязался. Бурая пшеница рекой полилась на пол.

— Кто завязывал мешок? Вы, Шмидт? Черт подери, вам, кажется, не впервой с мешками дело иметь. Не вчера родились! Чего на меня уставились, Пиннеберг? У вас мешок перетягивает. Я же вам, дуракам, говорил, чтобы не перетягивал!

Теперь Пиннеберг действительно уставился на хозяина и смотрит на него очень злобно.

— Ну, чего глаза вылупили! Если вам здесь не нравится, можете уходить. Шульц, старый козел, оставьте Мархейнеке в покое. Ишь ты, вздумал у меня на складе девок лапать.

Шульц бормочет что-то в свое оправдание.

— Молчать! Вы ущипнули Мархейнеке за задницу. Сколько у вас мешков?

— Двадцать три.

— Плохо дело подвигается! Плохо! Только намотайте себе на ус: пока не погрузим восемьсот мешков, ни одного человека не отпущу! Перерыва не дам. Хоть до одиннадцати ночи работать будете, вот тогда увидим...

Под крышей, нагретой жарким августовским солнцем, невыносимо душно. Мужчины сняли пиджаки, жилеты, женщины тоже сняли, что можно. Пахнет сухой пылью, потом, сеном, новыми блестящими джутовыми мешками, но сильнее всего потом, потом, потом. Запах распаренных тел, тяжелый дух чувственности становится все гуще. И непрерывно, как гудящий гонг, слышится голос Клейнгольца:

— Ледерер, вы что, с большого ума так за лопату беретесь? Возьмите лопату как следует!.. Держи мешок аккуратнее, черт полосатый, чтоб раструб был! Вот как это делается...

Пиннеберг стоит у весов. Механически опускает защелку.

— Еще немножко, фрау Фрибе. Самую малость. Так, теперь опять слишком много. Еще горсточку отсыпьте. Снимайте! Следующий! Фрау Хинрикс, не зевайте. Теперь вам. Не то мы здесь до полночи проторчим.

А в голове все время обрывки мыслей: «Киске хорошо... на свежем воздухе... белые занавесочки колышутся... Замолчал бы, сукин сын! Вечно лаетя!.. И за такое место цепляешься! Боишься потерять. Благодарю покорно».

И опять гудит гонг:

— Ну как, Кубе? Сколько у вас вышло из этой кучи? Девяносто восемь центнеров? А в ней было сто. Это пшеница из Никельсгофа. В куче было сто центнеров. Куда у вас два центнера делись, Шульц? Я сейчас сам перевешаю. Ну-ка, ставь мешок на весы.

— Ссохлась здесь, в тепле, пшеница-то,— слышится голос старого седобородого рабочего Кубе.— Страсть сырая была, когда привезли из Никельсгофа.

— Разве я когда сырую пшеницу куплю? Нечего глотку зря драть. Тоже еще разговаривает. Небось домой мамаше отнес, а? Ссохлась! Слушать тошно! Украли пшеницу, вот что, здесь все, кому не лень, воруют!

— Не позволю, хозяин, меня вором обзывать,— говорит Кубе.— Я в союз пожалуюсь. Не позволю, вот и весь сказ.

Он смело смотрит хозяину в лицо.

«Вот это здорово,— ликует в душе Пиннеберг.— В союз! Эх, если бы и нам также! Но разве у нас что выйдет? Нипочем не выйдет».

Клейнгольца этим не удивишь, Клейнгольцу это не внове.

— Разве я тебя вором обозвал? И не думал. Мыши, они известные воровки, у нас здесь для мышей раздолье. Надо бы, Кубе, опять отравы подложить или привить им дифтерит.

— Вы, господин Клейнгольц, сказали, что я воровал пшеницу. Все слышали. Я пойду в союз. Пожалуюсь на вас, господин Клейнгольц.

— Ничего я не говорил. Ни слова вам не сказал. Эй, господин Шульц, я Кубе вором обзывал?

— Я не слышал, господин Клейнгольц.

— Видишь, Кубе? А вы, господин Пиннеберг, слышали?

— Нет, не слышал,— запинаясь, говорит Пиннеберг, а в душе льет кровавые слезы.

— Ну что, Кубе? — говорит Клейнгольц.— Вечно ты склоку затеешь. В фабрично-заводской комитет метишь.

— Осторожнее на поворотах, господин Клейнгольц,— предостерегает Кубе.— Опять за свое беретесь. Сами знаете, о чем это я. Уже три раза со мной судились, и моя правда взяла. И в четвертый раз пойду. Я, господин Клейнгольц, не из пугливых.

— Вздор несешь, Кубе, стар стал, из ума выжил, не понимаешь, что говоришь,— злится Клейнгольц.— Мне тебя жалко!

Однако с Клейнгольца довольно. Кроме того, здесь действительно ужасно жарко, особенно когда все время бегаешь и на всех орешь. Клейнгольц идет вниз, отдохнуть.

— Я пойду в контору. А вы, Пиннеберг, последите, чтобы работали. И никаких перекуров, поняли? Вы отвечаете!

Он спускается с чердака, и тотчас же начинается оживленный разговор. В темах недостатка нет, об этом позаботился сам Клейнгольц.

— Понятно, почему он сегодня как с цепи сорвался!

— Промочит горло — отойдет.

— Перекур! — кричит старый Кубе.— Перекур!

Эмиль, вероятно, еще во дворе.

— Пожалуйста, пожалуйста, Кубе, не подводите меня,— просит двадцатитрехлетний Пиннеберг шестидесятитрехлетнего Кубе,— ведь господин Клейнгольц не разрешил.

— Все по договору, господин Пиннеберг,— говорит бородатый Кубе,— по договору полагается отдых. Нет такого закона, чтобы хозяин отдыха не дал.

— Но ведь он с меня спросит.

— А мне какое дело! — фыркает Кубе.— Раз вы даже не слышали, как он меня вором обозвал!..

— Будь вы в моем положении, Кубе...

— Знаем, знаем. Если бы все, молодой человек, так, как вы, рассуждали, хозяйева бы на нас воду возили, а мы за каждый кусок им в ноги кланялись. Ну, да вы еще молоды. У вас еще все впереди, еще на собственной шкуре почувствуете, что, на брюхе-то ползавши, ничего не добьешься. Эй, бросай работу!

Но все уж и так бросили работать. Трое служащих стоят особняком.

— Пусть господа, ежели они хотят, сами мешки насыпают,— говорит один рабочий.

— Пусть перед Эмилом выслуживаются! — подхватывает другой.— Может, выставит им тогда коньяку.

— Нет, он им Марихен выставит.

— Всем троим? — Громкий хохот.

— Она и от троих не откажется, она такая.

Кто-то затягивает:

Марихен, Марихен, красotka моя!

И вот уже почти все подпевают.

— Хорошо, если это нам сойдет,— говорит Пиннеберг.

— С меня хватит,— говорит Шульц.— Очень мне нужно, чтоб меня при всех козлом ругали! А не то награжу Мари ребенком, и поминай как звали.— Он зло-радно, мрачно улыбается.

А силач Лаутербах прибавляет:

— Подстеречь бы его как-нибудь ночью, когда он накачается, и в темноте как следует вздрючить. Поможет.

— Мы только говорим, а делать ничего не делаем,— замечает Пиннеберг.— Рабочие совершенно правы. Мы вечно трясемся.

— Ты, может, и трясешься. А я нет,— говорит Лаутербах.

— И я нет,— говорит Шульц.— Мне вообще эта лавочка осточертела.

— Ну, так давайте действовать,— предлагает Пиннеберг.— Ведь говорил же он с вами сегодня утром?

Все трое испытующе, недоверчиво, смущенно смотрят друг на друга.

— Вот что я вам скажу,— говорит Пиннеберг, он наконец решился.— Ко мне он сегодня утром все со своей Мари приставал, она, видите ли, девка хоть куда, а потом, чтобы к первому я решил, а что решил — я толком не знаю, то ли чтобы я добровольно согласился на увольнение, так как я позже всех поступил, то ли насчет Мари.

— Со мной он тоже говорил. Видите ли, у него много неприятностей из-за того, что я нацист.

— А со мной о том, что я с девочками гуляю.

Пиннеберг переводит дыхание:

— Ну, а дальше?..

— Что дальше?

— Что вы собираетесь первого ему заявить?

— О чем это заявить?

— На Мари вы согласны?

— Ни в коем случае.

— Пусть лучше увольняет.

— В таком случае...

— Что в таком случае?

— В таком случае мы трое можем сговориться.

— Насчет чего?

— Ну хотя бы дадим друг другу слово не соглашаться на Мари.

— Об ней он говорить не станет. Не такой наш Эмиль дурак.

— Мари — это еще не повод для увольнения.

— В таком случае давайте решим так: если он уволит одного, двое других сами уволятся. Решим и слово сдержим.

Лаутербах и Шульц раздумывают, каждый взвешивает, чем он рискует, стоит ли давать такое слово.

— Всех троих он ни в коем случае не уволит, — настаивает Пиннеберг.

— Тут Пиннеберг прав, — подтверждает Лаутербах. — Этого он сейчас не сделает. Я даю слово.

— Я тоже, — говорит Пиннеберг. — А ты, Шульц?

— Ладно, согласен.

— Кончай перекур! — кричит Кубе. — Как вы, господа хорошие, трудиться будете?

— Итак, решено?

— Честное слово!

— Честное слово!

«Господи, как Киска обрадуется, — думает Ганнес. — Еще месяц можно жить спокойно».

Они идут к весам.

Пиннеберг возвращается домой около одиннадцати. Киска спит, свернувшись клубочком в углу дивана. Лицо у нее заплаканное, как у маленькой девочки, на ресницах слезинки.

— Господи, наконец-то! Я так боялась!

— Чего же ты боялась? Что со мной может слу-

читься? Пришлось работать сверхурочно, это удовольствие у нас два раза в неделю бывает.

— А я так боялась! Ты очень голоден?

— Как волк. Послушай, чем это у нас пахнет?

— Пахнет? Не знаю.— Киска принюхивается.—
Господи, суп!

Они вместе бросаются на кухню. Там не продохнуть от удушливого чада.

— Открой окна! Поскорей открой все окна! Чтобы сквозняк был!

— Отыщи сперва газовый кран. Прежде всего надо выключить газ.

Наконец, глотнув свежего воздуха, они снимают крышку с большой суповой кастрюли.

— Такой чудесный гороховый суп! — шепчет Киска.

— Все пригорело!

— Такое чудесное мясо!

Они смотрят в кастрюлю, дно и стенки покрыты темной, вонючей, клейкой массой.

— Я его в пять часов на плиту поставила,— рассказывает Киска.— Думала, ты к семи придешь. Чтобы лишняя вода за это время выкипела. А ты не пришел, и такой на меня страх напал, вот я и позабыла об этой дурацкой кастрюле!

— Кастрюля приказала долго жить,— с грустью говорит Пиннеберг.

— Может быть, я еще отчищу,— задумчиво произносит Киска.— Есть такие проволочные щетки.

— Все денег стоит,— коротко замечает Пиннеберг. Подумать страшно, сколько мы за эти дни денег извели. И кастрюли, и проволочные щетки, и обед — да на эти деньги я три недели столоваться бы мог... Ну вот, ты уж и плачешь, а ведь я правду говорю...

Киска рыдает.

— Я так старалась, родной мой! Только когда я за тебя боюсь, тут мне уж не до обеда. Пришел бы ты хоть на полчаса раньше! Тогда бы мы успели вовремя выключить газ.

— Да-а,— говорит Пиннеберг и закрывает кастрюлю крышкой,— за учение платят. Я,— он решается на героическое признание:— я тоже иногда ошибаюсь. Из-за этого плакать не стоит... А теперь дай мне чего-нибудь поесть. Я зверски голоден!

У Пиннеберга нет никаких планов, и все же он едет на прогулку и привлекает к себе внимание

Суббота, эта злосчастная суббота тридцатого августа, сияя, встает из темной синевы ночи. За кофе Киска еще раз повторила:

— Значит, завтра ты свободен. Завтра мы поедем по узкоколейке в Максфельде.

— Завтра дежурит Лаутербах. Завтра мы поедем за город,— подтвердил Пиннеберг.— Обещаю тебе.

— Возьмем лодку и поедем через озеро, и дальше вверх по Максе.— Киска смеется.— Господи боже мой, ну и название! Знаешь, мне все кажется, что ты хочешь взять меня на руки.

— Охотно бы. Но мне в контору пора. Пока, старуха!

— Пока, старик!

В конторе к Пиннебергу подошел Лаутербах.

— Слушай, Пиннеберг, у нас завтра вербовочный поход, и мой груф сказал, что я обязан быть. Выдай за меня корм лошадям.

— Очень сожалею, Лаутербах, но завтра никак не могу! В другой раз пожалуйста!

— Сделай мне одолжение, брат!

— Нет, право, не могу. В другой раз пожалуйста, но завтра никак не могу! А Шульц?

— Шульц тоже не может. У него там с какой-то девушкой дела из-за алиментов. Ну, очень прошу.

— Завтра не могу.

— Но у тебя же обычно не бывает никаких планов на воскресенье.

— На завтра планы есть.

— Какой ты несговорчивый, ведь у тебя наверняка никаких планов нет.

— На завтра есть.

— Я два воскресенья за тебя отдежурю.

— Нет, не хочу. И отстань. Все равно не сменю.

— Пожалуйста, раз ты такой. Ведь мой груф специально мне приказывал.

Лаутербах до смерти обижен.

Так началась эта суббота. И так пошло дальше.

Два часа спустя Клейнгольц и Пиннеберг остались одни в конторе. Мухи жужжат и звенят совсем по-летнему. У хозяина здорово красное лицо, несомненно он сегодня уже клюкнул и потому в хорошем настроении.

— Подежурьте завтра за Лаутербаха, Пиннеберг,— говорит он миролюбиво.— Он просил отпустить его.

Пиннеберг поднимает голову.

— Очень сожалею, господин Клейнгольц. Завтра я не могу. Я уже сказал Лаутербаху.

— А нельзя ваши дела отложить? Ведь у вас никаких серьезных планов нет.

— На этот раз, к сожалению, есть, господин Клейнгольц.

Клейнгольц очень внимательно смотрит на своего бухгалтера.

— Послушайте, Пиннеберг, не валяйте дурака. Я Лаутербаха отпустил, не могу же я теперь идти на попятный.

Пиннеберг не отвечает.

— Видите ли, Пиннеберг, Лаутербах — дурак. Но он нацист,— по-житейски практически объясняет Эмиль Клейнгольц,— а его группенунтерфюрер.— мельник Ротшпрак. Мне с ним отношения портить не хочется, он нас всегда выручает, когда спешно требуется смолоть зерно.

— Но я правда не могу, господин Клейнгольц.— уверяет Пиннеберг.

— Мог бы, конечно, и Шульц заменить, но он тоже не может,— предается бесплодному раздумью Клейнгольц.— Он завтра хоронит родственника, от которого ждет кое-какое наследство. На похоронах ему нужно быть, с этим вы должны согласиться, не то другие родственники все себе заберут.

«Вот сволочь! — думает Пиннеберг.— Он же с бабами путается».

— Все это так, господин Клейнгольц...— начинает он.

Но Клейнгольц говорит как заведенный.

— Что касается меня, Пиннеберг, я бы охотно подежурил за него, я ведь не такой, сами знаете...

— Да, вы не такой, господин Клейнгольц,— подтверждает Пиннеберг.

— Но, знаете, завтра я тоже не могу. Завтра я должен поехать по деревням, заручиться заказами на клевер. В этом году мы ничего еще не продали.

Он выжидающе смотрит на Пиннеберга.

— В воскресенье я обязательно должен поехать, Пиннеберг, в воскресенье я застану крестьян дома.

Пиннеберг в подтверждение кивает головой.

— А Кубе не мог бы покормить лошадей, господин Клейнгольц?

Клейнгольц возмущен:

— Кубе?! Чтобы я ему ключи доверил? Кубе еще при покойном отце у нас работал, но ключей ему никогда не доверяли. Нет, нет, Пиннеберг, вы сами понимаете, только вы один и можете. Завтра будете дежурить вы.

— Но я не могу, господин Клейнгольц!

Клейнгольц поражен.

— Ведь я вам ясно сказал, Пиннеберг, что, кроме вас, все заняты.

— Но я тоже занят, господин Клейнгольц.

— Господин Пиннеберг, ведь не будете же вы требовать, чтобы я завтра работал за вас просто потому, что вы капризничаете. Какие же у вас планы на завтра?

— Я собирался...— начинает Пиннеберг,— я должен...— прибавляет он. И замолкает, потому что не может так сразу ничего придумать.

— Ну вот, видите! Не могу же я сорвать заказы на клевер только потому, что вы заупрямились! Будьте благоразумны, Пиннеберг.

— Я благоразумен, господин Клейнгольц. Но я никак не могу.

Господин Клейнгольц поднимается, пятясь, отступает к двери и не спускает огорченного взгляда со своего бухгалтера.

— Я жестоко в вас разочаровался, господин Пиннеберг,— говорит он,— жестоко разочаровался.

И хлопает дверью...

Киска, конечно, вполне согласна со своим мальчуганом.

— Как это ты решился? А вообще, по-моему, ужасно подло с их стороны так тебя подводить. Я бы на твоём месте сказала хозяину, что Шульц насчет похорон наврал.

— Это было бы не по-товарищески, Киска.

Ей стыдно.

— Нет, конечно, ты совершенно прав. Но Шульцу я бы все высказала. Все начистоту высказала бы.

— Я выскажу, Киска, выскажу.

И вот они сидят в поезде, который идет в Макс-

фельде. Вагон битком набит, хотя поезд отходит из Духерова в шесть утра. Максфельде, Максзее и река Максее тоже приносят разочарование. Всюду полным-полно народу, шумно и пыльно. Тысячи людей приехали из Плаца, на берегу стоят сотни автомашин и палаток. О лодке и думать нечего, те немногие, что имеются, уже давно разобраны. Пиннеберг и Эмма молодожены, их сердца жаждут уединения. Сутолока ужасает их.

— Ну, так отправимся пешком,— предлагает Пиннеберг.— Здесь ведь повсюду лес, и вода, и горы...

— Но куда?

— А не все ли равно? Только бы поскорее отсюда. Найдем где-нибудь уединенное местечко.

И они находят такое местечко. Сначала они пошли лесной дорожкой, еще довольно широкой, и народу на ней много, но потом Киска стала уверять, что здесь, в буковом лесу, пахнет грибами, и увлекла его в сторону, они углублялись все дальше в лес и неожиданно очутились на поляне между двумя лесистыми склонами. Держась за руки, вскарабкались они на противоположный склон и попали на затерянную просеку, которая тянулась с холма на холм и уходила все глубже в лес; по ней они и пошли.

Над ними медленно поднималось солнце, издалека, с Балтийского моря, на кроны буков налетал временами ветер, и они чудесно шелестели. Морской ветер веял и в Плаце, где прежде жила Киска. Это было давно-давно, и она рассказала своему мальчугану про единственное за всю ее жизнь путешествие: про девять дней, проведенных в Верхней Баварии вчетвером с подругами.

И он тоже разговорился и рассказал, что всегда был одинок и что он не любит матери, она никогда о нем не заботилась, у нее вечно были любовники, и он только мешал ей. И профессия у нее ужасная, она... Прошло немало времени, прежде чем он признался, что она барменша.

Киска призадумалась и даже пожалела о своем письме, потому что барменша — это что-то совсем не то, хотя Киска не очень ясно представляла себе, каковы функции барменши, в баре она не была ни разу, а то, что она слышала о такого рода дамах, как ей казалось, совсем не подходящее дело для матери ее Ганнеса, если принять во внимание ее возраст. Словом, пожалуй, лучше было начать письмо с обращения «Глубокоуважае-

мая фрау Пиннеберг». Но говорить об этом сейчас с Ганнесом просто невозможно.

Некоторое время они шли молча, взявшись за руки. Но как раз, когда молчание уже начинало быть тягостным и грозило отдалить их друг от друга, Киска сказала:

— Родненький, какие мы с тобой счастливые,— и протянула ему губы...

Лес вдруг заметно поредел, и они вышли на огромную вырубку, залитую ярким солнцем. Прямо перед ними был высокий песчаный холм. На его вершине кучка людей возилась с каким-то смешным аппаратом. Вдруг аппарат поднялся и понесся по воздуху.

— Планер! — крикнул Пиннеберг. — Киска, это планер! — Он был очень возбужден и старался ей объяснить, каким образом эта штука без мотора поднимается вверх. Но ему самому это было не очень-то ясно, а потому Киска и вовсе ничего не поняла, однако послушно повторяла: «Да» и «Конечно, конечно».

Потом они сели на опушке леса и плотно позавтракали тем, что взяли с собой, и выпили все, что было в термосе. Большая белая птица, кружившая над холмом, то снижалась, то поднималась и в конце концов опустилась далеко в стороне. Люди, стоявшие на вершине холма, бросились к ней, расстояние было порядочное, и к тому времени, когда они потащили планер обратно, чета Пиннеберг успела позавтракать, и Ганнес закурил сигарету.

— Теперь они потащат его обратно на гору,— пояснил Пиннеберг.

— Но ведь это ужасно хлопотно! Почему он не едет сам?

— Потому что у него нет мотора, Киска, ведь это же планер.

— Неужели у них нет денег на мотор? Разве мотор так дорого стоит? По-моему, это ужасно хлопотно.

— Но, Киска...— И он собрался продолжить свои пояснения.

Но Киска вдруг крепко прижалась к нему и сказала:

— Как ужасно, ужасно хорошо, что мы вместе, правда, родненький?

И тут-то оно и случилось: по песчаной дороге, идущей вдоль опушки, к ним подкрался автомобиль, тихо и бесшумно, словно на нем были войлочные туфли, и ког-

да они его заметили и смущенно отстранились друг от друга, автомобиль уже почти поравнялся с ними. Собственно говоря, они должны были бы видеть сидящих в нем пассажиров в профиль, но те повернулись к ним анфас, и на их лицах выразилось удивление, выразилась строгость, выразилось разочарование.

Киска ничего не поняла, она подумала, что уж очень дурацкий вид был у этих людей, словно они никогда раньше не видели целующейся парочки, но главное, она не могла понять, что случилось с ее мальчуганом: он вскочил, бормоча что-то непонятное, и отвесил машине низкий поклон.

Но тут все, как по команде, повернулись к ним в профиль, никто не ответил на пиннеберговские вежливые поклоны, только машина громко гуднула, прибавила ходу, нырнула в чащу леса, еще раз сверкнул им в глаза ее красный лакированный кузов, и ушла. Ушла.

А ее мальчуган стоял бледный, как смерть, засунув руки в карманы, и бормотал:

— Мы погибли, Киска. Завтра он меня выгонит.

— Да кто? Кто тебя выгонит?

— Клейнгольц, кто же еще! Господи боже, ничего ты не понимаешь. Это же были Клейнгольцы.

— Господи боже мой! — воскликнула Киска и тяжело вздохнула. — Вот это называется повезло!

А потом она крепко обняла своего большого мальчугана и стала его утешать, как могла.

Как Пиннеберг борется с собственной совестью
и с Марихен Клейнгольц и почему все же оказывается
слишком поздно

За каждым воскресеньем неминуемо следует понедельник, хотя в воскресенье, в одиннадцать утра, возможно, и кажется, что до понедельника еще целая вечность.

Но понедельник приходит, приходит неизбежно, все идет заведенным порядком, и на углу Базарной площади, где Пиннебергу каждый день встречается секретарь муниципалитета Кранц, он оглядывается. Так и есть, вон уже подходит Кранц, и, почти поравнявшись, оба притрагиваются к шляпам, здороваются и проходят мимо.

Пиннеберг смотрит на свою правую руку: золотое обручальное кольцо блестит на солнце. Пиннеберг мед-

ленно снимает кольцо, медленно достает бумажник, но затем быстро, всему свету назло, снова надевает кольцо. Подняв голову, с кольцом на пальце, шагает он навстречу судьбе..

Однако судьба заставляет себя ждать. Даже сверхаккуратного Лаутербаха в этот понедельник еще нет на месте, из семьи Клейнгольцев тоже никого не видно.

«Верно, в конюшне,— думает Пиннеберг и отправляется во двор. Там стоит красная машина, ее моют.— Эх, было бы тебе сломаться вчера в пути!»— думает Пиннеберг, а вслух говорит:

— Хозяин еще не вставал?

— Все еще спят, господин Пиннеберг.

— Кто же вчера задавал корм лошадям?

— Старик Кубе, господин Пиннеберг, Кубе.

— Ах так! — И Пиннеберг возвращается в контору.

Тем временем туда успел прибежать Шульц — уже четверть девятого — изжелта-бледный и сильно не в духе.

— Где Лаутербах? — сердито спрашивает он.— Ишь свинья, болеть вздумал, а работы сегодня по горло.

— Похоже, что так,— отзывается Пиннеберг,— Лаутербах обычно не опаздывает. Хорошо провел воскресенье, Шульц?

— Черт бы их взял! — выпаливает Шульц.— Черт бы их взял! Черт бы их взял! — Он погружается в тяжелое раздумье. И вдруг взрывается: — Помнишь, Пиннеберг, я тебе как-то рассказывал, ты, верно, уже позабыл, месяцев восемь-девять тому назад я был в Гельдорфе на танцах, такая настоящая деревенская танцулька, с топочущим мужичьем. Так вот она теперь уверяет, что я — отец ребенка и должен ей платить. Я, конечно, и не подумаю. Скажу, что это поклеп.

— А как ты докажешь? — спрашивает Пиннеберг и думает: «У Шульца тоже свои неприятности».

— Я вчера целый день по Гельдорфу бегал и разузнавал, с кем она еще, кроме меня... Только все эти деревенские дурни покрывают друг друга. Не хватит же у нее наглости подать на меня в суд!

— А если все-таки хватит?

— Я судьбе все объясню! Ну, скажи по совести. Пиннеберг, можно ли этому поверить: я два раза с ней протанцевал, а потом сказал: «Здесь, фрейлейн, очень накурено, не пойти ли нам на воздух». И пропустили-то мы

всего один танец, понимаешь, а теперь выходит, только я один отец! Не идиотство ли!

— Но если ты ничего не можешь доказать?

— Я скажу, что это клеветка! Судья поймет. Да разве я могу, Пиннеберг? Это при нашем-то жалованье?

— Сегодня решится, кого увольняют, — вполголоса и как бы невзначай говорит Пиннеберг.

Но Шульц даже не слушает.

— После спиртного мне всегда так плохо, — стоит он.

Двадцать минут девятого. Входит Лаутербах.

Ох, Лаутербах! Ох, Эрнст! Ох, ты мой Эрнст Лаутербах!

Синяк под глазом — раз. Левая рука на перевязи — два. Лицо все в ссадинах — три, четыре, пять. На голове черная шелковая повязка — шесть. И вдобавок ко всему запах хлороформа — семь. А нос! Опухший, кровоточащий нос! Восемь! А нижняя губа, рассеченная, вздувшаяся, как у негра. Девять! Нокаут, Лаутербах! Короче говоря, вчера Эрнст Лаутербах рьяно и самоотверженно проповедовал свои политические взгляды населению.

Оба сослуживца в волнении вертятся вокруг него.

— Ох, брат! Ох, дружище! И отделали же тебя!

— Эрнст, Эрнст, никак ты не образумишься!

Лаутербах садится, не поворачивая головы, очень осторожно.

— Это еще пустяки. Вот если бы вы мою спину видели...

— Да разве так можно, брат...

— Такой уж я! Мог бы спокойно сидеть дома, да о вас подумал, ведь работы сегодня по горло.

— И, кроме того, сегодня решится, кого рассчитают, — говорит Пиннеберг.

— И кого нет в конторе, того и заключают.

— Слушай, этого ты не говори! Ведь мы же дали слово...

Входит Эмиль Клейнгольц.

Сегодня Клейнгольц, к сожалению, трезв, даже слишком трезв, еще в дверях он учуял запах водки и пива, который исходит от Шульца. Он делает первый шаг, так сказать — для затравки:

— Опять без работы, господа? — говорит он. — Хорошо, что сегодня должно решиться, кого увольнять, од-

ного из вас я уволю.— Он усмехается.— Троиц здесь делать нечего, а?

Он торжествующе смотрит на них, они в смущении пробираются на свои места. Но Клейнгольц не отстаёт:

— Да, Шульц, милый человек, вы, конечно, не прочь после пьянки проспаться в конторе, на мои кровные денежки. Похороны-то, видно сильно вспрыснули, а? Знаете что? — он задумывается и наконец нападает на блестящую мысль: — Знаете, полезайте-ка в прицеп и езжайте на мельницу. Да смотрите как следует тормозами орудуите, дорога ведь то в гору, то под гору, я скажу шоферу, пусть он за вами присматривает, а если вы о тормозах позабудете, пусть влепит вам как следует.

Клейнгольц хохочет: он думает, что сострил, потому и хохочет. О том, чтоб «влепить», это, конечно, сказано не всерьёз, даже если это и сказано очень серьёзно.

Шульц устремляется к двери.

— Куда вы без документа? Пиннеберг, выпишите Шульцу накладную, ему самому сегодня не написать, у него руки трясутся.

Пиннеберг, обрадовавшись, что у него есть занятие, ретиво строчит.

Затем вручает Шульцу документы.

— Вот держи.

— Ещё минутку, Шульц,— говорит Эмиль.— Вы до двенадцати не обернетесь, а по договору я обязан предупредить вас об увольнении до двенадцати. Знаете, я сам ещё не знаю, кому из вас троих дать расчёт, мне надо подумать... Вот я на всякий случай и предупреждаю вас об увольнении, вот вам и будет над чем подумать дорогой, я уверен, что это вышибет из вас хмель, особенно если вы ещё и тормозить хорошенько будете.

Шульц молча шевелит губами. Как уже было сказано, лицо у него желтое, помятое, а сегодня ему, кроме всего прочего, нездоровится, и сейчас здесь, перед Клейнгольцем, уже не человек, а просто тряпка...

— С вами покончено! — говорит Клейнгольц,— когда вернетесь, приходите в контору. Я вам скажу, может быть, я и возьму свое предупреждение обратно.

Итак, с Шульцем покончено. Дверь захлопнулась, и медленно, дрожащей рукой, на которой блестит обручальное кольцо, Пиннеберг отодвигает от себя пресс-папье. «Кто сейчас на очереди, я или Лаутербах?»

Но уже при первом слове он понимает: Лаутербах. С Лаутербахом у Клейнгольца совсем другой тон. Лаутербах глуп, но силен, если Лаутербаха очень уж раздражить, он пустит в ход кулаки. Над Лаутербахом так издеваться нельзя, с Лаутербахом надо иначе. Но Эмиль умеет и это.

— Смотреть на вас, господин Лаутербах, просто жалость берет. Глаз подбит, нос красный, губами едва шевелите, одна рука... Нечего сказать, полноценный работник. Хотите жалованье сполна получать, так извольте так работать, чтобы ни к чему придраться нельзя было.

— У меня работа спорится,— говорит Лаутербах.

— Тише, Лаутербах, тише. Знаете, политика — это хорошо, и национал-социализм тоже, может быть, хорошо, это мы после ближайших выборов увидим и тогда скажем, но чтобы именно я нес убытки...

— Я от работы не отказываюсь,— говорит Лаутербах.

— Ну, да это мы еще увидим,— мягко говорит Эмиль.— Не думаю, чтобы вы сегодня могли работать, у меня работа... вы же совсем больны.

— Я от работы не отказываюсь... от любой.

— Ну, раз вы так говорите, Лаутербах... Только мне что-то не верится. Бромменша меня в прошлый раз подвела, и нам нужно еще раз пропустить через веялку озимый ячмень, вот я и подумал!.. собственно, я хотел вас попросить, чтобы вы повертели барабан...

Это уже был верх подлости, даже со стороны Эмиля. Потому что, во-первых, вертеть барабан никак не входит в обязанности служащего, а во-вторых, для этого нужны две здоровые и сильные руки.

— Видите, я так и думал, вы инвалид,— говорит Клейнголец.— Ступайте домой, Лаутербах, но за эти дни я с вас вычту. То, чем вы больны, не болезнь.

— Я от работы не отказываюсь,— упрямо повторяет разъяренный Лаутербах.— Не отказываюсь вертеть веялку. Можете не беспокоиться, господин Клейнголец!

— Ну, ладно, около двенадцати я поднимусь к вам и скажу, как я решил с увольнением.

Лаутербах что-то невнятно бормочет, и только его и видели.

Теперь они остались одни. «Сейчас за меня примется»,— думает Пиннеберг. Но, к его удивлению, Клейнголец говорит вполне дружелюбно:

— Нечего сказать, хороши у вас сослуживцы — что один, что другой — оба дрянь, разницы никакой.

Пиннеберг молчит.

— Ишь вы сегодня каким франтом. Грязной работы вам не поручишь, так ведь. Приготовьте-ка выписку из счета для конторы имения Хонов за тридцать первое августа. Они поставили нам овсяную солому вместо ржаной, и товар опротестован.

— Знаю, господин Клейнгольц, — говорит Пиннеберг. — Это тот вагон, что отправили в Карлсхорст, на скаковые конюшни.

— Вы молодец, Пиннеберг, — говорит Эмиль. — Вы настоящий работник. Если бы все служащие были такими! Ну, ладно, готовьте выписку. Будьте здоровы.

И его уже нет в конторе.

«Ах, Киска! — ликует в душе Пиннеберг. — Ах ты моя Кисанька! Все уладилось, нам уже нечего бояться ни за мое место, ни за Малышонка».

Он встает, берет папку с заключением эксперта, потому что вагон с соломой был оценен экспертом.

«Так какое же сальдо было на тридцать первое марта? Дебет: три тысячи семьсот шестьдесят пять марок пятьдесят пять. В таком случае...»

И вдруг, словно громом пораженный, поднимает голову от бумаг:

«И я, болван, дал честное слово, что, если уволят одного, уволюсь и я. И я сам все это затеял, ах я идиот, ах я болван! Мне и в голову не пришло... Он просто нас всех троих выгонит...»

Он вскакивает, бежит из угла в угол.

Пробил час Пиннеберга, роковой час борьбы с совестью.

Он думает о том, что в Духерове ему нипочем не найти места. При теперешней конъюнктуре ему вообще нигде не найти места. Он думает о том, что до поступления к Бергману три месяца был безработным и как это тяжело, даже когда ты один, а теперь их двое, да еще и третий в дороге! Он думает о сослуживцах, которых, в сущности, терпеть не может, и гораздо вероятнее, что уволят одного из них, а не его. Он думает о том, что вовсе не уверен, сдержат ли они свое слово, если уволят его, Пиннеберга. Он думает о том, что, если

уйдет от Клейнгольца по собственному желанию, тогда он еще долго не будет иметь права на пособие по безработице, в наказание за то, что сам отказался от работы. Он думает о Киске, о Бергмане, старом еврейском торговце готовым платьем, о Мари Клейнгольц и, совершенно неожиданно, о своей матери. Потом он думает о картинке в книге «Святое чудо материнства», изображающей трехмесячного зародыша. Малышу сейчас как раз столько же, — голый крот какой-то, смотреть противно. Над этим он призадумывается.

Он бегаёт из угла в угол, его бросает в жар.

«Как быть?.. Не могу же я... Они тоже ни за что бы этого не сделали! Так как же?.. Да, но нельзя же быть сволочью, чтобы потом самого себя было стыдно... Ах, если бы тут была Киска! Если бы можно было ее спросить! Киска такая честная, она твердо знает, что нам приказывает наша совесть, как поступить, чтобы потом не мучиться угрызениями...»

Он бросается к окну, смотрит на Базарную площадь. Хоть бы она прошла мимо! Как раз сейчас! Она должна быть здесь, она сказала, что пойдет утром за мясом. «Милая Киска! Хорошая моя Киска! Прошу тебя, пройди сейчас мимо!»

Дверь открывается, и входит Мари Клейнгольц.

В семье Клейнгольцев женщины издавна пользуются одной привилегией — в понедельник утром, когда в конторе не бывает посторонних, им разрешается спрыскивать белье на большом конторском столе. И, кроме того, им дано право требовать от служащих, чтобы к их приходу со стола все было убрано. Но за всеми сегодняшними волнениями это не было сделано.

— Стол! — резко говорит Мари.

Пиннеберг вскакивает.

— Минуточку! Прошу прощения, сию минуту будет готово.

Он убирает образцы зерна в шкаф, складывает на подоконник скоросшиватели, минутку колеблется, куда сунуть пробник для зерна.

— Чего вы копаетесь! — шипит Мари. — Я здесь с бельем стою и жду.

— Сию минуту, — очень кротко говорит Пиннеберг.

— Сию минуту... сию минуту... — ворчит она. — Давно можно было приготовить. Да только если в окно гуляющих девиц высматривать...

Пиннеберг предпочитает не отвечать. Мари с видом оскорбленной принцессы раскладывает белье на столе, с которого теперь все убрано.

— Фу, какая грязь! Недавно здесь прибрали, и опять грязь! Где у вас пыльная тряпка?

— Не знаю,— не очень-то любезно отвечает Пиннеберг и делает вид, что ищет тряпку.

— Каждую субботу с вечера вешаю чистую тряпку, а в понедельник ее уже нет. Верно, кто-то здесь прилачился тряпки таскать.

— Я бы вас попросил...— сердито говорит Пиннеберг.

— О чем это вы меня попросили бы? Не о чем вам меня просить. Разве я сказала, что пыльные тряпки таскаете вы? Я сказала, кто-то. И я вовсе не думаю, что такого сорта девицы до пыльных тряпок дотрагиваются. Такой работой эти особы гнушаются.

— Слушайте, фрейлейн Клейнгольц, — начинает Пиннеберг и одумывается.— Э, да что там! — говорит он и садится на свое место, чтобы приняться за работу.

— Вот так-то оно лучше — помолчать. Среди бела дня лапаете такую...— Она выжидает, попала ли ее стрела в цель, а потом снова принимается за свое: — Я-то видела только, как вы лапались, а что там еще было... Но я говорю только о том, что своими глазами видела...

Она опять замолчала. Пиннеберг судорожно думает: «Спокойно, спокойно. Белья у нее не так много. А там она волей-неволей отвяжется...»

Мари снова пристаёт к нему со своими разговорами:

— Ужасно вульгарная особа. И как вырядилась.

Молчание.

— Отец говорит, что видел ее в Пальмовом гроте, она там кельнершей.

Снова молчание.

— Ну что ж, отец говорит, что есть мужчины, которым нравится все вульгарное, это их возбуждает.

Снова молчание.

— Мне вас жаль, господин Пиннеберг.

— Мне вас тоже,— говорит Пиннеберг.

Довольно длительное молчание. Мари несколько озадачена.

— Если вы будете мне дерзить, господин Пиннеберг, я скажу отцу. Он вас в два счета выгонит,— говорит она наконец.

— Разве я вам надерзил? — спрашивает Пиннеберг. — Я сказал точь-в-точь то же, что сказали вы.

Теперь воцаряется тишина. Воцаряется как будто окончательно. Только время от времени слышно, как Мари встряхивает веничком, спрыскивая белье, или как Пиннеберг стукнет невзначай линейкой по чернильнице.

Вдруг Мари торжествующе вскрикивает и бросается к окну!

— Вот! Вот она, потаскуха! Господи боже мой! Накрасилась-то как! Смотреть тошно!

Пиннеберг встает и глядит в окно. По площади идет с сумкой в руке Эмма Пиннеберг, его Киска, существо самое для него дорогое на свете. А что она, как сказала эта стерва, «накрасилась», это вранье, он-то знает.

Он стоит и смотрит на Киску, пока она не поворачивает за угол на Банхофштрассе и не скрывается из виду. Тогда он отходит от окна и направляется прямо к фрейлейн Клейнгольц. Лицо его не особенно-то приятно, он бледен, лоб наморщен, но глаза глядят довольно бойко.

— Послушайте, фрейлейн Клейнгольц, — говорит он, из предосторожности держа руки в карманах. Он проглатывает слюну и начинает снова: — Послушайте, фрейлейн Клейнгольц, если вы еще раз скажете что-либо подобное, я набью вам морду.

Она быстро поворачивает к нему свою птичью голову, пытается что-то сказать, ее узкие губы дергаются.

— Заткнитесь! — грубо говорит он. — Это моя жена, понимаете!!! — и теперь наконец-то вытаскивает руку из кармана и сует ей под нос блестящее обручальное кольцо. — Вы радоваться должны, если вам когда-либо посчастливится быть хоть наполовину такой же приличной женщиной, как она!

С этими словами Пиннеберг поворачивается, он сказал все, что хотел, на душе у него теперь замечательно легко... А последствия? Подумаешь, последствия! К черту вас всех вместе взятых! Итак, Пиннеберг поворачивается и садится на свое место.

Довольно долгое время длится молчание, он косится на нее, она на него не смотрит; она повернулась к окну — ему виден ее жалкий птичий профиль, затылок

с редкими светло-пепельными волосами — но соперница уже ушла. Ее больше не видно.

И тогда она садится на стул, роняет голову на край стола и плачет, плачет по-настоящему, горькими, душу раздирающими слезами.

— О господи! — вздыхает Пиннеберг. Ему немного стыдно за свою грубость (но только совсем немного). — Я же не хотел вас обидеть, фрейлейн Клейнгольц.

Но она плачет и плачет, чтобы выплакаться до конца, верно, так ей легче, и сквозь слезы она лепечет, что не виновата, раз она такая, и что всегда считала его вполне порядочным человеком, совсем не таким, как его сослуживцы, и спрашивает, как он женат, по-настоящему? Ах так, без церкви, и пусть он не боится, отцу она ничего не скажет, и откуда его девушка — на здешнюю она не похожа, и то, что она, Мари, о ней говорила так, это только со зла, она очень хорошенькая.

Она все говорит и говорит сквозь слезы, и, верно, еще долго бы так говорила, но тут во дворе раздался пронзительный голос матери:

— Где ты застряла, Мари?! Надо белье катать!

Испуганно вскрикнув: «Ах, боже мой!» — Мари вскочила со стула, быстро собрала белье и бросилась вон из конторы. Пиннеберг остался за своим столом и, в сущности, был очень доволен. Он что-то насвистывал и ретиво считал и время от времени поглядывал в окно — не идет ли обратно Киска. Хотя, может быть, она уже прошла?

А меж тем время шло: уже одиннадцать, уже половина двенадцатого, вот уже и без четверти двенадцать, и Пиннеберг ликовал: «Осанна, осанна, благословенна моя Киска, еще месяц мы можем жить спокойно», — и все было бы хорошо, да только без пяти двенадцать в контору вошел папаша Клейнгольц, посмотрел на своего бухгалтера, подошел к окну, посмотрел на улицу и сказал совсем ласковым тоном:

— Я и так и этак прикидывал, Пиннеберг. Охотнее всего я бы оставил вас и выгнал кого-нибудь из них двоих. Но вы вздумали отказаться от воскресного дежурства только ради того, чтобы развлекаться с девицами, этого я вам простить не могу, и потому я увольняю вас.

— Господин Клейнгольц!.. — твердо и мужественно произнес Пиннеберг, приступая к пространному объясне-

нию, которое, несомненно, затянулось бы гораздо дольше двенадцати, а значит, и дольше положенного по договору срока.— Господин Клейнгольц, я...

Но тут Эмиль Клейнгольц яростно завопил:

— Черт меня возьми! Опять эта баба! Пиннеберг, с первого октября вы уволены!

И не успел Иоганнес Пиннеберг рта разинуть, как Эмиль выбежал из конторы, громко хлопнув дверью, и исчез. А Пиннеберг посмотрел вслед своей Киске, исчезнувшей за углом, тяжело вздохнул и поглядел на часы. Без трех минут двенадцать. Без двух минут двенадцать Пиннеберг уже стрелой мчался на склад семенного зерна. Там он бросился к Лаутербаху и, задыхаясь, сказал:

— Лаутербах, сейчас же беги к Клейнгольцу и заяви, что уходишь! Помни, ты честное слово дал! Он только что предупредил меня! Я уволен.

Но Эрнст Лаутербах медленно снял руку с рукоятки веялки, удивленно посмотрел на Пиннеберга и сказал:

— Во-первых, сейчас без одной минуты двенадцать, и до двенадцати я уже не успею. Во-вторых, мне бы надо сперва поговорить с Шульцем, а его нет. И в-третьих, мне Марихен сказала, что ты женат, и, если это правда, значит, ты хитрил с нами, с твоими сослуживцами. И в-четвертых...

Но что «в-четвертых» Пиннеберг так и не узнал: часы на башне медленно, удар за ударом, пробили двенадцать. Все кончено. Пиннеберг предупрежден об увольнении, теперь уже ничего не поделаешь.

Господин Фридрихс. Семга и господин Бергман,
но все напрасно: для Пиннеберга места нет

Три недели спустя — в пасмурный, холодный, дождливый сентябрьский день, да к тому же еще и очень ветреный — три недели спустя Пиннеберг медленно закрыл входную дверь в контору своего профсоюза — профсоюза торговых и конторских служащих. На минуту он задержался на площадке и рассеянно посмотрел на плакат, призывающий всех служащих к солидарности. Он глубоко вздохнул и медленно сошел по лестнице.

Толстый господин с превосходными золотыми зубами, разговаривавший с ним в профсоюзе, убедительно

доказал ему, что для него, Пиннеберга, сделать ничего нельзя, что ему остается одно — быть безработным, вот и все.

— Вы же сами, господин Пиннеберг, знаете, как обстоит дело с торговлей готовым платьем у нас в Духерове. Свободных мест нет.— И, помолчав, очень выразительно прибавил: — И не предвидится.

— Но ведь у профсоюза повсюду есть отделения,— робко заметил Пиннеберг.— Может быть, вы связались бы с ними? У меня прекрасные рекомендации. Возможно, где-нибудь,— Пиннеберг ткнул рукой в пространство,— возможно, где-нибудь место и нашлось бы.

— И думать нечего! — уверенно заявил господин Фридрихс.— Если что и освободится — а как может что-нибудь освободиться, когда все как примерзли к своим местам? — так этого уже ждут не дождутся члены тамошнего отделения союза. Было бы несправедливо, господин Пиннеберг, обойти тамошних членов союза ради кого-то со стороны.

— Но если тот, что со стороны, больше нуждается?

— Нет, нет, это было бы очень несправедливо. Теперь все нуждаются.

Пиннеберг не собирался вдаваться в дальнейшие рассуждения о справедливости.

— Ну, а если не продавцом? — упорно допытывался он.

— Не продавцом?.. — господин Фридрихс пожал плечами.— Тоже ничего нет. Ведь настоящего бухгалтерского образования у вас нет, хоть у Клейнгольца вы немножко с этим делом и познакомились. Господи боже, Клейнгольц — это такая фирма... Скажите, это верно, что он каждую ночь напивается и приводит баб в дом?

— Не знаю,— коротко ответил Пиннеберг.— Я ночью не работаю.

— Да, да, да, господин Пиннеберг,— несколько сердито сказал господин Фридрихс.— Союз не очень-то одобряет, когда люди без специальной подготовки меняют профессию. В таких случаях союз не может оказать поддержку. Это наносит вред корпорации служащих.

— Ах, боже мой! — только и сказал Пиннеберг. А потом снова стал настаивать: — Но к первому октября

вы должны что-нибудь для меня придумать. У меня жена.

— К первому! То есть уже через неделю! Нет, Пиннеберг, и думать нечего, ну что я могу сделать? Вы же сами видите. Вы же человек со здравым смыслом.

Пиннеберг плевать хотел на здравый смысл.

— Мы ребенка ждем, господин Фридрихс,— тихо сказал он.

Фридрихс искоса посмотрел на просителя. А потом очень благодушно сказал в утешение:

— Ну что ж, говорят, дети — это божье благословение. Вам дадут пособие по безработице. Многие на меньшее живут. Справитесь, вот увидите.

— Но я должен...

Фридрихс понял, что от Пиннеберга так не отделаешься.

— Ну, хорошо, Пиннеберг, слушайте, я понимаю, что положение ваше не из блестящих. Вот — видите? — я записываю к себе в книжку ваши имя и фамилию: Пиннеберг Иоганнес, двадцать три года, продавец, проживает... Где вы проживаете?

— На Зеленом Конце.

— Это совсем за городом? Так! Теперь еще ваш членский номер. Отлично...— Фридрихс задумчиво посмотрел на листок.— Листок я положу вот сюда, видите, рядом с чернильницей, чтоб всегда перед глазами был. И когда что подвернется, я прежде всего подумаю о вас.

Пиннеберг собрался было что-то сказать.

— Видите, я оказываю вам предпочтение, это, собственно, несправедливо по отношению к другим членам союза, но я беру это на себя. Ладно. Во внимание к вашему тяжелому положению!

Фридрихс, прищурясь, посмотрел на листок, взял красный карандаш и поставил еще жирный красный восклицательный знак.— Так!..— с удовлетворением сказал он и положил листок рядом с чернильницей.

Пиннеберг вздохнул и собрался уходить.

— Так вы обо мне не забудете, господин Фридрихс? Я могу надеяться?

— Листок здесь. Листок здесь. Всего доброго, господин Пиннеберг.

Пиннеберг в нерешительности стоит на улице. Собственно говоря, следовало бы вернуться в контору к Клейнгольцу, он отпросился только на час-другой для приискания работы. Но ему противно, и больше всего противны ему его дорогие сослуживцы, которые не заявили и не думают заявлять, что тоже уходят, но каждый раз с участием спрашивают: «Ну как, Пиннеберг, все еще без места? Да ты настаивай, дети, мол, кушать просят, эх ты, молодожен!»

— К чертям собачьим... — выразительно говорит Пиннеберг и идет в городской парк.

Как в парке холодно, ветрено, пусто! Как заросли сорняком грядки! Какие лужи! А дует как, сигареты не закурить! Да это и к лучшему, курить скоро тоже придется бросить. Ну и везет же ему! Кому еще через полтора месяца после женитьбы приходится отказываться от курения — только ему одному!

Да, вот это ветер! На краю парка, где начинаются поля, ветер прямо с ног валит. Налетает, рвет пальто, шляпу надо на самые уши нахлобучить. Поля совсем осенние, мокрые-премокрые, неряшливые, безутешные... А дома... здесь иные жители шутят: «Хорошо, что дома пусто, людям места больше».

Итак — сейчас они живут на Зеленом Конце. А когда придет конец Зеленому Концу, появится что-то другое, подешевле, во всяком случае, будут четыре стены и крыша над головой, и тепло. И жена, да, конечно, жена. Как это чудесно — лежишь в постели, а кто-то под боком посапывает. Как это чудесно — читаешь газету, а на диване кто-то сидит и шьет или штопает. Как это чудесно — придешь домой, и кто-то говорит: «Здравствуй, мальчуган. Ну как работалось? Хорошо?» Как это чудесно, когда есть для кого работать, о ком заботиться, — ну да, заботиться, пусть даже ты безработный. Как это чудесно, когда есть кто-то, кого ты можешь утешить.

И вдруг Пиннеберг рассмеялся. История с семгой! С четвертью фунта семги! Бедная Киска, какая она была несчастная! Так приятно было ее утешить!

Как-то вечером — они только что сели за стол — Киска заявила, что не может есть, все ей противно. А сегодня она видела в гастрономической лавке копченую семгу, такую сочную и розовую, вот кусочек семги она бы съела!

— Так чего же ты не купила?

— А ты думаешь, сколько она стоит?

Ну, он то да се, конечно, это неразумно, слишком для них дорого. Но если Киска ничего не может есть, он сию же минуту — ужин можно на полчаса отложить, — он сию же минуту отправится в город.

Не тут-то было! Она сама пойдет. Что он еще выдумал! Ходить ей очень полезно, а потом, он воображает, что она будет сидеть здесь и трястись, а вдруг он купит не ту семгу? Она должна видеть, как приказчица нарезать будет, ломтик за ломтиком. Нет, пойдет она.

— Ладно. Иди.

— А сколько взять?

— Восьмушку. Или давай лучше четверть фунта. Кутить так кутить.

Он посмотрел ей вслед, у нее красивая походка, широкий шаг, да и вообще она удивительно хороша, голубое платье ей очень к лицу. Он высунулся из окна и провожал ее взглядом, пока она не скрылась из виду, а потом принялся шагать по комнате. Он загадал: когда он, пробираясь между мебелью, пятьдесят раз обойдет комнату, она снова появится. Он подбежал к окну. И в самом деле, Киска как раз входила в дом, навверх она не взглянула. Значит, еще две-три минуты. Он стоял и ждал. Раз ему даже показалось, что отворилась входная дверь. Но Киски нет и нет.

Что могло случиться? Он видел, как она вошла в дом, а ее нет и нет.

Он открыл дверь в переднюю. В дверях, прижавшись к стене, стояла Киска, испуганная, вся в слезах, и протягивала ему лоснящийся от жира кусок пергамента, в котором ничего не было.

— Господи боже мой, Киска, что случилось? Ты выронила семгу?

— Съела, — всхлипнула она. — Всю сама съела.

— Так прямо из бумаги? Без хлеба? Целую четверть фунта? Да как же так, Киска?

— Съела, — всхлипывала она. — Всю сама съела.

— Да ты входи в комнату, расскажи, в чем дело. Ну иди и расскажи. Не стоит же из-за этого плакать. Расскажи все по порядку. Значит, купила семгу...

— Да, и мне так ее захотелось. Просто не могла смотреть, пока она нарезала и взвешивала. И как толь-

ко вышла, зашла в первые же ворота, взяла ломтик — ам, и съела.

— А потом?

— А потом так и пошло, всю дорогу, как ворота падутся, ну, не могу удержаться. Сначала я не хотела тебя объедать, все поровну разделила, пополам... А потом подумала, возьму один его ломтик, не так уж это для него важно. А потом так все и ела от твоей части, но кусочек тебе все-таки оставила, я даже наверх донесла, до передней, до самой двери...

— А потом все-таки съела?

— Да, потом все-таки съела, родненький, ты теперь ни кусочка так и не попробуешь. Ах, как я плохо сделала! Но это не потому, что я такая плохая, — всхлипывала она. — Это все мое положение. Никогда я не была жадной. И меня очень огорчает, что теперь и наш Малышок таким жадным родится. Или... может, мне опять сбежать в город и купить для тебя семги? Я донесу, честное-пречестное слово, донесу домой.

Он обнял ее.

— Ах ты моя большая глупышка. Большая моя девочка, только-то и всего...

И он утешал, и уговаривал ее, и утирал ей слезы, и понемногу начались поцелуи, а затем наступил вечер, а за вечером ночь...

Пиннеберг давно уже не в пронизанном ветром городском парке, Пиннеберг идет по улицам Духерова, у него определенная цель. Он не свернул на Полевую улицу, не пошел и в контору Клейнгольца: Пиннеберг твердым шагом идет вперед, Пиннеберг принял великое решение. Пиннеберг сделал открытие: гордость его — от глупости, Пиннеберг теперь знает — все неважно, только бы не страдала Киска и был бы счастлив Малыш. Разве в нем, Пиннеберге, дело? Пиннеберг — не такая уж важная птица, Пиннеберг может спокойно смириться, только бы им обоим было хорошо.

Пиннеберг прямым путем отправляется к Бергману, прямым путем в маленький темный закуток, отгороженный от магазина. И верно, Бергман сидит там и снимает копию на копировальном прессе. У Бергмана еще занимаются этим.

— А, Пиннеберг! — говорит Бергман. — Ну, как жизнь?

— Господин Бергман,— говорит, задыхаясь, Пиннеберг.— Я настоящий идиот, что ушел от вас. Простите меня, пожалуйста, я готов ходить за корреспонденцией.

— Ша-ша,— останавливает его Бергман.— Не говорите ерунды, Пиннеберг. Я ничего не слышал. Незачем вам просить прощения. Я все равно не возьму вас обратно.

— Господин Бергман!

— Не просите! Не унижайтесь! Потом самому стыдно будет, что напрасно унижались. Я не возьму вас обратно.

— Господин Бергман, вы тогда сказали, что, прежде чем взять обратно, вы меня с месяц помучаете...

— Сказал, господин Пиннеберг, вы правы, и очень сожалею, что сказал. Это я со злости сказал, потому что вы такой порядочный человек, такой услужливый — вот хотя бы с почтой — и уходите к такому пьянице и бабнику. Со злости сказал.

— Господин Бергман,— не отстаёт Пиннеберг,— я ведь женился, у нас скоро родится ребёнок. Клейнгольц меня увольняет. Что мне делать? Вы ведь знаете, как трудно устроиться у нас в Духерове. Работы нет. Возьмите меня. Вы знаете, я жалованье даром не получаю.

— Знаю, знаю.— Он кивает головой.

— Возьмите меня, господин Бергман. Пожалуйста! Тщедушный еврейчик, с которым господь бог при его сотворении обошелся не очень-то милостиво, качает головой.

— Я не возьму вас, господин Пиннеберг. А почему? Потому, что не могу вас взять!

— О господин Бергман!

— Брак — это вам-таки не пустяк, господин Пиннеберг, поторопились вы, да... И хорошая у вас жена?

— Господин Бергман!..

— Понимаю, понимаю. Желаю вам, чтобы она подольше оставалась хорошей. Послушайте, Пиннеберг, я вам истинную правду говорю. Я бы вас охотно взял, да не могу, супруга не хочет. Она против вас настроена, потому что вы сказали: «Вы мне приказывать не можете», — этого она вам не простила. И я могу вас взять? Мне очень жаль, господин Пиннеберг, но ничего не выйдет.

Молчание. Долгое молчание. Тщедушный Бергман повернул копировальный пресс, вытащил письмо и теперь рассматривает его.

— Так-то, господин Пиннеберг,— медленно говорит он.

— А если мне к вашей супруге пойти? — шепчет Пиннеберг.— Я бы пошел к ней, господин Бергман.

— А толк будет? Нет, толку не будет. Знаете, Пиннеберг, моя супруга будет вас обнадеживать,— она, мол, подумает,— а вы будете ходить и просить, ходить и просить. Но взять она вас все равно не возьмет, в конце концов мне-таки придется вам сказать, что ничего не вышло. Женщины, господин Пиннеберг, всегда так. Вы еще молоды, мало их знаете. Как давно вы женаты?

— Уже четыре недели.

— Четыре недели. Он еще неделями считает! Из вас хороший муж выйдет, сразу видно. Не стыдитесь того, что вам просить приходится, это ничего. Важно только, чтобы люди не сердились друг на друга. Никогда не сердитесь на свою жену. Всегда помните, она ведь женщина, разума у нее нет. Очень жаль, господин Пиннеберг.

Пиннеберг медленно уходит.

Почтальон приносит письмо,

а Киска в кухонном переднике бежит через весь город и рыдает в конторе у Клейнгольца

Сегодня пятница, двадцать шестое сентября, и сегодня Пиннеберг еще сидит в конторе. А Киска прибирается. И вдруг в самый разгар уборки стук в дверь, и она говорит: «Войдите». И входит почтальон и говорит:

— Фрау Пиннеберг здесь живет?

— Это я.

— Вам письмо. Надо бы дощечку на дверь прибить. У меня не собачий нюх.

И после этих слов сей достойный ученик Штефана удаляется.

А Киска стоит посреди комнаты и держит в руке письмо, большой сиреневый конверт с крупными каракулями. Это первое письмо, полученное Киской за ее суп-

ружескую жизнь, с родными в Плаце она не переписывается.

И письмо вовсе не из Плаца, это письмо из Берлина. А когда Киска перевернула конверт, то увидела даже адрес отправителя, вернее отправительницы.

«Миа Пиннеберг, Берлин, Северо-запад, 40, Шпенерштрассе, 92, 11».

«От его матери. Миа, не Мари. Нельзя сказать, что она торопилась с ответом».

Письмо Киска не распечатала. Она положила его на стол и продолжала уборку, время от времени поглядывая на письмо. Пусть лежит, пока не придет мальчуган. Вместе и прочтут, так лучше.

Но вдруг Киска откладывает тряпку. У нее предчувствие — наступил решающий час, в этом она уверена. Она бежит поскорее в кухню к Шаренхеферше и моет над раковиной руки. Шаренхеферша что-то ей говорит, и Киска машинально отвечает «да», хотя она ничего не слышала. Она уже стоит перед зеркалом, поправляет волосы — право же, она недурна.

А затем садится на диван, позабыв, что плюхаться запрещено (пружины вздыхают — о-о-ох!), берет письмо и вскрывает.

И читает.

До нее не сразу доходит.

Перечитывает еще раз.

И тут она вскакивает, ноги немножко дрожат, ничего, до Клейнгольца она добежит. С миленьким надо сейчас же поговорить.

О господи, очень радоваться нельзя, это может повредить Малышу.

«Следует избегать всех сильных волнений», — предписывает «Святое чудо материнства».

«О господи, как же их избежать? Да сейчас я вовсе и не хочу...»

В Клейнгольцевой конторе довольно сонное настроение, все три бухгалтера сидят без дела, и Эмиль тоже сидит без дела. Сегодня никакой настоящей работы нет. Но в то время как бухгалтера делают вид, будто трудятся, и даже очень рьяно, Эмиль просто сидит и соображает, нацедит ли ему Эмилия еще рюмочку. За сегодняшнее утро ему уже дважды повезло.

И вдруг отворяется дверь, и в эту скучающую контору влетает молодая женщина — глаза блестят, воло-

сы развеваются, на щеках румянец, и — можете себе представить! — она в переднике, в настоящем кухонном переднике.

— Мальчуган, выйди на минутку! Мне надо срочно поговорить с тобой, — крикнула она.

И когда все четверо, ничего не понимая, удивленно уставились на нее, она сказала, сразу опомнившись:

— Простите, господин Клейнгольц. Моя фамилия Пиннеберг, мне необходимо поговорить с мужем.

И вдруг эта молодая, спокойная женщина разрыдалась.

— Миленький, миленький, иди же скорей. Я... — умоляет она.

Эмиль что-то бормочет, дурак Лаутербах взвизгивает, Шульц нагло ухмыляется, а Пиннебергу ужасно стыдно. Он, как бы извиняясь, делает беспомощный жест рукой и идет к двери.

В воротах перед конторой, в широких воротах, через которые въезжают грузовики с мешками зерна и картофеля, Киска, вся в слезах, обнимает мужа:

— Мальчуган, я без ума от счастья! У нас есть место. Вот, читай!

И она сует ему в руку письмо.

Мальчуган смотрит как обалделый, ничего не понимая. Потом читает письмо:

— «Дорогая невестка по прозвищу Киска. Сынок мой, как я вижу, не поумнел, и ты с ним еще заплачешься. Что это он выдумал, работает в «удобрениях», это он-то, при том приличном образовании, что я ему дала! Пусть сейчас же едет сюда и с первого октября поступает на службу, которую я ему подыскала в магазине Манделя. На первое время вы поселитесь у меня. Привет.

Ваша мама.

Post scriptum: я уже месяц тому назад хотела вам написать, да не собралась. Протелеграфируйте, когда вы приедете».

— Ах, миленький, миленький, как я счастлива!

— Да, моя девочка. Да, моя хорошая. И я тоже. Хотя, что касается моего образования... Ну, да что теперь говорить. Сейчас же пойди и дай телеграмму.

Но расстаться сразу они не в силах.

Пиннеберг возвращается в контору, он молча садится на свое место, такой надутый, важный.

— Что нового на бирже труда? — спрашивает Лаутербах.

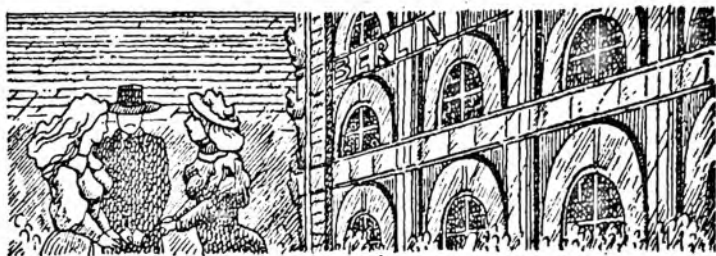
И Пиннеберг отвечает равнодушным тоном:

— Получил место старшего продавца в магазине Манделя в Берлине. Триста пятьдесят марок жалованья.

— Мандель? — переспрашивает Лаутербах. — Конечно, еврей.

— Мандель? — переспрашивает Эмиль Клейнгольц. — Поинтересуйтесь, солидная ли фирма. Я бы на вашем месте навел справки.

— У меня тоже как-то была одна, тоже ревела, как только немного разволнуется, — задумчиво говорит Шульц. — У тебя жена всегда такая истеричка, Пиннеберг?



Часть вторая

В БЕРЛИНЕ

Фрау Миа Пиннеберг в роли помехи уличному движению.
Она нравится Киске, не нравится сыну и объясняет,
кто такой Яхман

По Инвалиденштрассе едет такси, медленно прокладывает себе дорогу в уличной сутолоке, выезжает на вокзальную площадь, где меньше народу; словно вздохнув с облегчением, дает гудки и спешит к подъезду Штеттинского вокзала. Останавливается.

Из такси выходит дама.

— Сколько? — спрашивает она шофера.

— Две шестьдесят, — отвечает шофер.

Дама уже рылась в сумочке, но при этих словах закрывает ее.

— Две шестьдесят за десять минут езды? Нет, милый человек, я не миллионерша, пусть сын платит. Подождите нас.

— Не выйдет, сударыня, — говорит шофер.

— Что значит не выйдет? Я не заплачу, значит, вам придется подождать, пока приедет сын. В четыре десять со штеттинским поездом.

— Нельзя, — говорит шофер. — Здесь у вокзала стоянка не разрешается.

— Тогда подождите на той стороне. Мы перейдем на ту сторону и на той стороне сядем в машину.

Шофер склонил голову на плечо и, прищурясь, смотрит на даму.

— Ну, конечно, вы придете! — говорит он. — Придете! Это так же верно, как очередное снижение зара-

ботка. Только, знаете что, лучше скажите сыну, чтоб он отдал вам деньги. Этак будет куда проще.

— В чем дело? — подходит полицейский. — Проезжайте, шофер.

— Клиентка хочет, чтоб я ее подождал.

— Проезжайте, проезжайте.

— Она не хочет платить!

— Будьте добры уплатить. Здесь нельзя стоять, другим тоже на поезд надо.

— Да я совсем не на поезд. Я сейчас вернусь.

— Деньги отдайте... Ишь старая, а как накрутилась...

— Я запишу ваш номер, шофер...

— Проезжай, проезжай, старый черт, не то смотри, как бы я по твоему форду не двинул!..

— Будьте добры, сударыня, заплатите! Вы же сами видите... — Полицейский в полном замешательстве раскланивается перед ней, щелкает каблуками.

Она сияет.

— Да заплачу. Заплачу. Что же делать, если ждать не разрешается, я не собираюсь нарушать правила. Господи, сколько шуму? Предоставили бы нам, женщинам, улаживать такие дела... И все было бы в порядке.

Вестибюль вокзала. Лестница. Автомат с перронными билетами. «Взять билет? Еще двадцать пфеннигов. Но потом окажется, что там несколько выходов, я могу их пропустить. Ладно, после с него получу. На обратном пути надо купить сливочного масла, коробку сардин, помидоры. Вино пришлет Яхман. Купить цветов невестке? Нет, не надо, все это стоит денег и только одно баловство».

Фрау Миа Пиннеберг прохаживается по перрону. У нее дряблое, чуть полное лицо с удивительно блеклыми, словно вылинявшими голубыми глазами. Она блондинка, очень светлая блондинка, брови темные, накрашенные, и, кроме того, она чуть-чуть нарумянена, совсем чуть-чуть, так только, для встречи на вокзале. Обычно в это время дня она не выходит из дому.

«Милый мой мальчик, милый мой мальчик, — растроганно повторяет она про себя, потому что знает: ей надо быть немного растроганной, иначе вся эта встреча будет просто в тягость. — Интересно, какой он, все такой же глупый? Конечно, такой же, раз женился на девушке из Духерова! А я бы из него конфетку сделать могла, правда. Был бы мне очень полезен. Его жена... в

конце концов тоже могла бы мне помочь, если она простая девочка. Как раз потому, что она простая. Яхман постоянно жалуется, что мы слишком много проживаем. Может быть, откажу тогда Меллер. Посмотрим. Слава богу, поезд...»

— Здравствуйте,— говорит она, сияя.— Прекрасно выглядишь, сынок. Как видно, торговля углем пошла тебе впрок! Ты торговал не углем? Так почему же ты так написал? Да, да, можем спокойно поцеловаться, у меня губная помада не стирается. И с тобой, Киска, тоже. Я тебя совсем другой представляла.

Она держит Киску на расстоянии вытянутой руки.

— А ты, мама, думала — я какая? — улыбаясь, спрашивает Киска.

— Ну, знаешь, из провинции, и звать тебя Эмма, и он тебя Киской зовет... Говорят, вы в Померании еще бумазейное белье носите. Нет, Ганс, что это ты придумал, такая девушка — и вдруг Киска. Да она у тебя валькирия, грудь высокая, гордый взгляд... Ой, только, ради бога, не красней, а то я опять подумаю: настоящая провинциалка.

— Да я и не собираюсь краснеть,— смеется Киска.— Ну, конечно, у меня высокая грудь. И взгляд гордый. Особенно сегодня. Берлин! Мандель! И такая свекровь! Только вот бумазейного белья я не ношу.

— Да, кстати, о белье... как у вас с багажом? Пусть лучше доставит на дом транспортная контора. Или у вас мебель?

— Мебели у нас пока нет, мама. До покупки мебели мы еще не дошли.

— И не спешите. В моей квартире у вас будет княжески обставленная комната. Я знаю, что говорю: очень уютная. Деньги гораздо нужнее мебели. Надеюсь, денег у вас много.

— Откуда? — бормочет Пиннеберг.— Откуда у нас быть деньгам? Сколько платит Мандель?

— Какой Мандель?

— Ну, да в магазине Манделя, куда я поступаю работать?

— Разве я писала что про Манделя? Я уже забыла. Поговоришь сегодня вечером с Яхманом. Он знает.

— С Яхманом?

— Ну, так берем такси! Вечером у меня гости, я не хочу запаздывать. Ганс, сбегай-ка вон туда, к окошечку

доставки багажа. И скажи, чтобы до одиннадцати не доставляли, я не люблю, когда звонят до одиннадцати.

Обе женщины остались на некоторое время одни.

— Ты любишь поспать, мама? — спрашивает Киска.

— Конечно. А ты не любишь? Всякий разумный человек любит поспать. Надеюсь, ты не будешь уже с восьми утра по квартире шлепать.

— Конечно, я тоже люблю поспать. Да только мальчугану надо вовремя поспеть на службу.

— Мальчугану? Какому мальчугану? Ах да, нашему мальчугану. Ты зовешь его мальчуганом. А я Гансом. На самом деле его Иоганнес зовут, старик Пиннеберг так захотел, чудак был... Зачем же тебе так рано вставать? Это просто нелепый мужской предрассудок. Отлично могут сами сварить себе кофе и намазать хлеб маслом. Только скажи ему, чтобы не очень шумел. Прежде он ни с кем не желал считаться.

— Со мной он всегда считается! — решительно заявляет Киска. — Никто со мной так не считался, как он.

— Сколько времени вы женаты?.. Ну, так о чем же тогда говорить! Да, Киска, надо подумать, как я тебя звать буду... Все в порядке, сынок? Значит, берем такси!

— Шпенерштрассе, девяносто два, — говорит шоферу Пиннеберг.

— У тебя, мама, сегодня гости? Но не...? — Он не договаривает.

— Ну, в чем дело? — подбадривает его мать. — Чего ты стесняешься? Ты хотел сказать: не в нашу честь, да? Нет, сынок, во-первых, на это у меня нет денег, а во-вторых, это не развлечение, а дело. Да, дело.

— Ты вечером уже не уходишь...? — Пиннеберг опять не доканчивает вопроса.

— О господи, Киска! — возмущается его мать. — И в кого у меня такой сын? Он опять стесняется! Он хочет спросить, все ли я еще в баре. Когда мне восемьдесят будет, он и тогда еще не перестанет спрашивать. Нет, Ганс, уже много лет не в баре. Он тебе тоже, верно, говорил, что я работаю в баре, что я барменша? Нет, не говорил? Так я и поверила!

— Да, что-то в этом роде он говорил... — робко проносит Киска.

— Вот видишь! — торжествующе заявляет мамаша Пиннеберг. — Знаешь, мой сыночек Ганс всю свою

жизнь только и делает, что улаживает себя и других разговорами на тему о материнской безнравственности. Он просто гордится своим горем. Как был бы он счастлив, если бы имел несчастье родиться внебрачным. Но тут счастье изменило тебе, сынок, ты мой законный сын, я, дура, была верна Пиннебергу.

— Позволь, мама! — протестует Пиннеберг.

«Господи, как хорошо, — думает Киска. — Все гораздо лучше, чем я думала. Она совсем не плохая».

— Так, а теперь слушай, Киска... Эх, какое тебе имя придумать? С баром все не так страшно. Во-первых, с тех пор по меньшей мере десять лет прошло, а потом, это был очень большой бар с четырьмя или пятью официантками и барменом, и они всегда плутовали с водкой и неправильно записывали бутылки, и утром счет не сходился, вот я и пожалела хозяина и согласилась там работать из чистой любезности. Я была своего рода директором, так сказать, правой рукой хозяина...

— Но, мальчуган, почему же ты тогда...

— Я тебе сейчас скажу, почему. Он подсматривал у входа через занавеску.

— Совсем я не подсматривал.

— Нет, подсматривал, Ганс, не ври. И, конечно, мне случилось иной раз выпить с завсегдатаями бокал шампанского...

— Водки, — мрачно поправляет ее сын.

— Ну и ликер я иногда пью. И твоя жена будет пить.

— Моя жена вообще спиртного в рот не берет.

— Умно делаешь, Киска. Дольше сохранишь кожу гладкой. И для желудка это лучше. А потом от ликера я так полнею — просто ужас!

— А что это у тебя сегодня за деловые гости? — спрашивает Пиннеберг.

— Ты посмотри на него, Киска! Прямо следовательно! Он уже в пятнадцать лет таким был. «С кем ты пила кофе? В пепельнице лежал окурочек сигары». Сын у меня...

— Но про гостей ты сама сказала, мама...

— Ах, вот как? Ну, а теперь больше не хочу говорить. Вся охота пропала, как увидела, какую ты гримасу скорчил. Во всяком случае, вы не обязаны присутствовать.

— Но что случилось? — недоумевает Киска. — Только что все были так довольны.

— Вечно он заводит эти противные разговоры про бар, — злится фрау Пиннеберг-старшая. — И ведь так уже много лет.

— Прости! Начал не я, а ты, — выходит из себя Пиннеберг.

Киска поглядывает то на одного, то на другого. Она еще не слышала, чтобы ее мальчуган так разговаривал.

— А кто такой Яхман? — спрашивает Пиннеберг, равнодушный к излияниям своей мамы, и голос у него далеко не ласковый.

— Яхман? — переспрашивает Миа Пиннеберг, и ее выцветшие глаза грозно сверкают, — Яхман — мой любовник на сегодняшний день, я с ним сплю. На сегодняшний день он заместитель твоего отца, сынок мой Ганс, и потому изволь относиться к нему с уважением. — Она фыркает. — Ах, боже мой, гастрономический магазин! Остановитесь, остановитесь, шофер!

Она уже выскочила из машины.

— Видишь, Киска, какая у меня мать. Я хотел с самого начала показать тебе ее в настоящем свете. Вот какая она, — с глубоким удовлетворением говорит Иоганнес Пиннеберг.

— Ну как только ты можешь, миленький! — удивляется Киска и впервые действительно сердится на него.

Настоящая княжеская кровать, только уж очень дорогая.

Яхман слухом не слышал ни о каком месте.

Киска учится просить

Фрау Пиннеберг открыла дверь в комнату и торжествуя сказала:

— Вот ваша комната...

Она повернула выключатель, и красноватый свет лампы смешался со светом уходящего сентябрьского дня. Она говорила о княжески обставленной комнате. И это действительно так. На возвышении — кровать, широкая кровать, деревянная, позолоченная и с амурами. Красные шелковые стеганые одеяла, какая-то белая шкура на приступочке. Над кроватью балдахин. Пышное парадное ложе...

— Господи! — воскликнула Киска и в этой своей новой комнате. Потом кротко сказала: — Да, но это слишком хорошо для нас. Мы ведь люди маленькие.

— Настоящая,— гордо заявила фрау Миа.— Людовик XVI или рококо, я уже не помню, спросите Яхмана, это он мне подарил.

«Подарил,— думает Пиннеберг.— Он ей кровати дарит».

— До сих пор я эту комнату сдавала,— продолжает фрау Миа.— Великолепная кровать, но чтобы очень удобна была, не скажу. Сдавала большей частью иностранцам. За нее и за комнату напротив я получала двести марок в месяц. Но кто сейчас такие деньги даст? С вас мы возьмем сто.

— Сто марок за комнату я, мама, платить никак не могу,— заявляет Пиннеберг.

— А почему? Сто марок совсем недорого за такую шикарную комнату. И телефоном можете пользоваться.

— Телефон мне не нужен. Роскошная комната мне не нужна,— сердито говорит Пиннеберг.— Я даже не знаю, сколько я буду получать, а ты говоришь — сто марок за комнату.

— Ну, так пойдемте пить кофе,— говорит фрау Миа и выключает свет.— А может быть, сто марок для тебя будет не так уж дорого, ведь ты же не знаешь, сколько будешь получать. Вещи оставьте здесь. Послушай, Киска, моя служанка сегодня не пришла, сможешь мне немножко по хозяйству? Тебя это не затруднит?

— С удовольствием; мама, с большим удовольствием,— соглашается Киска.— Надеюсь не сплеховать, я ведь совсем неумелая хозяйка.

Некоторое время спустя в кухне можно наблюдать такую картину: на старом плетеном стуле сидит фрау Пиннеберг-старшая и курит одну сигарету за другой. А у мойки стоят молодые Пиннеберги и моют посуду. Она моет, он вытирает. Грязной посуды целая куча, тут и кастрюли с остатками еды, и целые батальоны чашек, целые эскадроны рюмок, тарелки, ножи, ножи, вилки и опять ножи и вилки... Посуду не мыли недели две, не меньше.

Фрау Миа Пиннеберг занимает их разговором:

— Сами видите, какая у меня прислуга. Я ведь в кухню не вхожу, вот Меллерша и делает что хочет! И чего я ей такие деньги плачу, завтра же выгоню. Ганс, сынок, ты поаккуратнее, смотри, чтобы на рюмках не оставалось следов от полотенца. На Яхмана очень трудно угодить, он такой стакан просто об стену шварк-

нет. А когда покончим с посудой, тут же примемся ужин готовить. Это дело нетрудное: нарежем бутерброды, где-то оставался большой кусок жареной телятины... Слава богу, Яхман пришел, он тоже поможет.

Дверь открывается, входит господин Хольгер Яхман.

— Кто это у нас? — удивленно спрашивает он и во все глаза смотрит на неожиданных судомоек.

Яхман — исполин, Яхман совсем, совсем не такой, каким его представляли себе супруги Пиннеберг. Рослый блондин, с голубыми глазами, с решительным, веселым, открытым лицом, широкоплечий, даже сейчас, поздней осенью, без пиджака и жилета.

— Кто это у нас? — недоумевает он и не переступает порога. — Неужели Меллерша, эта старая кляча, обожралась нашей водкой и сдохла?

— Очень мило, Яхман, — говорит фрау Миа, не вставая со стула. — Стоишь и глазеешь. Уж который раз ты так стоишь и глазеешь, просто записывать надо бы! Ведь я же тебе ясно сказала, что жду сына с невесткой.

— Ни слова ты мне не говорила, ни слова, — уверяет исполин. — В первый раз слышу, что у тебя сын. Да еще и невестка. Мадам, — Киске, стоящей у мойки, в первый раз в жизни целуют руку, да еще мокрую. — Мадам, я в восторге. Вы теперь всегда будете мыть здесь посуду? Разрешите! — Он берет у нее из рук кастрюлю. — Вот это действительно тяжелый случай. В этой кастрюле Пиннеберг варила из старых подметок новые. Если память мне не изменяет, наждак должен лежать на нижней полке в кухонном шкафу, вот разве только окочурившаяся Меллерша унесла его с собой в могилу. Благодарю вас, молодой человек, позже спрыснем наше знакомство.

— Болтаешь всякую ерунду, Яхман. Любезничаешь, — раздается с галерки голос фрау Пиннеберг. — И уверяешь, что я никогда не говорила тебе о сыне. А ведь ты, ты, собственно, лично устроил этого самого моего сына к Манделю с первого октября, то есть уже с завтрашнего дня он должен приступить к работе. Как это на тебя похоже, Яхман.

— Я устроил? Быть не может! — ухмыляется Яхман. — Чтобы я в наши дни устроил, на место — нет. Потом неприятностей не оберешься.

— Господи, что за человек! — возмущается фрау Пиннеберг. — Да ты же мне сказал, что все в порядке, чтоб я его вызывала.

— Ты что-то путаешь, Пиннеберг, ты путаешь, а не я. Возможно, я о чем-то таком и говорил, обещал посмотреть, нельзя ли что сделать, что-то такое смутно припоминаю, но про сына ты мне определенно ничего не говорила. Во всем твое проклятое кокетство виновато. Слово «сын» я от тебя ни разу не слышал.

— Нет, каково! — возмущается фрау Пиннеберг.

— И, по-твоему, я сказал, что все в порядке? Что касается дел, я очень пунктуален, аккуратнее меня человека нет, я настоящий педант — значит, позабыть я не мог. Вчера еще я виделся с Леманом — он заведует у Манделя персоналом — уж он-то мне должен был хоть заикнуться. Нет, Пиннеберг, это все опять твои воздушные замки.

Супруги Пиннеберг уже давно покончили с мытьем посуды, они стоят и глядят то на маму, которую исполн зовет просто по фамилии, то на Яхмана, который с олимпийским спокойствием от всего отрешивается. И считает, что вопрос исчерпан, исчерпан окончательно.

Однако тут есть еще Иоганнес Пиннеберг. На Яхмана Пиннебергу наплевать, с ним он не считается, Яхмана он уже возненавидел, несет там какой-то вздор, думает Пиннеберг. Но он делает несколько шагов в сторону матери, он очень бледен.

— Мама, как это понимать прикажешь — ты вызвала нас из Духерова, мы потратили на поездку кучу денег, а ты просто морочила нам голову? — говорит он, слегка заикаясь, но очень отчетливо. — Только ради того, чтобы сдать нам за сто марок княжескую постель...

— Миленький, — хочет остановить его Киска.

Но миленький продолжает все решительнее:

— И чтобы у тебя была судомойка? Мы с Киской люди бедные, здесь мне, вероятно, даже пособия по безработице не дадут... так что же... что же... — вдруг он начинает всхлипывать, — что же нам теперь делать?

Он озирается по сторонам.

— Ну, ну, ну, только не ной, — говорит мать. — Вернуться в Духеров всегда успеете. Вы же слышали, и ты, Киска, тоже слышала: я тут ни при чем, опять этот человек, опять Яхман все напутал. Его послушать, так всегда все в порядке и аккуратнее его человека нет,

а на самом деле... Вот пари держу, он уже позабыл, что сегодня Штошуссенс приведет трех голландцев и что надо пригласить Мюллензифена и Нину и Клэр. И новую колоду для экарте ты должен был принести...

— Вот, извольте,— торжествующе говорит исполин.— Пиннеберг всегда так. О трех голландцах она мне сказала и насчет девочек тоже. А о Мюллензифене ни слова! Да и зачем нам Мюллензифен? Все, что делает Мюллензифен, и я делать умею.

— А карты для экарте, дорогуша? — Фрау Пиннеберг выжидающе смотрит на него.

— Принес, принес! Они у меня в пальто. Во всяком случае, думаю, что в пальто, когда я его надевал... сейчас сбегая в переднюю, посмотрю...

— Господин Яхман! — вдруг обращается к нему Киска и заступает ему дорогу.— Выслушайте меня. Видите ли, для вас это пустяк, что у нас нет места. Вы, вероятно, всегда сумеете найти выход, вы гораздо умнее нас...

— Слышишь, Пиннеберг? — с удовлетворением произносит Яхман.

— А мы люди совсем простые. И если мой мальчуган не получит места, для нас это будет большим несчастьем. Поэтому я вас очень прошу, если вы можете, постарайтесь, подыщите нам место.

— Знаете, дамочка, я постараюсь. Я подыщу мальчугану место,— с убеждением говорит Яхман.— Какое место вам нужно? Сколько он должен зарабатывать, чтобы вам на жизнь хватало?

— Да ты же отлично все знаешь,— вмешивается фрау Миа.— Продавцом к Манделю. В магазин мужского готового платья.

— К Манделю? Вы согласны в эту потогонную лавочку? — спрашивает Яхман и прищуривается.— Кроме того, думаю, там он получит пятьсот марок в месяц, не больше.

— Ты с ума сошел,— говорит фрау Миа.— Чтобы продавец получал пятьсот марок! От силы двести. Ну, двести пятьдесят.

Пиннеберг кивает головой в подтверждение ее слов.

— Ладно! — облегченно вздыхает исполин.— Бросьте ерунду болтать. Знаете, я поговорю с Манассе, мы откроем для вас в старом Вестене такую лавочку — все отдай, мало, такую, как никому и не снилось. Я устрою вас, мадам, роскошно устрою.

— Хватит,— сердито обрывает его фрау Миа.— Твоими устройствами я сыта по горло.

А Киска прибавляет:

— Господин Яхман, устройте нам место, место с жалованьем, какое полагается по тарифному договору.

— Только и всего! Такие дела я сто раз обдeldывал. Значит, к Манделю. Пойду-ка я к Леману, этот идиот всякому рад услужить.

— Только, пожалуйста, не забудьте, господин Яхман. Это надо сделать не откладывая.

— Завтра же поговорю с ним. Послезавтра ваш муж приступит к работе. Честное слово.

— Мы вам очень, очень благодарны, господин Яхман.

— Все в порядке, мадам. Все в полном порядке. А теперь я пойду за этими чертовыми картами.. Голову дам на отсечение, что надел пальто, когда выходил из дому. А потом где-то оставил, а где, одному богу известно. Каждую осень та же история: никак не могу привыкнуть, забываю о нем, вечно я его где-нибудь оставляю. А весной всегда чужие надеваю...

— Яхман устремляется в переднюю.

— И он еще смеет уверять, будто ничего не забывает,— говорит фрау Миа в утешение молодым супругам.

Яхман лжет, фрейлейн Землер лжет, господин Леман лжет, и Пиннеберг тоже лжет, но все же он получает место, да еще и папашу в придачу

Яхман дожидался Пиннеберга около магазина Манделя, у витрины «Костюмы для мальчиков и юношей».

— А вот и вы. Только зачем такое озабоченное лицо? Все в полном порядке. Я Леману все уши о вас прожужжал, теперь он вами просто бредит... Сегодня ночью мы вам не очень мешали?

— Немножко,— с запинкой отвечает Пиннеберг.— Мы еще не привыкли. А может, просто с дороги устали. Не пора к господину Леману?

— А пусть его подождет! Он радоваться должен, что вы у него работать будете. Конечно, пришлось его долго уламывать. В наши дни не так-то легко взять нового служащего. Если он будет вас спрашивать, так помните — вы ничего не знаете.

— Может быть, вы мне скажете, что вы ему говорили? Я должен быть в курсе.

— Э, что там! В каком еще курсе?! Вы же не умеете врать, по глазам видно. Нет, вы ничего не знаете. Пойдемте посидим немножко в кафе напротив...

— Нет, сейчас я не хотел бы...— настаивает на своём Пиннеберг.— Сейчас я хотел бы, чтобы у меня уже была уверенность. Для нас с женой это так важно...

— Важно! Двести марок в месяц... Ну, ну, ну, чего вы так смотрите, я же не в обиду вам сказал. Послушайте, Пиннеберг,— говорит большой Яхман и очень осторожно кладет руку на плечо маленькому Пиннебергу,— я здесь не зря стою и разглагольствую...— Яхман пристально смотрит на Пиннеберга.— Вас не шокирует, что я друг вашей матери?

— Нет, нет,— уныло тянет Пиннеберг, ему бы очень хотелось быть сейчас совсем в другом месте.

— Видите ли, Пиннеберг, видите ли, такой уж я человек, не могу молчать,— говорит Яхман, и в голосе его звучат ласковые нотки.— Другой бы, может быть, надулся и молчал и думал, какое мне дело до этих молокососов! Я же вижу, вас это шокирует. Пусть это вас не шокирует, так и жене скажите... Нет, не надо, ваша жена не такая, как вы, я это сразу понял... И если мы с Пиннеберг поскандалим, не обращайтесь внимания, это у нас так водится, без этого с тоски помрешь... А что Пиннеберг за эту изъеденную молью комнату с вас сто марок содрать хочет, так это чепуха, не отдавайте ей денег, и вся недолга, все равно промотает. А насчет вечерних гостей, так вы голову себе не ломайте, так оно заведено, так и останется, пока не переведутся дураки... И вот еще что, Пиннеберг...— и теперь великий болтун так обворожительно мил, что Пиннеберг, при всей своей антипатии, очарован, восхищен им...— вот еще что, Пиннеберг: не спешите говорить матери, что ждете ребенка. Я имею в виду, что ваша жена ждет. Для вашей матери ребенок хуже всего, хуже крыс и клопов, видно, она с вами хлебнула горя. Ничего не говорите. Отрицайте, и все. Время терпит. Я попробую сам ей сказать... Во время купания он мыла еще не цапает?

— При чем тут мыло? — не понимает Пиннеберг. Яхман хохочет.

— Вот если ребеночек, когда мамаша купается, высунется и цапнет из ванны кусок мыла, тогда уж, зна-

чит, скоро. Такси! Эй, такси! — вдруг орет он. — Мне уже полчаса, как надо на Александерплац быть, зададут же мне теперь перцу эти голубчики. — И уже из машины кричит: — Стало быть, помните, второй двор, направо, Леман. Ничего не говорите. И ни пуха ни пера. Поцелуйте ручку жене. Желаю удачи!..

Второй двор направо. Все занято Манделем. Ну и огромное же дело у этого Манделя, те магазины, где до сих пор работал Пиннеберг, в десять, да какое там, пожалуй, в сто раз меньше. И он дает себе слово трудиться в поте лица, показать, на что он способен, все сносить, не ерепениться, да, моя Киска, да, мой Малыш!

Второй двор направо в первом этаже: «Заведующий отделом личного состава фирмы Манделя». И тут же огромное объявление: «С предложением услуг просят не обращаться». И еще одно объявление: «Входить без стука». Пиннеберг так и делает: входит без стука.

Загородка. За ней пять пишущих машинок. За пятью пишущими машинками пять машинисток, одни помоложе, другие постарше. Все пять вскидывают глаза от машинок, и все пять тут же снова утыкаются носом в машинку и стучают дальше: ни одна не видела, что кто-то вошел. Пиннеберг стоит и ждет. Спустя некоторое время он обращается к одной из них — к той, что в зеленой блузке, к той, что сидит к нему всех ближе:

— Будьте любезны, фрейлейн...

— Будьте любезны! — говорит зеленая блузка и смотрит на него с таким возмущением, словно он предложил ей тут же, немедленно с ним...

— Я хотел бы видеть господина Лемана.

— Объявление на дверях!

— Простите, что вы сказали?

— Объявление на дверях!

— Я не понимаю вас, фрейлейн.

Зеленая блузка возмущена.

— Прочитайте объявление на дверях: «С предложением услуг просят не обращаться».

— Прочитал. Но я вызван к господину Леману. Господин Леман ждет меня.

Машинистка — Пиннеберг находит, что она довольно мила и как будто с недурными манерами, интересно только, как она разговаривает со своим шефом, неужели так же, как с сослуживцами? — машинистка сердито смотрит на него.

— Заявление! — говорит она. И затем с раздражением поясняет: — Заполните заявление!

Пиннеберг следует за ее взглядом. В углу на конторке лежит блокнот, на цепочке висит карандаш.

«Господин (госпожа)
хотел бы видеть господина (госпожу)
. Цель посещения
(указать точно)
. »

Пиннеберг пишет сначала: «Пиннеберг», затем «Лемана», над целью посещения, которую надо указать точно, он призадумывается. Он колеблется между «известна» и «поступление на работу». Но ни то, ни другое, вероятно, не удовлетворит строгую машинистку, и он пишет: «Яхман».

— Пожалуйста.

— Положите сюда.

Заявление лежит на барьере, машинки стрекочут, Пиннеберг ждет.

Немного спустя он кротко напоминает:

— Фрейлейн, я думаю, что господин Леман меня ждет.

Ответа нет.

— Фрейлейн, будьте любезны!

Машинистка что-то бормочет, что-то нечленораздельное, вроде «пш-пш-пш», Пиннебергу приходит в голову, что так шипят змеи.

«Да, если здесь все сослуживцы такие...» — грустно думает Пиннеберг. Он все еще ждет.

Некоторое время спустя приходит рассыльный в серой форме.

— Заявление! — говорит машинистка.

Рассыльный берет заявление, читает, смотрит на Пиннеберга и исчезает.

На этот раз Пиннебергу не приходится долго ждать. Снова появляется рассыльный.

— Господин Леман просит, — говорит он очень вежливо и проводит его через проход в барьере в следующую комнату.

Это еще не кабинет Лемана. Но это преддверие к лемановскому кабинету.

Здесь сидит стареющая дама с желтой физиономией. «Верно, личный секретарь Лемана», — со страхом думает Пиннеберг.

— Присядьте, пожалуйста. Господин Леман еще занят,— говорит дама страдающим, томным голосом.

Пиннеберг садится. В комнате много шкафов с делами, жалюзи подняты доверху, скоросшиватели лежат стопками — синие, желтые, зеленые, красные. У каждого скоросшивателя имеется хвостик, и Пиннеберг читает на хвостиках фамилии; «Фихте», читает он, потом «Фильхнер», потом: «Фишер».

«Это фамилии служащих,— думает он,— личные дела»,— думает он. Есть совсем тоненькие, есть личные судьбы средней толщины, совсем толстых личных судеб нет.

Старая дева с желтой физиономией ходит то туда, то сюда. Она берет машинописную копию, вздыхает, со страдающим видом рассматривает ее, затем пробивает. Она берет папку, подшивает копию к делу. Что это: приказ об увольнении или о прибавке жалованья? А может быть, это письмо, в котором фрейлейн Бир предлагается быть любезнее с покупателями?

«Может быть, уже завтра, а то уже и сегодня вечером, эта желтая старая дева заведет новое личное дело: Иоганнес Пиннеберг. Ах, как бы хорошо!» — думает Пиннеберг. Телефон на столе звонит. Старая дева достает папку, вкладывает в нее письмо, телефон звонит, подшивает письмо, телефон звонит, кладет папку обратно на полку, телефон звонит. Старая дева берет трубку и говорит страдающим, бледным голосом:

— Отдел личного состава. Да, господин Леман тут... Кто будет говорить? Господин директор Кусник?.. Да, пожалуйста, будьте любезны попросите к телефону господина директора Кусника! Я соединю с господином Леманом.

Недолгая пауза. Наклонившись вперед, старая дева слушает, можно подумать, она видит того, кто на другом конце провода; чуть заметный румянец появляется на ее бледных щеках. Голос у нее все еще страдающий, но в нем слышатся резкие нотки, когда она говорит:

— К сожалению, фрейлейн, я могу соединить с господином Леманом только после того, как вызвавшее его лицо возьмет трубку.

Пауза. Она слушает. Говорит чуточку более резко:

— Вы можете соединить с директором Кусником, только когда господин Леман возьмет трубку? — Пауза. Очень гордо: — Я могу соединить с господином Ле-

маном, только когда директор Кусник возьмет трубку.— Теперь темп ускоряется, тон делается все резче.

— Извините, фрейлейн, позвонили вы!

— Нет, фрейлейн, мне даны указания.

— Извините, фрейлейн, на это у меня нет времени.

— Нет, фрейлейн, сперва должен взять трубку господин Кусник.

— Извините, фрейлейн, мне придется повесить трубку.

— Нет, фрейлейн, так уже не раз бывало, потом окажется, что ваш шеф говорит по другому аппарату. Господин Леман не может ждать.

И несколько мягче:

— Да, фрейлейн, я же вам сказала, господин Леман здесь. Я сейчас же соединю.— Пауза. Затем совсем другим голосом, кротким, страдающим: — Господин директор Кусник?.. Соединяю с господином Леманом.— Нажатие на рычажок, голос нежный, воркующий: — Господин Леман, директор Кусник у аппарата. Извините, как вы сказали? — Она слушает всем своим существом. И совсем изнемогая: — Да, господин Леман.— Нажатие на рычажок: — Господин директор Кусник? Мне только что сообщили, что господина Лемана вызвали на совещание. Нет, я его вызвать не могу. В данный момент его нет в кабинете... Нет, господин директор, я не говорила, что господин Леман здесь, ваша секретарша, верно, ослышалась. Нет, я не могу сказать, когда господин Леман вернется. Простите, пожалуйста, но я этого не говорила, ваша секретарша ослышалась. Всего доброго.

Она вешает трубку. Все такая же страдающая, желтая, только чуть порозовевшая. Она опять подшивает бумаги к личным делам, и Пиннебергу кажется, будто она немного повеселела.

«Препираться-то ей, выходит, полезно,— думает Пиннеберг.— Верно, радуется, что секретарше Кусника влетит. Ей важно только самой усидеть на месте».

Телефон на столе звонит. Два раза. Громко. Резко.

Папка из рук секретарши летит на пол, она прилипла к трубке.

— Да, господин Леман? Да. Сию минуту.— И затем, обращаясь к Пиннебергу: — Господин Леман ждет вас.— Она распахивает перед ним коричневую, обитую клеенкой дверь.

«Хорошо, что я всю эту комедию видел,— думает Пиннеберг, проходя в дверь.— Итак, держаться с должным подобострастием. Говорить как можно меньше. Да, господин Леман. Слушаюсь, господин Леман».

Огромная комната, одна стена — почти сплошное окно. И у этого окна стоит письменный стол гигантских размеров, а на нем ничего — только телефон. И желтый карандаш тоже гигантских размеров. Ни листа бумаги. Ничего. По одну сторону стола кресло — пустое. По другую плетеный стульчик, на нем — это, должно быть, и есть господин Леман — длинный человек с желтым морщинистым лицом, черной бородкой и бледной лысиной. Очень темные круглые колючие глаза.

Пиннеберг останавливается перед письменным столом. В душе он вытянул руки по швам, а голову втянул как можно глубже в плечи, чтобы не казаться слишком большим. Ибо то, что господин Леман сидит на плетеном стульчике, чистая формальность, ему бы следовало сидеть на верхней ступеньке приставной лестницы, тогда бы между ними была соблюдена правильная дистанция.

— С добрым утром,— говорит Пиннеберг кротко и вежливо и отвешивает поклон.

Господин Леман ничего не говорит. Он берет свой гигантский карандаш и ставит его стоймя.

Пиннеберг ждет.

— Что вам угодно? — весьма нелюбезно спрашивает господин Леман.

Пиннебергу нанесен удар прямо под ложечку. Страшный удар.

— Я... я думал... господин Яхман...— и это все, язык окончательно прилипает у него к гортани.

Господин Леман внимательно его рассматривает.

— До господина Яхмана мне нет никакого дела. Я хочу знать, чего хотите вы.

— Я прошу взять меня на службу в качестве продавца,— говорит Пиннеберг, говорит очень медленно, потому что язык слушается его с трудом.

Господин Леман кладет карандаш на стол.

— Мы никого не берем на службу,— безапелляционно заявляет он. И ждет.

Господин Леман человек терпеливый. Он ждет. Наконец он опять ставит карандаш стоймя и спрашивает:

— Что еще?

— Может быть, через некоторое время? — лепечет Пиннеберг.

— Это при теперешней-то конъюнктуре! — Г-н Леман пожимает плечами.

Молчание.

«Значит, надо уходить. Опять не повезло. Бедная Киска!» — думает Пиннеберг. Он собирается уже откланяться.

— Покажите ваши документы,— вдруг говорит г-н Леман.

Пиннеберг протягивает документы, рука его явно дрожит, он явно испытывает страх.

Что испытывает г-н Леман, неизвестно; но в торговом доме Манделя до тысячи служащих, г-н Леман заведует персоналом, значит, он большой человек. Возможно, г-н Леман испытывает удовольствие.

Итак, Пиннеберг, дрожа, подает документы: свидетельство об окончании училища, затем рекомендацию от Вендхейма, рекомендацию от Бергмана, рекомендацию от Клейнгольца.

Все очень хорошие рекомендации. Г-н Леман читает очень медленно, с невозмутимым видом. Затем поднимает голову, словно в раздумье. А вдруг, а вдруг...

— Н-да, удобрением мы не торгуем,— изрекает г-н Леман.

Так, получил! Разумеется, он, Пиннеберг, просто дурак, он едва выдавливал из себя:

— Я думал... собственно, мужское готовое платье... удобрение это только между прочим.

Леман наслаждается. Он так доволен, что еще раз повторяет:

— Нет, удобрением мы не торгуем,— и прибавляет: — И картофелем тоже.

Он мог бы еще поговорить о зерне и семенах, на бланке Эмиля Клейнгольца это тоже значит, но слово «картофель» прозвучало уже не так эффектно, поэтому он только буркает:

— А карточка страхования служащих где?

«Что все это значит? — думает Пиннеберг. — зачем ему моя карточка? Просто ему приятно меня помучить!» — Он кладет на стол зеленую карточку. Господин Леман разглядывает ее со всех сторон, долго смотрит на марки, кивает головой.

— Дайте карточку уплаты налогов.

Пиннеберг достает и эту карточку, и она тоже подвергается тщательному осмотру. Затем опять следует длительное молчание, дающее Пиннебергу возможность обольститься надеждой и отчаяться и опять обольститься надеждой.

— Итак, — произносит наконец г-н Леман и накрывает бумаги ладонью. — Итак, мы не принимаем новых работников. Мы не имеем на это права. Мы сокращаем старых!

Все. Говорить больше не о чем. Это уже окончательно. Но г-н Леман не снимает руки с бумаг, он даже кладет сверху свой гигантский желтый карандаш.

— Однако... — произносит г-н Леман, — однако мы можем переводить работников из своих филиалов. Особенно дельных работников. Ведь вы очень дельный работник?

Пиннеберг что-то лепечет. Во всяком случае, он не возражает. Господина Лемана это удовлетворяет.

— Вас, господин Пиннеберг, мы переводим из нашего Бреславльского филиала. Вы приехали из Бреслава, не так ли?

Опять робкий лепет, и опять г-н Леман удовлетворен.

— Надеюсь, в отделе мужского готового платья, где вы будете работать, нет никого из Бреслава?

Пиннеберг что-то бормочет.

— Отлично. С завтрашнего утра вы приступите к работе. В восемь тридцать зайдете к фрейлейн Землер, это тут же. Подпишете договор и правила распорядка нашего торгового дома, фрейлейн Землер сообщит вам что надо. Всего доброго.

— Всего доброго, — говорит и Пиннеберг и кланяется. Он отступает к двери. Он уже взялся за ручку и вдруг слышит, как г-н Леман громко, на всю комнату, шепчет:

— Кланяйтесь вашему папаше. Передайте ему, что я вас взял. Передайте Хольгеру, что в среду вечером я свободен. Всего доброго.

Не будь этих заключительных слов, Пиннеберг так бы и не узнал, что г-н Леман умеет улыбаться, правда довольно сдержанно, но все же умеет.

Пиннеберг бродит по Малому Тиргартену, испытывает страх и не может радоваться

Итак, Пиннеберг опять на улице. Он устал, он так устал, словно весь день работал не разгибая спины, словно только что избежал смертельной опасности, словно пережил шок. Каждый нерв кричал, дрожал от напряжения, и теперь нервная система разом сдала, ни на что не реагирует. Пиннеберг, едва передвигая ноги, плетется домой.

Настоящий осенний день. В Духерове, верно, дует сильный ветер, дует упорно, в одном направлении. Здесь, в Берлине, дует со всех сторон, из-за каждого угла, то отсюда, то оттуда, по небу спешат облака, нависая над самой головой, и время от времени проглядывает солнце. Тротуары то мокрые, то сухие, не успеют как следует высохнуть и опять уже мокрые.

Итак, у Пиннеберга есть теперь отец, настоящий отец. И раз фамилия отца Яхман, а сына Пиннеберг, значит, сын незаконнорожденный. Но в глазах господина Лемана это несколько не повредило ему, даже наоборот. Пиннеберг отлично представляет себе, как Яхман расписал Леману этот грех своей молодости, Леман с виду настоящий похабник и сластолюбец. И из-за такого пройдохи, как Яхман, ему, Пиннебергу, повезло, его перевели из Бреславльского филиала и устроили на работу. Рекомендации не имеют значения. Добросовестность не имеет значения. Приличный вид не имеет значения, скромность не имеет значения — а вот такой прожженный тип, как Яхман, имеет значение.

Ну так кто же он такой, этот Яхман?

Что происходило вечером в квартире у матери? Смех, пьяный гогот, что все перепились — это ясно. Киска и ее родненький лежали на своей княжеской кровати и притворялись, будто ничего не слышат. Никакого разговора у них не было, как-никак это его мать, но здесь не все чисто, ох, не все чисто.

Видите ли, им с Киской отвели комнату окнами на улицу, ночью Пиннебергу понадобилось в уборную,

а чтобы попасть туда, надо пройти через столовую, выходящую во двор. Надо сказать, что в этой проходной комнате очень уютно, когда горит только лампа под абажуром-грибом, и все общество сидит на двух широких тахтах. Дамы — очень молодые, очень элегантные, страшно светские, а голландцы — собственно, голландцам полагается быть белокурými и толстыми, а эти были черные и длинные. Вся компания пила вино и курила. А Хольгер Яхман без пиджака бегал из угла в угол и говорил: «Нина, чего вы ломаетесь? Тошно смотреть на ваше кривлянье». И тон был далеко не такой добродушный и веселый, как обычно у Яхмана.

Тут же сидела фрау Миа Пиннеберг. Надо сказать, она не слишком нарушала общий стиль, она прекрасно подкрасилась и выглядела ну совсем, совсем немногим старше остальных дам. Она веселилась вместе со всеми, в этом можно было не сомневаться, но чем они занимались до четырех утра? Несколько часов было совсем тихо, только приглушенный говор, словно издалека, а потом вдруг опять на четверть часа шумное веселье. Да, еще карты для экарте, значит, они играли в карты, игра в карты была для них делом, играли с двумя накрашенными девицами, Клэр и Ниной, и тремя голландцами, для которых следовало бы пригласить еще Мюллензифена, но в конце концов Яхман и сам не промах, обошлось и без Мюллензифена. Все ясно, Пиннеберг! Да, так оно и есть, хотя, конечно, все может обстоять иначе...

Может ли? Если Пиннеберг кого и знает, так это свою мать. Не зря она выходит из себя при одном упоминании о баре. С баром все обстояло не так, как она говорит: во-первых, это было не десять, а пять лет тому назад, и потом совсем он не из-за занавески подглядывал, он преспокойно сидел за столиком, а через три столика от него сидела фрау Миа Пиннеберг. Но она его не видела, настолько она уже была на взводе. Присматривала за порядком в баре... Как бы не так! За ней самой присматривать надо было, и если вначале она не могла всего отрицать и молчала какой-то вздор о праздновании дня рождения, то потом это самое празднование с его пьянством и тисканьем было начисто забыто, зачеркнуто и погребено, точно его и вовсе не было. Он, видите ли, только подглядывал из-за занавески, а мать чинно стояла за стойкой и присматри-

вала за порядком. Вот как это было тогда — так чего же ждать теперь?

Все ясно, Пиннеберг!

Ага, выходит, он снова забрел в Малый Тиргартен. Пиннеберг знает его еще с детства. Особенной красотой он никогда не отличался, никакого сравнения с его большим братом по ту сторону Шпрее, так жалкая полоса зелени. Но сегодня, первого октября, в этот то мокрый, то сухой, то облачный, то солнечный день, когда ветер дует со всех сторон и кружит унылые бурожелтые листья, он кажется особенно безотрадным. Тиргартен не безлюден, нет, совсем нет. Тут много людей в поношенной одежде, с испытymi лицами. Безработные, они ждут сами не зная чего, потому что работы никто уже не ждет. Они просто слоняются без цели, дома еще тяжелее, так почему им не уйти из дому? Какой смысл идти домой, домой все равно придешь, и все равно слишком рано.

Пиннебергу тоже надо бы домой. Очень хорошо бы поскорее вернуться домой. Киска его, наверное, ждет. Но он останавливается среди безработных, делает несколько шагов и опять останавливается. С виду Пиннеберг не принадлежит к ним, он хорошо одет. На нем коричневый теплый ульстер,— Бергман уступил его за тридцать восемь марок,— и черный котелок, тоже от Бергмана, он уже несколько вышел из моды — поля слишком широкие,— скажем, три марки двадцать, Пиннеберг.

Значит, с виду Пиннеберг не принадлежит к безработным, зато в душе...

Он только что был у Лемана, заведующего персоналом торгового дома Манделя, просил о месте и получил его, все очень просто, обычная деловая сделка. Но он никак не может отделаться от чувства, что в результате этой сделки — пусть даже у него теперь есть заработок, он все же скорее принадлежит к этим людям, не имеющим заработка, чем к тем, кто хорошо зарабатывает. Он один из этих безработных, каждый день может случиться, что он будет так же, как они, слоняться по Малому Тиргартену, от него это не зависит. И никто его от этого не уберет.

Ах, таких, как он, миллионы. Министры обращаются к нему с речами, призывают к воздержанию, к жертвам, взывают к его патриотическим чувствам, убеждают

класть деньги на книжку и голосовать за поддерживающую устои государства партию.

Он делает это или не делает, смотря по обстоятельствам, но он им не верит. Нисколько не верит. В глубине души он чувствует: все они хотят что-то получить от меня и ничего не хотят дать мне. Им одинаково безразлично, сдохну я или нет, могу я позволить себе пойти в кино или нет, им одинаково наплевать и на то, может ли Киска питаться как следует, и на то, что ей теперь вредно волноваться, и на то, будет ли Малышок счастлив или несчастлив — кому какое дело?

А от этих, что слоняются тут по Малому Тиргартену, — никому не опасное, изголодавшееся, доведенное до отчаяния стадо пролетариев, — от них я по крайней мере мало чем отличаюсь. Три месяца безработицы — и прощай, теплый ульстер! Прощай, преуспевание! В среду вечером Яхман и Леман могут рассориться, и тогда я сразу стану не нужен. Прощай, работа!

Эти люди — вот кто мои единственные сотоварищи, они, правда, тоже меня обижают, называют хлыщом, пролетарием в крахмальном воротничке, но все это мелочи. Я-то знаю этому цену. «Сегодня, сегодня работаю я, а завтра, ах, завтра — на биржу труда...»

Возможно, они с Киской еще слишком недавно вместе, но постойшь вот так да посмотришь на этих людей, и поневоле забудешь про Киску. И нечего ей о таких своих мыслях рассказывать. Она не поймет. При всей своей кротости, она куда упорнее его, она бы здесь не стояла, она была членом СДПГ и Объединения независимых союзов служащих, но только потому, что там был отец, ее место, собственно, в КПГ. У нее все сводится к нескольким простым понятиям: дурные люди в большинстве своем только потому дурные, что их такими сделали; никого нельзя осуждать, потому что не знаешь, как поступил бы сам; богатые всегда думают, будто бедные чувствуют не так, как они, — с этими понятиями она родилась, она их не выдумала, они у нее в крови. Она симпатизирует коммунистам.

И поэтому Киске ничего нельзя рассказать. Надо пойти к ней и объявить, что получил место, и порадоваться вместе с ней. И они действительно радуются. Но за радостью скрывается страх: надолго ли?

Нет. Конечно, ненадолго. Тогда: на какое же время?

Что за человек Кеслер. Пиннеберг не упускает покупателя.
Гейльбут выручает

Тридцать первое октября, половина девятого утра. Магазин Манделя. Пиннеберг занят в отделе мужской одежды — сортирует серые в полоску брюки.

«Шестнадцать пятьдесят... шестнадцать пятьдесят... шестнадцать пятьдесят... восемнадцать девяносто... Черт, куда делись брюки в семнадцать семьдесят пять? У нас же оставались брюки в семнадцать семьдесят пять! Опять, верно, этот беспамятный Кеслер куда-нибудь засунул. Где брюки?..»

Немножко подальше ученики Беербаум и Майвальд чистят пальто. Майвальд спортсмен, даже часы работы учеником в магазине готового платья можно использовать для спорта. Последний рекорд Майвальда — сто девять безупречно вычищенных пальто за час, разумеется, темп был взят слишком быстрый. В результате поломана одна пуговица, и Иенеке — помощник заведующего отделом — дал Майвальду подзатыльник.

Заведующий Крепелин, конечно, ничего бы не сказал. Крепелин отлично понимает, что все может случиться. Но Иенеке, его заместитель, станет заведующим только в том случае, если Крепелин не будет больше заведующим, следовательно, ему надлежит быть придирчивым, усердным и неусыпно печься о благе фирмы.

Ученики считают вслух:

— Восемьдесят семь, восемьдесят восемь, восемьдесят девять, девяносто...

Иенеке еще не видно. Крепелин тоже еще не появлялся. Они, вероятно, совещаются с закупщиком о зимних пальто, новый товар совершенно необходим, синих плащей вообще нет на складе.

Пиннеберг ищет брюки в семнадцать семьдесят пять. Он бы мог спросить Кеслера, Кеслер чем-то занят в десяти шагах от него, но он Кеслера не любит. Потому что Кеслер, когда поступил Пиннеберг, очень явственно сказал: «Из Бреславля? Знаем мы эти штучки, уж конечно, опять один из отпрысков Лемана!»

Пиннеберг продолжает разбирать брюки. Для пятницы сегодня очень тихо. До сих пор был только один покупатель, купил рабочий комбинезон. И, конечно, его перехватил Кеслер, хотя тут же был старший про-

давец Гейльбут. Но Гейльбут джентльмен, Гейльбут на такие вещи внимания не обращает, Гейльбут и так достаточно продает, а главное, Гейльбут знает, что Кеслер сам прибежит к нему за помощью, если попадется трудный покупатель. Гейльбут удовлетворяется этим. Пиннеберг этим не удовлетворился бы, но Пиннеберг не Гейльбут. Пиннеберг может и огрызнуться, а Гейльбут для этого слишком хорошо воспитан.

Гейльбут стоит сзади у конторки и что-то подсчитывает. Пиннеберг, глядя на него, соображает, не спросить ли Гейльбута, где могут лежать недостающие брюки. Был бы хороший предлог завести разговор, но, подумав, Пиннеберг решает: нет, лучше не надо. Он раза два сделал попытку поговорить с Гейльбутом, Гейльбут всегда был безукоризненно вежлив, но разговор почему-то не клеился.

Пиннеберг не хочет быть навязчивым, не хочет именно потому, что восхищается Гейльбутом. Все должно прийти само собой, и придет. При этом у него появляется фантастическая мысль: сегодня же пригласить Гейльбута к ним на Шпенерштрассе. Он должен познакомиться Киску с Гейльбутом, но главное, он должен познакомить Гейльбута со своей Киской. Он должен доказать, что он, Пиннеберг, не самый обыкновенный, ничем не выделяющийся продавец, у него есть Киска. У кого из остальных есть такое сокровище?

Понемногу в магазине становится оживленнее. Только что они скучали без дела, для вида придумывали себе занятия, и вдруг всем нашлась работа. Вендт занимается с покупателем, Лаш продает, Гейльбут продает. А Кеслер, ну, тот не зевает, — собственно, с покупателем должен бы заняться Пиннеберг. Но вот и у Пиннеберга есть свой покупатель — молодой человек, студент. Однако Пиннебергу не везет: студент со шрамами на лице желает приобрести синий плащ, и ничего другого.

«На складе плащей нет, — проносится в голове у Пиннеберга. — Ему ничего не всучить. То-то Кеслер будет злорадствовать, если я упущу покупателя. Сплочовать нельзя...»

Он уже подвел студента к зеркалу.

— Синий плащ? Сейчас. Одну минутку. Не разрешите ли сперва примерить вот этот ульстер?

— Я ульстера не хочу, — заявляет студент.

— Да, я понимаю. Только для размера. Будьте так любезны! Смотрите — просто превосходно, как вы находите?

— Верно, — соглашается студент. — Совсем не плохо. Ну, а теперь покажите мне синий плащ.

— Шестьдесят девять пятьдесят, — как бы невзначай замечает Пиннеберг и продолжает зондировать почву. — Одна из наших лучших моделей. Прошлой зимой они шли по девяносто. Чистая шерсть. Двусторонняя...

— Все это хорошо, — говорит студент. — Приблизительно такую сумму я и ассигновал, но мне бы хотелось плащ. Покажите мне, пожалуйста...

Пиннеберг медленно, не спеша снимает с него элегантный ульстер цвета маренго.

— Боюсь, что другой фасон не будет вам так к лицу. На синие плащи мода, собственно, уже прошла. Их слишком много носили.

— Покажите же мне наконец то, что я прошу, — очень решительно говорит студент и несколько мягче прибавляет: — Или вы не заинтересованы в том, чтобы продать мне пальто?

— Что вы, помилуйте. Все, что прикажете. — И он улыбается в ответ на улыбку, которой студент сопровождал свой вопрос. — Только... — он лихорадочно соображает. Нет, врать он не будет, можно попытаться иначе: — только дело в том, что я не могу предложить вам синий плащ. — Он выдерживает паузу. — Мы больше ими не торгуем.

— Почему вы сразу не сказали? — спрашивает студент, он удивлен и недоволен.

— Потому что этот ульстер вам очень к лицу. На вас он еще выигрывает. Видите ли, — вполголоса говорит Пиннеберг и улыбается, словно извиняясь, — я только хотел, чтобы вы сами убедились, насколько такой ульстер красивее этих синих плащей. Они были в моде — это верно! Но ульстер... — Пиннеберг любовно смотрит на ульстер, проводит ладонью по рукаву, надевает на плечики и собирается уже повесить обратно на вешалку.

— Постойте, — останавливает его студент. — Пожалуй, можно бы еще раз... пальто, конечно, не плохое...

— Нет, конечно, не плохое, — подтверждает Пиннеберг и помогает покупателю опять надеть пальто. — Надо прямо сказать, пальто благородное. Может быть, вы

разрешите предложить вам другие ульстеры? Или светлый плащ?

Он видит, что мышка уже почти в мышеловке, уже нюхнула сала, теперь можно рискнуть.

— Значит, светлые плащи у вас все-таки есть! — ворчит студент.

— Да, есть один... — говорит Пиннеберг и идет к другой вешалке.

Там висит желто-зеленый плащ, на него уже два раза снижали цену, его собратья от того же закройщика, того же цвета, того же фасона уже давно нашли своего покупателя. Этот, как заколдованный, не уходит от Манделя, да и все.

В нем всякий выглядит как-то странно, не то кособоким, не то одетым кое-как или полуодетым...

— Один есть... — говорит Пиннеберг. Он перекидывает плащ через руку. — Вот, пожалуйста, светлый плащ. Тридцать пять марок.

Студент надевает плащ.

— Тридцать пять? — удивляется он.

— Да, — отвечает Пиннеберг с презрительной гримаской. — Этим плащам цена невелика.

Студент осматривает себя в зеркало. И снова подтверждается чудодейственная сила этого плаща: довольно привлекательный молодой человек сразу превращается в огородное пугало.

— Снимите поскорей этот ужас, — говорит студент, — это же просто черт знает что такое.

— Это плащ, — и глазом не моргнув, говорит Пиннеберг.

А затем выписывает чек на шестьдесят девять пятьдесят, вручает его покупателю, отвешивает поклон:

— Очень вам благодарен.

— Нет, это я вам благодарен, — смеется студент, он, несомненно, вспоминает желтый плащ.

«Так, значит, справился», — думает Пиннеберг. Он бросает быстрый взгляд вокруг. Его сослуживцы занимают с покупателями, кто все с теми же, кто уже с новыми. Свободны только он и Кеслер. Значит, следующего покупателя атакует Кеслер. Он, Пиннеберг, не будет соваться вперед. Но как раз в тот момент, когда он смотрит на Кеслера, происходит нечто совершенно неожиданное — Кеслер понемножку, шаг за шагом, ретируется в глубь магазина. Да, можно подумать,

что Кеслер хочет спрятаться. И, взглянув на вход в магазин, Пиннеберг понимает причину такого трусливого отступления, — в магазин входят: во-первых, дама, во-вторых, еще дама, обеим за тридцать, в-третьих, еще дама, постарше, мать или теща, и, в-четвертых, господин — усы, бледно-голубые глаза, голова яйцом. «Ах ты подлый трус, — возмущается про себя Пиннеберг. — Перед таким покупателем он, само собой, в кусты. Ну, подожди!»

И говорит, отвешивая низкий поклон:

— Чем могу служить? — при этом на минуту задерживает свой взгляд на каждом из четырех, чтобы всем угодить.

Одна из дам говорит раздраженно:

— Моему мужу нужен вечерний выходной костюм, Франц, пожалуйста, скажи продавцу сам, что тебе нужно!

— Я хотел бы... — начинает господин.

— Но у вас как будто нет ничего элегантного, — говорит вторая дама лет тридцати с хвостиком.

— Я сразу сказала, незачем идти к Манделю, — говорит пожилая дама. — Надо было пойти к Обермейеру.

— ...выходной вечерний костюм, — договаривает господин с круглыми бледно-голубыми глазами.

— Смокинг? — осторожно предлагает Пиннеберг. Он пытается распределить свой вопрос равномерно между тремя дамами и в то же время не обойти и господина, потому что даже такое безгласное существо может сорвать продажу.

— Смокинг! — в один голос возмущаются дамы.

— Смокинг у моего мужа, конечно, есть. Нам нужен вечерний выходной костюм, — заявляет одна из дам, светлая блондинка.

— Темный пиджак, — говорит господин.

— И брюки в полоску, — прибавляет брюнетка, по видимому, золовка и, следовательно, в качестве сестры мужа имеющая на него более давние права.

— Пожалуйста, — говорит Пиннеберг.

— У Обермейера мы бы уже подобрали, — говорит пожилая дама.

— Нет, это не подходит, — говорит жена, увидев, что Пиннеберг взял в руки пиджак.

— А на что другое тут можно рассчитывать?

— А почему нам не посмотреть? За это денег не берут. Покажите, покажите, молодой человек.

— Примерь-ка, Франц!

— Но, Эльза, бог с тобой! Такой пиджак...

— А ты, мама, что скажешь?

— Я ничего не скажу, меня не спрашивайте, ничего не скажу. Потом будете говорить, что это я ему костюм выбрала.

— Будьте любезны, расправьте немножко плечи.

— И не думай расправлять! Муж всегда сутулится. Поэтому надо, чтобы пиджак сидел безукоризненно.

— Повернись-ка, Франц.

— Нет, по-моему, совершенно не годится.

— Пройдись, пожалуйста, Франц, стойшь как пень.

— Пожалуй, это больше подойдет...

— Не понимаю, чего вы теряете время у Манделя...

— Скажите, так мой муж и будет стоять здесь целую вечность все в том же пиджаке? Если вы не собираетесь нас обслуживать...

— Может быть, разрешите примерить этот пиджак?..

— Примерь, Франц.

— Нет, этот пиджак я не хочу, он мне не нравится.

— Почему не нравится? По-моему, очень мил!

— Пятьдесят пять марок.

— Мне не нравится, плечи слишком подвачены.

— И хорошо, что подвачены, ты ведь сутулишься!

— Залигер купил прекрасный вечерний костюм за сорок марок. Вместе с брюками. А здесь один пиджак...

— Понимаете, молодой человек, костюм должен иметь вид. За сто марок можно на заказ сшить.

— Нет, был бы хоть один подходящий!

— Как вам этот понравится, сударыня?

— Материал как будто не слишком плотный.

— От вас, сударыня, ничего не укроется. Материал действительно несколько тонковат. А этот?

— Этот уже лучше. Чистая шерсть?

— Чистая шерсть, сударыня. И на стеганой подкладке.

— Мне нравится...

— Не понимаю, Эльза, как это может нравиться. Скажи сам, Франц.

— Вы же видите, здесь совсем нет выбора. Кто покупает у Манделя?

— Примерь-ка этот, Франц.

— Нет, я больше ничего примерять не стану, вы меня просто каким-то дураком делаете.

— Что это значит, Франц? Кому нужен костюм — тебе или мне?

— Тебе.

— Нет, тебе.

— Но ведь ~~э~~ ты сказала, что у Залигера есть костюм, а я в своем смокинге просто смешон.

— Разрешите, сударыня, предложить вам еще вот этот? Очень скромный, исключительно элегантный! — Пиннеберг решил сделать ставку на Эльзу, на блондинку.

— Этот, по-моему, право, недурен. Что он стоит?

— Шестьдесят. Но это что-то особенное. Для понимающего.

— Очень дорого.

— Вечно ты попадаешься, Эльза! Он же нам его уже показывал.

— Дорогая моя, я не глупей тебя. Ну, Франц, пожалуйста, примерь еще раз.

— Нет, — сердито говорит муж. — Не нужно мне никакого костюма. Это ты говоришь, что он мне нужен.

— Ну, Франц, прошу тебя...

— У Обермейера мы за это время десять костюмов успели бы купить.

— Ну, Франц, теперь изволь примерить пиджак.

— Да он его уже примерял!

— Не этот!

— Именно этот!

— Если вы начнете здесь ссориться, я уйду.

— Я тоже. Эльза хочет во что бы то ни стало настоять на своем.

Вся компания настроилась уйти, ничего не купив. Дамы подпускают друг другу шпильки, а пиджаки тем временем переходят из рук в руки, летают туда-сюда, с прилавка на вешалку, с вешалки на прилавок.

— У Обермейера...

— Мама, прошу тебя!

— Значит, идем к Обермейеру.

— Только потом не говорите, что я вас туда потащила!

— А кто же еще?

— Нет, я...

Напрасны все попытки Пиннеберга вставить хоть слово. Наконец, доведенный до крайности, он озирается вокруг, видит Гейльбута, Гейльбут поймал его взгляд... Это крик о помощи.

И в ту же минуту Пиннеберг решается на отчаянный шаг:

— Будьте добры, примерьте еще вот этот,— обращается он к господину.

И надевает на него шестидесятимарковый пиджак, вызвавший столько споров, а надев, тут же заявляет:

— Простите, я вам не то предлагал,— и замирает в восхищении: — Вот этот вам к лицу.

— Ну, Эльза, если ты имела в виду этот пиджак...

— Я все время говорила, этот пиджак...

— Франц, теперь сам скажи...

— Сколько он стоит?

— Шестьдесят, сударыня.

— Но, дети, за шестьдесят это просто безумие, по теперешним временам шестьдесят... Если уж вы обязательно решили купить у Манделя...

Мягкий, но уверенный голос за спиной у Пиннеберга произносит:

— Вы остановились на этом пиджаке, господа? Наша самая элегантная модель.

Молчание.

Дамы смотрят на господина Гейльбута. Господин Гейльбут стоит перед ними — высокий элегантный брюнет.

— Вещь стоящая,— выдержав паузу, прибавляет Гейльбут. Затем он кланяется и проходит дальше, скрывается, исчезает за одной из вешалок. Уж не был ли это сам господин Мандель?

— За шестьдесят марок можно требовать, чтобы это была вещь,— недовольным голосом говорит старуха, но уже не таким недовольным.

— А тебе нравится, Франц? — спрашивает белокурая Эльза.— В конце концов тебе его носить.

— Пожалуй, да,— говорит Франц.

— Если бы еще подходящие брюки...— подает голос золовка.

Но с брюками дело обстоит не так трагично. Все очень скоро сходятся во вкусах, выбирают даже дорогие брюки. Чек выписан в общей сложности больше, чем на девяносто пять марок, старая дама еще ворчит: «Я вам говорю, у Обермейера...» Но никто ее уже не слушает.

Возле кассы Пиннеберг провожает их поклоном, особым поклоном. Затем возвращается к прилавку, он горд, как полководец после выигранного сражения, и измотан, как солдат после того же сражения. У полки с брюками стоит Гейльбут и поджидает Пиннеберга.

— Спасибо,— говорит Пиннеберг.— Вы меня выручили.

— Нет, Пиннеберг,— говорит Гейльбут.— Вы бы и сами их не упустили. Вы бы не упустили. Вы — прирожденный продавец.

О трех типах продавцов. Какой тип нравится заместителю заведующего Иенеке. Приглашение на чай

Сердце Пиннеберга разрывалось от счастья.

— Вы в самом деле так думаете, Гейльбут? В самом деле думаете, что я прирожденный продавец?

— Вы же сами это знаете, Пиннеберг. Вам нравится продавать.

— Мне нравится иметь дело с людьми,— говорит Пиннеберг.— Мне хочется докопаться, что это за люди, с какой стороны к ним лучше подойти и как уговорить их на покупку.— Он глубоко вздыхает.— Это верно, я редко упускаю покупателя.

— Это я заметил,— говорит Гейльбут.

— А потом разве это покупатели? Это настоящие жмоты, разве они пришли для того, чтобы купить? Они только прицениваются, да на все фыркают, да выжимаются.

— Таким никто не продаст,— говорит Гейльбут.

— Вы продадите,— уверяет его Пиннеберг,— обязательно продадите.

— Может быть. Нет, не продам. А может быть, иной раз и продам, потому что я внушаю людям страх.

— Видите ли, вы очень импонируете людям,— говорит Пиннеберг.— При вас они стесняются так задаваться, как им хотелось бы.— Он смеется.— А при мне

ни один дурак не стесняется. Я всегда должен влезть к ним в душу, угадать, что они хотят. Вот поэтому я отлично знаю, как они теперь будут злиться, что купили такой дорогой костюм. Будут сваливать друг на друга, и никто не будет знать, зачем они его купили.

— Ну, а вы, Пиннеберг, как считаете, почему они его купили? — спрашивает Гейльбут.

Пиннеберг в полном смущении. Он лихорадочно думает.

— Гм, сейчас я тоже уже не пойму... Они все сразу трещали, перебивали друг друга...

Гейльбут улыбается.

— Ну вот, теперь вы смеетесь. Теперь вы смеетесь надо мной. Но сейчас я уже понял: потому что вы импонировали им.

— Вздор, — говорит Гейльбут. — Чистейший вздор, Пиннеберг. Вы сами отлично знаете, что люди покупают не поэтому: это только несколько ускорило дело...

— Очень ускорило, Гейльбут, очень сильно ускорило!

— Ну, а решило все дело то, что вы ни разу не обиделись. Среди наших сослуживцев есть такие... — и Гейльбут обводит взглядом магазин и останавливает наконец свои темные глаза на том, кого искал. — Они сейчас же вдаются в амбицию. Скажем, они говорят: замечательный рисунок, а покупатель говорит: мне совсем не нравится, а они надуются и говорят: о вкусах не спорят. Или так разобидятся, что вовсе ничего не говорят. Вы, Пиннеберг, не такой...

— Ну как, господа, — подходит к ним ретивый заместитель заведующего Иенеке, — разговоры разговариваете? Уже наторговались? Сейчас времена тяжелые. Надо торговать и торговать, чтобы оправдать свое жалованье, много товару продать надо.

— Мы, господин Иенеке, — говорит Гейльбут и незаметно берет Пиннеберга за локоть, — рассуждаем о разных типах продавцов. Мы считаем, что есть три типа: продавцы, которые импонируют покупателю; продавцы, которые угадывают, что нужно покупателю; и третий тип — такие, которые продают от случая к случаю. Что вы на это скажете, господин Иенеке?

— Очень интересная теория, господа, — усмехается Иенеке. — Я лично признаю только один тип продавцов: те, которые к вечеру наторгуют на солидную сумму.

Конечно, я знаю и таких, у которых сумма невелика, но я позабочусь, чтобы у нас таких не было.

И с этими словами Йенеке спешит дальше — подстегивать других, а Гейльбут смотрит ему вслед и в достаточной мере явственно произносит: «Свинья!»

Пиннеберг восхищен, — вот так прямо сказать «свинья», невзирая на последствия! — но все же он находит это несколько рискованным. Гейльбут кивает головой, говорит:

— Так-то, Пиннеберг... — и хочет уже идти.

Но Пиннеберг останавливает его.

— У меня к вам, Гейльбут, большая просьба.

Гейльбут немного удивлен.

— Да? В чем дело, Пиннеберг?

— Не соберетесь ли вы к нам? — Удивление Гейльбута возрастает. — Дело в том, что я много рассказывал о вас жене, и ей хотелось бы с вами познакомиться. Может быть, выберете время? Конечно, только на чашку чая.

Гейльбут опять улыбается очаровательной улыбкой — одними глазами.

— Ну, конечно, Пиннеберг. Я не думал, что это доставит вам удовольствие. Охотно приду.

— А что, если... может быть, сегодня вечером? — быстро спрашивает Пиннеберг.

— Сегодня вечером? — Гейльбут соображает. — Гм, сейчас посмотрю. — Он вынимает из кармана кожаную записную книжку. — Подождите-ка, завтра лекция в Народном университете о греческом искусстве. Вы ведь знаете...

Пиннеберг кивает.

— А послезавтра у меня вечер культуры нагого тела, я, видите ли, состою в обществе «Культура нагого тела»... А на следующий вечер я договорился со своей подругой. Да, насколько я понимаю, сегодняшней вечер у меня свободен.

— Чудно. — Пиннеберг в восторге. — Просто замечательно. Запишите, пожалуйста, мой адрес: Шпенерштрассе, девяносто два, третий этаж.

«Пиннеберг, Шпенерштрассе, девяносто два, третий этаж», — записывает Гейльбут. — Мне, пожалуй, лучше всего доехать до вокзала Бельвю. А в котором часу?

— В восемь вам удобно? Я уйду раньше. Я свободен с четырех. Кое-что купить надо.

— Отлично, Пиннеберг. Значит, в восемь: я приду на несколько минут раньше, пока еще не запрут парадное.

Пиннеберг получает жалованье, задирает нос перед продавцом и приобретает туалетный столик

Пиннеберг стоит перед дверью торгового дома Мандель, в руке, сунутой в карман, он зажал конверт с жалованьем. Уже месяц как он служит здесь, но весь этот месяц он и понятия не имел, какое ему положат жалованье. Когда он поступал, там, в кабинете у господина Лемана, он ни о чем не спросил, — уж очень рад был, что получил место.

И сослуживцев не спрашивал.

— Ведь мне же должно быть известно по Бреславию, сколько платит Мандель, — ответил он раз, когда Киска пристала к нему, желая выяснить их бюджет.

— Ну так пойдти в профсоюз!

— Ах, там только тогда вежливы, когда хотят получить с тебя деньги.

— Но ведь они же должны знать, мальчуган.

— В конце месяца увидим, Киска. Ниже ставки он заплатить не может. А в Берлине ставки не должны быть низкими.

И вот он получил свою берлинскую ставку, которая не должна быть низкой. Сто семьдесят марок нетто! На восемьдесят марок меньше, чем ожидала Киска, на шестьдесят марок меньше, чем предполагал он при самом скромном подсчете.

Ну и разбойники, верно, никогда не задумывались, как мы справляемся! У них только одна мысль: другие и на меньшее живут. И при этом еще всем угождай и пикнуть не смей. Сто семьдесят марок нетто. Трудная задача прожить на это здесь, в Берлине. Маме придется подождать платы за комнату. Сто марок! У нее и в самом деле не все дома, тут Яхман, должно быть, прав. Одно только остается загадкой, настанет ли такое время, когда супруги Пиннеберг смогут обзавестись хозяйством? Сколько-нибудь маме все-таки придется дать, ведь устроила-то нас в конце концов она.

Сто семьдесят марок — а у него был такой замечательный план. Он хотел сделать Киске сюрприз.

Началось это с того, что Киска как-то вечером посмотрела на пустой угол в их княжеской спальне и сказала:

— Знаешь, здесь бы надо стоять туалетному столику.

Он удивился и спросил:

— А он нам нужен? — он всегда мечтал о кроватях, о глубоком кожаном кресле и о дубовом письменном столе.

— Господи, что значит: нужен? А как бы хорошо: сидеть и причесываться перед туалетным столиком! Да ты не смотри так на меня, мальчуган, это я только так, размечталась.

С этого началось. В Кискином положении необходим моцион. Теперь у них была цель для прогулок: они смотрели туалетные столики. Они отправлялись на дальние рекогносцировки, в некоторых кварталах, в некоторых переулочках полным-полно было столяров и небольших мебельных мастерских. Они стояли и говорили друг другу:

— Посмотри вон на тот!

— По-моему, текстура какая-то беспокойная.

— По-твоему, беспокойная?

В конце концов у них появились любимцы, и главный любимец стоял в мастерской некоего Гимлиша на Франкфуртералле. Фирма Гимлиш специализировалась на спальнях и, по всей видимости, придавала этому обстоятельству большое значение — на вывеске значилось: «Гимлиш.— Кровати. Специальность — модные спальни».

В витрине магазина уже несколько недель стояла спальня, и не такая уж дорогая, — семьсот девяносто пять марок вместе с матрасниками и ночными столиками с настоящим мрамором. Но, следуя моде времени, которая поощряет ночные прогулки по холодку, без ночных шкафчиков. И в этом гарнитуре кавказского ореха был и туалетный столик...

Они простаивали там подолгу и любовались на столик. Туда было полтора часа ходу, и обратно столько же. Киска смотрела, смотрела и в конце концов как-то сказала:

— Господи, мальчуган, если бы мы могли его купить! Я, кажется, заплакала бы от радости.

— Те, кто может его купить, не плачут от радости,— последовал через некоторое время мудрый ответ Пиннеберга.— Но как бы это было прекрасно.

— Да, прекрасно,— подтвердила Киска.— Просто замечательно.

Потом они отправились домой. Ходят они всегда под руку. Пиннеберг просовывает свою руку под Кискину. Ему приятно чувствовать ее грудь, которая уже полнеет, у него тогда такое ощущение, будто на этих далеких, чужих улицах с тысячами незнакомых людей он дома. Во время этих походов Пиннебергу и пришла в голову мысль сделать Киске сюрприз. Надо же с чего-то начать, если хочешь обзавестись собственной обстановкой, а стоит появиться хоть чему-нибудь, как следует и остальное. Поэтому он и освободился сегодня в четыре, сегодня тридцать первое октября, день выплаты жалованья. Киске он не сказал ни слова, он хотел, чтобы столик прислали на дом. А он притворится, будто ничего не знает.

А теперь вдруг — сто семьдесят марок! Значит, и думать нечего. Ясно как дважды два — и думать нечего.

Но не так-то легко расстаться с мечтой. Пиннеберг не может так прямо отправиться домой со своими ста семьюдесятью марками. Надо, чтобы домой он пришел хоть мало-мальски веселым. Ведь Киска-то рассчитывала на двести пятьдесят. Он отправляется на Франкфуртералле. Сказать прости их мечте. И потом уж никогда больше не возвращаться туда. Зачем? Таким, как они, нечего и думать о туалетных столиках, хорошо, если хватит на две железные кровати.

Вот и витрина со спальным гарнитуром, и тут же в сторонке туалет. Зеркало прямоугольное, в коричневой раме с чуть зеленоватым отливом. И шкафчик под ним, с двумя выступающими полочками — направо и налево — тоже прямоугольный. Непонятно, как можно влюбиться в такую вещь — похожих или почти таких же столиков сотни, но вот поди ж ты! — ей понравился именно этот, этот, этот!

Пиннеберг долго на него смотрит. Отступает, затем подходит совсем близко: столик все такой же красивый. И зеркало хорошее, как чудесно было бы, если бы по утрам Киска сидела перед ним в своем белом с красным купальном халате... Чудесно!

Пиннеберг грустно вздыхает и отворачивается. Для тебя — ничего нет. Ровным счетом ничего. Это не для тебя и тебе подобных. Другие ухитряются, покупают, а ты нет. Ступай домой, маленький человек, проедай свои деньги, делай с ними, что хочешь, что хочешь и можешь, а это не для тебя!

Дойдя до угла, Пиннеберг оглядывается, витрины «Гимлиш. Кровати» сияют магическим светом. Туалетный столик тоже еще виден.

И вдруг Пиннеберг поворачивает назад. Не колеблясь, не достаивая туалетный столик ни единым взглядом, направляется прямо к двери в магазин...

А тем временем в его душе происходит вот что:

«Что от этого изменится?» — убеждает он себя.

И: «Надо же с чего-то начинать. Не век же нам быть нищими?»

И наконец решение принято: «Хочу и сделаю, что бы ни воспоследовало, кто может мне запретить!»

Примерно в таком же настроении, только чуточку более отчаянном, человек решается на кражу, грабеж и убийство, на бунт. Пиннеберг в таком настроении покупает туалетный столик, большой разницы тут нет.

— Что угодно? — спрашивает продавец, пожилой брюнет с несколькими зачесами на лбу, бледном и облысевшем.

— У вас в витрине спальня, — говорит Пиннеберг, он злится на себя и говорит очень агрессивным тоном. — Кавказского ореха.

— Да, — отвечает продавец. — Семьсот девяносто пять марок. Такой случай больше не представится. Последняя из партии. Теперь по этой цене мы уже не сделаем. Теперь такой гарнитур обойдется самое меньшее в тысячу сто марок.

— Почему? — свысока бросает Пиннеберг. — Заработная плата все время снижается.

— Зато калогии растут! И пошлина! Знаете, какая пошлина на кавказский орех?! За последний квартал в три раза повысилась.

— Почему же эта спальня у вас так долго на выставке, раз она такая дешевая? — говорит Пиннеберг.

— А деньги? — говорит продавец. — У кого в наши дни есть деньги? — Он жалко улыбается. — У меня, во всяком случае, их нет.

— У меня тоже,— грубо отрезает Пиннеберг.— Да я и не собираюсь покупать спальню, столько денег я за всю жизнь не наберу. Я хочу купить туалетный столик.

— Туалетный столик? Потрудитесь подняться наверх. Отдельные предметы обстановки у нас на втором этаже.

— Вот этот! Я хочу купить вот этот туалетный столик! — заявляет Пиннеберг и указывает на него пальцем. В голосе его звучит гнев.

— Из гарнитура? Из спального гарнитура? — спрашивает продавец, до него только сейчас дошел смысл сказанного.— К сожалению, мы не можем продать отдельный предмет из целого гарнитура. Цена разрозненному гарнитуру уже не та. Но у нас есть очень красивые туалеты.

Пиннеберг делает движение.

Продавец спешит его заверить:

— Почти точно такие же. Может быть, вы все-таки взглянете? Только взгляните!

— Пф-ф! — презрительно фыркает Пиннеберг и осматривается.— Я полагаю, у вас своя мебельная мастерская?

— Как вы сказали? — испуганно переспрашивает продавец.

— Ну так вот: если у вас есть мастерская, почему вам не сделать еще такой же туалетный столик. Я хочу именно этот, вы меня поняли? Значит, сделайте такой же. Или не продавайте этот, как вам будет угодно. Есть столько магазинов, где вас прилично обслуживают...

Говоря такие слова и возбуждаясь от них все больше и больше, Пиннеберг в душе чувствует, что он свинья, что он ведет себя так же по-хамски, как самые хамоватые его покупатели. Что он по-свински обращается с пожилым, сбитым с толку, озабоченным продавцом. Но иначе он не может, он зол на весь мир, к черту всех, всех к черту! Но, к сожалению, здесь только пожилой продавец.

— Простите, одну минутку,— бормочет тот.— Я сейчас спрошу хозяина...

Он исчезает, и Пиннеберг смотрит ему вслед с горечью и презрением. «Почему я такой? — думает он.— Надо было взять с собой Киску,— думает он.— Киска

не бывает такой,— думает он.— Почему Киска не бывает такой? — размышляет он.— Ей ведь тоже не легко».

Продавец возвращается.

— Вы можете получить туалет,— говорит он. Тон у него совсем другой.— Цена сто двадцать пять марок.

«Сто двадцать пять марок — это же безумие,— думает Пиннеберг.— Верно, вздули цену. Весь гарнитур стоит семьсот девяносто пять».

— По-моему, это слишком дорого,— говорит он.

— Это совсем недорого,— заявляет продавец.— Такое первоклассное зеркало одно пятьдесят марок стоит.

— А нельзя ли в рассрочку?..

Ах, гроза прошла, надо отстаивать кровные денежки. Пиннеберг присмирел, а продавец ударился в амбицию.

— О рассрочке и разговора быть не может,— с чувством собственного превосходства отвечает продавец и смотрит сверху вниз на Пиннеберга.— И то уже мы делаем вам большую любезность. Рассчитываем, что впоследствии вы у нас...

«Отказываться теперь поздно,— в отчаянии думает Пиннеберг.— Я такой тон задал! Если бы я не задал такого тона, можно было бы отказаться. Сущее безумие! Что скажет Киска?»

А вслух он говорит:

— Хорошо. Я беру туалет. Пришлите мне его на дом сегодня.

— Сегодня? Никак нельзя. Уже четверть часа как рабочие кончили работу.

«Еще есть возможность отказаться,— думает Пиннеберг.— Сейчас можно было бы отказаться, если бы я не так задираю нос».

— Обязательно сегодня,— настаивает он.— Это подарок. Иначе это теряет смысл.

И при этом он думает, что сегодня придет Гейльбут и что будет очень хорошо, если его приятель увидит, какой подарок он сделал жене.

— Минуточку,— говорит продавец и снова исчезает.

«Хорошо бы он сказал, что сегодня никак нельзя,— размышляет Пиннеберг,— тогда бы я сказал, что очень сожалею, но в таком случае это теряет всякий смысл. Надо будет тут же уйти». И он подходит поближе к двери.

— Хозяин говорит, что предоставит в ваше распоряжение ученика с ручной тележкой. Вам придется дать немного на чай, потому что рабочий день уже кончился.

— Ну что ж,— мямлит Пиннеберг.

— Туалет не тяжелый,— утешает продавец.— Вам только немножко подтолкнуть придется, мальчик справится. И за зеркалом последите. Хотя мы, конечно, его завернем...

— Хорошо,— говорит Пиннеберг.— Значит, сто двадцать пять марок.

К Киске приходит гость. Она смотрится в зеркало.

О деньгах весь вечер не заговаривают

Киска сидит в своем княжеском покое и штопает чулки. Надо сказать, штопка чулок — одно из самых угнетающих занятий на свете. Ни в чем не проступает так явно, как в штопке чулок, мертвящая маниакальность женских повседневных занятий. Уж если чулок пошел рваться, так штопать его бесполезно, и все же он штопается и штопается, от стирки к стирке. На большинство женщин это нагоняет тоску.

Но Киска не тоскует, Киска, можно сказать, не замечает, что делают ее руки. Киска подсчитывает. Он принесет двести пятьдесят марок, пятьдесят они отдадут маме, это даже много, ведь она, Киска, ежедневно пять-шесть часов на маму работает; сто тридцать должно хватить на жизнь, остается шестьдесят...

Киска на минуту откидывается на спинку кресла — дает отдохнуть пояснице. Теперь у нее почти всегда болит поясница. В Детском мире она видела приданое для новорожденного за шестьдесят марок, видела и за восемьдесят, видела и за сто. Это, конечно, глупости. Она сама все сошьет, жаль только, в здешнем хозяйстве нет швейной машины, но для фрау Пиннеберг-старшей швейная машина совсем ни к чему.

Сегодня же вечером она поговорит с Ганнесом и с утра пойдет все закупит, только тогда и можно быть спокойной, когда все дома есть.

Она отлично знает,— у него другие планы, она заметила,— он хочет что-то купить, верно, думает об ее поношенном синем пальто; нет, пальто может подождать, все может подождать, а это должно быть готово.

Фрау Эмма Пиннеберг опускает на стол шерстяной носок своего Ганнеса и прислушивается. Затем осторожно трогает живот. Прикасается пальцем то в одном, то в другом месте. Вот здесь. Вот здесь он сейчас шевельнулся. За последние дни это уже пятый раз, пятый раз шевелится Малышок. С презрительной гримаской смотрит Киска на стол, где лежит книга «Святое чудо материнства».

— Чепуха,— произносит она вслух, и так она действительно думает. Ей вспоминается одно место из этой книги, где эрудиция сдобрена сентиментальностью: «Первые движения младенца в утробе матери точно совпадают с серединой беременности. С радостным волнением, каждый раз удивляясь, прислушивается будущая мать к нежному постукиванию ребеночка...»

«Чепуха,— снова думает Киска.— Нежное постукивание. В первый раз я подумала, что у меня колики. Нежное постукивание... Что за чепуха!»

Но, думая об этом, она улыбается. Нежное или нет, все равно хорошо. Все равно чудесно. Значит, теперь малыш в самом деле тут, и теперь он должен чувствовать, что его ждут, ждут с радостью, что все для него приготовлено...

Киска штопает чулки.

Дверь приоткрывается, и высовывается весьма растрепанная голова фрау Пиннеберг-старшей.

— Гас еще не пришел? — спрашивает она пятый или шестой раз за сегодняшний день.

— Нет, еще не пришел,— коротко отвечает Киска, потому что ее это раздражает.

— Но ведь уже половина восьмого. Ведь не пошел же он...?

— Куда не пошел...? — довольно резко спрашивает Киска.

Но фрау Пиннеберг-старшая женщина хитрая.

— Поостерегусь, не скажу, дорогая моя невестка! — смеется она.— Ну, разумеется, у тебя примерный муж, в день получки он не заходит опрокинуть стаканчик, с ним этого не бывает.

— Вообще не бывает, чтобы мальчуган опрокинул стаканчик,— заявляет Киска.

— Вот именно. Это я и хотела сказать. С твоим мужем этого не бывает.

— Не бывает.

— Да, да.

— Да.

Голова фрау Пиннеберг-старшей исчезает, Киска снова одна.

«Вот противная старуха,— сердито думает она.— Вечно хочет поссорить, натравить одного на другого. А сама трясется, что не заплатим за комнату. Ну, если она рассчитывает получить сто...»

Киска штопает чулки.

Раздается звонок. «Мальчуган! — думает Киска.— Должно быть, забыл взять ключ. Э, да это, верно, опять кто-нибудь к матери, пусть сама и открывает».

Но мать не открывает. Новый звонок. Вздохнув, Киска идет в переднюю. Из дверей проходной комнаты выглядывает свекровь, лицо намалевано, можно сказать, она уже почти в полной боевой готовности.

— Эмма, если это ко мне, попроси в маленькую комнату. Я сию минуту буду готова.

— Конечно, это к тебе, мама,— говорит Киска.

Голова мамы Пиннеберг исчезает, раздается третий звонок, и одновременно с ним Киска открывает дверь. Перед ней брнует в светло-сером пальто, он держит шляпу в руке и улыбается.

— Фрау Пиннеберг? — спрашивает он.

— Сейчас выйдет,— говорит Киска.— Может быть, вы снимете пальто? Пожалуйста, вот сюда, в эту комнату.

Гость озадачен, у него такой вид, словно он чего-то не понял.

— Господина Пиннеберга нет дома? — спрашивает он, входя в маленькую комнату.

«Господин Пиннеберг уже давно... умер»,— чуть было не сказала Киска. Но потом спохватилась...

— Ах, вы к господину Пиннебергу,— говорит она.— Его еще нет. Но я жду его с минуты на минуту.

— Странно, он уже в четыре часа ушел от Манделя. А перед тем пригласил меня сегодня вечером к себе,— говорит гость, но не обиженным, а скорее довольным тоном.— Моя фамилия Гейльбут.

— Боже мой, так вы господин Гейльбут,— говорит Киска и вдруг замолкает, как громом пораженная. «А как же ужин,— думает она.— ...Ушел в четыре часа. Где он пропадает? Что у меня дома есть? А сейчас еще мама сюда влетит...»

— Да, я Гейльбут,— еще раз повторяет гость и терпеливо ждет.

— Боже мой, господин Гейльбут, что вы обо мне подумаете? — говорит Киска.— Но какой смысл мне что-то врать в свое оправдание? Так вот, во-первых, я подумала, что вы пришли к свекрови, дело в том, что она тоже Пиннеберг...

— Совершенно правильно,— с веселой улыбкой подтверждает Гейльбут.

— А во-вторых, Ганнес мне ни слова не сказал, что собирается вас пригласить. Поэтому я и была так озадачена.

— Ну, что там, не так уж вы были озадачены,— успокаивает ее Гейльбут.

— А в-третьих, я не понимаю, как же так — ушел в четыре — неужели в четыре? — и его еще нет дома.

— Он собирался что-то купить.

— О господи, купит еще мне зимнее пальто, с него станется!

Гейльбут что-то соображает.

— Не думаю,— говорит он наконец.— Пальто он мог бы приобрести у Манделя со скидкой для служащих.

— Что же тогда?..

В эту минуту открывается дверь, и фрау Миа Пиннеберг, любезно улыбаясь, подходит к Гейльбуту.

— Господин Зибольд, не так ли? Сегодня вы телефонировали мне по поводу моего объявления. Эмма, будь так любезна...

Но Эмма не уходит.

— Это господин Гейльбут, мама, сослуживец Ганнеса, он ко мне.

Фрау Миа сияет.

— Ах так! Простите. Очень приятно, господин Гейльбут. Вы тоже по готовому платью?

— Я продавец,— говорит Гейльбут.

Киска слышит, как открывается входная дверь.

— Это, верно, мальчуган.

Да, это мальчуган, он стоит в передней, он держит туалетный столик за один конец, а ученик из мастерской «Гимлиш. Кровати» — за другой.

— Добрый вечер, мама. Добрый вечер, Гейльбут, как хорошо, что вы уже тут! Добрый вечер, Киска. Вот смотри: наш туалет. На Александерплац мы чуть

было не угодили под автобус. Да, с меня семь потов сошло, пока мы добрались. Откройте кто-нибудь дверь в нашу комнату.

— Но, мальчуган!

— Вы сами его тащили, Пиннеберг?

— Собственноручно.— Пиннеберг сияет.— I myself with this — how do you call him?...¹ с учеником.

— Туалетный столик,— радуется фрау Миа.— Верно, дети, вы разбогатели. Кому теперь, когда все стриженные, туалет нужен?

Но Пиннеберг не слушает. Он, можно сказать, с бою взял этот туалет, ведь он протащил, протолкал его через сутолоку берлинских улиц. В данную минуту думы о бюджете не омрачают его душу.

— Вот сюда, в этот угол, шеф,— говорит он желторотому ученику.— Чуть наискосок. Чтобы свет лучше падал. Надо бы пристроить над ним лампу. Так, шеф, а теперь марш вниз за зеркалом. Простите, я еще на минутку... Это моя жена, Гейльбут,— говорит он, сияя.— Нравится?

— Зеркало я и один дотащу,— говорит ученик.

— Очень нравится,— отвечает Гейльбут.

— Но, миленький! — смеется Киска.

— Он сегодня совсем спятил,— заявляет фрау Миа.

— И думать не смей! Еще грохнешься на лестнице с такой дорогой вещью! — и он прибавляет таинственным шепотом: — Зеркало одно пятьдесят марок стоит, какое стекло! С фасетом!

Он исчезает вместе с учеником. Оставшиеся переглядываются.

— Не буду больше мешать,— говорит фрау Миа.— Тебе и об ужине позаботиться надо. Могу я тебе чем-нибудь помочь, Эмма?

— О господи, ужин! — Киска в полной растерянности.

— Я же сказала, я охотно тебе помогу,— повторяет свекровь уже в дверях.

— Не хлопчите, пожалуйста,— говорит Гейльбут и берет Киску под руку.— Я же не из-за ужина пришел.

Дверь снова открывается, и появляются Пиннеберг и ученик.

— Вот теперь посмотрите, только теперь вы оцени-

¹ Я сам с этим — как он называется?.. (англ.)

те туалет по достоинству. Так, немного приподыми, мальчик. Винты есть? Постоите...— он ввинчивает винты, обливаясь потом, и при этом ни на минуту не умолкает.— Включи еще лампу. Так, надо, чтобы много света было. Нет, Гейльбут, сделайте мне одолжение, не подходите ближе. Киска должна первая посмотреться в зеркало. Я сам еще не смотрелся, не разворачивал его... Вот тебе талер, мальчик. Хватит? Ну, беги, мастерская, верно, еще открыта. Прощай... Киска, сделай мне удовольствие. Ну, пожалуйста, Гейльбута стесняться не надо. Верно ведь, Гейльбут?

— Ну, конечно! Из-за меня...

— Так вот, накинь свой купальный халат. Только накинь. Пожалуйста, ну, пожалуйста. Я все время представлял тебя в купальном халате перед зеркалом. Я хочу первым увидеть тебя в зеркале... Ну, пожалуйста, Киска.

— Ах, Ганнес, Ганнес,— говорит Киска, но, само собой, ее трогает такое воодушевление.— Ничего не поделаешь, господин Гейльбут, сами видите.— И она достает из гардероба купальный халат.

— Мне тоже приятно будет посмотреть,— говорит Гейльбут.— Ваш муж прав: надо, чтобы в каждом зеркале с самого начала отражалось что-то особенно красивое.

— Ах, оставьте, пожалуйста,— просит Киска.

— Но уверяю вас...

— Киска,— говорит Пиннеберг и попеременно смотрит то на свою жену, то на ее отражение.— Киска, я об этом мечтал. Видишь, мечта исполнилась! Гейльбут, пусть нами помыкают, пусть нам платят по-свински мало, пусть эти заевшиеся дяди, что сидят наверху, считают, что мы мразь...

— Да так оно и есть,— говорит Гейльбут.— Им на нас наплевать.

— Ну, конечно, я это всегда знал,— вторит ему Пиннеберг.— Но этого они нас лишить не могут. Тут им просто придется замолчать — не могут же они лишить меня удовольствия любоваться на мою жену в купальном халате, сидящую перед зеркалом.

— Долго мне еще позировать? — спрашивает Киска.

— Ну как, хорошее зеркало? Не искажает? В некоторых зеркалах кажешься утопленником, зеленым-зеле-

ным, я, правда, утопленника ни разу не видал... А в других отражение расплывчатое, а в других какое-то пыльное... но это зеркало очень хорошее, правда, Киска?

Стук в дверь, дверь приотворяется, высовывается голова мамыши Пиннеберг.

— Зайди ко мне на минутку, Ганс.

— Сейчас, мама.

— Но только, пожалуйста, сейчас. Мне крайне необходимо с тобой поговорить.

Дверь закрывается.

— Мама, конечно, хочет получить за комнату,— объясняет Киска.

Пиннеберг сразу заметно мрачнеет.

— Ну и пусть себе хочет на здоровье,— говорит он.

— Но, Ганнес!

— Пусть не задается,— говорит он с раздражением.— Получит свои деньги.

— Мама, конечно, думает, что у нас куча денег, раз мы купили туалет... Верно, Мандель очень хорошо платит, правда, господин Гейльбут?

— Хорошо платит... гм...— мнется Гейльбут.— Ну, видите ли, это как считать. Во всяком случае, на мой взгляд, такой туалетный столик стоит не меньше шестидесяти марок...

— Шестидесяти?.. Да вы с ума сошли, Гейльбут,— возмущается Пиннеберг. Затем, видя, что Киска внимательно на него смотрит, прибавляет: — Простите, Гейльбут, вы же не знаете...— И говорит очень громко: — А теперь слушайте: о деньгах мы сегодня вечером вообще говорить не будем, лучше отправимся все троим на кухню и посмотрим, чем можно поужинать, Я по крайней мере очень голоден.

— Хорошо, милый,— говорит Киска и не спускает с него внимательного взгляда.— Как тебе угодно.

И они идут на кухню.

Супружеские привычки четы Пиннеберг. Мать и сын.

Яхман, как всегда, в роли спасителя

Поздно. Пиннеберги ложатся спать, гость ушел. Ганнес медленно, о чем-то думая, раздевается и время от времени поглядывает на Киску, у которой все — раз,

два и готово. Пиннеберг глубоко вздыхает, а потом спрашивает неожиданно веселым тоном:

— А как тебе понравился Гейльбут?

— Очень понравился,— отвечает Киска, но по тому как это сказано, Пиннеберг понимает, что она не расположена продолжать разговор о Гейльбуте. Он опять тяжело вздыхает.

Киска надела ночную рубашку и, присев на край кровати, стягивает чулки. Она кладет их на одну из боковых полочек туалета.

Пиннеберг с огорчением констатирует, что она даже не заметила, куда положила чулки.

Но Киска еще не укладывается спать.

— Что ты сказал маме относительно платы за комнату? — вдруг спрашивает она.

Пиннеберг несколько смущен.

— Относительно платы?.. Да, собственно, ничего. Что у меня сейчас денег нет

Молчание.

Потом Киска вздыхает. И, юркнув в постель, натягивает на себя одеяло.

— Ты ей ничего не собираешься давать? — спрашивает она.

— Не знаю. Нет, в общем-то, собираюсь. Только не сейчас.

Киска молчит.

Наконец и Пиннеберг в ночной сорочке. Выключатель около двери, с постели до него не достать, поэтому в супружеские обязанности Пиннеберга входит, прежде чем лечь в постель, выключить свет. С другой стороны, Киска любит еще при свете поцеловаться и пожелать друг другу спокойной ночи. Ей хочется при этом видеть своего мальчугана. Итак, Пиннебергу надо обогнуть широкую княжескую кровать, дойти до Кискиного изголовья, закончить поцелуйный обряд, затем вернуться к двери, погасить свет, а потом уже в постель.

Сам поцелуйный обряд в свою очередь распадается на две части: на его часть и на ее часть. Его часть установлена, можно сказать, твердо: три поцелуя в губы. Ее часть меняется — иногда она сжимает обеими ладонями его голову и добросовестно обцеловывает его лицо, а то обнимет за шею, притянет к себе и не отпускает, прильнув к нему долгим поцелуем. А то кладет его голову к себе на грудь и гладит по волосам.

По большей части он пытается мужественно скрыть, как тяготят его такие длительные нежности, однако он никогда не знает наверняка — догадывается ли она об этом и как действует на нее его холодность.

Сегодня ему больше всего хотелось бы, чтобы весь этот поцелуйный обряд был уже закончен, на какое-то мгновение у него даже возникает мысль просто-напросто «позабыть» о нем. Но в конечном счете это только усложнило бы ситуацию. Поэтому он, как можно равнодушнее, идет вокруг кровати, зеваает во весь рот и говорит:

— Ужасно устал, старушка. Завтра придется опять трудиться в поте лица. Спокойной ночи! — И она тут же получает положенные три поцелуя.

— Спокойной ночи, миленький,— говорит Киска и крепко его целует.— Спи сладко.

У нее сегодня особенно мягкие, полные и в то же время прохладные губы, на какую-то минуту Пиннеберг не прочь бы поцеловаться еще и еще. Но жизнь и без того уже очень сложна, он делает над собой усилие, отходит, выключает свет и залезает в постель.

— Спокойной ночи, Киска,— говорит он еще раз.

— Спокойной ночи,— говорит и она.

Как всегда, в комнате сначала темно, хоть глаз выколи, затем проступают серыми пятнами окна, и шорохи становятся явственнее. Слышен трамвай, гудки паровоза, затем автобус, который проходит по Паульштрассе. Затем совсем рядом — оба сразу вздрагивают — громкий смех, какие-то крики, визг, хихиканье.

— Яхман, видно, опять действует,— невольно вырывается у Пиннеберга.

— Сегодня принесли от Кампинского целую корзину вина. Пятьдесят бутылок,— поясняет Киска.

— Вот это пьют так пьют! — говорит Пиннеберг.— Какие же надо деньги...

Он уже жалеет, что у него с языка сорвалось это слово: Киска может к нему привязаться. Но она не привязалась. Молчит.

И только спустя некоторое время шепчет:

— Слушай, мальчуган!

— Да?

— Ты не знаешь, какое объявление поместила мама?

— Объявление? Понятия не имею.

— Когда Гейльбут пришел, она сначала подумала,

что это к ней, и спросила, не он ли тот господин, что звонил ей по объявлению.

— Не знаю. Понятия не имею. Что за объявление?

— Сама не знаю. Может быть, она хочет сдать нашу комнату?

— Не сказав нам, она это сделать не может. Нет, не думаю. Она рада, что мы у нее.

— А если мы не платим за комнату?

— Что ты, Киска! Мы заплатим.

— Хотела бы я знать, что это за объявление? Не связано ли это с ее вечерними гостями?

— Ну что ты? Разве гостей приглашают по объявлению?

— Не понимаю, в чем тут дело.

— И я тоже. Ну, спокойной ночи, Киска.

— Спокойной ночи, мальчуган.

Тишина. Пиннеберг повернулся к двери, Киска — к окну. Что Пиннеберг теперь не заснет, это ясно. Во-первых, из-за подогретого его поцелуя, да когда еще в полуметре от тебя ворочается женщина, вздыхает то громче, то тише. А во-вторых, из-за туалетного столика. Лучше бы уж сразу покаяться.

— Миленький,— нежно шепчет Киска.

— Да? — с замиранием сердца отзывается он.

— Можно на минутку к тебе?

Молчание. Тишина. Удивленное молчание.

— Конечно, конечно, Киска,— говорит он наконец.— Я очень рад,— и подвигается к краю.

За время их совместной жизни Киска четвертый или пятый раз обращается к мужу с подобным вопросом. И утверждать, что ее вопрос скрытое приглашение к любовным утехам, нельзя. Хотя по большей части этим все и кончалось, но только несколько односторонняя твердая мужская логика побуждала Пиннеберга к такому истолкованию ее вопроса.

У Киски же это, собственно, только желание продлить прощание на ночь, потребность в ласке, желание поближе прильнуть к нему. Киске просто захотелось еще раз крепко-крепко прижаться к себе своего мальчугана, ведь их окружает чужой, далекий мир с его сутолокой и враждой, мир, который не видят и не хочет видеть в них ничего хорошего — так разве нехорошо теснее прижаться друг к другу и чувствовать себя малюсеньким теплым островком?

Так они и лежали, крепко обнявшись, щека к щеке, чуть заметное светлое пятнышко, окруженное бесконечной тьмой,— и прижаться друг к другу надо очень крепко, если хочешь, чтобы такое современное стеганое одеяло в метр сорок шириной хватило на двоих, да так, чтобы нигде не поддувало.

Сперва каждый ощущал тепло другого как что-то постороннее, но вдруг это ощущение исчезло, и вот они уже одно целое. Теперь он все крепче и крепче прижимался к Киске.

— Мой,— сказала Киска,— мой мальчуган, мой родной...

— Ты моя, моя... Ты моя Киска.

И он целует ее, и теперь это уже не поцелуй, положенный по ритуалу, ах, как хорошо теперь целовать ее рот, он как будто расцветает под его губами, делается податливее, полней, созревает...

Но вдруг Пиннеберг прерывает поцелуй и даже чуть-чуть отодвигается. Между их телами уже расстояние, теперь они касаются только плечами — ведь они все еще держат друг друга в объятиях.

— Киска, я сделал ужасную глупость,— честно признается Пиннеберг.

— Да? — отзывается она и на мгновение задумывается. А потом спрашивает: — Что стоит туалет? Но если тебе не хочется, не говори. Купил, и ладно. Захотелось меня порадовать.

— Милая ты моя! — говорит он. И они опять совсем-совсем рядом. Но потом он все же решается, и между ними опять расстояние. Он говорит:

— Сто двадцать пять.

Молчание.

Киска не произносит ни слова.

А он оправдывается:

— Кажется, что это дороговато, но ты подумай, одно зеркало стоит не меньше пятидесяти марок.

— Ладно,— говорит Киска.— Зеркало действительно красивое. Конечно, это нам не по средствам, и в ближайшие пять—десять лет мы отлично могли бы обойтись без туалета, но я сама виновата, сама тебя надумила. И что ни говори, а очень приятно, что у нас есть туалет. И ты у меня такой хороший, хоть и глупый. Только смотри не ругайся, что я еще год прохожу

в своем синем поношенном пальто, потому что прежде всего надо позаботиться о Малышонке...

— Ты хорошая,— говорит он, и снова пошли поцелуи, и снова они тесно прижались друг к другу, и, возможно, сегодня ночью обошлось бы без дальнейших объяснений, но тут в проходной комнате вдруг подымается громкий шум: смех, крики, визг, торопливый мужской голос, и все покрывает бранчливый, далеко не любезный голос мамыши Пиннеберг.

— Видно, опять уже назюсюкались,— недовольно говорит Пиннеберг.

— Мама в плохом настроении,— замечает Киска.

— Мама, как напьется, всегда в ссору лезет,— говорит он.

— Ты не можешь ей за комнату отдать? Хоть сколько-нибудь? — спрашивает Киска.

— У меня осталось всего сорок две марки — наконец решившись, признается Пиннеберг.

— Что?! — спрашивает Киска и сразу садится. Она выпускает мужа из своих объятий, отказывается от тепла, от любовных утех, отбрасывает одеяло, садится, прямая как стрела.— Что? Сколько у тебя осталось от жалованья?

— Сорок две марки,— говорит совсем присмиривший Пиннеберг.— Киска, ты послушай...

Но Киска не слушает. На этот раз ею овладел страх.

— Сорок две марки,— шепчет она и подсчитывает.— Сто двадцать пять. Значит, ты получил сто шестьдесят семь марок жалованья? Не может этого быть!

— Сто семьдесят, три марки я дал мальчику.

Киска накидывается на эти три марки.

— Какому мальчику? Зачем?

— Да узенику из мастерской.

— Ах, вот что. Значит, сто семьдесят. И ты пошел и купил... Господи боже мой, что ж теперь будет, как мы проживем?

— Киска,— просительно говорит Ганнес.— Я знаю. Я сделал глупость. Но этого никогда, никогда больше не повторится. А потом мы ведь получим вспомоществование от государства.

— Эти деньги быстро уйдут, если мы будем так хозяйничать! А Малышок? Нам ведь надо все для Малышонка купить! Ты ведь знаешь, я не за рай в шалаше.

Возможно, нам трудно придется, допускаю. Нас от этого не убудет, но Малыш не должен страдать, хоть первые пять-шесть лет, я все, что от меня зависит, сделаю. А ты такое выкинул!

Пиннеберг тоже сел. Голос Киски совсем другой, она говорит так, словно его, ее мальчугана, вообще больше не существует, словно он ей никто, первый встречный. И пускай он всего-навсего продавец, которому достаточно рано позаботились внушить, что он не бог весть что, так, мелюзга, и жив он или подох, действительно не так уж важно,— итак, пускай он даже в своей глубочайшей любви к Киске что-то временное, преходящее, чего нельзя сохранить, но все же он существует — он, Иоганнес Пиннеберг. Он знает: теперь поставлено на карту то единственное, что только и придает его жизни цену и смысл. И это единственное, что у него есть, надо удержать, за это надо бороться, это он не позволит у себя отнять.

— Киска, родная моя Киска! — говорит он.— Я же сам тебе говорю, я сделал глупость, я все сделал наыворот. Уж таким я родился. Но не надо так со мной разговаривать. Я всегда таким был, и именно поэтому ты не должна оставлять меня и говорить со мной как с чужим, с кем можно поссориться, а не как с твоим мальчуганом.

— Родной мой..

Но он не молчит, настал его час, к этому он шел с самого начала, он не сдается, он говорит:

— Киска, ты должна меня по-настоящему простить. Знаешь, от всего сердца, так, чтобы больше и не вспоминать, чтобы, глядя на туалет, ты могла бы от всей души смеяться над своим глупым мужем.

— Мальчуган, родной ты мой мальчуган...

— Нет,— говорит он и вскакивает с кровати.— Надо зажечь свет. Я должен видеть твое лицо, видеть, какое у тебя будет лицо, когда ты меня по-настоящему простишь, чтобы мне раз навсегда знать...

Свет включен, и он спешит к ней, но не ложится, а нагнувшись над ней, всматривается в ее лицо...

И вот два лица друг против друга, разгоряченные, покрасневшиеся, глаза широко раскрыты. Волосы их смешались, губы прильнули к губам, в открытую рубашку видна ее грудь — белая, чудесная, упругая, в синих жилках...

«Как мне хорошо,— думает он.— Какое счастье!»

«Мой мальчуган,— думает она.— Мой мальчуган. Мой большой, глупый, милый-милый мальчуган, ведь это тебя, тебя я ношу в себе, в своем лоне...»

И тут лицо ее засияло, просветлело, словно расширился, раздвинулся пейзаж, который вдруг озарило взошедшее солнце.

— Киска! — зовет он и хочет привлечь ее к себе, ему кажется, что она уклоняется, уходит все дальше, растворяется в блаженстве.— Киска!

Она берет его руку и проводит по своему животу:

— Вот, чувствуешь, он сейчас шевельнулся, Малышок брыкается... Чувствуешь? Вот опять...

И по настоянию счастливой матери он, еще ничего не слыша, склоняется к ней. Осторожно прикасается щекой к ее полному, тугому, и все же такому мягкому животу... И вдруг это уже не живот, а самая прекрасная в мире подушка, нет, что за глупости, это волна, живот подымается и опадает, бесконечное море блаженства заливает его... Сейчас лето? Рожь поспела. Какой радостный младенец, с светлыми спутанными волосенками и голубыми материнскими глазами. О, как чудно пахнет здесь в поле землей, и матерью, и любовью. Всей любовью, уже усладившей их жизнь, и вечно юной любовью... И усики колосьев щекочат его щеку, и он видит законченную благородную линию ее бедер и темный кустарник... и, словно поднятый ее руками, покоится он на материнской груди, смотрит ей в глаза, такие большие и сияющие... И он чувствует: этого никто не может отнять у них, у всех тех, что живут в маленьких тесных каморках.

— Все хорошо, все хорошо, мальчуган мой,— шепчет Киска.

— Да,— говорит он и крепче прижимается к ней, и склоняется лицом к ее лицу.— Да,— говорит он,— я счастлив, как никогда. Моя, моя Киска...

Кто-то стучит костлявым пальцем в дверь... и это ночью, в первом часу.

— Можно к вам? — раздается голос за дверью.

— Входи, мама,— говорит гордый своим счастьем Пиннеберг.— Нам ты не мешаешь.

Он положил руку Киске на плечо и крепко держит ее, чтобы она, застыдившись, не юркнула в свою половину кровати.

Фрау Миа Пиннеберг медленно входит в комнату и обозревает ситуацию.

— Надеюсь, я вам не помешала. Я увидела у вас свет. И подумала, что вы еще не легли. Так как же, я, правда, не помешала? — Она садится.

— Конечно, ты нам не мешаешь,— заявляет Пиннеберг.— Нам все равно. К тому же, как тебе известно, мы женаты.

Фрау Миа Пиннеберг тяжело дышит. Несмотря на грим, видно, какая она красная. Несомненно, выпила лишнего.

— Господи,— бормочет она,— что за грудь у нее! — Кискины ночные рубашки просто ужас с каким большим вырезом.— Днем кажется совсем не такой. Ты ведь не в положении?

— Ну что ты,— говорит Пиннеберг и с видом знатока заглядывает в вырез Кискиной рубашки.— У Киски грудь всегда такая, с детских лет.

— Мальчуган! — останавливает его Киска.

— Видишь, Эмма, твой муж издевается надо мной,— негодует фрау Миа, но в голосе ее слышатся слезы.— И те, что там, тоже надо мной издеваются. Я уже пять минут, как ушла, а ведь я хозяйка, и вы думаете, кто-нибудь спросит, куда я делась? Им бы только эти дурочки Клэр и Нина были. И Хольгер последнее время совсем другой. Никто даже не спросит, куда я делась.

Фрау Миа всхлипывает.

— Ах, мама! — говорит Киска, и смущаясь, и жалея свекровь; она охотно встала бы с постели и подошла к ней, но Ганнес держит крепко, не пускает.

— Оставь, Киска,— говорит он без всякой жалости.— Знаем мы эти штучки. Ключнула малость, мама. Ну, это пройдет. У нее это всегда так, как ключнет, так сперва плачет, а потом буянит, а потом опять плачет,— совершенно хладнокровно поясняет он.— Это я еще со школьных лет знаю.

— Милый, пожалуйста, не надо,— шепчет Киска.— Ты не имеешь права...

А фрау Миа говорит очень раздраженно:

— Молчал бы лучше о своих школьных годах! Я тоже могу твоей жене рассказать, как тогда приходил полицейский и как ты с девочками в ящике для песка развлекался...

— Подумаешь, испугала! — говорит Пиннеберг, — моя жена давно все это знает. Видишь, Киска, сейчас на нее новый стих нашел — она ищет, с кем бы посоветиться, теперь только держись.

— Я не хочу этого слушать, — говорит Киска, и щеки ее пылают. — Все мы гадкие, к сожалению, я это по себе знаю, меня тоже никто не оберегал. Но чтобы ты, сын, так со своей матерью...

— Успокойся, — говорит Пиннеберг. — Не я поднял всю эту грязь. Всегда начинается она.

— А как с платой за комнату? — вдруг обозлившись, спрашивает фрау Пиннеберг и продолжает развивать эту тему: — сегодня тридцать первое, в другом месте вы бы должны были заплатить вперед, а я еще не получила ни пфеннига...

— Получишь, — говорит Пиннеберг. — Не сегодня и не завтра. Но получишь... когда-нибудь да получишь.

— Мне деньги сегодня нужны, за вино заплатить нечем. Никто не интересуется, откуда я деньги беру...

— Не говори глупостей, мама. Кто за вино ночью платит? Все это пустая болтовня. А потом не забывай, что Киска за тебя всю домашнюю работу делает!

— Мне деньги нужны, — устало повторяет фрау Миа. — Неужели Киска не может сделать мне такое маленькое одолжение! Вот сегодня я опять вам чай вскипятила, так что же, мне за это с вас деньги брать?

— Ты совсем с ума сошла, мама, — говорит Пиннеберг. — Сравнила: каждый день прибирать всю квартиру или вскипятить чай!..

— Все равно. Одолжение есть одолжение. — Фрау Миа вдруг побледнела, шатаясь встала она со стула. — Сейчас вернусь, — шепчет она и выходит, запинаясь на каждом шагу.

— Ну, а теперь поскорей выключим свет, — говорит Пиннеберг. — Черт знает как неприятно, что дверь не запирается, все в этом свинушнике в неисправности. — Он опять перебирается к Киске. — Ах, Киска, надо же было старухе прилечь как раз...

— Слышать не могу, когда ты так с ней разговариваешь, — шепчет Киска, и он чувствует, что она дрожит всем телом. — Ведь она твоя мать.

— К сожалению, да, — говорит он, и смягчить его невозможно. — К сожалению. Я слишком хорошо ее знаю, и поэтому мне известно, что это за тварь. Ты

просто ее еще не раскусила; днем, когда она трезвая, она остра на язык, у нее есть чувство юмора, она понимает шутку. Но это все напускное. Она никого по-настоящему не любит, ты думаешь, с Яхманом они не рассорятся? В конце концов он тоже не дурак и поймет, что она просто обирает его. А для постели она скоро будет уже стара.

— Ганнес, я не хочу, чтобы ты при мне так отзывался о своей матери,— очень серьезно говорит Киска.— Может быть, ты и прав, а я сентиментальная дурочка, но никогда больше не говори так при мне. А то я буду бояться, что Малышок тоже когда-нибудь так обо мне скажет.

— О тебе? — переспрашивает Пиннеберг с такой интонацией, что все ясно.— Чтобы Малышок мог сказать о тебе такое? Но ведь ты... ведь ты же Киска! Ты... ах, чтоб ее, опять лезет к нам. Мы спим, мама!

— Деточки! — неожиданно раздается голос Яхмана, и по голосу слышно, что обладатель его тоже сильно навеселе.— Деточки, извините меня, одну минутку...

— Извиняем, извиняем,— говорит Пиннеберг.— А теперь уходите отсюда, господин Яхман.

— Одну минутку, дамочка, сейчас уйду. Вы супруги, и мы супруги. Незаконные, правда, но в остальном все честь честью... Так почему нам не помочь друг другу?

— Вон! — это все, что говорит Пиннеберг.

— Вы очаровательная женщина,— говорит Яхман и тяжело опускается на край кровати.

— К сожалению, это только я,— говорит Пиннеберг.

— Все равно.— Яхман встает.— Я здесь дорогу знаю, обойду кровать...

— Уходите вон,— довольно беспомощно протестует Пиннеберг.

— И уйду,— говорит Яхман и пробирается между умывальником и шкафом.— Я, видите ли, только из-за квартирной платы.

— О господи! — вздыхают супруги Пиннеберг.

— Это вы, дамочка? — спрашивает Яхман.— Где вы? Дайте же свет. Повторите еще раз: о господи! — Он пробирается через комнату, полную препятствий, к той стороне кровати, что ближе к окну.

— Знаете, она, ваша мать, ругается, что еще не получила денег за комнату. Сегодня опять нам весь вечер

испортила. А теперь сидит и хнычет. Вот я и подумал: Яхман, за последние дни тебе здорово повезло, зашиб деньгу, Яхман, отдай деньги детям, ведь это все равно, что ей отдать. Они отдадут ей, тож на тож и выйдет. И порядок.

— Нет, господин Яхман,— начинает Пиннеберг.— Это с вашей стороны большая любезность...

— Любезность... ах, черт, что это здесь стоит? Новая мебель! Зеркало! Нет, какая там любезность, просто хочу, чтобы покой был. Пойдите сюда, дамочка, вот деньги.

— Очень сожалею, господин Яхман,— весело говорит Пиннеберг,— что вам напрасно пришлось проделать весь этот длинный путь, ее постель пуста, моя жена у меня.

— Э, черт бы ее драл,— шепчет Яхман, ибо за дверью слышится плаксивый голос:

— Хольгер, где ты? Хольгер?

— Спрячьтесь скорей. Она сейчас войдет,— шепчет Пиннеберг.

Дверь с шумом распахивается.

— Может быть, Яхман здесь? — И фрау Миа включает свет. Две пары глаз испуганно озираются по сторонам, но его нет, он притаился за кроватью.

— Куда он опять девался? С него станется, он и на улицу убежит! Видите ли, ему жарко стало... Ах ты, господи, что это там?..

Ганнес и Киска робко следуют взглядом за взглядом матери. Но она обнаружила не Хольгера, а несколько бумажек, лежащих на Кискином красном шелковом одеяле.

— Да, мама,— говорит Киска, раньше других сообразив, в чем дело.— Мы все обсудили. Вот квартирная плата на первое время. Пожалуйста.

Фрау Миа берет деньги. У нее перехватывает дух:

— Триста марок! Ну, слава богу, одумались, я считаю за октябрь и ноябрь. Тогда останется только какая-то мелочь за газ и электричество. При случае сочтемся. Ну, ладно... спасибо... Спокойной ночи... — С этими словами она выходит из комнаты, боясь, как бы у нее не отняли ее сокровище.

Из-за Кискиной постели появляется сияющее лицо Яхмана.

— Вот это женщина так женщина! — говорит он. — Триста марок за октябрь и ноябрь — неплохо! Извините, дети, хочу на нее поглядеть. Во-первых, интересно, скажет ли она мне про деньги. А во-вторых, она сейчас, конечно, взвинчена — ну, так спокойной ночи.

И он исчезает за дверью.

Кеслер разоблачен и получает пощечину. Но Пиннебергам все же приходится переехать на другую квартиру

Утро, пасмурное, серое, ноябрьское утро, у Манделя еще совсем тихо. Пиннеберг только что пришел в отдел, он первый или почти первый. За дальним прилавком чем-то занят еще один продавец.

Пиннеберг в плохом настроении, несомненно погода влияет. Он достает отрез мельтона и начинает мерить.

Раз... раз... раз...

Другой продавец, который с чем-то возился в дальнем углу, шуршит уже ближе, он останавливается то здесь, то там, а не идет прямо к Пиннебергу, как сделал бы Гейльбут. Значит, это опять Кеслер, а Кеслеру, уж конечно, что-нибудь нужно. От Кеслера вечно жди мелких булавочных уколов, мелких, трусливых придинок. А Пиннеберг, как на грех, никак не может привыкнуть, каждый раз раздражается, просто стервенеет, так бы, кажется, и избил Кеслера, он возненавидел его с самого начала за лемановских отпрысков.

— С добрым утром,— говорит Кеслер.

— С добрым утром,— отвечает Пиннеберг, не поднимая головы.

— Здорово темно сегодня,— говорит Кеслер.

Пиннеберг не отвечает. Раз... раз... раз...— вертится отрез.

— Здорово вы орудуете, как я посмотрю,— натянуто улыбаясь, говорит Кеслер.

— А вы не смотрите,— отвечает Пиннеберг.

Кеслер как будто хочет и не решается что-то сказать, а может быть, просто мнетя, не зная с чего начать. Пиннеберг нервничает, Кеслеру что-то от него нужно, и ничего хорошего это не сулит.

— Вы ведь живете на Шпенерштрассе? — спрашивает Кеслер.

— А вы откуда знаете?

— Слышал.

— Ну и что? — говорит Пиннеберг.

— А я живу на Паульштрассе. Странно, как это мы ни разу не встретились в трамвае.

«Что-то ему, негодяю, от меня нужно,— думает Пиннеберг.— И чего тянет, уж говорил бы скорее! Мерзавец такой».

— Вы ведь женаты,— говорит Кеслер.— Не легко в наши дни женатому человеку. Дети у вас есть?

— Не знаю! — стервенеет Пиннеберг.— Лучше бы занялись делом, чем так стоять.

— «Не знаю», так и запишем,— говорит Кеслер, наглей, и, можно сказать, впивается зубами в свою добычу.— Возможно, так оно и есть. «Не знаю», пожалуй, это просто замечательно, когда отец семейства так говорит...

— Слушайте, господин Кеслер!..— говорит Пиннеберг и слегка поднимает метр.

— Ну, и что дальше? — спрашивает Кеслер.— Вы же сами сказали. Или не говорили? Главное, чтобы знала фрау Миа.

— Что вы сказали? — орет Пиннеберг. Несколько продавцов, что пришли тем временем, смотрят на них во все глаза.— Что вы сказали? — повторяет он невольно тише.— Что вы ко мне привязались? Я вам морду набью, дурак! Вечно затеваете склоку...

— Таким-то деликатным путем и завязывается, значит, приличное знакомство? — язвительно спрашивает Кеслер.— Не лезьте только в бутылку, приятель! Хотел бы я знать, что скажет господин Иенеке, если я покажу ему некое объявление. Человек, который позволяет своей жене давать такие мерзкие объявления, такие гнусные объявления...

Пиннеберг не спортсмен. Он не может сразу перемахнуть через прилавок. Чтобы схватить Кеслера, ему нужно обежать вокруг прилавка, вокруг всего прилавка...

— ...позор для всей нашей корпорации! Ну-ну, не затевайте здесь драки!

Но Пиннеберг уже набросился на Кеслера и вlepил ему пощечину,— как было сказано, он не спортсмен,— тот дает сдачу, и вот они уже сцепились, неловко топчутся, не отпуская друг друга.

— Я вам покажу, скотина! — пыхтит Пиннеберг. Из-за других прилавков сбегаются продавцы.

— Что вы делаете! Опомнитесь!

— Если Иенеке увидит, обоих выгонят.

— Недостает только, чтобы покупатели пришли.

Вдруг Пиннеберг чувствует, что кто-то крепко обхватил его сзади, не отпускает, оттаскивает от противника.

— Отпустите меня! — кричит он. — Я его сейчас...

Но это Гейльбут, и Гейльбут говорит очень хладнокровно:

— Не будьте дураком, Пиннеберг. Я гораздо сильнее вас, и я вас ни за что не отпускаю...

Напротив него Кеслер поправляет съехавший на сторону галстук. Он не очень возбужден. Прирожденные склочники часто получают по морде.

— Хотел бы я знать, чего он так раскипятился, раз он позволяет своей старухе давать такие объявления! — обращается он к окружившим их сослуживцам.

— Гейльбут! — молит Пиннеберг и рвется из оков.

Но Гейльбут и не думает его отпускать.

— А теперь, Кеслер, выкладывайте! Какое такое объявление? Давайте его сюда! — говорит он.

— Вы мне не больно-то указывайте! — протестует Кеслер. — Подумаешь, невидаль какая, старший продавец.

Но тут подымается общий ропот:

— А ну, выкладывайте, выкладывайте, приятель!

— Теперь на попятный, это не дело!

— Хорошо, я прочту, — соглашается Кеслер и развертывает газету. — Мне это очень неприятно.

Он мнетя, разжигает любопытство окружающих.

— Да ну, не тяни!

— Вечно ему нужно затеять склоку!

— Напечатано в мелких объявлениях. Удивляюсь, чего полиция смотрит. Но долго так продолжаться не может, — говорит Кеслер.

— Да вы читайте!

Кеслер читает. И даже весьма выразительно. Верно, утром прорепетировал:

— «Вы не нашли счастья в любви? Я введу вас в свободный от предрассудков кружок очаровательных дам. Вы будете удовлетворены.»

Фрау Миа Пиннеберг, Шпенерштрассе, 92, II».

Кеслер смакует:

— «Вы будете удовлетворены...» Ну, что вы на это скажете? — И продолжает: — Он сам подтвердил,

что живет на Шпенерштрассе, а то бы я и слова не сказал...

— Вот так дела!

— Да, это я вам доложу...

— Я... я не помешал...— заикается Пиннеберг, белый как полотно.

— Дайте сюда газету,— вдруг говорит Гейльбут. Он расвирепел, как никогда в жизни.— Где? Ага, вот... Фрау Миа Пиннеберг... Пиннеберг, ведь твою жену зовут не Миа, ведь твою жену зовут...?

— Эмма,— беззвучно лепечет Пиннеберг.

— Так, вот вам вторая пощечина, Кеслер,— говорит Гейльбут.— Значит, дело идет не о жене Пиннеберга. Довольно непристойно с вашей стороны, должен сказать...

— Позвольте,— протестует Кеслер.— Откуда я мог это знать?!

— А затем, всякому видно, что наш коллега Пиннеберг ничего не знал обо всей этой истории,— заявляет Гейльбут.— Верно, это какая-нибудь родственница, у которой ты живешь?

— Да,— шепчет Пиннеберг.

— Вот видите,— говорит Гейльбут.— Я тоже не могу ручаться за всех своих родственников. Тут ничего не поделаешь.

— В таком случае вы должны быть мне еще благодарны, что я обратил ваше внимание на эту гнусность,— вывертывается Кеслер, который чувствует себя не очень-то хорошо, видя общее неодобрение.— А впрочем, довольно странно, что вы ничего не заметили...

— А теперь хватит,— заявляет Гейльбут, и все соглашаются.— Теперь займемся своим делом. Каждую минуту может прийти Иенеке. И лучше всего, я хочу сказать — приличнее всего, будет не поминать больше эту историю, это было бы не по-товарищески, согласны?

Все расходятся по местам.

— Послушайте, Кеслер,— говорит Гейльбут и берет Кеслера за плечо. Они скрываются за вешалкой с ульстерами. Там они некоторое время разговаривают, по большей части шепотом, раза два Кеслер энергично протестует, но в конце концов смиряется и умолкает.

— Так, с этим покончено,— говорит Гейльбут и опять подходит к Пиннебергу.— Он оставит вас... тебя

в покое. Прости, я тебе тогда «ты» сказал. Не возражаешь, чтобы мы перешли на «ты»?

— Да, если вы... если ты ничего не имеешь против.

— Отлично... значит, Кеслер оставит тебя в покое, я его утихомирил.

— Большое тебе спасибо, Гейльбут,— говорит Пиннеберг.— Я сам не свой. Меня как обухом по голове.

— Это твоя мать, да? — спрашивает Гейльбут.

— Да,— отвечает Пиннеберг.— Знаешь, я ее невысоко ставил. Но чтобы такое... нет...

— Что ты,— говорит Гейльбут.— Особенно страшного тут ничего нет.

— Во всяком случае, я от нее съеду.

— Я бы тоже это сделал. И как можно скорее. Хотя бы из-за сослуживцев, они теперь знают. Очень возможно, что кто-нибудь зайдет туда, так, из любопытства...

Пиннеберг содрогается.

— Только не это. Когда я уеду, я ничего не буду знать. У нее и картежная игра идет. Я думал, что там что-то такое с картами нечисто, иногда мне так страшно делалось... Ну, теперь нужно, чтобы Киска поскорее нашла нам квартиру.

**Киска ищет квартиру. Никто не пускает с детьми.
Она падает в обморок — и не напрасно**

Киска ищет квартиру. Киска бегаёт по лестницам. Теперь это дается ей не так легко, как полгода назад. Тогда, поднимаясь по лестнице, она просто не замечала ее, она всходила наверх, сбегала вниз; она взлетала наверх; прыг-скок — лестница. Теперь же приходится останавливаться чуть ли не на каждой площадке, на лбу выплывает испарина, только вытрешь пот — начинает ломить поясницу. Ей эти боли ничем, ей все равно — лишь бы не повредило Малышу!

Она бегаёт и взбирается на лестницы, спрашивает и идет дальше. С квартирой надо немедленно что-то предпринять, ей больно смотреть, как изводится ее мальчуган. Он бледнеет и весь трясется, едва фрау Миа входит в комнату. Киска взяла с него слово держать все в секрете от матери; они съедут тайком, в одно прекрасное утро она просто не застанет их дома. Но как трудно дается ему молчание! Будь его воля, он бы скандалил,

кричал. Киска не понимает, почему это так, но хорошо понимает — иначе он не может...

Другой на месте фрау Пиннеберг-старшей давно бы учуял подвох, а она в данном случае проявляет прямо-таки трогательную наивность. Она вихрем влетает к ним в комнату и весело кричит:

— Ну, что это вы сидите как мокрые курицы! Молодые, называется! Вот я в ваши годы...

— Да, мама,— говорит Киска.

— Выше голову, дети! Жизнь и так уж никуда не годится, нечего ее еще портить! Я вот что хотела спросить: не поможешь ли мне перемыть посуду, Эмма? Опять накопилась куча грязной посуды!

— Очень жаль, мама, мне надо шить,— отвечает Киска, зная, что мальчуган придет в бешенство, если она согласится помочь.

— Ну ладно, еще денек потерпит. Завтра, вместе с тобою, дело пойдет веселее. А что это ты все время шьешь? Не порти глаза. Зачем шить самой, если можно купить готовое,— и дешевле и лучше?

— Да, мама,— смиренно отвечает Киска, и фрау Пиннеберг удаляется — растормошила маленько молодых людей.

Однако и на следующий день Киска не притрагивается к посуде — она снова отправляется на поиски, она ищет квартиру, который уж день ищет она квартиру, она должна что-нибудь найти, ее мальчугану уже совсем невмоготу!

Ох, уж эти квартирохозяйки! Есть среди них такие — едва Киска заикнется о меблированной комнате с правом пользоваться кухней, как они сразу же стрельнут глазами на ее живот и скажут:

— Э, нет, вы в положении, так ведь? А мы, уж если придет охота послушать ребячий рев, как-нибудь своих сделаем! Всё приятнее слушать будет.

И — хлоп! — дверь закрылась.

В другой раз, кажется, дело уже на мази, обо всем договорились, и Киска думает: «Наконец-то завтра утром мой мальчик сможет проснуться с легким сердцем», — а потом говорит (ведь она не желает, чтобы через две-три недели их выставили на улицу): «Да, кстати: мы ожидаем ребенка», — после этих слов лицо хозяйки вытягивается, и она произносит:

— Ах нет, моя милая, уж не взыщите. Вы мне очень симпатичны, но мой муж...

Дальше! Иди дальше, Киска, мир велик, Берлин велик, в конце концов должны же попасться тебе хорошие люди, ведь дети — это благословение божье, мы живем в век ребенка...

— Да, кстати: мы ожидаем ребенка...

— Подумаешь, какая важность! Должны же родиться на свет дети, правда? Только, когда дети, страшно портится квартира... Сами понимаете: бесконечная стирка пеленок, пар, чад, а у нас такая хорошая мебель. И потом дети царапают полировку. Я с удовольствием... только вместо пятидесяти марок надо бы запросить с вас по меньшей мере восемьдесят. Ну, не восемьдесят, так семьдесят...

— Нет, благодарю вас,— отвечает Киска и идет дальше.

Ах, она видит прекрасные квартиры, светлые, солнечные, прилично обставленные комнаты: миленькие пестрые занавесочки, свежие, светлые обои... «Ах, мой милый Малыш...» — думает она.

Дверь открывает этакая пожилая дама и приветливо смотрит на молодую женщину, которая лепечет что-то насчет ожидаемого младенца. Да, конечно, всякому, у кого есть глаза, одно удовольствие смотреть на эту молодую женщину... Но затем пожилая дама говорит молодой, с сомнением глядя на ее синее, изрядно потертое пальто:

— Да, милая моя, только меньше чем за сто двадцать марок никак не могу сдать. Видите ли, восемьдесят я плачу домовладельцу, а ведь и мне надо на что-то жить, у меня такая маленькая пенсия...

«Ну, почему,— думает Киска,— почему у нас так мало денег? Было бы их чуточку побольше! Чтобы не трястись над каждым пфеннигом! Как было бы тогда все просто, жизнь была бы совсем другая, и Малышу можно было бы радоваться, ни о чем не думая... Почему?» Мимо с шумом проносятся роскошные автомобили, для кого-то открыты гастрономические магазины, и есть люди, которые зарабатывают столько, что не знают, куда девать деньги... Нет, Киска этого не понимает...

Вечерами мальчуган часто приходит раньше и ждет ее.

— Ничего? — спрашивает он.

— Пока ничего,— отвечает она.— Но ты не отчаивайся. У меня такое чувство: завтра я непременно что-нибудь найду... О господи, как озябли ноги!

Но говорит она об этом лишь затем, чтобы чем-то отвлечь, занять его. Правда, ноги у нее действительно замерзли и промокли, но говорит она об этом для того только, чтобы он поскорее забыл свое разочарование. Потому что после этих ее слов он бросается снимать с нее туфли и чулки, и растирает ей ноги полотенцем, и согревает их...

— Так,— с довольным видом говорит он.— Теперь как будто согрелась, только надень шлепанцы.

— Хорошо,— отвечает она.— Завтра я непременно что-нибудь найду.

— Не пори горячку,— говорит он.— Днем раньше, днем позже — невелика разница. Я и не думаю отчаиваться.

— Да, да,— отвечает она,— я знаю.

Зато сама она уже близка к отчаянию. Все бегаешь и бегаешь, а толку что? За те деньги, которыми они располагают, просто нельзя найти ничего мало-мальски сносного.

Теперь она все дальше забиралась в Восточный и Северный районы города: бесконечные, безобразные многоквартирные дома-казармы, перенаселенные, вонючие, шумные. Ей открывали жены рабочих, говорили: «Хотите посмотреть? Отчего ж не посмотреть? Но снять все равно не снимете: вам у нас не понравится».

И Киска осматривала комнату с пятнами на стенах... «Да, клопы были, но мы их вывели синильной кислотой». Расшатанная железная кровать... «Можно, конечно, и коврик постелить, если пожелаете, только убираться труднее...» Стол, два стула, на стене несколько крюков. Это все. «Ребеночка ждете? Пожалуйста, мне наплевать, если прибавится еще крикун, у меня самой их пять штук...»

— Право, не знаю...— нерешительно произносит Киска.— Может, найду еще разок...

— Не зайдете, голубушка,— отвечает женщина.— Я сама все это пережила, у меня тоже была раньше хорошая комнатка. Знаю, как трудно на это решиться...

Да, решиться на это трудно. Это — дно, это конец, это отказ от всякой личной жизни... Замызганный дере-

вянный стол, вот здесь муж, а тут она, в кровати хнычет ребенок...

«Ни за что!» — думает Киска.

А если она уставала, если ломило поясницу, она тихо-тихо бормотала себе под нос:

— Подождем еще немного.

Да, решиться на это трудно, женщина права, и как хорошо, что решиться трудно, потому что в конце концов получилось совсем по-другому...

Как-то в полдень Киска зашла в москательную на Шпенерштрассе купить пачку персилья, полфунта жидкого мыла, пачку соды...

Вдруг ей стало дурно, в глазах потемнело, и она едва успела ухватиться за рулон, чтобы не упасть.

— Эмиль, поди сюда! — крикнула хозяйка.

Киске подают стул и чашку горячего кофе, она приходит в себя и шепчет, извиняясь:

— Я совсем убежалась...

— Вот и напрасно. Немножко поразмяться в вашем положении не мешает. Но только чуть-чуть...

— Что делать, — в совершенном отчаянии говорит Киска. — Что делать, я должна найти квартиру!

И она начинает говорить, она рассказывает лавочнику и его жене о своих бесплодных поисках. Должна же она когда-нибудь выговориться, ведь при мальчугане все время приходится бодриться.

Лавочница, высокая и худая брюнетка с желтым, морщинистым лицом, очень сурова на вид.

Ее муж, краснощекий здоровяк, без пиджака, стоит в глубине лавки и так и лоснится от жира.

— Да, — говорит он. — Да, голубушка, они подкармливают зимой птиц, чтобы те не погибли от голода, а вот нашего брата...

— Вздор, — перебивает его жена. — Не болтай зря. Подумай. Ничего не придумал?

— Что это я должен придумать? — недоумевают муж. — Германский союз служащих! Смех, да и только. Засранский — вот как он должен называться.

— Уж наверно, — ворчит женщина, — она сама сообразила это, только без твоих грубостей. Для этого ты ей не нужен. Подумай лучше. Ничего не придумал?

— Да ты о чем? А ну, выкладывай. Что это я должен придумать?

— Сам знаешь — Путбрeze!

— А, ты все о квартире? Это о квартире для них я должен подумать? Так бы прямо и сказала!

— Так как же насчет Путбрeze? У него не занято?

— У Путбрeze? А он разве сдает? Что он может сдавать?

— Да там на складе! Ты же знаешь!

— Впервые слышу! А если он и сдает свой насест, то как вы туда по жердочкам забираться будете? Это в вашем-то положении!

— Вздор,— говорит жена.— Послушайте, голубушка, идите пока домой, отлежитесь как следует, а часикам к четырем заходите снова, и мы вместе отправимся к Путбрeze.

— Спасибо, большое спасибо,— отвечает Киска.

— Чтоб мне сквозь землю провалиться, если они снимут у Путбрeze,— говорит толстяк Эмиль, в жилетке без пиджака.— Чтоб мне сквозь землю провалиться вместе со всей своей лавочкой.

— Вздор,— отвечает лавочница.

Киска идет домой и ложится отдыхать. «Путбрeze,— думает она.— Путбрeze. В этом имени что-то есть, кажется, на этот раз дело выгорит».

И она засыпает, очень довольная своим легким обмороком.

Квартира, каких мало. Путбрeze перевозит вещи.

Яхман помогает

Пиннеберг приходит вечером домой, как вдруг на него наставляют электрический фонарик и из темноты раздается:

— Стой! Руки вверх!

— Что это тебе вздумалось? — недовольно ворчит он: последнее время его настроение заставляет желать лучшего.— Откуда у тебя фонарик?

— Он нам совершенно необходим,— весело отвечает Киска.— В наших новых хоромах лестница не освещается.

— У нас есть квартира? — не спрашивает, а выдыхает он из себя.— О Киска, неужели у нас есть квартира?

— Есть! — торжествующе отвечает Киска.— Самая настоящая квартира! — И, помолчав, добавляет: — Конечно, если тебе понравится, окончательного ответа я еще не дала.

— Господи боже! — в его голосе звучит тревога. — А вдруг ее тем временем сдадут?

— Не сдадут, — успокаивает его Киска. — Сегодня она еще за мной. Сейчас пойдем смотреть. Ешь поскорей.

За столом он засыпает ее вопросами, но она ничего не объясняет.

— Нет, ты должен увидеть все сам. О господи, если б только тебе понравилось, мальчуган...

— Ну так идем, — говорит он и встает с полным ртом.

Взявшись под руку, они проходят по Шпенерштрассе и идут дальше, в Альт-Моабит.

— Квартира... — бормочет он себе под нос. — Настоящая квартира, и мы будем совсем одни.

— Ну, не такая уж настоящая, — говорит Киска, как бы заранее оправдываясь. — Только не пугайся, пожалуйста.

— А ты, оказывается, еще и мучить умеешь!

Но вот они доходят до какого-то кинотеатра, минуют его и попадают через ворота во двор. Дворы бывают разные, и этот — не из лучших, не то фабричный, не то складской. Тут горит дрянненький газовый фонарь, освещающий большие, гаражного типа двустворчатые ворота. На них значится: «Мебельный склад Карла Путбрeze».

Киска указывает куда-то в конец двора.

— Там — наша уборная, — говорит она.

— Где? — спрашивает он. — Где?

— Там, — отвечает она и снова делает неопределенный жест. — Вон та маленькая дверь.

— Мне все кажется, ты морочишь мне голову.

— А это — наше парадное, — говорит Киска, отпирая ворота гаража, на которых стоит имя Путбрeze.

— Не может быть... — говорит Пиннеберг.

Они вступают в обширное складское помещение, до отказа набитое старой мебелью. Скучный свет электрического фонаря теряется наверху в путанице запыленных стропил, обвешанных паутиной.

— Надеюсь, — говорит Пиннеберг срывающимся голосом, — мы не здесь будем жить?

— Это склад господина Путбрeze. Путбрeze столяр и между делом промышляет перепродажей старой мебели, — поясняет Киска. — Сейчас я тебе все покажу. Ви-

дишь вон ту черную стену, там, в глубине? Она не доходит до потолка, туда-то мы и должны взобраться.

— Так,— говорит он.

— Тут, понимаешь ли, кинотеатр, ведь ты видел, мы проходили мимо кино?

— Да,— говорит он, весь воплощенное самообладание.

— Ах, мальчуган, не делай такого лица, ты сейчас увидишь... Так вот, тут, значит, кинотеатр, сейчас мы влезем на его крышу.

Они подходят ближе, свет фонарика падает на узкую деревянную лестницу, крутую, как стремянка, ведущую вверх на стену. Да, это и вправду скорее стремянка, чем настоящая лестница.

— Туда наверх? — с сомнением спрашивает Пиннеберг.— А как же ты, в твоём положении?

— А вот я тебе сейчас покажу,— отвечает Киска и начинает карабкаться по лестнице. Тут уж правда приходится держаться крепко.— Ну вот, еще немного — и мы дома.

Потолок навис над самой головой. Они идут по какому-то сводчатому проходу, где-то внизу, слева, маячит в полумраке мебель Путбрезе.

— Ступай прямо за мной, а то еще свалишься вниз.

Киска открывает дверь, самую настоящую дверь, зажигает свет, самый настоящий электрический свет, и говорит:

— Вот мы и пришли.

— Да, вот мы и пришли,— повторяет Пиннеберг и оглядывается по сторонам. Затем прибавляет: — Ну, это другое дело.

— То-то и оно! — говорит Киска.

Квартира состоит из двух комнат, вернее, из одной — дверь между ними снята. Комнаты очень низкие. Потолок — выбеленный, в толстых балках. Комната, куда они вошли,— спальня: две кровати, шкаф, стул и умывальник. Это все. Окон нет.

Зато в другой комнате — красивый круглый стол, огромный черный клеенчатый диван с блестящими кнопками, секретер и рабочий столик. Все старинное, красного дерева, на полу — ковер. Комната выглядит необыкновенно уютно. На окнах — опрятные белые занавески; окон — три, совсем маленькие, каждое разделено переплетом на четыре части.

— А кухня где? — спрашивает он.

— Здесь,— отвечает она, похлопывая по железной плите с двумя конфорками.

— А вода?

— Все есть, мальчуган.

Оказывается, между секретером и плитой есть кран.

— А сколько это будет стоить? — все еще сомневаясь, спрашивает он.

— Сорок марок,— отвечает она.— Вообще-то говоря, ничего.

— Как так ничего?

— А вот послушай,— говорит она.— Ты сообразил, почему здесь такая лестница, почему эти комнаты так идиотски расположены?

— Нет,— отвечает он.— Понятия не имею. Наверное, архитектор чокнутый был. Говорят, это с ними часто случается.

— Ничего не чокнутый,— горячо возражает она.— Тут когда-то была настоящая квартира с кухней, уборной, передней и всем прочим. И сюда наверх вела самая настоящая лестница.

— Куда же все это девалось?

— Помещение заняли под кино. Сразу за дверью спальни начинается кинозал, он-то все и захватил. Остались только эти две комнаты, никто не знал, что с ними делать. Про них забыли, и Путбресе заново открыл их. Он провел сюда лестницу из своего склада, хочет сдавать комнаты — ему нужны деньги.

— Так почему же все это ничего не стоит и все-таки стоит сорок марок?

— Да потому, что он не имеет права сдавать эти комнаты — жилищный надзор ни за что не разрешил бы из-за опасности пожара и увечья.

— Ну, не знаю, как ты заберешься сюда через месяц-другой...

— Уж это моя забота. Главное, нравится ли тебе?

— Что ж, в общем, квартира не так уж плоха...

— Ох, и кривляка же ты! Ох, и кривляка! «Не так уж плоха!» Пойми же, мы будем совсем одни, никто к нам носа не сунет... Ведь это же замечательно!

— Раз так, детка,— снимаем. В конце концов твоя работа — твоя и забота; я рад, что квартира тебе нравится.

— Я тоже рада,— отвечает она.— Пошли.

— Молодой человек,— обращается к Пиннебергу господин Путбрезе, щурясь на него покрасневшими глазами.— Разумеется, денег я за эту дыру не беру. Вы в курсе дела?

— Да, конечно,— отвечает Пиннеберг.

— Так вот, денег я за эту дыру не беру!..— многозначительно повышает голос Путбрезе.

— Ну, ну? — подбадривает его Пиннеберг.

— Господи боже,— вмешивается Киска.— Выложи на стол двадцать марок.

— Вот именно,— одобрительно замечает Путбрезе.— У вашей жены есть голова на плечах. За половину ноября — отлично. А насчет вашего животика не извольте беспокоиться, милочка. Когда вы слишком уж располнеете и не сможете взбираться по лестнице, мы установим блок, прицепим стул и полегонечку будем поднимать вас наверх. Поверьте, это доставит мне истинное наслаждение.

— Ну вот,— смеется Киска,— и эта забота с плеч долой.

— Так когда же мы переезжаем? — спрашивает Путбрезе.

Супруги переглядываются.

— Сегодня,— говорит Пиннеберг.

— Сегодня,— говорит Киска.

— А каким образом?

— Послушайте,— обращается Киска к Путбрезе.— Ведь вы, наверное, сможете одолжить нам тележку? А то и подсобить при переезде. У нас всего две корзины, да еще туалетный столик.

— Туалет — это хорошо,— говорит хозяин.— Я-то, признаться, о детской коляске подумал. Ну да ведь иной раз и сам не знаешь, почему покупаешь то, а не другое. Верно?

— Совершенно верно,— подтверждает Киска.

— Стало быть, по рукам,— говорит Путбрезе.— Кружка пива и стопка водки. Отчаливаем немедленно.

И они отчаливают, захватив с собой ручную тележку.

По дороге, в пивнушке, им стоит немало труда втолковать Путбрезе, что переезд должен совершиться в величайшей тайне.

— Ах, вот оно что,— доходит до него наконец.— Вы хотите смяться тайком? Хотите, попросту говоря,

съехать, не заплатив? Ну что ж, по мне, так пожалуйста. Но запомните, молодой человек: у меня — гони монету вперед, чтоб каждого первого — как на блюдечке. А не принесете — невелика беда, я сам вас перевезу, совершенно бесплатно, прямо на улицу.

И, сверкнув красными глазками, Путбрезе закатывается оглушительным хохотом.

После этого все идет как по маслу. Киска со сказочной быстротой укладывает вещи, Пиннеберг стоит у двери и на всякий случай крепко держит ручку, так как в столовой опять собралась веселая компания, а Путбрезе сидит на княжеской кровати и время от времени изумленно бормочет: «Кровать-то золотая! Надо старухе рассказать, на такую кровать лечь — все равно что с молоденькой девочкой...»

Мужчины выносят туалет. Путбрезе берется только одной рукою, другой он держит зеркало, и когда они возвращаются, вещи уже упакованы, шкаф зияет пустой, ящики выдвинуты.

— Ну, пошли,— говорит Пиннеберг.

Путбрезе подхватывает обе корзины с одного конца, Киска и Пиннеберг — с другого. Сверху на корзинах лежит чемодан, дамский чемоданчик и ящик из-под яиц с посудой...

— Потопали! — командует Путбрезе.

Киска оглядывается напоследок: комната, ее первая собственная комната в Берлине... Как все-таки тяжело уходить. Господи боже, надо погасить свет!

— Минуточку,— говорит Киска.— Свет!

И выпускает ручку корзины. Первым приходит в движение чемоданчик, с легким, коротким стуком он падает на пол. Большой чемодан брякается потяжелее, а уж ящик с посудой...

— Милочка,— гудит Путбрезе глубочайшим басом,— уж коль они там и сейчас ничего не услышат, так им и надо, чтобы плакали их денежки...

Супруги стоят на месте, словно захваченные врасплох преступники, и не сводят глаз с двери в проходную комнату. Так и есть: дверь распаивается. На пороге стоит Хольгер Яхман, раскрасневшийся, смеющийся. Пиннеберги смотрят на него. Яхман меняется в лице, прикрывает дверь, делает шаг вперед...

— Вот так штука! — говорит он.

— Господин Яхман! — умоляюще шепчет Киска.—

Господин Яхман, мы переезжаем! Прошу вас... Вы же все понимаете!

Да, Яхман изменился в лице; он задумчиво рассматривает стоящую перед ним молодую женщину, его лоб прорезан поперечной складкой, рот полуоткрыт.

Он делает еще шаг вперед. Он говорит, нет, шепчет едва слышно:

— Это не годится — таскать чемоданы в вашем положении.

И подхватывает одной рукой корзину, другой — чемодан.

— Пошли.

— Господин Яхман... — порывается что-то сказать Киска.

Но Яхман не говорит больше ни слова; он молча сносит вещи вниз, молча грузит их на тележку, молча жмет руки Пиннебергам. Потом долго смотрит им вслед, смотрит, как они исчезают в сером уличном тумане: тележка со скудным домашним скарбом, беременная женщина в поношенном пальто, мужчина — сусально-элегантное ничтожество, и толстая пьяная скотина в синей блузе...

Господин Яхман выпячивает нижнюю губу, напряженно думает. Вот он стоит в смокинге, очень элегантный, очень холеный — уж наверное сегодня вечером он в свое удовольствие помылся в ванне. Он тяжело вздыхает и медленно, ступенька за ступенькой, всходит по лестнице. Он затворяет входную дверь — она оставалась открытой, — заглядывает в опустевшую комнату, кивает, гасит свет и идет в столовую.

— Где ты пропадал? — встречает его фрау Пиннеберг, восседающая в кругу гостей. — Опять к молодым ходил? Будь я ревнива, я бы тебе задала.

— Налей-ка коньяку, — говорит Яхман и, опрокинув рюмку: — Да, между прочим: молодые просили тебе кланяться. Они только что съехали.

— Съехали?.. — переспрашивает фрау Пиннеберг и, захлебываясь от негодования, наговаривает по этому поводу кучу всякой всячины.

Бюджет утвержден — мяса в обрез. Пиннеберг не понимает Киску

В сумерках Киска сидит у себя в комнате, перед нею — тетрадка и отдельные листки, ручка, карандаш, линейка. Она что-то пишет и подсчитывает, зачеркивает

и пишет вновь. При этом она вздыхает, качает головой, снова вздыхает: «Нет, это невозможно»,— и продолжает считать.

Комната очень уютна: низкий, в балках, потолок, мебель теплых, коричневато-красных тонов. Никаких претензий на современный стиль, и она ничего не теряет от того, что на стене красуется вышитое черно-белым бисером изречение: «Верность до гробовой доски». Это вполне в духе всей комнаты, как в ее духе и сама Киска с ее нежным лицом и прямым носиком, одетая в просторное голубое платье с узким, машинной работы, кружевным воротничком. В комнате приятно тепло, и всякий раз, когда промозглый ноябрьский ветер со свистом налетает на окна, в комнате становится еще уютнее.

Наконец Киска управилась с подсчетами и еще раз перечитывает свои записи. Вот как выглядит то, что она написала со множеством подчеркиваний, где крупными, где мелкими буквами:

МЕСЯЧНЫЙ БЮДЖЕТ

Иоганнеса и Эммы Пиннеберг

Примечание: ни под каким видом не должен быть превышен!!

		А. Приход:	
Месячный оклад			200 марок
		Б. Расход:	
1. Питание:			
Масло и маргарин			10
Яйца			4
Овощи			8
Мясо			12
Колбаса и сыр			5
Хлеб			10
Бакалея			5
Рыба			3
Фрукты			5
			<hr/>
			62
2. Прочее:			
Страхование и налоги			31,75
Профсоюзные взносы			5,10
Плата за квартиру			40
Проезд			9

Освещение	3
Отопление	5
Одежда и белье	10
Обувь	4
Стирка и утюжка	3
Средства для чистки	5
Сигареты	3
Развлечения	3
Цветы	1,15
Покупка новых вещей	8
Непредвиденные расходы	3

	134
Итого	196 марок.
Неприкосновенный запас	4 марки

Нижеподписавшиеся обязуются ни под каким видом, ни под каким предлогом не расходовать деньги в иных целях, кроме вышеуказанных, и строго держаться в рамках бюджета.

Берлин, 30 ноября.

Киска медлит еще мгновенье. «То-то мальчуган удивится», — думает она, затем берет перо и подписывается. Собрав письменные принадлежности, она аккуратно складывает их в ящик секретера. Из среднего отделения она достает пузатую голубую вазу и начинает трясти ее над столом. Из вазы выпадают две-три бумажки, немного серебра, несколько медяков. Она пересчитывает деньги: считай не считай, всего-навсего сто марок. С легким вздохом Киска прячет деньги в другой ящик и ставит пустую вазу на место.

Она подходит к двери, гасит свет и удобно устраивается в плетеном кресле у окна, сложив руки на животе и широко расставив ноги. Из слюдяного окошечка плиты на потолок падает красноватый отсвет, он тихо танцует взад-вперед, останавливается вдруг, долго дрожит на месте и снова начинает танцевать. Хорошо сидеть вот так дома, одной, в сумерках, ждать мужа и слушать, не шевельнется ли под сердцем дитя. Чувствуешь, как в тебе поднимается что-то большое и широкое, выходит из берегов, разливается все шире... Вспоминается море. Оно так же вздымалось и опадало, ширилось, и тогда тоже непонятно было, зачем это, но было так хорошо...

Киска давно заснула. Она спит полуоткрыв рот, уронив голову на плечо, спит легким, быстролетным, радостным сном, возносящим и баюкающим ее в своих объятиях. Она мгновенно просыпается и возвращается к действительности, как только ее мальчуган зажигает свет и спрашивает:

— Ну, как дела? Сумерничаешь, Киска? Малышок не стучался?

— Нет. Еще нет. Между прочим, здравствуй, старик.

— Здравствуй, старуха.

Они целуются.

Он накрывает на стол, она возится у плиты. Несколько нерешительным голосом она говорит:

— Сегодня у нас треска с горчичным соусом. Такая дешевая попалась...

— Не возражаю,— отвечает он.— Иной раз я вовсе не прочь отведать рыбы.

— У тебя хорошее настроение,— говорит она.— Что, дело пошло на лад? Как подвигается рождественская торговля?

— Начинает помаленьку оживляться. Публика еще не раскачалась.

— Ты сегодня хорошо торговал?

— Да, сегодня мне повезло. Наторговал на пятьсот марок с лишним.

— Ты у них, наверное, лучший продавец.

— Нет, Киска. Гейльбут лучше. Да и Вендт, пожалуй, мне не уступит. Только у нас опять затевается что-то новое.

— Что именно? Хорошего ждать не приходится.

— К нам назначили организатора. Он должен реорганизовать предприятие — навести экономию и все такое прочее.

— Ну, на вашем-то жалованье много не сэкономишь.

— Почем знать, что у них на уме? Уж он что-нибудь да придумает. Лаш слышал, будто ему положили три тысячи в месяц.

— Как? — изумляется Киска.— Три тысячи в месяц — и это Мандель называет экономией?

— Не беспокойся, уж он окупит себя с лихвой, уж он что-нибудь да придумает.

— Но что? Что?

— Поговаривают, будто теперь и у нас каждому про-

давцу установят минимум: обязан продать на столько-то, а не сможешь — вылетай вон.

— Какая низость! А если покупатель не идет, если у него нет денег, если ему не нравится ваш товар? Это ни в какие ворота не лезет!

— Очень даже лезет,— отвечает Пиннеберг.— Они все словно с ума посходили. Это называется у них рационализацией, экономией: таким манером они хотят выявить неспособных. Какая ерунда! Взять, например, Лаша. Он человек мнительный, робкий, он заранее говорит, что если так сделают, если у него будут проверять чековую книжку и придется постоянно думать о том, выполнит ли он норму,— тогда он оробеет и вовсе ничего не продаст.

— Ну и что ж такого,— горячо возражает Киска,— если он продаст меньше других, если ему не поспеть за всеми? Да кто они такие, чтоб из-за этого лишать человека заработка, места, всякой радости жизни? Выходит, кто послабее, тот уж и не дыши? Оценивать человека по тому, сколько штанов он может продать!

— Ну, брат, и разошлась же ты...— говорит Пиннеберг.

— Еще бы! Меня бесит не знаю как, когда я слышу подобные вещи.

— Но они-то говорят, что платят продавцу не за то, что он прекрасный человек, а как раз за то, что он продает много штанов.

— Это неправда,— говорит Киска.— Это неправда, мальчуган. Ведь они же хотят, чтобы у них служили порядочные люди. А на деле они так сейчас с нами поступают,— начали-то с рабочих, а теперь дошла очередь и до нас,— что в конце концов все мы озвереем, и добром это для них не кончится, вот увидишь!

— Разумеется, не кончится,— соглашается Пиннеберг.— Среди нас и так уж большинство — нацисты.

— Благодарю покорно! — говорит Киска.— Уж я-то знаю, за кого нам голосовать.

— За кого же? За коммунистов?

— Разумеется.

— Об этом мы еще подумаем,— говорит Пиннеберг.— Я и сам не прочь, да все как-то духу не наберусь. Пока мы более или менее устроены, особой необходимости в этом нет.

Киска задумчиво смотрит на мужа.

— Ну, ладно, милый,— говорит она.— До следующих выборов еще успеем потолковать об этом.

Они встают из-за стола — с треской покончено,— и Киска принимается быстро мыть тарелки, а муж вытирать их.

— Заходил к Путбрезе?— вдруг спрашивает Киска.— Насчет квартирной платы?

— Заходил,— отвечает он.— Уплачено сполна.

— Тогда сразу же спрячь остальное.

— Хорошо,— отвечает он, открывает секретер, достает голубую вазу, лезет в карман, вынимает деньги из бумажника, заглядывает в вазу и озадаченно говорит: — Да ведь тут нет ни гроша.

— Нет,— твердо отвечает Киска и глядит на мужа.

— Как же так? — недоумевает он.— Ведь должны же быть еще деньги! Ведь не могли же они все выйти.

— А вот взяли и вышли,— говорит Киска.— Вышли наши деньги. Вышли наши сбережения, и что мы получили по страхованию, тоже все вышло. Все профукали. Теперь мы должны обходиться одним твоим жалованьем.

Он не знает, что и подумать. Не может быть, чтобы Киска, его Киска, водила его за нос.

— Но ведь я только вчера или позавчера видел деньги в вазе. Ну конечно, была бумажка в пятьдесят марок и целая куча мелочи.

— Верно, сто марок еще оставалось,— уточняет Киска.

— Куда же они девались? — спрашивает он.

— Так, никуда,— отвечает она.

— Послушай...— вспыхивает он вдруг.— Что ты купила на эти деньги, черт побери! Ну, говори же!

— Ничего,— отвечает она и, когда он уже готов взорваться: — Неужели ты не понимаешь, мальчуган, что я отложила, спрятала их, они для нас больше не существуют? Теперь мы должны обходиться одним твоим жалованьем.

— Но зачем прятать? Если решим не трогать, стало быть, и не тронем.

— Нет, так у нас не выйдет.

— Ну, не скажи.

— Видишь ли, милый, мы все время собирались жить на одно твое жалованье и даже откладывать про

черный день. Но много ли мы отложили? Мы истратили даже то, что получили сверх твоего заработка.

— В самом деле...— задумывается он.— Как же так? И ведь мы как будто не роскошествовали...

— Верно,— отвечает она.— Но, пока мы женихались, мы много разъезжали, да и в развлечениях себе не отказывали.

— А потом этот стервец Сезам — содрал с нас пятнадцать марок! Никогда ему этого не забуду.

— А потом свадьба,— подхватывает Киска,— она тоже денег стоила.

— А потом первые покупки: кастрюли, ножи и вилки, щетки, постельное белье, одеяло и подушки для меня...

— А потом загородные прогулки — их тоже было немало.

— А потом переезд в Берлин.

— Да, и потом...— она нерешительно умолкает.

— ...туалет,— мужественно договаривает он.

— И приданое для Малышонка.

— И кровать для него.

— И все же у нас еще осталось сто марок! — торжествующе заканчивает она.

— Ну вот, видишь,— говорит он, очень довольный,— сколько всего мы получили за эти деньги. И ничего тебе ныть.

— Хорошо,— говорит она, и совсем другим тоном: — Получить-то получили, но ведь, собственно говоря, многое следовало сделать, не трогая сбережений. Послушай, милый, с твоей стороны было очень великодушно, что ты не определил мне сумму на хозяйство и я могла свободно запускать руку в голубую вазу. Но это приучило меня быть беспечной, и я иной раз лазила туда без всякой необходимости. Вот хотя бы в прошлом месяце, на новоселье, прекрасно можно было обойтись без шницелей и мозельского...

— Мозельское стоило всего марку. Если отказываться от всяких удовольствий...

— Зачем же от всяких, нужно искать такие, которые ничего не стоят.

— Таких не бывает,— возражает он.— За все, что доставляет удовольствие, надо платить. Захотел прогуляться за город — плати! Захотел послушать музыку — плати! За все надо платить, бесплатно ничего не делается...

— Видишь ли, я думала... ну, скажем, музеи...—
начинает она и осекается.— Нет, что и говорить, нельзя
же все время ходить по музеям, да мы во всем этом ни-
чего и не смыслим! А что действительно стоит посмот-
реть, того-то мы и не увидим. Но так или иначе надо
выкручиваться, и вот я написала, сколько чего нам
нужно в месяц. Показать?

— Ну, покажи.

— А не рассердишься?

— Зачем же сердиться? Вероятно, ты права. Я не
умею обращаться с деньгами.

— Я тоже,— говорит она.— Вот мы и должны на-
учиться.

Она показывает ему свои записи. Он начинает чи-
тать, и лицо его все более светлеет.

— «Месячный бюджет...» — очень хорошо, Кис-
ка...— «Ни под каким видом не должен быть превы-
шен» — клянусь.

— Не клянись раньше времени,— предостерегает она.
Он быстро пробегает глазами начало.

— По статье «Питание» возражений нет. Ты уже
пробовала выдерживать смету?

— Да, последнее время я все записывала.

— Мясо,— читает он.— Двенадцать марок. Не жир-
но будет?

— Милый,— говорит она,— ведь это всего по сорок
пфеннигов в день на двоих, куда меньше того, что за
последнее время доставалось тебе одному. Теперь по
меньшей мере два дня в неделю придется обходиться
без мяса.

— И что тогда есть? — тревожно спрашивает он.

— Что угодно. Маринованную чечевицу. Макароны.
Перловую кашу с черносливом.

— Брр-рр! — вырывается у него и, заметив ее дви-
жение: — Я все отлично понимаю, Киска. Только не
говори заранее, когда вздумаеть сготовить что-нибудь
такое, это может отбить всякую охоту идти домой.

Она огорченно надувает губки, но тут же спохваты-
вается.

— Хорошо,— говорит она.— Постараюсь, чтобы по-
стных дней было как можно меньше. Только... если дру-
гой раз я сготовлю не особенно вкусно, не делай кислой
физиономии. Мне самой делается кисло, когда киснешь
ты, а что это будет за жизнь, если мы оба закиснем!

— Кис-кис! — зовет он. — Кис-кис, пойдй ко мне! Ах ты моя кисанька, моя славная киска, пойдй ко мне, помурлычь немножко!

Она ластится к нему, млеет от блаженства, но потом все-таки отстраняется.

— Нет, не сейчас, милый. Сперва дочитай до конца. А то у меня душа не на месте. Да и вообще...

— Что вообще? — удивленно спрашивает он.

— Так. Ничего. Это я просто так. Потом скажу. Еще успеется.

Однако он не на шутку встревожен.

— О чем ты? Тебе больше не хочется?

— Милый, — отвечает она. — Милый, не говори глупостей. Не хочется... Ты же сам знаешь.

— Но ведь как раз это ты имела в виду? — допытывается он.

— Нет, я имела в виду совсем другое, — оправдывается она. — В книге, — она бросает взгляд на секретер, — в книге сказано, что в последнее время от этого лучше воздерживаться. Что и матери этого не хочется, и для ребенка нехорошо. Но пока... — Она делает паузу. — ...Пока мне еще хочется.

— И долго так? — недоверчиво спрашивает он.

— Не знаю. Месяца полтора-два.

Он бросает на нее уничтожающий взгляд, берет секретера книгу.

— Ах, оставь! — говорит она. — До этого еще далеко.

Но он уже нашел нужное место.

— По крайней мере три месяца, — говорит он, вконец уничтоженный.

— Ну ничего, — говорит она. — Кажется, у меня это наступит позже, чем у других. Во всяком случае, сейчас еще не так. А ну, закрой эту глупую книгу.

Но он продолжает читать. Брови его высоко вздернуты, лоб наморщен от изумления.

— Потом ведь тоже придется воздерживаться, — озадаченно говорит он. — Первые два месяца кормления. Выходит, два с половиной месяца, да еще два — всего четыре с половиной месяца. Ну, скажи на милость, стоило ли жениться?

Улыбаясь, она смотрит на него и не отвечает. Он тоже начинает смеяться.

— Господи боже, — вздыхает он, — час от часу не легче! Думал ли я когда-нибудь о чем-либо подобном?

Так вот он каков, этот Малыш, вот он с чего начинается.— Пиннеберг улыбается уже во весь рот.— Милый ребенок, нечего сказать. Оттирает отца от кормушки!

Она смеется.

— погоди, тебе еще и не то предстоит узнать.

— Как все-таки хорошо быть в курсе дела.— Он, улыбаясь, смотрит на нее.— Отныне, фрау Пиннеберг, переходим на усиленный рацион, чтобы хватило впрок.

— Не возражаю,— отвечает она.— Только сначала просмотри бюджет до конца, а то не будет тебе усиленного рациона.

— Согласен,— отвечает он.— А это что такое — «средства для чистки»?

— Ну, там, мыло, зубная паста, бритвы, бензин. Сюда же относится и стрижка.

— Стрижка? Отлично, детка. Одежда и белье — десять марок... Что-то непохоже, чтобы мы в скором времени пополнили свой гардероб.

— Но ведь есть еще те восемь марок, что отведены на покупку новых вещей. Конечно, без обуви тоже не проживешь. Я рассчитываю хотя бы раз в два года покупать тебе новый костюм и раз в три года — зимнее пальто кому-нибудь из нас.

— Шикарно, шикарно,— говорит он.— Три марки на сигареты — это очень великодушно с твоей стороны.

— Три штуки, на три пфеннига в день,— говорит она.— Не запишишь?

— Ничего, обойдусь. А это что такое? Три марки на развлечения? Как же ты думаешь развлекаться на три марки в месяц? Ходить в кино?

— Пока никак,— отвечает она.— Я вот о чем думаю; милый. Мне хочется разок, хотя бы разок в жизни повеселиться по-настоящему, как богатые. Чтобы тратить деньги, не думая.

— На три марки?

— Мы будем откладывать из месяца в месяц. И когда накопится изрядная сумма, этак марок двадцать — тридцать, мы как следует повеселимся.

Он смотрит на нее испытующе, вид у него чуть-чуть грустный.

— Раз в год? — спрашивает он.

Но она ничего не замечает.

— Да, по мне, хотя бы и раз в год. Чем больше

накопится, тем лучше. Зато уж потом мы протрем глазки денежкам. Гульнем напропалую.

— Странно,— говорит он.— Вот не думал, что ты находишь вкус в подобных вещах.

— А что тут странного? — спрашивает она.— Ведь это же так понятно. Я ни разу в жизни не испытала ничего подобного. Тебе-то что, ты уже все знаешь по своей холостяцкой жизни.

— Да, ты права,— медленно произносит он и умолкает. Затем вдруг яростно хлопает рукой по столу.— Ах, чтоб меня черти съели!

— Что с тобой? — спрашивает она.— Что случилось, миленький?

— Ничего,— говорит он с легкой досадой.— Иной раз посмотришь, как все на свете устроено, и кажется, лопнешь со злости.

— Ты думаешь о других? Бог с ними. Им их деньги все равно ничего не дают. А теперь подпиши, миленький, что не будешь выходить из бюджета.

Он берет ручку и ставит свою подпись.

Елка с одеколоном и мать двоих детей. Гейльбут говорит:
«Вы смелые люди». Правда ли, что мы смелые люди?

Рождество пришло и ушло — тихое, скромное рождество с елкой в горшке, галстуком, верхней рубашкой и парой гамаш для мальчугана, с бандажом и флаконом одеколону для Киски.

— Не хочу, чтобы у тебя отвис живот,— заявил он.— Хочу, чтобы моя жена сохранила красоту.

— В будущем году Малышок уже увидит елку,— сказала Киска.

Однако елка здорово воняла — уже к сочельнику на нее пришлось известить весь одеколон.

Когда беден, все осложняется. Елку в горшке придумала Киска: она хотела вырастить ее, весной пересадить. На будущий год, думалось ей, елку увидит Малыш, и так, становясь все больше, все пышнее, она будет расти наперегонки с Малышом, вместе с ним встречая рождество за рождеством,— их первая и единственная елка. Так ей думалось.

Под праздники Киска выставила елку на крышу кинотеатра. И тут, бог весть каким образом, о ней пронюхала кошка. До этого Киска и не подозревала, что здесь

водятся кошки, но они здесь водились,— Киска обнаружила их следы в набитом землею горшке, когда взялась наряжать елку, и следы эти были весьма пахучи. Киска выбросила из горшка все, что там было, выскребла и вымыла его, но это не помогло,— муж, как только окончилась торжественная часть с поцелуями, заглядываньем в глаза и осмотром подарков, сказал:

— Слушай, как странно она пахнет!

Киска объяснила, в чем дело. Пиннеберг расхохотался.

— Ну, это легко поправить!

И, открыв флакон с одеколоном, спрыснул горшок. Увы! В тот вечер ему пришлось без конца спрыскивать его: кошка на время замирала, но каждый раз победоносно воскресала к новой жизни. Флакон опустел, кошка воняла. В конце концов, еще в сочельник, елку пришлось выставить за дверь. С кошкой решительно не было сладу.

В первый же свободный от работы день Пиннеберг ранехонько вышел из дому и тайком набрал в Малом Тиргартене садовой земли. Елку пересадили. Но, во-первых, от нее по-прежнему воняло, а во-вторых, обнаружилось, что это вовсе не елка, выращенная в горшке, а черт знает что, садовник обрубил ей корни, чтобы сунуть в горшок. Короче говоря, одно название, а не елка.

— Такие, как мы, всегда влипают,— сказал Пиннеберг и был почти готов признать это в порядке вещей.

— Ну, не всегда,— возразила Киска.

— Например?

— Например, когда я нашла тебя.

В остальном декабрь прошел благополучно. Несмотря на рождественские праздники, бюджет Пиннебергов не был превышен. Они не помнили себя от радости. «Стало быть, и это мы можем! Вот видишь! Несмотря на рождество!»

И они строили планы, на что истратить в ближайшие месяцы свои сбережения.

Зато январь был унылый, мрачный, гнетущий. В декабре господин Шпанфус, новый «организатор» фирмы Мандель, еще только принимался к постановке дела, в январе он развил кипучую деятельность. Для каждого продавца была установлена норма выручки — в отделе мужского готового платья в размере двадцатикратно-

го месячного оклада. Господин Шпанфус произнес по этому поводу небольшую изящную речь. Дескать, это делается исключительно в интересах самих служащих, теперь каждый с математической точностью будет знать, что оценен по заслугам. «Всякому подхалимству, угодничанью и подрывающему моральные устои искательству перед начальниками отныне будет положен конец! — провозгласил господин Шпанфус. — Дайте мне вашу чекую книжку — и я скажу, что вы собой представляете!»

Подчиненные слушали его с серьезными лицами; возможно, близкие друзья и рискнули обменяться замечаниями по поводу этого спича, но открыто никто ничего не сказал.

В конце января пополз слухок, что Кеслер купил у Вендта две продажи. Вендт выполнил свою норму к двадцать пятому, у Кеслера и двадцать девятого еще был недобор в триста марок. Тридцатого числа, когда Вендт один за другим продал два костюма, Кеслер предложил ему за каждую продажу по пять марок, с тем чтобы записать чеки на себя. Вендт согласился.

Обо всем этом узнали гораздо позднее, но, во всяком случае, первым узнал господин Шпанфус, неизвестно каким образом. Господину Вендту дали понять, что ему лучше уйти — ведь он воспользовался затруднительным положением коллеги. Кеслер отделался выговором. Сослуживцам он говорил, что ему дали строгий выговор.

Что касается Пиннеберга, то в январе он выполнил норму играючи. «Тоже нашли чем удивить!» — самоуверенно говорил он.

В феврале ожидали понижения нормы, ведь в феврале двадцать четыре рабочих дня, тогда как в январе их двадцать семь. К тому же в январе была распродажа остатков с прошлого года. Несколько смельчаков даже заикнулись об этом, но господин Шпанфус пресек разговоры на эту тему:

— Верьте или не верьте, господа, но ваш организм, ваша воля, ваша энергия — словом, все ваше существо уже настроилось на двадцатикратную выручку. Всякое снижение нормы равносильно снижению вашей работоспособности, о чем вы сами потом пожалеете. Я твердо убежден, что каждый из вас не только выполнит, но и перевыполнит норму.

И, обведя всех острым, многозначительным взглядом, господин Шпанфус проследовал дальше. Однако его реформы отнюдь не оказали столь облагораживающего действия на нравы, как он предполагал в своем идеализме. Под лозунгом: «Всякому своя шкура дорога!» — началась форменная атака на покупателей, и не один посетитель манделевского магазина, проходя через отдел готового мужского платья, с удивлением замечал, как отовсюду на него смотрят бледные, перекошенные в любезной улыбке лица продавцов: «Пожалуйста, сударь, не угодно ль?»

Все это сильно смахивало на переулочек с борделями: каждый ликовал, перебив у коллеги клиента.

Пиннеберг не мог устраниться от игры, Пиннеберг должен был поспевать за остальными.

За этот февраль Киска научилась встречать мужа улыбкой, очень мало похожей на улыбку. Если он приходил не в духе, это его раздражало. Она научилась молча ждать, пока он заговорит, потому что любое слово могло вывести его из себя, и тогда он начинал почему зря ругать живодеров, делающих из людей скотов и заслуживающих того, чтобы им в задницу вlepили бомбу!

К двадцатому числу он впал в совершенное уныние; он заразился настроением других, уверенности в себе как не бывало, он дважды упустил покупателя, он словно разучился продавать.

Они лежали в постели, она держала его в объятиях, крепко прижимала к себе: его нервы сдали, он плакал. Она обнимала его, она повторяла:

— Милый, если даже ты потеряешь работу, не отчаивайся, не падай духом. Ты никогда-никогда не услышишь от меня жалоб, клянусь тебе!

На следующий день он был спокоен, хотя и подавлен. А несколько дней спустя сказал ей, что Гейльбут уступил ему четыреста марок из своей выручки — да, Гейльбут, он один не поддался массовому психозу, он делал свое дело так, как будто вовсе не слышал ни о каких нормах, и даже посадил в галошу самого Шпанфуса.

Пиннеберг оживился и весь сиял, рассказывая об этом Киске.

— Ну-с, господин Гейльбут, — посмеиваясь, начал Шпанфус, — я слышал, вы слывете за человека выдаю-

щихся умственных способностей. Позвольте спросить, вы не интересовались вопросом о том, как снизить непроизводительные расходы?

— Да,— ответил Гейльбут и в упор посмотрел на диктатора темными миндалевидными глазами,— я интересовался этим вопросом.

— И к какому же выводу вы пришли?

— Я предлагаю рассчитать всех служащих с окладом более четырехсот марок.

Господин Шпанфус повернул оглобли и был таков. Отдел готового мужского платья ликовал.

Увы! Киска слишком хорошо все понимала. Добро бы еще только страх, царивший в их магазине,— быть может, он и не поддался бы ему так легко; но главное, вероятно, было в том, что мальчугану теперь не хватало ее. Она стала такой неуклюжей, такой безобразно толстой. Когда она укладывалась спать, ей приходилось отдельно укладывать свой живот. И его нужно было уложить как следует, иначе она просто не находила себе места, не могла заснуть.

Мальчуган привык к ней. Она сразу замечала, когда он делался беспокойным, и теперь, так как близость между ними была невозможна, это случалось все чаще и чаще. Не раз ей хотелось сказать ему: «Найди себе девушку»,— и если она этого не говорила, то вовсе не из ревности — дело было опять-таки за деньгами, только за деньгами. Но в конце концов и это ничему бы не помогло. Ибо она чувствовала: теперь она живет не только для мужа, но и для того, другого, еще не родившегося, который уже заявляет на нее права.

Мальчуган делился с ней своими печалью, она слушала и утешала его, была с ним, но, по совести говоря, она старалась не принимать все это слишком близко к сердцу. Малышонка не следует беспокоить. Малышонка нельзя беспокоить.

Вот посмотрите, она укладывается спать, свет еще горит, мальчуган еще с чем-то возится. Ей только бы лечь поскорее — поясницу так ломит. И вот, уже лежа в постели, она подымает рубашку и лежит совсем голая и разглядывает свой живот.

И тут — ждать обычно долго не приходится — она видит, как живот в одном месте выпячивается, и она вздрагивает, у нее захватывает дыхание.

— Скорее, миленький,— зовет она.— Малышок опять брыкается, совсем с ума сошел мальчишка!

Да, он живет в ней, он, как видно, парень боевой, с огоньком, он брыкается и толкается, это вам не какое-нибудь расстройство желудка, тут дело ясное.

— Смотри-ка, миленький! — говорит она.— Ведь это же просто видно.

— Да? — откликается он и нерешительно приближается.

И вот оба ждут, и вдруг она кричит: «Видишь?! Видишь?» — и вдруг замечает, что он смотрит вовсе не на ее живот, а на грудь.

Ей становится страшно — она опять не подумала, что мучит его; она опускает рубашку, она шепчет:

— Какая я гадкая, милый!

— Ладно уж,— говорит он.— Я тоже хорош.

И снова шебаршится в полутьме.

Так повторяется без конца, и пусть каждый раз ей становится стыдно, она не может без этого, не может не посмотреть на своего Малыша, как он буйствует и ворочается у нее в животе. Она и рада бы остаться одна, но ведь у них только эти две комнаты, и дверь между ними снята — волей-неволей приходится делить переживания другого.

Раз — один только раз — к ним в гости, на их верхотуру, зашел Гейльбут. Да, больше уже нельзя скрывать, что они ждут ребенка, и тут выясняется, что мальчуган ни словом не обмолвился об этом своему другу. Киска удивлена.

Однако Гейльбут и вида не подает, он шутит, он с интересом расспрашивает, на что все это похоже. Ведь он холостяк и в данном отношении беспокоится лишь о том, чтобы его подруга всегда была в полном порядке. Пока что, слава богу, все обходилось благополучно — тьфу-тьфу! Итак, Гейльбут заинтересован, он проявляет участие, он подымает чашку с чаем и говорит:

— За здоровье Малыша! — И затем, поставив чашку на стол, добавляет: — Вы смелые люди.

Вечером — супруги уже легли, свет погашен — Пиннеберг говорит:

— Ты слышала, он сказал: «Вы смелые люди»?

— Слышала,— отвечает Киска.

И оба умолкают.

Однако Киска еще долго размышляет, действитель-

но ли они такие уж смелые. А может, они теперь совсем бы отчаялись, не будь у них Малышонка в перспективе? Чему ж еще и радоваться в жизни? Когда-нибудь она непременно скажет об этом мужу, только не сейчас.

Мальчуган должен пообедать, а Фрида — получить наглядный урок. А вдруг я больше ее не увижу?

Пиннеберг идет от Манделя домой. Субботний полдень, он отпросился у господина Крепелина: у него неспокойно на душе.

— Ступайте, ступайте! — сказал всегда любезный Крепелин. — Желаю удачи вашей супруге.

— Спасибо, большое спасибо! — ответил Пиннеберг. — Не уверен, будет ли это уже сегодня, только что-то не спокойно на душе.

— Ну, так ступайте же, Пиннеберг! — повторил Крепелин.

Весна в этом году ранняя. Хотя всего середина марта, кусты уже зеленеют, и воздух мягкий-мягкий. «Дай бог, — думает Пиннеберг, — чтобы Киска поскорее родилась. Тогда хоть вздохнешь посвободнее. Нет ничего хуже, чем ждать. Поспешить бы ему, появиться бы ему скорее, этому господину... Малышу».

Он медленно идет по Кальвинштрассе, пальто нарастает, дует слабый ветерок. «Все кажется легче, когда погода хорошая. Только б уж поскорее!»

Он пересекает Альт-Моабит, проходит еще несколько шагов — какой-то мужчина предлагает ему букетик ландышей. Нет, при всем желании он не может себе это позволить — бюджет... Вот наконец и двор, гаражного типа ворота распахнуты настежь. Путбресе возится с мебелью.

— Что скажете, молодой человек? — спрашивает он, щурясь покрасневшими глазками из полутьмы на свет. — Уже папаша?

— Нет еще, — отвечает Пиннеберг. — Но теперь уже скоро.

— Они, однако, не торопятся, бабы-то, — говорит Путбресе; от него так и разит водкой. — А подумать хорошенько, так все это большое свинство! С ума сойти. Посудите сами, молодой человек, на что это похоже! Ни на что это не похоже, минутное дело, да какое

там минутное — так просто, чик-чик — и все готово. А потом? Потом вы связаны по рукам и ногам на всю жизнь.

— Верно! — отвечает Пиннеберг. — Ну, пока, хозяин, пойду пообедаю.

— А ведь все-таки побаловались в досталь, молодой человек, правда? — замечает Путбресе. — Ну, и я вовсе не хочу сказать, что вы с первого же разу пошабашили. Отчикали разок — и успокоились? Нет, этого я не скажу, не из таковского мы теста! — И он бьет себя кулаком в грудь. Пиннеберг взбирается на лестницу и исчезает во тьме.

Киска встречает его улыбкой. Последние дни, когда он приходит домой, ему всякий раз кажется, что сегодня-то уж непременно, и каждый раз предчувствие обманывает его. В сущности говоря, все стоит на одной точке — и ни с места. Ее живот — это просто ужас что такое, тугой, как барабан, а на коже, прежде такой белой, проступило бесчисленное множество противных красносиних прожилок.

— Добрый день, старуха, — говорит Пиннеберг и целует ее. — Крепелин отпустил меня.

— Добрый день, старик, — отвечает она. — Вот и прекрасно. Погоди, не кури, сейчас будем обедать.

— О господи! — вздыхает Пиннеберг. — А покурить-то так хочется. Может, подождем с обедом?

— Хорошо, — отвечает она и садится на стул. — Как твои дела?

— Все так же. А твои?

— И мой все так же.

— Не торопится он! — вздыхает Пиннеберг.

— Ничего, всему свое время, мальчуган. Теперь уже недолго.

— Как глупо, что у нас никого нет, — говорит он, помолчав немного. — Хорошо, когда есть у кого спросить. Откуда тебе знать, что начались схватки? Можешь подумать, просто болит живот.

— Ну нет, по-моему, тут ошибиться нельзя.

Сигарета докурена, они садятся за стол.

— Ого! — удивляется Пиннеберг. — Котлеты? Как в воскресенья!

— Свинина сейчас недорогая, — отвечает Киска, как бы оправдываясь. — И потом, я заодно нажарила и на

завтра — так у тебя... так у нас будет больше свободного времени.

— Прогуляемся после обеда? — спрашивает он.— Доберемся потихоньку до Дворцового парка, там теперь так хорошо.

— Завтра утром, мальчуган, завтра утром.

Они принимаются мыть посуду. Киска как раз взяла тарелку и вдруг вскрикивает и застывает на месте с широко открытым ртом. Ее лицо бледнеет, делается серым, затем багровеет.

— Что с тобой, Киска? — испуганно спрашивает он и усаживает ее на стул.

— Схватки, — только и может прошептать она и больше не слышит его; она сидит на стуле, вся скорчившись, все еще держа в руке тарелку.

Он стоит перед нею и не знает, что делать, он смотрит на окно, на дверь, ему хочется убежать; он гладит ее по спине: не позвать ли врача? Осторожно берет у нее тарелку.

Киска выпрямляется, на ее щеках снова играет румянец, она вытирает со лба пот.

— Киска... — шепчет он. — Моя Киска...

— Да, теперь пора, надо идти, — говорит она и улыбается. — В тот раз между схватками прошло около часу, а теперь только сорок минут. Я-то думала, еще успеем вымыть посуду.

— И ты ничего мне не сказала, и даже дала мне выкурить сигарету.

— Еще есть время. Когда начнется по-настоящему, схватки будут повторяться ежеминутно.

— Все-таки надо было сказать, — настаивает он.

— Тогда бы ты вовсе не стал есть. Ты и так приходишь от Манделя как не живой.

— Ну так пошли?

— Пошли, — говорит она и еще раз обводит глазами комнату. На ее лице играет какая-то странно светлая, расплывчатая улыбка. — Да, посуду тебе придется мыть самому. И ты будешь как следует прибираться в нашем гнездышке, правда? Немножечко поработать тебе придется, зато мне будет так приятно вспоминать о доме.

— Киска, — только и может произнести он. — Киска!

— Ну так пошли, — говорит она. — Спускайся первый, так лучше. Будем надеяться, схватки не застанут меня на лестнице.

— Но ты же сказала, что каждые сорок минут... — укоризненно говорит он.

— Почему знать? — отвечает она. — А может, он уже торопится. Подождать бы ему до воскресенья — он был бы у нас счастливец.

И они начинают спускаться по лестнице.

Все проходит благополучно, и даже господина Путбрезе на их счастье не оказалось на месте.

— Слава тебе господи, — говорит Пиннеберг. — Недоставало только его пьяной болтовни!

Вот уже и Альт-Моабит, звенят трамваи, мчатся автобусы. Тихонечко, осторожно идут они под ласковыми лучами мартовского солнца.

Встречные мужчины пожирают Киску чудовищно сальными взглядами, или смотрят с испугом, или ухмыляются. Женщины глядят совсем по-другому — очень серьезно, сочувственно, словно дело идет о них самих.

Пиннеберг что-то напряженно соображает, борется с собой, на что-то решается.

— Непременно!.. — вдруг произносит он.

— Что ты сказал, мальчуган?

— Потом скажу. Когда все будет позади. Я кое-что надумал.

— Ладно, — говорит она. — Только не надо тебе ничего надумывать. Ты хорош и такой, какой есть.

Малый Тиргартен. Пройти его, а там уж до больницы рукой подать. Но, по-видимому, Киска уже выдохлась — насилу-насилу они добираются до ближайшей скамьи. На ней сидит пять или шесть женщин — они сразу же отодвигаются, они мигом сообразили, в чем дело.

Киска сидит на скамье, она закрыла глаза и вся скорчилась. Пиннеберг стоит рядом с несколько смущенным, беспомощным видом, держа в руке ее чемоданчик.

— Ничего, голубушка, не унывайте, — баском говорит толстая, расплывшаяся женщина. — Не дойдете сами, донесут на носилках.

— Она крепкого складу, ничего с ней не случится, — замечает другая, помоложе. — Жиром-то еще не обросла.

Соседки по скамье неодобрительно косятся на нее.

— Ну и на здоровье, если у которой из нас есть жирок на костях, в нынешние-то времена. Завидовать тут нечего.

— Да я не в том смысле,— оправдывается молодая, но на нее больше не обращают внимания.

— Старая история,— глубокомысленно замечает остроносая брюнетка.— Мужчинам лишь бы удовольствие получить. А мы — отдувайся.

Пожилая желтолицая женщина подзывает к себе полную девочку лет тринадцати.

— Вот погляди, Фрида, так будет и с тобою, если начнешь путаться с мужчинами. Ничего, гляди, не стесняйся, тебе это только на пользу. По крайности будешь знать, за что отец спустит тебя с лестницы.

Киска снова приходит в себя. Она озирается, словно впросонках, видит вокруг лица женщин, силится улыбнуться.

— Сейчас пройдет,— говорит она.— Сейчас пойдём дальше, мальчуган. Тяжелое дело, а?

— О господи,— только и может выговорить он.

Пиннеберги бредут дальше.

— Киска, а Киска...— робко начинает он.

— Что? Да спрашивай же!

— Ты ведь никогда не подумаешь, как сказала та старуха, что все это лишь для того, чтобы мне получить удовольствие?

— Какой вздор! — только и отвечает Киска, но с такой горячностью, что Пиннеберг совершенно успокаивается.

Вот и больница, под аркой ворот толстый швейцар.

— В родильное, да? Налево, в регистратуру.

— А нельзя ли сразу же...— боязливо заикается Пиннеберг.— Схватки уже начались. Я хочу сказать, нельзя ли сразу же на койку?

— Ничего,— ворчит швейцар.— Еще тысячу раз успеется.

Они медленно преодолевают лестницу — всего несколько ступеней,— ведущую в регистратуру.

— Недавно была тут одна, так тоже думала, вот-вот рассыпется у меня в приемной, а потом пролежала в палате целых две недели, а потом снова домой, а потом еще две недели ждала. Не всякая знает, как надо считать.

Дверь в регистратуру открывается — там сидит сестра. Увы! никого не волнует тот факт, что пожаловали супруги Пиннеберг, которые хотят создать настоящую семью, а ведь это нынче не так часто встречается.

Но здесь это как будто в порядке вещей.

— В родильное? — спрашивает сестра. — Не знаю, кажется, у нас нет свободной койки. Придется отправить вас куда-нибудь еще. Как часто бывают схватки? Ходить еще можете?

— Послушайте! — Пиннеберг начинает не на шутку сердиться.

Но сестра уже разговаривает по телефону. Затем кладет трубку.

— Койка освободится только завтра. Придется немного потерпеть.

— Позвольте! — возмущается Пиннеберг. — У жены схватки каждые четверть часа. Не может же она оставаться до утра без койки!

Сестра смеется, смеется прямо в глаза.

— Первые роды, да? — спрашивает она у Киски, и Киска утвердительно кивает. — Так вот, принять мы вас, конечно, примем, сперва положим в родилку, а там, — сострадательно поясняет она Пиннебергу, — когда родится ребенок, найдется и койка. — И совсем другим тоном: — А теперь, молодой человек, потрудитесь оформить запись, да поживее, и потом снова зайдете сюда за женой.

Запись, слава богу, проходит без задержки. «Нет, платить ничего не надо. Распишитесь только вот здесь, что вы не будете требовать с больничной кассы. А уж мы с них получим. Так, хорошо, все в порядке».

Тем временем у Киски, как видно, снова были схватки.

— Ну вот, теперь пойдет понемногу, — говорит сестра. — Надо полагать, часам к десяти-одиннадцати вечера справится, раньше едва ли.

— Так долго? — спрашивает Киска и глядит на сестру отсутствующим взглядом. У нее теперь какой-то совсем другой взгляд, думает Пиннеберг, словно все люди, и он тоже, отошли от нее далеко-далеко и она осталась совсем одна. — Так долго? — спрашивает она.

— Да, — отвечает сестра. — Возможно, конечно, пойдет и быстрее. Вы крепкого сложения. Одна отделается за несколько часов, а другая не справится и в сутки.

— Сутки? — машинально повторяет Киска и кажется при этом такой одинокой. — Ну что ж, пойдём, милый.

Они поднимаются и бредут дальше. Оказывается, родильное отделение — в самом дальнем корпусе, им

предстоит бесконечный путь. Пиннебергу очень хочется занять Киску разговором, отвлечь ее,— она идет рядом такая притихшая, отрешенная, задумчиво наморщив лоб; ясное дело, эти ужасные сутки не выходят у нее из головы.

— Киска, а Киска,— начинает он, желая уверить ее, что понимает, какое чудовищное свинство — обречь женщину на подобные муки. Но он этого не говорит, а только замечает: — Мне бы так хотелось хоть немножко развеселить тебя, да что-то ничего не приходит на ум. Все время об одном только и думаю.

— Не надо ничего говорить, милый,— отвечает она.— И волноваться не надо. На этот раз я действительно могу сказать: если могут другие, могу и я.

— Так-то оно так,— говорит он,— да только...

Но вот они в родильном отделении.

В коридоре дежурит высокая белокурая сестра; при виде их она поворачивается и — Киска, должно быть, ей понравилась (Киска нравится всем симпатичным людям),— обняв ее за плечи, весело говорит:

— А, голубушка, и вы к нам пожаловали? Вот и хорошо.— И снова тот же вопрос, как видно, здесь наиболее существенный: — Первые роды?

Затем она обращается к Пиннебергу:

— Теперь я уведу от вас жену. Только не делайте такого страшного лица, вы сможете попроситься с нею. А еще вы должны забрать ее вещи, ничего своего здесь держать не полагается. Принесете через неделю, когда ваша жена будет выписываться.

С этими словами она уводит Киску, обнимая ее; Киска еще раз кивает ему через плечо, и теперь она окончательно во власти этой фабрики, где непрерывно производят на свет детей и где умеют их производить — такая уж тут работа. А Пиннеберг остается в коридоре.

Ему снова приходится давать сведения о себе и жене, на этот раз — немолодой, седоволосой старшей сестре, очень строгой на вид. «Только бы Киска попала не к ней! — думает он.— Уж эта-то наверняка накричит на Киску, если она сделает что не так». Он пытается завоевать симпатию старшей сестры своей безропотностью, но тут же страшно конфузится — он не знает дня рождения своей Киски, и сестра говорит:

— Это уж всегда так! Ни один муж не знает.

А ведь как было бы хорошо, если б он составил исключение!

— Так, теперь можете еще раз попрощаться с вашей женой.

Его ведут в узкую, длинную комнату, до отказа уставленную всевозможными приборами, о назначении которых он понятия не имеет. Киска сидит здесь в длинной белой рубашке и улыбается ему, — совсем девушка, розовощекая, белокуренькая, встрепанная — только как будто чем-то смущена.

— Ну, попрощайтесь же с супругой, — говорит старшая сестра и топчется у дверей.

Он стоит перед Киской, и его внимание сразу же привлекают красивые голубые веночки на ее рубашке; от этого рубашка кажется такой веселенькой. Но когда Киска обнимает его и притягивает к себе его голову, он видит, что это вовсе не веночки, а штемпельные метки в виде кружков с надписью: «Городские больницы, Берлин». Это во-первых.

А во-вторых, его внимание привлекает здешний запах, он совсем нехороший и, собственно...

Но тут Киска говорит:

— Так вот, милый, быть может, сегодня вечером, а уж к утру наверняка. Я так рада нашему Малышонку.

— Киска, — шепчет он, — послушай, что я тебе скажу. Я дал зарок не курить по субботам, если все сойдет благополучно.

И она говорит:

— Милый! Милый!..

Но тут сестра окликает его:

— Итак, господин Пиннеберг! — И, обращаясь к Киске: — Что, клизма подействовала?

Киска густо краснеет, кивает, и тут только до него доходит, что все время, пока он с нею прощался, она сидела на стульчаке, и он тоже краснеет, хотя и считает, что краснеть глупо.

— Итак, господин Пиннеберг, звонить можно в любое время, даже ночью, — говорит сестра. — Вот вещи вашей жены.

И он уходит, он чувствует себя таким несчастным и думает — это оттого, что впервые за все время их супружества он оставил ее на чужих людей, и еще оттого, что она сейчас что-то переживает, а он не может делить с нею это переживание. «Быть может, все же следовало

взять акушерку. Тогда бы я по крайней мере был с нею».

Малый Тиргартен. На скамье уже никто не сидит, а как было бы хорошо поговорить сейчас с кем-нибудь из давешних женщин! И Путбрезе тоже не видно, с ним тоже нельзя поговорить — полезай один на свою верхотуру.

И вот, сняв пиджак и повязав Кискин передник, он у себя в комнате моет посуду и неожиданно произносит очень громко и очень медленно:

— А вдруг я больше ее не увижу? Ведь все может случиться. И даже часто случается...

Слишком мало грязной посуды! Сотворение Мальпша.

Киска тоже будет кричать

Не очень-то легко на душе, когда стоишь один-одинешенек в опустевшей комнате и думаешь: «А вдруг я больше ее не увижу?» Во всяком случае, Пиннебергу было нелегко. Сначала, как-никак, была грязная посуда, было чем занять себя, и он мыл ее с толком, с расстановкой, энергично обрабатывая каждую кастрюлю порошком для чистки и соломенной мочалкой — за ним дело не станет! И ни о чем особенно он при этом не думал: рубашка с голубыми веночками и Киска, покрасневшая, детски-смущенная... И это все?

Нет.

С мытьем посуды покончено. Что дальше? Ага, он уже давно хотел обить дверь войлоком, чтобы не дуло, но все как-то руки не доходили. Войлок и гвозди лежали наготове еще с начала зимы. Теперь март, лучше поздно, чем никогда. Он приладил войлок, наживил гвоздики, попробовал, затворяется ли дверь. Дверь затворялась. Тогда только он окончательно прибил войлок, гвоздик за гвоздиком, — времени у него много, раньше семи, пожалуй, не стоит и звонить. Да он и не станет звонить, сходит сам: и деньги сэкономишь, и, может, узнаешь больше. А вдруг и повидать ее удастся.

А вдруг он больше ее не увидит?

Теперь надо повесить на вешалку ее вещи — они так хорошо пахнут еѐ, он всегда любил ее запах. Да, конечно, он никогда не был с нею особенно ласков, слишком часто ворчал на нее, и забот ее по-настоящему не разделял, и все такое прочее. Да, конечно, у мужчин у всех являются подобные мысли, когда, быть может,

уже слишком поздно — это уж всегда так, сказала старшая сестра. И это действительно так. Бесплодное раскаяние!

Четверть шестого. Прошел всего час, как он вернулся из больницы, а вот уж и делать больше нечего. Он бросился на диван и лежал, закрыв лицо руками, лежал долго и неподвижно. Да, он маленький, жалкий человек, он кричит и скандалит и работает локтями, чтобы удержать свое место в жизни. Но заслуживает ли он места в жизни? Он — ничто, и из-за него она должна мучиться! Уж лучше б он никогда... Уж лучше б он... Уж лучше б он всегда...

Он лежал и не то чтобы думал, а так, мысли бродили в голове, и он отдавался им.

Ты можешь лежать на клеенчатом диване, у себя на верхотуре, в Северо-Западном районе Берлина, в своей комнатушке окном в сад — шум большого города все равно дойдет до тебя. Только тысячи разрозненных звуков сольются здесь в единый смутный гул. Он то нарастает, то спадает, то приближается, то удаляется, словно его поглотил ветер.

Пиннеберг лежит ничком, и шум настагает, подхватывает и плавно опускает его, — нет, это прохладная поверхность клеенчатого дивана прижимается к его лицу, поднимает и опускает его, но держит крепко. Это как морская зыбь — она тоже без цели бежит дальше и дальше — зачем, собственно?..

Лензан — так называлась та деревушка, и из Духерова туда можно было ездить с субботы на воскресенье, взяв обратный билет. Однажды Пиннеберг отправился туда двухчасовым поездом. Было начало лета, не то май, не то июнь, нет, конечно, июнь. Бергман отпустил его.

Лензан расположен не очень далеко от Плаца, и потому в деревушке было полно народу; из всех гостиничных садов оглушительно гремело радио, а на пляже и подавно творилось что-то невообразимое.

Хороший песчаный берег всегда манит идти вперед и вперед, без конца. И вот Пиннеберг снял ботинки, носки и пустился в путь. Он шел наугад, не зная, попадет ли ему еще какая-нибудь деревня, но не все ли равно?

Он шел уже несколько часов и не встретил ни живой души, он сел на песок и выкурил сигарету.

Потом он встал и пошел дальше. Ах, какой берег, какие заливы и мысы! Порою кажется, будто впереди, вон за той песчаной косой, ничего больше и нет, будто шагаешь прямо в море. А потом видишь, что это не так: берег продолжается и там, он только делает бесконечно мягкий изгиб, образуя большой голубой залив, весь в пенистых барашках волн. И далеко-далеко на горизонте — новая песчаная коса.

Ну ладно, дойдем до той косы, там-то уж наверняка ничего нет!

Но там все же кое-что было — помимо неизменного залива, там был человек, и он шел ему навстречу. Пиннеберг удивленно вскинул брови: маленькая черная черточка, стало быть, человек, но что делать тут людям? Их место в Лензане.

Когда они стали сходитьсь, он увидел, что это девушка. Она шла босиком — длинноногая, широкоплечая, в розовой шелковой блузке и белой плиссированной юбке.

День клонился к закату, небо уже тронули розоватые тона.

— Добрый вечер, — сказал Пиннеберг, остановился и поглядел на нее.

— Добрый вечер, — сказала Эмма Мершель, остановилась и тоже поглядела на него.

— Не ходите туда, — сказал он и показал в ту сторону, откуда пришел. Там сплошной джаз, фрейлейн, и повальная пьянка.

— Да? — сказала она. — Ну, а вы не ходите туда, — и она показала в ту сторону, откуда пришла. В Вике то же самое.

— Что же нам делать? — спросил он и засмеялся.

— Действительно, что же делать? — повторила она.

— Давайте поужинаем здесь, — предложил он.

— Не возражаю, — ответила она.

Увязая в песке, они направились в дюны; они сидели в неглубокой ложбине, как на большой ласковой ладони, и тянувший над дюнами ветерок обведал их головы. Они угощали друг друга крутыми яйцами, бутербродами с колбасой; у него был в термосе кофе, у нее — какао.

Они болтали и смеялись, но главным образом ели долго и основательно. Они единодушно решили: противно быть там, где толпы людей.

— Господи боже, мне так не хочется в Лензан,— сказала она.

— А мне — в Вик,— сказал он.

— Так что же нам делать?

— Для начала искупаемся.

Солнце зашло, но было еще светло. Они бросились в мягко накатывающие волны прибоя. Они плескались и хохотали. Как примерные горожане, они имели купальные костюмы и полотенца. (Правда, у Пиннеберга было полотенце его квартирной хозяйки.)

Потом они сидели на песке и не знали, что делать дальше.

— Ну что же, пойдём? — сказала она.

— Да, свежее.

И остались молча сидеть на месте.

— Куда же мы пойдём — в Вик или в Лензан? — после долгой паузы спросила она.

— Мне все равно,— сказал он.

— Мне тоже,— сказала она.

Снова долгое молчание. Когда наступает такое молчание, слышен голос моря, оно вторгается в разговор и говорит все громче и громче.

— Ну что же, пойдём? — еще раз повторила она.

Очень осторожно и тихо он обнял ее. Он весь дрожал, она тоже. Море заговорило очень громко.

Он склонился к ее лицу, и ее глаза были как темные гроты, в которых горит огонь.

Его губы коснулись ее губ, и ее губы покорно подались, ответили ему, раскрылись.

— О! — сказал он и глубоко вздохнул.

Затем его рука тихо скользнула с ее плеча, сквозь мягкий шелк блузки он ощутил ее грудь, полную и тугую. Она сделала слабое движение.

— Прошу тебя... — прошептал он.

И снова ощутил под рукой грудь.

И она вдруг сказала:

— Да... Да... Да...

Словно крик торжества, это вырвалось из глубины ее груди, она обхватила руками его шею, она прижалась к нему. Он почувствовал, как она вся тянется ему навстречу.

Она трижды сказала «да».

А ведь они даже не знали, как зовут друг друга. Они никогда раньше не встречались.

Море шумело, небо над ними—Киска хорошо видела его—меркло, и в нем одна за другой загорались звезды.

Да, они совсем не знали друг друга, они лишь чувствовали, как хорошо быть молодым и любить друг друга. О Малышонке тогда и не думали.

И вот теперь он заявил о себе...

Шум города прихлынул ближе. Да, тогда было чудесно, чудесно и сейчас; ему на редкость повезло: девушка с дюн стала лучшей женою на свете, только он не стал лучшим из мужей.

Пиннеберг медленно поднялся, зажег свет, взглянул на часы. Семь часов. Она там, за три улицы отсюда. Наверное, уже началось...

Он надел пальто и побежал в больницу. Швейцар у ворот спросил:

— Так поздно? Куда?

— В родильное отделение. Я...

Но объяснения излишни.

— Прямо! Последний корпус!

— Спасибо,— сказал Пиннеберг.

Он быстро пошел между больничными корпусами. Все окна освещены, на каждое окно по четыре, шесть или восемь коек. Их там лежат сотни, тысячи, одни умирают — кто медленно, кто быстро,— другие поправляются, чтобы умереть позднее. Невеселая это штука — жизнь.

Вот и родильное отделение. Коридор тускло освещен лампочкой, в комнате старшей сестры ни души. Он нерешительно останавливается. Проходит сестра.

— Что угодно?

Его фамилия Пиннеберг, говорит он, ему хотелось бы узнать...

— Пиннеберг? — переспрашивает сестра. — Минуточку...

И проходит в обитую войлоком дверь. Сразу же за этой дверью видна другая, тоже обитая. Сестра плотно притворила ее за собой.

Пиннеберг стоит и ждет.

Наконец через обитую дверь торопливо входит сестра, уже другая, коренастая живая брюнетка.

— Господин Пиннеберг? Все идет хорошо... Нет, еще не родила. Попробуйте позвонить часов в двенадцать. Нет, все идет хорошо.

В этот момент за обитой войлоком дверью раздаётся крик, нет, не крик, а рев, стенанье, целый ряд догоняющих друг друга воплей невыносимой боли... В них нет ничего человеческого, человеческого голоса в них не слышно... Затем все обрывается.

Пиннеберг стоит бледный как полотно. Сестра глядит на него.

— Это... Это... моя жена? — спрашивает он, запинаясь.

— Нет, — отвечает сестра. Это не ваша жена, у нее до этого еще не дошло.

— А что, — спрашивает Пиннеберг, и губы его трясутся, — она тоже будет так кричать?..

Сестра снова глядит на него. Быть может, ей пришло в голову, что ему не мешало бы знать, в наши дни мужа не очень-то балуют своих жен.

— Да, — говорит она. — Первые роды по большей части проходят тяжело.

Пиннеберг стоит и слушает. Но за дверью все тихо.

— Стало быть, в двенадцать, — говорит сестра и уходит.

— Большое спасибо, сестра, — говорит он и все еще слушает.

Пиннеберг идет в гости и проходит искус наготы

Надо уходить. Криков больше не слышно, а может, их заглушают двойные, обитые войлоком двери. Во всяком случае, теперь он знает: Киска тоже будет кричать. Собственно говоря, другого и ожидать нельзя. За все надо платить, так почему бы не платить и за это?

Пиннеберг в нерешительности стоит на улице. Уже важглись фонари, кинотеатр сверкает яркими огнями. Так было, так будет, с Киской или без Киски, с Пиннебергами или без них. Просто не верится, не верится.

Можно ли идти с такими мыслями домой? Там так пусто, ужасающе пусто оттого, что все напоминает о ней... Там стоят две их кровати — засыпая, можно взяться за руки, это было так хорошо. Сегодня этого не будет. А может, и никогда больше не будет.

Но куда идти? Пойти выпить? Нет, это не дело. Накладно, да и в больницу придется позвонить часов в одиннадцать, в двенадцать, а звонить в пьяном виде — это недостойно. Недостойно напиваться как раз сейчас,

когда Киске приходится туго. Нет, он не спрячется в кусты, он хоть будет думать о тех криках, пока она будет кричать.

Но куда идти? Прощататься четыре часа по улицам? Это невозможно. Он проходит мимо кинотеатра, на крыше которого они живут, мимо Шпенерштрассе, где живет его мать. Нет, все это исключено.

Он медленно идет дальше. Вот уголовный суд, вот тюрьма. Быть может, там, за темными зарешеченными окнами, сидят люди и тоже мучаются. Так тоже бывает на свете, и об этом следовало бы знать. Быть может, жизнь показалась бы легче, если б знать, что еще и такое бывает на свете. Но ты ничего не знаешь. Ты бредешь наугад; ты страшно одинок, в такой вечер, как сегодня, ты не знаешь, куда идти.

Нет, знаешь. Он смотрит на часы: надо ехать, пешком не успеть: парадное закроют до его прихода.

Он садится в трамвай, проезжает несколько остановок и пересаживается в другой. Он уже радуется предстоящему визиту; с каждым километром, отдаляющим его от больницы, образ Киски с еще не родившимся Малышом отступает все дальше, становится все более призрачным, почти нереальным.

Нет, он решительно не герой, ни в каком смысле, ни в самоутверждении, ни в самобичевании. Он самый заурядный молодой человек. Он знает свой долг и не хочет напиваться, потому что это недостойно. Но пойти в гости к приятелю и даже получить от этого удовольствие — ничего недостойного тут нет.

Ему везет: «Да, господин Гейльбут дома».

Гейльбут ужинает, и, разумеется, он не был бы Гейльбутом, если б удивился столь позднему гостю.

— Пиннеберг? Вот хорошо, что зашел. Ужинал? Нет, конечно. Восьми еще нет. Присаживайся за компанию.

Он ни о чем не спрашивает, и это очень досадно, но Гейльбут просто ни о чем не спрашивает.

— Это ты неплохо придумал — заглянуть ко мне. Ну что ж, осматривайся на здоровье. Берлога как берлога, в общем-то дрянь порядочная, ну да мне наплевать. Мне это совершенно безразлично.

Он делает паузу.

— Тебя заинтересовали мои снимки с обнаженной природы, да? У меня их изрядная коллекция, и дело тут

совсем особое. Всякий раз, когда я переезжаю на новую квартиру и развешиваю их по стенам, хозяйки вначале приходят в ужас. Некоторые даже требуют, чтобы я немедленно убирался.

Гейльбут снова делает паузу и обводит глазами комнату.

— Да, каждый раз начинается со скандала,— продолжает он.— Ведь по большей части эти квартирохозяйки — ужасные мещанки. Но в конце концов я их убеждаю. Ведь если подумать, что может быть нравственной наготы самой по себе? Это их убеждает.— Снова пауза.— Взять хотя бы мою нынешнюю хозяйку фрау Витт — да ты видел ее, такая толстуха! Что с ней только творилось! Спрячьте их в комод, говорила она, распалитесь сколько угодно, только не на моих глазах...— Гейльбут серьезно смотрит на Пиннеберга.— Но я ее убедил. Видишь ли, Пиннеберг, я словно рожден для того, чтобы жить на вольном воздухе, вот я и говорю ей: «Хорошо, ложитесь пока спать, фрау Витт, и постарайтесь ни о чем не думать. Если завтра утром вы все еще будете настаивать — прекрасно, я уберу карточки. Кофе, пожалуйста, в семь». Ну вот, утром, в семь, она стучится, я говорю: «Войдите» — она входит с подносом, а я стою перед ней безо всего и делаю утреннюю зарядку. «Фрау Витт,— говорю я,— посмотрите на меня, хорошенько посмотрите на меня. Волнует вас это? Возбуждает? Естественная нагота не знает стыда, и вам тоже несколько не стыдно». Это ее убедило. С тех пор она против моих фотографий ни слова, находит это в порядке вещей.

Гейльбут глядит теперь прямо перед собой.

— Если б только люди поняли это, Пиннеберг, но им не объясняют толком. И тебе бы тоже следовало так поступать, Пиннеберг, и жене твоей — тоже. Это пошло бы вам на пользу, Пиннеберг.

— Моя жена...— заикается Пиннеберг.

Однако Гейльбут, непроницаемый, сдержанный Гейльбут, аристократ Гейльбут — ишь ты, оказывается, у него тоже, как и у всякого другого, есть свой пункт — Гейльбут неударжим.

— Взгляни на эти снимки,— продолжает он.— Такой коллекции, как у меня, не сыщешь во всем Берлине. Правда, существуют многочисленные ателье, расширяющие такие снимки,— Гейльбут презрительно

кривит рот,—но это совсем не то, некрасивые натурщицы, некрасивые тела, совсем не то. А вот снимки, которые ты здесь видишь,—интимного свойства.— В голосе Гейльбута появляются сакральные нотки.— Тут есть дамы из высшего общества, исповедующие наше учение.— И возвысив голос: — Мы свободные люди, Пиннеберг.

— Да, конечно,—смущенно соглашается тот.

— Неужели ты думаешь,—шепчет Гейльбут и вплотную придвигается к нему,—что у меня хватило бы сил выносить вечное мытарство за прилавком, общество идиотов-сослуживцев и сволочей-начальников, да и все те мерзости,—он делает движение в сторону окна,—что творятся у нас в Германии, не будь у меня этого? Тут и отчаяться недолго, а так я не теряю надежды, что когда-нибудь все переменится. Это помогает жить, Пиннеберг. Это помогает жить. Тебе тоже надо попробовать, тебе и твоей жене.

Не дожидаясь ответа, Гейльбут встает, подходит к двери и кричит:

— Фрау Витт, можете убрать!

Затем возвращается к Пиннебергу и продолжает:

— Книги, спорт, театр, девушки и политика — все, чем интересуются наши друзья-приятели,—все это лишь наркотики, все это пустое. На деле же...

— Но позволь...—пробует возразить Пиннеберг и замолкает, завидев входящую с подносом фрау Витт.

— Так вот, фрау Витт,—говорит Гейльбут.— Это мой друг Пиннеберг. Я хочу взять его с собой на наш сегодняшний вечер.

— Конечно, конечно, господин Гейльбут,—отвечает фрау Витт, полная, пожилая особа невысокого роста.— Пусть молодой человек развлечется. А вы не бойтесь,—успокаивает она Пиннеберга.— Раздеваться не обязательно, если не хотите. Я тоже не раздевалась, когда господин Гейльбут брал меня с собой...

— Я...— заикается Пиннеберг.

— И ведь смешно, знаете,—продолжает фрау Витт,—когда все бегают вокруг тебя телешом и разговаривают с тобой совсем телешом, всё этак мужчины в летах, с бородой и в очках, а сама-то стоишь одетая. Стесняешься, куда глаза деть, не знаешь.

— А вот мы не стесняемся,—замечает Гейльбут.

— Вы — другое дело, — говорит пожилая кругленькая фрау Витт. — Для молодого человека это и впрямь подходяще. Девушек ваших я не понимаю, ну, а молодые люди — те, конечно, находят, чего ищут. Уж те-то не покупают kota в мешке.

— Это ваше личное мнение, фрау Витт, — обрывает ее Гейльбут, и по всему видно, что он злится. — Вы, кажется, хотели убрать со стола.

— Вам не нравится, когда я так говорю, господин Гейльбут, — замечает фрау Витт, собирая посуду, — но что правда, то правда. Ведь многие тут же, без всяких церемоний, заходили в кабины...

— Вам этого не понять, фрау Витт, — говорит Гейльбут. — Спокойной ночи, фрау Витт.

— Спокойной ночи, господа, — говорит фрау Витт и ретируется с подносом, но все же задерживается на секунду в дверях. — Разумеется, мне это не понять. А все же обходится дешевле, чем пойти в кафе.

С этими словами она удаляется, а Гейльбут со злостью смотрит на коричневую лакированную дверь.

— На нее нельзя сердиться, — говорит он наконец, а сам ужасно сердится. — Она все понимает на свой лад. Конечно, Пиннеберг, — продолжает он, — конечно, на наших вечерах завязываются знакомства, но ведь они завязываются везде, где сходится молодежь, и это не имеет ничего общего с нашим движением. Впрочем, — резко заканчивает он, — ты все увидишь собственными глазами. Ты ведь располагаешь временем, чтобы пойти со мною?

— Не знаю, право, — отвечает Пиннеберг, смущаясь. — Мне еще нужно позвонить по телефону. Видишь ли, жена у меня сейчас в больнице.

— О!.. — соболезнующе начинает Гейльбут, но тут же соображает: — Что, уже пришел срок?

— Да, говорит Пиннеберг, — после обеда отвел. Ночью она, вероятно, разрешится. Ах, Гейльбут... — Ему хочется говорить и говорить о своих заботах, о своих печалях, но до этого дело не доходит.

— Позвонить можно и из бассейна, — говорит Гейльбут. — Не думаешь же ты, что твоя жена будет иметь что-либо против?

— Нет, нет, не в этом дело. Только, знаешь ли, странно как-то все это выглядит: жена в родильном доме, — у них это называется родилка, что ли, — они там

рожают, и, как видно, не так-то это легко,— я слышал, как одна кричала... просто ужас...

— Да, конечно, это, должно быть, больно,— говорит Гейльбут со всем спокойствием человека, лично не затронутого.— Но ведь обычно все обходится благополучно. В конце концов вы тоже будете радоваться, когда все останется позади. И, как я уже говорил, раздеваться необязательно.

Что думает Пиннеберг о культуре нагого тела и что говорит по этому поводу фрау Нотнагель

Для неискушенного человека типа Пиннеберга подобного рода предложения чреваты опасностями. О нет, он никогда не отличался робостью в сексуальном отношении, скорее даже наоборот. Недаром он вырос в Берлине, и недаром фрау Пиннеберг совсем недавно напомнила ему о неких проделках со школьницами в ящиках для песка,— проделках, в свое время получивших столь громкую огласку. А если еще и юность твоя проходит в магазине готового платья, с большим выбором не только предметов одежды, но и анекдотов для некурящих и манекенщиц без предрассудков, то от романтических идеалов мало что остается. Женщина есть женщина, мужчина есть мужчина, и при всех их различиях общее у них то, что они охотно занимаются кое-чем сообща. И если они делают вид, что занимаются этим без особой охоты, значит, у них есть на то свои основания, не имеющие прямого отношения к делу: одни хотят выйти замуж, у других хозяин косо смотрит на подобные вещи, у третьих голова забита какими-нибудь дурацкими идеями.

Нет, не в этом заключается опасность; опасность заключается скорее в том, что слишком хорошо понимаешь, что к чему, и не питаешь никаких иллюзий. Вольно же Гейльбуту говорить: при этом ни о чем таком не думаешь; уж кто-кто, а он-то, Пиннеберг, знает: кое о чем при этом все-таки думаешь. Стоит только представить себе на минутку, как девушки и молодые женщины бегают, плещутся и плавают там — и уж он-то знает, к чему это ведет.

Однако — и в этом его великое открытие — Пиннеберг не желает испытывать никаких эмоций, не связанных с Киской. Позади у него обычное отрочество: разочарования, ниспадение романтических покровов и деся-

ток подруг, не считая случайных интрижек. Потом он повстречал Киску в дюнах между Виком и Лензаном, но и тут было все то же: так, очень милое, приятное знакомство, скрашивающее жизнь...

Ну, а потом они поженились и с тех пор частенько занимались тем, что в браке так удобно и напрашивается само собой, и всегда это было хорошо и приятно и действовало освобождающе, — совсем как прежде, ничуть не иначе. И все же: теперь это стало иначе, каким-то образом возникла прочная связь, то ли благодаря Киске, лучшей из всех жен на свете, то ли благодаря привычке к супружеской жизни; тайны снова окутались романтическими покровами, иллюзии ожили... Теперь, направляя свои стопы в баню вместе со своим обожаемым, но уже чуточку смешным в его глазах Гейльбутом, Пиннеберг твердо знает, что не желает испытывать никаких эмоций, не связанных с Киской. Он принадлежит ей, как она принадлежит ему, и не надо ему никаких вожделений, если не она является их началом и концом. Не надо, и все. И потому ему все время хочется сказать: «Послушай, Гейльбут, схожу-ка я лучше в больницу. Что-то беспокойно у меня на душе».

Так, отговорки ради, чтоб не слишком уронить себя в глазах друга.

Но всякий раз, только он дождетя паузы в разглаговльствованьях Гейльбута, в голове у него все перемешивается: Квартира... Родилка... Баня с голыми женщинами... Гейльбутовы снимки... Девичьи груди — они бывают такие маленькие, острые... Раньше ему это нравилось, но с тех пор, как он узнал широкую, полную, нежную грудь Киски... Видишь, опять к тому же и возвратился: все, что она — хорошо. Нет, сейчас скажу Гейльбуту...

— Вот мы и пришли! — объявляет Гейльбут.

Пиннеберг окидывает взглядом здание и говорит.

— Так вот оно что! Обыкновенная баня с плавательным бассейном! Я-то думал...

— Что, у нас уже есть свой собственный? Нет, мы еще не такие богатые.

Сердце у Пиннеберга так и колотится, его охватывает неподдельный страх. Но пока что пугаться нечего. За кассой сидит невзрачная особь женского пола и говорит:

— Добрый вечер, Иоахим. Вот тебе тридцать седьмая.

И подает ему ключ с номерком.

— Спасибо,— говорит Гейльбут, и Пиннеберг очень удивляется, как это он до сих пор не знал, что Гейльбута зовут Иоахимом.

— А этот господин?..— спрашивает невзрачная особь, мотнув головой в сторону Пиннеберга.

— Просто так пришел,— отвечает Гейльбут.— Ты, значит, не будешь купаться?

— Нет,— смущенно отвечает Пиннеберг.— Сегодня — нет.

— Вольному воля,— улыбается Гейльбут.— Осмотришь пока что, потом, может, и надумаешь.

Они идут по проходу, вдоль ряда кабин, и со стороны бассейна, которого еще не видно, как обычно доносятся смех, плеск воды и крики, и воздух здесь совсем как в бане, парной и прелый, да и вообще ничего особенного тут нет, так что Пиннеберг совсем было успокоился, как вдруг дверь одной из кабин приоткрылась и в щель проглянуло что-то розовое. Пиннеберг хочет отвести глаза, но тут дверь распахнулась, и он увидел перед собой молодую особу, она стоит в двери безо всего и говорит:

— Наконец-то, Ахим. Я уж думала, ты опять не придешь.

— Ну как же, как же! — отвечает Гейльбут.— Позволь представить тебе моего друга: господин Пиннеберг — фрейлейн Эмма Кутюро.

Фрейлейн Кутюро кланяется и с достоинством княгини протягивает Пиннебергу руку. Пиннеберг не знает, куда девать глаза...

— Очень приятно,— говорит фрейлейн Кутюро, а сама по-прежнему стоит перед ним безо всего.— Надеюсь, вы сможете убедиться, что мы на верном пути...

Но тут Пиннеберг узрел якорь спасения — телефонную будку.

— Мне только позвонить... Прошу прощения,— бормочет он и давай бог ноги.

— Так мы в тридцать седьмом номере! — кричит ему вдогонку Гейльбут.

Пиннеберг не торопится вызывать больницу. Звонить еще рано, всего только девять часов. Но уж луч-

ше постоять в будке, лучше покамест держаться от всего этого подальше.

— Этак всякий аппетит пропадет,— задумчиво говорит он.— Может, и в самом деле следовало раздеться?

Наконец он опускает в автомат монету и вызывает Моабит 8650.

Господи боже, как долго никто не подходит! Сердце опять начинает учащенно биться. А вдруг я больше ее не увижу!

— Минуточку,— раздается голос сестры.— Сейчас справлюсь. Как ваша фамилия? Палленберг?

— Пиннеберг, сестрица, Пиннеберг!

— Я и говорю: Палленберг! Сейчас, одну минутку.

— Да нет же, Пинне...

Но сестра уже ушла. А ведь очень может быть, у них лежит какая-нибудь Палленберг, и он получит не ту справку, и будет думать, что все прошло благополучно, а на самом деле...

— Алло, вы слушаете, господин Пиннеберг?

Слава богу, это уже другая сестра, быть может, та самая, что ходит за Киской.

— Нет, еще не разродилась... Возможно, часа через три-четыре. Позвоните еще раз в полночь, господин Пиннеберг.

— Но у нее все хорошо? Все в порядке?

— Да, все нормально... Ну, так еще раз в полночь, господин Пиннеберг.

Он вешает трубку, надо идти, Гейльбут ждет его в тридцать седьмой кабине. Дернуло же его потащиться сюда!

Пиннеберг стучится в кабину тридцать семь, Гейльбут кричит: «Войдите!» Они сидят рядышком на скамеечке, у них такой вид, будто они и впрямь только болтали. Быть может, дело действительно в нем самом, быть может, он, совсем как фрау Витт, слишком испорчен для подобных вещей?

— Так пойдемте ж,— говорит голый Гейльбут и потягивается.— Тесновато здесь. Ну и задала же ты мне жару, Эмма.

— А ты — мне! — хохочет фрейлейн Кутуро.

Пиннеберг идет за ними, заново убеждаясь, что все это ему, попросту говоря, противно.

— Да, кстати: что ты узнал о жене? — спрашивает Гейльбут через плечо и объясняет своей подруге: — Его жена лежит в клинике. Должна скоро родить.

— А! — говорит фрейлейн Кутюро.

— Еще не разродилась, — говорит Пиннеберг. — Возможно, часа через три-четыре.

— В таком случае, — с довольным видом замечает Гейльбут, — ты имеешь возможность как следует здесь осмотреться.

Однако прежде всего Пиннеберг имеет возможность как следует позлиться на Гейльбута.

Они входят в зал с плавательным бассейном. «Не так уж вас много», — решает Пиннеберг по первому впечатлению, но затем видит, что их тут набралось порядочно. У трамплинов целая толпа, все как один до ужаса голые, — один за другим выходят вперед и прыгают в воду.

— Пожалуй, — говорит Гейльбут, — тебе лучше всего побыть здесь. А захочешь что-нибудь спросить, позови меня.

И он уходит со своей подругой, а Пиннеберг остается в своем уголке, укромном и вполне безопасном. Он внимательно наблюдает за тем, что происходит у трамплина. Похоже, Гейльбут у них что-то вроде главного заводилы: все с ним здороваются, улыбаются и сияют, до Пиннеберга то и дело доносятся крики: «Иоахим! Иоахим!»

Что и говорить, тут есть и хорошо сложенные юноши, и совсем молоденькие девочки, с крепкими, упругими телами, но они явно в меньшинстве. Основной контингент — почтенные пожилые господа и дородные матроны; их еще нетрудно представить себе в кафе с духовым оркестром, за чашкой кофе, но здесь они производят прямо-таки фантастическое впечатление.

— Простите, — раздастся за спиной Пиннеберга, тихо и очень учтиво. — Вы тоже просто так пришли?

Пиннеберг вздрагивает и оборачивается. Позади него стоит полная коренастая женщина — слава тебе господи, при полном туалете, — с очками в роговой оправе на орлином носу.

— Да, — отвечает он, — просто так.

— Я тоже, — говорит дама и представляется: — Фрау Нотнагель.

— Пиннеберг.

— Очень здесь интересно, не правда ли? — продолжает она. — Так необычно.

— Да, очень интересно, — соглашается Пиннеберг.

— Вас привела сюда... — Она выдерживает паузу и договаривает с чудовищной тактичностью: — ...подруга?

— Нет, друг.

— Ах, друг! Представьте себе, меня тоже привел сюда друг. А позвольте спросить, — осведомляется дама, — вы уже решились?

— На что?

— Записаться. Вступить в члены общества.

— Нет, еще не решился.

— Представьте себе, я тоже! Я здесь уже в третий раз и все как-то не могу решиться. В мои годы это не так просто.

И бросает на него настороженно-вопрошающий взгляд.

— Да это и вообще не так просто, — отвечает Пиннеберг.

Она обрадована.

— Ну да, ну да, в точности то же самое я все время говорю Макс. Макс — это мой друг. Вон он... нет, теперь вам его не видно...

Но вот его снова видно, и оказывается, что Макс — смуглый, плотный, довольно хорошо сохранившийся брюнет лет сорока, ярко выраженный тип коммерсанта.

— Так вот, я все время твержу Макс: это не так просто, как ты думаешь, — вообще не так просто, а для женщины — тем более.

Она опять вопросительно смотрит на Пиннеберга, и ему не остается ничего другого, как согласиться.

— Да, это страшно трудно.

— Ну да, ну да! А у Макса один ответ: «Думай о деловой стороне, с деловой точки зрения выгодно, чтобы ты вступила». И он по-своему прав, он уже получил от этого массу выгод.

— Да? — вежливо говорит Пиннеберг, немало заинтересованный.

— Тут нет никакого секрета, я могу вам все рассказать. Макс — агент по продаже ковров и гардин. Дела идут все хуже и хуже, и вот Макс вступил сюда. Он всегда так: как только прослышит о каком-нибудь крупном кружке или обществе — сразу же вступает и продает свой товар сочленам. Конечно, он делает для них

приличную скидку, но и ему, как он говорит, довольно перепадает. Да, для Макса — с его внешними данными, памятью на анекдоты и личным обаянием, — для Макса это легко. Другое дело — я, для меня это куда труднее.

Она тяжело вздыхает.

— А вы тоже по коммерческой части? — спрашивает Пиннеберг, рассматривая стоящее перед ним жалкое, невзрачное, бестолковое существо.

— Да, — отвечает фрау Нотнагель и доверчиво глядит на него снизу вверх. — Я тоже по коммерческой части. Только мне все как-то не везет. Я держала кондитерскую, очень хороший магазин, хорошо поставленный, только, как видно, нет у меня к этому настоящего призвания. Мне вечно не везло. Раз я вздумала поставить дело пошикарнее, пригласила декоратора, и за пятнадцать марок он убрал мне витрину: там было на двести марок товару. Я обрадовалась, опьянела от надежд, ну, думаю, такая витрина должна привлечь покупателя — и на радостях забыла опустить маркизу. А солнце — дело было летом — так и светит прямо в витрину, и, можете себе представить, когда я наконец спохватилась, весь шоколад растаял и растекся по витрине. Все негодно для продажи. Пришлось пустить шоколад по десять пфеннигов за фунт, продать ребятишкам. Подумать только, самые дорогие пралине — по десять пфеннигов за фунт! Такой убыток!

Она с грустью смотрит на Пиннеберга, и ему тоже становится грустно, грустно и смешно. Обо всей этой заводилровке в бассейне он уже и думать забыл.

— Неужели у вас не было никого, кто мог бы помочь вам? — спрашивает он.

— Нет, никого. С Максом мы познакомились позже, я тогда уже отказалась от магазина. Он устроил меня агентом по продаже бандажей, поясов и бюстгальтеров. Дело как будто неплохое, но я ничего не зарабатываю. Почти ничего.

— Да, с таким товаром нынче трудно, — замечает Пиннеберг.

— Ну да, ну да! — подхватывает она благодарно. — Очень трудно. Бегаешь день-деньской по лестницам, и за весь день не продашь и на пять марок. Ну да это еще с полбеда, — говорит она и силится улыбнуться, — ведь у людей действительно нет денег. Если б только некоторые не вели себя так безобразно! Видите ли, —

осторожно произносит она, — я ведь еврейка, вы заметили?

— Нет... не так чтобы очень... — смущенно отвечает Пиннеберг.

— Так вот, — продолжает она, — это все-таки заметно. Я все время говорю Макс, что заметно. И я думаю, что эти люди — ну, антисемиты — должны бы прибавить табличку на двери, чтобы их не беспокоили понапрасну. А то всегда как гром с ясного неба: «Катись отсюда со своим срамным товаром, жидовская морда!» — сказали мне вчера в одном месте.

— Ну и мерзавцы! — возмущается Пиннеберг.

— Я уже подумывала, не порвать ли мне с иудейством. Я, видите ли, не очень-то верующая, ем свинину, и все такое прочее. Но как сделать это сейчас, когда евреев клюют со всех сторон?

— Вы правы, — обрадованно говорит Пиннеберг. — Сейчас этого лучше не делать.

— Так вот, а теперь Макс говорит, мне обязательно надо вступить в их общество, здесь я смогу хорошо зарабатывать. И он прав. Видите ли, почти всем женщинам — о девушках я не говорю — необходимо носить пояс или что-нибудь для груди. И здесь я отлично вижу, кому что нужно, недаром я торчу тут уже третий вечер. Макс говорит: решайся же наконец, Эльза, дело-то верное. А я все никак не могу решиться. Понимаете?

— О да, очень даже понимаю. Я тоже все никак не решаюсь.

— Стало быть, вы считаете, что мне лучше воздержаться, несмотря на деловые соображения?

— Тут трудно что-либо советовать, — говорит Пиннеберг и задумчиво глядит на собеседницу. — Вам лучше знать, насколько это вам необходимо и выгодно.

— Макс очень рассердится, если я откажусь. Последнее время он вообще стал таким раздражительным, боюсь, как бы...

Пиннеберга вдруг охватывает страх, что она поведает ему еще и эту главу своей жизни. Она такая маленькая, жалкая, невзрачная, и, слушая ее, он все время почему-то думал: лишь бы не умереть слишком рано, лишь бы Киске не пришлось так мучиться. Он не может представить себе, как сложится в дальнейшем жизнь фрау Нотнагель. Впрочем, довольно с него

тоски на этот вечер, и он вдруг обрывает ее очень невежливо:

— Простите! Мне нужно позвонить.

А она говорит очень вежливо:

— Да, да, конечно, не смею вас задерживать.

И он уходит.

Пиннебергу ставят кружку пива. Он идет воровать цветы и в заключение говорит неправду своей Киске

Пиннеберг не стал прощаться с Гейльбутом. Наплевать, пусть обижается. Он попросту не мог дольше слушать эту тягучую, тягостную болтовню, он улизнул.

Он пускается в путь—в долгий путь с восточной окраины Берлина до Альт-Моабита, в Северо-Западном районе. Пеший способ передвижения вполне его устраивает, ведь до двенадцати еще далеко, да и мелочишку за проезд сэкономишь. Время от времени он мельком думает о Киске, или о фрау Нотнагель, или о Иенеке — тот скоро станет заведующим отделом, потому что господин Шпанфус, как видно, не особенно жалуется Крепелина,—но, в сущности говоря, не думает ни о чем. Так, шагает себе и шагает, заглядывает в витрины, автобусы проносятся мимо, и световые рекламы такие красивые, и в голове случайно мелькает: «Она ведь женщина, разума у нее нет». Так, кажется, сказал Бергман? Что он понимает, этот Бергман. Вот если бы он знал Киску!

Так он шагает, и когда приходит в Альт-Моабит, уже половина двенадцатого. Он осматривается, откуда бы позвонить подешевле, но потом все же заходит в ближайшую пивную и спрашивает кружку пива. Он будет пить ее медленно-медленно, выкурит пару сигарет и потом только пойдет звонить, потому что как раз тогда истекут остающиеся до полуночи полчаса.

Но не успели принести пиво, как он уже вскакивает и бежит к телефонной будке. Монету он давно держит в кулаке — да, да, давно держит в кулаке — и он вызывает Моабит 8650.

Сначала отвечает мужской голос, и Пиннеберг просит родильное отделение. Затем проходит долгая пауза, и женский голос спрашивает:

— Алло! Господин Пиннеберг?

— Да, сестрица. Скажите, пожалуйста...

— Двадцать минут назад. Все прошло благополучно. Ребенок здоров, мать здорова. Поздравляю вас.

— О, как чудесно, сестрица, большое спасибо, сестрица, большое спасибо!

У Пиннеберга сразу сделалось отличное настроение, у него камень с души свалился, он так рад.

— А кто родился, сестрица? Мальчик или девочка?

— Очень сожалею, господин Пиннеберг,— говорит сестра на том конце провода,— очень сожалею, но этого я вам не могу сказать, не имею права.

Пиннеберга как обухом по голове хватили.

— То есть как это так, сестрица? Ведь я же отец, мне-то вы можете сказать!

— Не могу, господин Пиннеберг, полагается, чтобы мать сама сказала отцу.

— Вот оно что! — говорит Пиннеберг, совершенно пришибленный такой предусмотрительностью.— А можно мне сейчас к ней прийти?

— Еще чего вздумали? Сейчас у вашей жены врач. Завтра утром, в восемь часов.

С этими словами сестра вешает трубку — говорит напоследок: «Спокойной ночи, господин Пиннеберг», — и вешает трубку. Иоганнес Пиннеберг лунатиком выходит из будки и, не соображая, где он находится, марш-марш прямехонько к выходу; он так бы и ушел, если бы кельнер не поймал его за руку и не сказал:

— Послушайте, молодой человек! А как же пиво? Получить с вас следует.

Тут Пиннеберг очнулся и сказал очень вежливо:

— Ах, простите!

Он садится за свой столик, отхлебывает глоток и, видя, что кельнер все еще сердито на него смотрит, повторяет:

— Простите, пожалуйста, мне только что сообщили, что я стал отцом.

— Вот-те на! — восклицает кельнер.— Есть от чего очуметь! Мальчик или девочка?

— Мальчик! — смело говорит Пиннеберг: ведь нельзя же в самом деле расписаться в своей неосведомленности.

— Ну конечно! — говорит кельнер.— Это уж всегда так: что дороже обходится, то и достается. Иначе и быть не может.— Потом он еще раз бросает взгляд на вконец ошалевшего Пиннеберга — он все еще ничего не

тоски на этот вечер, и он вдруг обрывает ее очень невежливо:

— Простите! Мне нужно позвонить.

А она говорит очень вежливо:

— Да, да, конечно, не смею вас задерживать.

И он уходит.

Пиннебергу ставят кружку пива. Он идет воровать цветы и в заключение говорит неправду своей Киске

Пиннеберг не стал прощаться с Гейльбутом. Наплевать, пусть обижается. Он попросту не мог дольше слушать эту тягучую, тягостную болтовню, он улизнул.

Он пускается в путь—в долгий путь с восточной окраины Берлина до Альт-Моабита, в Северо-Западном районе. Пеший способ передвижения вполне его устраивает, ведь до двенадцати еще далеко, да и мелочишку за проезд сэкономишь. Время от времени он мельком думает о Киске, или о фрау Нотнагель, или о Иенеке— тот скоро станет заведующим отделом, потому что господин Шпанфус, как видно, не особенно жалуется Крепелина,—но, в сущности говоря, не думает ни о чем. Так, шагает себе и шагает, заглядывает в витрины, автобусы проносятся мимо, и световые рекламы такие красивые, и в голове случайно мелькает: «Она ведь женщина, разума у нее нет». Так, кажется, сказал Бергман? Что он понимает, этот Бергман. Вот если бы он знал Киску!

Так он шагает, и когда приходит в Альт-Моабит, уже половина двенадцатого. Он осматривается, откуда бы позвонить подешевле, но потом все же заходит в ближайшую пивную и спрашивает кружку пива. Он будет пить ее медленно-медленно, выкурит пару сигарет и потом только пойдет звонить, потому что как раз тогда истекут остающиеся до полуночи полчаса.

Но не успели принести пиво, как он уже вскакивает и бежит к телефонной будке. Монету он давно держит в кулаке— да, да, давно держит в кулаке— и он вызывает Моабит 8650.

Сначала отвечает мужской голос, и Пиннеберг просит родильное отделение. Затем проходит долгая пауза, и женский голос спрашивает:

— Алло! Господин Пиннеберг?

— Да, сестрица. Скажите, пожалуйста...

— Двадцать минут назад. Все прошло благополучно. Ребенок здоров, мать здорова. Поздравляю вас.

— О, как чудесно, сестрица, большое спасибо, сестрица, большое спасибо!

У Пиннеберга сразу сделалось отличное настроение, у него камень с души свалился, он так рад.

— А кто родился, сестрица? Мальчик или девочка?

— Очень сожалею, господин Пиннеберг,— говорит сестра на том конце провода,— очень сожалею, но этого я вам не могу сказать, не имею права.

Пиннеберга как обухом по голове хватили.

— То есть как это так, сестрица? Ведь я же отец, мне-то вы можете сказать!

— Не могу, господин Пиннеберг, полагается, чтобы мать сама сказала отцу.

— Вот оно что! — говорит Пиннеберг, совершенно пришибленный такой предусмотрительностью.— А можно мне сейчас к ней прийти?

— Еще чего вздумали? Сейчас у вашей жены врач. Завтра утром, в восемь часов.

С этими словами сестра вешает трубку — говорит напоследок: «Спокойной ночи, господин Пиннеберг», — и вешает трубку. Иоганнес Пиннеберг лунатиком выходит из будки и, не соображая, где он находится, марш-марш прямехонько к выходу; он так бы и ушел, если бы кельнер не поймал его за руку и не сказал:

— Послушайте, молодой человек! А как же пиво? Получить с вас следует.

Тут Пиннеберг очнулся и сказал очень вежливо:

— Ах, простите!

Он садится за свой столик, отхлебывает глоток и, видя, что кельнер все еще сердито на него смотрит, повторяет:

— Простите, пожалуйста, мне только что сообщили, что я стал отцом.

— Вот-те на! — восклицает кельнер.— Есть от чего очуметь! Мальчик или девочка?

— Мальчик! — смело говорит Пиннеберг: ведь нельзя же в самом деле расписаться в своей неосведомленности.

— Ну конечно! — говорит кельнер.— Это уж всегда так: что дороже обходится, то и достается. Иначе и быть не может.— Потом он еще раз бросает взгляд на вконец ошалевшего Пиннеберга — он все еще ничего не

понял — и говорит: — Ладно уж, ставлю вам эту кружку пива, чтоб хоть как-то возместить ущерб.

Тут Пиннеберг очнулся вторично и сказал:

— Наоборот! Как раз наоборот!

Он кладет на стол марку, говорит: «Сдачи не надо», — и пулей вылетает из пивной.

Кельнер недоуменно глядит ему вслед, и наконец до него доходит.

— Вот болван! Он и вправду обрадовался! Ну да еще узнает, почем фунт лиха!

Отсюда до дома нет и трех минут ходьбы. Вот кинотеатр, вот дом, однако Пиннеберг, погруженный в глубокое раздумье, проходит мимо. А раздумывает Пиннеберг над тем, где можно раздобыть цветы до восьми утра. Что делать, если купить цветы уже нельзя, а собственного сада у него нет? Пойти и украсть! А где же и украсть, как не в парках и скверах города Берлина, — раз он, Пиннеберг, берлинский житель, значит, он имеет на это полное право!

Так начинается его бесконечное ночное странствие. Одну за другой обходит он площади: вот Большая Звезда, вот Лютцовплац, вот Ноллендорфплац, вот Виктория-Луизеплац, вот Прагерплац. На каждой он останавливается и глубокомысленно изучает клумбы... Сейчас, в середине марта, на них ничего не растет — какой скандал!

А если даже что и растет, ничего путного тут не найдешь. Два-три крокуса, несколько подснежников в прошлогодней траве. Это не цветы, во всяком случае, не для Киски. Пиннеберг очень недоволен городом Берлином.

И он продолжает поиски. Он добирается до Никольсбургерплац, а оттуда идет к парку Гинденбурга. Вот он на Фербеллинерплац, на Оливаэрплац, на Савиньиплац. Везде одно и то же. Ничего подходящего для столь торжественного случая. В конце концов он поднимает глаза от земли и видит перед собой куст с ярко-желтыми цветами. Огненно-желтые, как солнце, ветки, и ни единого зелененького листочка; одни только желтые цветы на голых прутьях. Решение приходит мгновенно. Он даже не оглядывается, не наблюдают ли за ним, оставив свои глубокие думы, он перелезает через ограду, идет по газону и, наломав целый пук золотистых веток, беспрепятственно возвращается назад.

Он опять проходит по газону, перелезает через ограду и с сияющими ветками в торжественно вытянутой руке пускается в долгий обратный путь. Вероятно, его ведет счастливая звезда, потому что он благополучно минует десятки полицейских, добирается до Альт-Моабита и влезает на свою верхотуру. Там он сует ветки в кувшин с водой, облегченно вздохнув, бросается на постель и мгновенно засыпает.

Хотя он, естественно, забыл завести и поставить будильник, утром он столь же естественно проснулся ровно в семь, зажег газ, сварил кофе, а тем временем и вода для бритвы готова. Он надел свежее белье и вообще прифасонился, как только мог; без десяти восемь, упоенно насвистывая, он схватил свои цветущие ветки — и марш-марш из дому.

Несмотря на свое блаженное состояние, он все же побаивался, что швейцар не захочет пропустить его в такую рань и с ним придется крупно поговорить; но и здесь на его пути не встретилось никаких препятствий. Он просто сказал: «В родильное отделение», — и швейцар машинально ответил: «Прямо, последний корпус!»

Тут Пиннеберг улыбнулся, и швейцар тоже улыбнулся, только улыбка его была другого рода. Но Пиннеберг этого не заметил.

С огненно-желтым букетом в руках пролетел он по асфальтовой дорожке между больничными корпусами, и наплевать ему было на тех больных и умирающих, что лежали там.

И опять его встретила сестра и сказала: «Пожалуйста». И он прошел через белую дверь в длинную комнату и на мгновение почувствовал, что множество женских лиц смотрят на него. Но потом он их больше не видел, потому что прямо перед ним была Киска. Она лежала не на койке, а на носилках, и на лице ее играла какая-то широкая, расплывчатая улыбка, и она сказала чуть слышно, словно издали:

— Милый мой!..

И он тихо-тихо склонился над ней, и положил краденые ветки на одеяло, и прошептал чуть слышно:

— Киска! Неужели я опять вижу тебя! Неужели я опять тебя вижу!

А она тихо подняла руки, и рукава рубашки с такими смешными голубыми веночками-штемпелями скользнули вниз, и ее руки были бледные-бледные и казались

такими усталыми, такими бессильными. Но все-таки в них нашлось достаточно силы обвиться вокруг его шеи, и Киска прошептала:

— Теперь у нас вправду есть Малышок. Он — Малышок, миленький мой.

Тут только Пиннеберг заметил, что плачет — плачет судорожно, всхлипывая, и он сердито сказал:

— Почему эти чертовы бабы до сих пор не дали тебе койку? Сейчас я им устрою веселую жизнь!

— Все койки заняты, — прошептала Киска. — Но через час-другой будет койка и у меня. — Она тоже плакала. — Ты очень рад, милый? Не надо плакать, теперь все позади.

— Тебе было трудно? — спросил он. — Тебе было очень трудно? Ты... кричала?

— Теперь все позади, — прошептала она. — И половину забыто. Мы ведь не скоро повторим все сначала? Правда, не скоро?

— Господин Пиннеберг! — донесся из дверей голос сестры. — Если хотите взглянуть на сына — пойдете!

И Киска улыбнулась и сказала:

— Ну, иди поздоровайся с нашим Малышонком.

Пиннеберг прошел за сестрой в длинную, узкую комнату. Здесь тоже были сестры, и они смотрели на него, но ему нисколько не было стыдно, что он только что плакал, да и сейчас еще чуточку всхлипывает.

— Ну что, молодой папаша, довольны? — басом спросила толстая сестра.

— Да что ты его спрашиваешь? — заметила другая, та самая белокурая, что накануне так сердечно обняла Киску. — Ведь он же еще ничего не знает. Ведь он даже не видел сына.

Пиннеберг только кивнул и улыбнулся.

Тут дверь в соседнюю комнату отворилась, и вошла сестра, которая позвала его; в руках у нее был белый сверток, а из свертка выглядывало старческое, глянце-вито-красное, безобразное морщинистое личико — какая-то груша острым концом вверх, и груша эта громко, пронзительно и жалобно пищала.

Тут Пиннеберг разом протрезвел, и ему припомнились все грехи молодости: и рукоблудие, и шалости с девочками, и триппер, который он подцепил, и как он раза три или четыре крепко напивался. И пока сестры, улыбаясь, рассматривали этого старенького морщини-

стого гнома, страх все сильнее овладевал Пиннебергом. Ясное дело, Киска еще не разглядела его как следует! Наконец он не в силах был дольше сдерживаться и робко спросил:

— Скажите, сестрица, а у него вполне нормальный вид? Как у всех новорожденных?

— Ах ты господи! — воскликнула сестра-брюнетка, та, что с басом. — Теперь ему сын не нравится! Да ты слишком хорош, мальчонка, для своего папаши!

Однако Пиннеберг все еще не мог успокоиться:

— Скажите, пожалуйста, сестрица, у вас сегодня ночью родился еще кто-нибудь? Родился, да? Не будете ли вы добры показать мне... так только, чтобы знать, как все они выглядят.

— Родился, да мертвый, — ответила белокурая сестра. — Нет, каково: у него самый чудесный-мальчишка во всем отделении, а ему не нравится! Пожалуйста сюда, молодой человек, полюбуйтесь!

Она открыла дверь в смежную комнату, и Пиннеберг прошел туда вместе с нею, и там действительно лежали на кроватках, числом до восьмидесяти, карлики и гномы, старообразные и морщинистые, бледные и красные. Пиннеберг озабоченно осмотрел их. Теперь он наполовину успокоился.

— Но у моего малыша такая острая головка, — все же сказал он нерешительно. — Скажите, пожалуйста, сестрица, это не водянка мозга?

— Водянка? — переспросила сестра и расхохоталась. — Ох, уж эти мне папаши! Да благодарить бога нужно, что этакая черепушка может сплющиваться! Потом все срастется как надо. Ну, ступайте, ступайте к жене, да не больно-то засиживайтесь.

Пиннеберг бросил последний взгляд на сына и вернулся к Киске, и Киска улыбнулась ему и прошептала:

— Наш Малышок просто очаровательный, правда? Прелесть какой!

— Да, — прошептал Пиннеберг. — Очаровательный! Прелесть какой!

Столпы мироздания в роли отцов. Киска обвиняет Путбрезе

Конец марта, среда. С чемоданом в руке Пиннеберг медленно проходит Альт-Моабит и сворачивает к Малому Тиргартену. Собственно говоря, в это время он

должен бы идти по направлению к магазину Манделя, но сегодня он опять отпросился: надо забрать Киску из родильного дома.

В Малом Тиргартене Пиннеберг еще раз останавливается, опускает чемодан на землю. Спешить некуда, раньше восьми все равно не впустят. Он уже с половины пятого на ногах, в комнате царит полный порядок — он даже навошил и натер пол и постельное белье сменил. Хорошо, когда все светло и чисто, теперь у них начнется новая жизнь, совсем другая. Ведь у них есть ребенок, Малыш. Все должно сиять как солнышко.

Да, в Малом Тиргартене теперь благодать: деревья по-настоящему зазеленели, а кусты и подавно, весна в этом году ранняя. Но лучше, если Киска будет выезжать с Малышом в настоящий Тиргартен, пусть даже это и далековато. Здесь слишком уныло: уже сейчас, в этот ранний час, на скамьях сидят безработные. А Киска все принимает так близко к сердцу.

Ну, берись за чемодан — и дальше! Вот ворота, вот толстый швейцар; на слова: «В родильное отделение», — он, как заводной, отвечает: «Прямо, последний корпус!» Мимо проезжают несколько такси — в них сидят мужчины. По-видимому, тоже отцы, только посостоятельнее, из тех, что приезжают за женами в автомобилях.

Вот и родильное отделение. Здесь остановились машины. Не взять ли и ему такси? Он стоит с чемоданом в руке, он совсем растерялся: идти им, правда, недалеко, но, может, так полагается, может, сестры ужаснутся увидев, что он не на такси? Пиннеберг стоит и смотрит, как только что прибывший автомобиль осторожно заезжает на маленькую площадку и приехавший на нем господин говорит шоферу: «Придется немного подождать!»

«Нет, — говорит себе Пиннеберг. — Нет, нельзя. Только это несправедливо, совершенно несправедливо».

Он входит в приемную, ставит чемодан на пол и ждет. Приехавших на такси господ нигде не видно — уж конечно, их давно провели к женам. Пиннеберг стоит и ждет. Когда он обращается к какой-либо сестре, она торопливо отвечает: «Минуточку, сейчас!» — и бежит дальше.

В Пиннеберге поднимается глухая злоба. Он знает, что не прав; сестры не могут знать, кто приехал на

такси, а кто нет — ну, а вдруг они все-таки знают? Почему он все еще стоит здесь? Не должен он больше здесь стоять. Что он, хуже других? Или его Киска хуже других? Черт подери, какой же он идиот, если ему в голову лезут такие мысли! Все это ерунда, тут ни для кого не делают исключений, но радость уже убита. Он стоит и мрачно смотрит в одну точку. Вот так начинается и так пойдет дальше. Напрасно было думать, будто начинается новая, светлая, солнечная жизнь. Как было, так будет. Они с Киской к этому привыкли, но неужели и Малышу предстоит то же самое?

— Послушайте, сестра!

— Сейчас. Сию минуту. Вот только...

Убежала. Улетучилась. Ну да все равно, он отпра- сился на весь день, он хотел провести его с Киской, он может спокойно простоять здесь хоть до десяти, хоть до одиннадцати, его от этого не убудет. Его желания в расчет не идут.

— Господин Пиннеберг! Ведь это вы — господин Пиннеберг? Позвольте ваш чемодан. Ключ здесь? Хорошо. Ступайте в регистратуру и заберите документы, а ваша супруга тем временем оденется.

— Хорошо, — отвечает Пиннеберг, берет у сестры записку и спешит в регистратуру.

«Теперь снова пойдет канитель», — раздраженно думает он, но на этот раз ошибается: все идет как по маслу, он получает документы, расписывается — и готово дело.

Потом он опять стоит в коридоре. Такси еще ждут. И вот он видит Киску: полуодетая, она перебегает из одной двери в другую, быстро машет ему рукой и радостно кричит:

— Добрый день, мальчуган!

Исчезла. «Добрый день, мальчуган», — Киска-то, во всяком случае, не изменилась, и, как бы плоха ни была жизнь, Киска улыбается, Киска делает ему ручкой: «Добрый день, мальчуган». А, уж конечно, она чувствует себя не особенно важно, всего только два дня назад ей сделалось дурно, когда она поднималась с постели.

Итак, он стоит и ждет. Теперь рядом с ним стоят другие мужчины, они тоже ждут — ну, разумеется, все в порядке, его не обошли, и до чего же они глупы, эти господа, что заставляют такси столько ждать, — уж он бы не стал так швырять деньгами.

Между папашами идет разговор.

— Как кстати, что теща живет вместе с нами. Будет теперь делать все за жену,— говорит один.

— А мы взяли прислугу. Жене одной никак не справиться, с маленьким ребенком на руках, да еще после родов.

— Позвольте!— кипятится толстый господин в очках.— Что такое роды для здоровой женщины? Ничего особенного! Это ей только на пользу. «Милая,— говорю я своей половине,— разумеется, я мог бы взять тебе кого-нибудь в помощь, но ты от этого только разленишься. Чем больше у тебя будет работы, тем скорее ты поправишься...»

— Ну, знаете...— неуверенно отзывается еще один.

— Но это же факт! Факт!— настаивает очкарик.— А в деревне, говорят, так и вовсе — сегодня родит, а на другой день идет сено убирать. Все остальное — баловство. Нет, я решительно против этих родильных домов. Промариновали жену девять дней, и врач все еще не хотел отпускать. Ну, тут уж я сказал: «Позвольте, доктор, в конце концов, она моя жена, и распоряжаюсь тут я. А как, вы думаете, обращались со своими женами мои предки, германцы?» — Ух, как он тут покраснел — уж его-то предки, во всяком случае, были не германцы.

— Ваша супруга тяжело рожала?

— Тяжело? Не то слово, дорогой мой! Врачи не отходили от нее пять часов, в два часа ночи еще за профессором послали!

— А у моей жены разрывы — во! Семнадцать швов наложили!

— Моя тоже довольно узка в бедрах. Родит уже третий раз, а все такая же узкая. Она конечно, имеет свои достоинства, только врачи сказали: «На этот раз, сударыня, сошло, но в следующий раз...»

— А вам тоже присылали все эти брошюры по материнству?

— Страшно много прислали, просто напасть какая-то. Проспекты детских колясок, детская мука, солодовое пиво...

— Да, мне тоже прислали бесплатный талон на три бутылки пива. Для пробы.

— Говорят, для кормящей матери это замечательно — прибавляет молока.

— А я не стал бы давать своей жене солодовое пиво. Как-никак, алкоголь.

— Как так алкоголь? Солодовое пиво — алкоголь?

— Еще бы!

— Позвольте, а как же отзывы врачей? Вы же читали проспект — его очень рекомендуют.

— Подумаешь, отзывы, кто в наши дни придает значение отзывам? Своей жене я солодового пива не дам.

— Ну, те-то три бутылки я заберу и, если жена откажется, выпью сам. Глядишь — кружку пива и сэкономил.

Но вот выходят жены.

То тут, то там раскрывается дверь, и они выходят с белыми продолговатыми свертками на руках — три женщины, пять женщин, семь женщин, все с одинаковыми свертками и одинаковыми, какими-то мягкими, расплывчатыми улыбками на бледных лицах.

Мужья притихли.

Они смотрят на своих жен. На их только что таких самоуверенных лицах появляется несколько растерянное выражение, они порываются вперед, но тут же останавливаются. Им уже нет дела друг до друга. Каждый глядит на свою жену, на продолговатый сверток у нее в руках. Все очень смущены, но еще секунда — и вот уже они шумно и оживленно хлопчут вокруг своих жен. «Да здравствуй же! Ну, дай посмотреть. Ты прекрасно выглядишь! Даже поправилась. Можно, я его понесу? Ну ладно, как хочешь. Но уж чемоданто, во всяком случае, возьму. Где твой чемодан? Такой легкий? Ах да, понятно, все на тебе. На ногах держишься твердо? Еще не совсем, да? Я взял такси. Уж как-нибудь не разоримся. То-то мальчишка удивится, когда его повезут на машине, для него это новость. Что? И не заметит? Не скажи. Теперь так много говорят о впечатлениях раннего детства, оставшихся в подсознании, возможно, это все-таки доставит ему удовольствие...»

А Пиннеберг тем временем стоит около своей Киски и без конца повторяет:

— Неужели ты снова со мною? Неужели мы снова вместе?..

— Мальчик мой, — говорит она. — Ты рад? Тебе было очень трудно эти одиннадцать дней? Но теперь

все прошло, все позади. Как я рада, что наконец-то опять увижу наше гнездышко.

— Я все приготовил, все прибрал,— улыбаясь, говорит он.— Вот увидишь... Пешком пойдешь, или, может, взять такси?

— Еще чего выдумал: такси! Я с удовольствием пройду по свежему воздуху. Спешить некуда, ты ведь отпросился, правда?

— Да, на сегодня отпросился.

— Ну, пошли потихоньку. Возьми меня под руку.

Он берет ее под руку, и они выходят на небольшую площадку перед родильным домом, где уже гудят автомобили. Медленно-медленно идут они по дорожке к воротам, мимо них проносятся такси, но они не прибавляют шагу. «Это ничего не значит,— думает Пиннеберг.— Я слышал ваш разговор и раскусил вас. Это ничего не значит, что у нас нет денег».

Они проходят мимо швейцара, но швейцару даже некогда попрощаться с ними — перед ним стоят двое, мужчина и женщина. По ее животу сразу видно, зачем они здесь. И Пиннеберги слышат, как швейцар говорит:

— Сперва в регистратуру, пожалуйста.

— Для них еще только начинается,— раздумчиво произносит Пиннеберг.— А мы уже отделались.

Ему кажется очень странным, что все тут идет своим чередом, мужья приходят, ждут, звонят, беспокоятся, забирают своих жен — ежедневно, ежечасно. Да, все это очень странно. Он окидывает Киску взглядом и говорит:

— Какая ты стала стройная, прямо елочка.

— Слава тебе господи,— говорит Киска.— Слава тебе господи. Ты не можешь себе представить, какое это облегчение — избавиться от живота.

— Могу, очень даже могу,— отвечает он серьезно.

Они выходят из аллеи на солнце, на теплый мартовский ветерок. На мгновение Киска останавливается, смотрит на небо, по которому торопливо бегут белые, пухлые облака, смотрит на зеленеющий Малый Тиргартен, на уличное движение. Мгновение она молчит.

— Ты что, Киска? — спрашивает он.

— Видишь ли...— начинает она, но тут же обрывает:— Ладно, ничего.

Но он настаивает:

— Да говори же. Я чувствую, у тебя что-то есть на уме.

— Так, глупости всякие лезут в голову. Все оттого, что я снова на воле. Понимаешь ли, в больнице совсем не приходилось ни о чем заботиться. А теперь опять все зависит от нас самих.

И, помедлив, добавляет:

— Ведь мы еще так молоды. И у нас никого нет.

— У нас есть ты и я. Да еще Малыш,— говорит он.

— Все это так. Но ты же понимаешь...

— Да, да, я все понимаю. Но ведь и я живу не без забот. Работать у Манделя с каждым днем все труднее. Но в конце концов все наладится.

— Ну конечно, наладится.

Рука об руку, они переходят улицу, медленно, шаг за шагом идут по Малому Тиргартену.

— Дашь мне немножко понести Малыша? — спрашивает Пиннеберг.

— Нет, нет, мне ничуть не тяжело. Что это тебе вздумалось?

— Но мне-то и вовсе будет не тяжело. Ну, дай понесу!

— Нет, нет, если хочешь, посидим немножко на скамейке.

Так они и делают, а затем медленно идут дальше.

— Он совсем не шевелится,— замечает Пиннеберг.

— Верно, спит. Перед тем как пойти, я дала ему грудь.

— А как часто надо давать ему грудь?

— Каждые четыре часа.

Вот наконец и мебельный склад Путбрезе, а вот и сам Путбрезе. Он еще издали заметил приближение семейства в трех лицах.

— Ну как, милочка? — спрашивает он и подмигивает.— Туго пришлось? Аист больно клевался?

— Спасибо, все в порядке,— смеется Киска.

— А как же нам теперь быть вот с этим? — спрашивает Путбрезе и поводит головой в сторону лестницы.— Как мы будем взбираться вверх вместе с малюткой? У вас ведь мальчишка, конечно?

— Мальчишка, господин Путбрезе.

— Так как же мы будем взбираться вверх?

— Ничего, как-нибудь приладимся,— говорит Киска и несколько нерешительным взглядом окидывает лестницу.— Я быстро поправлюсь.

— Знаете что, милочка, берите меня за шею, и я на ручках доставлю вас наверх. Сына отдайте папаше, уж он донесет его в целости и сохранности.

— Видите ли... как бы вам сказать... словом это совершенно невозможно...— заикается Пиннеберг.

— Что — невозможно? — спрашивает господин Путбрезе.— Квартира невозможная, хотите вы сказать? А у вас что, есть лучше? И есть чем заплатить? По мне, так пожалуйста, молодой человек, по мне, хоть сейчас съезжайте по причине этой самой невозможности.

— Нет, я не то имел в виду,— говорит Пиннеберг, совершенно обескураженный.— Все-таки это несколько неудобно, согласитесь сами.

— Ежели неудобство для вас в том, что ваша супруга обхватит меня за шею, тогда это и впрямь неудобно. Тогда вы правы,— сердито говорит Путбрезе.

— Ну так давайте! — говорит Киска.— Поехали!

И не успел Пиннеберг глазом моргнуть, как Киска сунула ему продолговатый, плотный сверток, обвила руками шею старого пьянчужки Путбрезе, а тот нежно подхватил ее под мягкое место и сказал:

— Ежели ненароком ущипну, милочка, так только скажите: враз отпущу.

— Ну да — на середине лестницы! — смеется Киска.

В одной руке держа сверток, другою судорожно цепляясь за ступеньки, Пиннеберг осторожно карабкается по лестнице вслед за ними.

И вот они одни у себя в комнате. Путбрезе ушел; снизу доносится стук его молотка, но они одни, дверь закрыта.

Пиннеберг стоит со свертком на руках, с теплым, неподвижным свертком. В комнате светло, на натертом полу играют солнечные блики.

Киска быстрым движением сбросила с себя пальто — оно лежит на постели. Легкими, неслышными шагами она ходит по комнате. Пиннеберг наблюдает за нею.

Она ходит по комнате, она быстро, мимоходом касается рамки на стене, слегка поправляет ее. Она чуть-

чуть подвигает кресло. Она проводит рукой по постели. Она подходит к стоящим на окне примулам — лишь на какое-то мгновение она склонилась над ними осторожно и легко, и вот уже она возле шкафа, открывает дверцу, заглядывает внутрь, снова закрывает. Подойдя к раковине, она отвертывает кран, пускает воду — просто так — и снова закрывает кран.

И вдруг она обнимает его за шею.

— Я так рада, — шепчет она. — Так рада.

— Я тоже, — шепчет он.

Так они стоят с минуту, совершенно неподвижно, — она обнимает его за шею, он держит на руках ребенка, — стоят и смотрят в окна, затененные уже зазеленевшими кронами деревьев.

— Хорошо! — говорит Киска.

И:

— Хорошо! — говорит он.

— Ты все еще держишь Малыша? — спрашивает она. — Положи его на мою кровать, сейчас я приготовлю ему постельку.

Она быстро расстилает маленькое шерстяное одеяло, кладет поверх простынку, потом осторожно развертывает сверток.

— Спит... — шепчет она. И он тоже склоняется над свертком. Вот он лежит, их сын, их Малыш: красноватое личико с каким-то озабоченным выражением, волосики на голове стали немного светлее.

— Перепеленать его, что ли, а потом уже класть? — нерешительно говорит она. — Ведь он, наверное, мокрый.

— Стоит ли беспокоить?

— Что же, дожидаться, пока запреет? Нет, перепеленую. Постой, сестра показала мне, как.

Она складывает несколько пеленок уголком и осторожно распеленывает Малыша. О боже, какие у него крошечные ручки и ножки! Какие крошечные, словно иссохшие, ручки и ножки — и какая огромная голова! Пиннебергу неприятно, он хочет отвести взгляд, ведь это какой-то урод, но он знает, что не должен отводить взгляд. Нельзя же с этого начинать, ведь это же его сын!

Киска кладет и перекладывает пеленки, ее губы напряженно шевелятся:

— Как же мне показывали? Так? Ах, какая я неумеха!

Маленький человечек открывает глаза — молочно-голубые, тусклые глаза, он открывает рот, начинает кричать, нет, не кричать, а пищать, скулить беспомощно, жалобно, тоненько, скорбно.

— Ну вот! Вот он и проснулся! — укоризненно говорит Пиннеберг. — Он, наверное, озяб.

— Сейчас, сейчас! — говорит Киска и пытается сложить пеленки.

— Поскорее! — торопит он.

— Нет, не так. Нельзя, чтобы были складки, а то он сразу сотрет себе кожицу. Как же мне показывали?.. — И она начинает все сначала.

Наморщив лоб, он наблюдает за нею. Киска действует очень неумело. Вот так: сперва пропустить уголок между ножками, — это ясно, — а потом с другой стороны...

— Дай мне! — нетерпеливо говорит он. — А то будешь копать без конца.

— Пожалуйста! — говорит она с облегчением. — Если сумеешь.

Он берет пеленки. На первый взгляд все так просто — крошечные ножки едва шевелятся. И так, сперва положить пеленку, затем взяться за уголки и...

— Смотри, сколько складок, — говорит Киска.

— Постой! — нетерпеливо говорит он и еще торопливее кладет и перекладывает пеленки.

Малыш кричит! Маленькая, светлая комнатка оглашается его писком, он кричит громко, пронзительно, откуда только голос берется. Он становится пунцовым, собственно говоря, ему не мешало бы время от времени делать передышки; Пиннеберг невольно смотрит на него, и это только мешает.

— Может, еще раз мне попробовать? — мягко спрашивает Киска.

— Пожалуйста, — говорит он. — Если ты думаешь, что на этот раз у тебя получится.

И на этот раз у нее получается. Совершенно неожиданно все проходит гладко, в два счета.

— Не надо только нервничать, — говорит она. — В общем-то, невелика премудрость.

Малыш лежит в своей постельке и, раз начав, не перестает кричать. Он лежит, глядит в потолок и кричит.

— Что делать в таких случаях? — шепотом спрашивает Пиннеберг.

— Ничего, — отвечает Киска. — Пусть кричит. Через два часа получит грудь, тогда и замолчит.

— Но нельзя же, чтобы он кричал два часа подряд!

— Нет, можно. Так лучше. Ему это не повредит.

«А нам?» — хочет спросить Пиннеберг. Но не спрашивает. Он подходит к окну и глядит в сад. За спиной кричит его сын. И опять все совсем не так, как представлял себе он. Он думал тихо-мирно позавтракать с Киской, он даже вкусенького припас на этот случай, но если Малыш задает такого ревака... Комната полна его ревом. Пиннеберг прижимается лбом к стеклу.

Киска подходит к нему.

— Неужели его нельзя немножко поносить, покачать? — спрашивает он. — Я, по-моему, от кого-то слышал, так всегда делают, когда маленькие кричат.

— Стоит только начать! — возмущенно говорит Киска. — Тогда только и знай, что бегай с ним по комнате да убаюкивай.

— Ну, один-то разочек можно! Ведь он сегодня первый раз с нами! — просит Пиннеберг. — Надо, чтобы ему с нами хорошо было!

— Вот что я тебе скажу, — говорит Киска, и вид у нее очень решительный. — Этого мы делать не будем. Сестра сказала, самое лучшее — дать ему выкричаться, первые ночи он будет орать не переставая. По всей вероятности, будет... — взглянув на мужа, спешит оговориться она. — Может, конечно, и нет. Но как бы там ни было, его ни в коем случае нельзя брать на руки. Рев ему не повредит. А потом он привыкнет к тому, что ревом все равно ничего не возьмешь.

— Так-то оно так, — говорит Пиннеберг. — Только, на мой взгляд, это довольно жестоко.

— Но ведь так будет лишь первые две-три ночи, милый. Зато мы все выиграем оттого, что он приучится спать без просыпу. — В ее голосе звучат совратительские нотки. — Сестра сказала, это единственно правильное средство, только из сотни супружеских пар едва ли найдутся три, у которых хватит на это выдержки. А как было бы хорошо, если бы у нас хватило.

— Может быть, ты и права, — говорит он. — Ночью он действительно должен спать без просыпу, это по-

нятно. Но днем — днем я бы спокойно мог поносить его на руках.

— Ни в коем случае,— говорит Киска.— Ни под каким видом. Он ведь еще не различает, где ночь, где день.

— Не говори так громко, это, наверное, мешает ему.

— Да он еще ничего не слышит! — торжествующе заявляет Киска.— На первых порах можно цапаться и галдеть сколько угодно.

— Ну, не знаю!..— говорит Пиннеберг; Кискины взгляды его ужасают.

Но потом все улаживается. Малыш перестает кричать и лежит смирно. Они спокойно завтракают, как Пиннебергу и хотелось. Время от времени он встает, подходит к постельке и глядит на ребенка, который лежит с открытыми глазами. Пиннеберг подкрадывается на цыпочках, и, сколько бы Киска ни говорила, что это совершенно бесполезно, что Малыш еще ничего не замечает,— Пиннеберг все равно подкрадывается на цыпочках. Потом он снова садится за стол и говорит:

— А что, ведь, в сущности, это так хорошо: теперь у нас каждый день есть на что радоваться.

— Еще бы,— отвечает Киска.

— Он будет расти,— продолжает Пиннеберг,— научится говорить... Когда, собственно, дети начинают говорить?

— Бывает, уже в год.

— Уже? Только, хочешь ты сказать? Я и сейчас-то уже рад не знаю как, что буду ему сказки рассказывать. А когда он научится ходить?

— Ах, милый, все это не так скоро. Сперва он научится держать головку. Потом сидеть. Потом ползать. А уж потом только ходить.

— Вот я и говорю: каждый день что-то новое. Я так рад.

— А я-то! Ты даже представить себе не можешь, как я счастлива, милый!

Детская коляска и братья-враги. Когда выплатят пособие на кормление?

Три дня спустя, в субботу.

Пиннеберг только что пришел домой, постоял с минутой у постельки Малыша, полюбовался спящим сыном. Теперь они с Киской сидят за столом, ужинают.

— Пойдем завтра куда-нибудь? — спрашивает он.—
Погода такая чудесная.

Она с сомнением смотрит на него.

— Оставить Малыша одного?

— Не сидеть же тебе все время дома, пока он не научится ходить? Ты и так бледная, дальше некуда.

— Да, верно,— говорит она нерешительно.— Надо бы купить коляску.

— Конечно, надо,— отвечает он. И осторожно:—
А сколько она может стоить?

Киска пожимает плечами.

— Коляска — это еще полдела. Ведь к ней нужны еще подушки и наволочки!

Ему вдруг становится страшно:

— На это все деньги уйдут.

— Да,— соглашается она, и вдруг ей приходит на ум:— А больничная касса на что? Потребуй с них деньги!

— Как это вылетело у меня из головы! — говорит он.— Ну, конечно.— И начинает размышлять вслух:—
Пойти туда я не могу. Отпрашиваться больше нельзя, а обеденный перерыв слишком мал.

— Так напиши.

— Верно. Напишу, немедля, а потом сбегаю на почту, опущу письмо в ящик... Послушай, Киска,— продолжает он, разыскивая письменные принадлежности, которыми они почти никогда не пользуются.— А что, если купить газету и посмотреть, не продается ли где подержанная коляска? Ведь должны же быть такие объявления.

— Подержанная? Для Малыша? — вздыхает она.

— Надо беречь каждый пфенниг,— напоминает он.

— Только прежде я хочу посмотреть, что за ребенок лежал в коляске,— заявляет она.— Не класть же Малыша в коляску после кого попало.

— Посмотреть можно,— соглашается Пиннеберг.

И вот он сидит и пишет письмо в больничную кассу: членский билет номер такой-то, при сем прилагается свидетельство из родильного дома, справка кормящей матери, и дальше покорнейшая просьба: немедленно выслать пособие по родам и кормлению за вычетом больничных расходов.

С минуту он колеблется, потом подчеркивает слово «Немедленно». Потом подчеркивает еще раз. «С глубоким уважением — Иоганнес Пиннеберг».

В воскресенье они покупают газету и находят несколько объявлений о продаже детских колясок. Пиннеберг отправляется в путь и неподалеку от дома находит прекрасную коляску. Затем следует отчет жене.

— Он, правда, кондуктор трамвая или что-то в этом роде, но, в общем, они выглядят вполне приличными людьми. Ребенок уже ходит.

— А как выглядит коляска? — осведомилась Киска. — Низкая, высокая?

— Гм... — нерешительно бормочет он. — Ну, это самое... коляска как коляска.

— А колеса какие? — продолжает допрашивать Киска. — Маленькие? Большие?

Но теперь он более осторожен:

— Так, средней величины.

— А какого цвета? — допытывается Киска.

— Этого я не разглядел, — говорит он и, когда Киска заливается смехом, добавляет, оправдываясь: — В кухне было очень темно. — Тут ему в голову приходит счастливая мысль: — Верх отделан белыми кружевами.

— Ах ты господи, — вздыхает она. — Хотелось бы мне знать, что ты там вообще разглядел.

— Позволь, коляска очень хорошая. Простят двадцать пять марок.

— Ладно, придется самой посмотреть. Понимаешь, сейчас в моде низкие коляски, с совсем маленькими колесиками.

— По-моему, — спешит застраховаться он, — Малышу совершенно безразлично, на каких колесах его будут возить: на маленьких или на больших.

— Малышу должно быть удобно, — возражает она.

И вот после того как Малыш накормлен и мирно спит в постельке, они собираются идти смотреть коляску. На пороге Киска останавливается, возвращается, бросает взгляд на спящего ребенка и снова идет к двери.

— Оставить его совсем одного... — говорит она, когда они выходят. — Иным и невдогад, как хорошо им живется.

— Ничего, через полтора часа мы вернемся, — успокаивает ее Пиннеберг. — Он, конечно, будет крепко спать, да и двигаться он еще не может.

— И все-таки, — не сдается она, — не так-то легко от него уходить.

Как и следовало ожидать, коляска совсем не модная — высокая, очень чистенькая, но совсем не модная.

Тут же стоит маленький белокурый мальчик и тоже глядит на коляску, очень серьезно.

— Это его коляска, — поясняет мать.

— Двадцать пять марок — не дороговато ли за такую немодную коляску? — спрашивает Киска.

— Могу дать вам в придачу подушки, — говорит хозяйка. — И волосяной тюфячок. Он один стоил восемь марок.

— Так-то оно так... — нерешительно тянет Киска.

— Двадцать четыре марки, — говорит кондуктор, бросая взгляд на жену.

— Ведь она почти новая, — говорит хозяйка. — А низкие коляски вовсе не так уж практичны.

— Ну как?.. — с сомнением спрашивает Киска.

— Надо брать, — отвечает Пиннеберг. — Бегать-то нам особенно некогда.

— Так-то оно так... — говорит Киска. — Ну ладно: двадцать четыре марки — с подушками и тюфячком.

Они тут же отдают деньги и забирают покупку. Маленький мальчик горько плачет: у него отнимают его коляску, и, видя, как он к ней привязан, Киска несколько примиряется со своей немодной покупкой.

Они выходят на улицу. По коляске не видно, есть ли в ней еще что-нибудь, кроме подушек. С таким же успехом в ней мог бы лежать и ребенок.

Пиннеберг то и дело кладет руку на край коляски.

— Теперь мы — заправская супружеская чета, — говорит он.

— Да, — отвечает она. — А коляску придется все время держать внизу, в мебельном складе. Нехорошо это.

— Нехорошо, — соглашается он.

В понедельник вечером, вернувшись от Манделя домой, Пиннеберг спрашивает:

— Ну что, пришли деньги из больничной кассы?

— Нет еще, — отвечает Киска. — Должно быть, завтра придут.

— Да, конечно, — говорит он. — Так скоро и не могли прийти.

Но денег нет и во вторник, а первое уже на носу. Жалованье все вышло, а от неприкосновенного запаса в его марок осталась едва ли половина.

— Ни в коем случае нельзя их трогать,— говорит Киска.— Это все, что у нас осталось.

— Да,— говорит Пиннеберг и начинает потихоньку злиться.— Деньгам пора бы прийти. Завтра утром пойду поддам пару.

— Подожди до завтрашнего вечера,— советует Киска.

— Нет, завтра в обед пойду.

И он идет. Времени в обрез, об обеде в столовой нечего и думать, и проезд стоит сорок пфеннигов. Но он понимает: тот, кто должен платить, обычно не спешит, спешит тот, кто получает. Нет, он не намерен скандалить — он просто поддаст пару, чтобы подтолкнуть дело.

Так вот, он приходит в правление больничной кассы. Правление со швейцаром, огромным вестибюлем и хитро разгороженными залами, где находятся кассы,— словом, образцовое правление.

Сюда приходит маленький человек Пиннеберг, он хочет получить свои сто, а может, и сто двадцать марок — он понятия не имеет, сколько останется за вычетом больничных расходов. Он приходит в огромное, роскошное, светлое здание. Он стоит такой маленький, такой невидный, посреди гигантского зала. Пиннеберг, дорогой мой, сто марок? Тут ворочают миллионами. Для тебя что-то значат сто марок? Для нас они ровно ничего не значат, для нас они не играют никакой роли. То есть какую-то роль они все же играют — в этом ты со временем убедишься. Хотя этот дом построен на твои взносы и на взносы таких же маленьких людей, как ты, но это не твоего ума дело. Мы распоряжаемся твоими взносами в полном соответствии с законом.

Утешительно все-таки видеть, что за перегородкой сидят такие же служащие, как и он сам, в известном смысле его собратья. А то он совсем оробел бы среди всего этого мраморно-эбенового великолепия.

Пиннеберг оглядывается по сторонам. Ага! Вот это ему и нужно: окошко на букву «П». Тут сидит молодой человек, успокоительно доступный, не за закрытой дверью, только за перегородкой.

— Пиннеберг,— говорит Пиннеберг.— Иоганнес Пиннеберг. Членский билет номер шестьсот шесть — восемьсот шестьдесят семь. У нас родился ребенок, я

уже писал вам относительно пособия по родам и кормлению...

Молодой человек роется в картотеке, у него нет времени посмотреть на посетителя. Но все же он протягивает руку и произносит:

— Членский билет.

— Пожалуйста,— говорит Пиннеберг.— Я уже писал вам...

— Свидетельство о рождении,— произносит молодой человек и снова протягивает руку.

— Я уже писал вам, коллега,— кротко говорит Пиннеберг,— я уже прислал вам все справки, полученные из родильного дома.

Молодой человек поднимает глаза и видит перед собой Пиннеберга.

— Так чего ж вам еще надо?

— Мне хотелось бы знать, есть ли решение по моему делу. Высланы ли деньги. Мне нужны деньги.

— Всем нужны деньги.

— Высланы ли мне деньги? — еще более кротко спрашивает Пиннеберг.

— Не знаю,— отвечает молодой человек.— Если вы делали письменный запрос, значит, и о решении вас известят в письменном виде.

— А не могли бы вы справиться, есть ли уже решение?

— У нас все решается быстро.

— Видите ли, деньги должны были прийти уже вчера.

— Почему вчера? Откуда вы знаете?

— Я высчитал. Если у вас все решается быстро...

— Что вы там еще высчитали! Откуда вам знать, как решаются у нас дела. У нас ведь не одна инстанция.

— Но если у вас все решается быстро...

— Да, у нас все решается быстро, можете быть спокойны.

— Так не будете ли вы любезны справиться, есть ли решение по моему делу? — кротко, но настойчиво спрашивает Пиннеберг.

Молодой человек смотрит на Пиннеберга, Пиннеберг смотрит на молодого человека. Оба довольно прилично одеты — Пиннеберг иначе не может, служба обязывает,— оба чисто вымыты и выбриты, и под ногтями у обоих чисто. И оба они — служащие.

Но оба они — враги, смертельные враги, потому что один сидит за перегородкой, а другой стоит перед ней. Один требует то, что причитается ему по праву, другой полагает, что ему попросту надоедают.

— Только и знают, что дергать по пустякам, — ворчит молодой человек, но под взглядом Пиннеберга встает и скрывается в глубине зала. В глубине зала дверь, за этой дверью и скрывается молодой человек. Пиннеберг смотрит ему вслед. На двери — дощечка с надписью. Глаза у Пиннеберга не настолько остры, чтобы разобрать надпись, но чем пристальнее он вглядывается, тем более убеждается, что на дощечке написано: «Туалет».

В нем закипает ярость. Тут же, всего в каком-нибудь метре от него, сидит другой молодой человек; он заправляет буквой «О». Пиннебергу и хотелось бы спросить его насчет той двери, но он не видит в этом никакого смысла. «О», конечно, окажется не лучше «П»; виноват в этом зал, виновата перегородка.

После довольно продолжительного отсутствия, вернее сказать, после очень продолжительного отсутствия, молодой человек снова появляется из той же двери, на которой, как подозревает Пиннеберг, написано: «Туалет».

Пиннеберг напряженно смотрит ему в лицо, но его даже не удостаивают взгляда. Молодой человек садится, берет членский билет Пиннеберга, кладет его на перегородку и говорит:

— Решение принято.

— Значит, деньги высланы? Вчера или сегодня?

— Вам говорят, принято, — в письменном виде.

— Простите, а когда?

— Вчера.

Пиннеберг снова глядит на молодого человека. Тут что-то не так, думает Пиннеберг, ведь тот отлучался всего-навсего в уборную.

— Ну, берегитесь, если не застану дома денег!.. — угрожающе говорит он.

Но с ним уже разделались: молодой человек повернулся к своему соседу, букве «О», и беседует с ним на тему о том, «какие странные бывают люди». Пиннеберг в последний раз смотрит на своего собрата. Конечно, он и не ждал ничего другого, но все-таки досадно. Затем он бросает взгляд на часы: ему должно невероятно

повезти с трамваем, если он хочет вовремя поспеть к Манделю.

Как и следует ожидать, ему не везет. Как и следует ожидать, его не только отмечают в проходной, но и сам господин Иенеке накрывает его как раз в тот момент, когда он, задыхаясь, влетает в свой отдел. Господин Иенеке говорит:

— Ну-с, господин Пиннеберг? Пропал интерес к работе?

— Прошу прощения,— с трудом переводя дыхание, говорит Пиннеберг.— Я лишь на минутку забежал в больничную кассу. За пособием по родам...

— Дорогой мой Пиннеберг,— чеканит господин Иенеке,— вы мне уже четвертую неделю толкуете о том, что ваша супруга разрешилась от бремени. Признаю — это великое достижение, но в следующий раз потрудитесь придумать что-либо другое.

И не успевает Пиннеберг рта раскрыть, как господин Иенеке с достоинством удаляется, а Пиннеберг стоит и смотрит ему вслед.

Во второй половине дня Пиннебергу удастся перекинуться словечком с Гейльбутом за большой вешалкой для пальто. Этого с ними уже давно не случалось — отношения не те. С того дня как они вместе побывали в бассейне и Пиннеберг ни звуком не обмолвился о своем впечатлении, не говоря уже о том, чтобы присоединиться к их компании,— с того дня между ними словно черная кошка пробежала. Разумеется, Гейльбут слишком вежлив, чтобы показать, что обижен, но прежней теплоты в отношениях уже нет.

Пиннеберг изливает душу. Он начинает с Иенеке, но Гейльбут только плечами пожимает.

— Подумаешь, Иенеке. Господи, стоит ли принимать все это близко к сердцу!

Ладно, он не будет принимать это близко к сердцу, но что за люди в больничной кассе...

— Ничего себе,— говорит Гейльбут,— такие, какими им и быть положено. Но прежде всего о самом главном: хочешь, я ссужу тебе пятьдесят марок?

Пиннеберг тронут.

— Нет, нет, Гейльбут. Ни в коем случае. Уж как-нибудь выкрутимся. Просто деньги причитаются нам по праву. Посуди сам, скоро уже три недели, как она родила.

— На то, что ты мне рассказал,— задумчиво говорит Гейльбут,— я бы не стал обращать внимания. У этих типов на все есть отговорка. Но если сегодня вечером деньги не придут, я бы на твоём месте пожаловался.

— Все равно не поможет,— говорит Пиннеберг упавшим голосом.— Над нами они творят, что хотят.

— Нет, не им жаловаться, это, разумеется, не имеет смысла. Но существует надзор персонального обеспечения, они ему подчинены. Постой-ка, я посмотрю адрес в телефонной книге.

— Разве что и в самом деле есть такой надзор,— с надеждой говорит Пиннеберг.

— Теперь денежки сами приплывут к тебе в руки, вот увидишь.

Итак, Пиннеберг приходит домой, к своей Киске, и спрашивает:

— Деньги пришли?

Киска лишь плечами пожимает.

— Нет. Но зато есть письмо оттуда.

Пиннеберг вскрывает конверт, и в ушах его снова звучит наглое: «Решение принято!» Попадись он сейчас ему в руки, этот его собрат, попадись он только ему в руки!..

Итак: письмо и два красивых анкетных листа. Нет, до денег еще не дошло, с деньгами надо еще потерпеть.

Бумага. Письмо и два анкетных листа. Так просто сесть и заполнить их? Э, нет, голубчик, так просто это не делается. Прежде всего позаботься получить официальное свидетельство о рождении — «специально для представления в кассу», — простая больничная справка, понятно; нас не устраивает. Затем аккуратненько заполни и подпиши анкеты. Правда, в них сплошь и рядом спрашивается о том, что уже есть в нашей картотеке: сколько ты зарабатываешь, в каком году родился, где живешь, но анкета никогда не повредит.

А теперь, голубчик, главное. Твое дело, пожалуй, легко повернуть в один день, только изволь представить нам справки больничных касс, в которых ты и твоя супруга состояли за последние два года. Нам, правда, известно: врачи придерживаются того мнения; что женщины, в общем, вынашивают младенца только девять месяцев, но для пущей верности — пожалуйста,

справки за два последних года. Быть может, тогда нам посчастливится спихнуть расход на какую-нибудь другую больничную кассу.

Не откажите в любезности, господин Пиннеберг, потерпите с вашим делом до получения требуемых документов.

Пиннеберг смотрит на Киску, Киска смотрит на Пиннеберга.

— Только не надо так волноваться! — говорит она. — Ничего ты с ними не поделаешь.

— О господи! — стонет Пиннеберг. — Какие мерзавцы! Попадись этот тип мне в руки...

— Да перестань же, — говорит Киска. — Мы немедленно напишем в наши кассы, вложим конверты с марками...

— Во сколько это опять обойдется!

— ... и через три, самое большее — через четыре дня соберем справки и перешлем в кассу.

В конце концов Пиннеберг садится и пишет. С ним дело просто: ему надо написать лишь в свою больничную кассу в Духерове, а вот Киска, к сожалению, состояла раньше в двух различных кассах в Плаце. Ну что ж, теперь посмотрим, ведь ответят же когда-нибудь эти субчики. «...Не откажите в любезности, потерпите до получения требуемых документов!..»

Когда письма написаны, когда Киска уже спокойно сидит в своем красно-белом купальном халатике с малышом у груди и тот сосет, сосет, сосет, — Пиннеберг в последний раз обмакивает перо в чернила и своим красивейшим почерком принимается писать жалобу в надзор персонального обеспечения.

Нет, это не жалоба, так далеко он не зашел, это всего-навсего запрос: вправе ли касса обуславливать выплату пособия наличием данных документов? И действительно ли он должен представить справки больничных касс за два года?..

И, кроме того, это просьба: не могли бы вы помочь мне поскорее получить деньги? Они мне очень нужны.

Киска не очень-то обольщается надеждами насчет этого письма.

— Так они для тебя и расстарались.

— Но это же несправедливо! — возмущается Пиннеберг. — Пособие на кормление должно выплачиваться во время кормления. Иначе какой же в этом смысл?

И действительно, Пиннеберг как будто прав. Три дня спустя приходит открытка: по его заявлению проводится расследование, о результатах которого его известят.

— Вот видишь! — торжествует он.

— Да что же тут расследовать? — спрашивает Киска. — Дело-то ясное.

— А вот увидишь! — говорит он.

После этого наступает затишье. Заветные пятьдесят марок, разумеется, израсходованы, но тут следует очередная получка, и из нее снова откладываются сто марок. Ведь деньги должны прийти со дня на день.

Но деньги все не приходят, и расследование, по-видимому, еще не дало результатов. Приходят только справки от больничных касс из Духерова и Плаца. Все это: справки, анкеты, официальное свидетельство о рождении, которое давно получила Киска, — Пиннеберг собирает вместе и относит на почту.

— Интересно, что-то будет дальше, — говорит он.

Но на самом деле ему уже совсем не интересно: он так злился, он ночами не мог заснуть от ярости, и все без толку. Мы не в силах что-либо изменить, перед нами стена: хоть лбом об нее бейся, ничего не изменится.

И вдруг приходят деньги; приходят действительно быстро, их выслали сразу же после получения документов.

— Вот видишь, — в который уже раз говорит он. Киска видит, но предпочитает промолчать: не дай бог, он опять рассердится. — Интересно, какое такое расследование предпринял надзор. Уж теперь-то эти субчики в кассе получают по шапке!

— Едва ли тебе теперь ответят, — замечает Киска. — Ведь мы получили деньги.

И действительно, Киска как будто права: проходит неделя, потом проходит другая, потом проходит третья, начинается четвертая...

— Этих господ я тоже не совсем понимаю, — время от времени говорит Пиннеберг, меж тем как одна неделя сменяет другую. — Ведь я же писал им, что мне нужны деньги, а они прохлаждаются. Ерунда какая-то.

— Они не ответят, — снова говорит Киска.

Но на этот раз она не права. К исходу четвертой недели они ответили — ответили коротко и с достоинством.

вом, что считают вопрос исчерпанным, поскольку господин Пиннеберг уже получил деньги.

И это все? Ведь Пиннеберг спрашивал, вправе ли касса требовать от него документы, собрать которые весьма и весьма сложно?

Да, для этого почтенного органа — все. К чему затруднять себя ответом на его вопросы, раз Пиннеберг получил деньги?

И, однако, это не все. Остаются еще важные господа, что сидят в том великолепном здании, в правлении кассы, один из их низших представителей, молодой человек за перегородкой, в свое время очень мило разделался с Пиннебергом. Теперь важные господа разделяются с Пиннебергом самолично. Они послали в надзор персонального обеспечения письменное разъяснение по делу служащего Пиннеберга, и теперь надзор пересылает копию этого письма господину Пиннебергу.

Что же они пишут? Что его жалоба необоснованна. Ну, разумеется, что другое могут они написать? Но почему все-таки она необоснованна?

Потому что господин Пиннеберг — растяпа. Посудите сами, ему следовало уже такого-то и такого-то представить официальное свидетельство о рождении, а он послал его в кассу лишь неделю спустя! «По чьей вине произошла задержка, легко установить по документам», — пишет касса.

— И эти субчики ни слова не пишут о том, что они потребовали еще и справки больничных касс за два года! — кричит Пиннеберг. — Они потребовали кучу справок, а достать их сразу нельзя!

— Вот видишь, — говорит Киска.

— Да, вижу, — вне себя от ярости говорит он. — Все они мерзавцы. Они врут и передергивают, а потом нас же выставляют склочниками. Но уж теперь-то... — Он вдруг умолкает и погружается в раздумье.

— Что — теперь? — спрашивает Киска.

— Я еще раз напишу в надзор, — торжественно заявляет он. — Я скажу им, что для меня вопрос не исчерпан, что дело не только в деньгах, они передернули факты. Эти штучки пора бросать! С нами должны обращаться по-людски, мы тоже люди.

— А есть ли смысл?.. — спрашивает Киска.

— Что же, значит, им все дозволено? — вне себя от ярости говорит он. — Довольно и того, что они живут,

ни о чем не думая, в своих теплых, роскошных дворцах и управляют нами! А теперь еще и измываться над нами, в склочники нас записывать! Нет, я этого так не оставлю! Я буду защищаться, я не буду сидеть сложа руки!..

— Нет, нету смысла,— повторяет Киска.— Не стоит связываться. Посмотри, ты уже сейчас сам не свой от волнения. Ты выматываешься на работе, а они приходят в свои конторы свеженькие как огурчики, они располагают своим временем и могут перезваниваться с господами из надзора, и, уж конечно, они будут стоять друг за друга, а не за тебя. Ты вконец изведешься, а они только посмеются над тобой.

— Но ведь надо же что-то делать! — в отчаянии кричит он.— Я просто больше этого не вынесу! Неужели мы должны со всем мириться? Неужели мы должны допускать, чтобы нами помыкали?

— Теми, кем мы могли бы помыкать, мы помыкать не хотим,— говорит Киска и берет Малыша, чтобы покормить его на ночь.— Я еще от отца слышала: один тут ничего не сделает, над ним только посмеются, когда он будет дергаться у них на глазах. Для них это удовольствие.

— Но ведь можно же...— заводит свое Пиннеберг.

— Нельзя,— отвечает Киска.— Нельзя. Перестань.

И смотрит так сердито, что Пиннеберг, совершенно обескураженный, лишь на мгновение задерживает на ней взгляд и тут же отводит его. Такой он ее еще не видел.

Он подходит к окну, выглядывает в сад и вполголоса произносит:

— Все же в следующий раз буду голосовать за коммунистов.

Киска молчит. Ребенок спокойно сосет грудь.

Апрель нагоняет страху. Гейльбут приходит на помощь.

Куда делся Гейльбут? Гейльбут пропал

Наступил апрель, настоящий переменчивый апрель: то солнце, то ненастье, то ливни с градом; зазеленела трава, зацвели маргаритки, бурно пошла в рост кусты и деревья. Г-н Шпанфус у Манделя тоже бурно пошел в рост, и продавцы в отделе готового мужского платья, что ни день, сообщали друг другу о все новых его усоч-

вершенствований. По большей части они сводились к тому, чтобы заставить продавца работать за двоих, а если работы невпроворот — приставлять к нему ученика.

— Как твои дела? — время от времени спрашивает Гейльбут у Пиннеберга. — Сколько выручил?

Пиннеберг отводит взгляд и, лишь после того как Гейльбут спрашивает вторично: «Да говори же: сколько? У меня больше чем надо», — смущенно отвечает:

— Шестьдесят.

Или:

— Сто десять, только мне ничего не надо, как-нибудь справлюсь.

А потом они устраивают так, что Пиннеберг оказывается возле Гейльбута, когда тот продал костюм или пальто, а потом Пиннеберг записывает продажу в свою чековую книжку.

Разумеется, тут нужно держать ухо востро. Иенеке во все сует нос, а доносчик Кеслер и подавно во все сует нос. Но они очень осторожны, они дожидаются, пока Кеслер уйдет обедать, а если случится, что он все же подкатится к ним, они говорят, что Пиннеберг помог обработать покупателя, и Гейльбут с невозмутимым спокойствием спрашивает, не желает ли г-н Кеслер получить по морде.

Увы! Где те времена, когда Пиннеберг считал себя хорошим продавцом? Теперь все изменилось, совершенно изменилось. Конечно, и покупатель теперь не тот — куда труднее прежнего. Приходит, например, этаким здоровенный, раскормленный лоб со своей половиной, спрашивает ульстер:

— Не дороже двадцати пяти марок, молодой человек! Понимаете? Один мой партнер по скату купил за двадцать — чистая английская шерсть, двусторонняя, понимаете?

— Вероятно, вам несколько преуменьшили стоимость покупки, — тонко улыбается Пиннеберг. — Ульстер из чистой английской шерсти за двадцать марок...

— Послушайте, молодой человек! Не рассказывайте мне, пожалуйста, будто мой приятель надул меня. Он порядочный человек, понимаете? Не хватало еще, понимаете, чтобы вы чернили моих друзей, — кипятится здоровяк.

— Прощу прощения, — пытается поправить дело Пиннеберг.

Кеслер смотрит на него, г-н Иенеке стоит за вешалкой справа. Но никто не приходит на помощь. Пиннеберг дал маху.

— Зачем вы раздражаете покупателей? — мягко спрашивает г-н Иенеке. — Раньше вы были совсем другим, господин Пиннеберг.

Да, Пиннеберг и сам знает, что раньше он был другим. Во всем виноват магазин Манделя. Все началось с этих проклятых норм выручки — пропала уверенность в себе. В начале месяца дело еще идет кое-как: у людей есть деньги, они кое-что покупают, Пиннеберг отлично справляется с заданием и уверен в себе: «В этом месяце наверняка обойдусь без Гейльбута».

Но потом наступает день, а за ним и другой — покупателей нет. «Завтра нужно наторговать на триста марок», — думает Пиннеберг, уходя вечером от Манделя.

«Завтра нужно наторговать на триста марок», — это его последняя мысль, когда он уже поцеловал Киску на ночь и лежит в темноте. Трудно заснуть с такой мыслью, она мучит его день и ночь.

«Сегодня нужно наторговать на триста марок», — и при вставанье, и за кофе, и по пути на работу, и в магазине — всегда и везде: «На триста марок».

Вот пришел покупатель — ему нужно пальто за восемьдесят марок, это четверть нормы — решайся же, покупатель! Пиннеберг приносит пальто, примеряет, торгует с каждым фасоном, и чем больше он волнуется (решайся! решайся же!), тем более расхолаживается покупатель. Пиннеберг выкладывается сполна, даже пробует взять угодливостью: «У вас такой замечательный вкус, вам что ни надень — все к лицу...» Он чувствует, как становится покупателю все неприятнее, все противнее, но ничего не может с собою поделать. «Подумаю еще», — говорит покупатель и уходит.

Пиннеберг стоит, а сердце у него, можно сказать, падает; он понимает, что все сделал не так, но в нем сидел, его подгонял страх — дома у него двое, все и так держится на волоске, они едва сводят концы с концами, и не дай бог, если...

Конечно, он еще держится, Гейльбут приходит на помощь, Гейльбут — порядочнейший из порядочных, он сам приходит на помощь, он спрашивает: «Ну что, Пиннеберг, сколько?..» Он никогда не поучает, не уговаривает взять себя в руки, он не несет умного вздора,

подобно Иенеке и г-ну Шпанфусу, он знает: Пиннеберг может торговать, он только в данный момент не может. Пиннеберг не тверд, Пиннеберг слаб, и, если на него давят, он выходит из формы, расклеивается, раскисает.

Нет, он не теряет мужества, он все время подхлестывает себя, и у него бывают счастливые дни, когда он по-прежнему на высоте, когда он не знает неудач. Он уже думает, что справился со своим страхом.

А потом являются господа начальники и этак походя бросают:

— Однако, господин Пиннеберг, вы могли бы поворачиваться и поживее.— Или: — А почему, собственно, у вас совсем не идут темно-синие костюмы? Хотите, чтоб они залежались на складе?

Они проходят дальше, они прошли, следующему продавцу они скажут что-либо другое или то же самое. Гейльбут прав: на это не стоит обращать внимания, все это окрики погонял, не больше; они считают, что обязаны так говорить,— и говорят.

Нет, на их болтовню не стоит обращать внимания — но попробуй не обращай! Сегодня Пиннеберг наторговал на двести пятьдесят марок, как вдруг заявляется этот самый организатор и говорит:

— У вас такой усталый вид, сударь. Советую брать пример с ваших коллег за океаном, в Штатах: вечером они так же свежи, как утром. Keep smiling! Известно ли вам, что сие значит? Всегда улыбайтесь! Усталости быть не должно! Усталый продавец — плохая реклама для фирмы...

Он шествует дальше, а Пиннебергом владеет одна только мысль: «По морде, по морде бы тебя, гада!» Но при всем том он не забывает отпустить и учтивый поклон, и smiling, а уверенности в себе как не бывало.

Ах, его дела еще не так плохи. Он знает, что нескольких продавцов уже вызывали в отдел личного состава — кого предупредили, кого взбодрили, смотря по обстоятельствам.

— Вкатили первый укол,— шутят сослуживцы.— Скоро умрет.

И это так, потому что после подобного внушения страх растет — ведь продавец знает, что еще два таких укола — и конец: безработица, пособие, благотворительная касса — конец.

Его еще не вызывали, но не будь Гейльбута, он бы уже давно испекся. Гейльбут — его оплот, Гейльбут неуязвим, Гейльбут всегда в форме и способен сказать г-ну Иенеке:

— А не покажете вы мне хоть раз, как надо торговать по-настоящему?

На что г-н Иенеке отвечает:

— Потрудитесь оставить этот тон, господин Гейльбут! — и удаляется.

Но в один прекрасный день Гейльбута не стало, вернее сказать, он пришел в магазин, поторговал немного, а потом исчез среди бела дня, никто не знал — куда.

Впрочем, Иенеке, возможно, и знал, потому что ни разу не спросил о нем. И Кеслер, по всей вероятности, знал, потому что он всех о нем спрашивал, причем столь подчеркнутым, столь язвительным тоном, что всем было ясно: случилось нечто из ряда вон выходящее.

— Вы не знаете, куда делся ваш друг Гейльбут? — спрашивает он Пиннеберга.

— Заболел, — бурчит в ответ Пиннеберг.

— Ай-яй-яй! — злорадствует Кеслер. — Не хотел бы я заболеть такой болезнью!

— В чем дело? Вам что-нибудь известно? — спрашивает Пиннеберг.

— Мне? Ровным счетом ничего. А что мне должно быть известно?

— Позвольте, вы же сами сказали...

Кеслер глубоко оскорблен.

— Мне ровным счетом ничего не известно. Слышал только, его вызывали в отдел личного состава. Получил свои документы, понимаете?

— Вздор! — говорит Пиннеберг и очень внятно бурчит ему вслед: — Идиот!

С чего бы Гейльбуту возвратили документы, с чего бы им увольнять своего лучшего продавца? Глупости. Любого другого, только не Гейльбута.

На следующий день Гейльбута нет как нет.

— Если его и завтра не будет, пойду к нему вечером на квартиру, прямо от Манделя, — говорит Пиннеберг Киске.

— Сходи, — говорит она.

Но на завтра все разъясняется. Не кто иной, как сам г-н Иенеке удостоивает Пиннеберга объяснением.

— Ведь вы как будто были большие друзья с этим самым... Гейльбутом?

— Я и сейчас его друг,— хорохорится Пиннеберг.

— Вот как. А вы знаете, что у него были несколько странные взгляды?

— Странные?..

— Ну да, относительно наготы.

— Да,— нерешительно произносит Пиннеберг.— Он мне что-то об этом рассказывал. Какое-то общество культуры нагого тела.

— Вы в нем тоже состоите?

— Я? Нет.

— Ну естественно, ведь вы женаты.— Г-н Иенеке выдерживает паузу.— Так вот, мы были вынуждены уволить его, этого вашего друга Гейльбута. С ним вышла очень некрасивая история.

— Не может быть!— с горячностью восклицает Пиннеберг.— Не верю!

Господин Иенеке только улыбается.

— Дорогой мой Пиннеберг, вы совсем не знаете людей. Это видно хотя бы по тому, как вы обслуживаете покупателей.— И категорически: — Да, очень некрасивая история. Господин Гейльбут публично торговал собственными фотографиями в голом виде.

— Что такое?..— вскрикивает Пиннеберг. В конце концов он не первый день живет в столице, но еще ни разу не слышал, чтобы кто-либо публично торговал в Берлине собственными фотографиями в голом виде.

— К сожалению, это так,— говорит г-н Иенеке.— В конечном счете это делает вам честь, что вы не отрекаетесь от своего друга. Хотя и не свидетельствует в пользу вашего знания людей.

— Я все еще ничего не понимаю,— говорит Пиннеберг.— Публично? В голом виде?..

— И уж от нас, во всяком случае, никто не вправе требовать, чтобы мы держали продавца, чьи фотографии в голом виде ходят по рукам покупателей, а может быть, и покупательниц. При такой характерной внешности — нет, увольте!

И с этими словами господин Иенеке следует дальше, улыбаясь дружески и до некоторой степени даже поощрительно, насколько позволяет дистанция между ним и Пиннебергом.

— Ну что, просветились насчет своего дружка Гейльбута? Порядочная свинья, как я погляжу! Никогда я его терпеть не мог, этого кобеля!

— А я мог,— очень внятно говорит Пиннеберг.— Если вы еще раз в моем присутствии...

Нет, Кеслер не может тут же показать ему красивую фотографию Гейльбута в голом виде, хотя ему и очень хотелось бы видеть, какой эффект это произведет на Пиннеберга. Пиннеберг увидел фотографию несколько позже, тем же утром. Новость произвела фурор не только в отделе готового мужского платья — она давно распространилась по всему заведению: ее, не переставая, обсуждают продавщицы в отделе шелковых чулок — справа — и женских головных уборов — слева; фотография переходит из рук в руки.

Таким путем попадает она и к Пиннебергу, который все утро ломал голову над тем, каким образом Гейльбут мог публично продавать собственные фотографии в голом виде. Оказывается, дело обстоит несколько иначе, до этого он не дошел. Г-н Иенеке и прав и не прав. Речь идет о журнале, об одном из тех журналов, о которых никогда толком не знаешь, для чего они существуют, — для пропаганды естественности наготы или для разжигания похоти.

На обложке журнала, в овальной рамке, стоит Гейльбут, в воинственной позе, с метательным копьем в руке. Да, это, несомненно, он. Снимок очень удачный, должно быть, любительский; действительно, он прекрасно сложенный мужчина, сейчас он метнет копье... и, конечно, он безо всего. Что и говорить, очень пикантное ощущение для молоденьких продавщиц, поклонниц Гейльбута, — созерцать его в столь приятной обнаженности! Надо полагать, он не обманул ничьих ожиданий. Но чтоб это вызвало столько волнений...

— Кто же интересуется такими журналами? — спрашивает Пиннеберг у Лаша. — Это еще не повод для увольнения.

— Конечно, опять Кеслер разноухал, — отвечает Лаш. — Во всяком случае, журнал принес он. И он первый обо всем узнал.

Пиннеберг решает навестить Гейльбута, хотя и не сегодня вечером: сегодня вечером надо еще посоветоваться с Киской. Он славный малый, но не такой уж он смелый, наш Пиннеберг; несмотря на дружбу, эта исто-

рия все же кажется ему несколько щекотливой. Он покупает номер журнала и приносит его Киске в качестве иллюстрации.

— Разумеется, ты должен сходить,—говорит она.— И не позволяй хаять его в твоём присутствии.

— Как ты его находишь? — с тревожным любопытством спрашивает Пиннеберг, ибо он все-таки чуточку завидует этому мужчине с таким красивым телом.

— Он хорошо сложен,— отвечает фрау Пиннеберг.— А у тебя уже растет брюшко. Руки и ноги у тебя тоже не такие красивые, как у него.

Пиннеберг совсем смущен.

— Что ты хочешь сказать? По-моему, он просто великолепен. Ты могла бы влюбиться в него?..

— Едва ли. Я не очень люблю брюнетов. И потом,— она обвивает его шею и с улыбкой глядит на него,— я все еще влюблена в тебя.

— Все еще влюблена? — спрашивает он.— Правда-правда?

— Все еще влюблена,— отвечает она.— Правда-правда.

На следующий вечер Пиннеберг действительно заглядывает к Гейльбуту. Тот нимало не смущен.

— Ты в курсе дела, Пиннеберг? Они здорово влипли с моим увольнением — ведь меня не предупредили. Я подал жалобу в суд по трудовым делам.

— Думаешь выкрутиться?

— Как пить дать. Я выкрутился бы даже в том случае, если бы фотография была напечатана с моего разрешения. А я могу доказать, что это сделано без моего ведома. С меня взятки гладки.

— Ну, а дальше что? Трехмесячный оклад и — пожалуйста в безработные.

— Пиннеберг, дорогой мой, уж я где-нибудь да устроюсь, а не устроюсь — на собственные ноги встану. Уж я-то выкручусь, не пойду толкаться на биржу.

— Я думаю. А возьмешь меня к себе, если заведешь собственное дело?

— Разумеется, Пиннеберг. Тебя первого.

— Без норм?

— Разумеется, без норм! Но вот как ты-то теперь? Тебе теперь туго придется. Выкрутишься один?

— Должен, должен выкрутиться,— уверенно отвечает Пиннеберг, хотя он и не очень в себе уверен.—

Как-нибудь обойдется. Последние дни шло совсем недурно. Набрал сто тридцать вперед.

— Ну что же,— говорит Гейльбут.— Возможно, для тебя даже хорошо, что меня не будет.

— Э, нет, с тобою было бы лучше.

А теперь он идет домой, Пиннеберг Иоганнес. Странное дело: поговоришь с Гейльбутом этак с полчаса, и вот уже и говорить не о чем. Пиннеберг действительно очень любит Гейльбута, да и человек он удивительно порядочный, но настоящим другом его не назовешь. Его близость не греет.

Поэтому Пиннеберг не торопится повторить свой визит, больше того,— он вновь решает навеститься к Гейльбуту после того только, как ему непосредственно напоминают о существовании Гейльбута: в магазине говорят, что Гейльбут выиграл процесс против Манделя.

Однако, придя к Гейльбуту, Пиннеберг узнает, что он съехал.

— Понятия не имею, куда, очень может быть, в Дальдорф или Виттенау, так, что ли, это сейчас называется. Туда ему и дорога, совсем свихнулся человек и, поверите, еще и меня, старую женщину, в свои пакости хотел втянуть!

Гейльбут пропал.

Пиннеберг под арестом. Яхману мерещатся призраки.
Ром без чаю

Вечер, чудесный светлый вечер — конец весны, начало лета. Пиннеберг закончил свой трудовой день, он выходит из магазина Манделя, он прощается с сослуживцами: «До завтра!» — и рысцой до дому.

Но тут на его плечо ложится чья-то рука.

— Пиннеберг, вы арестованы!

— Да ну? — ни чуточки не испугавшись, говорит Пиннеберг.— Неужели? Ах, это вы, господин Яхман! Сколько лет, сколько зим!

— Сразу видеть спокойную совесть,— меланхолически замечает Яхман.— Даже не вздрогнул. Господи! Хорошо быть молодым! Завидую!

— Полегче насчет зависти, господин Яхман,— говорит Пиннеберг.— Вы бы не выдержали и трех дней в моей шкуре. У Манделя...

— При чем тут Мандель? Хотел бы я, чтобы у меня было ваше место! Как-никак, это что-то прочное, солидное,— говорит печальный Яхман, медленно вышагивая рядом с Пиннебергом.— Все теперь так грустно. Ну да ладно. Как поживает супруга, молодожен?

— Жена здорова,— отвечает Пиннеберг.— У нас теперь мальчик.

— О господи! В самом деле? — Яхман крайне изумлен.— Мальчик! Ишь как быстро у вас это получилось. Неужели вы можете позволить себе ребенка? Завидую!

— Позволить-то как раз не можем,— отвечает Пиннеберг.— Но если б только это решало дело, тогда бы наш брат вообще не обзаводился детьми. А теперь уж деваться некуда.

— Верно,— говорит Яхман, а сам определенно пропустил все мимо ушей.— Пойдите-ка, Пиннеберг, пойдите! Вот книжный магазин, посмотрим, что тут на витрине...

— Зачем?..— недоуменно спрашивает Пиннеберг.

— Весьма поучительная книга!— нарочито громко произносит Яхман.— Узнал из нее кучу интересного.— И шепчет: — Взгляните налево. Только незаметно, совсем незаметно.

— Зачем?..— снова спрашивает Пиннеберг, и поведение Яхмана начинает казаться ему очень загадочным, а сам Яхман — очень изменившимся.— Что я там увижу?

— Видите того толстого седого старикана в очках, со включенной бородой?

— Ну, вижу,— отвечает Пиннеберг.— Вон он идет.

— Вот и отлично,— говорит Яхман.— Не спускайте с него глаз. Разговаривайте со мной как ни в чем не бывало. Только не называйте имен, а тем более — мое имя. Рассказывайте что-нибудь!

«Что случилось? — пронесется в мозгу у Пиннеберга.— Что ему надо? И о матери ни слова не сказал».

— Да говорите же что-нибудь,— насаждает Яхман.— Рассказывайте! Ведь это просто нелепо: идут двое рядом и молчат. Это бросается в глаза.

«Бросается в глаза? — недоумевают Пиннеберг.— Кому?» — И вслух:

— Отличная стоит погода, вы согласны, господин... И едва не назвал его по имени.

— Поосторожнее, брат,— шепчет Яхман, и нарочито громко: — Да, погода и вправду хоть куда.

— Но дождичек все же не повредит,— продолжает Пиннеберг, задумчиво рассматривая спину седого господина, идущего на три шага впереди них.— Суховато все-таки.

— Да, дождичек не повредит,— сразу же соглашается Яхман.— Только не в воскресенье, как по-вашему?

— Нет, конечно, нет! — отвечает Пиннеберг.— Только не в воскресенье!

И тут он чувствует, что иссяк, решительно иссяк. В голову ничего не приходит. Он искоса взглядывает на Яхмана и замечает, что тот уже не пышет здоровьем, как прежде. И еще он замечает, что Яхман тоже напряженно глядит на спину седого господина, идущего перед ними.

— О боже, да говорите же что-нибудь, Пиннеберг,— нервничает Яхман.— Ведь есть же у вас что рассказать. Когда я встречаю знакомого, с которым не виделся полгода, у меня всегда находится что рассказать.

— А сейчас вы сами назвали меня по имени,— констатирует Пиннеберг.— Но куда, собственно, мы идем?

— К вам, куда же еще? Я иду вместе с вами.

— Тогда нам нужно было свернуть налево,— замечает Пиннеберг.— Я живу теперь в Альт-Моабите.

— Ну, так чего же вы не свернули? — сердится Яхман.

— Я думал, нам нужно идти за тем седым господином...

— Ах ты, боже мой! — говорит Яхман.— Неужто до вас еще не дошло?

— Нет,— признается Пиннеберг.

— Так вот, идите в точности так, как если бы вы шли домой. После я вам все объясню, а пока разговаривайте со мной.

— Тогда нам опять налево,— замечает Пиннеберг.

— Ну и прекрасно, ну и идите себе налево,— сердится Яхман.— Как поживает ваша супруга?

— У нас родился мальчик,— в отчаянии говорит Пиннеберг.— Жена здорова. Не могли бы вы мне объяснить, что, собственно, произошло, господин Яхман? Я чувствую себя болваном.

— О господи, надо ж было назвать мое имя! — кипятится Яхман. — Теперь он наверняка пойдет за нами. Вы уж теперь хоть не оглядывайтесь, милейший!

Пиннеберг — ни звука, Яхман после вспышки — тоже ни звука. Они проходят квартал, затем, свернув за угол, — еще квартал, переходят улицу — и вот они на пути, которым Пиннеберг всегда ходит домой.

В светофоре красный свет, придется подождать.

— Вы еще видите его? — тревожно спрашивает Яхман.

— Но ведь вы же не велели... Нет, я его больше не вижу. Он еще раньше прошел прямо.

— Ах так! — произносит Яхман, и в голосе его слышится облегчение. — Стало быть, я опять ошибся. Порою мне мерещатся призраки.

— Так не объясните ли вы мне, господин Яхман... — начинает Пиннеберг.

— Нет. То есть объясню, но потом. Сейчас мы идем к вам. К вашей супруге. Вы говорите, у вас мальчик? Или девочка? Прекрасно! Великолепно! Все прошло благополучно? Ну, разумеется. Такая женщина! Видите ли, Пиннеберг, я никогда не мог понять, каким образом ваша мамаша хлопотала себе сына. Тут была явная бляшка со стороны провидения, не только фабрики резиновых изделий. Простите, ради бога. Ведь вы меня знаете. Где тут поблизости цветочный магазин? Ведь мы пройдем мимо какого-нибудь цветочного магазина? А может, ваша супруга предпочитает конфеты?

— Это совершенно излишне, господин Яхман...

— Я сам знаю, сам решаю, что лишне, а что не лишне, молодой человек. — О, как он сразу взыграл, этот Яхман! — Цветы и пралине? Против этого не устоит ни одно женское сердце. Правда, ваша мамаша устоит, ну да что о ней толковать, она — особый случай. Итак, цветы и конфеты. Постойте, я сейчас.

— Только не надо...

Но Яхман уже скрылся в кондитерской. Две минуты спустя он выскакивает оттуда:

— Вы хоть имеете представление, какие конфеты любит ваша супруга? Как насчет пьяных вишен?

— Об алкоголе не может быть и речи, господин Яхман, — укоризненно говорит Пиннеберг. — Ведь она еще кормит.

— Ах да, она кормит. Ну, разумеется. А собственно, как это так она кормит? Ах да, она кормит ребенка. Ну, разумеется! И в таком случае нельзя есть пьяных вишен? Вот не знал! Да, нелегко жить на свете, доложу я вам.

Дотолковавшись до сути, он снова скрывается в кондитерской и немного погодя возвращается, обремененный большущим пакетом.

— Господин Яхман! — с тревогой произносит Пиннеберг. — Так много? Право, не знаю, как примет все это жена...

— А почему? Никто не заставит ее съесть все сразу. Это потому только, что я не знаю ее вкуса. Столько разных сортов. Ну, а теперь глядите, как бы не пропустить цветочный магазин...

— Нет, уж это вы оставьте, господин Яхман. Это уж чересчур.

— Чересчур? Нет, вы только послушайте, что говорит этот молодой человек! Да знаете ли вы вообще, что такое чересчур?

— То, что вы собираетесь поднести цветы моей жене!

— Не-ет, молодой человек. Чур на одного, а через чур — ни для кого — вот это действительно чересчур. На этот счет существует анекдот, только вам я его рассказывать не буду, у вас нет вкуса к подобным вещам. А вот и магазин...

Яхман останавливается, что-то соображая.

— Понимаете, очень уж не хочется подносить вашей супруге этикие гильотинированные цветочные трупы — лучше уж взять цветы в горшке. Это более подходит для молодой женщины. Она все такая же белокурая?

— Господин Яхман, прошу вас!..

Но Яхман уже исчез. Проходит порядочно времени, и вот он появляется вновь.

— Вот такой магазин, господин Пиннеберг, как раз подошел бы вашей супруге. Надо бы ей это устроить. Где-нибудь в хорошем районе, где эти идолы ценят, когда их обслуживает такая красавица.

Пиннеберг не знает, куда деваться от смущения.

— Ну, господин Яхман, что моя жена красавица, это уж вы того...

— Не порите чушь, Пиннеберг, говорите лишь о том, в чем сколько-нибудь смыслите! Впрочем, не уверел,

смыслите ли вы в чем-нибудь вообще. Красота!.. Вы небось думаете о красотках кино — размалеванные с лица, а с изнанки жадные дуры.

— Целую вечность не был в кино,— грустно говорит Пиннеберг.

— Но почему же? В кино надо ходить постоянно — хоть каждый вечер, сколько душа выдержит. Это придает уверенность в себе: сам черт мне не брат, другие в тысячу раз глупее... Так, стало быть, идем в кино. Незамедлительно! Сегодня же вечером! А что сейчас идет? Прочитаем на первой же афише...

— Но ведь первым делом,— ухмыляется Пиннеберг,— вы хотели купить жене цветочный магазин?

— Ну, конечно... А вы знаете, это блестящая идея. Это было бы выгодное помещение капитала. Но только...— Яхман тяжело вздыхает, перекладывает в одну руку два цветочных горшка и пакет с конфетами, а освободившейся берет Пиннеберга под локоть.— Но только ничего-то у нас не выйдет, юноша. Мои дела сейчас дрянь...

— Ну, так и нечего опустошать ради нас магазины!— возмущается Пиннеберг.

— Ах, не говорите ерунды! Не о деньгах речь. Денег у меня — вагон. Пока что. И все же мои дела сейчас дрянь. В другом разрезе. Ну да мы еще поговорим об этом. Я все расскажу вам, вам и вашей Киске. А сейчас скажу только...— Он совсем близко наклоняется к Пиннебергу и шепчет: — Ваша мамаша — стерва.

— Я всегда это знал,— с невозмутимым спокойствием говорит Пиннеберг.

— Ах, вы все понимаете не так,— говорит Яхман и высвобождает руку.— Да, стерва, настоящая скотина, но при всем том — замечательная женщина... Нет, с цветочным магазином пока что не выгорит...

— Из-за того старикана со всклокоченной бородой? — высказывает предположение Пиннеберг.

— Что? Какой старикан?.. Ну что вы, Пиннеберг,— смеется Яхман,— это я вас разыгрывал. Неужели до вас еще не дошло?

— Э, нет,— отвечает Пиннеберг.— Так я вам и поверил!

— Ну ладно. После сами увидите. А в кино мы сегодня вечером пойдем. Впрочем, нет, сегодня вечером не выйдет, сегодня лучше поужинаем дома. Что у вас сегодня на ужин?

— Жареная картошка,— заявляет Пиннеберг.—
И копченая селедка.

— А пить что будем?

— Чай,— отвечает Пиннеберг.

— С ромом?

— Жена в рот не берет спиртного!

— Правильно! Она кормит. Вот она — супружеская жизнь. Жена в рот не берет спиртного. Значит, я тоже в рот не беру спиртного. Эх вы, бедняга!

— Но я совсем не люблю ром к чаю.

— Вы просто внушили себе это потому, что женаты. Будь вы холостяком, еще как бы любили, все это знамения супружеской жизни. Ах, только не говорите мне, что я не был женат и ничего в этом не понимаю. Я все прекрасно понимаю. Когда я жил с какой-нибудь женщиной и у меня начинались такие знамения, как ром без чаю...

— Ром без чаю...— серьезно повторяет Пиннеберг.

Но Яхман ничего не замечает:

— ...Да, вот именно,— тогда я порывал с ней, порывал бесповоротно, как бы тяжело мне ни было... Так, стало быть, жареная картошка с кильками...

— С селедкой.

— Ага, селедка с чаем. Знаете что, Пиннеберг, я на минутку заскочу в магазин. Но уж это в последний раз, честное слово...

И Яхман исчезает в гастрономическом магазине.

Когда он появляется вновь, Пиннеберг весьма твердо говорит:

— А теперь вот что я вам скажу, господин Яхман...

— Да? — отзывается тот.— Между прочим, ничего с вами не случится, если вы возьмете у меня пакет.

— Давайте. Так вот, нашему Малышу всего-навсего три месяца. Он еще ничего не видит, ничего не слышит, ни во что не играет...

— К чему вы мне это рассказываете?

— К тому, что если вас вдруг осенит зайти в игрушечный магазин и купить моему сыну мишку или железную дорогу, то вы меня больше у дверей не застанете!

— Игрушечный магазин,— произносит Яхман мечтательно.— Мишка... Железная дорога... Послушать только, как выговаривает это папаша! А мы пройдем мимо игрушечного магазина?

На Пиннеберга нападает смех.

— Я бегу, господин Яхман,— говорит он.

— Вы действительно чудак человек, Пиннеберг,— со вздохом говорит Яхман.— Ведь я в некотором роде ваш отец.

Непрошенный постоялец. Яхман открывает хорошую, здоровую жизнь

Они поздоровались — Киска и Яхман,— после чего Яхман из вежливости постоял минутку над постелькой Малыша и сказал:

— Слов нет, совершенно очаровательный ребенок.

— Весь в мать,— сказала Киска.

— Весь в мать,— подтвердил Яхман.

Потом Яхман распаковался, и тут уж Киска, при виде такого обилия вкусных вещей, из вежливости сказала:

— Ах, господин Яхман, вы это совершенно напрасно!

Потом они поели и попили (чай был, картошки с сеledкой не было), после чего Яхман откинулся на спинку кресла и произнес благодушно:

— Ну, а теперь побалуемся сигарой.

На что Киска необычайно энергично возразила:

— К сожалению, с баловством ничего не выйдет: курить в одной комнате с Малышом воспрещается.

— Вы это серьезно? — спросил Яхман.

— Совершенно серьезно,— ответила Киска решительно, а когда Хольгер Яхман тяжело вздохнул, предложила: — Можете выйти на крышу и дымите себе на здоровье, муж всегда так делает. Я выставлю вам свечку.

— Идет,— согласился Яхман.

И вот они начали прогулку по крыше кинозала, взад-вперед, взад-вперед, Пиннеберг с сигаретой, Яхман—с сигарой. Оба молчат. Свечка стояла на полу, и ее слабый свет не достигал даже запыленных стропил.

Взад-вперед, взад-вперед. Рядышком, молча. И, так как сигарету выкурить скорее, чем сигару, Пиннеберг успел юркнуть к Киске и пошущукаться насчет такого чрезвычайного происшествия.

— Что он сказал? — спросила Киска.

— Ничего. Просто взял и пошел со мной.

— Вы с ним случайно встретились?

— Не знаю. Похоже, он меня поджидал. Но наверняка не знаю.

— Все это очень загадочно,— говорит Киска.— Чего ему от нас надо?

— Понятия не имею. Началось с того, что ему взбрело в голову, будто какой-то седой старик гонится за ним.

— Что значит — гонится?

— Ну, вроде как из уголовной полиции, что ли. И с мамашей он рассорился. Возможно, одно связано с другим.

— Так...— говорит Киска.— И больше он ничего не сказал?

— Сказал. Завтра вечером он хочет сводить нас в кино.

— Завтра вечером? Он, что же, хочет остаться у нас? Но ведь он не может остаться у нас на ночь. Лишней кровати у нас нет, а диван для него слишком короток.

— Разумеется, он не может остаться у нас... Ну, а вдруг возьмет да останется?

— Через полчаса,— говорит Киска решительно,— я буду кормить Малыша. И если ты ему до тех пор не скажешь, скажу я.

— Придется сказать,— со вздохом говорит Пиннеберг и выходит к молча прогуливавшемуся по крыше гостю.

Немного спустя Яхман тщательно притоптал окурок, глубоко вздохнул и сказал:

— Порою я вовсе не прочь поразмыслить. Вообще-то я охотнее говорю, но иной раз так чудесно поразмыслить с полчаса.

— Вы разыгрываете меня! — протестует Пиннеберг.

— Нисколько, нисколько. Вот я сейчас раздумывал, каким я был в детстве...

— Ну и...? — говорит Пиннеберг.

— Не знаю, как вам сказать...— отвечает Яхман нерешительно.— Думаю, что теперь я совсем не тот, каким был прежде.— Он присвистнул.— Возможно, я с самого начала испортил себе всю музыку. Ведь, в сущности, я страшный воображала. Начинал-то я, видите ли, лакеем.

Пиннеберг молчит.

Яхман вздыхает.

— Ну да теперь уж бессмысленно говорить об этом. Тут вы совершенно правы. Вернемся к вашей супруге?

Они входят, и Яхман в самом радужном настроении с места в карьер начинает болтать всякую чушь.

— Так вот, фрау Пиннеберг, у вас самая фантастическая квартира на свете. Я немало повидал на своем веку, но чтобы была такая фантастическая и уютная квартира... И как только жилищный надзор разрешает! Уму непостижимо!

— Он и не разрешает,— замечает Пиннеберг.— Мы живем здесь без прописки.

— Без прописки?

— Ну да, ведь, в сущности, это не квартира, а складское помещение. И то, что мы тут проживаем, известно лишь нашему хозяину, который сдал нам склад. Формально мы прописаны у него внизу.

— Так...— медленно произносит Яхман.— Значит, никто, даже полиция, не знает, что вы тут живете?

— Никто,— подтверждает Пиннеберг и бросает выразительный взгляд на Киску.

— Хорошо,— говорит Яхман.— Очень хорошо.— И обводит комнаты прямо-таки любовным взором.

— Господин Яхман,— говорит Киска, принимая на себя роль херувима с мечом.— Я должна перепеленать и покормить на ночь ребенка...

— Хорошо,— повторяет Яхман.— Не смущайтесь моим присутствием. А после этого и нам лучше сразу отправиться на боковую. Я сегодня весь день в бегах, страшно устал. Я тем временем сооружу себе ложе на диване. Подушки и стулья есть...

Супруги переглядываются. Потом Пиннеберг поворачивается, подходит к окну и начинает барабанить пальцами по стеклу. Его плечи вздрагивают. Киска говорит:

— Как вам не стыдно, господин Яхман! Я сама приготавливаю вам постель.

— Тем лучше,— говорит Яхман.— Тогда я смогу наблюдать кормление. Давненько мечтал увидеть что-либо подобное.

С гневной решимостью Киска берет сына с постели и ~~принимается~~ распеленывать его.

— Подойдите поближе, господин Яхман,— говорит она.— Рассмотрите все как следует.

Малыш начинает кричать.

— Видите? Это так называемые пеленки. Они отнюдь не благоухают.

— Мне это нипочем,— отвечает Яхман.— Я прошел войну, и никто и ничто не в состоянии хоть на минуту испортить мне аппетит.

Киска беспомощно опускает плечи.

— Ах, ничем-то вас не проймешь, господин Яхман,— говорит она.— Смотрите, теперь мы подмажем попку маслом, чистейшим оливковым маслом...

— А это зачем?

— Затем, чтобы не запрела. Мой сын ни разу не запревал.

— Мой сын ни разу не запревал,— мечтательно произносит Яхман.— Господи, как это звучит! Мой сын ни разу не солгал. Мой сын ни разу не огорчил меня... Ну и ловко же вы орудуете пеленками, просто изумительно. Да, матерью надо родиться. Прирожденная мать...

— Уж не фантазируйте вы,— смеется Киска.— Спросите-ка лучше у мужа, каково нам пришлось в первый день... Ну вот, а теперь прошу вас отвернуться на минутку...

Яхман послушно идет к окну и начинает глядеть в безмолвный ночной сад, где в отблесках света тихо колышутся ветви деревьев («Они словно переговариваются между собой, Пиннеберг»), а Киска тем временем сбрасывает платье, спускает бретельки комбинации и рубашки, накидывает купальный халат и дает сыну грудь. Он сразу перестает кричать, с глубоким вздохом, почти со всхлипом, хватая грудь и начинает сосать. Киска склонилась к нему лицо, а мужчины, привлеченные внезапно наступившей тишиной, поворачиваются и молча смотрят на мать и дитя.

Не так уж долго молча, потому что Яхман говорит:

— Да, Пиннеберг, я все сделал не так... Хорошая, простая жизнь... Хорошая, здоровая жизнь...— Он ударяет себя по лбу.— Ах, я старый осел! Старый осел!

А потом они ложатся спать.

Яхман в роли изобретателя. Маленький человек в роли бога. Но мы-то с тобою вместе!

Наутро Пиннеберг стоит среди штанов за прилавком сам не свой: нелегко молодому человеку сознавать, какого гостя он приютил у себя, в своей крохотной квартирке, соб-

ственно говоря, состоящей из одной комнаты. То и дело припоминается Яхман в ту ночь, когда он принес им деньги, чтобы уплатить за квартиру, как он рвался к постели Киски.

Ну, хорошо, тогда он был пьян, допустим. Вчера вечером он был совсем другим человеком, очень даже славным. И все-таки веры ему нет, а уж доверия тем более.

Пиннеберг стоит за прилавком, а у самого пятки чешутся: поскорее бы домой! Но, разумеется, когда он приходит домой, там все в полном порядке. Настроение у Киски прекрасное, они любят Малышом, и Пиннеберг лишь вскользь бросает гостю, который роется у окна в чемодане:

— Добрый вечер, господин Яхман!

— Добрый вечер, юноша, — отвечает тот. — Бегу, бегу... — И вот он уже за дверьми — они слышат, как он с грохотом скатывается по лестнице.

— Ну, как он? — спрашивает Пиннеберг.

— Очень славный, — отвечает Киска. — В сущности говоря, он ужасно славный человек. С утра очень нервничал, все говорил о своих чемоданах — дескать, не мог бы ты забрать их с вокзала Зоопарк.

— И что ты ему сказала?

— Пусть тебя и спрашивает. Но он только что-то пробурчал. Потом три раза спускался с лестницы и каждый раз возвращался. Потом подсел к Малышу, звякал над ним ключами и распевал песенки. Потом вдруг подхватился и побежал...

— Набрался-таки духу.

— А потом явился с чемоданами, и теперь сам не свой от радости. Без конца роется в своих манатках, сует в плиту какие-то бумажки. Да, он сделал изобретение.

— Изобретение?

— Он слышать не может, когда Малыш кричит. Просто с ума сходит, подумать только: бедный крошка уже сейчас воюет против всего света! Тут нет никакой трагедии, говорю я ему, Малышок голоден, только и всего. Так что бы ты думал: он хотел, чтобы я сию же минуту покормила Малыша. А когда я отказалась — он изругал меня в пух и прах! Это, говорит, ваша родительская блажь, воспитательские фантазии, задурили себе голову невесть чем. Потом он захотел выйти с ним погулять, потом — вывезти его в коляске. Подумать

только: Яхман с детской коляской в Тиргартене! Я, конечно, и слышать об этом не хочу, а Малыш ревет и ревет...

Она замолкает, так как Малыш, словно услышав, о чем речь, подает голос, тоненько и яростно...

— Вот, пожалуйста! Сейчас увидишь, что изобрел Яхман...

Она берет стул и приставляет его к кровати. На стул она кладет свой чемоданчик, затем приносит будильник и ставит его на чемоданчик.

Пиннеберг с интересом наблюдает.

Будильник, настоящий кухонный будильник-громобой, тикает над самым ухом Малыша. Он тикает очень громко, но, разумеется, когда ревет Малыш, такого тикого звука не слышно.

Сперва Малыш ревет не переставая, но в конце концов ему все же приходится на минутку остановиться, чтобы передохнуть. Затем он снова заходится ревом.

— Еще не заметил,— шепчет Киска.

Но, пожалуй, он все-таки уже заметил. Следующая передышка наступает гораздо скорее и длится гораздо дольше. Малыш как будто прислушивается: тик-так, тик-так — без конца.

Потом он снова заревел. Но теперь он ревет уже без той убежденности. Он лежит, весь красный от натуги, с беленьким хохолком на темечке, с маленьким, смешно надутым ротиком, и смотрит прямо перед собой, явно ничего не видя; маленькие пальчики лежат на одеяле. Конечно, ему ужасно хочется реветь, ведь он голоден, в животе у него бурчит, а раз так — надо реветь. Но теперь что-то делается у него над ухом: тик-так, тик-так — без конца.

Без конца, да не совсем. Начнешь реветь — все пропадает. Перестанешь — вот оно, тут как тут. Надо проверить. Он пробует ревануть, так, совсем немножечко — и нету тик-така. Он умолкает — тик-так опять тут. Тогда он умолкает окончательно, он вслушивается, вероятно, в его мозгу ни для чего не осталось больше места: тик-так, тик-так. А бурчанье в животе ушло куда-то глубоко-глубоко и там и осталось.

— Похоже, и вправду подействовало,— шепчет Пиннеберг.— Ну и молодец же этот Яхман, как он только додумался?

— Испытываете мое изобретение? — доносится из дверей голос Яхмана. — Действует?

— Похоже, что так, — отвечает Пиннеберг. — Вопрос только, надолго ли?

— Ну как, мадам? Известна ли господину супругу наша программа? Одобрил он ее?

— Нет, он еще ничего не знает. Так вот, мальчуган, господин Яхман приглашает нас. Будем кутить вовсю, кабаре и бар — понимаешь? А для начала — кино.

— Ну что же, — отвечает Пиннеберг. — Ты получила свое, Киска. Кутнуть, господин Яхман, это давнишняя мечта ее жизни. Отлично!

Спустя час они сидят в кино, в ложе. Свет гаснет, и затем...

Спальня, две головы на подушках: юное, свежее, как роза, лицо женщины и лицо мужчины постарше, сохраняющее озабоченное выражение даже во сне.

Потом появляется циферблат будильника, будильник поставлен на половину седьмого. Мужчина беспокойно задвигался, повернулся и, еще впросонках, протянул руку к будильнику: двадцать пять минут седьмого. Мужчина вздыхает, ставит будильник на место и снова закрывает глаза.

— Тянет до последней минуты, — неодобрительно замечает Пиннеберг.

В ногах большой кровати что-то белеется: детская кроватка. В ней спит ребенок, подложив руку под щечку, рот полуоткрыт.

Будильник звонит, молоточек точно взбесился, так и колотит о металлическую чашечку — не молоточек, а сущий дьявол! Мужчина разом вскакивает, спускает ноги с кровати — тощие ноги без икр, поросшие жидким черным волосом.

Зал хохочет.

— У настоящих героев экрана, — говорит Яхман, — вообще не должно быть волос на ногах. Фильм провалится, это несомненно.

Но, быть может, героиня спасет его? Она сказочно красива, это несомненно: когда будильник зазвонил, она приподнялась на локте, одеяло скользнуло вниз, рубашка слегка приоткрылась, и благодаря искусному повороту, спадающему одеялу и колышавшейся рубашке у

зрителей на секунду создалось впечатление, что они увидели ее грудь. Приятная атмосфера, ничего не скажешь — а она уже натянула одеяло на плечи и снова уютно устроилась в постели.

— Это и есть заглавная стерва, — говорит Яхман. — Не прошло и пяти минут, а она уже прет на тебя раскрытой грудью. Господи, как это удивительно просто!

— Зато красивая! — замечает Пиннеберг.

Муж давно уже натянул брюки, ребенок сидит в кроватке и кричит: «Папа, мишку!» Отец подает ему мишку, а он уже требует куклу. Муж бежит на кухню, ставит греться воду — он такой худой, мозглявый. Как ему приходится бегать! Подать куклу ребенку, накрыть стол к завтраку, приготовить бутерброды, а тут и чайник вскипел — надо заварить чай, побриться, а жена лежит в постели, свежа как роза.

Но вот и она встала, — нет, она очень даже хорошая, она вовсе не такая, она сама приносит в ванную теплой воды для умывания. Муж посматривает на часы, играет с ребенком, разливает чай, выскакивает на лестницу — не принесли ли молоко. Нет, только газету. Тем временем жена умылась и прямехонько к своему месту за столом. Каждый берет по листу газеты, чашку чая, хлеб.

Из спальни доносится крик: кукла свалилась с кровати; отец бросился поднимать...

— Какое идиотство! — недовольно морщится Киска.

— Верно, но все же хочется знать, что будет дальше. Ведь должно же быть что-нибудь дальше.

Яхман произносит одно только слово:

— Деньги.

И надо же! Он таки прав, этот заядлый кинолюбитель: жена отыскала в газете объявление о продаже, ей хочется что-то купить. Муж возвратился к столу, следует бурное объяснение. Где ее деньги на хозяйство? Где его деньги на карманные расходы? Он показывает свой кошелек, она показывает свой. А настенный календарь показывает семнадцатое. В дверь стучится молочница — за ними должок. Облетают листки календаря: восемнадцатое, девятнадцатое, двадцатое... тридцать первое! Муж сидит, подперев голову руками, рядом с пустыми кошельками лежит мелочь. Календарь все шелестит и шелестит...

О, как хорошеет эта женщина, как вдруг расцветает ее красота! Она ласково уговаривает его, гладит по го-

лове, берет за подбородок, подставляет губы. Как сияют ее глаза!

— Вот стерва! — говорит Пиннеберг. — Что ж он теперь будет делать?

Ах, он тоже разогревается, он обнимает ее. Объявление о продаже всплывает и исчезает, календарь, шестая, отсчитывает еще четырнадцать дней, ребенок играет с мишкой — мишка обнимает куклу, — на столе лежит жалкая кучка денег... Жена сидит на коленях у мужа...

Все пропадает, и из непроглядной тьмы, медленно проясняясь, проступают очертания сверкающего банковского зала с окошечками касс. Вот стол за проволочной решеткой, вот пачка денег — решетка полуоткрыта, но внутри никого не видно... Вот они, тугие пачки бумажек, вот они, столбики серебра и меди! Одна пачка надорвана, и сотенные веером легли на стол.

— Деньги, — хладнокровно замечает Яхман. — Публике так нравится смотреть на деньги.

Но слышал ли его Пиннеберг? Слышала ли его Киска?

Снова наплывает тьма — долгим наплывом, густым наплывом. Слышно, как дышат люди в зале — долгими вздохами, глубокими вздохами... Киска слышит дыхание Ганнеса, Ганнес слышит дыхание Киски.

Снова светло. Ах ты, господи, если и есть что хорошее в жизни, так даже в кино не покажут — женщина окончательно привела себя в порядок и закуталась в спальный халат. Супруг уже в котелке, он целует на прощанье ребенка. И вот маленький человек идет по большому городу, вот он вскакивает в автобус. Ишь как спешат прохожие, как мчатся экипажи, скапливаются на перекрестках и снова несутся сплошным потоком. И красные, желтые, зеленые огни светофоров, и тысячи домов с миллионами окон проносятся мимо, и везде люди, люди, а у него, маленького человека, ничего-то нет за душой, только двухкомнатная квартира с кухней, жена да ребенок. Больше ничего.

Пусть она взбалмошная женщина и не умеет обращаться с деньгами, но все-таки хоть это-то есть у него... Ведь для него-то она вовсе не взбалмошная. И его неизменно ждет стол на четырех до смешного высоких ножках, он должен спешить к нему — таков уж его удел в нашем загадочном земном существовании. И никуда ему от этого не уйти.

Нет, нет, он этого не сделает. Лишь на какую-то долю секунды рука маленького банковского кассира нависает над деньгами, — так ястреб, выпустив когти, нависает над птичьим двором. Но нет — рука сжимается в кулак, и это вовсе не когти, а пальцы. Он — маленький банковский служащий, а не хищная птица.

И вот поди ж ты! — маленький кассир дружит со стажером при банке, и, как и следовало ожидать, стажер этот приходится сыном одному из директоров банка. И, оказывается, этот стажер заметил по-ястребиному скрюченные пальцы. И вот во время перерыва на завтрак стажер отводит в сторону своего друга кассира и без обиняков говорит ему: «Тебе нужны деньги». И как тот ни отговаривается, как ни отбрыкивается, он приходит домой с полным кошельком. И вот он раскрывает кошелек и выкладывает деньги на стол, он думает, что жена обрадуется, но жена — ишь ты! — проявляет к деньгам полное равнодушие, деньги ее не интересуют. Ее интересует муж. Она увлекает его на диван, она привлекает его к себе на грудь: «Как ты это сделал? Ты сделал это ради меня? О, никогда бы не подумала, что ты на это способен!»

И у него не хватает духу рассказать ей правду. Увы! Это свыше его сил — как она его вдруг полюбила! Он только кивает, молчит и многозначительно улыбается... А она вне себя, она так им гордится!

Какой человеческий образ создал этот маленький актер, этот великий актер! Пиннеберг видел лицо кассира в утренний час, когда он покоился в супружеской постели (будильник показывал двадцать пять минут седьмого) — усталое, изборожденное морщинами лицо: этого человека снесали заботы. И вот оно снова перед ним: он любит эту женщину, она восхищается им — впервые в жизни. Как расцветает это лицо, как быстро сходит с него наигранное лукавство, как растет, ширится и расцветает оно счастьем, точно диковинный цветок, сплошь сотканный из солнечного света... О ты, бедный, маленький, приниженный человек! Настал твой час, и ты никогда, никогда не сможешь сказать, что всю жизнь был только маленьким человеком! Ты тоже был богом!

Да, теперь он — бог, ее бог. Он голоден? У него болят ноги? Ведь ему так много приходится стоять! Как она бегаёт, как хлопочет вокруг него — ведь он настолько выше ее, он сделал это ради нее! Никогда больше ему

не придется самому ставить чайник, первым подниматься по утрам... Он — бог.

Деньги лежат на столе, про них забыли.

— Смотри, как он лежит и улыбается! — задыхаясь от волнения, шепчет Пиннеберг Киске.

— Бедняга! — говорит Киска. — Добром это кончиться не может. Неужели он сейчас вполне счастлив? Неужели он нисколько не боится?

— Франц Шлютер — очень талантливый актер, — замечает Яхман.

Да, конечно, добром это кончиться не может. О деньгах забыли, но ненадолго. Однако ни первая большая покупка, ни вторая ничего не меняют. Какое упоение для женщины сознавать, что ты можешь купить все, решительно все! И как страшно сознавать мужчине, откуда взялись деньги.

Потом — третья покупка, деньги на исходе, а она присмотрела себе кольцо... Увы! Денег не хватает. Перед ней лежит целая россыпь сверкающих колец, а продавец так невнимателен, он занят с двумя покупателями. Посмотрите на ее лицо, когда она подталкивает локтем мужа: возьми!

Ведь она верит, что он на все способен ради нее. А он всего-навсего маленький банковский кассир, на это он не способен, этого он не сделает.

Наконец она понимает, она говорит продавцу: «Зайдем как-нибудь еще». Он идет рядом с нею, жалкий, пришибленный, и вся его жизнь встает у него перед глазами, долгая, бесконечная жизнь возле этой женщины, которую он любит и которая ожидает от него такого...

Она молчит, она винтит-финтит, как вдруг ее настроение резко меняется; они заходят в бар, берут на последние деньги вина, она вся разгорается, она пышет страстью:

— Завтра ты опять это сделаешь.

Серое, пришибленное, жалкое лицо... И сияющая женщина.

Кажется, он вот-вот решится, скажет ей правду, но в последнюю секунду он лишь качает головою, медленно и серьезно, сверху вниз — утвердительно.

Что же дальше? Не может же друг вечно ссужать его деньгами, или, проще сказать, дарить их без отдачи. Друг говорит — нет. И тогда кассир рассказывает дру-

гу, зачем ему нужны деньги и как думает о нем жена. Друг смеется, дает ему денег и говорит: «Ты непременно должен познакомить меня с супругой».

А потом друг знакомится с его женою, а потом, как и следовало ожидать, влюбляется в нее, а для нее во всем свете существует только муж,— ведь он такой смелый, такой отчаянный, ради нее он готов на все. Но тут заявляет о себе ревность, и за столиком в кабаре друг кассира рассказывает ей правду.

Ах, вот маленький человек возвращается из туалета, они сидят за столиком, и она встречает его улыбкой — наглой, презрительной улыбкой.

Эта улыбка объясняет ему все: предатель друг, неверная жена. Он изменяется в лице, его глаза расширяются, в них стоят слезы, губы дрожат.

А они смеются.

Он стоит и смотрит на них, стоит и смотрит.

Да, очень может быть, что в этот момент, когда все рухнуло, он действительно способен на все. Но он поворачивается и, съездившись, ковыляет к двери на своих кривых ножках.

— Ах, Киска! — говорит Пиннеберг и хватает ее за руку.— Ах, Киска! — шепчет он.— Мне страшно. Мы так одиноки.

И Киска медленно кивает и говорит чуть слышно:

— Но мы-то, мы-то с тобою вместе.— И потом быстро шепчет ему в утешение: — В конце концов у него есть сын. Его она наверняка не возьмет с собой!

Кино и жизнь. Дядюшка Книлли забирает г-на Яхмана

Они ужинают втроем, в своем курятнике, и, надо сказать, ужин у них довольно невеселый. Яхман задумчиво рассматривает обоих взрослых детей, которых не радуют даже купленные им вчера необыкновенные лакомства. Но, хоть это на него и непохоже, Яхман молчит.

А потом Киска убирает со стола и начинает возиться с Малышом, и тут Яхман говорит:

— Ах, дети, дети, ведь, в сущности, страшно, что вы такие. Даже простак из простаков не должны бы попадаться на такую пошлятину.

— Да мы и сами прекрасно понимаем, что все это неправда, господин Яхман,— говорит Пиннеберг.— Понятно, никакого такого директорского сынка не существует,

а может, и такого кассира в котелке тоже не существует. Но актер увлек меня, как его, Шлютер, что ли?..

Яхман утвердительно кивает и намерен что-то возразить, но Киска опережает его:

— Я понимаю, что хочет сказать Ганнес, и на это вы ничего не сможете возразить. Пусть все это неправда и сплошная халтура, но ведь верно и то, что такие, как мы, живут в постоянном страхе, и нам кажется почти чудом, если какое-то время у нас все идет хорошо. И что всякий час может случиться беда, и ты ничего не сможешь поделать, и что всякий раз приходится удивляться: вот еще день прошел, а беды не случилось.

— Ах, все страшно лишь постольку, поскольку представляется нам таковым,— замечает Яхман.— Не надо поддаваться страху, вот и все. На месте кассира я бы попросту отправился домой и развелся, а потом снова женился на молоденькой, хорошенькой девочке... Было бы из-за чего огород городить. Ну, а теперь вот что: Малыш, кажется, сыт, давайте собираться. Уже двенадцатый час, самое время встряхнуться маленько.

— Право, не знаю...— говорит Пиннеберг и вопросительно глядит на Киску.— Стоит ли? Я что-то не в настроении.

Киска тоже с сомнением пожимает плечами.

Но тут Яхман выходит из себя:

— Нет, уж это вы бросьте! Торчать теперь дома и хандрить из-за всякой ерунды! Выкатываемся сию же минуту! Пиннеберг, живо за такси, покуда ваша Киска наденет свое лучшее платье!

Пиннеберг колеблется, но Киска говорит:

— Ну иди же, милый! Он теперь все равно не отстанет.

Пиннеберг медленно направляется к выходу, а г-н Яхман — какой он все-таки славный! — бросается за ним и что-то сует ему в руку.

— Вот — спрячьте. Выходить с пустыми карманами — это всегда неприятно. Вот и мелочь возьмите, да не забудьте поделить с супругой — женщинам всегда деньги нужны. Ну да о чем разговаривать — доставайте поскорее такси!

С этими словами Яхман уходит, а Пиннеберг медленно спускается по лестнице и думает: «Нет, что ни говори, он все же очень славный человек. Только в нем надо получше разобраться. Славный, да не совсем». Он

крепко зажал в кулаке деньги, но в такси, уже подъезжая к дому, он все же не может удержаться, разжимает кулак, рассматривает бумажки, пересчитывает и говорит: «Э, нет, это никуда не годится, — тут столько, сколько мне платят чуть ли не за целый месяц работы. Он с ума сошел. Так сразу и скажу ему».

Но сказать сразу не удастся: они уже ждут его, а в машине Киска не может не сообщить ему, что Малыш мгновенно заснул и она нисколько за него не беспокоится, разве что самую капельку. Да и в конце концов не так уж долго они будут отсутствовать.

Но куда же, собственно, они держат путь?..

— Послушайте, господин Яхман... — начинает Пиннеберг.

— В Западный район я с вами не пойду, дети мои, — торопливо говорит Яхман. — Во-первых, меня там очень хорошо знают, а это портит удовольствие, во-вторых, там давно уже не так симпатично, как прежде. Вот на Фридрихштрассе еще веселятся по-настоящему, там бывают иностранцы. Ну да вы сами увидите.

И они принимаются обсуждать, в какого рода заведение пойти в первую очередь. Яхман со вкусом расписывает Киске прелести баров, кабаре и варьете, причем время от времени перепадает кусок и Пиннебергу: «Полуголые девочки, дорогой мой молодожен!» Или: «Семь красоток об одном передничке — что вы на это скажете, Пиннеберг?..»

Оказывается, договориться не так-то просто, и принимается предложение Яхмана прошвырнуться для начала по Фридрихштрассе.

Так они идут втроем — Киска посередке, с двумя кавалерами по бокам. Они в прекрасном настроении и обтавливаются перед витринами варьете с фотографиями умопомрачительных красоток, которые все чем-то похожи одна на другую, а также почти перед каждым магазином. Пиннебергу это совсем неинтересно, но ведь Яхман — такой компанейский парень, он не хуже Киски способен восторгаться венским вязаным платьем, а после этого пересмотреть двадцать две шляпы подряд — какая из них ей к лицу.

— Так, может, пойдете? — спрашивает Пиннеберг.

— Ох, уж эти мне мужья! — говорит Яхман. — Вначале им все недостаточно красиво, а потом им все без-

различно. Между прочим, меня начинает мучить жажда. Предлагаю зайти вон туда наискосок.

Они перешли улицу и не успели вступить на тротуар, как позади них останавливается автомобиль и кто-то тонким голосом кричит:

— Яхман, какими судьбами?!

Яхман сразу оборачивается, он совершенно ошеломлен.

— Дядюшка Книлли, неужели тебя еще не...— Но он вовремя спохватывается и говорит, обращаясь к Пиннебергам: — Минутку, дети мои. Я сейчас.

Автомобиль подъехал к самому тротуару, и теперь Яхман беседует с пухлым желтолицым свнухом; вначале они еще смеялись, но чем дальше, тем тише и серьезнее идет у них разговор.

Пиннеберги стоят и ждут. Проходит пять минут, проходит десять минут, они изучают витрину, а когда изучать уже нечего, снова принимаются ждать.

— Пора бы ему и закругляться,— ворчит Пиннеберг.— Дядюшка Книлли — так, что ли, он назвал его? И что только за народ трется возле Яхмана...

— Да, симпатичного в нем мало,— соглашается Киска.— А чего это он так пищит да визжит?

Пиннеберг хочет объяснить, но тут подходит Яхман и говорит:

— Ах, дети, не сердитесь на меня — сегодня ничего не выйдет. Я должен ехать с дядюшкой Книлли.

— Да? — нерешительно спрашивает Киска.— Господин Яхман...

— Дела, дела. Но самое позднее завтра в полдень я снова буду у вас аккуратно к обеду... А сейчас знаете что? Валяйте одни! Без меня вам даже веселее будет...

— Господин Яхман,— повторяет Киска.— А не лучше ли вам остаться сегодня у нас?.. У меня такое предчувствие...

— Не могу, не могу,— отвечает Яхман и уже садится в машину.— Так, стало быть, без меня! У вас еще есть деньги, Пиннеберг?

— Поезжайте, поезжайте, Яхман, все в порядке! — кричит Пиннеберг.

— Ну вот и хорошо,— бормочет Яхман.— А то уж мне показалось... Итак, до завтра!

Автомобиль отъезжает, и Пиннеберг рассказывает

Киске, как час назад Яхман сунул ему в руку более ста марок.

— Завтра же отдай ему, — решительно заявляет Киска. — А сейчас — домой! Или все-таки хочешь еще куда-нибудь зайти?

— Мне с самого начала не хотелось, — отвечает Пиннеберг. — А деньги он завтра получит обратно.

Но этого не случилось, потому что много, много воды утекло и очень круто переломилась жизнь Пиннебергов, прежде чем они снова увиделись с господином Хольгером Яхманом, который обещал быть аккурат к обеду.

Малыш болен. В чем дело, молодой папаша?

Однажды ночью Пиннеберги просыпаются от необычного ночного концерта: Малыш не спит, Малыш ревет.

— Малышок кричит, — шепчет Киска, хотя это и без того ясно.

— Да, — чуть слышно говорит он и бросает взгляд на светящийся циферблат будильника. — Пять минут четвертого.

Они прислушиваются, и Киска снова шепчет:

— Раньше с ним этого не бывало. И проголодаться он не мог.

— Ничего, перестанет, — говорит Пиннеберг. — Постараемся снова заснуть.

Но это совершенно невозможно, и немного погодя Киска говорит:

— Не зажечь ли свет? Он кричит так жалобно!

Однако во всем, что касается Малыша, Пиннеберг — человек принципа.

— Ни в коем случае, слышишь? Ни в коем случае! Ведь мы с тобой договорились не обращать ночью внимания на его рев: пусть знает, что в темноте ему остается одно — спать.

— Да, но все же... — пытается возразить Киска.

— Ни в коем случае, — сурово повторяет он. — Стоит только начать — а там уж изволь каждую ночь вставать. Зря, что ли, терпели мы первое время? Тогда он ревел куда больше.

— Но сейчас он ревет совсем по-другому, сейчас он ревет так жалобно.

— Надо выдержать характер, Киска, будь разумна.

Они лежат в темноте и прислушиваются к крику ребенка. Он кричит без передышки, о сне нечего и думать, но ведь должен же он перестать, вот еще немного — и перестанет! Ничуть не бывало. «Неужели он и вправду кричит особенно жалобно?» — спрашивает себя Пиннеберг. Это не его яростный крик, и не голодный крик тоже. А что, если он болен?..

— Может, у него разболелся животик? — тихо спрашивает Киска.

— С чего бы у него разболелся животик? Да и чем мы можем ему помочь? Ничем!

— Можно было бы дать ему укропной водички. Это всегда его успокаивало.

Пиннеберг не отвечает. Ах, не так-то все это просто. Малышу должно быть хорошо. Малыша нельзя портить неправильным воспитанием, из него должен выйти правильный парень. Пиннеберг напряженно соображает:

— Ну ладно, встань и дай ему укропной водички.

Но сам он едва ли не раньше Киски вскакивает с постели. Он поворачивает выключатель. Увидев свет, ребенок на мгновение умолкает, но затем снова начинает реветь. Он весь побагровел от натуги.

— Лапушка ты моя, — говорит Киска, склоняется над его кроваткой и берет на руки маленький сверток. — Лапушка ты моя, у тебя бо-бо? Ну, покажи маме, где у тебя бо-бо.

Согретый теплом материнского тела, убаюканный на руках, Малыш молчит. Он всхлипывает, замолкает, снова всхлипывает.

— Вот видишь! — торжествуя говорит Пиннеберг, возясь со спиртовкой. — Ему только и надо было, чтобы его взяли на руки!

Но Киска как будто не слышит его, она прохаживается взад-вперед по комнате и поет колыбельную, которую привезла из Плаца:

— Ай-яй-яй! Какой большой
Хочет спатеньки со мной!
Нет, сейчас мы все исправим,
К папке спать его отправим.
Ай-яй-яй! Какой большой
Хочет спатеньки со мной!

Ребенок спокойно лежит у нее на руках — смотрит светлыми голубыми глазенками в потолок и не шелохнется.

— Так, вода вскипела,— говорит Пиннеберг сурово.— Заваривай сама, я в эти дела мешаться не хочу.

— Подержи Малыша,— говорит Киска, и вот Малыш у отца на руках. Пиннеберг прохаживается взад-вперед по комнате и напевает песенку, а жена тем временем готовит и остужает укропный настой. Малыш ловит ручонками лицо отца и молчит.

— Положила сахар? Не слишком ли горячо будет? Дай, я сперва попробую... Ладно, пой.

Малыш глотает укропную водичку с ложечки, капли текут у него по подбородку, отец с серьезным видом обтирает ему губы рукавом рубашки.

— Ладно, хватит,— говорит Пиннеберг.— Он теперь совсем успокоился.

Малыша водворяют в кроватку. Пиннеберг бросает взгляд на часы.

— Четыре. Теперь давай скорее в постель, если хотим еще хоть немножко поспать.

Свет погашен. Пиннеберги мирно засыпают и... просыпаются вновь: Малыш кричит.

Пять минут пятого.

— Вот тебе, довольна? — злится Пиннеберг.— Надо было брать его на руки! Теперь он думает, и дальше так будет. Стоит ему зареветь — и мы тут как тут!

Киска остается Киской, она прекрасно понимает, что, когда целый день стоишь за прилавком и тебя гвоздит мысль о том, что ты должен наторговать свою норму, поневоле становишься нервным и раздражительным. Киска не произносит ни слова. Малыш ревет.

— Миленькое дело...— говорит Пиннеберг, в нем вдруг проснулась ироническая жилка.— Миленькое дело. Мне что-то непонятно, как я могу явиться в магазин отдохнувшим.— И немного погодя, вне себя от ярости: — А мне еще во сколько наверстать надо!.. Обалдеть можно от этого рева!

Киска молчит. Малыш ревет.

Пиннеберг ворочается с боку на бок, он прислушивается и в который раз убеждается, что ребенок действительно плачет очень жалобно. Он уже и сам понимает, что наговорил глупостей и что Киска тоже понимает это, и его зло берет, что он вел себя так глупо. Теперь бы ей в самый раз спокойно сказать что-нибудь. Ведь она знает, как трудно ему сказать первое слово.

— Милый, ты не думаешь, что у него жар?

— Что-то не заметил,— бурчит Пиннеберг.

— У него такие красные щечки!

— Наревел, вот и красные.

— Нет, с резко очерченными пятнами. Уж не заболел ли он?

— С чего бы ему заболеть? — спрашивает Пиннеберг. Но теперь можно взглянуть на дело и по-другому, и вот он все еще ворчливо говорит: — Ладно, зажги свет. Все равно ведь не вытерпишь.

Итак, они зажигают свет, и Малыш снова переключивает на руки к матери, и снова моментально умолкает — судорожно всхлипывает разок-другой и успокаивается.

— Вот тебе! — со злостью говорит Пиннеберг. — Я что-то не слыхал о таких болезнях, которые проходят, как только возьмешь ребенка на руки.

— Пощупай его ручки, они такие горячие.

— Чего там горячие! — немилосердствует Пиннеберг. — Накричался, вот и горячие. Думаешь, меня бы пот не прошиб, если б я так орал? На мне бы нитки сухой не осталось!

— Да нет же, они и вправду горячие. Мне кажется, Малыш заболел.

Пиннеберг щупает ручки Малыша, и настроение его резко меняется.

— Да, в самом деле горячие. Уж не жар ли у него?

— Как глупо, что у нас нет градусника!

— Сколько раз собирались купить, да денег не было.

— Да,— говорит Киска.— У него жар...

— Дадим ему еще пить? — спрашивает Пиннеберг.

— Нет, не надо, только животик переполним.

— А я все-таки не верю, что у него что-то болит,— снова вскипает Пиннеберг.— Он просто-напросто притворяется, хочет, чтобы его взяли на руки.

— Что ты, милый, ведь мы же никогда не брали его на руки!

— А вот посмотрим! Положи его в кроватку, и вот увидишь: он заревет!

— Но ведь...

— Положи его в кроватку, Киска. Ну, пожалуйста, сделай мне одолжение, положи его в кроватку. Вот увидишь...

Киска взглядывает на мужа и кладет сына в кровать. Гасить свет на этот раз ни к чему — Малыш тотчас принимается реветь.

— Ну что? — злорадствует Пиннеберг. — А теперь возьми его на руки, вот увидишь: сразу успокоится.

Киска берет Малыша на руки, муж выжидательно глядит на нее. Малыш продолжает кричать.

Пиннеберг столбенеет. Малыш ревет. Немного погодя Пиннеберг говорит:

— Вот тебе! Теперь ты совсем избаловала его, приучила к рукам! Позвольте вас спросить, милостивый государь, что вам еще угодно?

— Ему больно, — кротко говорит Киска. Она укачивает Малыша, он как будто успокаивается, но затем снова начинает кричать.

— Милый, сделай одолжение, ложись спать. Может, ты еще уснешь!

— Уснешь тут!

— Ну прошу тебя, милый. Мне будет гораздо спокойнее, если ты это сделаешь. Ведь я смогу прилечь на часок утром, а ты должен отдохнуть.

Пиннеберг смотрит на Киску, потом хлопает ее по спине.

— Хорошо, Киска, ложусь. Только в случае чего сразу разбуди.

Однако поспать не удастся. Они ложатся, то он, то она, они носят сына на руках, напевают, баюкают его: все напрасно. Крик то стихает до легкого похныкивания, то вновь нарастает... Отец и мать стоят над сыном и глядят друг на друга.

— Это ужасно... — говорит Пиннеберг.

— Как он, должно быть, мучается!

— И зачем это? Такой маленький зверек — и так мучается!

— Ах, и ничем-то я не могу ему помочь! — говорит Киска и вдруг, почти в голос, кричит, прижимая ребенка к груди: — Лапушка ты мой родненький, неужто я ничего не могу для тебя сделать!

Малыш продолжает кричать.

— Что бы это могло быть? — бормочет про себя Пиннеберг.

— И сказать-то он ничего не может! И показать-то не может, где у него болит! Лапушка ты моя, ну покажи маме, где у тебя бо-бо? Ну, покажи!

— Какие же мы глупые! — вне себя от ярости говорит Пиннеберг. — Ничего не знаем. Если б мы что-нибудь знали, уж навверное могли бы помочь ему.

— И нам не у кого спросить.

— Пойду за врачом, — говорит Пиннеберг и начинает одеваться.

— У тебя нет квитанции больничной кассы.

— Ничего, и так пойдет. Квитанцию я отдам после.

— В пять часов утра ни один врач не пойдет. Они все, как услышат про больничную кассу, говорят: «Ничего, до утра потерпит».

— А я говорю: пойдет!

— Милый, если ты потащишь врача на нашу верхоутуру, по приставной лестнице, выйдет скандал. Чего доброго, он еще в полицию донесет, что мы здесь живем. Ах, да о чем толковать: он и шагу не ступит по нашей лестнице — подумает, что у тебя недоброе на уме.

Пиннеберг сидит на краю постели и печально смотрит на Киску.

— Да, ты, пожалуй, права, — кивает он. — Ну и сели же мы с тобою, фрау Пиннеберг. Крепко сели. Вот уж не думали, не гадали.

— Ну что ты, — говорит Киска. — Не надо так, мальчуган. Сейчас ты все в черном свете видишь, но все снова будет хорошо.

— Это оттого, — говорит Пиннеберг, — что мы — ничто. Мы одиноки. И другие, такие же, как мы, тоже одиноки. И каждый что-то о себе воображает. Вот если бы мы были рабочие! Они называют друг друга «товарищ», помогают друг другу...

— Так, да не так, — отвечает Киска. — Когда я иной раз вспоминаю, что рассказывал отец, что он пережил...

— Да, конечно, — говорит Пиннеберг. — Я и сам знаю, что рабочие тоже не сахар. Но им хоть нечего стыдиться своей нищеты. А вот наш брат, служащий, — мы, видите ли, что-то собою представляем, мы почище иных прочих...

Малыш плачет. Они смотрят в окно: взошло солнце, стало совсем светло, они смотрят друг на друга, и лица у них поблекшие, бледные, усталые.

— Ах, Ганнес, Ганнес! — говорит Киска.

— Ах, Киска! — говорит он, и они берутся за руки.

— Не так уж все плохо, — говорит Киска.

— Да, пока мы вместе, — соглашается он.

Потом они снова принимаются ходить из угла в угол.

— Право, не знаю, — говорит Киска, — давать ему грудь или не давать? А вдруг у него что-либо с желудком?

— Действительно. . . — в отчаянии произносит он. — Что же делать? Скоро шесть.

— Знаю! Знаю! — вдруг с живостью говорит она. — В семь часов сбегай в детскую консультацию — тут всего-то минут десять ходьбы — и там не отставай от сестры, проси и моли ее, пока она не пойдет с тобой.

— Верно, — отвечает он. — Верно. Может, что и выйдет. И к Манделю вовремя поспею.

— А пока пусть поголодает. Голод не повредит.

Ровно в семь часов в утра в городскую детскую консультацию вваливается молодой человек с бледным от бессонницы лицом, въехавшем набок галстук. Повсюду таблички: прием с такого-то и до такого-то часу. И, уж конечно, сейчас никакого приема нет.

Он останавливается в нерешительности. Киска ждет, но ведь нельзя же сердить сестер! А вдруг они еще спят? Как же быть?

Мимо него по лестнице спускается дама, она чем-то напоминает фрау Нотнагель, с которой он разговаривал в бассейне — тоже пожилая, тоже полная, тоже еврейка.

«Несимпатичная, — думает Пиннеберг. — Не стану спрашивать. Да и не сестра она».

Дама уже спустилась на целый лестничный марш, как вдруг она поворачивается и взбегает по лестнице, останавливается перед Пиннебергом и глядит на него.

— Ну, молодой папаша, — говорит она. — В чем дело?

И улыбается.

«Молодой папаша» и улыбка — что ж ему еще надо! Господи, какая она симпатичная! Ну конечно, есть все ж таки люди, которые понимают, кто он, каково ему приходится. Например, эта старая еврейка-попечительница — сколько тысяч отцов топтались до него здесь, на этой лестничной площадке! Ей можно сказать все, и она все понимает, она только кивает и говорит:

— Да, да! — И открывает дверь, и кричит: — Элла! Марта! Ханна!

Из дверей высовываются головы.

— Пойдите кто-нибудь с этим молодым папашей, ладно? Они чем-то обеспокоены.

Потом полная дама кивает Пиннебергу, говорит:

— Всего хорошего, надеюсь, не так уж все плохо! — и спускается вниз.

Немного погодя появляется сестра и говорит: «Ну что же, пойдете», — и по пути можно еще раз рассказать все, и сестра тоже не видит тут ничего особенного, только кивает и говорит:

— Будем надеяться, не так уж все плохо. Сейчас посмотрим.

И как хорошо, что к ним идет человек, который во всем разбирается, и из-за лестницы тоже нечего было волноваться. Потому что сестра говорит только: «Как, на самый марс? Ну идите вперед, а я следом!» — и лезет за ним со своею кожаной сумкой, как бывалый матрос на мачту. А потом сестра и Киска вполголоса переговариваются и рассматривают Малыша, который, как нарочно, теперь совсем успокоился. Один только раз, как бы между прочим, Киска напоминает Пиннебергу:

— Милый, ты еще не ушел? Смотри не опоздай!

— Ничего, — бурчит он. — Теперь-то уж подожду. Может, еще за чем сходить понадобится.

Они распеленывают Малыша — тот по-прежнему лежит спокойно; ему ставят градусник — температура нормальная, разве что чуть-чуть повышенная; они подходят с ним к окну, раскрывают ему ротик. Он лежит спокойно, как вдруг сестра что-то говорит, и Киска с взволнованным видом заглядывает ему в рот, а потом взволнованно кричит:

— Милый, поди-ка сюда! Скорее сюда, милый! У Малыша прорезался первый зубик.

Пиннеберг подходит, заглядывает в маленький, пустой ротик с бледно-розовыми деснами, но ничего не видит. На помощь приходит палец Киски, и — ишь ты! — вот оно, маленькое красное пятнышко, небольшая припухлость, а в ней торчит какая-то острая стекляшка. «Прямо как рыба кость, — думает Пиннеберг. — Прямо как рыба кость!»

Но вслух он этого не говорит: женщины глядят на него с такой надеждой! Вслух он говорит:

— Так вот оно что!.. Так, значит, все в порядке? Первый зуб.

И, немного погодя, спрашивает с опаской:

— А сколько их всего прорежется?

— Двадцать,— отвечает сестра.

— Так много!— восклицает Пиннеберг.— И каждый раз он будет так реветь?

— Это когда как,— утешает его сестра.— Не все дети кричат при каждом зубе.

— Ну ладно,— говорит Пиннеберг.— Главное, знать, в чем дело.— И он вдруг начинает смеяться, сердце сжимает сладостно-щемящее чувство, как будто в его жизни произошло что-то большое и важное.— Спасибо, сестра,— говорит он.— Спасибо. Нам-то совсем невдомек было. Дай ему скорее грудь, Киска, он, наверное, проголодался. А я теперь на всех парах на работу. Привет, сестрица, спасибо. До свидания, Киска. Будь здоров, Малыш.

И он убегает.

Что в лоб, что по лбу. Фрейлейн Фишер перед судом инквизиторов. Еще одна отсрочка, Пиннеберг!

На всех парах на работу — но уж никакие пары не помогают. Трамвай как провалился, а когда он приходит, во всех светофорах вспыхивает красный свет; ночные страхи отступили, радость за Малыша — у него прорезался первый зуб, он вовсе не болен! — бесследно улетучивается. Появляются новые страхи, они ширятся и растут, они овладевают всем его существом: что-то скажет Йенеке, ведь он опять опоздал!

— Пиннеберг — двадцать семь минут опоздания, — записывает швейцар. Ни единый мускул не дрогнет в его лице — ведь каждый день кто-нибудь да опаздывает. Некоторые осаждают его просьбами, этот — бледен.

Пиннеберг смотрит на свои часы.

— По моим только двадцать четыре.

— Двадцать семь,— решительно повторяет швейцар.— Да и какая разница: двадцать четыре или двадцать семь? Что в лоб, что по лбу.

И тут он совершенно прав.

Слава богу, хоть Иенеке-то нет на месте. Слава богу, скандал разразится не сразу.

Но скандал начинается сразу. Тут господин Кеслер, коллега Кеслер, проявляющий кровную заботу об интересах фирмы Мандель. Он направляется прямо к Пиннебергу, он говорит:

— Вам лучше сразу пройти в отдел личного состава к господину Леману.

— Да, хорошо,— отвечат Пиннеберг. Он чувствует острую потребность сказать что-нибудь такое, дать понять Кеслеру, что ничуть не трусит, тогда как на самом деле он отчаянно трусит.— Теперь мне снова накрутят хвост. Я таки припоздал маленько.

Кеслер смотрит на Пиннеберга и форменным образом ухмыляется, хотя и не очень заметно, ухмыляется одними глазами, нагло и откровенно. Он не говорит ни слова, а только глядит на Пиннеберга. Затем поворачивается и уходит.

Пиннеберг спускается на первый этаж, идет через двор. Пожилая желтая фрейлейн Землер на своем посту. Когда Пиннеберг входит, она стоит в весьма недвусмысленной позе под дверью господина Лемана. Дверь притворена, но не плотно. Фрейлейн Землер делает шаг навстречу Пиннебергу и говорит:

— Господин Пиннеберг, вам придется подождать.

Затем берет в руки папку с делом, раскрывает ее, отступает на шаг назад—и уже снова стоит под дверью: разумеется, она просматривает дело!

Из кабинета господина Лемана доносятся голоса. Резкий, отчетливый голос—Пиннебергу он хорошо знаком, это господин Шпанфус. Стало быть, там не только господин Леман, но и господин Шпанфус, а вот раздается и голос господина Иенеке. Потом на мгновение воцаряется тишина, и слышится голос молоденькой девушки, она что-то негромко говорит и, кажется, плачет.

Пиннеберг сердито глядит на дверь, на фрейлейн Землер, покашливает, делает движение рукой: закройте дверь. Однако Землер, ничуть не стесняясь, говорит: «Тсс!» Она вся раскраснелась, у нее разругались щеки—ну и Землер!

Из-за двери доносится голос г-на Иенеке:

— Во всяком случае, фрейлейн Фишер, вы признаете, что встречались с господином Мацдорфом?

Рыдания.

— Вы должны нам ответить,— мягко увещевает г-н Иенеке.— Сможет ли господин Шпанфус составить себе определенное мнение, если вы так упорствуете и не говорите правды? — Молчание.— Да и господину Леману это тоже не нравится.

Фрейлейн Фишер рыдает.

— Так, значит, фрейлейн Фишер,— терпеливо продолжает г-н Иенеке,— вы встречались с господином Мацдорфом?

Рыдания. Никакого ответа.

— То-то и оно! То-то и оно! — вдруг с живостью восклицает господин Иенеке.— Ну ладно. Конечно, нам и так все известно, но вы бы очень выиграли, откровенно признавшись в своих заблуждениях.— Короткая пауза, затем г-н Иенеке заводится вновь: — Итак, фрейлейн Фишер, скажите же нам, что вы, собственно, при этом думали?

Фрейлейн Фишер рыдает.

— Ведь думали же вы при этом что-нибудь! Видите ли, насколько я знаю, вы должны были заниматься продажей чулок. Или, может быть, вы полагали, что вас взяли сюда для общения с другими служащими?

Никакого ответа.

— А последствия?..— торопливой фистулой вдруг возглашает г-н Леман.— Неужели вы совсем не думали о последствиях?! Ведь вам недавно исполнилось семнадцать лет, фрейлейн Фишер!

Молчание... Молчание.

Пиннеберг делает шаг к двери, фрейлейн Землер глядит на него желтым, злым, но все же торжествующим взглядом.

— Дверь! — вне себя от ярости говорит Пиннеберг, и тут в кабинете слышится женский голос, захлебывающийся, срывающийся на крик:

— Но ведь я же не так встречалась с господином Мацдорфом!.. Мы с ним друзья... Я же не встречалась...

Последние слова заглушаются рыданиями.

— Вы лжете,— слышится голос г-на Шпанфуса.— Вы лжете, фрейлейн. В письме сообщается, что вы пришли из гостиницы. Или вы хотите, чтобы мы справились в гостинице?..

— Господин Мацдорф во всем признался! — возглашает г-н Леман.

— Закройте дверь! — снова говорит Пиннеберг.

— Ну, вы не очень-то здесь распорядитесь! — огрызается фрейлейн Землер.

Девушка в кабинете кричит:

— Я никогда не встречалась с ним здесь, в магазине!

— Рассказывайте! — говорит г-н Шпанфус.

— Нет, честное слово — нет!.. Господин Мацдорф работает на пятом этаже, а я на первом. Как же нам было встречаться?

— А в обеденный перерыв? — фистулой верещит г-н Леман. — В обеденный перерыв, в столовой?

— Тоже нет, — торопливо возражает фрейлейн Фишер. — Тоже нет. Вовсе нет. У господина Мацдорфа обед совсем в другие часы, чем у меня.

— Ага! — говорит г-н Иенеке. — Во всяком случае, вы, как видно, наводили справки и, должно быть, очень жалели, что ваши обеденные часы не совпадают!

— Это мое дело, чем я занимаюсь во внеслужбное время! — кричит девушка, и, кажется, она больше не плачет.

— Ошибаетесь, — серьезно произносит г-н Шпанфус. — Как раз в этом-то и заключается ваша ошибка, фрейлейн. Фирма Мандель кормит и одевает вас, фирма Мандель дает вам возможность существовать. Поэтому мы вправе ожидать, чтобы во всех своих поступках вы прежде всего руководствовались интересами фирмы Мандель.

Долгая пауза, и опять:

— Вы встречаетесь в гостинице. Вас может увидеть там кто-либо из покупателей. Покупателю это неприятно, вам тоже неприятно, фирме — убыток. Может статься — будем говорить откровенно, — ваше положение известным образом изменится, и по существующему законодательству мы не можем вас уволить — опять убыток. Продавцу придется платить алименты, жалованья не хватает, он будет постоянно озабочен, будет плохо работать — опять убыток. Вы нанесли такой ущерб интересам фирмы, — внушительным тоном говорит г-н Шпанфус, — что мы вынуждены...

Снова пауза, затяжная. Но нет — фрейлейн Фишер хранит молчание. И тогда г-н Леман торопливо говорит:

— Так как вы нарушили интересы фирмы, мы имеем право уволить вас без предупреждения на основании

пункта седьмого договора о найме. Мы осуществляем это право. Вы уволены без предупреждения, фрейлейн Фишер.

Молчание. Ни звука.

— Пройдите к секретарю, заберите свои документы и остаток жалованья.

— Минуточку! — быстро прибавляет г-н Иенке. — Чтобы вам не думалось, что с вами поступили несправедливо: господин Мацдорф, разумеется, тоже будет уволен без предупреждения.

Фрейлейн Землер стоит у своего стола, из кабинета г-на Лемана выходит молоденькая девушка — красные, заплаканные глаза, бледное лицо. Она проходит мимо Пиннеберга.

— Я должна получить документы, — обращается она к фрейлейн Землер.

— Входите, — говорит фрейлейн Землер Пиннебергу.

И Пиннеберг входит. Сердце у него так и колотится. «Теперь моя очередь, — думает он. — Теперь моя очередь!»

Но до него очередь еще не дошла — господа, собравшись у письменного стола, делают вид, что не замечают его.

— Возьмем кого-нибудь на ее место? — спрашивает г-н Леман.

— Совсем ликвидировать его мы не можем, — замечает г-н Шпанфус.

— Но пока затишье, пусть другие справляются. А пойдет на оживление, возьмем кого-нибудь в помощь. Безработных сколько угодно.

— Верно, — говорит г-н Леман.

Они поднимают глаза и замечают Пиннеберга. Пиннеберг делает два шага вперед.

— Так вот, Пиннеберг, — начинает Шпанфус совсем другим тоном — в нем и следа нет прежней серьезной, отеческой озабоченности. Он попросту груб. — Вы сегодня опять опоздали на полчаса. Чего вы этим добиваетесь — для меня несколько загадочно. Возможно, вы хотите дать нам понять, что вам начхать на фирму Мандель — начхать и наплевать. Пожалуйста, молодой человек, просим покорно... — Он делает широкий жест в сторону двери.

В сущности говоря, Пиннеберг уже решил про себя, что теперь все равно, теперь его наверняка выбросят на улицу. Но неожиданно появляется надежда, и он говорит чуть слышно, сдавленным голосом:

— Прошу прощения, господин Шпанфус, сегодня ночью у меня заболел ребенок, пришлось бежать за сестрой...

И беспомощно глядит на них.

— Ах, вот как, ребенок! — говорит г-н Шпанфус. — На этот раз заболел ребенок. А месяц, не то два месяца назад вы вечно опаздывали из-за жены. Через две недели у вас умрет бабушка, а через месяц тетка сломает ногу... — Он выдерживает паузу, и затем с новой силой: — Вы переоцениваете интерес, который фирма Мандель питает к вашей личной жизни. Ваша личная жизнь не представляет для фирмы никакого интереса. Извольте устраивать ваши дела во внеслужебное время.

Снова пауза, затем:

— Только фирма дает вам возможность жить личной жизнью, сударь! — Фирма — во-первых, фирма — во-вторых и фирма — в-третьих, а там уж занимайтесь, чем хотите. Вы живете нами, сударь, мы сняли с вас заботу о пропитании, понятно вам это? Вы ведь не опаздываете в контору за получкой, когда приходит последнее число месяца.

Он едва заметно улыбается, улыбаются и другие; Пиннеберг понимает: сейчас было бы очень кстати улыбнуться и ему, но, при всем желании, он не в силах выдавить из себя улыбку.

— Так зарубите себе на носу, — говорит в заключение г-н Шпанфус, — при первом же опоздании вы без предупреждения вылетите на улицу. Тогда узнаете, каково ходить в безработных. Их и так уже вон сколько... Мы поняли друг друга, не так ли, господин Пиннеберг?

Пиннеберг в отчаянии глядит на него.

Господин Шпанфус улыбается.

— Ваш взгляд весьма красноречив, господин Пиннеберг. Однако мне хотелось бы услышать и словесное подтверждение. Мы поняли друг друга?

— Да, — тихо произносит Пиннеберг.

— Хорошо, можете идти.

И Пиннеберг уходит.

Опять фрау Миа. Это мои чемоданы:
Явится ли полиция?

Киска сидит в своей маленькой крепости и штопаёт чулки. Малыш лежит в кроватке и спит. На душе у нее так тоскливо. Ганнес за последнее время такой трудный стал, какой-то растерянный и подавленный, легко раздражается и ко всему безразличен. Недавно, желая хоть чем-нибудь порадовать его, она сварила ему к картошке яйцо. Когда она подала яйцо на стол, как он набросился на нее! Что они, миллионеры, что ли? У него и так от забот голова пухнет, а она...

С того дня он ходит тихий и подавленный, разговаривает с ней так ласково и всем своим существом просит прощения. Ему не надо просить прощения, это совершенно излишне. Они одно целое, ничто не может стать между ними, сгоряча брошенное слово может огорчить, но не может ничего разрушить.

А ведь раньше все было иначе. Они были молоды, они были влюблены, и на всем — искрящийся луч света, сверкающая серебряная жилка, пробивающаяся и сквозь самые мрачные каменные толщи. А теперь все рассыпалось в прах. Груды унылого щебня, и лишь изредка сверкающий обломочек. И опять щебень, и опять вдруг блеснет где-то искорка. Они еще молоды, еще любят друг друга, — ах, быть может, они любят друг друга еще сильнее прежнего, они привыкли друг к другу, — но все застлано мрачной пеленой — можем ли мы смеяться? Как можно смеяться, смеяться от всей души, в этом мире оздоровленной экономики, руководители которой наделали тысячи ошибок, тогда как униженные, растоптанные маленькие люди честно выполняли свой долг?

«Немножко справедливости нам бы не помешало», — думает Киска.

Как раз в тот момент, когда она так думает, снаружи доносится крик — это Путбресе, только Путбресе, препирающийся с женщиной. Киске кажется, что она уже где-то слышала этот пронзительный, резкий голос, она напрягает слух — нет, этот голос ей все же незнаком, скорее всего они спорят из-за какого-нибудь шкафа!

Но вот Путбресе окликает ее.

— Милочка! — кричит он. — Фрау Пиннеберг! — орет он.

Киска встает, проходит по своему чердаку к лестнице и смотрит вниз. Да, все-таки это был ее голос. Там внизу, рядом с Путбрезе, стоит ее свекровь, фрау Пиннеберг-старшая, и похоже, они не очень-то мирно беседуют.

— Вот старуха к вам хочет,— говорит Путбрезе, тыча своим корявым пальцем в сторону свекрови, и ретируется. Да так здорово ретируется, что даже плотно закрывает за собою дверь, и обе женщины остаются в темноте. Но мало-помалу глаза привыкают, и Киска снова видит внизу коричневый костюм с модной шляпкой, а под ней — очень белое жирное лицо.

— Добрый день, мама, ты к нам? Ганнеса нет дома.

— Ты и впредь намерена разговаривать со мной отсюда? Или, может, все-таки скажешь, как взобраться к вам наверх?

— По лестнице, мама,— отвечает Киска.— Вот тут, прямо перед тобой.

— И это единственная возможность?

— Единственная, мама.

— Ну ладно. И чего вам не жилось у меня, хотелось бы мне, между прочим, знать? Ну да мы еще поговорим об этом.

Лестница берется без особых затруднений — фрау Пиннеберг-старшую этим не испугаешь. Она стоит на крыше кинозала и вглядывается в темноту, в запыленные стропила.

— Вы тут живете?

— Нет, мама, квартира там, за дверью. Пойдем, я тебе покажу.

Она открывает дверь, фрау Пиннеберг входит и осматривается.

— Ну что ж, в конце концов вам лучше знать, где вам больше подходит. Я предпочитаю Шпенерштрассе.

— Да, мама,— говорит Киска. Если мальчуган не задержится сверхурочно, через четверть часа он будет дома. Ей так хочется, чтобы мальчуган был с нею.— Ты разденешься, мама?

— Нет, спасибо. Я только на минутку. Не очень-то к вам в гости походишь, когда вы так со мной общались!

— Нам было очень жаль...— неуверенно начинает Киска.

— А мне — нисколько! Нисколько! — заявляет фрау Пиннеберг. — Но я молчу. Все же довольно бесцеремонно было бросить меня одну, без всякой помощи... А вы, вижу, и ребеночком успели обзавестись?

— Да, у нас мальчик, ему уже полгода. Его зовут Хорст.

— Хорст? А немного поостеречься вы не могли?

Киска твердо смотрит свекрови в глаза. В данный момент она лжет, но это нисколько не отражается на твердости ее взгляда.

— Конечно, можно было и поостеречься, но мы не хотели.

— Вот как? Ну-ну. Вам лучше знать, позволяют ли вам это ваши обстоятельства. Я-то, во всяком случае, нахожу, что это бессовестно — произвести ребенка на свет, не обеспечив его будущее. А впрочем, пожалуйста, по мне, хоть дюжину, раз это доставляет вам удовольствие!

Она подходит к кроватке и злыми глазами рассматривает ребенка. Киска уже давно решила — сегодня с ней ничего не поделаешь. Обычно свекровь относилась к ней мало-мальски прилично, но сегодня... Она попросту ищет ссоры. Быть может, все-таки лучше, если Ганнес немного задержится.

С осмотром ребенка покончено.

— Кто это? — спрашивает фрау Пиннеберг. — Мальчик или девочка?

— Мальчик, — отвечает Киска. — Хорст.

— Значит, мальчик! — говорит фрау Мари Пиннеберг. — Я так и подумала. У него такой же глупый вид, как у его папаши. Ну что ж, раз это доставляет тебе удовольствие.

Киска молчит.

— Милая моя девочка, — говорит фрау Пиннеберг, расстегивает жакет и присаживается. — Дуться на меня совершенно бесполезно. Я говорю, что думаю. А, и ваш роскошный туалет здесь! Похоже, это единственное, что у вас есть из мебели. Иной раз мне думается, что следовало бы снисходительнее относиться к нашему Гансу — ведь он у нас умственно отсталый. Туалетный столик... — говорит она, устремляя глаза на злополучный туалет, и просто чудо, что лак не начинает пузыриться под ее взглядом.

Киска молчит.

— Когда придет Яхман? — вдруг спрашивает фрау Пиннеберг так резко, что Киска вздрагивает. Фрау Пиннеберг довольна. — Вот видишь, от меня ничто не скроется, ваше логово я тоже нашла, мне все известно. Когда придет Яхман?

— Господин Яхман, — отвечает Киска, — был у нас несколько недель назад, переночевал одну или две ночи и с тех пор больше не показывался.

— Вот как! — язвительно произносит фрау Пиннеберг. — А где он теперь?

— Этого я не знаю.

— Ага, этого ты не знаешь. — Фрау Пиннеберг замедляет темп, хотя и пышет злобой. Она снимает жакетку. — А сколько он вам платит за то, чтобы вы держали язык за зубами?

— На такие вопросы я не отвечаю, — говорит Киска.

— А вот напущу на вас полицию, девочка, — говорит фрау Пиннеберг, — так сразу ответишь. Надо полагать, он сообщил вам, что его разыскивает полиция, этого шулера, этого авантюриста? Или он сказал, что живет у вас из любви к тебе?

Эмма Пиннеберг стоит у окна и пристально смотрит в сад.

Нет, уж лучше бы Ганнес пришел поскорее. Она не сможет выставить свекровь за дверь. А он сможет.

— Вот увидите, он вас подведет. Он всех обманывает. Что он со мной сделал!..

Голос фрау Пиннеберг звучит теперь несколько по-другому.

— Я не видела господина Яхмана два месяца с лишним, — говорит Киска.

— Киска, — говорит фрау Пиннеберг. — Киска, если знаешь, скажи мне, где он, Киска? — Она делает паузу. — Киска, ну, пожалуйста, скажи мне, где он?

Киска поворачивается и смотрит на свекровь.

— Не знаю. Правда не знаю, мама!

Обе женщины глядят друг на друга.

— Ну ладно, — говорит фрау Пиннеберг. — Я хочу тебе верить. Я верю тебе, Киска. Что, он и вправду переночевал у вас всего два раза?

— По-моему, даже один, — замечает Киска.

— А что он говорил обо мне? Скажи, он здорово меня ругал?

— Ничего не говорил,— отвечает Киска.— Ни слова. Он вообще не говорил со мной о тебе.

— Так,— произносит свекровь.— Ни слова.— Она тупо глядит в одну точку.— А в общем, у вас очаровательный ребенок. Он уже говорит?

— Что ты, мама? Это в полгода-то?

— Нет? В таком возрасте они еще не говорят? Я все позабыла, а может, никогда по-настоящему и не знала. Но позволь...— Следует долгая пауза. Пауза тянется все дольше, что-то страшное таится в ней: ярость, страх, угроза...

— Вот!— наконец произносит фрау Пиннеберг и указывает на чемоданы, лежащие на шкафу.— Это его чемоданы. Я их знаю. Это его чемоданы. Ах ты лгунья, такая беленькая, с голубыми глазами, а лгунья! Я-то тебе поверила! Где он? Когда он придет? Ты приберегаешь его для себя, и этот колпак Ганс согласен? Ах ты лгунья!

— Мама...—вне себя от изумления говорит Киска.

— Это мои чемоданы. Он мне задолжал сотни, тысячи, эти чемоданы принадлежат мне. И уж он вернется, если чемоданы будут у меня...

Она тащит к шкафу стул.

— Мама,— робко говорит Киска и пытается удержать ее.

— Отпустишь ты меня или нет? Сию же секунду отпусти меня! Это мои чемоданы!

Она встает на стул и дергает за ручку чемодана. Карниз шкафа держит его.

— Он оставил у нас свои чемоданы! — кричит Киска.

Но свекровь не слушает. Она дергает. Карниз отламывается, чемодан сдвинулся с места. Чемодан довольно тяжелый, ей его не удержать, и он падает на пол, с грохотом ударяется о кроватку. Малыш поднимает рев.

— Оставь чемоданы! — кричит Киска, сверкая на свекровь глазами, и бросается к ребенку.— Не то я вышвырну тебя за дверь...

— Это мои чемоданы! — кричит свекровь и дергает за другой.

Киска держит плачущего ребенка на руках и старается сохранить спокойствие — через полчаса надо кормить Малыша, ей нельзя волноваться.

— Оставь чемоданы, мама! — говорит она. — Они принадлежат не тебе, они должны остаться здесь. — И, напевая вполголоса:

— Ай-яй-яй! Какой большой
Хочет спатеньки со мной!
Нет, сейчас мы все исправим...

— Оставь чемоданы, мама! — снова говорит она.
— То-то он обрадуется, когда вернется к вам вечером!

Второй чемодан с грохотом падает на пол.

— А вот и он!

Она поворачивается к двери, которую кто-то открывает снаружи.

Но это не Яхман, это Пиннеберг.

— Что тут происходит? — тихо спрашивает он.

— Мама хочет забрать чемоданы господина Яхмана, — отвечает Киска. — Она говорит, это ее чемоданы. Господин Яхман задолжал ей.

— Договорись обо всем непосредственно с Яхманом, мама, чемоданы останутся здесь, — произносит Пиннеберг. И на этот раз Киска восхищается своим мужем, так прекрасно он владеет собою.

— Ну, разумеется, — говорит фрау Пиннеберг. — Так я и знала, что ты во всем будешь подпевать жене. Пиннеберги всегда были колпаками. Постыдился бы, тюфяк ты, вот ты кто...

— Милый! — умоляюще кричит Киска.

Но ей нечего бояться за него.

— Погостила, мама, пора и честь знать, — говорит Пиннеберг. — Нет, чемоданы оставь в покое. Неужели ты думаешь, что сможешь снести их по лестнице, если я не захочу? Так, а теперь сделай еще один шагок. Ты не хочешь проститься с женой? Впрочем, это не обязательно.

— Я напущу на вас полицию!

— Осторожно, мама, тут порог.

Дверь с грохотом захлопывается, и Киска слышит, как шум постепенно удаляется. Она напевает колыбельную. «Только бы молоко не пропало».

Она выпрастывает грудь, Малыш улыбается, вытягивает губы трубочкой.

Немного спустя — ребенок уже сосет — Ганнес возвращается.

— Так, теперь она ушла. Интересно все-таки знать, придет она полицию или нет? Расскажи, что у вас тут произошло.

— Ты был великолепен, мальчуган,— говорит Киска.— Вот уж никогда бы не подумала. Ты так прекрасно владел собой.

Он смущен, ибо его хвалят по заслугам.

— Ах, что об этом толковать. Расскажи лучше, что здесь произошло.

Она рассказывает.

— Очень может быть, что Яхмана разыскивают. Я почти уверен в этом. А раз так, значит, и у мамы рыльце в пушку, и в полицию она не заявит. Не то бы полиция уже давно была здесь.

Пиннеберги сидят и ждут. Ребенок накормлен, уложен в постельку и спит.

Пиннеберг водворяет чемоданы на шкаф, достает у хозяина столярного клея и приклеивает карниз, Киска собирает на стол.

Полиция не является.

Актер Шлютер и молодой человек с Аккерштрассе.
Все кончело

Двадцать девятое сентября — Пиннеберг стоит за прилавком в магазине Манделя. Сегодня двадцать девятое сентября, завтра тридцатое сентября, а тридцать первого сентября не бывает. Пиннеберг подсчитывает, и лицо у него при этом очень печальное, можно даже сказать, мрачное. Время от времени он достает из кармана бумажку, где записаны его дневные выручки, изучает ее и снова подсчитывает. Но подсчитывать особенно нечего. Результат неизбежно остается один и тот же: чтобы выполнить норму, за сегодня и завтра нужно наторговать на пятьсот двадцать три с половиной марки.

Это невозможно, но он должен выполнить норму: иначе, что ему делать с семьей на руках? Это невозможно, но перед лицом неизбежных фактов человек начинает верить в чудеса. Как будто снова вернулись давно минувшие школьные годы: ненавистный Гейнеман раздает контрольные работы по-французскому, а ученик Иоганнес Пиннеберг молится под партой: «Господи, сделай так, чтобы у меня было всего три ошибки!»

(хотя семь ошибок он уже знает). Продавец Иоганнес Пиннеберг тоже молится: «Господи боже, пошли мне покупателя, которому нужна фракная пара. И выходное вечернее пальто. И... и...»

К нему подкатывается Кеслер.

— Ну что, Пиннеберг, как ваши акции?

Пиннеберг, не поднимая головы:

— Спасибо. Я не жалуясь.

— Так,— говорит Кеслер и медленно повторяет: — Та-а-ак. Я очень рад. А то вчера, когда вы дали маху, Иенеке сказал, что вы здорово отстаёте и теперь-то он вас рассчитает.

— Спасибо! Спасибо! — говорит Пиннеберг.— Я не жалуясь. Иенеке, должно быть, просто хотел вас подурчить... А как ваши дела?

— На этот месяц норма выполнена, вот я и спросил вас, хотел кое-что предложить.

Пиннеберг стоит как вкопанный. Он ненавидит этого человека, этого подхалима и доносчика Кеслера. Он до того его ненавидит, что даже сейчас не может заговорить с ним, обратиться к нему с просьбой.

— Ну что же, вам повезло,— после долгой паузы произносит он.

— Да, мне уже нечего дрожать. Могу совсем ничего не продавать до конца месяца,— гордо говорит Кеслер и с чувством превосходства глядит на Пиннеберга.

И возможно, очень даже возможно, что Пиннеберг раскрыл бы все-таки рот и обратился к Кеслеру с просьбой, но тут к ним подошел покупатель.

— Будьте любезны, покажите мне домашнюю куртку. Что-нибудь потеплее и попрacticalнее. Цена не играет роли. Только чтоб спокойной расцветки.

Пожилой господин посмотрел на обоих продавцов, а Пиннебергу даже показалось, что на него в особенности. Поэтому он говорит:

— Пожалуйста, если...

Но тут встречается коллега Кеслер:

— Пожалуйста, сударь, если вас не затруднит, я попрошу вас сюда... У нас отличные байковые куртки, совершенно закрытые, скромных расцветок. Прошу вас...

Пиннеберг глядит им вслед и думает: «Значит, Кеслер выполнил норму и все же перебивает у меня покупателя. А ведь это все-таки тридцать марок... Эх, Кеслер...»

Господин Иенеке проходит мимо:

— Ну, вы опять стоите без дела? Все продают, один вы не продаете. Видно, вы прямо-таки стосковались по бирже труда.

Пиннеберг глядит на Иенеке — собственно говоря, он должен бы глядеть на него с ненавистью. Но он такой беспомощный, такой убитый, он чувствует, как в нем закипают слезы, он лепечет:

— Господин Иенеке... Ах, господин Иенеке...

И вот поди же! — господин Иенеке, злобный, вредный господин Иенеке, почувствовал, какое перед ним жалкое, беспомощное существо, Он ободряюще говорит:

— Ну, ну, Пиннеберг, не подайте духом. Все образуется. В конце концов не такие уж мы изверги, мы тоже люди с понятием. У каждого бывает полоса невезенья.

И поспешно отходит в сторону — к ним приближается господин, похожий на покупателя, господин с весьма выразительным, можно даже сказать, характерным лицом. Нет, едва ли это покупатель, на нем модный, сшитый на заказ костюм, готовых костюмов он не носит.

Тем не менее господин направляется прямо к Пиннебергу, а Пиннеберг пытается вспомнить, откуда он его знает, ибо он его, несомненно, знает, только тогда этот господин был какой-то другой.

Но тут господин притрагивается к шляпе и говорит:

— Привет! Привет! Позволительно спросить, сударь, обладаете ли вы фантазией?

У него очень выразительная речь, он широко раскатывает «р» и нисколько не приглушает голоса, очевидно, нимало не смущаясь тем, что его могут слышать другие.

— Материя фантази? — недоумевает Пиннеберг. — Это на третьем этаже.

Господин смеется, смеется нарочито нажимистым «ха-ха-ха»; при этом смеется все его лицо, все его существо. Затем он умолкает, и вот уже снова слышится его звучный, выразительный голос:

— Да нет же, нет. Я спрашиваю, обладаете ли вы фантазией? Вот, например, вы глядите на этот шкаф с брюками — способны ли вы представить себе, что над ним порхает красивая бабочка?

— С трудом, — отвечает Пиннеберг, жалко улыбаясь, и все пытается вспомнить, откуда он его знает, этого ненормального. Ведь он только прикидывается таким!

— С трудом,— повторяет господин.— Это плохо. Ну да ведь вам не приходится накалывать бабочек на работе? — И снова закатывается своим нажимистым «ха-ха».

Пиннеберг тоже улыбается, хотя ему как-то не по себе. Продавцы не должны позволять над собой потешаться, они должны мягко, но решительно отшивать таких подвыпивших типов. Да и господин Иенеке все еще стоит за вешалкой для пальто.

— Чем могу служить? — спрашивает Пиннеберг.

— Служить! — с презрительной интонацией декламирует тот.— Служить! Никто никому не служит! Я совсем о другом. Представьте себе, к вам является молодой человек, ну, скажем, с Аккерштрассе, денег у него вагон, он хочет обарахлиться у вас, одеться во все новенькое, с головы до пят. Так вот, можете вы мне сказать, можете вы себе представить, что предпочтет этот юноша?

— Очень даже могу,— отвечает Пиннеберг.— С этим нам иной раз приходится сталкиваться.

— Вот видите! — подхватывает господин.— Только не надо сразу стусевываться! Ведь есть же у вас все-таки фантазия! Так какие же вещи предпочтет наш юноша с Аккерштрассе?

— Самых светлых, броских тонов,— уверенно говорит Пиннеберг.— В крупную клетку, брюки очень широкие, пиджак в талию, как можно уже. Я мог бы вам показать...

— Отлично,— хвалит тот.— Превосходно. Покажите, покажите. Молодой человек с Аккерштрассе при больших деньгах и хочет обарахлиться во все новенькое.

— Пожалуйста...— говорит Пиннеберг.

— Одну минутку,— произносит тот и поднимает руку.— Чтобы у вас было полное представление. Видите, юноша с Аккерштрассе приходит к вам в магазин вот таким...

Господина словно подменили. На Пиннеберга глядит наглое, порочное лицо — но в то же время на нем написаны трусость и страх; он весь съезжился, втянул голову в плечи: нет ли поблизости дубинки полицейского?

— А вот теперь на нем приличный костюм...

Лицо господина моментально меняется. Да, это все то же наглое, бесстыжее лицо, но цветок повернулся к свету — солнце взошло, солнце сияет. Мы тоже можем

быть симпатягой, мы тоже можем себе это позволить. Подумаешь, велика важности!

— Да ведь вы...— вскрикивает Пиннеберг, и у него перехватывает голос,— да ведь вы — господин Шлютер! Я видел вас в кино! Господи, как это я вас сразу не узнал!

Актер страшно доволен.

— Ах, вот как! В каком же фильме вы меня видели?

— Постойте, как же он назывался? Знаете, в том самом, где вы играете кассира, а ваша жена думает, что вы ради нее идете на растрату. А в действительности деньги дает вам стажер...

— Было такое дело,— отвечает актер.— Значит, вам понравилось? Чудесно. А что вам больше всего понравилось?

— Ах, очень многое... Но, пожалуй, больше всего — это когда вы возвращаетесь к столику, перед тем вы уходили в туалет...

Актер удовлетворенно кивает.

— А стажер уже рассказал вашей жене, что никакой растраты вы не совершили, и они смеются над вами, и вы вдруг делаетесь совсем маленьким, вы совсем убиты... Это ужасно.

— Так, значит, это была лучшая сцена. А почему лучшая? — жадно спрашивает актер.

— Потому что... как бы вам сказать... Только не смейтесь, пожалуйста,— мне казалось, это все про нас. Понимаете ли, нам, людям маленьким, не очень-то сладко сейчас приходится, порою кажется, что все вокруг насмеваются над нами, сама жизнь, понимаете? И чувствуешь себя таким маленьким...

— Голос народа! — говорит актер.— Во всяком случае, для меня невероятная честь, господин... простите, как вас зовут?

— Пиннеберг.

— Словом, голос народа, Пиннеберг. Ну хорошо, а теперь перейдем к суровой прозе жизни и выберем костюм. Мне уже показывали у вас в костюмерной, но это все мура. Давайте посмотрим здесь...

И они смотрят. Полчаса, час роются они в вещах, горы громоздятся на горы, никогда еще Пиннеберг не был так счастлив, что он продавец.

— Очень хорошо,— время от времени бормочет Шлютер. Он на редкость терпелив в примерке, он вле-

зает уже в пятнадцатую пару брюк, но ему все мало, подавай ему шестнадцатую.

— Очень хорошо, Пиннеберг,— бормочет он про себя.

Наконец они у финиша, наконец они присмотрели и примерили все, что только может подойти молодому человеку с Аккерштрассе. Пиннеберг блаженствует, Пиннеберг надеется, что, может быть, господин Шлютер возьмет еще что-нибудь, кроме хорошего костюма,— быть может, коричнево-красное пальто в косую лиловую клетку. Затаив дыхание, Пиннеберг спрашивает:

— Итак, что прикажете вам выписать, господин Шлютер?

Актер Шлютер удивленно поднимает брови.

— Выписать? Да, видите ли, мне хотелось только посмотреть. Покупать я, само собой, ничего не собираюсь. Но вы не огорчайтесь. Вам пришлось немножко попотеть, понимаю. Я пришлю вам билеты на ближайшую премьеру. У вас есть невеста? Я пришлю вам два билета.

— Господин Шлютер,— негромко и торопливо говорит Пиннеберг.— Пожалуйста, прошу вас, купите что-нибудь! Ведь у вас столько денег, вы так много зарабатываете, прошу вас, купите! Если вы уйдете, ничего не купив, виноват буду я, меня уволят.

— Странный вы человек,— говорит актер.— Чего ради я буду покупать? Ради вас? Но мне-то никто ничего даром не дает!

— Господин Шлютер! — говорит Пиннеберг, уже погромче.— Я видел вас в кино, вы играли его, этого бедного маленького человека. Вы знаете, каково нам приходится. Ведь у меня тоже жена и ребенок. Ребенок еще совсем маленький, он такой веселенький, а если меня уволят...

— Господи боже! — говорит господин Шлютер.— Да ведь это ваши личные дела. Не покупать же мне костюмы, которые я не могу носить, для того только, чтобы ваш ребенок веселился.

— Господин Шлютер! — умоляет Пиннеберг.— Сделайте это ради меня. Я занимался с вами целый час. Купите хотя бы один костюм. Чистый шевиот, очень ноский, вы будете довольны...

— Ну, знаете, пора бы, кажется, и перестать! — говорит г-н Шлютер.— Вся эта комедия начинает мне надоедать.

— Господин Шлютер! — просит Пиннеберг и кладет свою руку на руку актера, который хочет уйти.— Фирма назначает нам норму, мы должны наторговать на определенную сумму, иначе нас увольняют. У меня недобор в пятьсот марок. Пожалуйста, ну, пожалуйста, купите что-нибудь. Вы же знаете, каково нам приходится! Вы же играли все это!

Актер отводит руку продавца от своей руки.

— Послушайте, юноша,— очень громко говорит он.— Не смейте меня трогать. Плевать я хотел на все, что вы мне тут нарасказали.

Внезапно из-за вешалки для пальто показывается господин Иенеке — да, конечно, он поспешает к ним.

— Прошу прощения! Я — заведующий отделом.

— Артист Франц Шлютер...

Господин Иенеке склоняется в поклоне.

— ...Странные у вас продавцы. Готовы изнасиловать человека, лишь бы сбыть товар с рук. Вот он утверждает, что к этому вынуждаете его вы. Следовало бы написать об этом в газетах, ведь это форменное вымогательство...

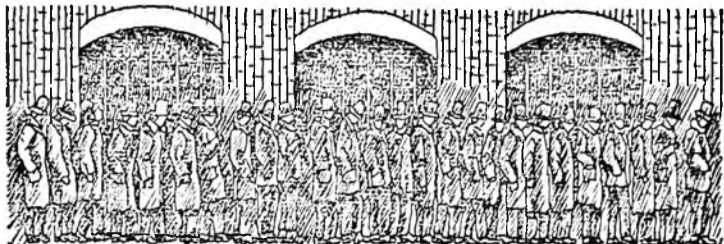
— Он совсем никудышный продавец,— отвечает г-н Иенеке.— Его уже много раз предупреждали. Весьма сожалею, что вы попали как раз к нему. Теперь мы его уволим, он не может работать у нас.

— В этом нет никакой необходимости, я этого вовсе не требую. Правда, он пытался удержать меня...

— Он пытался удержать вас? Господин Пиннеберг, немедленно отправляйтесь в отдел личного состава и заберите свои документы... А что касается болтовни относительно норм, господин Шлютер,— все это ложь. Только два часа назад я сказал ему: не удастся, так не удастся, ничего страшного. Он просто ни на что не способен. Приношу свои извинения, господин Шлютер.

Пиннеберг стоит и смотрит им вслед, стоит и смотрит.

Все, все кончено.



Э п и л о г

ВСЕ ИДЕТ СВОИМ ЧЕРЕДОМ

Красть или не красть дрова? Киска хорошо зарабатывает и находит занятие Ганнесу

Ничего не кончено: жизнь идет своим чередом. Все идет своим чередом. Ноябрь, год спустя: четырнадцать месяцев прошло с тех пор, как Пиннеберг уже не работает у Манделя. Хмурый, холодный, сырой ноябрь — хорошо, если крыша не течет. У них крыша не течет — это заслуга Пиннеберга, месяц назад он заново просмолил ее.

Сейчас Пиннеберг проснулся, стрелки на светящемся циферблате будильника показывают без четверти пять. Пиннеберг слушает, как хлещет и барабанит по крыше осенний дождь. «Не пропускает, — думает он. — Хорошо заделал. Не пропускает. Теперь нам хоть дождь не страшен».

Успокоившись, он хочет перевернуться на другой бок и снова заснуть, но тут ему приходит в голову, что проснулся он от какого-то шума: скрипнула садовая калитка. Стало быть, сейчас постучится Кримна! Пиннеберг касается руки жены, которая лежит рядом с ним на узкой железной кровати, и пробует осторожно разбудить ее, но она все-таки вздрагивает.

— Что случилось?

Киска больше не знает радостных пробуждений, как прежде; раз ее будят раньше времени, значит что-то неладно. Пиннеберг слышит в темноте ее прерывистое дыхание.

— Что случилось?

— Тише! — шепчет он. — Разбудишь Малыша. Еще нет пяти.

— Так что же случилось? — снова спрашивает Киска, и в голосе ее слышится нетерпение.

— Кримна пришел, — шепчет Пиннеберг. — Может быть, мне все же пойти с ним?

— Нет! Нет! Нет! — горячо протестует Киска. — Это решено раз и навсегда, слышишь? Нет! Что угодно, только не воровство. Я этого не хочу...

— Но ведь... — пробует возразить Пиннеберг.

Стук в дверь.

— Пиннеберг! — зовет кто-то. — Идешь с нами, Пиннеберг?

Пиннеберг вскакивает с постели и минуту нерешительно стоит на месте.

— Ну так как же?.. — спрашивает он и прислушивается.

— Пиннеберг! Друг! Бродяга! — доносится снаружи.

Ощупью, впотьмах, Пиннеберг пробирается на террасу — в окне виднеется темный силуэт.

— Наконец-то! Ты идешь или не идешь?

— Я бы пошел, — кричит Пиннеберг через дверь, — вот только...

— Значит, не идешь?

— Пойми, Кримна, я бы пошел, но вот жена... Сам знаешь, женщины...

— Значит, не идешь! — орет Кримна. — Нет так нет, пойдем без тебя!

Пиннеберг глядит ему вслед. Нескладная фигура Кримны темнеет на фоне светлеющего неба. Потом снова скрипит калитка, и Кримну поглощает ночь.

Пиннеберг вздыхает. Он озяб, это не годится — стоять здесь в одной рубашке. Но он стоит и тупо смотрит в окно. Из комнаты доносится голос Малыша:

— Пап-пап! Мам-мам!

Пиннеберг на цыпочках пробирается в комнату.

— Маленькому надо бай-бай, — говорит он. — Маленькому надо еще немножко бай-бай.

Ребенок глубоко вздыхает, и отец слышит, как он поудобнее устраивается в постельке.

— Күку, — чуть слышно шепчет он. — Күку...

Пиннеберг принимается искать в темноте резиновую куклу. Засыпая, Малыш всегда держит ее в руке. Пиннеберг находит куклу.

— На, Малыш, вот твоя кукла. Держи крепче. А теперь бай-бай, маленький!

Ребенок сопит, блаженно, счастливо, сейчас он заснет.

Пиннеберг тоже ложится; он весь заоченел и старается не касаться Киски, чтобы не потревожить ее.

Он лежит, но заснуть не может, да теперь, пожалуй, и не стоит засыпать. В голову лезет всякая всячина. Сильно ли озлился Кримна, что он не пошел с ним на «дровзаготовки», и сильно ли он может навредить ему, Пиннебергу, в поселке. Потом откуда взять денег на брикеты, раз у них теперь не будет дров. Потом сегодня надо съездить в Берлин, сегодня выдают пособие. Потом надо зайти к Путбрезе, отдать ему еще шесть марок. Деньги Путбрезе не нужны, он все равно их пропьет — с ума сойти, на что люди тратят деньги, которые так нужны другим. Потом Пиннеберг вспоминает, что и Гейльбуту надо отдать десять марок — вот и все пособие по безработице. На что жить и отапливаться следующую неделю — одному богу известно, а может, неизвестно и ему...

Так идет из недели в неделю, из месяца в месяц... Самое безотрадное то, что так будет тянуться вечно. Неужели была такая минута, когда он думал, что все кончено? Хуже всего то, что так тянется дальше, тянется и тянется... и конца этому не видать.

Мало-помалу Пиннеберг согревается, сон овладевает им. Может, все-таки удастся еще чуточку соснуть: По-спать всегда стоит. А потом звонит будильник: семь часов. Пиннеберг мгновенно просыпается, а вот и Малыш обрадованно кричит: «Тик-так! Тик-так! Тик-так!» — кричит до тех пор, пока отец не останавливает звонок. Киска продолжает спать.

Пиннеберг зажигает маленькую керосиновую лампу с голубым стеклянным абажуром — день начался. Первые полчаса дел у него по горло, он беспрестанно бежит туда-сюда. Только натянул брюки, а Малыш уже просит «ка-ка», и отец приносит ему «ка-ка» — коробку из-под сигарет, полную старых игральных карт; это его любимая игрушка. В маленькой железной печурке, а теперь еще и в плите, пылает огонь; Пиннеберг бежит за водой к колонке, стоящей в саду, умывается, варит кофе, нарезает хлеб, намазывает куски маргарином. Киска все еще спит.

Вспоминается ли Пиннебергу фильм, который он когда-то — давным-давно — видел? Жена там тоже лежала в постели, она была свежа, как роза, а муж бежал и хлопотал по хозяйству. Увы! Киска не свежа, как роза, Киске приходится целый день работать, Киска бледная и усталая, Киска вывозит на себе бюджет. Тут совсем другая картина.

Пиннеберг одевает сына и говорит, повернувшись к постели:

— Теперь и тебе пора, Киска.

— Да, — покорно отзывается она и начинает одеваться — Что сказал Кримна?

— Ничего не сказал. Просто обозлился.

— Ну и пусть злится. Что угодно, только не это.

— Видишь ли, — осторожно говорит Пиннеберг, — это совершенно безопасно. Они ходят за дровами всегда вместе, вшестером — ввосьмером. Тут ни один лесник не посмеет подступиться.

— Все равно, — решительно говорит Киска. — Мы такими делами не занимаемся и заниматься не будем.

— А где взять деньги на уголь?

— Сегодня я опять весь день штопаю чулки у Кремеров. Это три марки. А завтра, наверное, пойду чинить белье к Рехлинам. Это еще три марки. А на будущую неделю опять уже договорилась на три дня. Мои дела идут тут неплохо.

Кажется, в комнате становится светлее от ее слов, от Киски словно веет свежим ветром.

— Такая трудная работа, — говорит он. — Штопать чулки девять часов подряд — и за такие гроши!

— А стол ты не считаешь? — говорит она. — У Кремеров очень хорошо кормят. Да я еще вам к ужину чего-нибудь принесу.

— Ты должна съесть все сама, — говорит он.

— У Кремеров очень хорошо кормят, — повторяет она.

Уже совсем рассвело, взошло солнце. Пиннеберг задувает лампу, и они садятся за стол. Малыш сидит на коленях то у отца, то у матери. Он пьет молоко, ест хлеб, и в его глазенках сверкает радость вновь народившегося дня.

— Когда будешь сегодня в городе, — говорит Киска, — купи для него четверть фунта хорошего масла.

Я думаю, сидеть на маргарине ему не полезно. У него слишком медленно прорезываются зубки.

— Сегодня надо отдать Путбрезе шесть марок.

— Да, надо. Смотри не забудь.

— И Гейльбуту надо отдать десять марок за аренду.

Первое — послезавтра.

— Верно, — говорит Киска.

— Вот и все пособие. Только-только на проезд останется.

— Я дам тебе пять марок, — говорит Киска. — Ведь сегодня я получу еще три. Купишь масла и постарайся достать на Александерплац бананов по пять пфеннигов. Здесь дерут по пятнадцать, разбойники! Кто может столько платить!

— Хорошо, — говорит он. — А ты постарайся прийти пораньше, чтобы Малыш не оставался так долго один.

— Постараюсь. Быть может, удастся вернуться к половине шестого. Ты уедешь в час?

— Да, — говорит он. — В два надо быть на бирже.

— Ничего не случится, — говорит она. — Конечно, страшновато оставлять Малыша одного. Но пока ничего не случалось.

— Не случалось — до первого разу.

— Не говори так. Почему нам все время должно не везти? Сейчас я зарабатываю штопкой и чинкой, нам не так уж плохо живется.

— Да, — медленно произносит он. — Да, конечно.

— Мальчик мой! — говорит она. — Не всегда же так будет. Не вешай носа. Будет и на нашей улице праздник.

— Я женился на тебе не для того, чтобы ты меня кормила, — упрямо говорит он.

— Но я и не кормлю тебя, — говорит она. — Это на мои-то три марки? Какая чепуха! — Она что-то соображает. — Слушай, милый, ты не хотел бы мне помочь?.. — Она колеблется. — Дело не из приятных, но ты мог бы здорово меня выручить...

— Да? — с надеждой спрашивает он. — Все что угодно.

— Недели три назад я чинила белье у Рушей на Садовой улице. Два дня — шесть марок. Денег я еще не получила.

— Ты хочешь, чтобы я сходил за ними?

— Да,— отвечает она.— Только чтоб без скандала, сбещаешь?

— Да, да,— говорит он.— Выцарапаю и так.

— Вот и прекрасно,— говорит она.— Одной заботой меньше. А теперь надо идти. Будь здоров, мальчуган. Будь здоров, Малышок.

— Будь здорова, девочка,— говорит Пиннеберг.— Не очень-то надсаживайся на штопке. Парой меньше, парой больше — не все ли равно. Сделай маме ручкой, Малыш.

— Будь здоров, Малышок! — говорит она.— А сегодня вечером прикинем, что нам посадить в саду будущей весной. У нас будет пропасть овощей! Обдумай это заранее.

— Ты лучше всех,— говорит он.— Ты самая лучшая... Ладно, хорошо, подумаю. Привет, старуха.

— Привет, старик.

Он держит ребенка на руках, и они глядят, как она идет по садовой дорожке. Они кричат, смеются, машут руками. Затем раздается скрип калитки: Киска выходит на дорожку между дачными участками. Когда ее не видно за домами, Малышок кричит: «Мам-мам!»

— Мам-мам скоро придет,— утешает его отец.

Наконец она исчезает из виду, и они возвращаются домой.

Муж: в роли жены. Хорошая водичка и слепой Малыш.
Спор из-за шести марок

Пиннеберг посадил Малыша на пол, дал ему газету, а сам занялся уборкой комнаты. Газета была такая большая, а ребенок был такой маленький, он долго возился, пока развернул ее. Комната была совсем небольшая, девять квадратных метров, и в ней стояли только кровать, два стула, стол и туалетный столик. Вот и все.

На развороте газеты Малыш увидел картинки и радостно сказал: «Ка!» и в восторге взвизгнул: «И-и!» Отец подтвердил его открытие. «Это картинки, Малыш!» — сказал он. Всех мужчин Малыш называл «папап», всех женщин — «мам-мам», он очень оживился и сиял от счастья — вон сколько их в газете!

Пиннеберг положил простыни и подушки проветриваться на подоконник, прибрал комнату и перешел в

кухню. Кухня была размером с полотенце — три метра в длину, полтора в ширину, а плита была самой маленькой плитой на свете, с одной только конфоркой; плита испортила Киске немало крови. Здесь Пиннеберг тоже прибрался, вымыл посуду — эта работа его не тяготила, и подметал и вытирал пыль он тоже охотно. Но потом пришлось чистить картошку и морковь к обеду — этого он не любил.

Когда все дела были переделаны, Пиннеберг вышел в сад и осмотрел свои владения. Домик с маленькой застекленной террасой был совсем крошечный, и тем огромнее казался участок почти в тысячу квадратных метров. Но он был совершенно запущен. Он достался Гейльбуту по наследству три года назад и с тех пор не обрабатывался. Быть может, клубнику еще удастся спасти, но перекопать грядки будет очень трудно: все заросло бурьяном, пыреем и чертополохом.

После утреннего дождя небо прояснилось, было свежо — но выбраться на воздух Малышу не повредит.

Пиннеберг возвратился в дом.

— Так, Малыш, теперь поедem гулять, — сказал он и натянул на ребенка шерстяной джемпер и серые рейтузы, а на голову надел белую лохматую шапочку.

Малыш запросил «ка-ка», и отец подал ему карты. Карты отправлялись на прогулку вместе с ними: гуляя, Малыш всегда держал что-нибудь в руке. На террасе стояла его маленькая тележка — еще летом они обменяли на нее коляску. «Садись, Малыш», — сказал отец, и Малыш сел.

Они не спеша двинулись в путь. Пиннеберг поехал не по обычной дороге, ему не хотелось проходить мимо домика Кримны, он боялся нарваться на скандал. При его нынешнем упадке духа Пиннебергу было не до скандалов, жаль только, что не всегда удавалось их избежать. Поселок, где они жили, был большой, в три тысячи участков, но зимовали в нем от силы пятьдесят человек; все, кто только мог наскрести денег на комнату или приютиться у родственников, бежали в город от холода, грязи и одиночества. Оставшиеся — самые бедные, самые упорные и самые отчаянные — чувствовали, что они должны держаться друг за друга, но в том-то и беда, что они не держались друг за друга: это были либо коммунисты, либо наци, и они вечно скандалили и дрались между собой.

Пиннеберг все еще не мог решить, на чью сторону стать; он думал, что легче всего лавировать между теми и другими, но иногда именно это и было труднее всего.

На некоторых участках люди лихорадочно работали пилами и топорами. Это были коммунисты, вместе с Кримной участвовавшие в ночной вылазке. Дрова нужно было поскорее убрать, чтобы сельский жандарм, если бы ему вздумалось проверить, ничего не обнаружил. Когда Пиннеберг вежливо говорил: «Добрый день»,— люди отвечали ему сухо или хмуро, во всяком случае, не очень-то приветливо. Несомненно, они злились на него. Пиннеберга это тревожило.

Наконец отец с сыном достигли центра поселка — длинные мощеные улицы, небольшие виллы. Пиннеберг расстегнул ремешок, прибитый к передку тележки, и сказал Малышу:

— Вылезай! Вылезай!

Малыш взглянул на отца, его голубые глазенки так и светились лукавством.

— Вылезай,— повторил отец.— Вези сам свою тележку.

Малыш снова взглянул на отца, спустил ногу на землю, улыбнулся и подобрал ногу.

— Вылезай, Малыш,— увещевал отец.

Малыш откинулся на спину и притворился, что спит.

— Ну, хорошо,— сказал отец.— Тогда пап-пап пойдет один.

Малыш лукаво сощурил глазенки и не шелохнулся.

Пиннеберг медленно двинулся дальше, тележка с ребенком осталась позади. Он отошел на десять шагов, на двадцать: никакого эффекта! Совсем медленно он прошел еще десять шагов, и тут ребенок закричал:

— Пап-пап! Пап-пап!

Пиннеберг обернулся: Малыш вылез из тележки, но и не думал следовать за ним; он высоко поднял ремешок, требуя, чтобы отец закрепил его.

Пиннеберг возвратился и закрепил ремешок. Малыш был доволен: его любовь к порядку была удовлетворена, и он долго толкал свою тележку, шагая рядом с отцом. Потом они дошли до моста через широкий, бурный ручей, протекавший по луговине. По откосу можно было спуститься на луг.

Пиннеберг оставил тележку наверху, взял Малыша за руку и спустился к ручью. После дождя ручей вздул-

ся, стал мутным и весь вихрился пенистыми водоворотами.

Держа Малыша за руку, Пиннеберг подошел к самому берегу, и они долго молча смотрели на торопливо бегущую воду. Потом Пиннеберг сказал:

— Это вода, Малыш, хорошая, славная водичка.

Ребенок что-то радостно пискнул в ответ. Пиннеберг несколько раз повторил эту фразу, и Малыш каждый раз радовался, что отец с ним разговаривает.

А потом Пиннебергу показалось неправильным, что он стоит во весь рост рядом с ребенком и поучает его. Он присел на корточки и еще раз сказал:

— Это хорошая, славная водичка, Малыш.

Увидя, что отец присел, ребенок, очевидно, подумал, что так надо, и тоже присел. Так, сидя на корточках, они некоторое время смотрели на воду, а потом пошли дальше. Малыш устал толкать тележку и пошел один. Сперва он шел рядом с отцом и тележкой, потом его внимание начали привлекать всякие вещи, с которыми стоило познакомиться поближе, — курица, витрина или чугунная крышка колодца, хорошо заметная среди булыжников мостовой.

Пиннеберг ждал его, а потом медленно шел дальше, потом снова останавливался, окликал и звал Малыша. Тот торопливо пробегал за ним несколько шажков, улыбался отцу, поворачивался и возвращался к своей чугунной крышке.

Так повторялось из раза в раз, и наконец отец ушел далеко вперед — слишком далеко, по разумению Малыша. Он позвал отца, но отец не остановился. Ребенок, не сходя с места, переступал с ноги на ногу; он очень взволновался. Взявшись за край шапочки, он надвинул ее на глаза и громко закричал: «Пап-пап!»

Пиннеберг оглянулся. Его сынишка стоял посреди улицы с надвинутой на глаза шапкой и топтался на месте — того и гляди шлепнется. Пиннеберг бросился к нему и едва успел подхватить сына, его сердце так и прыгало. «Надо же, — думал он. — В полтора года дойти до этого своим умом! Притворился слепым, чтобы я его забрал!»

Он поправил сыну шапку, и лицо Малыша озарилось улыбкой.

— Ну и плутишка же ты, Малыш, ну и плутишка! — без конца повторял Пиннеберг со слезами умиления на глазах.

Но вот они дошли до Садовой улицы, где жил фабрикант Руш, с жены которого Киска три недели не могла получить шесть марок. Пиннеберг повторяет про себя обещание не скандалить, твердо решает не скандалить и нажимает кнопку звонка.

Вилла стоит в палисаднике, немного отступя от улицы — большая, красивая вилла, а за нею — большой, красивый фруктовый сад. Пиннебергу это нравится.

Он уже все рассмотрел, и тут только до него доходит, что на его звонок никто не отозвался. Он звонит вторично.

На этот раз в доме открывается окно, из него высвобождается женщина:

— Что нужно? Мы не подаем!

— Моя жена чинила у вас белье, — отвечает Пиннеберг. — С вас шесть марок.

— Приходите завтра! — кричит женщина и захлопывает окно.

Пиннеберг стоит и размышляет, что можно предпринять, не нарушая обещания, данного Киске. Малыш сидит притихший в тележке; уж конечно, он почувствовал, что отец рассержен.

Пиннеберг снова нажимает кнопку звонка и не отпускает ее, не отпускает очень долго. Никакого движения. Пиннеберг снова что-то соображает и уже хочет уйти, но тут ему представляется, что значит восемнадцать часов подряд штопать и чинить белье. Он упирает локоть в кнопку звонка и ждет. Мимо проходят люди и смотрят на него. А он все стоит и стоит. Малыш — ни звука.

Наконец окно опять открывается, и женщина кричит:

— Если вы сию же секунду не отойдете от звонка, я позову жандарма!

Пиннеберг снимает локоть со звонка и кричит в ответ:

— Попробуйте позовите! Тогда я скажу жандарму...

Но окно уже захлопнулось, и Пиннеберг опять принимается звонить. Он всегда был кротким, миролюбивым человеком, но теперь это мало-помалу у него проходит. Правда, ему, в его положении, совсем невыгодно иметь дело с жандармом — но все равно. Малыш, должно быть, уже замерз, просидев столько в тележке, но и это ничего не значит. Вот стоит маленький человек

Пиннеберг и звонит к фабриканту Рушу. Он хочет получить шесть марок, он упорствует, и он их получит.

Дверь виллы распахивается, и женщина направляется прямо к нему. Она вне себя от ярости. Она ведет на привязи двух огромных догов, черного и серого,— очевидно, ночью они сторожат усадьбу и дом. Псы понимают, что перед ними — враг, они рвутся с привязи и угрожающе рычат.

— Я спущу собак,— говорит женщина,— если высию же минуту не уберетесь!

— С вас шесть марок,— говорит Пиннеберг.

Женщина злобствует пуще прежнего, видя, что номер с собаками не прошел. Ведь нельзя же спустить собак: они в два счета перемахнут через изгородь и растерзают человека. И тот понимает это не хуже ее.

— Как видно, вы научились ждать,— говорит она.

— Научился,— говорит Пиннеберг и не сходит с места.

— Вы ж безработный,— презрительно говорит женщина.— Это же видно. Я донесу на вас в полицию. Вы обязаны сообщать о побочных заработках вашей супруги, это обман.

— Согласен,— говорит Пиннеберг.

— Я вычту с вас подоходный налог и сбор в пользу больничной и инвалидной кассы,— говорит женщина, успокаивая псов.

— Пожалуйста,— говорит Пиннеберг.— Тогда я вернусь завтра и попрошу предъявить квитанции финансового управления и больничной кассы.

— Пусть только ваша жена попробует прийти ко мне за работой! — кричит женщина.

— С вас шесть марок,— говорит Пиннеберг.

— Нахал! Грубиян! — кричит женщина.— Если бы муж был дома...

— Но его нет дома,— говорит Пиннеберг.

И — вот они, эти шесть марок. Вот они лежат на ограде, три монеты по две марки. Их еще нельзя взять — сначала женщина должна увести собак. Только после этого Пиннеберг берет деньги.

— Большое спасибо,— говорит он, приподнимая шляпу.

— Де! Де! — кричит Малыш.

— Да, деньги,— подтверждает Пиннеберг.— Деньги, Малыш. А теперь домой.

Он не поворачивается, не глядит больше ни на женщину, ни на виллу, он медленно толкает тележку, он опустошен, измотан и мрачен.

Малыш что-то весело лопочет и кричит.

Время от времени отец отвечает ему, но каждый раз невпопад. В конце концов притихает и Малыш.

Почему Пиннеберги не живут там, где живут. Фотоателье
Иоахима Гейльбута. Леман уволен!

Два часа спустя Пиннеберг приготовил обед себе и Малышу, они вместе поели, потом Малыш был уложен в кроватку; теперь Пиннеберг стоит в кухне у неплотно прикрытой двери и ждет, чтобы ребенок заснул. Малыш еще не хочет спать, он все время кричит и зовет: «Пап-пап!» Но Пиннеберг стоит как вкопанный и ждет.

Медленно приближается минута, когда надо выходить на станцию: если он не хочет опоздать за пособием, нужно поспеть на поезд, который уходит в час, и попросту смешно думать о том, что он может опоздать — пусть даже по самым уважительным причинам.

А малыш все зовет и зовет:

— Пап-пап!

Вообще-то говоря, уйти было бы можно. Ведь он привязал ребенка к кроватке, с ним решительно ничего не может случиться. Но все же как-то спокойнее на душе, когда уходишь, зная, что Малыш спит. Легко ли подумать, что ребенок прокричит так весь день, пять, а то и шесть часов подряд, пока не вернется Киска.

Пиннеберг заглядывает в щелочку: Малыш затих, Малыш спит. Пиннеберг на цыпочках выходит из дому, запирает дверь и, став под окном, прислушивается: не проснулся ли Малыш, когда щелкнул замок. Ничего не слышно. Все тихо.

Пиннеберг припускает рысцой, он еще может поспеть на поезд, а может, и не поспеет. Во всяком случае, он должен поспеть. Разумеется, их главная ошибка была в том, что они жили в дорогой квартире Путбрее еще год после того, как он стал безработным. Сорок марок за жилье при девяноста марках дохода! Чистейшее безумие, но они не могли решиться... Отказаться от последнего, что у них есть, от возможности остаться наедине, от возможности быть вместе... Сорок марок за

жилье — на это пошла его последняя получка, на это пошли деньги Яхмана, но дальше так не пошло, и все же должно было как-то идти. Долги... Путбрезе был неумолим: «Ну, молодой человек, как насчет деньжат? Не приступить ли уже к переезду? Переезд я обещал бесплатный, прямо на улицу...»

Киска каждый раз укрощала его. «У вас-то, конечно, есть чем заплатить, милочка,— говорил Путбрезе.— Но вот как молодой человек?.. Я бы давно нашел работу...»

Задолженность и судорожное барахтанье, бессильная ненависть к человеку в синей блузе. Дошло до того, что Пиннеберг не осмеливался больше приходиться домой. Целыми днями он просиживал в парках или бесцельно бродил по улицам, он видел в магазинах, сколько хороших вещей можно купить за хорошие деньги. При этом он как-то подумал, что раз уж он шатается по городу, можно попытаться разыскать Гейльбута. Он тогда зашел к фрау Витт и этим ограничился, но ведь в конце концов есть еще полицейские участки, справочные бюро и бюро прописки. Пиннеберг занялся розысками Гейльбута не только потому, что надо было как-то убить время — он подумывал при этом и об одном давнишнем разговоре с Гейльбутом — речь тогда шла о том, что Гейльбут обзаведется собственным делом, и о том, кого он в первую очередь возьмет к себе.

Так вот, разыскать Гейльбута оказалось совсем нетрудно. Он по-прежнему жил в Берлине, с соблюдением необходимых формальностей он перебрался на новую квартиру, только уже не в Восточном районе, а в центре. «Йоахим Гейльбут, фотоателье», — гласила дощечка на входной двери.

Действительно, Гейльбут обзавелся собственным делом, вот это человек, он никому не позволит наступать себе на ноги, и он преуспевает. Гейльбут был готов пристроить у себя своего давнего друга и сослуживца. Речь шла не о месте с твердым окладом, а о месте агента по сбыту, работающего из комиссионных. Они договорились о приличных комиссионных, и... два дня спустя безработный Пиннеберг отказался от места.

О, слов нет, тут можно было хорошо заработать, только он не мог на этом зарабатывать, ему это не по нутру. Нет, он вовсе не строит из себя невесть что — просто не по нутру.

Удивительное дело: в свое время Гейльбут погорел на снимках с обнаженной натуры, из-за одного такого снимка ему пришлось отказаться от не бесперспективного места, от работы, с которой он отлично справлялся. Другие бы после этого избегали подобных снимков как чумы, а Гейльбут из камня преткновения сделал краеугольный камень существования. У него была драгоценная коллекция неслыханно разнообразных снимков — не какие-нибудь наемные натурщицы с изношенными телами, нет, свеженькие, молоденькие девочки, темпераментные женщины — Гейльбут торговал снимками с обнаженной натуры.

Он действовал с осторожностью: где подретуширует, где приставит новую голову — это ведь ничего не стоит, и никто не сможет ткнуть пальцем в фотографию и сказать: «Постойте, да ведь это же...» Зато многие будут только в затылках чесать, спрашивая себя: «Уж не... ли это?»

Гейльбут дал объявление о распродаже коллекции, однако конкуренция в этой области была слишком велика: торговля, правда, шла, но далеко не блестяще. Блестяще шла продажа с рук. Гейльбут нанял троих молодых людей (четвертым в течение двух дней был Пиннеберг), которые продавали фотографии известного рода девицам, известного рода хозяйкам, швейцарам известного рода небольших гостиниц, зрителям туалетов известного рода ресторанов. Дело было поставлено широко и все расширялось: Гейльбут изучил вкусы клиентов. Нельзя даже сказать, сколь велик был аппетит четырехмиллионного города на подобные штучки. Возможности открывались безграничные.

Да, Гейльбут очень сожалел, что его друг Пиннеберг так и не решился взяться за продажу. Дело было весьма перспективное. Гейльбут полагал, что порою и самая лучшая жена — именно самая лучшая — может быть помехой в жизни. Пиннеберга просто тошнило, когда этакий туалетный дядя рассказывал ему, как отозвались покупатели о последней партии товара: где, по их мнению, надо быть откровеннее, и как, и почему. Гейльбут когда-то ратовал за культуру нагого тела, он не спорил, он говорил:

— Я практичный человек, Пиннеберг, я отталкиваюсь от жизни.

И еще он говорил:

— Я не позволяю наступать себе на ноги. Я остаюсь при своем, а с чем остаются другие— это их дело.

Нет, между ними не произошло размолвки. Гейльбут хорошо понимал друга.

— Ну ладно, это тебе не по нутру. Но ведь надо же что-то для тебя придумать!

Вот он, Гейльбут, какой: он хотел помочь, к нему пришел товарищ, они уже не были так дружны, как прежде, вероятно, они никогда не были особенно дружны, но помочь надо было. Тут-то Гейльбут и вспомнил про этот летний домик в Восточном районе Берлина, довольно далеко, в сорока километрах, собственно, уже не в Берлине — зато при доме есть клочок земли. «Он достался мне по наследству, Пиннеберг, три года назад, от какой-то тетки. На что он мне? Вы можете жить там, у вас будут своя картошка и овощи».

— Для Малыша это было бы замечательно, — сказал Пиннеберг. — Все время на свежем воздухе.

— Платы я с вас не возьму никакой, — сказал Гейльбут. — Ведь дом и так пустует, а вы приведете мне в порядок сад. Правда, кое-какие расходы я все же несу — налоги, взносы на ремонт дорог и не знаю, что там еще, постоянно надо платить... — Он прикинул в уме. — Скажем, десять марок в месяц — не много для тебя?

— Что ты, что ты, — сказал Пиннеберг. — Это замечательно, Гейльбут.

Таким воспоминаниям предается Пиннеберг, сидя в вагоне поезда — того самого, который отходит в час, он поспел вовремя — и разглядывая проездной билет. Билет желтого цвета, стоит пятьдесят пфеннигов, обратный проезд тоже стоит пятьдесят пфеннигов, и, так как Пиннеберг дважды в неделю должен ездить в город на биржу труда, из восемнадцати марок пособия ровно две вылетают на проезд. Всякий раз, когда Пиннеберг берет билет, его душит ярость.

Дело в том, что для загородных жителей существуют сезонные билеты, они обходятся дешевле; но для того, чтобы получить сезонный билет, Пиннеберг должен бы жить там, где он живет, а это для него невозможно. В поселке, где он живет, тоже есть своя биржа труда, и он без всяких затрат на проезд мог бы отмечаться там, но это для него невозможно, потому что он живет не там, где живет. Для биржи труда Пиннеберг живет

у Путбресе — сегодня, завтра и во веки веков, независимо от того, может ли он платить за квартиру или нет.

Увы! Пиннеберг хоть и не хочет вспоминать, но часто вспоминает о том, как в июле и августе он ходил от Понтия к Пилату, пытаясь получить разрешение переехать из Берлина в поселок, перевестись с берлинской биржи труда на тамошнюю.

— Только если вы сможете доказать, что там у вас есть виды на работу. Иначе вас не поставят на учет.

Нет, этого он доказать не может.

— Но ведь я и здесь буду сидеть без работы!

— Этого вы знать не можете. Во всяком случае, вы стали безработным здесь, а не там.

— Но ведь я экономлю тридцать марок в месяц на квартирной плате!

— Это к делу не относится. Нас это не касается.

— Но ведь здесь хозяин выбросит меня на улицу!

— Тогда город предоставит вам другую квартиру. Вам придется только сообщить в полицию, что вы остались без крова.

— Но ведь там, при доме, есть и земля! Я мог бы обеспечить себя картофелем и овощами!

— При каком таком доме? Вам должно быть известно, что законом запрещено проживать на загородных участках!

Итак, ничего не поделаешь. Формально Пиннеберги все еще живут в Берлине, у столяра Путбресе, и Пиннебергу дважды в неделю приходится ездить в город за пособием. Да еще каждые полмесяца отдавать ненавистному Путбресе шесть марок в счет покрытия задолженности за квартиру.

Да, когда Пиннеберг просидит этак с час в вагоне, он весь распаляется от этих мыслей, так что под конец получается изрядный костерчик из ярости, ненависти и озлобления. Но это всего-навсего костерчик. А потом, на бирже труда, он движется в сером, монотонном потоке других безработных — какие разные у них лица, как по-разному они одеты, но все одинаково озабочены, одинаково издерганы, одинаково озлоблены...

А что толку?

Он в этом учреждении один из шести миллионов, он идет вдоль ряда окошек — к чему волноваться? Десяткам тысяч приходится еще хуже, у десятков тысяч нет таких дельных жен, у десятков тысяч не один ребенок,

а с полдюжины — проходи дальше, Пиннеберг, получай деньги и катись, некогда нам с тобой разговаривать, подумаешь, какой особенный, цацкайся тут с ним.

И Пиннеберг идет дальше вдоль ряда окошек, выходит на улицу и направляется к Путбрезе. Путбрезе у себя на складе, сколачивает оконную раму.

— Добрый день, хозяин, — говорит Пиннеберг и хочет быть вежливым с врагом. — Вы, что же, теперь еще и плотниками заделались?

— Я, молодой человек, на все руки, — отвечает Путбрезе, щуря свои маленькие глазки. — Я не то что иные прочие.

— Ну, это само собой, — соглашается Пиннеберг.

— Как сын? — спрашивает Путбрезе. — Выйдет из него что-нибудь?

— Еще ничего нельзя сказать наверное, — отвечает Пиннеберг. — Вот деньги.

— Шесть марок, — подтверждает Путбрезе. — Остается еще сорок две. А супруга как поживает, хорошо?

— Хорошо, — подтверждает Пиннеберг.

— Вы так это говорите, словно страшно гордитесь этим. Только гордиться-то вам нечем, вашей заслуги тут нет.

— Ничем я не горжусь, — миролюбиво говорит Пиннеберг. — Почта не приходила?

— Почта! — фыркает Путбрезе. — Это для вас-то — почта? А приглашение на работу не хотите?.. Был тут один какой-то.

— Мужчина?

— Так точно, мужчина, молодой человек. Во всяком случае, я принял его за мужчину... В городе спокойно?

— Что значит: в городе спокойно?

— Полиция опять цапается с коммунистами. А то с наци. Они тут витрины побили. Не видали?

— Нет, — отвечает Пиннеберг. — Не видал. А чего хотел тот человек?

— Понятия не имсю... Вы не коммунист?

— Я? Нет.

— Странно. Я бы на вашем месте был коммунистом.

— А вы коммунист, хозяин?

— Я? Черта с два! Я ремесленник, откуда мне быть коммунистом?

— Ах так... Так чего же хотел тот человек?

— Какой человек? Ну чего вы ко мне привязались? Трепался с полчаса. Я дал ему ваш адрес.

— Загородный?

— Ну да, загородный, какой же еще? Городской он и так знал, раз явился сюда.

— Но ведь мы же условились...— внушительно начинает Пиннеберг.

— Все в порядке, молодой человек. Жена возражать не станет. У вас там в доме нет стремянки? А то бы я выбрался разок подсобить. У вашей супруги есть за что подержаться...

— А пошли вы...— Пиннеберга душит ярость.— Скажете вы мне наконец, чего хотел тот человек?

— Да снимите вы воротничок,— издевается Путбрезе.— Ведь он у вас грязный-прегрязный. Уж больше года как в безработных, а все еще носит эту гипсовую повязку. Вот уж действительно таким ничто не поможет.

— Пошли вы в...— кричит Пиннеберг и захлопывает за собой дверь.

— Пожалуйте сюда, молодой человек, дербалызнем по маленькой! — говорит Путбрезе, высовывая в дверь свою багровую рожу.— Глядя на вас, я и больше выпью!

Пиннеберг медленно идет по улице, и его душит ярость — он опять позволил Путбрезе поиздеваться над собой. И так каждый раз: он всегда дает себе слово, что поболтает немного с Путбрезе и уйдет, и всегда кончается одним и тем же. Пентюх несчастный, ничему-то он не научится, каждый делает с ним, что хочет...

Пиннеберг останавливается перед витриной галантерейного магазина, в ней большое красивое зеркало, Пиннеберг видит себя во весь рост. Да, что и говорить, вид у него неважнецкий. Светло-серые брюки пестрят темными пятнами — следы просмолки крыши, пальто потерлось и выгорело, ботинки — заплатка на заплате; Путбрезе, в сущности, прав — воротничок тут ни к чему. Опустившийся безработный — это каждому за сто шагов видно. Пиннеберг отстегивает воротничок, снимает галстук и сует их в карман пальто. Но и теперь вид у него ненамного лучше, намного его уже ничем не испортить; Гейльбут промолчит, но Гейльбут удивится.

Ага, вот едут полицейские машины. Значит, опять была стычка с коммунистами — смелые, видно, ребята.

Хорошо бы опять почитать газету, а то живешь и не знаешь, что творится на белом свете. Может статься, в Германии уже полный порядок, и только он ничего не замечает, сидя там у себя за городом.

Э, нет, кто-кто, а уж он бы заметил, если бы все пришло в порядок; пока что по бирже труда не видать, чтобы число ее подопечных сократилось.

Так можно думать и думать без конца, приятного тут мало, веселее от этого не становится, но чем еще заняться в городе, которому до тебя дела нет? Сиди и не рыпайся, хватит с тебя своих забот. Магазины, где не можешь ничего купить, кино, куда не можешь пойти, кафе для тех, у кого есть деньги, музеи для тех, кто прилично одет, квартиры для всех, только не для тебя, власти — чтобы над тобой измываться, — нет уж, лучше не рыпаться. Но он все же радуется, вступив на знакомую лестницу, ведущую в контору и квартиру Гейльбута. Ведь сейчас почти шесть, Киска, наверное, уже дома, и с Малышом, наверное, ничего не случилось...

Он нажимает кнопку звонка.

Ему открывает девушка, очень хорошенькая, молоденькая девушка в чесучовой блузке. Месяц назад ее здесь не было. — Что вам угодно?

— Я хотел бы видеть господина Гейльбута. Моя фамилия Пиннеберг. — И, так как молоденькая девушка медлит, очень сердито: — Я друг господина Гейльбута.

— Пожалуйста, — произносит наконец молоденькая девушка и впускает его в переднюю. — Вы не подождете минутку?

Он подождет минутку, и девушка исчезает за белой лакированной дверью с надписью: «Контора».

Весьма приличная передняя, думает Пиннеберг, обтянута красной тканью, фотографий и в помине нет, весьма приличные картины, гравюры на меди и на дереве. Можно ли подумать, что всего полтора года назад они были сослуживцами и продавали костюмы у Манделя?

Но вот и Гейльбут.

— Добрый вечер, Пиннеберг, хорошо, что опять наведася... Мари, — обращается он к девушке, — подайте нам чай в кабинет!

Нет, — они не пойдут в контору, оказывается, со времени его последнего посещения Гейльбут, помимо этой молоденькой девушки, обзавелся еще и кабинетом:

книжные шкафы, персидские ковры, огромный письменный стол — точь-в-точь такой кабинет, о каком всю жизнь мечтал Пиннеберг и какого у него никогда не будет.

— Присаживайся,— говорит Гейльбут.— Вот сигареты. А, осматриваешься? Приобрел кое-какую мебельку — хочешь не хочешь, а надо. Сам-то я не придаю этому никакого значения, помнишь, у Витт...

— Да, но красиво-то как! — восхищается Пиннеберг.— Замечательно. Столько книг...

— Ну, знаешь, что касается книг...— начинает Гейльбут, но передумывает.— А как вы там, за городом,— справляетесь?

— Очень даже справляемся. Мы очень довольны, Гейльбут,— моя жена тоже. Она нашла кое-какую работу — так, штопка, чинка белья. Теперь нам лучше стало...

— Так-так,— говорит Гейльбут.— Это хорошо... Поставьте сюда, Мари, я сделаю все сам... Нет, спасибо, больше ничего не надо... Угощайся, пожалуйста, Пиннеберг. Вот, пожалуйста, пирожные — эти, что ли, полагаются к чаю? Не знаю, понравятся ли тебе, я-то в этом ничего не смыслю. Для меня и это совершенно безразлично.

И вдруг:

— У вас там уже очень холодно?

— Нет, нет,— торопливо отвечает Пиннеберг.— Не очень. Печурка греет хорошо. Да и комнаты не бог весть какие большие, обычно у нас довольно тепло. Между прочим, вот деньги за аренду, Гейльбут.

— Ах да, верно, за аренду... Разве уже опять пора платить?

Гейльбут берет бумажку и вертит ее в пальцах, но в карман не прячет.

— Ты ведь просмолил крышу, Пиннеберг?..

— Да,— отвечает тот.— Просмолил. Очень хорошо, что ты дал мне на это денег. Я как начал ее смолить, тогда только увидел, что она вся течет. Вот бы поливало нас теперь, в осеннюю непогоду!

— А теперь не течет?

— Слава богу, нет, Гейльбут. Я как следует просмолил.

— Я вот что хочу тебе сказать, Пиннеберг,— говорит Гейльбут,— я где-то читал... Вы топите целый день?

— Нет,— нерешительно отвечает Пиннеберг, не совсем понимая, куда клонит Гейльбут.— Мы топим много с утра, и потом под вечер, чтобы ночью было тепло. Сейчас ведь еще не очень холодно.

— А ты знаешь, почему сейчас брикеты у вас за городом? — спрашивает Гейльбут.

— Точно не знаю,— отвечает Пиннеберг.— По недавнему постановлению должны были подешеветь. Марка шестьдесят? Марка пятьдесят пять? Нет, точно не знаю.

— Я как-то прочел в строительном журнале,— говорит Гейльбут и вертит в пальцах бумажку,— что в таких летних домиках от сырости легко заводится грибок. Я бы рекомендовал тебе топить поосновательнее.

— Хорошо,— говорит Пиннеберг.— Мы можем и...

— Вот об этом я и хотел тебя попросить,— говорит Гейльбут.— Все-таки жалко, если дом пропадет. Будь любезен, топи целый день, чтобы стены просыхали как следует. Для начала вот тебе десять марок. А в подтверждение первого числа следующего месяца можешь принести мне счет на уголь...

— Нет, нет,— торопливо говорит Пиннеберг и глотает слюну.— Не надо этого делать, Гейльбут. Ты каждый раз возвращаешь мне деньги за аренду. Ты и так уже помогал нам, еще у Манделя...

— Да о чем ты, Пиннеберг! — говорит Гейльбут, он очень удивлен.— Помогать — это же в моих интересах, и просмолка крыши и топка — тоже. В сущности, тут и речи не может быть о помощи. Ты сам себе помогаешь...

Гейльбут качает головой и глядит на Пиннеберга.

— Гейльбут! — вырывается у Пиннеберга.— Я же тебя понимаю, ты...

— Послушай-ка,— говорит Гейльбут.— Не помню, рассказывал я тебе или нет, кого я недавно встретил из наших сослуживцев?

— Нет,— отвечает Пиннеберг.— Кого?

— Нет? Не рассказывал? — переспрашивает Гейльбут.— Вот уж ни за что не отгадаешь. Лемана, нашего бывшего начальника отдела личного состава.

— Ну и как? — любопытствует Пиннеберг.— Ты поговорил с ним?

— Еще бы,— отвечает Гейльбут.— То есть говорил-то все время он, изливал передо мной душу.

— Это почему же? — спрашивает Пиннеберг. — Уж ему-то грех жаловаться.

— Его уволили, — с ударением произносит Гейльбут. — Его уволил господин Шпанфус. Уволил так же, как и нас.

— Господи боже! — вне себя от изумления восклицает Пиннеберг. — Лемана уволили! Нет, Гейльбут, об этом ты должен рассказать подробнее. Позволь мне взять еще сигарету?

Пиннеберг — камень преткновения. Забытое масло и долицейский. Ночь недостаточно темна

Только около семи вечера Пиннеберг снова выходит на улицу. Беседа с Гейльбутом подбодрила его, ему по-настоящему весело и вместе с тем страшно грустно. Итак, Лемана свалили, Пиннеберг хорошо помнит важного Лемана, величественного господина Лемана, он восседал один за пустым письменным столом и говорил: «Удобрениями мы, конечно, не торгуем».

Леман вынул душу из бедняги Пиннеберга, потом явился господин Шпанфус и вынул душу из бедняги Лемана. В один прекрасный день вынут душу из спортивно подтянутого господина Шпанфуса. Так уж устроена жизнь, но, в сущности, слабое утешение, что очередь доходит до каждого.

На чем же погорел господин Леман? Послушать господ-начальников, принять на веру мотив увольнения, так выходит, что господин Леман погорел на Пиннеберге. Видите ли, ретивый Шпанфус раскопал, что заведующий отделом личного состава Леман превысил полномочия, — во время сокращения штатов он пристраивал на службу своих любимчиков. Он утверждал, что они переводились из филиалов фирмы, из Гамбурга, Фульды или Бреславля, а Шпанфус его разоблачил.

В действительности же все понимали, что это был лишь предлог для увольнения. Любимчиков пристраивали все, только теперь настал черед господина Шпанфуса набрать к Манделю своих людей. Но делать это спокойно можно было, только уволив господина Лемана. На протяжении двадцати лет это знал каждый, на двадцать первый год мера переполнилась: ведь господин Леман дошел до прямой подделки документов!

«Переведен из Бреславльского филиала», — приказал записать Леман в личное дело Пиннеберга, а ведь

тот явился от Клейнгольца из Духерова. И пусть Леман еще скажет спасибо господину Шпанфусу — ведь не исключалась возможность преследования его в судебном порядке. Так что нечего Леману разоряться.

Зато как разорился господин Леман перед своим бывшим подчиненным Гейльбутом! Ведь господин Гейльбут, кажется, дружил с этим плюгашом, с этим, как бишь его... с Пиннебергом? Как они над ним куражились, над этим дурачком! Он мало продавал? Ничего подобного, он продавал достаточно, после ухода Гейльбута он один в отделе еще как-то справлялся с нормой. Возможно, потому-то у него и были завистники среди продавцов, возможно, потому-то в его личном деле и лежало письмо, — разумеется, анонимное, — в котором говорилось, будто этот самый Пиннеберг состоит в нацистском штурмовом отряде!

Он, Леман, всегда думал, что это вздор: ну, мог ли в таком случае Пиннеберг дружить с ним, с Гейльбутом? Но опровергать это было бесполезно; Шпанфус верил только Иенеке и Кеслеру, а вдобавок ко всему было заведомо известно, что не кто иной, как Пиннеберг, упорно украшал стены уборной для служащих свастиками и надписями: «Сдохни, жид!» — рисовал виселицы с повешенным толстым евреем и подписью: «О Мандель, ты зарвался — и высоко забрался!» С уходом Пиннеберга эти художества прекратились, стены клозета сияли незапятнанной белизной. И такого-то человека он, Леман, пристроил на службу переводом из Бреславля!

Итак, Леман погорел на Пиннеберге, Пиннеберг погорел на Кеслере — вот и размышляй о том, насколько выгодно быть хорошим продавцом, вкладывать в работу душу и сердце, с одинаковым пылом нахваливать покупателя и хлопчатобумажные штаны за шесть с половиной и фракную пару за сто двадцать марок! Да, конечно, солидарность служащих существует, — солидарность завистливых против дельных. Такая солидарность существует!

Пиннеберг идет куда глаза глядят, он уже на Фридрихштрассе, но ведь даже ярость и гнев перекипают в конце концов. Такой уж с ним вышел оборот, можешь злиться, но, в сущности, злиться совершенно бессмысленно. Вот так-то!

Прежде Пиннебергу частенько приходилось прогуливаться по Фридрихштрассе, он, можно сказать, чувству-

ст себя здесь как дома и поэтому сразу замечает, что дсвиц здесь против прежнего значительно прибавилось. Разумеется, далеко не все из них профессионалки, тут много нечестной конкуренции: еще полтора года назад, когда он служил у Манделя, продавцы рассказывали, что многие жены безработных выходят на панель, чтобы подработать несколько марок.

Так оно и есть, это всякому видно, многие из них не могут надеяться на успех, они совсем непривлекательные, а у хорошеньких на лицах написана жадность — жадность к деньгам.

Пиннеберг думает о Киске, о Малыше. «Нам живется не так уж плохо», — всегда говорит ему Киска, и тут она, несомненно, права.

Полиция, как видно, еще не вполне успокоилась — повсюду удвоенные наряды, полицейские попадают чуть не на каждом шагу. Пиннеберг ничего не имеет против полицейских как таковых, они, разумеется, необходимы, особенно регулировщики, но ему все же кажется, что они вызывающе хорошо откормлены и одеты, да и держат себя несколько вызывающе. Прохаживаются среди публики, словно учителя на перемене среди школьников: ведите себя прилично, а не то...

Ну да шут с ними.

Пиннеберг уже в четвертый раз проходит по Фридрихштрассе между Лейпцигерштрассе и Унтер-ден-Линден. Домой он еще не может, просто не может. Как только придешь домой, все кончится, жизнь безнадежно зачадит, закоптит дальше, а тут все-таки может что-нибудь произойти! Правда, девушки и глядеть на него не хотят, для здешних девушек он вообще не существует: пальто на нем выгоревшее, брюки грязные, сам он без воротничка. Если он хочет взять девушку, надо идти в район Силезского вокзала, тамошним все равно, какой у него вид, лишь бы заплатил. Но хочет ли он взять девушку?

Может быть, и хочет, он сам не знает, да и не задумывается над этим.

Но вот что было бы хорошо — это рассказать кому-нибудь, как он жил раньше, какие хорошие у него были костюмы и какой чудесный у него Малыш...

Малыш! Как это он забыл купить для него масло и бананы! А уже девять, ни в один магазин не попадешь. Пиннеберг злится на себя и мрачнеет еще больше:

нельзя же прийти домой с пустыми руками, что подумает о нем Киска? Быть может, он еще попадет в какой-нибудь магазин с заднего хода? Вот большой, ярко освещенный гастрономический магазин. Пиннеберг приплюсчивается носом к витрине: нет ли внутри продавца, тогда можно было бы постучать. Он должен купить масла и бананы!

— Проходите! — негромко произносит кто-то за его спиной.

Пиннеберг вздрагивает, он действительно испугался, он оборачивается. Рядом с ним полицейский.

Кого он имеет в виду? Его?

— Вам говорят, проходите, слышите! — громко повторяет полицейский.

Пиннеберг не один у витрины: кроме него, тут стоит несколько прилично одетых господ, но полицейский обращается не к ним, сомнений быть не может, он адресуется к одному только Пиннебергу.

Пиннеберг совершенно ошарашен.

— А? Что? Почему? Могу же я...

Он заикается, до него попросту не доходит.

— А ну, поживее! Или я буду вынужден...

На руке у полицейского висит резиновая дубинка, он едва заметно приподнимает дубинку.

Все с любопытством смотрят на Пиннеберга. Тем временем у витрины остановилось еще несколько человек — вокруг них форменным образом начинает собираться толпа. Люди глядят выжидательно, не принимая ни ту, ни другую сторону; вчера здесь, на Фридрихштрассе и на Лейпцигерштрассе, били витрины.

У полицейского темные брови, светлый прямой взгляд, энергичный нос, румяные щеки и черные усики над верхней губой...

— Уйдете вы или нет? — спокойно спрашивает полицейский.

Пиннеберг хочет что-то сказать, Пиннеберг смотрит на полицейского, губы у него трясутся. Пиннеберг смотрит на людей. Они стоят во всю ширину тротуара, вплоть до самой витрины — прилично одетые люди, порядочные люди, зарабатывающие люди.

А в зеркальном стекле витрины отражается еще один человек — бледный, как привидение, без воротничка, в потертом пальто, в перепачканных варом брюках.

И вдруг Пиннеберг понимает все, перед лицом этого полицейского, этих порядочных людей, перед этой блестящей витриной он понимает, что выброшен из жизни, что ему здесь больше не место, что его гонят по праву: поскользнулся, опустился, пропал. Чистота и порядок: в прошлом. Работа и обеспеченный кусок хлеба: в прошлом. Продвижение по службе и надежды: в прошлом. Бедность — это не только несчастье, бедность наказуема, бедность позорна, бедность подозрительна.

— Может, ждешь, чтоб я тебе помог? — спрашивает полицейский.

Пиннеберг подчиняется, голова у него как в тумане, он хочет побыстрее пройти по тротуару дальше, к вокзалу Фридрихштрассе, — он хочет поспеть на поезд, он хочет к Киске...

Полицейский толкает Пиннеберга в плечо, толкает не так уж сильно, но, во всяком случае, достаточно сильно, чтобы он очутился на мостовой.

— А ну, проваливай, — говорит полицейский, — да поживее!

И Пиннеберг уходит; он семенит по мостовой вдоль тротуара, он думает об очень многом: пустить бы им красного петуха, угостить бы их бомбой, уложить бы их всех на месте... Он думает, что вот теперь-то действительно все кончено, и с Киской, и с Малышом... но, в сущности говоря, он не думает ни о чем.

Пиннеберг доходит до угла Егерштрассе и Фридрихштрассе. Он хочет перейти через перекресток — и на вокзал, домой, к Киске, к Малышу, для них-то он все-таки существует...

Но полицейский опять толкает его:

— Туда, туда проходи!

И показывает в сторону Егерштрассе.

Пиннеберг снова хочет взбунтоваться: ведь ему надо на поезд.

— Мне надо туда... — говорит он.

— А я говорю — туда, — повторяет полицейский и толкает его в сторону Егерштрассе. — Ну, ну, не задерживайся! — и дает ему здорового леща.

Пиннеберг пускается бежать, он бежит со всех ног, он чувствует, что за ним больше не гонятся, но не смеет оглянуться назад. Он бежит все дальше по мостовой, никуда не сворачивая, прямо во мрак, в темноту, но полной темноты нигде нет.

Много, очень много времени прошло, прежде чем он замедлил шаг. Он остановился, он огляделся. Пусто. Никого. Полиции нет. Осторожно ставит он одну ногу на тротуар. Потом другую. И вот он уже не на мостовой, он опять на тротуаре.

Медленно, шаг за шагом, Пиннеберг идет по Берлину. Но полной темноты нигде нет, и очень трудно проходить мимо полицейских.

Гость на такси. Двое ждут ночью. О Киске не может быть
и речи

На улице 87а перед участком 375 стоит машина — берлинское такси. Шофер уже много часов подряд сидит в домике у Пиннебергов, на кухне — он всю ее заполнил собой.

Он выпил целый кофейник кофе, потом выкурил сигару, потом погулял немного в саду — но в темноте ничего не было видно. Тогда он вернулся в кухню, выпил еще один кофейник и выкурил еще одну сигару.

А те, в комнате, все говорят и говорят, особенно этот здоровенный блондин. При желании шофер мог бы подслушать, о чем разговор, но ему это совершенно неинтересно. Ведь в такси, в стеклянной переборке, отделяющей водителя от задних мест, почти всегда есть щелка, — за неделю наслушаешься столько интимностей, что хватит на всю жизнь.

Через некоторое время, на что-то решившись, шофер встает и стучится в дверь.

— Мы еще не скоро поедим?

— Мил человек! — говорит блондин. — Неужели вы не хотите заработать?

— Как не хотеть, — отвечает шофер. — Только вам это дорого обойдется — простой!

— Вот именно — мне, а не вам! — говорит здоровенный блондин. — Садитесь, на чем стоите, и вспоминайте уроки закона божьего: «Без воли божьей и волос с головы не упадет». То ли еще бывает.

— Ну раз так, — отвечает шофер, — тогда я сосну малость.

— Тоже неплохо, — говорит Яхман.

А Киска:

— Ума не приложу, куда девался Ганнес. Обычно он позже восьми не задерживается.

— Ничего, придет,— говорит Яхман.— Как дела у молодого папаши, молодая мамаша?

— Господи боже мой! — отвечает Киска.— Ему нелегко. Шутка ли сказать, четырнадцать месяцев без работы...

— Это не навсегда,— говорит Яхман.— Теперь я снова в здешних палестинах, что-нибудь да найдется.

— Вы были в отъезде, господин Яхман? — спрашивает Киска.

— Да, я немножко отсутствовал.— Яхман встает и подходит к кроватке Малыша.— Не пойму, как может отец задерживаться, когда дома его ждет такое сокровище!

— Господи боже мой, господин Яхман,— говорит Киска.— Слов нет, Малыш у нас чудесный, но жить только для ребенка... Видите ли, днем я ухожу шить...

— Вы не должны этого делать! Больше этого не будет!

— ...днем я ухожу шить, а на него остается дом, готовка, ребенок. Он не ропщет, он даже любит заниматься домашними делами, но разве это жизнь для него? Мужчины сидят дома и занимаются хозяйством, а женщины работают — скажите, Яхман, неужели так будет продолжаться вечно? Это же невозможно!

— Ну да! — говорит Яхман.— Почему невозможно? А как было во время войны? Женщины работали, мужчины убивали друг друга, и все считали, что так и быть должно. Такой порядок даже лучше.

— Не все считали, что так и быть должно.

— Не все, так почти все, голубушка. Таков человек: ничему-то он не научится и без конца повторяет одни и те же глупости. И я тоже.— Яхман делает паузу.— Дело в том, что я опять переезжаю к вашей свекрови.

— Конечно, господин Яхман,— нерснительно говорит Киска.— Вам лучше знать. Быть может, это вовсе не глупо. В конце концов, она умная, с ней интересно.

— Разумеется, это глупо,— сердито говорит Яхман.— Страшно глупо! Вы ведь ничего не знаете, голубушка! Понятия не имеете! Ну да хватит об этом...

Он погружается в раздумье.

— Вам нет смысла ждать, господин Яхман,— после долгой паузы говорит Киска.— Вот уже и десятичасо-

вой поезд прошел. Я серьезно думаю, что мальчуган загулял. У него было слишком много денег.

— Как? Много денег? У вас все еще много денег?

— Смотри что называть деньгами, Яхман,— улыбается Киска.— Двадцать марок, двадцать пять. Для него достаточно, чтобы разгуляться.

— Да, достаточно,— уныло отзывается Яхман.

И опять продолжительное молчание.

Наконец Яхман снова поднимает голову:

— Вы очень беспокоитесь, Киска?

— Еще бы не беспокоиться. Да вы сами увидите, до чего они довели моего мужа за два года. А ведь он, что ни говори, порядочный человек...

— Конечно, порядочный.

— И он совсем не заслужил, чтобы так над ним измывались. Если он теперь еще запьет...

Яхман раздумывает.

— Нет,— говорит он.— В Пиннеберге всегда было что-то свежее, чистое. А пьянство — это грязь и нечистоплотность, нет, он не запьет. Ну там, гульнуть разок — это другое дело, но чтобы запить по-настоящему — нет...

— Вот и десять тридцать прошел,— говорит Киска.— Я начинаю бояться.

— Не бойтесь за него,— отвечает Яхман.— Пиннеберг пробьется.

— Через что пробьется? — зло спрашивает Киска.— Через что? Все это пустое, что вы говорите, Яхман, все это только так, чтобы утешить. В том-то и беда, что он торчит тут за городом и у него ничего нет, за что можно было бы бороться. Ему остается только ждать — но чего? Чего ждать? Да ничего! Так просто... ждать.

Яхман долго глядит на нее. Он повернул к Киске свою большую львиную голову и глядит ей прямо в лицо.

— Не думайте все время о поездах, Киска,— говорит он.— Ваш муж вернется. Непременно вернется.

— Я не того боюсь, что он запьет,— говорит Киска.— Это страшно, но это еще не самое страшное. Главное, он сейчас такой пришибленный, с ним может что-нибудь случиться. Сегодня он заходил к Путбресе, тот мог ему нагрубить, а это его сейчас всего переворачивает. Он может не выдержать, Яхман, он может...

Она смотрит на него округлившимися, широко раскрытыми глазами, и вдруг ее глаза наполняются слезами; крупные и светлые слезы катятся по щекам, и нежный волевой рот начинает дрожать, губы не слушаются ее.

— Яхман,— шепчет она.— Он может...

Яхман встал, он стоит совсем близко за ее спиной, он берет ее за плечи.

— Нет, голубушка, нет! — говорит он.— Этого не будет: Этого с ним не случится.

— Все может случиться...— Она вдруг высвобождается.— Ехали бы вы лучше домой. Только зря деньги за такси платите. В наш дом пришла беда.

Яхман не отвечает. Он ходит по комнате — два шага вперед, два шага назад.

На столе лежит жестяная коробка из-под сигарет со старыми игральными картами, которые так любит Малыш.

— Как, вы сказали, мальчик называет карты? — спрашивает Яхман.

— Какой мальчик?.. Ах да, Малыш! Он зовет их «ка-ка».

— Так не разложить ли вам ка-ка, не погадать ли? — говорит Яхман и улыбается.— Вот увидите, вас ждет совсем не то, что вы предполагали.

— Не надо,— отвечает Киска.— И так все известно: небольшие деньги в дом, то есть пособие по безработице за ближайшую неделю.

— В данный момент я не особенно при деньгах,— говорит Яхман.— Но марок восемьдесят — девяносто я бы вам охотно дал... я хочу сказать: в долг,— тут же поправляется он.— Займообразно.

— Это очень любезно с вашей стороны, Яхман,— говорит Киска.— Нам бы эти деньги пригодились. Только, понимаете, деньгами тут не поможешь. Перебиваться-то мы перебиваемся. Деньгами тут никак не поможешь. Вот работа, немножко надежды — это бы ему помогло. А деньги — нет.

— Вы отказываетесь потому, что я возвращаюсь к вашей свекрови? — спрашивает Яхман и очень задумчиво глядит на Киску.

— И поэтому тоже,— отвечает Киска.— Поэтому тоже. Я должна оберегать Ганнеса от всего, что может его расстроить, Яхман. Вы ведь понимаете.

— Понимаю,— говорит Яхман.

— Но главное,— продолжает Киска,— деньги не помогут. Ну, проживем чуть получше полтора-два месяца, а что от этого изменится? Ничего.

— Быть может, достану ему место,— задумчиво говорит Яхман.

— Ах, господин Яхман,— говорит Киска.— У вас добрые намерения, только не утруждайте себя больше: уж если снова устраивать Ганнеса на работу, надо устраивать его без лжи и обмана. Мальчуган должен избавиться от страха, должен снова почувствовать себя свободным.

— Да...— с огорчением соглашается Яхман.— Если вы и вправду захотели такой роскоши, чтоб без лжи и обмана, тут уж я действительно пас!

— Видите ли, другие воруют здесь дрова,— горячо говорит Киска,— и, положи руку на сердце, я не нахожу в этом ничего дурного, но я сказала Ганнесу, чтобы он не смел этого делать. Он не должен опускаться, Яхман, не должен! Хоть это-то должно у него остаться. Вы говорите: роскошь, ну что ж, пусть так, но это единственная роскошь, которую мы можем себе позволить, и я за нее крепко держусь и от этого не отступлю, Яхман.

— Голубушка,— говорит Яхман.— Я...

— Вот тут в постельке Малыш, может статья, все опять поправится, и Ганнес опять соберется с силами, у него будет место, работа по душе, он опять станет зарабатывать. И тогда он все время будет думать: ты сам этого добился, ты выдержал! Не в дровах дело, Яхман, и не в законах: что это за законы, если они позволяют безнаказанно издеваться над людьми и грозят тюрьмой за кучку дров, не стоящую трех марок... Плевать мне на такие законы, Яхман, и несколько мне не стыдно...

— Голубушка...—хочет что-то сказать Яхман.

— Но для Ганнеса это невозможно,— горячо продолжает Киска.— Он весь в отца, в нем ничего нет от матери. Мама не раз мне рассказывала, каким колпаком был его отец, и на службе — он возглавлял адвокатскую контору, и все у него должно было сходиться тютелька в тютельку,— и в личной жизни тоже. Как он спешил в тот же вечер уплатить по счету, пришедшему утром. «Если я умру,— говорил он,— а счет окажется неоплаченным, меня могут назвать нечестным челове-

ком». И Ганнес тоже такой же. Так что это вовсе не роскошь, Яхман, это должно остаться при нем, и если он теперь иной раз думает: «Если могут другие, значит и я могу», — он все равно этого не может. Он должен остаться чистым, и я за этим слежу, Яхман, он не согласится на новое место, если все опять будет построено на обмане.

— Что мне тут еще делать? — спрашивает Яхман. — Чего сидеть? Чего ждать? У вас все в порядке, ваша лавочка работает нормально. Вы правы, голубушка, непогрешимо правы. Еду домой.

Но он не уезжает, он даже не встает со стула, он смотрит на нее большими глазами.

— Сегодня в шесть утра, Киска, — говорит он, — меня выпустили из каталажки. Отсидел год, голубушка, — говорит он.

— С той ночи, как вы пропали, Яхман, — говорит Киска, — эта мысль не покидала меня. Не то, что вы уже сели, но что это может случиться. Ведь вы, как бы вам сказать... — Киска не находит нужного слова. — Ведь вы такой...

— Разумеется, «такой», — говорит Яхм

— К тем немногим, кто вам по душе, вы добры, а ко всем прочим, вероятно, очень даже не добры.

— Верно! — подтверждает Яхман. — Вы мне по душе, голубушка.

— И потом, вы любите широко жить, любите деньги, любите, чтобы вокруг вас было шумно и оживленно, у вас без конца новые планы... Ну да это ваше дело. Так вот, когда мама сказала, что вас разыскивает полиция, я сразу поверила этому.

— А вы знаете, кто на меня донес?

— Мама, конечно.

— Верно, мама. Фрау Мари, она же Миа Пиннеберг. Видите ли, Киска, я немножечко пригульнул на стороне, а мама сущий дьявол, когда ревнует. Впрочем, мама и сама на этом нагрелась — так, пустяки, всего четыре недели.

— И вы все-таки решили вернуться к ней?.. А, понимаю. Вы подходите друг к другу.

— Верно, голубушка. Мы подходим друг к другу. Что ни говори, она замечательная женщина. Мне очень нравится, что она такая жадная, такая эгоистичная... Известно ли вам, что у мамы больше тридцати тысяч в банке?

— Неужели больше тридцати тысяч?

— А вы что думали? Мама умна. Мама смотрит вперед, мама думает о старости, мама дорожит своей независимостью. Да, я возвращаюсь к ней. Для такого, как я, лучше подруги не сыщешь — на жизнь и на смерть, на разбой и на все.

С минуту они молчат, потом Яхман быстро встает и говорит:

— Ну, спокойной ночи, Киска, я поеду.

— Спокойной ночи, Яхман. Желаю вам всяческой удачи.

Яхман пожимает плечами.

— Сливки уже сняты, Киска, когда тебе под пятьдесят. Остается снятое молоко, обрат, бурда.— Некоторое время он молчит, а потом непринужденно спрашивает: — Ведь о вас, конечно, не может быть и речи, Киска?

— Нет, Яхман,— говорит Киска с самой сердечной улыбкой.— Конечно нет. Мы с мальчуганом...

— Ну так не беспокойтесь за своего мальчугана! Он придет. Вот увидите, сейчас придет. Пока, моя Киска. Может, еще свидимся!

— Свидимся, Яхман, обязательно свидимся! Когда наши дела поправятся. Не забудьте свои чемоданы. Ведь за ними-то вы и пришли...

— За ними, голубушка. Вы правы, как всегда. Непогрешимо правы.

Куст среди кустов и старая любовь

Киска вышла в сад проводить Яхмана. Разоспавшемуся шоферу не сразу удалось запустить остывший мотор, они молча стояли возле автомобиля. Потом они еще раз пожали друг другу руки, еще раз попрощались, и некоторое время Киска еще видела удаляющийся свет фар, слышала шум мотора, и вот уже все тихо и темно вокруг.

Небо ясное, в звездах; слегка подмораживает. Во всем поселке, насколько хватает взгляд, ни огонька, и только позади, в окне их дома, мягко теплится красноватым светом огонек керосиновой лампы.

Киска стоит в саду. Малыш спит — она ждет? Но чего ей ждать? Последний поезд прошел, мальчуган может приехать только завтра утром, он загулял — и эта чаша не минула ее, ничто ее не минует. Можно идти и

ложиться спать. Или не спать. Это неважно, ну какое имеет значение, как мы живем.

Киска не идет в дом. Она все стоит в саду, и что-то в молчании этой ночи тревожит ей сердце. В холодной вышине мерцают звезды — ну что ж. Кусты в саду, их собственном и соседском, кажутся плотными комьями темноты, соседский дом — словно темная звериная туша.

Ни ветерка, ни звука, ничего; далеко позади, по насыпи, проходит поезд, и оттого здесь кажется еще тише, еще безмолвнее. Но Киска знает: она не одна. Здесь, в саду, во мраке, есть кто-то еще, стоит, как она, и не шевелится. Дышит? Нет, не дышит. И все-таки здесь кто-то есть.

Вот сиреневый куст, вот еще сиреневый куст, но с каких это пор между этими сиреневыми кустами что-то стоит?

Киска делает шаг вперед, сердце так и прыгает в груди, но она спокойно спрашивает:

— Милый, это ты?

Сиреневый куст, лишний сиреневый куст, стоит неподвижно. Потом делает нерешительное движение, и запинающимся, хриплым голосом Ганнес спрашивает:

— Он уехал?

— Да, Яхман уехал. Ты долго здесь ждал?

Пиннеберг не отвечает.

Так они молча стоят некоторое время, Киске хотелось бы видеть, какое лицо у мальчугана, но в темноте ничего не разглядеть. И все же от этой неподвижной фигуры, стоящей напротив, веет какой-то опасностью, чем-то еще более темным, чем сама ночь, чем-то еще более грозным, чем эта непривычная неподвижность человека, которого так хорошо знаешь. Киска стоит и молчит.

— Пойдем в дом? — наконец тихо спрашивает она. — Мне холодно.

Он не отвечает.

Киска понимает: что-то случилось. Не то, чтобы ее мальчуган выпил, или, быть может, он действительно выпил, но дело не только в том, что он выпил. Случилось что-то другое, что-то нехорошее.

Вот он стоит перед ней, ее муж, ее милый молодой муж, он прячется во тьме, как раненый зверь, он боится выйти на свет. Теперь они его доконали.

Она говорит:

— Яхман приезжал только за своими чемоданами. Он больше не вернется.

Пиннеберг не отвечает.

И снова они некоторое время стоят молча. По шоссе, внизу напротив, идет машина; гудение мотора возникает издали, приближается, нарастает и снова удаляется, пока не затихает совсем. Она думает: «Что ему сказать? Ну хоть бы слово проронил!»

Она говорит:

— Сегодня я штопала у Кремеров, знаешь?

Он не отвечает.

— Вернее сказать, не штопала, а шила. У нее был отрез, я раскроила его и шью ей домашнее платье. Она очень довольна, сказала, что уступит мне по дешевке свою старую швейную машину и порекомендует меня всем своим знакомым. За платье я получу восемь, а то и десять марок.

Она ждет. Она ждет долго. Она осторожно говорит:

— Быть может, мы будем прилично зарабатывать. Быть может, нам удастся выбраться из нужды.

Он делает слабое движение и снова застывает в неподвижности и молчит.

Киска ждет, сердце наливается тяжестью, холодеет. Больше она ничего не может придумать. Все напрасно. Стоит ли бороться? Во имя чего? Уж пусть бы шел с другими красть дрова.

В последний раз она поднимает голову, она видит множество звезд; небо тихое и торжественное, но страшно чужое, большое и далекое. Она говорит:

— Сегодня вечером Малыш все время звал тебя. Все лепетал: «Пап-пап!»,— а потом вдруг сказал: «Папа».

Ганнес молчит.

— Милый! — зовет она. — Милый, что с тобой? Ну скажи хоть словечко своей Киске. Неужели и я для тебя больше не существую? Неужели мы теперь совсем одиноки?

Увы! Все напрасно. Он не подходит ближе, он молчит, он как будто все отдаляется и отдаляется от нее.

От земли поднимается холод, он охватывает Киску со всех сторон, и вот уже, кроме холода, нет ничего. Позади — теплый, красноватый свет в окне, там спит Малыш. Ах, даже дети уходят от нас, они наши так

недолго... Шесть лет? Десять? Всегда и всюду одно одиночество.

Она идет к дому на красноватый свет — так надо, что ей еще остается?

— Киска! — раздается позади далекий голос.

Она идет к дому — теперь уже ничем не поможешь, — она идет к дому.

— Киска!

Она идет к дому. Вот терраса, вот дверь, еще шаг — и она нажмет ручку... Вдруг кто-то удерживает ее, Ганнес удерживает ее, он рыдает, он бессвязно бормочет:

— Ах, Киска, Киска, что они со мной сделали... Полицейский столкнул меня с тротуара... погнал меня... Как я теперь посмотрю в глаза людям?

И вдруг холод отступил, бесконечно ласковая, зеленая волна подхватывает ее и его вместе с нею, поднимает их, звезды сверкают совсем близко; она шепчет:

— Но ведь мне-то ты можешь смотреть в глаза! Всегда! Всегда! Ты ведь со мной, мы ведь вместе...

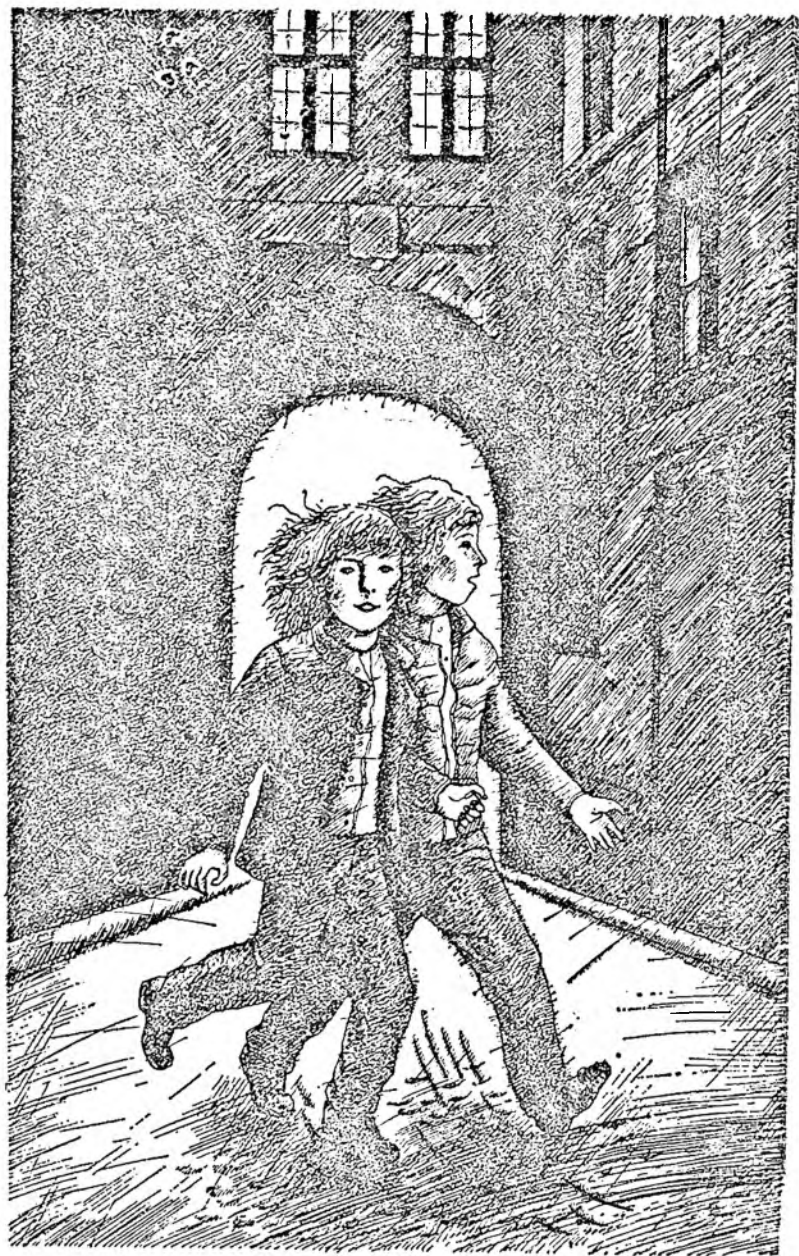
Волна вздымается выше и выше, они на ночном берегу между Лензаном и Виком, тогда звезды были так же близко... Старое счастье, старая любовь... Все выше и выше от запятнанной земли к звездам. И они вместе входят в дом, где спит Малыш.



У НАС
ДОМА
В ДАЛЁКИЕ
ВРЕМЕНА

ПЕРЕЖИТОЕ,
УВИДЕННОЕ
И СОЧИНЕННОЕ

Перевод
с немецкого
Н. Бунина



Дорогая родня!

Кроме вас, прочим моим читателям на белом свете не так уж важно, придерживался ли автор этой книги скрупулезной точности. Что им, например, тетя Густхен? Гекуба... Но как мне держать ответ перед вами, любимые родители?! Если вы обнаружите, что историю, приключившуюся с тетей Густхен, я приписал тете Вике, если услышите из уст отца какой-нибудь новехонький анекдот (он же наверняка выдуманый!) и если конец моего повествования о бабушке не соответствует известным фактам семейной хроники,— как я оправдаюсь перед вами?! Неужели вы заклейте меня архилгуном, бессовестным фальсификатором священных семейных преданий? Неужели вы при встрече на улице не поздороваетесь со мной, не будете больше отвечать на мои письма?.. Нет, не могу допустить такой мысли! Ибо если я погрешил в малом, то в великом был все-таки верен правде. Хотя я и присочинил кое-что, но всеми силами старался передать дух событий. Больше того: я даже убежден, что именно вольность в деталях помогла мне сохранить верность главному. Такими я видел родителей, такими — брата и сестер, а такими — всю родню и всех знакомых. Вы видите их по-иному? Пожалуйста, садитесь, пишите вашу книгу! Мне же дорога моя — как привет исчезнувшим навеки садам детства.

Ваш верный сын, брат, племянник, дядя, шурин, а со временем, надеюсь, и дедушка

Х. Ф.



ПИРШЕСТВА

Ваные ужины, которые в седую старину — году этак в тысяча девятьсот пятом — именовали «диднерами», приводили моих родителей в ужас, а нас, детей, в восторг. Едва оставались позади рождественские праздники, едва заканчивался прием новогодних поздравлений от швейцара, почтальона, трубочиста, прачки, разносчиков молока и хлеба, печатавших свои вирши на цветной бумаге и получавших за это по некоей таинственной таксе вознаграждение в сумме от двух до десяти марок, как мама принималась — сперва осторожно, а затем все настойчивее — напоминать отцу:

— Артур, пора бы уже подумать о нашем динере!

Отец поначалу лишь отмахивался:

— Слава богу, еще есть время!

Спустя день-другой он вздыхал, потом соглашался:

— Что ж, придется снова покориться неприятной необходимости. Только вот что я тебе скажу, Луиза: больше чем двадцать пять человек мы нынче не позовем! Простой раз была такая теснотища за столом, что нельзя было и локтем шевельнуть!

Мама в ответ уговаривала его пригласить по меньшей мере человек сорок, дабы не «остаться в долгу».

— Иначе придется давать два динера, а вынести дважды такое столпотворение в доме не в силах ни ты, ни я! Кроме того, приглашенные ко второму динеру могут обидеться, ведь второй динер — все равно что милостыня.

Такие бурные споры родителей о нашем динере затс-
вались все чаще, споры, к которым мы, дети, прислуши-
вались с величайшим интересом. И если для нас еще бы-
ло безразлично — кого пригласят, кого с кем посадят, то
родители больше всего ломали голову именно над этим
вопросом. Ибо, с одной стороны, следовало строжайше
соблюдать табель о рангах и старшинство по службе
(учитывая также награды), а с другой, принять во вним-
ание личные симпатии и антипатии. Наконец, возника-
ла еще одна проблема: будет ли о чем поговорить меж-
ду собой обреченным на четырехчасовое соседство за
столом? У супруги камергерихтсрата Ценера был на уме
лишь адмирал фон Тирпиц с его Флотским союзом, а
герра камергерихтсрата Зиделебена, кроме его казуисти-
ки, интересовали только церковные дела, — таких спари-
вать бесполезно! Милейший же герр камергерихтсрат
Бумм был туговат на левое ухо (в чем он, правда, не
признавался): уже пять раз этой зимой на других «су-
дейских» динерах рядом с ним сидела фрау Эльбе, суп-
руга камергерихтсрата и дочь помещика. Конечно, пок-
ричать малость на ухо соседу для нее ничего не состав-
ляет, но захочется ли ей делать это в шестой раз?

Стоило только родителям придумать наконец искус-
нейшую застольную диспозицию и разослать по Берли-
ну приглашения с очень нравившейся мне припиской:
«П. с. о.» («Просьба сообщить ответ»), как первые же
поступавшие отклики неизбежно сотрясали все сооруже-
ние до основ: у одного инфлюэнца, у другого скоропо-
стижно скончалась мать, у третьего заболели дифтери-
том дети...

— Нет! — вздыхал тогда отец, отрываясь от своих
любимых папок с делами, — эти кормежки просто ужас!
Никто их не ценит. А почему бы, собственно, нам
всем не договориться и не покончить с дурацкой тра-
дицией?!

Подобное восклицание было, однако, чисто риториче-
ским. Отец понимал, что уже сама мысль об этом грани-
чит с анархистским мятежом. Все судейские каждую
зиму приглашали друг друга в гости точно так же, как
приглашали друг друга офицеры, как было принято сре-
ди духовенства звать на «тарелку супа» и тоже сидеть
по четыре часа за столом, — и всюду различалось стро-
го по сословиям, по чинам, — лишь бы никакая новая
идея не проникла в старый привычный круг!

Но, как уже говорилось, вопросы эти интересовали нас, детей, поскольку они лишь предваряли главное: что мы будем есть? Что будем пить? Что наденем? (Особенно мама; папе, разумеется, полагается сюртук с белым пикейным жилетом.) И еще один важный вопрос: кого нанять — повара или кухарку? Согласно старому догмату повар считался лучше кухарки, однако он и обходился дороже и к тому же ни за что не позволял вмешиваться в свои дела. С кухаркой работать легче, хотя последний раз филе получилось жестким, а мороженое опало.

Наиболее современные хозяйки заказывали блюда в ресторанной кухне и дома лишь подогревали. Но мама была против такого новшества:

— Это не годится, Артур. Подогретое — оно и есть подогретое!

После долгой дискуссии решение принималось в пользу кухарки, несмотря на жесткое филе и опавшее мороженое. Затем в один прекрасный день для предварительного обсуждения с мамой являлась фрау Пикувайт, и я пускался на всевозможные ухищрения, чтобы присутствовать на их встрече. (В ту пору и зародилась во мне неугасающая любовь к яствам земным.)

И вот напротив мамы сидит добрая фрау Пикувайт; в будничном платье она выглядит далеко не так величественно, как в день своего священнодействия, когда на ней белоснежный передник и то и дело сползающая крахмальная наколка. Собеседницы принимаются с нарастающим азартом, доходя чуть ли не до полного экстаза, обсуждать блюда, — по нерушимой традиции их должно быть семь или девять, сейчас уже точно не помню. У мамы хранились карты всех кушаний (то есть меню), которые она отведала на динерах этой зимой, «но ведь надо же внести какое-то разнообразие!».

Наконец произносятся таинственные слова: арико вер, соус бварнэз, соус кумберленд, суп а-ля рэн, кремортартар, аспик, — слова, казавшиеся мне волшебнее любой сказки! Когда я слышал выражение «раковые шейки», — подумать только: шейки раков, есть шейки раков! — я, зажмурившись, представлял себе густой золотистый соус с красноватыми кружочками жира, черными глазами-бусинками и красными рачьими усами...

К обсуждению меню отец проявлял мало интереса. Страдая, к несчастью, печенью, он двадцать пять раз за

виму отсиживал на динерах по четыре часа и ограничивался ломтиком мяса и ложкой молодой фасоли, запивая стаканом минеральной воды. Рго fогта ему всегда ставили бокал вина, который он лишь пригубливал при самых торжественных гостах. Мой дорогой отец выдерживал пытку бесконечной чередой подаваемых ему тарелок с соблазнительнейшими яствами, не теряя веселого расположения духа, и это свидетельствовало как о его благопристойности, так и о добрейшем сердце, которое, слава богу, не смогла испортить никакая желчь.

Итак, отец ни словом, ни делом не вмешивался в составление меню, но оставлял за собою право наложить вето, если расходы намечались слишком большими. Ведь такая кормежка обходилась в триста — четыреста марок, а в семейном бюджете герра камергерихтсрата, которому надо было «поставить на ноги» четырех детей, это играло весьма существенную роль!

Зато на отца возлагалось чисто мужское дело — покупка вин. Вообще-то мама справилась бы с этим делом успешнее, поскольку она же пробовала вино на всех динерах. Но такие уж были времена, что женщинам ни в коем случае не дозволялось посягать на мужские привилегии: мужчины нарезали жаркое, курили и покупали вино, женщины ведали кухней, детьми и прислугой.

Боюсь, что эти отцовские закупки не всегда оказывались очень удачными. Будучи бережливым по характеру и в силу необходимости, отец выбирал вина скорее по цене, чем по возрасту; виноторговец же, как я подозреваю, давал ему небескорыстные советы, стремясь очистить свой подвал от лежалого товара. Возможно, я не прав в своих подозрениях по отношению к отцу, но я помню, как однажды в ванной комнате застал врасплох двух официантов, нанятых на вечер. В ванне охлаждались бутылки с вином. И когда я по неотложному делу ворвался туда, оба героя прикладывались к бутылкам, которые при моем появлении были поставлены на место, хотя и без особой спешки.

— Кислятина, а? — уныло спросил первый.

— Кислятина?! — с возмущением отозвался второй. — И это ты называешь кислятиной?! Да тут целая укусовая фабрика в пузырьке! Оставим-ка лучше гостям!.. Кислятина — та хоть бодрости дает!

— Да, но только на третий день, — хмуро заметил первый.

Для меня так и остается загадкой, каким же тогда образом оба официанта превращались на каждом нашем динере в две шатающиеся фигуры, на которые мама ближе к полуночи начинала бросать негодующие взгляды, а отец посматривал с усмешкой и чуть озабоченно. Каждый год официантов меняли, и каждый год с ними повторялось то же самое. Казалось, все они были сделаны по одному образцу.

Мама утверждала также, что карманы их фраков наверняка подшиты клеенкой — в них бесследно исчезают жареные цыплята и огромные куски говяжьего филе. И наш чудесный соус тоже, конечно, сливается туда, жаловалась мама. Ей непременно хотелось, чтобы отец принял строгие меры против этих пьянчужек и грабителей. Но отец был мудрым человеком и никогда не делал им замечаний, так как хорошо понимал, что издержки какой-либо профессии за один вечер не устранишь и даже не смягчишь.

И когда наутро после динера мама жаловалась, что всех остатков от пиршества едва наберется на обед, отец отвечал ей, улыбаясь:

— Бог с ним, Луиза! Ты лучше вообрази: было так вкусно, что гости слопали все без остатка!

— Но ведь оставалось еще целое филе! — негодовала мама.

— Я тоже сожалею о его пропаже, — мирно соглашался отец. — Потому что из мясных блюд, исключая разве только жареную телятину, я предпочитаю филе. И знаешь что, в следующее воскресенье приготовь-ка нам филе по твоему рецепту, мне в десять раз больше нравится твоя готовка, чем эти изощренные художества кухарок.

Похвала оказывала свое целебное действие, и мама почти успокаивалась.

Впрочем, не только судейские, но и вообще любой, кто в те времена устраивал динеры, оказывались с поденными официантами в той же ситуации, что и мои родители. Украдкой, но далеко не безучастно застольное общество наблюдало за поведением обоих фрачников, и иная хозяйка мысленно спрашивала себя: «Не подойдут ли они и нам? Надо бы спросить адрес этого толстячка, кажется, он знает свое дело».

К сожалению, именно этот толстячок стал причиной блистательной неудачи, которую потерпели мои роди-

тели: выходя из кухни с подносом в руках, он споткнулся о мусорное ведро, упал лицом на раскаленную плиту и дикими воплями переполошил гостей: «чертова бочка» (кухарка Пикувайт) нарочно-де подставила ему ведро, потому что он выговаривал ей за неprovорство в работе. Он требовал возмещения убытков, обвинял в нанесении увечья и во многом другом, что подсказывало ему его пьяное воображение.

С выбитыми зубами и обожженным сизым носом, на котором вздулся волдырь, толстячок, наверное, производил ужасное впечатление. К пушей беде официанта, ему противостоял сплоченный фронт опытейших знатоков гражданского и уголовного права, и, пока сердобольные дамы охлаждали тертым картофелем пылавший на его физиономии фонарь, господа юристы доказали ему без обиняков, что он не только не вправе выдвигать какие-либо претензии, но, напротив, должен еще радоваться, что его не привлекут к уголовной ответственности. Ибо состояние опьянения похищенным вином явно налицо. В заключение этот бедолага, забинтованный, как студент, которому на дуэли отсекали кончик носа, сидел в кухне и плакал... В таком виде он не решался явиться домой к дражайшей супруге и умолял свою неприятельницу Пикувайт, чтобы та приютила его на пару деньков, пока он малость не поправится. Время от времени он смачивал горло отцовским вином...

Этот динер определенно запечатлелся в памяти гостей как один из наиболее увлекательных за истекшую зиму; вот только мои родители были весьма удручены, что такой конфуз приключился именно с ними. В конце концов они утешили себя тем, что и в других домах происходили подобные казусы. Так, однажды у председателя палаты Флотевелля в разгар динера бесследно исчез официант, и лишь в половине четвертого утра его обнаружила председательша на своей собственной кровати, где он в полном снаряжении преспокойно похрапывал!

От такого рода волнующих событий нас, детей, естественно ограждали. Мало-помалу мы узнавали о них из разговоров родителей или же — о самых дурных — на кухне, дав обет вечного молчания. Ну, а в наших детских комнатах мы реагировали на все живейшим образом. Когда я еще был маленьким, то независимо от динера или иного застолья точно в восемь мне полагалось

быть в постели. В такие вечера я долго не мог уснуть. Начиная с половины девятого почти не смолкал дверной звонок, слышался приглушенный говор входивших гостей, стук зонтиков о стойку, шелест шелка, то вдруг раздавалось громко произнесенное слово, то с кем-то весело здоровался отец...

Постепенно я начинал погружаться в сонное царство, но мама, когда бывали гости, непременно еще раз заходила к нам с братом в комнату, клала на тумбочку наши любимые конфеты-хлопушки и какие-нибудь сладости с праздничного стола; затем, наклонившись, целовала меня и желала спокойной ночи. Милая мама, в эти минуты, сквозь сон, она казалась мне совершенно преображенной. Обычно она день-деньской хлопотала по хозяйству, бесконечные волнения и заботы доставляли ей мы, четверо детей, часто хворал отец, не отличавшийся крепким здоровьем, надо было за ним постоянно ухаживать и оберегать его покой; когда он работал. Мама почти не знала отдыха и очень редко вылезала из своего домашнего платья.

Но в праздничные вечера она надевала шелковое платье с глубоким вырезом, и ее белые плечи сияли тогда, как снег. От мамы так хорошо пахло какими-то неизвестными цветами, и я, замороженный, любовался ею, глядя на сверкающие фамильные украшения: ожерелье, усыпанное жемчужинами, золотую брошь, тихо позвякивающий браслет. Ох эта жалкая горсточка фамильных драгоценностей! В мировую войну они отправились по пути «Золото отдай за железо», и вот уже двадцать пять лет, как я их больше не видел, но мог бы и теперь нарисовать эти вещицы, одну за другой, если бы умел! В сущности, я многое утратил, когда подрос и мне разрешили сидеть вместе со старшими сестрами до одиннадцати и вкушать блюда, которые подавали взрослым. Но я еще не понимал, что я утратил: рай детства, в котором мама была настоящей феей, прекраснее всех сказочных фей.

В детские годы не задумываешься ни о прошлом, ни о будущем; живешь данным часом; и у меня всякий раз дух захватывало, когда в детскую открывалась дверь и официант или кухарка, а то и сама наша домоправительница, старая ворчунья Минна, протягивала нам тарелки, на которых торопливой рукой были смешаны в одну кучу самые разные кушанья: слоеные пирожки выглядыва-

ли из-под спаржи, клякса смородинового желе растеклась по картофелю с петрушкой, вместо того чтобы попасть на окорок косули; а однажды в куске омлета вместо начинки из шампиньонов мы обнаружили настоящую солонку — свидетельство царившей на кухне суматохи!

Тяжелая пища с непривычно острыми приправами действовала на нас возбуждающе. Расшалившись, мы хохотали, шумели, пока нас не урезонивал строгий стук в дверь. Ну, а там уж оставалось недолго и до разбойничьих экспедиций в ванную комнату: объевшимся хочется пить! Хотя родители строго-настрого запретили нам вино, мы, в праздничном раже, были склонны относиться к этому запрету с некоторым легкомыслием. И вот в коридоре выставлены посты: один у столовой, другой — возле кухни. Все вокруг мешало нам утолить жажду! Сколько раз приходилось поспешно ретироваться, когда по нашему длиннющему, типично берлинскому коридору неся с полным подносом официант или когда из кухни (дверь туда была всегда открыта) выглядывала Минна и грозила нам:

— Ну-ка убирайтесь в свою комнату, озорники! Сейчас будет мороженое, и, если вы не перестанете шалить, мы съедем его сами!

Наконец удача, и мы с бутылкой рейнвейна или бургундского возвращались в детскую. В марках вин мы не разбирались, вино было для нас вином, то есть напитком, от которого почему-то делается необычайно весело и ты готов вытворять что угодно! Мы пили его маленькими глотками из сестринских стаканчиков для зубных щеток и чувствовали себя как морские пираты, захватившие богатую добычу.

Однажды, будучи в таком вот пиратском настроении, мы с братом Эди предприняли смелый набег на кладовку; находилась она рядом с кухней, так что в любой момент нас могли захватить врасплох.

Но едва мы прошмыгнули в заветную дверь, как тут же забыли о всякой опасности: перед нами, сияя сахарной глазурью, стояли два громадных торта-башни, которые утром принес рассыльный из кондитерской и мысль о которых не давала с того часа покоя ни мне, ни Эди. Хорошо сознавая свой долг старшего брата, я протянул руку, отщипнул от башни зубец и отправил его в рот.

— И мне! — потребовал Эди. — Я тоже хочу такой зубец!

Нуждаясь в соучастнике, я сказал:

— Отщипни: себе сам!

Вскоре мы уже не думали о преступлении и наказании. Эти зубцы оказались необычайно вкусными, и мы обламывали их один за другим. Атаковав первую башню, вернее, ее нижний этаж, мы уже не могли остановиться. Чтобы не мешать друг другу, мы поделили участки: Эди ломал слева, я справа. Несчастливая звезда взошла этой ночью над отчим домом: ни одна душа не заглянула в кладовку, никто не помешал нашему дерзкому предприятию.

Как мы сумели справиться с этим — да еще после обильного ужина, — мне по сей день неясно. Во всяком случае, оба торта вскоре были полностью «обеззублены». Мы посмотрели друг на друга и призадумались: даже нам бросилось в глаза, что красота великолепных кондитерских изделий заметно поблекла.

— Самое лучшее сейчас — лечь, — подвел я итог своим размышлениям.

— А клубничное мороженое? — напомнил мне Эди.

— Если они это увидят, — сказал я мрачно, — мы наверняка его не получим.

— А может, они подумают, что торты и были такими? — предположил Эди.

С чувством безнадежности я пожал плечами.

— Или скажем, что это сделал мальчик из кондитерской?

— Пойдем-ка лучше в постель, я притворюсь, что сплю.

— А я буду храпеть, — решил Эди. — Ты старший, к тебе все равно раньше подойдут.

Едва мы улеглись в постели, как по коридору началась какая-то беготня. Вскоре из кухни донесся взволнованный мамин голос. Мы нырнули с головой под одеяла. Эди тут же уморительно захрапел. Быть старшим братом часто очень выгодно, однако в эти минуты я охотно уступил бы право первородства дешевле, чем за чечевичную похлебку. Спустя некоторое время я услышал со стороны кухни голос отца. Подумать только: наше преступление оказалось столь чудовищным, что и хозяйке, и хозяину дома пришлось покинуть гостей! Я да-

же не мог вообразить той меры наказания, которая грозила нам!

Но то, что произошло потом, было хуже любого наказания, ибо не произошло ничего. Я лежал в постели, ожидая Страшного суда, мое сердце колотилось все чаще и чаще. Но никто не пришел. Я ждал, я чуть ли не молил об избавлении. Никто не пришел. Эди давно уже спал без всякого притворства, а я все бодрствовал, ломая голову над тысячью возможных причин. Всю ночь, как говорится, не сомкнул глаз; самую страшную кару я предпочел бы этому ожиданию. Услышав, как фрау Пикувайт прощалась с нашей Минной и Шарлоттой, я глубоко вздохнул и повернулся к стене. Я был зол на родителей за то, что они так долго не опускали карающий меч на мою голову.

Настало утро, отец с мамой еще спали. На завтрак мне с братом дали торт, а сестрам бутерброды. Сестры было запротестовали, но Шарлотта, валившаяся с ног от усталости, резко заявила им, что так распорядился господин советник. Когда в школе мы развернули наши свертки с едой, то обнаружили не бутерброды, а торт. Во время обеда — отец присутствовал в суде — мама была весьма холодна с нами, однако о торте не обмолвилась ни словом. Зато нам с Эди пришлось опять есть торт, между тем как остальные наслаждались роскошными остатками динера. И мороженым!

Полдник, ужин: наше меню не изменилось — торт. Следующий день: торт! В обед все ели жареную вырезку с отварным картофелем, посыпанным свежей зеленой петрушкой, а мы торт! Было все труднее и труднее утолять голод тортом. Вскоре мы его возненавидели. Экспедиции в кладовку и на кухню успеха не принесли: кладовка была на замке, а из кухни нас тут же выгнали.

Наступил третий день. Торт! Неужели этим проклятым башням конца не будет? И с каждого куска на нас осуждающе глядели следы отломанных зубцов. Бунтовать мы не решались, мы даже не осмеливались просить... Мы лишь вяло двигали челюстями, жуя опостылевший торт...

И самое ужасное, что никто ни слова не проронил по поводу нашего несколько однообразного меню. Будто само собой разумелось, что мы питались только тортами, от Адама и во веки веков! Стоило лишь сестрам в их противной дурацкой манере начать издеваться над на-

шим страдальческим видом, как строгий взгляд, брошенный родителями, тут же заставлял их умолкнуть. Даже Минна и Шарлотта, которые обычно всегда были готовы пожалеть нас, ни единым словом не обмолвились о нашем испытании. Отец редко что-нибудь говорил им, но уж если говорил, то они слушались его беспрекословно. Обе — и старая ворчунья Минна, и молодая веселая Шарлотта — души в нем не чаяли за его доброту и любовь к справедливости.

Господи, как мы с Эди были бы счастливы, если бы нас, как напроказивших мальчишек, хорошенько бы выпороли! Но отец не признавал ни порки, ни нагоняев, всякое насилие и крик были противны его натуре. Согрешившего он карал совершённым грехом. Сладкоежка должен был в наказание объесться тортом. Это даже дураку понятно...

Наконец торты были съедены. На обед — я хорошо помню — было копченое мясо и крупные вестфальские бобы с кисло-сладкой подливкой, — блюдо, от которого я прежде воротил нос. Я уписывал его, как умирающий с голоду. Когда я протянул тарелку за третьей добавкой, мама воскликнула:

— Ганс, ты испортишь себе желудок!

А отец лишь приговаривал:

— Смотри-ка! Смотри-ка! — и все морщинки у его глаз улыбались.

Но что эта мальчишеская охота до сладостей в сравнении с загадочным преступлением, совершенным годом или двумя позже на одном из наших динеров? Несмотря на острое криминалистическое чутье моего отца — а он был известным следователем, которого в определенных кругах весьма побаивались, — преступника очень долго не могли обнаружить, пока через шесть или восемь лет тот сам не признался в содеянном; тогда даже родители посмеялись от души! Однако на том динере отец с мамой от огорчения совершенно растерялись — такое могло произойти, конечно, только у нас!

Мама особенно гордилась нашим праздничным столом, который сервировал специально приглашаемый тафельдекер. Стекло и куверты нам приходилось, как и всем, брать напрокат, зато сервиз был собственный, знаменитый в кругу наших знакомых уэджвудский сервиз на сто персон! Этим набором посуды с несметным количеством тарелок и чашек всех размеров мог бы пользо-

ваться сам Гаргантюа: на каждом из блюд для жаркого поместился бы целый теляенок, а любой соусник сошел бы за суповую миску для небольшой семьи.

Этот поистине княжеский сервиз как с неба свалился в нашу семью, никогда не тяготевшую к роскоши. Однажды, много-много лет назад, мой двоюродный дед шел по городу Ауриху, направляясь в свою адвокатскую контору, где он принимал клиентов, и возле какого-то дома заметил небольшую толпу. Любопытный ко всему, что происходило в его родном городе, он подошел к собравшимся и узнал, что здесь продается с молотка имущество, оставшееся после смерти морского капитана. Дед двинулся было дальше, но тут из дверей вышел его знакомый аукционист Кетц, сунул ему под нос голубоватую кружку, на которой торжественно прогуливались какие-то греческие фигурки в белом, и сказал:

— Это специально для вас, господин стряпчий!

Дед близоруко сощурился на кружку, нежная голубизна ему понравилась, он сказал:

— Три талера, Кетц! Доставьте ее ко мне на дом! — и отправился по своим делам.

Но каково ему было, когда он, вернувшись домой, увидел свою жену в полуобморочном состоянии! Вся квартира была заставлена сервизом с аукциона. Не было места, где бы не сияла голубизна и не кружились белые фигурки в хитонах. Полагая, что купил всего лишь кружку, дед приобрел целую посудную лавку. Одна покупка, увы, влечет за собой другую: чтобы обуздать это посудное наводнение, пришлось заказать громадный дубовый шкаф. Пока его сделали, дед с женой передвигались в квартире, словно эквилибристы по проволоке.

После смерти деда наша семья унаследовала этот сервиз вкупе с дубовой громадиной, которая, по выражению моего отца, исключала всякую мысль о переезде. «Это не шкаф, а целая квартира. Даже берлинским мебельщикам такой не по плечу...»

Впрочем, кроме шкафа с посудой, дед из Ауриха не завещал нам ничего, и за это его прозвали у нас «семейным обманщиком». Ибо он, овдовевший уже в тридцать пять лет, писал нам ко всем дням рождения и к каждому рождеству: «Ну что мне вам подарить? Ведь вы получите по наследству все сразу!» Но, отбив почти сорокалетнее вдовство, он в семьдесят два года

взял молодую жену, которой вскоре и оставил все свое добро,— такой-сякой семейный обманщик!

Незнакомая новоиспеченная «бабушка» соизволила, по крайней мере, прислать нам этот сервиз, да и то, вероятно, потому лишь, что изобилие посуды было для нее обременительно, хотя кое-какие предметы, побывав в руках судомойки, уже приказали долго жить! Тем не менее на сорок персон его еще вполне хватало, и на столе, сверкавшем хрусталем и нейзильбером, наш сервиз выглядел поистине роскошно...

Незадолго до прихода гостей мама по привычке еще раз окинула взглядом сервировку. Все было в наилучшем виде и притом гораздо красивее, чем у коллег с их белым фарфором. Затем она отправилась в кухню, чтобы дать последние указания перед великой застольной битвой.

И тут настало мгновение для моей сестры Фриды, по прозвищу Фитэ. Держа в руке блюде с черничным компотом, она прокралась в залу, подошла к столу и...

Что же она натворила? Как было сказано, Фитэ призналась лишь спустя несколько лет и объяснила, почему она это сделала. Но тогда эта выходка казалась совершенно загадочной, чуть ли не преступной...

Моя сестра Фитэ была странным ребенком. Тихая, почти флегматичная, она тем не менее была способна на бурные вспышки гнева, особенно когда трогали ее вещи. Обычно дети склонны обращаться с вещами своих братьев и сестер, как со своими собственными; но к вещам Фитэ лучше было не прикасаться: она приходила в дикую ярость. Я хорошо помню, как однажды Фитэ разревелась и растоптала свою любимую куклу только из-за того, что ее поцеловала старшая сестра Элизабет, по прозвищу Итценплиц!

Можно себе представить, что переживала капризная девочка, когда мама, сидевшая рядом с ней за столом, постоянно пробовала суп или другое блюдо ее ложкой! А ведь наша Фитэ была отъявленной привередой. Всегда ей что-нибудь не нравилось: то слишком соленое, то слишком сладкое, то кислое, то горячее, то холодное, то вообще никакое. Не было случая, чтобы Фитэ за едой к чему-нибудь не придралась. Когда я пишу эти строки, у меня в ушах жужжит ее писклявый, нудный голосок; стоило ей взять в рот ложку, как она сразу же начинала канючить.

Мама отбирала у нее ложку, пробовала из ее тарелки и безразличным тоном говорила:

— Все очень вкусно, Фитэ. Ты просто капризничаешь!

Сто раз Фитэ просила маму, чтобы та пробовала своей ложкой. Но все было напрасно; сколько бы Фитэ ни привередничала, мама столь же настойчиво брала ее ложку, не в наказание, просто по привычке, потому что уже давно перестала обращать внимание на нытье сестры.

И вот Фитэ решилась на страшную месть...

Торопливо она снует вдоль стола. Остановливается у каждого прибора, хватая ложку за ложкой и тщательно их облизывает. Но ей мало только чувствовать себя отмщенной, время от времени она берет ложкой черничный компот — пусть взрослые поймут, что значит относиться к вещам детей без уважения.

Фитэ завершила свою работу. Секунду-другую она обзрывает результаты. Стол уже выглядит не таким красивым, как прежде, на всех ложках синеватые и черноватые полоски. Фитэ чувствует, что необходимо еще что-то сделать: нагнувшись, она сморкается в угол скатерти. Затем проделывает то же самое на трех остальных углах и бесшумно исчезает...

Разумеется, даже самый тактичный гость не мог не заметить этого. Вероятно, гости взяли в руки ложки, протянули их было к вкусно приготовленным кушаньям, но тут же опустили с изумлением во взоре. Мама зарделась, как вечерняя заря, отец хмуро посмотрел на нее.

— Ничего не понимаю,— пролепетала несчастная мама.— Ведь я только что все проверяла. И кто это посмел так подшутить надо мной...

Мама была готова разрыдаться. И это непременно случилось бы, будь за столом только друзья. Но среди гостей дамского пола был кое-кто, кому она не хотела доставить удовольствие видеть ее плачущей.

— Быстро собрать все приборы и вымыть! — приказал отец официантам.— Нет, все, ножи и вилки тоже... кто знает...— И, уже с улыбкой обращаясь к гостям: — Дети... дети... Сами знаете, как это бывает с ними. Какая-то непонятная детская шалость!.. Но я в ней скоро разберусь!

Началась дискуссия. Большинство гостей высказались за возмездие. Потом была затронута неисчерпае-

мая тема о прислуге, перешедшая в не менее бесконечную — о поденных официантах. В ожидании вымытых столовых приборов время текло наимприятнейшим образом, пока не раздался возглас:

— Attention, les servants! ¹

Одна мама была поражена в самое сердце — кто же мог нанести ей такой удар, кто?! На Фитэ она не подумала, на Фитэ никто не подумал. К ее нытью за едой, к ее придирам все настолько привыкли, что уже давно перестали обращать внимание. Постепенно событие это затерялось в потоке времени, как теряются все события, одни раньше, другие позже...

В тот вечер, правда, маме все же пришлось поплакать. Фрау Зиделебен, которую мама особенно недолюбливала за ее покровительственный тон, сказала благосклонно при прощании:

— Было так очаровательно, в самом деле! И всегда у вас случается что-нибудь интересное, что-нибудь такое, что совершенно выходит за рамки того, к чему мы, у нас в столице, привыкли. (Она никогда не забывала напомнить моей маме, что та родом из провинциального ганноверского городка.) Очень занимательно, в самом деле!

И мама, припав к груди отца, расплакалась, но, слава богу, после того, как все гости ушли.

— Всегда случается что-нибудь новое, Луиза,— утешал маму отец.— Вот увидишь, пройдет месяц, и будут говорить совершенно о другом! Погоди-ка, через две недели, в четверг, динер у Зиделебенов, может, и у них что-нибудь случится!

— У них никогда! — воскликнула мама сквозь слезы.— Она бесчувственная особа! Ходячий свод приличий, больше ничего!

— Конечно, мы им этого не желаем,— сказал отец.— Но кто знает, кто знает...

Однако динер у Зиделебенов прошел без каких-либо инцидентов. Все было безупречно: ни облизанных ложек, ни отломанных «зубцов» у торта, ни пьяного официанта. Все шло как отлаженный часовой механизм. Превосходные вина, волшебный десерт, сигары выше всякой критики. Во главе стола в позе непогрешимости, столь ненавистной моей маме, восседала фрау Зиделе-

¹ Внимание, слуги! (фр.)

бен, и когда ее взгляд останавливался на маме, та читала в нем: вот каким должен быть настоящий динар, моя милая провинциалочка!

Нет, стерпеть подобную безупречность вряд ли было возможно!

Но вот на следующий день разнесся слух... Сначала он казался совершенно невероятным, затем обрел более четкую форму, с неопровержимостью были установлены кое-какие факты... Вполне достоверно было следующее: фрау Зиделебен осталась без прислуги, перед горой невымытой посуды, в чуть ли не разгромленной квартире! И это в самой середине месяца!..

А причина?! Ну что за вопрос, моя дорогая?! С каких это пор вся прислуга разбегается из дому после динера, да еще среди ночи?! Ведь в такое время только и думаешь, чтобы поспать!

Произошла драка, самая настоящая драка между поденными официантами и домашней прислужгой Зиделебенов!

Из-за чего?! И вы еще спрашиваете, из-за чего?! Зачем это драться людям, уставшим до смерти!

И таинственным, мрачным голосом сообщается: говорят, будто пропали чаевые!

С глубоким вздохом: «Ах, вот оно что! Ну, тогда многое становится понятным!»

Господа камергерихтсраты пировали за столом у своих коллег не совсем задаром. Если хозяйева дома трагались на угощение, то и гости не были избавлены от кое-каких расходов. Уже во время динера та или иная супружеская пара останавливала задумчивый взгляд на обслуживающих лицах, а потом, за кофе, супруги таинственно перешептывались.

— Семь! — говорил отец.

— Пяти вполне достаточно, — говорила мама. — Не нужно их баловать.

— Не забывай, что официантов двое, да еще трое на кухне, — возражал отец. — Вообще-то следовало бы дать семь пятьдесят.

— Хватит и пяти, — настаивала мама. — Ты всегда даешь слишком много, Артур.

— Что ж, посмотрим, сколько даст председатель Корнильс, — говорил отец. — В конце концов, надо доставить людям небольшую радость. Ведь после такой беготни у их страшно болят ноги.

— У меня ноги тоже часто болят,— завершила диалог мама.— Не больше пяти, Артур!

Когда гости одевались, то в прихожей на маленьком столике, в сторонке, уже стояла тарелка или, что еще лучше, поскольку меньше бросалось в глаза, оловянное блюдо. И пока дамы поправляли перед зеркалом кружевные косынки, накинутые поверх завитых локонов, мужчины неторопливо подходили к этой жертвенной чаше и как можно тише опускали в нее свой взнос. При этом все держались так, будто совершали что-то запретное: монетами не полагалось звякать, жертвующий делал вид, будто натягивает перчатки или разглядывает картину, висевшую на стене над чашей. Ибо давать чаевые, да еще в доме коллеги, считалось не вполне приличным, как неприличным считалось говорить о деньгах, хотя иметь их — желательно.

Несмотря на все эти предосторожности, жертвователь ничуть не сомневался, что за его манипуляциями у чаши исподтишка, но очень зорко наблюдают, во-первых, коллеги, которые еще не определили суммы своего взноса, а во-вторых, официанты, подававшие пальто господам, и служанки, помогавшие дамам одеваться. Ибо урожай принадлежал им...

Но едва уходил последний гость, как цепи смиренной почтительности сбрасывались. С откровенной наглостью официанты под бдительной охраной служанок несли тарелку в кухню и там приступали к дележу, нередко сопровождаемому перебранкой. От участников этой процессии можно было услышать весьма неблагоприятные отзывы, в которых клеймили позором «мелочность» и «скупердяйство» некоторых гостей. Хозяева дома предпочитали держаться подальше от лакейского шабаша.

Однако некоторые хозяйки, и среди них советница Зиделебен, считали своим долгом присутствовать при этих дележках, чтобы все было справедливо. (И чтобы собрать ценный материал для приятельниц: «Икс» положил всего две марки, но, по словам официанта, набил себе полный карман чудесными гаванскими сигарами с хозяйского стола. «Я этого не утверждаю, милая, поскольку сама не видела. Но так говорит официант, а он видел!.. Вы только подумайте, милочка! Шульте положил на тарелку десять марок, больше, чем председатель Корнильс, а ведь у Шульте дети такие худышки! Фрау

Шульте всегда жалуется, что им приходится экономить. Говорить об экономии и швырять такие чаевые, по-моему, просто хвастовство!»)

Но в эту ужасную ночь фрау Зиделебен не представилось возможности наблюдать за дележкой: тотчас после ухода последней пары гостей — герра камергерихтсрата Эльбе с супругой — обнаружилось, что содержимое тарелки с чаевыми похищено. Будто вылизанная, стояла она в укромном уголке — ни единой марки!

И не успела фрау Зиделебен промолвить хоть слово по поводу этой катастрофы, как началась дикая ссора. Служанки обвиняли официантов, а официанты собрались пустить в ход руки, чтобы отбить у соперниц якобы похищенную добычу. Обе стороны грызлись со всей ожесточенностью, ведь пропало свыше сотни марок, а по тем временам это были очень большие деньги, куда большие, чем теперь. К служанкам подоспело подкрепление из кухни в лице кухарки и судомойки, битва разгоралась.

Из супружеской спальни выскочил разгневанный камергерихтсрат, уже в подтяжках и шлепанцах, — но, увы, он был всего лишь муженьком. Гремели грозные раскаты повелительного голоса Зиделебенши, но, никого не испугав, стихали; из квартир этажом ниже и этажом выше прислали гонцов с ультиматумом: немедленно прекратите шум, уже половина третьего ночи... Сражение бушевало всюду.

Наконец они обыскали друг друга: безрезультатно. Затем наступил черед квартиры, и по этому поводу все было перевернуто вверх дном — опять никакого результата. К четырем часам утра стычка возобновилась в кухне.

Тем временем герр Зиделебен выбился из сил и уже был склонен к тому, чтобы заплатить людям отступные в разумных пределах, а пропавшие деньги, полагал он, отыщутся.

Фрау Зиделебен, пренебрегая великосветским стилем, сказала:

— Ерунда! Это они должны мне заплатить... во что они превратили мою квартиру! И вообще я сейчас же со всей шестеркой отправлюсь в полицию!

Герр Зиделебен, который, как большинство опытных юристов, не любил затевать процессов по собственным делам, решительно возразил против всяческого вмешательства полиции:

— Делай, как хочешь, Фредерика, ты вовсе не обязана платить отступные за счет твоего домашнего бюджета, убытки возмещу я. И дайте мне наконец покой, я хочу лечь.

— А я все равно пойду в полицию! Один из шести наверняка вор!

К раздорам среди слуг добавился спор между хозяевами, который, впрочем, скоро прекратился. Шестеро постучались в дверь спальни, весьма решительно вторглись туда и сообщили, что, по их мнению, деньги мог прихватить только кто-нибудь из гостей, тот, кто ушел последним. Они, мол, все обсудили и припомнили, что за последние пять минут никто из них, то есть прислуги, даже близко не подходил к тарелке, а посему они просят назвать фамилии и адреса гостей, ушедших последними.

Боже ты мой, как дружно тут возмутились супруги Зиделебен! Запятнать честь судебной палаты, опозорить друзей дома,— и кто осмелился? Кто?! О, теперь уже в словах и оскорблениях не стеснялись, выкапывали старые домашние истории, ненависть лилась через край, пропажа какого-нибудь лакомства раздувалась до уголовного преступления,— кто кого переспорил в конце концов, останется навеки неясным, уволилась ли прислуга сама или же была уволена,— об этом существуют два непримиримых толкования.

В шесть утра камергерихтсрат Зиделебен в полном изнеможении сидел за своим письменным столом и оформлял расчетные книжки, выплачивал жалованье (плюс компенсацию за сгинувшие чаевые, о чем его супруге не полагалось знать), а супруга тем временем бдительным оком надзирала за служанками, собиравшими свои пожитки. Часам к семи супружеская пара наконец улеглась в постель. К сожалению, им было не до сна — куда делись деньги? Как привести квартиру в порядок? Где теперь, в середине месяца, срочно найти новую прислугу? Как сохранить в тайне это происшествие от коллег? Не проговорятся ли служанки и официанты?

Тяжесть положения особенно ощущала Зиделебенша: от этих молодых петушков в палате теперь не жди никакой почтительности, если они узнают, что приключилось у нее в доме.

— Когда ты наконец станешь председателем палаты, Генрих? — спросила она.

Советник оторвался от своих дум.

— Я? — спросил он. — Я — председателем палаты? Никогда! Даже если предложат, откажусь! Я вполне доволен тем, чего достиг!

— А я нет! Ты должен стать председателем... После сегодняшнего инцидента это просто необходимо...

Своими разговорами она, по крайней мере, убаюкала мужа, самой ей, понятно, не спалось...

Иногда, не так уж часто, мы с братом Эди ходили в гости к сыновьям отцовского коллеги камергерихтсрата Эльбе. И хотя они жили от нас всего через несколько домов, на той же Луипольдштрассе, и мальчики были почти нашими ровесниками, настоящей дружбы между нами не возникло, это был лишь учрежденный родителями союз. Сыновья Эльбе посещали реальное училище, мы — классическую гимназию, а это такая же дистанция, как между советником юстиции и секретарем суда. Кроме того, старший из братьев, Гельмут, страдал астмой, и нередко, когда мы приходили, он лежал в постели, мучась одышкой, ему было не до нас. Мы с Эди были «книжными червями», они — «мастеришками», и нас разделяли моря и океаны...

Все же время от времени мы приходили к ним, и не из-за ребят, а потому, что нам было очень интересно у них дома. Мы попадали в другой мир... У нас дома во всем соблюдали величайший порядок и точность: за стол садились минута в минуту, перед едой мы всякий раз показывали руки, в часы, когда отец работал, царил полная тишина. Короче, у нас все было предусмотрено и предопределено, включая порядок в ящиках столов и в шкафах.

У Эльбе все было совершенно иначе. Стоило ребятам проголодаться, как они врываются в кухню или в кладовку и ели то, что хочется и когда хочется. Они пели, смеялись, шумели, носились по квартире в любое время. Собираются накрывать на стол, а он, оказывается, уставлен от края до края оловянными солдатиками. Идет битва, которую никак нельзя прервать из-за какого-то дурацкого обеда; одним словом, ребята делали, что хотели.

Впрочем, все в этом доме делали, что хотели: кухарка, служанка, а также герр и фрау Эльбе. В неизменно

веселом настроении, красивая и удивительно моложавая фрау Эльбе бродила по комнатам, беспечно взирая на беспорядок, и почти всегда с сигаретой во рту, что в те времена считалось весьма неприличным. Ее никогда нельзя было увидеть за каким-то определенным занятием. Обычно она что-нибудь несла в руке: мужские брюки, суповую ложку, вазу. Но, по-видимому, как только они ей надоедали, она бросала эти вещи куда придется. Потом, естественно, начинались поиски, и, пока находили суповую ложку, суп уже остывал. Однако ни хозяйка, ни кто-либо еще не придавали этому никакого значения.

Фрау Эльбе была дочерью помещика, выросла в деревне и даже теперь больше всего любила говорить о сельской жизни. Не иначе как с презрением отзывалась она о мрачной тесноте городской квартиры, о недостатке места, о невозможности как следует развернуться, поработать. В городе вообще ничем путным нельзя заняться. Если моя мама робко пыталась избавиться от провинциальности и стать берлинкой (хотя тоже не любила Берлина), то фрау Эльбе никогда не отрекалась от своего сельского происхождения. Однажды на особо торжественном динере, когда гости молча сидели за столом в ожидании первого блюда, она громко, веселым голосом бухнула: «Точь-в-точь как в коровнике у моего отца перед кормежкой!» Даже самые снисходительные пожились от такого высказывания. Ну как это могло прийти в голову — вспомнить о коровнике в присутствии советников юстиции, в присутствии самого председателя палаты!

Она была просто *enfant terrible* в их кругу. Существовало множество историй о ее бестактных выходках, нарушавших добропорядочный образ жизни. Во время визита, нанесенного новеньким камергерихтсратом, в «салоне» фрау Эльбе, бесстыже красуясь у всех на виду, стоял некий сосуд известного назначения; обсуждая это событие, дамы «старшего возраста» откапывали в памяти застрявшие со школьной скамьи французские слова, чтобы назвать сей предмет благозвучнее: «Вы только представьте себе, настоящий *pot de chambre*! ¹ И хотя бы устыдилась, — ничего подобного! Засмеялась и вынесла вон!»

¹ Ночной горшок (фр.).

В другой раз фрау Эльбе заспорила с камергерихтсратом Беккером о том, так ли уж ядовиты «на самом деле» мухоморы или нет. По ее убеждению, в пищу годилось все, что растет в лесу и в поле, все съедобно. И чтобы доказать это, она торжественно поклялась угостить свое семейство блюдом из мухоморов.

Герр Беккер, перепугавшись, тщетно умолял ее отказаться от этой смертоубийственной затеи. В ближайшее воскресенье она потащила всю семью в Груневальд собирать мухоморы, и вечером к столу они были поданы с яйцом и жареной картошкой! Правда, осторожности ради она их несколько раз прокипятила и откинула, так что все отделались легкой резью в животе.

— И это вы называете ядом?! Да настоящий яд убивает как молния! От касторки у меня живот точно так же болел! Значит, тогда касторка тоже яд?

(То, что она не стесняется ко всему прочему говорить о собственном животе, да еще о том, как на него действует касторка,— это... это... Shocking! Shocking!! Shocking!!!)

А что говорил сам герр камергерихтсрат Эльбе о своей жене, об этом беспорядке, о ее своенравных выходках? Да ничего не говорил! Думаю, он вообще ничего не замечал. Он даже не представлял себе, что женщина может быть иной, что домашнее хозяйство можно вести по-иному, а детей воспитывать иначе. Своей рассеянностью и оторванностью от жизни он перещеголял бы любого «чудака профессора». Естественно, герр Эльбе был «цивилистом», вечно размышляющим над всякими мудреными вопросами гражданского права,— слишком уж он был далек от мира сего, чтобы заниматься криминалистикой. Юриспруденция была для него чем-то вроде геометрии: прямые углы, построение треугольников, вычисление некоего неизвестного по данной величине (параграфу).

Бывало, когда мы у них дома начинали дикую возню, дверь открывалась и в комнату входил господин советник. Он был невысокого роста, с желтым, как айва, морщинистым лицом, лысый и безбородый, хотя в то время были в моде пышные бороды. Дома он всегда носил потертый лиловый халат, который болтался на его тощей фигуре сотнями складок. На ногах у него обычно были шлепанцы, но часто он забывал их надеть и ходил босиком, не обращая на это внимания.

Дверь он оставлял открытой и, уткнувшись в какую-нибудь бумажку, не замечая, что, кроме его сыновей, в комнате находятся посторонние, направлялся к окну и начинал барабанить пальцами по стеклу.

Или же садился на диван и погружался в чтение. Мы могли в это время кричать, визжать, спотыкаться о его ноги,—ничто ему не мешало. Напротив: я думаю, что именно в минуты своих умствований он стремился быть рядом с людьми, хотя не отдавал себе в этом отчета. Поначалу мы побаивались его, но потом привыкли и уже смотрели на него, как на мебель. Ни разу он не заговорил с нами; я убежден, что и после трех лет нашего знакомства он все еще не знал, кто мы такие. Как этот человек умудрился жениться и породить детей, не могу себе представить, даже если дам волю своей фантазии.

В тот период я зачитывался Э.-Т.-А. Гофманом, и толпившиеся в его рассказах причудливые существа стали обретать в моем воображении форму и сущность советника Эльбе. Вместе с тем он, по общему мнению, был превосходным, образованнейшим юристом, принадлежавшим, однако, к той старой формации правоведов, для которых право было не живым делом, а своего рода акробатикой мысли.

Помнится, однажды на пасху его сыновья позволили себе пошутить: вместо шапочки, которую отец постоянно носил дома, прикрывая лысину, они нахлобучили ему на голову плетеное гнездо для пасхальных яиц, набитое зеленой древесной шерстью. Как сейчас вижу его фигуру: он стоит чуть смущенный, но не сердитый, держит в руке свою старую шапочку и смотрит на нее с удивлением, а другой рукой осторожно ощупывает плетенку на голове, недоумевая, каким образом у него вдруг оказались две шапочки и почему вторая такая странная на ощупь.

Так вот, герр Эльбе и был тем самым человеком, который очистил тарелку с чаевыми в квартире камергерихтсрата Зиделебена,—разумеется, не из низменной корысти, а по чистой рассеянности. Иного и не следовало ожидать: во всем, что касалось денег, он вел себя, как ребенок. Он не умел ни хранить их, ни тратить, он вообще не знал, что с ними делать. Всякий раз, когда герр Эльбе собирался ехать в судебную палату, жена оставляла ему мелочь на проезд в прихожей, на полочке

под зеркалом. Он настолько привык к этому, что забирал деньги с полочки совершенно машинально.

Затем он шел к остановке трамвая номер 51. На пятьдесят первом маршруте его знали все кондукторы, относившиеся к нему с той снисходительной доброжелательностью, которую берлинец проявляет ко всякому, кого считает себе равным. Кондукторы брали у него деньги из кармана и совали туда билет. На углу Фоссштрассе они высаживали его, проверяя, не забыл ли он шляпу, зонтик, пенсне, портфель, а когда вагон трогался, они с отеческой тревогой провожали герра Эльбе взглядом, озабоченные тем, как бы он не принялся шалить, а чинно и благородно свернул бы на Фоссштрассе.

В тот злополучный вечер жена сунула ему в руку пять марок и тихонько велела положить их в тарелку для чаевых. Поскольку герр камергерихтсрат уже не раз отлично справлялся с подобным заданием, жена не стала наблюдать за ним, как то делали проницательные трамвайные кондукторы, а в ожидании, пока освободится зеркало, принялась с кем-то болтать.

Не пройдя и двух шагов, герр Эльбе очутился лицом к лицу с председателем палаты и выслушал строгое внушение по поводу какой-то папки с делом, которая несомненно находится у него и которую ему надлежит отыскать. Освободившись, герр Эльбе оказался в прихожей напротив тарелки, наполненной серебром. И пока его мысли витали вокруг пропавшего дела, которое он, как подсказывала память, читал, ему удалось то, что не удалось бы самому ловкому вору при столь многочисленных свидетелях: он опорожнил тарелку в свой карман быстро и бесшумно, как лунатик. Он действовал совершенно машинально, бессознательно,— эти деньги в прихожей смутно напомнили ему другие деньги в другой прихожей, которые следовало положить в карман. И он положил.

На следующий день после того динера камергерихтсрат Эльбе нерешительно сказал жене:

— Не понимаю, мои брюки почему-то такие тяжелые...

— Тяжелые? — спросила она. — С чего это они отяжелели? Что ты на сей раз туда засунул? Недавно у тебя в пальто оказалось пресс-папье!

— Пресс-папье?.. Нет, не оно,— сказал советник и сунул руку в карман. Он вытащил оттуда полную пригоршню монет.— Кажется, это деньги.

— Деньги? Откуда у тебя деньги? Может быть, у меня взял?

— Насколько мне известно, нет. То есть... если быть точным, не помню, чтобы я это сделал. Тем не менее я допускаю, что это возможно...

— Дай-ка посмотрю! — Она вывернула его карманы.— Здесь больше ста марок. Нет, это не мои деньги. Как они к тебе попали? Ну, вспомни, Франц, пожалуйста.

В смущении он потер двумя пальцами подбородок.

— Боюсь, что даже самая интенсивная работа моей мысли в этом направлении не даст никакого результата. Скорее наоборот: я, кажется, припоминаю, что в течение длительного периода времени не входил в соприкосновение с деньгами.— После некоторого размышления он добавил: — Если говорить точнее: исключая денег на проезд.

— На проезд куда?

— В суд.

— Туда всего-то надо двадцать пфеннигов, а тут больше сотни марок. Разница огромная.

— Согласен, дорогая,— сказал он озабоченно.— Ведь я сам заметил, что карманы стали намного тяжелее. Прежде, беря деньги на трамвай, я этого не наблюдал.

— Может, тебе в суде за что-нибудь заплатили? Ты не давал статью в «Юридический еженедельник»? На лестнице не встречался с почтальоном? Может, одолжил денег у кого-нибудь из сослуживцев?

Герр камергерихтсрат Эльбе полагал, что на все эти вопросы он может, с некоторыми оговорками, обусловленными его юридической совестью, дать отрицательный ответ.

— Что ж, тогда я тоже не понимаю, откуда эти деньги,— закончила допрос фрау Эльбе.— А пока я возьму их на хранение. Если они чужие, хозяин объявится.

Но поскольку фрау Эльбе мало общалась с женами других советников, то о происшествии у Зиделебенов она узнала лишь спустя неделю на очередном чаепитии. Ее бросало то в жар, то в холод, ибо с первых же слов ей стало ясно, кто виновник, и она мгновенно сообразила,

что отсутствовавшая здесь, к счастью, фрау Зиделебен сможет причинить герру Эльбе серьезные неприятности, если узнает правду. Сначала фрау Эльбе решила не рассказывать об этом никому, даже собственному мужу, а деньги переслать фрау Зиделебен от вымышленного отправителя.

Однако вскоре она поняла, что так ничего не выйдет. Во-первых, это было противно ее чистосердечной натуре, во-вторых, только усилило бы пересуды во много крат. А если все-таки нападут на верный след, ее муж окажется в безнадежном положении.

Не зная, как поступить, фрау Эльбе обратилась к моей маме, которой симпатизировала за ее кроткий нрав, хотя жена «цивилиста» не принадлежала, собственно, к кругу жен «криминалистов». Но мама в столь важном вопросе не решилась что-либо отвечать или делать без совета нашего отца. Отец выслушал ее со всей серьезностью. Честь судейского сословия была для него кровным делом: без этой чести он не мыслил себе ни зуда, ни жизни. Недопустимо, чтобы какая-то сплетня запятнала хотя бы краешек судейской мантии. Действовать в подобном случае по своему усмотрению он не счел себя вправе и потому связался с председателем уголовной палаты. По мнению того, следовало непременно выслушать председателя гражданской палаты, где служил герр Эльбе. Председатель гражданской палаты связался с герром Зиделебеном, и тот, придя в себя от изумления, воскликнул:

— Так вот где увязочка! До этого, конечно, никто бы не додумался! Я рад, что все выяснилось таким образом, правда, моя жена...

Он погрузился в раздумье. Присутствующие, и среди них советница Эльбе, доброжелательно созерцали его.

— В конце концов я возместил пострадавшим убытки из моей личной кассы, правда, без полного на то согласия жены,— сказал он.— Они разлетелись на все четыре стороны, служанки устроились в других местах... пожалуй, лучше всего, если мы предадим это дело забвению. Коллега Эльбе весьма достойный человек...

— Вы полагаете...

— Если я вас правильно понял, коллега Зиделебен...

— Вы думаете, что и ваша супруга...

— Совершенно верно. Я думаю, что моей жене не

надо знать о том, что дело распутано. Это могло бы...
гм... омрачить добрые отношения между коллегами.
К тому же она утверждает, что вынужденная смена
прислуги обернулась невероятной удачей. Она откопа-
ла какие-то «жемчужины» из Восточной Пруссии...

Все улыбнулись, так как было известно, что Зиделе-
беновские «жемчужины» сверкали только в первые дни,
а потом быстро тускнели.

— Значит, все остается между нами...

— А коллега Эльбе?..

— Какой смысл говорить ему,— сказала фрау Эль-
бе.— Он только огорчится, а от огорчения недалеко и
до нового конфуза.

Вот так получилось, что историю эту сохранили в
тайне, насколько, конечно, могли хранить тайну ее мно-
гочисленные соучастники. Но двое определенно не зна-
ли о ней ничего: фрау камергерихтсрат Зиделебен и герр
камергерихтсрат Эльбе.

И когда теперь Зиделебенша позволяла себе порой
свысока обойтись с моей мамой, та с улыбкой думала
про себя: «Если бы ты знала, что знаю я, ты бы так
не говорила! Но ты ничего не знаешь, ни-че-го!»

ПОРКА

Мой отец, как я уже рассказывал, не считал полез-
ным бить детей. В вопросе наказания он действовал, как
гомеопат, лечил *similia similibus*, подобное подобным,
и мог быть вполне довольным результатами своего ме-
тода воспитания, приписав успех то ли самому методу,
то ли нам, детям. Но однажды мой «старик» все-таки
всыпал мне от души, и это единственное событие произ-
вело на меня столь глубокое впечатление, что я помню
его по сей день во всех подробностях.

Было мне тогда лет десять-одиннадцать, и был у
меня закадычный друг Ханс Фётш, сын нашего домаш-
него врача. Мы с ним, правда, ходили в разные школы,
но после занятий целые дни торчали вместе; в ущерб
домашним урокам мы клеили из картона и цветной бу-
маги великолепнейшие рыцарские доспехи, мастерили
боевые украшения индейцев, вдохновившись строго за-
прещенными нам книжками Карла Мая, и зачитывались
еще более запретными выпусками о похождениях Сит-
тинга Булля и Ника Картера. Выпускам этим не было

конца: сто, двести, триста брошюр... Все наши карманные деньги уходили на них.

Надо сказать, что в те годы я был необычайно благовоспитанным мальчиком. Мне помнится, как я, к вящей досаде Ханса Фётша, упорно отказывался дать ему одну из этих бульварных книжонок по той лишь причине (в которой нипочем не хотел сознаться), что у героя в пылу гнева вырвалось слово «заср...». Мне было стыдно за моего героя, стыдно перед Хансом Фётшем.

Правда, автор сделал попытку обелить героя, поспешно заверив, что тот выразился так сгоряча, возмущенный до предела низостью своего противника, тем не менее моя скромность была оскорблена. Если подобные выражения допускает мошенник, еще куда ни шло, но герой!..

А вообще мы с Хансом Фётшем отлично ладили. Это был не очень разговорчивый мальчик с трезвым, практическим складом ума; когда я принимался фантазировать, он выслушивал мою болтовню и старался любую новую идею, родившуюся в моей вечно что-то изобретавшей башке, не откладывая, осуществить на деле. Обе пары родителей одобряли нашу тесную связь. Мой отец, вероятно, рассчитывал, что она умерит пылкую неуравновешенность его сына, а доктор Фётш надеялся, что его тихий мальчик станет живее. Встречаться нам и вовсе было удобно — Фётши, как и мы, жили на Луипольдштрассе, только на ее южной стороне, которая в те времена еще не была полностью застроена.

Несмотря на такие предпосылки для удачного дружественного союза, мне с Хансом Фётшем, можно сказать, не слишком повезло. Ему я обязан тремя решающими поражениями в моей жизни, поркой и позорным поступком, о котором еще многие годы с ужасом вспоминали в нашей семье.

Горечь первого поражения удалось мало-мальски смягчить, хотя оно было довольно постыдным. Мой отец, когда ему выпадали редкие свободные минуты, поклонялся безобидному идолу коллекционирования и к тому времени уже собрал весьма приличную коллекцию почтовых марок. Ядро ее составила редчайшая серия старинных немецких марок, которые он некогда обнаружил, роясь в хламе на чердаке приемного отца моей мамы. Этот приемный отец, старенький нотариус, хранил на чердаке штабеля папок с нотариальными делами-сво-

их предшественников, а в тех делах лежали письма, старые письма, на которых были наклеены почтовые марки «Турн-и-Таксис», с мекленбургской бычьей головой, с красными гамбургскими башнями,— поистине драгоценные экземпляры.

Все, что добавилось потом, не шло ни в какое сравнение с этими первыми находками. Когда отец служил в ганноверских провинциальных судах, он не упускал случая выудить из полуистлевших, обгрызенных мышами дел ту или иную редкую марку. Но поскольку он был от природы человеком бережливым (коллекционирование так и не стало для него настоящей страстью), отец воздерживался от приобретения альбома. Все марки были с величайшей аккуратностью наклеены на четвертушки нежно-желтой бумаги, и все надписи на листах сделаны изящным отцовским почерком.

Однажды коллекция уже понесла серьезную утрату. Какой-то страстный коллекционер из породы бесстыжих, оказавшийся, к сожалению, начальником отца, выпросил у своего подчиненного коллекцию «в целях сравнения» с собственной. Полностью отец не получил ее обратно, многие ценнейшие экземпляры так и не были возвращены, несмотря на «давление», а слишком «давить» отец не решался, опасаясь за свое продвижение по службе. Увы, злонамеренный начальник мог причинить молодому судье непоправимый вред даже в так называемое доброе старое время!

Но за давностью лет все было прощено и забыто. Зияющие бреши заполнили другие, хотя и не столь ценные марки, а слишком опустошенные листы отец переклеил. И вот появился я, растущий, подающий надежды ребенок, правда, с заметной склонностью к беспорядку и беспринципности. Я никогда не мог дать точных сведений о том, куда девалась огромная сумма в пятьдесят пфеннигов, которые мне выдавали еженедельно на мелкие расходы, денег у меня никогда не было, я постоянно требовал аванса.

Отец был твердо убежден, что у каждого человека есть врожденный инстинкт бережливости. Ведь каждый стремится в жизни чего-то достигнуть, и каждому приятно, если его дети достигнут большего, чем он. С чего бы вдруг я, в ком течет его кровь и кровь его столь же бережливой супруги, должен быть начисто лишен этого первобытного инстинкта? Он есть, он обязан быть, и

задача отца — развить его! Поскольку с деньгами это не удалось, хотя отец подарил мне специальную тетрадь, куда следовало заносить приходы и расходы, — а я использовал ее для переписи своих книг, — то отец вознамерился развить у меня инстинкт бережливости с помощью инстинкта коллекционирования.

Если я приносил из школы хорошую отметку, если мужественно вел себя у зубного врача, если целую неделю пил рыбий жир без особых скандалов, то во всех таких похвальных случаях отец вручал мне более или менее полный лист из своей коллекции. Когда ему позволяло время, он мне сообщал, как и где «раздобыл» те или иные марки (отец гордился, что не потратил на них ни единого пфеннига). Или, взяв из своей библиотеки путеводитель, рассказывал о странах, откуда эти марки, и таким вот образом пытался связать тесными узами марки и меня.

Первое время ему это, кажется, удавалось. Из осторожности он начал с менее ценных марок, приобретенных им путем обмена, и я с удовольствием разглядывал яркие южноамериканские марки, на которых были изображены птицы, географические карты, пальмы, обезьяны, виды городов. Порой я даже отваживался истратить десять — двадцать пфеннигов из своих карманных денег, чтобы заполнить какой-нибудь «комплект». Отец хвалил меня за это.

Но чем выше поднималась их ценность, тем больше наводили на меня скуку эти кусочки бумаги с зубчиками и без зубчиков. Цифры, только цифры были на них, а сверкающие краски все тускнели, уступая место сероватым и коричневатым тонам. Марки мне надоели, я уже находил в высшей степени прискорбным, что за хорошую отметку мне давали вместо талера одни лишь эти скучнейшие бумажонки. Я почти не смотрел на них. Сказав, как полагается, «спасибо», в котором уже звучала нотка разочарования, я небрежно совал очередной лист в ящик комода.

Эта перемена в моем настроении, видимо, не ускользнула от внимания отца. Настойчивее, чем обычно, он старался втолковать мне, сколь художественно исполнены эти крохотные листочки, какая тут чистота рисунка и гравюры. Но когда и это не производило впечатления, он упоминал, — правда, скрепя сердце, ибо такой аргумент был ему не по душе, — о высокой стоимости

некоторых экземпляров, чтобы пробудить во мне радость владельца.

Но ничто не помогало. Втайне я сердился на отца. Сколько желаний можно было бы осуществить за один талер! И я, балбес, не догадывался, что, продав одну-единственную марку, я мог бы исполнить все мои желания на четверть, на полгода вперед. Как, впрочем, и потом в жизни, я совершал глупости с непостижимой основательностью.

Ну, а мой приятель Ханс Фётш был настоящим коллекционером. Он собирал почтовые марки, штемпельные оттиски, а также картинки, прилагавшиеся к товарам фирм «Штольверк» и «Либиг». Либиговские картинки мне нравились больше всего. Во-первых, они были редкостью, так как к банке мясного экстракта «Либига» прилагалась только одна картинка, а банки хватало, увы, надолго. Во-вторых, на либиговских картинках изображалась жизнь в пампасах — гасиенды, быки, гаучо, ласо, индейцы, — все то, что разжигало мою фантазию. Ханс Фётш собрал несколько сот таких картинок, некоторые были новенькие, как из типографии, другие — с живейшими следами множества невымытых мальчишеских рук, через которые они прошли, и от этого они казались мне еще желаннее. Уже не помню, кто из нас двоих был искусителем, но однажды сделка совершилась: я стал владельцем толстой пачки либиговских картинок, а все мои почтовые марки перекочевали к Хансу Фётшу. Не скажу, что мы совершали этот обмен со спокойной душой. Мы поклялись друг другу, что будем хранить строжайшую тайну, и первое время я тщательно оберегал свое сокровище от брата, сестер и родителей.

Но в детстве все забывается быстро, и вот наступил день, когда мама застала меня за разглядыванием картинок.

— Откуда они у тебя, мой мальчик? — спросила она, искренне удивясь.

— Да так!.. — сказал я. — Верно, красивые? Смотри, мам, вот это кофейная плантация! Ты знала, что кофе растет на таких маленьких деревьях?

Но мама отлично знала, с кем имеет дело. Именно мой невинный тон и внушил ей подозрение.

— Очень мило! — сказала она. — А у кого ты взял эти картинки? Ведь их здесь, наверное, несколько сотен.

— Пятьсот тридцать! — с гордостью сказал я.

— А кто тебе их дал?

— Да так!..— сказал я опять.— Ребята...

— Какие ребята? — продолжала она безжалостно расспрашивать.— Как их зовут?

Снова:

— Да так! — И наконец: — Из школы...

Теперь мама была твердо убеждена, что тут дело не совсем чисто.

— Ханс! — сказала она взволнованно.— Здесь что-то не так. Я хочу знать, как зовут этих ребят! — И, видя, что я медлю с ответом, добавила: — Если ты не назовешь, мы вместе пойдем к отцу! Уж ему-то ты скажешь.

Эта угроза меня очень испугала, напомнив об отсутствующих почтовых марках. И я соблаговолитл признаться, что получил картинки от Ханса Фётша.

Мама с некоторым облегчением вздохнула:

— Ну, слава богу, Ханс Фётш! — И, подумав, спросила: — А что ты дал Хансу Фётшу взамен? Ханс — хороший мальчик, но подарками он не разбрасывается.

— Он дал мне просто так, мам!

— Ты обманываешь, Ханс, я вижу по тебе!

— Да нет же, мам, правда! — заверил я ее и покосился в зеркало, чтобы увидеть, действительно ли я покраснел.

— Нет, ты лжешь, Ханс, — сказала мама, теперь уже вполне уверенная в этом.— Если ты не хочешь сказать правду мне, то придется все-таки идти к отцу.

И тут я стал ее упрашивать. Я был готов во всем признаться, пусть только она пообещает ничего не говорить отцу.

Но мама не шла ни на какие уступки:

— Ты знаешь, у меня нет секретов от отца. И если ты сделал что-то недозволенное, то отец тем более должен об этом узнать. Идем, мальчик, идем сейчас же к нему. Ты знаешь, отец никогда не сердится, если вы честно и откровенно признаете, что поступили нехорошо. Он не терпит только лжи...

Однако сначала я предпочел сознаться в своем позорном поступке маме. Я хотел увидеть, как это на нее подействует. Мама так перепугалась, что сразу села.

— Что ты наделал, Ханс! — в ужасе вскричала она.— Как ты только мог! Чудесную, драгоценную папину коллекцию, которой он так гордится! Отдать за

дурацкие перепачканные картинки! Просто не знаю, как я ему расскажу... Он будет очень огорчен, Ханс! Неужели тебе совсем не дорого то, что подарил отец?!

Со слезами на глазах я старался уверить маму, что я очень ценю отцовские подарки, но что либиговские картинки мне нравятся больше...

— Ах, Ханс, какой же ты глупый! — воскликнула мама. — За десятую долю почтовых марок ты мог бы купить тысячи этих картинок, тысячи! Твой друг просто надул тебя при обмене... Да, не очень-то красиво с его стороны!

Мама задумалась. Охваченный тревогой, я ждал, когда она покончит с теоретической частью, то есть с упреками, и перейдет к практической, а именно — скажет отцу или нет. Но мама нашла другое, худшее решение:

— Знаешь что, — сказала она энергично, — возьми картинки и беги к Хансу Фётшу. Можешь ему сказать, если хочешь, что мама не позволяет тебе меняться.

— Но, мам! — воскликнул я, испугавшись. — Я не могу! Я же дал ему самое честное слово, что ничего не скажу вам. Как же я теперь перед ним?!

Однако мама не придавала большого значения «самым честным» словам.

— Ах, все это ерунда, ваши честные слова! — раздраженно крикнула она. — Ведь вы еще дети, а ты ребенок, которого изрядно надули! Ну, наберись храбрости. Ханс, и беги к Фётшу!

— Он наверняка не отдаст марки.

— Должен отдать. Он прекрасно знает, что обманул тебя. Да еще боится, что родители узнают; можешь не сомневаться.

Но я упорно сопротивлялся маме. Я не хотел осрамиться перед другом. Не хотел стать «бесчестным» в его глазах. И кроме того — но этого я не осмеливался сказать маме, — отец ведь подарил мне марки в качестве награды за всякие там примерные успехи, а со своей собственностью каждый волен поступать, как ему угодно. Если отец считает марки такой драгоценностью, то не надо было дарить их мне. Я его об этом не просил! Мне картинки все равно больше нравятся...

В таком духе я возражал маме. Она ушла опечаленная, ничего не добившись. Так же печально прошел и ужин. Отец, который наверняка уже обо всем узнал, си-

дел молча и только изредка бросал на меня испытующие взгляды. Но, следуя своему правилу, воздерживался от какого-либо вмешательства — «дело» вела мама — и спокойно выжидал... Мама также никогда не позволяла себе вторгаться в сферу действий отца. Они лишь помогали друг другу, когда помощь была желательна.

Ночь прошла скверно. Порой я уже соглашался с тем, что мне не следовало меняться, не спросив отца, но чаще я обнаруживал в своем сердце какое-то чувство гнева за то, что Ханс Фётш так меня надул. Потом я услышал голос отца, напевавшего, как он иногда это делал, с легкой издевкой: «Да, я умен, я мудр, и меня не обманешь!» И мне начинало казаться, что я действительно не очень умный.

Но затем я опять возвращался к своим любимым картинкам. Неужели их придется отдать насовсем, навсегда, такие красивые! Нет, не смогу! Ни за что не решусь! Это несправедливо! Ну как может мама требовать от меня такое. Я никогда не расстанусь с ними.

На следующий день, после школы, я снова сидел над картинками. Они стали мне теперь вдвое дороже! Я начал их раскладывать совсем по-новому: индейцы к индейцам, быки к быкам, гасиенды к гасиендам. Тут кто-то вошел в комнату, взглянул через мое плечо на картинки, и я услышал мамин голос:

— Сделай нам одолжение, сынок! Перебори себя хоть раз!

Мама ласково погладила меня по голове.

Но я молчал, и мама, не проронив больше ни слова, тихо вышла из комнаты.

Я хотел было продолжать сортировку, однако ничего уже не получалось. Я сложил картинки в несколько пачек, перетянул их резинками и некоторое время молча смотрел на них. Затем поднялся, распахнул, сколько влезло, по карманам, остальное взял в руки и отправился к Хансу Фётшу.

Нет, на душе у меня было совсем нелегко, я несколько не чувствовал, что делаю что-то похвальное. Но какой-то голос во мне говорил, что это необходимо сделать, как бы ни было тяжело, что я не имею права разочаровывать родителей... Иначе я не мог поступить, так уж я был устроен... И я пошел против воли...

Не скажу, что Ханс Фётш отнесся к моей просьбе по-дружески. Как прирожденный оптимист, я вообра-

зил, будто он, по крайней мере, не станет усложнять проблемы. Но он упрямо твердил, что «сделка есть сделка», и бил меня моими же собственными аргументами: я, мол, дал ему слово, я его уверял, будто марки принадлежат мне. А до собственных вещей сына даже отцу нет никакого дела.

Пришлось выдвинуть орудие тяжелого калибра: я обрисовал, в каком гневе пребывает мой отец, и представил, как разгневаается его папаша. Однако я не чувствовал уверенности в своей позиции: раззадоренный упорством Фётша, я хотел заставить его сдаться, но в то же время мне не хотелось, чтобы он сдавался,— тогда бы я доложил об этом родителям и не расстался бы с картинками.

К сожалению, Ханс Фётш сдался. Он проворчал еще насчет того, что никогда больше не заключит со мной никакой сделки, что, мол, теперь он знает, чего стоит мое самое честное слово, но картинки все-таки взял. Мои марки он, конечно, не может отдать сейчас же, он их переклеил в свой альбом, в разные места. Придется снова отклеивать, но на это надо время. А несколько дублей он поменял, так что вернуть их невозможно.

Расстались мы весьма холодно. Мама встретила меня дома очень ласково. Она похвалила меня за то, что я сумел побороть себя, отец тоже смотрел на меня по-прежнему тепло. Как всегда, с них было достаточно проявления доброй воли.

В дальнейшем мне повезло так же, как отцу с его начальником: не раз пришлось ходить к Хансу Фётшу с просьбами и напоминаниями, пока он не вернул мне жалкую горстку почтовых марок:

— Вот, это все! Больше у меня ничего нет твоего!

Даже моему неколлеционерскому глазу было видно, что в этом марочном хламе лишь несколько штук из отцовской коллекции. Но я уже устал от хождений, и мне не хотелось приставать к Хансу Фётшу.

Отец тоже хмуро взглянул на кучечку марок:

— Н-да, Ханс, моей чудесной коллекции больше нет, и впредь на меня не обижайся, если я как следует поразмыслю, прежде чем подарю тебе что-нибудь стоящее... Полагаю, самое лучшее — отдать все марки твоей сестре Итценплиц. У нее уже набралась вполне приличная коллекция, и она сумеет употребить эти остатки с большей пользой, нежели ты.

Дело сделано, и я остался без марок и без картинок. Временами я ломал голову над тем, какова же, собственно, награда за мою победу над собой: отец лишился коллекции, я — картинок, а приятель был оскорблен. Итоги получились явно неубедительные.

После этого мои отношения с Хансом Фётшем некоторое время были весьма прохладными. Мы выбрали себе других закадычных друзей, а если случайно встречались на улице, то лишних слов не говорили. Но в юности все быстро забывается, в частности, у меня довольно рано появилась склонность как можно скорее забывать все неприятные события, и особенно — позорные для меня. А у Ханса Фётша, который вышел победителем в этом инциденте, вряд ли была причина долго на меня злиться.

Так что мир и согласие между нами довольно скоро были восстановлены. В те дни весь Берлин говорил о новом универсальном магазине, построенном на углу Лейпцигерштрассе и Лейпцигерплац, расхваливали «медвежий фонтан», «зимний сад», неслыханно роскошный «световой двор»; началось всеобщее паломничество, каждый стремился заглянуть туда, при первой возможности, за покупкой или просто так.

Мы, мальчишки, не отставали от всех. Правда, швейцарам универмага было дано указание не пропускать детей без взрослых, но мы всегда находили выход из положения. Приметив в вестибюле какую-нибудь толстую, не слишком расторопную на вид даму, мы быстро пристраивались к ней с боков и чинно шествовали через запретные врата, оживленно болтая друг с другом.

Войдя в универмаг, мы прочесывали его сверху донизу. Долгое время казалось, что нам не обойти его до конца. То и дело мы обнаруживали новые секции, попадали в совершенно неведомое. Пожалуй, мы испытывали при этом те же чувства, что Ливингстон и Стэнли, когда они продвигались в глубь Черного материка. Вокруг в изобилии лежали дивные сокровища. Мы грезили о них. Мы были ослеплены, как и весь Берлин, который в ту пору — подобная роскошь была еще в новинку — толпился в проходах и у прилавков: всех охватила лихорадочная страсть к приобретениям, какой-то бешеный покупательский зуд. Самый последний бедняк видел здесь перед собой все богатства мира, не рассеянные по магазинам, в которые он никогда бы не осмелился вой-

ти, а выставленные как бы специально для него в одном месте...

Даже после того, как мы изучили весь универмаг лучше третьего спряжения *попеге*¹, он еще долго оставался единственной целью наших прогулок. От Луипольдштрассе до Лейпцигерплац было довольно далеко, но этот путь был не лишен для нас очарований. Мы шли до Мартин-Лютер-штрассе через Лютцовплац и вдоль Ландверского канала, который мне особенно нравился с детства, или же направлялись по Клейст- и Бюловштрассе, где велось строительство подземной и надземной железной дороги и где без конца рыли землю и забивали сваи. Потом мы сворачивали на Потсдамерштрассе, также привлекавшую нас своими многочисленными витринами.

В универмаге у нас были любимые секции, прежде всего, разумеется, книжная и секция игрушек. Кроме того, я почему-то оказывал особое предпочтение сравнительно безлюдной секции постельных принадлежностей, где с удовольствием прохаживался. Мне нравился вид и запах перинного тика — красного, синего, полосатого, нравились большие, застекленные спереди ящики, наполненные легким постельным пером — от нежнейшего гагачьего пуха до грубо ободранных куриных перьев. Если же в это время запускали огромную машину для чистки пера и мне удавалось взглянуть в окошечко на вихрь кружащейся пыли и пляшущих перышек, то восторгу моему не было границ.

А Ханс Фётш облюбовал себе секцию продовольственных товаров. Жадно принимаясь своим веснушчатым — и зимой и летом — носом, он кружил по залу, с восхищением взирал на силачей мясников, жонглировавших четвертями коровьих и половинками свиных туш, смотрел, как швыряют здоровенные олени туши, а под конец останавливался у большого аквариума с живыми речными рыбами. Там двигались, лениво шевеля плавниками, голубые и желтые карпы, в то время как их смертельные враги, щуки, тихо и недвижно, не проявляя ни малейших агрессивных намерений, стояли над самым дном, где свились в клубок угри.

В довершение экскурсии мы еще обычно забегали в секцию часов, которая, к сожалению, была невелика.

¹ Вразумить, напомнить (лат.).

С благоговением мы прислушивались к многоголосому тиканью. Нам казалось, будто мы попали в мастерскую некоего мага-волшебника по имени Время, которое мы никогда не смогли постичь, которое с каждым днем неуловимо изменяло нас так, что мы все больше и больше не узнавали самих себя. Казалось, мы уже начинали чуть-чуть постигать жуткую тайну Времени, слушая крик кукушки из шварцвальдских ходиков или удар гонга напольных часов, но самое сильное впечатление было от часов, которые мы окрестили «точильными». Они помещались под стеклянным колпаком, и блестящий медный механизм работал у нас на глазах, вперед — назад, всегда только пол-оборота, совершенно беззвучно, зато на виду. Вот так я и представлял себе Время: назад — вперед, но, главное, — ни звука.

Стоило нам, однако, взглянуть на циферблат часов, как нередко обнаруживалось, что идти пешком домой уже слишком поздно. Тогда мы жертвовали последние десять пфеннигов и ехали трамваем. Домой мы вваливались сияющие и счастливые, но родителям не выдавали тайны наших экскурсий, опасаясь возможного запрета. Мы просто-напросто гуляли. Где? Да так...

Но вот наступил для нас день, когда чары универмага поблекли. Мы растерянно бродили по его этажам и недоумевали, почему то, что еще вчера казалось нам таким увлекательным, сегодня вдруг разонравилось. Мы посетили наши любимые «аттракционы»: никакого впечатления. Они показались нам просто скучными. У сказочных постелей появилось теперь поразительнейшее сходство с нашими домашними постелями, в которых мы спали каждую ночь без особого восторга. Сыр вонял, а карпы пробуждали воспоминание о «карпе по-польски», которого подавали на Новый год и который нам не очень-то нравился.

Открытие это было не из приятных, но еще неприятнее была проблема, которую предстояло решить: чем мы теперь займемся в свободное время? Мы так привыкли к праздншатанию, что одна мысль — торчать целые дни дома за книгами — ужасала нас. Нам не сиделось на месте.

Наконец Ханса Фётша осенила идея, которая пришла мне по вкусу:

— Давай пойдем прямо под липами к дворцу, я там давно не был. Посмотрим, дома ли ЕВ.

Мы покинули универмаг через выход на Фоссштрассе, и по Вильгельмштрассе, мимо мрачного министерства юстиции, вышли к Унтер-ден-Линден. Был пасмурный, но сухой ноябрьский день. Влажная опавшая листва на аллее под могучими липами прилипала к подошвам. Витрины роскошных магазинов нас не привлекали, мы были сыты роскошью.

Но когда мы приблизились к пассажи, Ханс Фётш предложил хотя бы взглянуть на вход в паноптикум Кастана. Эта выставка восковых фигур пользовалась в то время у берлинцев большим успехом. Фётш уже не раз побывал здесь, а мне еще никак не удавалось из-за отсутствия денег и строгого отцовского запрета. Дородный, в золотых галунах, швейцар произвел на меня сильнейшее впечатление; когда же я протиснулся сквозь толпу зевак к витрине, то совершенно обомлел от восторга.

Впереди, на фоне панорамы бранденбургского ландшафта с соснами и даже краешком лазурного озера, стоял стройный господин в черном сюртуке, брюках в серую полоску и с цилиндром на голове. Несколько высокомерное выражение его лица оживляли алые щечки, в глазной впадине сверкал монокль, а кудрявая светлокаштановая борода была столь безупречна, словно ее только что завил придворный парикмахер кайзера герр Габи.

В руке этот господин держал револьвер, а взгляд его глуповатых кукольных глаз был направлен на распростертого у его ног господина в аналогичной одежде и белой рубашке, на которой проступало коричневатокрасное пятно. Убитый, с правдоподобным до жути угасающим взором, являл собою тип бледного брюнета. Даже ребенку сразу было понятно, что это негодяй, а краснощекий блондин—герой, справедливо покаравший злодея. Внизу была надпись: «Мечь за оскорбленную честь», и здесь наверняка изображалась сцена из нередких в то время дуэлей, где обманутый супруг мстил за оскорбленную честь,— правда, не столько свою, сколько своей жены.

Как уже сказано, эта сцена необычайно поразила мое воображение; несмотря на маскообразность застывшей группы, я воспринимал ее как живую. Гротесковость изображения, хотя бы то, что убитый упирался ногами в ботинки своего противника (причина тут, конечно, в узком пространстве витрины), несколько мне

не мешала. Я очень долго стоял перед группой, рассматривая каждую деталь: валявшийся на «земле» револьвер убитого, пучок запыленного вереска, лежавший возле бледной щеки трупа, желтоватую восковую руку с длинными синеватыми восковыми ногтями.

Потом моя фантазия заработала, и я представил себе, что станет делать оставшийся в живых кукольный герой. Меня очень интересовало, что он сделает со своим револьвером. Бросит его здесь, рядом с другим револьвером, или понесет, прямо в руке, домой? И доберется ли он вообще до дома? Если он живет в Груневальде, а это под самым Берлином, то все равно на нем слишком заметная одежда, прохожие обратят внимание, даже если ему удастся спрятать оружие в фалды сюртука.

Я пристально вглядывался в детали панорамы, однако не обнаруживал ни малейшего намека на секундантов, на ожидающую карету... Но... захочет ли он вообще убежать? Может, он и не думает скрываться? Я слышал от отца, что такого рода убийство почти разрешено. За него «всего-навсего» сажают в крепость, а крепость не считалась бесчестьем. Я подумал, как бы я поступил на месте «кудрявого», но ничего не приходило в голову... Лучше всего, конечно, удрать, да побыстрее, в Гамбург и стать юнгой, но с моноклем и бородой вряд ли возьмут в юнги...

Я бы долго простоял у восковых фигур, но Ханс Фётш толкнул меня, и мы пошли дальше, в сторону дворца. По дороге мой приятель рассказал кое-что о паноптикуме. Там есть, оказывается, такие «дурацкие» штуки, как Белоснежка и семь гномов,— у нее длинные распущенные волосы со всякими стекляшками и побрякушками, а на платье розовые бантики; потом есть «комната ужасов» (за добавочную плату в десять пфеннигов) и анатомический музей (еще двадцать пять пфеннигов), где в точности видно, как по-разному устроены мужчины и женщины. Данное обстоятельство Ханс Фётш подчеркивал с некоторой настойчивостью, однако не встретил поддержки с моей стороны. Это меня (еще!) не интересовало. Тем не менее я решил, что в ближайшие же дни начну экономить, а потом все сразу истрачу на паноптикум Кастана.

Дворец был таким же мрачным и серым, как и ноябрьское небо над ним. Наш кайзер, которого мы, по

берлинскому обычаю, сокращенно называли ЕВ (Его Величество), опять куда-то уехал, на флагштоке его штандарт не развевался. Что ж, ничего удивительного тут не было. Не зря его прозвали «кайзером-туристом», ему никак не сиделось на месте. Гудок его автомобиля «Та-ту! Та-та!» отзывался в ушах его подданных эхом «То тут, то там!».

После недолгих колебаний мы решили двинуться в совершенно незнакомые нам края, башня Красного дворца — ратуши Берлина — манила нас. Следуя ее зову, мы побрели к Александерплац, откуда нас случайно занесло в район трущоб.

Пренсподняя, в которую мы вступили, вызвала у нас живейшее удивление, такого Берлина мы еще не видели. Вся жизнь здешних жителей, казалось, протекала на улице, кругом толпились люди в самых немыслимых одеяниях, спорили, ругались... Еврей-торговцы в кафтанах, с длинными сальными кудрями, перекинув через руку какое-то старье, шныряли в толпе и расхваливали на ухо то одному, то другому свой товар. У входа в подвал сидела толстая неопрятная женщина, зажав меж колен скулящего пуделя, и остригала ему зад садовыми ножницами.

И на каждом шагу торговцы. Торговцы горячими колбасками — булетками — из жирной конины (первый сорт, пяточок штука!), галстуками (все аристократы носят только мои!), мылом и духами. На углу дрались два парня, уже текла кровь, но окружавшие их зрители продолжали подзадоривать драчунов. Меня, сына юриста, прежде всего поразило полное отсутствие «синих», то есть полицейских.

Жизнь в этих узких переулках была, по-видимому, лишена всякого порядка и законности. До сих пор я твердо верил, что миропорядок, установленный на Луипольдштрассе, существовал везде, с небольшими отклонениями, обусловленными степенью богатства или бедности. Здесь же я увидел, как один из дравшихся парней бросился на поверженного противника, окровавленного, почти лишившегося чувств, и под одобрительные крики и гогот зевак начал колотить его головой о мостовую.

Нам стало жутко, и мы поспешили уйти. Но на следующем же углу нас остановил какой-то еврей в кафтане: вкрадчивым шепотом, на едва понятном немец-

ком языке он предложил продать ему наши зимние пальто:

— Два марка штук! Скажите ваш мамочка, шуба потерял...

И он тут же принялся расстегивать на мне пальто.

Я еле вырвался от него, и мы с Фётшем кинулись бежать. В этом была наша ошибка. Ибо мы сразу привлекли к себе внимание детворы. Какой-то верзила, на которого я налетел, крикнул:

— Эй, свихнулся, что ли?! — и тем самым дал сигнал к погоне.

Мы мчались со всех ног по лабиринту улочек и закоулков, не зная, когда же и где он кончится. Вслед за нами неслась целая орава с криками, смехом, улюлюканьем. Взрослый парень, привлеченный шумом, ударил Ханса Фётша, но тот рванулся дальше, только его шапка осталась на мостовой. Какая-то женщина, вязавшая чулок, спокойно вытащила спицу из вязанья и, когда я пробежал мимо, ткнула ею в меня с самым равнодушным видом. Я спасся лишь прыжком в сторону...

Я бежал изо всех сил, бежал так, как никогда еще не бегал. Я понял, что здесь меня не выручат ни звание, ни авторитет моего отца, который на Луипольдштрассе пользовался всеобщим уважением, не поможет и то, что я гимназист... Сейчас меня могут спасти только мои собственные ноги. Я! Я сам!

И ноги мчали меня, я бежал в полушаге за Хансом Фётшем, задыхался, в груди и в сердце колело, но я бежал... И хотя боль была реальная, хотя преследователи реально догоняли нас, тем не менее все почему-то казалось мне нереальным, словно в кошмарном сне. Да неужели это возможно: я, сын камергерихтсрата, бегу в столице империи, Берлине, чтобы спастись самому и спасти свою одежду! Остановись, подожди своих преследователей и объясни им все с улыбкой. Опасность существует лишь в книгах, у Карла Мая, Купера и Марриата, но не здесь, в Берлине, не для нас...

Слава богу, что я не поддался этому чувству нереальности и реально бежал все дальше и дальше, пока наконец Ханс Фётш случайно не увидел выхода из лабиринта трущоб. Вырвавшись на широкую улицу, где уже горели газовые фонари, мы перевели дух.

Прислонившись к стене в каком-то подъезде, мы с блаженством слушали, как все тише и тише бьется серд-

це, как спокойнее становится дыхание. После долгого молчания Ханс Фётш, глубоко вздохнув, сказал:

— Ну, знаешь!..

Я тут же отозвался:

— Никогда бы не подумал, что такое бывает! Да еще в Берлине!

— Это квартал трущоб,— пояснил Фётш.— Отец мне о нем рассказывал. Сюда взрослые даже днем не решаются заходить. Тут живут одни преступники.

Но в этом я, как сын юриста, должен был разбираться лучше отпрыска врача.

— Это исключено, Фётш! — сказал я.— Все преступники сразу попадают в тюрьму или на каторгу. Я спрошу отца, может ли быть такое вообще.

— Лучше не говори твоему отцу, что мы здесь были. Не то он устроит скандал, и нашим прогулкам конец!

— Я скажу, будто от кого-то слышал.

— Нет, лучше не надо,— предостерег меня Фётш.— А то ты все равно проболтаешься... И вообще, пора уже домой. Что на часах? Полседьмого! А мне в шесть надо быть дома!

— Мне тоже! Пошли быстрей!

— Пошли? — спросил он.— Да ты что? Сколько, думаешь, нам отсюда топать до дома? Самое меньшее часа два! И я дороги не знаю. Нет, поедем на трамвае, с пересадкой. Деньги есть?

— Есть еще.

— У меня тоже... Так... посмотрим, где трамвай... Вон там, за углом, кажется, идет какой-то. Ну и выпят нам сегодня. Раньше восьми не приедем!

— Я скажу просто, что был у вас, а ваши часы стояли.

— А я был у вас, так и запомни... Какой же это трамвай? Ханс, на нем можно доехать до Потсдамерплац! Давай садись!

Но я не сел.

— Подожди минутку,— сказал я Фётшу, вдруг страшно разволновавшись.— Не входи в него! Пожалуйста, не входи! Сядем на следующий! Пропустим этот, ну, пожалуйста!

Со мной начало твориться что-то странное. Едва я увидел приближающийся трамвай, совсем не похожий на «наши» трамваи в западной части города,— у него пло-

щадка водителя была опущена ниже, а впереди вагона сделана решетка-совок для того, чтобы подхватывать зазевавшихся пешеходов,— как в тот же миг я вспомнил одну заметку в газете, которую прочитал день или два назад. Где-то в Берлине, в его восточной или северной части, загорелся трамвай, один человек погиб, а несколько получили тяжелые ожоги. И вот когда к нам приблизился трамвайный вагон, я внезапно решил, что загорелся именно такой вагон, что все вагоны такого типа загораются и что нам ни в коем случае нельзя в них ехать... Бог знает, что это на меня вдруг накатило! Всегда я считался слабым, болезненным ребенком, но ни малейшего подобия навязчивой идеи у меня еще никто не замечал. Разумеется, я не сознавал этого и сейчас. Я был твердо убежден, что я прав, что сгорел вагон именно такой конструкции, что все вагоны этой конструкции могут загореться, что мне нельзя ехать на нем...

Как можно красноречивее и убедительнее я постарался втолковать все это Хансу Фётшу. Не обошлось, конечно, без преувеличений. Я уверял, будто сам читал в газете точное описание потерпевшего аварии трамвая, упомянул и про отличительные признаки: более низкую площадку для водителя и решетку-совок. Я утверждал даже, что газета предостерегала от езды в вагонах такого типа. Клялся, будто только что проехавший вагон был почти пустой. И в эти минуты я сам верил в то, что говорил. Я ничуть не сомневался, что читал об этом, читал собственными глазами. И никому на свете не удалось бы меня разубедить.

Моя вера была столь непоколебима, что я почти убедил Ханса Фётша. Он согласился обождать еще один трамвай, возможно, у того будет другая форма. Однако и следующий был с низкой площадкой для водителя и решеткой-совком. Мы пропустили его. Тут Ханса Фётша стали раздирать сомнения: что лучше — еще больше опоздать или рискнуть и поехать? Но когда и третий трамвай оказался той же конструкции, что и предыдущий, Фётш отпрянул от меня и вскочил в вагон.

— Здесь другие вагоны не ходят! — крикнул он мне с площадки. — Мне надо домой! Иди пешком вслед, не то проторчишь тут до полуночи!

Замерзший, голодный, я пропустил еще два или три трамвая: они были такими же. Тогда я решился после-

довать совету Фётша и идти вслед за трамваем, куда он не скроется из виду. Но потом передумал и дождался следующего. Все-таки топтать через полгорода очень утомительно, да и долго. И ни разу, ни на секунду мне не пришло в голову отказаться от своей нелепой затеи. Ведь на моих глазах все трамваи совершали регулярные рейсы и никакого несчастья с ними не приключалось, но этого я не сообразил. Я был целиком во власти моей навязчивой идеи. Даже очутившись в знакомых местах, увидев вагоны знакомой конструкции, я все равно не сел в трамвай. Я не смел ехать, не мог. И я шагал дальше...

Между тем мои родители встревожились не на шутку. Когда часы показали полседьмого, а потом семь, мама начала волноваться, но никому об этом пока не говорила. Когда же пробило полвосьмого и настала пора ужинать, мама была вынуждена поделиться своей тревогой с отцом. Отец сразу смекнул, что дело серьезное. При заведенном им дома распорядке, отличавшемся крайней пунктуальностью, когда опаздывать на две минуты считалось нарушением, на десять минут — проступком, а на четверть часа — преступлением, опоздания на полтора часа еще не бывало вообще! Это могло означать лишь, что стряслась какая-то беда...

Немедля разослали гонцов во все места, где я мог бы находиться: к Эльбе, Фётшам, Гарингхаузенам, Детлефсенам... (Телефон уже давно существовал, но его не было ни у нас, ни у наших знакомых, за исключением доктора Фётша.) Отец спустился вниз, переговорил с консьержем и попросил его не запираить сегодня подъезд после восьми часов. Затем вышел на улицу и стал прохаживаться по тротуару: от угла Мартин-Лютер-штрассе до угла Эйзенахерштрассе, туда и обратно.

Но вскоре терпение его иссякло, и он вернулся домой. Вся семья пребывала в растерянности, ужинать никто не садился. Мама чуть не плакала. Она уже вообразила, что я попал под автобус (простите, под омнибус!), под трамвай, что меня увезла карета «Скорой помощи»... Отец пытался ее утешить, правда, не очень уверенно.

Вернулись гонцы без вестей! Лишь служанка, побывавшая у Фётшей, сообщила, что их Ханса тоже еще нет. (Поскольку распорядок в семье Фётшей не отличался пунктуальностью, — а в доме врача и не могло быть ина-

че, — своевременная неявка сына не была воспринята столь трагически.)

В какой-то мере это известие успокоило моих родителей. Представить себе, что несчастье случилось сразу с двумя мальчишками, было куда труднее. Когда же прошло еще полчаса напрасного ожидания и часовая стрелка приблизилась к девяти, отец решил сходить к Фётшам. Там тоже начали беспокоиться. Оба главы семейств посоветовались и, ничего не сказав фрау Фётш, отправились в ближайший полицейский участок.

Утешительного они слышали мало. Пропать мальчишкам не так-то легко, заметил дежурный. Нет, никаких донесений о несчастных случаях с детьми не поступало. Пусть господа спокойно идут спать, такие случаи с пропажами обычно выясняются на следующее утро сами собой...

Мой отец был возмущен. Он безоговорочно верил в отеческую заботу государства (чьим образцовым и добросовестнейшим помощником являлся он на своем скромном посту), и у него болела душа, когда он, сталкиваясь с суровой действительностью, видел, что государство это бывало порой не отечески заботливым, но равнодушным, часто несправедливым, а иногда и грубым.

Но все это тотчас забылось, как только они вернулись в квартиру доктора. Ханс Фётш изволил прибыть! Мой отец теперь уж не сомневался, что и я дома. Однако его иллюзии рассеялись после первых же слов Ганса. Он, правда, пытался врать, мялся, изворачивался, но его отец был отнюдь не против телесных наказаний. Посыпались оплеухи; наконец оба родителя поняли, хотя и несколько смутно, что Ханс Фётш оставил меня где-то в северной части Берлина, возле квартала трущоб, и я почему-то отказывался ехать на трамвае...

— Ханс, иди-ка сюда, негодник! — многозначительно сказал доктор Фётш; при последовавшей расправе мой отец счел свое присутствие излишним.

Его ждала мама, а он должен был идти домой и сообщить ей печальную весть: я остался в самом дурном квартале Берлина; он должен был сказать ей, что ничего не остается делать, как только ждать...

И они ждали. Все было заброшено: и папки с делами, и штопка белья. Брата и сестер загнали в постели, но им было не до сна. Еще бы, потерялся брат, — ведь

это так интересно! Каждые пять минут заходила старая Минна и, шмыгая носом в передник, справлялась о новостях.

Часов около десяти раздался звонок, родители бросились в прихожую... но там оказался всего лишь консьерж, который спросил, запирать дверь подъезда или еще обождать. А то ему уже спать хочется. При виде серебряной монеты, очутившейся у него в ладони, сон его как рукой сняло.

Наконец, в половине одиннадцатого, снова позвонили. Отец сказал уныло:

— Это, наверное, опять консьерж. Дай ему две марки, Луиза...

Но тут из прихожей донесся мой голос...

Отец с мамой кинулись навстречу, схватили меня в охапку и потащили в комнату, к свету.

— Мальчик, ты откуда явился?.. Где ты был?.. Тебе известно, сколько сейчас времени?!

Под градом обрушившихся на меня вопросов, видя следы страха на лицах родителей, я, как последний дурак, с притворным равнодушием ляпнул:

— Я был у Ханса Фётша, а у них остановились часы!

Бац! — схлопотал я по левой щеке. Бац! — по правой.

— Ну погоди, я тебе покажу, как врать, негодный мальчишка! — вскричал отец, дав выход всем пережитым за вечер волнениям и тревогам.

Ищущим взглядом он обвел комнату. Ах, бедняга! Мой добрый отец не был готов для подобных экзекуций, как доктор Фётш, и не нашел ничего, кроме длинного черешневого чубука от своей любимой трубки. Но этим чубуком он как следует отодрал меня; в первый — и, надо думать, в последний — раз меня выпороли по всем правилам. То был крайне убедительный урок, которого я никогда не забывал. Да он мне наверняка и не повредил...

И все-таки многое в моей жизни, вероятно, сложилось бы иначе, если бы мой снисходительный отец не потерял в этот вечер терпения. Может быть, если бы надо мной не свершили столь короткий суд, я собрался бы с духом и рассказал отцу о своей идее насчет трамвая с предохранительной решеткой и, возможно, что он — хотя скорее всего подобную идею сочли бы тогда ребяческой причудой, — прислушался бы и сказал себе:

«За этим кроется нечто другое, и, к сожалению, посерьезнее, чем непунктуальность и вранье».

Вот так я всю свою юность, да и не один год потом, периодически страдал навязчивыми идеями, но не мог тогда поговорить об этом ни с одним человеком. Случай был упущен навсегда из-за той вечерней порки.

Иной раз эти идеи были сравнительно безобидными. Например, улегшись в постель, я долго не мог заснуть, раздумывая: поставил я точку в конце последней фразы письменного упражнения или нет? В результате я поднимался с постели и заглядывал в тетрадь: разумеется, точка была на месте.

Правда, иногда идеи эти касались вещей и более дурных.

А о третьем тяжком поражении, которое мне довелось испытать благодаря дружбе с Хансом Фётшем, я расскажу в следующей главе.

ШКОЛЯРНЯ

В школе, или в школярне, как мы ее называли, я играл в то время весьма незавидную роль. Ходил я в гимназию принца Генриха на Груневальдштрассе, считавшуюся тогда гимназией высшего разряда, а под этим следует понимать, что там протирали штаны за партами главным образом сыновья офицеров и чиновников — потомственных дворян, а также мальчики из богатых семей. Мои же родители были людьми необычайно бережливыми, поэтому, когда мне случалось протереть штаны, мама не покупала новые, а накладывала на зияющие дыры крепкие заплатки. Но поскольку у нее часто не было подходящего материала, то без особых колебаний в дело шли инородные лоскуты. С тех пор прошло добрых тридцать пять лет, но я, как сейчас, вижу перед собой эти злосчастные штаны: темно-синие, фирмы «Блейль», с красующимися на них серыми заплатками.

О, сколько издевательств и насмешек претерпел я из-за этих штанов! Дразнили меня, разумеется, не «знатные» одноклассники. Те благородно не замечали дефекта, но сразу же перестали замечать и меня самого. Если я их о чем-либо спрашивал, они отвечали сухо, с пренебрежением и надменностью, что меня глубоко огорчало и возмущало. Зато другие, те, что из породы не

волков, а койотов,— как откровенно и нагло они надомной издевались! Был среди них верзила по фамилии Фридеман — ростом выше меня на голову, на уроках отличался полнейшим невежеством, трижды оставался на второй год, но кое-что эта каналья умела превосходить: мучить меня!

Когда наступала большая перемена, которую мы были обязаны проводить на школьном дворе, верзила Фридеман, пользуясь тем, что я был намного слабее, затаскивал меня в какой-нибудь угол, более или менее скрытый от глаз надзиравшего учителя, и заводил разговор на тему штопки и шитья. Вскоре мы оказывались в центре полукруга слушателей, «аристократы», естественно, держались на заднем плане. Особенно меткие остроты встречались хохотом и аплодисментами, вдохновлявшими моего истязателя на новые подвиги.

Мне никогда не забыть, как я стоял, зажатый в каменный угол, бледный, хилый, доведенный до отчаяния. Все школяры наслаждались пятнадцатиминутной свободой, для меня же она была мукой. Каждый раз я вздыхал с облегчением, едва раздавался звонок на занятия. Я пытался хитростью ускользнуть от своих мучителей. Но, видно, не таким уж я был хитрецом! Пробовал в начале большой перемены прятаться в классе, но самое большее через три минуты меня выуживал оттуда какой-нибудь учитель и со строгим внушением отправлял во двор, так как нам полагалось эти четверть часа дышать свежим воздухом. Пробовал запирается в уборной, но мой мучитель вскоре меня отыскивал. Он барабанил в дверь до тех пор, пока я не сдавался и не поступал в его распоряжение.

О, как я ненавидел этого дылду Фридемана, его белое прыщавое лицо и наглые бесцветные глазки за очками в никелевой оправе! Когда он своим гнусавым высокомерным голосом принимался расспрашивать меня о моих взглядах на починку одежды! Как я выбираю цвет заплатки, не кажется ли мне, что красный цвет самый чудесный, нет, не кажется? А может быть, зеленый с красным, справа красную заплатку, слева зеленую, и спереди — желтую?.. (Одобрительный рев слушателей.) Ну, а обувь мне, вероятно, чинит папаша — если судить по латке на правом башмаке, то так оно и должно быть. Тут уж ничего не попишешь, бывают семьи целые и бывают залатанные. Хорошо, что в дан-

ной гимназии есть представитель лоскутных семейств, один экземпляр в качестве наглядного пособия.

На все эти плоские и злые шутки я никогда, ни единым словом не отвечал своему мучителю. Я лишь пристально смотрел на него, смотрел на обступивших нас слушателей, с отчаянием в душе и все-таки надеясь, что явится какой-нибудь избавитель. Но ни-разу, ни один из мальчиков не заступился за меня. Со всей жестокостью подростков они допускали это бесконечное издевательство, поощряли его своим присутствием и неослабевающим интересом.

Ведь тогда существовали весьма определенные понятия о том, что считается приличным. И носить в гимназии принца Генриха заплатанные штаны как раз считалось неприличным. Выходит, правильно, что мне это хотели втолковать! А мама не проявляла никакого сочувствия к моим жалобам.

— Скажи своим мальчишкам, — говорила она, — что у тебя еще есть брат и две сестры и что мы вынуждены жить очень экономно. Берлин ужасно дорогой, отец регулярно откладывает десять процентов от своего жалованья на черный день, и он от этого не отступится. Ведь все достанется вам, детям. Нет, Ханс, ты одет вполне прилично и чисто, ну куда это годится, если я буду каждый раз покупать тебе новые штаны вместо потертых?..

С одной стороны, я понимал ее, а с другой — отказывался понимать. Я считал, что раз мои родители не в состоянии одевать меня, как одевают других мальчиков, то пусть тогда не посылают в такую шикарную гимназию. Я пытался также объяснить маме, правда, намеками, как надо мной издеваются. Но она отнеслась к этому легко, она совершенно меня не понимала.

— Просто ребячьи выходки, — сказала мама. — Через неделю им надоест, и они придумают что-нибудь новое. А ты слишком обидчивый, мой мальчик, ты совсем не понимаешь шуток. Тебе надо привыкнуть к этому, ничего, кроме пользы, для тебя не будет.

Но я к этому не привык, и никто не придумал чего-либо нового, чем мог бы отвести свою душу Фридеман. Я по-прежнему оставался мишенью его безжалостных насмешек. Он изобретал все новые и новые варианты, тут его голова работала безотказно. Пока в одну из перемен я в отчаянии не кинулся на этого верзилу: под-

прыгнув, я сорвал с него очки и расцарапал ему лицо. Мое нападение было для него столь неожиданным, что он упал. Я сидел на нем верхом и с чувством необычайного удовлетворения колотил его, а он, здоровенный парень, даже ни разу не осмелился ударить меня, слабака!

Да, вот тут-то и выяснилось, что язва Фридеман отъявленный трус. Весь класс был тому свидетелем, и с этого момента ни Фридемана, ни его насмешек, можно считать, больше не существовало. Через несколько дней, оправившись после моей атаки, он сделал было еще одну-единственную попытку заговорить о моих заплатах, но его сразу же одернули:

— Ты, Фридеман, заткнись! С этим покончено раз и навсегда!

Я добился, что к моим заплатам притерпелись, но достиг этим немногого. По-прежнему я оставался отверженным. На переменах никто со мной не общался, никто не желал быть моим другом. Так, постепенно меня все больше и больше охватывало глубочайшее уныние, которое плохо отражалось на школьных успехах. Должен сказать, что этому способствовало еще одно печальное обстоятельство: в нашей гимназии тогда подвизались несколько учителей, которые были чем угодно, только не педагогами. На мой жалкий, запуганный вид в конце концов обратил бы внимание любой мало-мальски наблюдательный человек, но только не эти наставники подрастающего поколения.

Вот, например, наш учитель немецкого языка; этот молодой еще господин, лицо которого украшало множество шрамов — следы студенческих дуэлей, — оказывал мне некоторое предпочтение. Однако проявлял он его весьма неприятным для меня образом. Поскольку я принадлежал к числу самых плохих учеников в классе, меня посадили на переднюю парту, напротив учительской кафедры. Герр Грэбер — так звали этого учителя — не любил вести урок с кафедры, возвышаясь эдаким божеством над учениками. Он предпочитал находиться в их гуще, расхаживать в проходах между партами, но больше всего ему нравилось стоять возле меня. И в то время, как он с этого места бойко, звучным голосом вел урок, его пальцы непрерывно были заняты моей шевелюрой...

Хотя мне к тому времени уже стукнуло лет одиннадцать или двенадцать, я все еще носил длинную ше-

велюру. Несмотря на все мои просьбы, мама никак не решалась отдать на произвол парикмахерских ножниц мои белокурые волосы. Светлые кудри почти достигали плеч, на лбу же у меня было нечто, официально именуемое челкой, а на языке моих недоброжелательных соучеников — «махрой». Эта челка, или махра, каким-то непостижимым образом притягивала к себе пальцы герра Грэбера. В течение урока учительские пальцы были заняты лишь тем, что сплетали из моей махры маленькие, тугие, торчавшие во все стороны косички. Правда, в этом было одно неоцененное преимущество: герр Грэбер никогда ни о чем меня не спрашивал. По немецкому языку мне ничего не задавали, и тем не менее я постоянно получал хорошие оценки. Но когда в конце урока герр Грэбер заставлял меня подняться и повернуться лицом к классу, когда раздавался неминуемый, взрыв хохота, единица по немецкому казалась мне желаннее этого веселья.

Даже в том удрученнейшем состоянии, в котором я тогда пребывал, мне было совершенно ясно, что герр Грэбер проделывал все это без какого-либо злого умысла. Он просто баловался, хотя тут, пожалуй, примешивалась изрядная доля нервозности. Для него это было всего лишь забавой, и он наверняка очень бы удивился, услышав, что я такие шутки отнюдь не находил забавными.

Гораздо худшего мнения я был о профессоре Олеариусе, нашем классном наставнике, знакомившем нас с тайнами латинского языка. Это был долговязый, костлявый человек с худым лицом, черными усами и жгучими черными глазами. Он был филологом-классиком чистейшей воды. Во всем мире для него существовали только латынь и древнегреческий, и ученика, оказавшегося неспособным к этим языкам, он ненавидел лютой ненавистью, словно тот нанес учителю личное оскорбление. У него была дьявольски язвительная манера вышучивать слабейших учеников, манера, которая, надеюсь, в нынешние времена исчезла.

— Ну-с,— говорил он,— давайте-ка вызовем нашего простачка. Хотя он ничего не знает вообще и не будет ничего знать и на сей раз, он послужит всем нам устрашающим примером.— Или: — Эх, Фаллада, Фаллада, сидеть тебе год еще надо! — Или: — Вот где ви-

сишь ты, конь мой Фаллада! Если бы твой батюшка знал, за что он платит деньги!

При столь ободряющих вступлениях у меня, естественно, улетучивались последние остатки знаний, и я выглядел настоящим дурачком. Чем дольше он меня спрашивал в этой издевательской манере, тем глубже я увязал в несусветной чепухе, которую молол в ответ, и, очевидно, являл собой поистине жалкое зрелище. Так что профессор Олеариус с известным правом мог сказать:

— Вы только полюбуйтесь на него! Что ему здесь, в гимназии, собственно, надо,— для меня навсегда останется загадкой!— И со всей важностью ученого глупца добавлял:— Начальная школа для неимущих, вот что было бы для него самым подходящим!

При этих словах из моих глаз уже лились слезы. В общем, на уроках профессора Олеариуса я приучился реветь. Иного средства защиты от его колкостей и чванства я не придумал. Как только он меня вызывал, я тотчас принимался реветь. Ни на один его вопрос я больше и не пытался отвечать. Рано или поздно, он все равно доведет меня до слез, так не лучше ли начать реветь сразу! Дошло до того, что в классе, перед уроком латыни, заключали пари: буду я сегодня реветь или нет. Меня подбадривали, уговаривали:

— Ну сделай нам сегодня одолжение, единственный раз, не реви, пожалуйста! Ну возьми себя хоть раз в руки!

Но как я ни старался, сдержать слез я не мог. В довершение моих мук профессор Олеариус придумал вызывать меня к доске. Так как из-за плача я не мог говорить, то мне было велено писать ответы мелом. И если вместо *amavissem*¹ я писал *amatus essem*², профессор сгибом пальца стучал мне по голове, приговаривая:

— Кто постучится, тому отворится!

Это постукивание, которое не прекращалось до тех пор, пока на доске не появлялся правильный ответ, причиняло мне сильную боль. В нашей «шикарной» гимназии учителям строго-настрого запретили бить школьников; ходил слух об одном профессоре, который ударил ученика по лицу и при этом слегка ранил его

¹ Я бы любил (лат.).

² Меня бы любили (лат.).

своим перстнем; так этого учителя немедленно отстранили от работы в школах. То, что, как бы в шутку, делал профессор Олеариус, стуча своей костяшкой по головам, отнюдь не считалось телесным наказанием, хотя на самом деле было таковым.

Несколько лет спустя случаю было угодно, чтобы я встретился с профессором на площадке трамвая. Он меня сразу узнал, я тоже узнал его сразу, и во мне тотчас вспыхнула старая ненависть. Я давно уже ходил в другую гимназию и был успевающим шестиклассником.

Ничуть не стесняясь пассажиров, профессор Олеариус с прежней надменностью обратился ко мне:

— Ну-с, достойный сожаления Фаллада... В каком же учебно-воспитательном заведении ты теперь доводишь до могилы несчастных учителей?

Но перед ним стоял не прежний запуганный гимназист из второго или третьего класса. За прошедшие годы я убедился, что я не глупее других и наверняка умнее этого старого буквоеда, для которого весь мир состоял из латинских и греческих глаголов. И я громко отчеканил:

— Я вас не знаю, а если бы и знал, то никогда бы не поздоровался с таким человеком, как вы!

Сказал, увидел, как он побелел от публичного оскорбления, и прыгнул с трамвая; душа моя ликovala: пусть по-школярски, но отомстил!

Но тогда (в школярне) о мести нечего было и думать. Каждое утро, едва я просыпался, школярня с учителями, товарищами и уроками надвигалась на меня каким-то кошмаром. Когда представлялась возможность прогулять, я использовал ее. Хворал я то и дело, и родители пребывали в постоянном страхе за мое здоровье, так что мне не составляло труда частенько оставаться дома. Если вид у меня был слишком здоровый, а грядущий день готовил неодолимые трудности, я пробирался в кладовую и выпивал несколько глотков из бутылки с уксусом. После этого я становился бледным как мертвец, и мама сама отправляла меня в постель.

Я лежал часами, днями и читал, читал. Мне ничуть не надоедало перечитывать Марриата, Герштейкера и тайком одолженного Карла Мая. Чем несноснее казалась мне моя будничная жизнь, тем настоятельнее

искал я убежища у героев приключенческих книг. С ними я плавал по морям, выдерживал сильнейшие бури, качался на рее, «беря рифы» (меня сдуло бы при малейшем порыве ветра!), плыл к необитаемому острову (я не умел плавать) и жил там Робинзоном, вдали от латаных штанов, заплетенных косичек и рева на уроках латыни.

От этих грез был всего один шаг до замысла, поначалу невинного,—сбежать отсюда, от всех бед и несчастий, сделаться настоящим юнгой, пережить всамделишное кораблекрушение и высадиться на остров. Чем чаще я возвращался к этой идее, тем легче мне казалось ее осуществление.

Сначала лишь намеками, потом уже всерьез, я говорил об этом с Хансом Фётшем и, к своему удивлению, встретил у него сочувствие. Хансу Фётшу тоже стало невмоготу терпеть несправедливости жизни. Правда, в школе, по его словам, у него не встречалось затруднений. Но зато он постоянно ссорился с отцом, который угощал своего сына оплеухами и розгами в большей мере, чем тот считал необходимым, и вообще отец был очень несправедливым, ну просто каким-то бешеным.

Постепенно наши планы приобретали все более четкие формы. Мы решили уехать в Гамбург и там наняться юнгами на какой-нибудь барк или бриг. Труднее всего, нам казалось, добраться до Гамбурга. Ну, а когда доберемся, то все пойдет гладко. Судя по тому, что мы вычитали, юнги из хороших семей пользуются во всех портах невероятным спросом.

Мы узнали, что поезд на Гамбург отправляется в тот же утренний час, когда нам надо являться в школу, стало быть, тут все оказалось в порядке. С заготовкой дорожного провианта трудностей также не предвиделось, учитывая запасы съестного в домашних кладовках. Заблаговременно мы начали таскать оттуда всевозможные консервы, возбудив тем самым сильное беспокойство и гнусные подозрения в семейном кругу...

Сложнее всего оказалось раздобыть деньги. По нашим расчетам, нам могло понадобиться самое меньшее двадцать марок, но ведь это была чудовищная сумма, не доступная ни одному школьнику. Ханс Фётш начал заниматься ревизией карманов отцовского пальто.

Я же аккуратно заглядывал в мамин кошелек. Но наскребли мы только жалкие гроши — за три недели мелких хищений не набралось и двух марок.

Тогда я отважился рискнуть по-крупному. Я знал, что деньги на ежемесячные расходы отец хранил в среднем ящике своего письменного стола: мелочь и серебро — в открытой проволочной шкатулке, а золотые монеты — в двух симпатичных белых мешочках, на которых Фитэ крестиками вышила «Десять марок» и «Двадцать марок». Ящик этот был всегда заперт, но у нас дома было столько шкафов и комодов, в которых торчали ключи, что я не сомневался: какой-нибудь из них да подойдет.

Рано утром, когда все еще спали, я на цыпочках двинулся в поход по квартире, пробуя ключи. Наконец один ключ, к моему несчастью, действительно подошел. Передо мной лежала открытая шкатулка, а в белых мешочках приятно позвякивало. После долгих размышлений я решил взять одну десятимарковую и одну двадцатимарковую монеты. Я рассудил так: если из каждого мешочка взять по одному золотому, то отцу будет труднее заметить недостачу, чем если бы в одном мешочке не хватило сразу двух золотых. И хотя мы с Хансом Фётшем твердо условились, что по прибытии в Гамбург тут же, как только наймемся на судно, отошлем отцу деньги из нашего жалованья, мое сердце встревоженно колотилось во время этого принудительного займа. Настроение у меня было неважное, и за завтраком я сидел молча, опустив глаза.

Еще по дороге в школу мне удалось поймать Ханса Фётша и сообщить ему, что моя операция осуществилась успешно. Ввиду отягчающих обстоятельств, которые теперь возникли, всякая дальнейшая отсрочка нам казалась невозможной, и побег был назначен на следующее утро.

Во второй половине дня у нас было полно дел. С истинным наслаждением мы выбросили учебники из школьных ранцев, набили их консервами и сунули какое-то белье. Никакие домашние уроки, естественно, не готовились, мы сожгли свои корабли. У булочника накупили булочек, а у мясника — ливерной колбасы; нам казалось, что это самая подходящая еда в дороге. Деньги мы поделили: Ханс Фётш получил золотую десятку, двадцатку я оставил себе. Расстались мы

поздно вечером, оба невероятно возбужденные. Встречу назначили на половину восьмого утра.

Не помню, сколько я спал в эту ночь. Во всяком случае, мне снились бриги, летевшие с надутыми ветром белыми парусами.

Утром вместе со всеми сел за стол и отец; это было что-то неожиданное, ведь обычно он завтракал не раньше десяти — половины одиннадцатого, так как часто работал до двух-трех часов ночи, пользуясь наступившей дома тишиной. Однако я не обратил внимания ни на эту странную перемену в его привычках, ни на взгляды, которые он порой бросал на меня. Я был слишком занят собой, своими планами и надеждами. Наконец-то!

Незадолго до полвосьмого хватаю свой непривычно тяжелый ранец и мчусь к дому, где живут Фётши. Жду пять минут, десять, от волнения начинаю дрожать, как в лихорадке. Неужели что-то стряслось, или Ханс Фётш просто копается по своему обыкновению?..

Наконец он появился, но... его вела за руку мамаша! Каково мне было это видеть?! Остолбенев от ужаса, я смотрел на своего бледного, заревавшего друга, на строгое лицо его матери, которая отнюдь не по-матерински тащила сына за собой, словно арестанта. Они прошли мимо меня совсем близко, почти рядом. Ханс не осмелился поднять глаза, зато его мамаша метнула на меня полный возмущения взгляд и прошипела:

— Ах ты, негодяй!

Они прошагали дальше по Луипольдштрассе и вскоре скрылись за углом. Я был уничтожен. Итак, наш план все-таки разоблачили, и я осужден снова сидеть за ненавистой партией, сносить насмешки и оскорбления! Прощай, вольное матросское житье! Прощайте, белые паруса, весело мчащие меня по волнам, и дельфины, резвящиеся вокруг корабля! Прощайте, пальмы и солнечные острова южных морей! Но как же мне быть?! Что мне теперь делать?.. Не могу же я вернуться домой, поменять содержимое ранца и, как ни в чем не бывало, отправиться в школярню? Ведь я даже не приготовил уроков.

Я стоял в полной растерянности, не зная, что придумать, как вдруг мне на плечо легла рука отца, который, оказывается, все это время наблюдал за мной из-за афишной тумбы.

— Значит, это действительно правда, что мне сообщила фрау Фётш,— сказал он с грустью,— и вы в самом деле собирались удрать? Да еще с украденными деньгами!.. Идем, Ханс, ты сейчас расскажешь маме и мне, как наш сын мог докатиться до такого. Ведь ты совершил кражу, притом кражу с отягчающими обстоятельствами, надеюсь, разница тебе известна! И вдобавок совратил Ханса Фётша!

Мы поднялись к себе наверх. Мама с испуганным лицом встретила меня. Она прошла вперед, в отцовский кабинет, дверь за нами закрылась, и я предстал перед моими родителями как подсудимый. Никакая ложь, никакие отрицания теперь не помогут, против меня было слишком много доказательств, ибо Ханс Фётш во всем признался.

Накануне вечером его матери случайно попался в руки школьный ранец сына, попался как раз потому, что Ханс положил его не на обычное место; тяжесть ранца озадачила ее, ну, а там было недалеко и до признания. К сожалению, Ханс Фётш не оказался надежным товарищем, он прикинулся невинным младенцем, поддавшимся соблазну, и заклеил должным образом мою кражу, умолчав, разумеется, о собственном воровстве. Фётши немедленно поспешили к моим родителям и нажаловались на меня. Своему сыну они запретили впредь всякое общение со мной.

Все это, конечно, глубоко опечалило отца и маму. Отец больше всего был огорчен фактом воровства: как судья, он воспринял его гораздо серьезнее, чем это сделал бы какой-нибудь другой отец, не юрист. Мама не могла понять, почему мне, окруженному лаской и заботой, жизнь в родительском доме опостылела. Особенно оскорбило ее то, что сын не проявил к ней должного доверия.

К сожалению, я никогда, с самого раннего детства, не умел высказывать все, что было у меня на душе. Как я не смог никому, даже лучшему другу Хансу Фётшу, рассказать подробно о своих школьных мытарствах, так и в этот час вынужденных признаний я был неспособен выдать из себя что-либо еще, кроме нескольких жалких, маловразумительных фраз. То, что они от меня услышали, представлялось им совершенно неудовлетворительным, ничуть не оправдывающим столь безрассудного поступка.

Тем не менее отец, хорошо зная, что любой следователь обязан собирать материал, свидетельствующий не только против, но и в пользу обвиняемого, счел своим долгом прежде всего выяснить в школе, что там, собственно, со мной происходит. А меня до поры до времени заперли в комнате, вдоволь снабдив школьными уроками.

Профессор Олеариус, надо полагать, с немалым удовольствием выслушал грустное сообщение моего отца. Значит, вот до чего можно докатиться, если не желаешь учить латинских глаголов! Корабельный юнга — воистину!.. И он обрисовал бедняге отцу в самых черных красках наклонности, характер и способности его сына.

— Должен вам посоветовать, многоуважаемый герр камергерихтсрат, — заключил профессор Олеариус, торжествуя, — немедленно забрать вашего сына из гимназии. Хотя бы во избежание угрозы исключения, ибо я чувствую себя обязанным доложить педагогической коллегии о вашем сообщении. Что же касается дальнейшего образования вашего сына, то наиболее доступным для него я считаю, ну, скажем, народное училище, а еще правильнее, пожалуй, было бы поместить его в заведение для умственно отсталых детей. Это вечное хныканье, эта неспособность выучить даже простейшие латинские формы, мне кажется, свидетельствуют об известном слабоумии.

Отец был склонен рассматривать мои проступки в мрачном, очень мрачном свете. Но когда он услышал эти злобные преувеличения, его отцовское сердце возмутилось. Он полагал, что своего-то сына он знает лучше. И если учитель так судит о его сыне, то это говорит не против сына, а против учителя.

Весьма раздраженным тоном отец заявил, что, разумеется, сейчас же подаст просьбу об отчислении сына из этой гимназии, но для того лишь, чтобы немедленно перевести его в другую гимназию. Там, вероятно, педагоги благоразумнее.

С непоколебимой уверенностью профессор Олеариус утверждал, что меня и там ждет полный провал, ибо я неизлечимо бездарен...

Оба расстались несколько возбужденные, думая друг о друге не лучшим образом. Профессор Олеариус сожалел о слепой родительской любви некоторых

папаш, а отец — о недомыслии некоторых «школьных монархов». Все же благодаря злым наговорам профессора Олеариуса отец вернулся домой в более милостивом расположении духа, нежели я предполагал. Кража, конечно, по-прежнему оставалась очень темным пятном, но то отчаяние, до которого меня, несомненно, довела черствость бестолкового учителя, извиняло многое.

В тот же день меня определили в гимназию имени Бисмарка в Вильмерсдорфе. Отец осторожно обронил несколько слов о моей робости и запуганности. И эти слова упали на хорошую почву. Первое время новые учителя оставляли меня в покое, но когда потом начали постепенно втягивать меня в игру вопросов и ответов, то делалось это с такой осторожностью и добротой, что мою робость как рукой сняло, и я отвечал все, что знал.

Ну, а поскольку мои новые одноклассники не подозревали, что в прежнем классе я был козлом отпущения, и поскольку в гимназии Бисмарка не существовало никаких предрассудков относительно залатанных штанов, то я, бедный, слабоумный мальчик, вскоре оказался на хорошем счету и в списке переведенных в следующий класс был шестым среди тридцати двух.

А мой добрейший отец, чье сердце никогда не ведало чувства мести, заготовил нотариально заверенную копию моего школьного свидетельства об успехах и поведении и послал его профессору Олеариусу с небольшой припиской: что скажет теперь господин профессор о моих способностях? Не согласится ли он с тем, что заблуждался в своих суждениях?

Разумеется, никакого ответа не последовало.

На Луипольдштрассе я иногда встречал Ханса Фётша. Но мы с ним ни разу не обменялись ни единым словом, мы даже не решались взглянуть друг другу в глаза...

СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Отец мой был одержим одной-единственной страстью: юриспруденцией. Судейская профессия казалась ему самой благородной и самой ответственной из всех. Отец его тоже был юристом, и отец его отца, и так далее; насколько подсказывала память и гласили семей-

ные предания, в нашем роду старший сын всегда был юристом; по маминой же линии преобладал пасторский сан. Немудрено, что отцу очень хотелось, чтобы и я, как старший сын, пошел по его стопам.

Довольно рано отец поведал мне, как он, в ту пору еще воспитанник знаменитейшей «Шульпфорта», пережил дни, когда был основан германский рейх и учрежден рейхсгерихт. Как у него еще тогда возникло не только желание, но и твердое намерение стать членом рейхсгерихта, как под влиянием этого решения он построил всю свою дальнейшую жизнь. Когда же я упрекнул его,— в то время отец уже казался мне очень старым,— что все-таки он еще не рейхсгерихтсрат, а только камергерихтсрат, отец, ничуть не обидевшись, улыбнулся уголками глаз и сказал:

— Потерпи еще годика три-четыре, сын мой, и ты дождешься этого. Шансы у меня наилучшие, а посему я полагаю, что их взвесят с должным вниманием.

И он оказался прав: мне не исполнилось еще и пятнадцати, как отец стал рейхсгерихтсратом.

Для меня было непостижимо, как этот слабый, то и дело хворавший человек мог с таким упорством держиваться выработанного им в юности плана. Почти сорок лет стремиться к одной-единственной цели, пусть и осуществимой,— мне это казалось не только невероятным, но и просто скучным. Я постоянно искал что-нибудь новое, с каждой переменной настроения — а они были часты — у меня возникали иные желания и мысли, но надолго их не хватало...

Конечно, было время, когда я по утрам — все в доме еще спали — пробирался в отцовский кабинет и листал папки с делами. Но меня интересовала в них не столько юридическая сторона, сколько человеческая. С бьющимся сердцем я читал один за другим протоколы допросов, в которых обвиняемый поначалу отрицал, увиливал, клялся в своей невиновности. Пока наконец в каком-то протоколе, зачастую совсем внезапно, прорывалось признание правды — еще сопровождаемой отговорками, приукрашенной ложью, — но все-таки правды!..

Потом я долго размышлял: что произошло в самом арестанте за тот короткий срок между предпоследним протоколом, где он еще называл свидетелей своего алиби, божился в полной своей невиновности, и тем

последним, где он сам разрушал с таким трудом построенную им систему защиты? Я уже тогда был скептиком и не верил ни в силу совести, ни в раскаяние, ни в увещевания тюремного священника. Возможно, в том или ином деле нечто подобное могло послужить толчком к признанию, но только в отдельных случаях. А вообще это, наверное, происходило гораздо таинственнее, глубже, бессонной ночью в сокровенных лабиринтах души.

Да, вот в таком направлении интересовала меня юриспруденция, но это было совсем не то, чего хотел от меня отец. Он старался заинтересовать меня другой ее стороной — не тем, как человек дошел до преступления, а тем, что теперь делать с преступником судьбе,— вот чем я должен был заниматься! Когда отец обедал вместе с нами дома, что бывало не каждый день, поскольку заседания уголовной палаты частенько длились с утра до позднего вечера, он любил задавать нам, детям, так называемые «ученые вопросы», на которых нам надлежало оттачивать нашу сообразительность. Эти вопросы были своего рода юридическими загадками с хитроумными ловушками — если внимательно не выслушаешь и не поразмыслишь хорошенько, можешь здорово осрамиться.

Отец был вообще блестящим рассказчиком (в духе Фонтане) и когда хотел что-нибудь преподать нам, детям, то делал это без каких-либо нудных поучений. Слушать его доставляло огромное удовольствие. В двух-трех фразах он объяснял нам, например, суть уголовного законоположения о мелких хищениях — так называемом «кусочничестве»: того, кто стащит продукты питания или деликатесы и тотчас употребит их, наказывают, как за легкую провинность; но тот, кто возьмет целый ящик апельсинов вместо трех штук, совершит проступок, который карается тюремным заключением.

Заложив таким образом фундамент, отец сообщал далее, что однажды ранним утром в некий городок вошел некий бродяга; его мучила жажда того постыдного свойства, которую нельзя утолить из городского фонтана.

Бродяга проходит мимо кафе; все окна раскрыты настежь; женщины убирают помещение, чистят, моют. На мраморном столике возле окна стоит бутылка,

в ней, судя по этикетке, коньяк, и его там еще немало. Бродяга стремительно хватает бутылку, скрывается с ней в ближайшей темной подворотне и жадно прикладывается к горлышку. Но тут же с проклятиями выплевывает: этикетка обманула его, в бутылке оказался не коньяк, а керосин!

— Ну-с, дети мои, проявите сообразительность! Было ли это мелким хищением или нет? Какой приговор должен вынести судья? С одной стороны, керосин не соответствует букве параграфа, ибо эта жидкость не является ни продуктом питания, ни деликатесом; но с другой, бродяга не схватил бы бутылку, если бы его не соблазнила этикетка с надписью «Коньяк». Ваше мнение?

И вот мы сидели с задумчивыми лицами и старались превзойти друг друга в сообразительности. Я был очень горд, когда отец согласился со мной, что это все-таки мелкое хищение, поскольку решающим является умысел виновного. Я был горд, несмотря на то, что находил эту игру в загадки-отгадки, где приходилось жонглировать буквой параграфа, несколько глуповатой.

Я не мог забыть слов, сказанных одним моим учителем: профессия юриста — единственная из всех профессий, которая вообще не создает новых ценностей, которая совершенно непродуктивна. Судья всю свою жизнь довольствуется тем, что судит прошлое: несет к могиле то, что уже мертво. Он уводит прошлое в давным-давно прошедшее...

Тогда я был слишком молод, чтобы понять, сколь несправедлива и неверна такая оценка судейской профессии. Ибо право не есть нечто мертвое, застывшее, оно изменяется вместе с народом, живет его жизнью. Оно занемогает, если занемог народ, и может достигнуть наивысшего расцвета как в годы тяжелых испытаний, так и в счастливые дни. Право — это нечто живое, и во все времена, особенно у нашего народа, бывали судьи, которые одним-единственным решением кончали с пережитками прошлого и тем самым раскрывали перед своим народом перспективы новой жизни.

Я был всего лишь глупым мальчишкой, а главное, не был избавлен от присущей детям склонности мечтать о любой профессии, кроме отцовской. И хотя я никогда не заговаривал с отцом на подобную тему, он

уже чувствовал, что его надежды на продолжение юридической династии в моем лице рушатся, как картонный домик. Но именно поэтому он не оставлял попыток заинтересовать меня своей любимой профессией. Терпение у отца было неиссякаемым.

И можно было только удивляться тому, что такой восторженный юрист, как мой отец, никогда бы не стал судиться сам. Он следовал двум поговоркам: «Худой мир лучше доброй ссоры» и «За одну корову судиться — второй лишиться».

Посмеиваясь, отец говаривал обычно:

— Если ко мне в комнату войдет человек и скажет: позвольте, герр камергерихтсрат, но эта люстра на потолке, эта медная корона, принадлежит мне, а не вам! Отдайте-ка мне ее немедленно!.. — то я попытаюсь доказать этому господину, что упомянутая корона уже шестнадцать лет висит в моей квартире, что я купил ее там-то и там-то, и даже попробую отыскать старый счет из магазина. Но если этот человек все-таки не захочет проявить благоразумия, если он, более того, станет мне угрожать: или, мол, отдайте мне люстру, герр камергерихтсрат, или я подам на вас в суд! — то я скажу ему: забирайте ее, дорогой мой, забирайте. Покой в моем доме мне дороже какой-то люстры... Ибо, — добавлял отец с кроткой улыбкой, — ибо я опытный судья и знаю, что судебные процессы — это людоедство. Они пожирают не только деньги, счастье, покой, зачастую они способны проглотить и самих судящихся со всеми потрохами.

Отец любил также рассказывать историю об одном старом судье из ганноверской провинции, у которого некогда работал ассессором. В те далекие времена судьям надлежало еще до слушания дела об оскорблении вызывать в суд истца и ответчика с целью примирить их. Каждый судья знает, как противны подобные вызовы и тяжбы, ибо человеческая скверна, таившаяся до поры до времени по темным закоулкам, выползает теперь на свет в присутственной комнате, отравляя судьбе своим смрадом не один день жизни.

Так вот, у того старого судьи был оригинальнейший способ добиваться примирения тяжущихся. Старик обожал тепло, а еще больше — жару; он преспокойно мог выдержать любую жарницу.

В день, на который был назначен вызов, судья приказывал служителю — будь то летом или зимой — хорошенько растопить огромную голландскую печь, стоящую в судейской комнате. Внизу печь опоясывала длинная лавка, на эту лавку судья усаживал — непременно рядышком — обе тяжущиеся стороны и призывал их, прежде чем дойдет до рассмотрения жалобы, еще раз основательно все продумать, а он пока закончит одно спешное дело.

После этого судья погружался в чтение бумаг, но время от времени лукаво поглядывал исподлобья на истца с ответчиком, радуясь, если они начинали беспокойно ерзать на лавке у накалившейся печи, если их побагровевшие лица покрывались потом, и строгим словом возвращал на место тех, кто, не выдержав жары, принимался ходить взад-вперед по комнате.

Когда судье казалось, что бедные грешники достаточно поджарились, он поднимал голову и спрашивал, хорошо ли они все продумали и не предпочитают ли пойти на мировую. Если же стороны проявляли упорство, то он добродушно замечал:

— Ну что ж, пожалуй, дело еще не готово для учинения по оному решения, поразмыслите еще немножко.

И снова прятался за грудой папок. Когда особенно упорствовали, он колокольчиком вызывал служителя и приказывал подтопить печь, ибо в комнате, мол, невыносимый холод и у него стыннут ноги. Однако необходимость в столь крайней мере бывала редкой, и отец уверял, что за время службы его начальника не было возбуждено ни одного дела об оскорблении. И вообще, как только в округе пошли слухи о практике этого судьи, то вызовы в суд стали реже: ведь судиться из-за какого-то «осла» или «свиньи» действительно не стоит, лучше кончить дело полюбовно.

И вот — при таких-то взглядах моего родителя на судебные процессы в защиту своих личных интересов — к нему однажды обратился мой дядя Альберт фон Розен, подполковник в отставке, который вместе с супругой, сестрой нашего отца, весьма приятно коротал дни своей старости на великолепной вилле в одном из городишек Гарца. Однако на этот раз дядя Альберт прибыл в далеко не приятном расположении духа, напротив, он был очень раздражен и во что бы

то ни стало намеревался затеять судебный процесс, для чего ему и требовалась консультация отца. А историю он доложил приблизительно следующую.

Ежегодно, едва кончалось милое рождество, которое, естественно, по доброй немецкой традиции можно по-настоящему праздновать только на немецкой земле, и белая зима начинала отступать перед слякотью и туманом, как в доме дяди Альберта принимались укладывать чемоданы. Хозяева отправлялись в солнечные края: на Итальянскую или Французскую Ривьеру, в Канны или Ментону, в Ниццу или Сан-Ремо.

Возвышавшаяся на косогоре вилла заполнялась нафталиновым духом и накрепко запиралась. Дядя самолично перекрывал главные краны — газовый и водопроводный. Обе служанки, на зависть своим товаркам, уходили в счастливый долгий отпуск, и странники трогались в путь.

Так было и в этом году, все шло наилучшим образом. А почему бы и нет? Времена были надежные. Стоящей на возвышении вилле, отделенной от улицы террасами сада и почти не видимой за деревьями и кустарником, вроде бы не грозила никакая опасность. Жизнь в маленьком гарцском городишке, населенном преимущественно пенсионерами, была приятной и немного сонной, присутствие или отсутствие дяди ничего не меняло.

Конечно, и здесь иногда случалось что-нибудь из ряда вон выходящее. Так, к примеру, дядя и тетя узнали из письма, что на соседней вилле, у Гизеке, произошел пожар. Однако пожарная команда прибыла на место вовремя, добросовестно все залила, и посему огонь большого ущерба не причинил. Целый день дядя с тетей обсуждали, что было бы, если бы горела не соседская вилла, а их собственная. Поскольку она все же не загорелась, то полученное известие лишь улучшило и без того хорошее настроение.

Но неминуемо близилось время, когда оба гостя Ривьеры почувствовали, что солнце для них несколько расщедрилось. Откуда-то взялось слишком много пыли, пальмы уже походили скорее на метелки, интернациональная публика стала скучнее и разношерстнее. А дома, в саду, сейчас, наверное, уже посвистывают скворцы, из египетских краев устремились на родину аисты, да и ласточки снаряжаются в путь.

Во вторую ночь дяде спалось несколько хуже. Потрескивали балки, раздавались какие-то странные звуки. Скрипели ступеньки лестницы, хотя по ней никто не ходил. Утром выяснилось, что часть фундаментной стены обвалилась в большую промоину и угол дома повис в воздухе. Аугусту и другую служанку приютили соседи; дядя, конечно, объявил, что не тронется с места.

Этот второй день ожидания протекал весьма неприятно, среди горестных стенаний подрядчика, любопытствующе-сочувствующих визитов друзей, постоянного, чуть ли не болезненного прислушивания к непривычным шумам в доме и вопросов, есть ли признаки жизни в Галле-на-Заале.

Вечером дядя послал очередную телеграмму. Почтовый чиновник усомнился было, следует ли ее отправлять,— она показалась ему стилистически не вполне безупречной. Но дядя настоял на своем, а дядя был известным в городке человеком. Даже на пенсии он выглядел кавалерийским офицером—стройный, длинноногий, с загорелым лицом и белоснежными волосами. Вообще-то он был человеком приятнейших манер, но, если его кровь приходила в волнение, он становился необузданным грубияном. А сейчас она пришла в волнение, он был раздражен и невероятно зол. Что там, собственно, думают эти шляпы, эти штафирки?! Десятки лет он честно и аккуратно платил им громадные взносы, а теперь, когда впервые потребовалась их помощь, они даже не шелохнулись! Не шелохнулись! А его дом того и гляди обвалится!

Это было близко к реальности, что и продемонстрировал на следующее утро подрядчик: в той части дома, которая повисла над промоиной, окна больше не открывались, двери шли туго, положенный на пол шарик начинал магически катиться. Дом оседал! В любой час, в любую минуту он мог рухнуть!

Никому не хочется смотреть, как гибнет дом, который ты с большой любовью построил себе на старость. И не только дом, но и все, что в нем есть,— привычная обстановка, уют, любимые вещи, которые ты приобрел за свою жизнь. Поэтому дядя решил на необычный шаг: он отправился на почтамт и заказал телефонный разговор с Галле-на-Заале. До сего момента он категорически не признавал этого модного новшества.

С угрюмым видом он стоял на почтамте и не находил себе места, пока не зазвонил аппарат. Служащий провел дядю в дощатую клетушку и втиснулся в нее сам, чтобы помочь «новичку» в случае крайней необходимости. Сначала дядя слышал только щелканье и треск, потом вдруг очень нетерпеливый женский голос произнес:

— Ну? Да говорите же наконец! Вызванный номер давно ждет!

И дядя начал говорить; собственно, понятие «говорить» тут вряд ли бы подошло. С невероятной поспешностью он стал кричать, торопясь излить в эту забавную «ракушку» всю накопившуюся досаду и нетерпение. Он кричал все громче, все быстрее, — служащий напрасно похлопывал его успокаивающе по плечу.

Когда же наконец дядя обессиленно умолк, едва не оглохнув от собственного крика в тесной камерке, трубка снова мирно щелкнула и зажужжала. Потом чей-то язвительный голос спросил:

— Кто у аппарата? Страховое общество в Галле-на-Заале слушает вас. Есть там кто-нибудь?

Дядя укоризненно посмотрел на служащего. Так вот каковы эти модные почтовые новшества! И он усталым голосом произнес:

— Говорит подполковник фон Розен. Я хотел бы знать, приедет ли сегодня ваш оценщик?

— Вы хотите поговорить с нашим таксатором?

— Нет! Я хочу, чтобы он сегодня же приехал! Ну, хорошо, фрейлейн, давайте я поговорю с ним.

— Минутку. Соединяю...

Аппарат мирно щелкнул и загудел. Прислонившись к стенке кабины, дядя с антипатией разглядывал его.

Но вот в трубке послышался мужской голос:

— У телефона страховое общество Галле-на-Заале. Есть там кто-нибудь?

В отчаянии дядя признался, что тут кто-то есть. И желает поговорить с оценщиком.

— Да, но с кем из них именно? С герром Мартенсом, с герром Кольрепом или с герром Иленфельдом?

— С тем, кто занимается моим делом! А как его зовут, мне совершенно все равно! — Дядя снова начал раскаляться.

— Так, а что у вас произошло?

— Послушайте! — Дядя побелел от бешенства.— Я подполковник фон Розен. Я послал вам три депеши и два заказных письма, и если вы все еще не знаете, что у меня произошло!..— Дядя перешел на крик.— Мой дом рушится, и по вашей вине! Его надо было начать ремонтировать уже три дня назад, а вы говорите, что ничего не знаете! Это расхлябанность, к тому же типично штатская! И вот что я вам скажу...

И дядя сказал — очень быстро, очень громко и очень многое.

Когда он, переводя дух, остановился, мужской голос ответил:

— По-видимому, вы пострадали от аварии водопровода. Одну минутку, пожалуйста, соединяю вас с герром Кольрепом...

Тут служащий почтамта, помогавший в кабине, охнул и чертыхнулся, ибо мой дядя исполнил настоящий танец бешенства, невзирая на тесноту помещения и чужие конечности.

Но без всякого сочувствия к страданиям бедняги трубка щелкнула, зажужжала, и спокойный, теперь уже опять женский голос сообщил:

— У телефона страховое общество. Там есть кто-нибудь?

Но дядя больше ни на что не поддавался.

— Я хотел бы поговорить с герром Кольрепом! — сказал он.

— Герра Кольрепа сейчас, к сожалению, нет. Если вам угодно, можете изложить мне все, что вас интересует. С кем я говорю?

Дядя осторожно повесил трубку на крючок.

— Все, хватит!!! — прошептал он, уплатил семь марок пятьдесят пфеннигов и направился в контору подрядчика.

— Начнем сейчас же, — заявил он. — Ждать больше нечего.

И они начали подводить опоры, ставить крепления, копать ямы, засыпать щебень, топтать газоны, разводить грязь, замешивать раствор...

Спустя несколько дней после того, как они посвятили себя этому занятию, на строительную площадку явился пухленький, благополучного вида господин с портфелем, отрекомендовавшийся страховым инспектором Кольрепом из Галле-на-Заале. Позвали дядю, он

пришел темнее тучи... Однако, по крайней мере, для начала, формы приличия были соблюдены.

Дядя провел инспектора в подвал и показал ему результаты аварии. Герр Кольреп, слушая объяснения, небрежно кивал с раздражающе компетентным видом, соболезнующе бормотал «скверно, скверно» и под конец обменялся с десятником мнением о преимуществе железных балок перед деревянными.

Все это, казалось, не предвещало ничего плохого. И дядя повел инспектора в свою комнату, предложил ему вино, сигары и стал подробно излагать предысторию аварии. Инспектор внимательно слушал его, качал головой, сокрушаясь о нерадивости людской, вздыхал и аккуратно стряхивал пепел.

— Прискорбный случай,— подытожил он,— и все из-за небрежности. Убытки, думаю, немалые, а? Что-нибудь около?..

И он назвал сумму.

— Прибавьте к этому минимум полторы тысячи марок,— ответил дядя чуть веселее.— Вы не учли, что придется заново возделывать весь сад, а работы на террасах стоят дорого.

— Конечно, конечно! — вздохнул герр Кольреп.— Это придется учесть! Ущерб в самом деле очень большой.

— А как вы думаете урегулировать это? — спросил дядя, не желая дольше отсиживаться в засаде и переходя в открытую кавалерийскую атаку.

Инспектор весело сощурился на дядю:

— А как представляете себе это вы, господин подполковник? — спросил он, в свою очередь.

— Так, что всю сумму вы мне положите на стол,— решительно ответил дядя.

— Это было бы неплохо — для вас! — согласился инспектор Кольреп.— Но, к сожалению, так не выйдет...

— Должно выйти! — настаивал дядя.

— ...Потому что прежде, чем выплатить страховое возмещение, нам необходимо определить размер причиненного ущерба!

— Вы только что видели его сами, господин инспектор!

— Я видел строительные работы, которые, должно быть, связаны с аварией!

— Ничего лишнего построено не будет!

— Вы, например, ставите железные балки вместо деревянных,— это уже более дорогая реконструкция, которая не имеет ничего общего с возникшим ущербом. Нет, любая выплата должна быть основана на точной таксации фактического ущерба, а ее, к сожалению, уже нельзя произвести. Вы говорите, угол дома осел, но я полчаса назад видел его прямехоньким. Что тут можно определить?

— Почему никто из вас не приехал вовремя? — воскликнул дядя разгневанно.— Я послал вам десятки писем и депеш!

— Мне известно лишь о трех телеграммах и двух письмах, а не о десятках,— сухо возразил Кольреп.— Наше страховое общество велико, приходится таксировать очень много страховых казусов. В какой очередности это делать, уж предоставьте решать нам, тем более что мы оплачиваем убытки, возникающие вследствие промедления.

— Но ведь дом мог обрушиться мне на голову! — воскликнул дядя.

— Это вам внушил подрядчик! — сказал инспектор, улыбнувшись.— Он, видимо, нуждался в заказе.

— Итак, сколько вы собираетесь платить? — спросил дядя с ожесточением.

— Вы же знаете, господин подполковник,— уклончиво проговорил инспектор,— что вы нарушили один важный пункт правил страхования. Поврежденное имущество нельзя приводить в порядок до того, как нами будет установлен факт повреждения и его размеры.

— Сколько вы намерены уплатить, хочу я знать! — вскричал дядя еще громче.

— Согласно договору, мы ни к чему не обязаны,— констатировал инспектор.— Посмотрю, может быть, удастся склонить нашу дирекцию к какому-нибудь соглашению, но сейчас, здесь, ничего не могу вам твердо обещать, господин подполковник.

— Не надо мне никакого соглашения, мне нужны деньги,— решительно заявил дядя.— И если я их не получу, то подам на вас в суд!

— Вы еще одумаетесь,— миролюбиво заметил герр Кольреп.— Посоветуйтесь с вашим адвокатом. Закон против вас, это ясно. Как уже говорилось, господин подполковник, вы совершили серьезную ошибку. Впол-

не сочувствую, чисто по-человечески мне вас чрезвычайно жаль. Но как специалист по страхованию должен сказать, что страховые общества существуют не для того, чтобы расплачиваться за ошибки застрахованных.

— Избавьте меня от этой болтовни! — сказал дядя с раздражением. — Встретимся в судебном присутствии!

— Вы еще одумаетесь! — второй раз заверил дядю герр Кольреп и шаг за шагом стал отступать от дома. — Но даже если дойдет до процесса, буду надеяться, что это не омрачит наших деловых отношений, которые до сих пор так приятно складывались. Ведь это чисто юридический вопрос, который можно уладить *sine ira et studio*. Без гнева и пристрастия, господин подполковник!..

Дядя задрожал от ярости.

— Уходите! — попросил он. — Пожалуйста, уходите быстрее с моего участка, или наши отношения сложатся для вас очень неприятно!

В последующие дни дядя ослабил надзор за строительными работами. Он посоветовался с местным адвокатом. Потом съездил в Галле и поговорил там с другим юристом. Затем поехал в Магдебург, где ему давал объяснения третий. Наконец дядя вспомнил о существовании своего судебнопалатного шурина и отправился в Берлин.

С истинно кавалерийским пылом он изложил моему отцу предысторию своего процесса. (Да, он уже стал «его процессом» еще до того, как была подана жалоба.) Дядю буквально трясло от возмущения, когда он вспоминал об этом притворно любезном страховом инспекторе Кольрепе. Дядя утверждал, что вполне официально обращается к отцу за советом. Но мой отец понимал, что независимо от совета дядя все равно будет судиться.

— Это вопрос юридический, — сказал отец задумчиво. — Все зависит от того, какую точку зрения займет суд.

— Но ведь случай совершенно ясен! — воскликнул дядя, возмущенный тем, что ему все время выдвигают одно и то же сомнение. — Мне причинен ущерб, и это бесспорно.

— Однако размер ущерба уже нельзя было установить. Ты нарушил одно из основных условий.

— Значит, пусть бы дом рухнул, и только потому, что эти господа не соизволили приехать? Да они наверняка умышленно опоздали, чтобы уклониться от своих обязанностей.

— Это несколько рискованное утверждение, и, очевидно, оно недоказуемо. Поэтому лучше его не выдвигать.

— Неужели я должен был допустить, чтобы дом обвалился? Ну скажи мне откровенно, шурин!

— Разумеется, нет! — согласился отец. — Но ты мог поручить оценку ущерба двум-трем беспристрастным экспертам. А твой подрядчик фактически не свидетель, он — заинтересованная сторона.

— Но кто же мог тогда предполагать, что эта братия так себя поведет? — гневно воскликнул дядя. — Я человек откровенный, честный. Я ненавижу махинации.

— Вот именно поэтому, — мягко сказал отец, — ты совершенно не годишься для подобной тяжбы. Слышишь, деверь, судебный процесс называют тяжбой, это тяжело, для тебя, во всяком случае! Против кого же ты собираешься бороться? Против страхового общества, то есть против бесстрашной корпорации, против чиновников, синдиков, адвокатов, которые не станут спать хуже и чьи сердца не забьются сильнее из-за этого процесса. Хуже станешь спать ты, гораздо хуже, ты — с твоим бурным темпераментом, способностью принимать все близко к сердцу! Вот что, Альберт, если хочешь знать мое мнение, скажу тебе честно: иди на компромисс!

— Все-таки мне хочется знать, — сказал дядя с ожесточением, — является ли еще закон в Германии законом.

— Ах, господи, — почти с состраданием промолвил отец. — Конечно, закон всегда остается законом. Но ты сам должен признать, что законность твоей претензии чуточку сомнительна, не правда ли?.. Нет, Альберт, лучше не обрекай свою спокойную старость превратностям судебного процесса... Какова сумма ущерба?

Дядя назвал ее.

— Что ж, деньги немалые, но ты состоятельный человек. Заботиться о детях тебе не надо. Примирись

с этим, считай, что вы с женой истратили их на какое-нибудь чудесное путешествие...

— Тебе же самому будет невыгодно, — сказал дядя. — Доля твоих детей в наследстве сократится на эту сумму.

— Ты просил у меня совета, и я даю его для твоей пользы, а не для пользы моих детей, обдумай все хорошенько, и не раз. Посоветуйся с женой...

Зять обещал сделать все, но что именно он сделал, мы не знаем. Во всяком случае, отец спустя некоторое время узнал, но не от зятя, а окольным путем, через родственников, что иск был предъявлен и тяжба началась. Отныне жизнь подполковника в корне переменилась. Не было ни прежнего покоя и уюта, ни радости, испытываемой от дома и сада, ни бесед со старыми однополчанами. Темперамент не позволил ему полностью доверить ведение процесса своим адвокатам. Дяде необходимо было вникать во все самому, читать все официальные бумаги, собственноручно составлять черновики ответов (адвокаты выбрасывали их в корзинку). Он, который, можно сказать, прирос к своей тихой стариковской обители, теперь непрерывно находился в разъездах — то в Галле, то в Магдебурге, то в Берлине (правда, без захода к нам). Везде он советовался, со всеми говорил о своем процессе. Стоило ему хоть изредка появиться в компании старых друзей, как у них сразу вытягивались лица.

Поначалу они выслушивали его с сочувствием и даже говорили, что это безобразие и что он совершенно правильно сделал, подав жалобу. Но со временем постоянные разговоры о процессе им надоели, они предпочитали вспоминать о своей полковой жизни и былых сражениях. Дядя вскоре это понял и, обидевшись, уединился.

Оставалась только тетя, но и она бунтовала, едва он заводил речь о процессе. Когда дядя принимался читать ей документы, она засыпала. Прошел почти год, и тетя уехала на Ривьеру одна. Дядя не смел отлучаться, процесс не пускал его. Со дня на день его могли вызвать в суд, ведь с обеих сторон уже поступило столько доказательств и столько ходатайств о перенесении слушания дела.

Давно настала весна, возвратилась тетя, отцвели фруктовые деревья и даже созрели вишни, когда дело

«Розен contra страховое общество Галле/Заале» было назначено к слушанию. Дядю охватило лихорадочное возбуждение. Минувший год плохо сказался на нем; и без того худощавый, он отощал еще на три килограмма, стал хуже спать, а предвесенняя сырость наградила его длительной простудой.

Но вот он дождался! Наконец-то! Наконец!

По завершении судебного разбора сияющий дядя явился в Берлин к отцу. Это был его первый визит после годичного перерыва, дядя выиграл тяжбу, и на радостях простил плохого советчика. Маме он принес пралине, отцу коробку сигар, сестрам брошки, а мне с Эди несколько томов Карла Мая. Отец метнул быстрый взгляд на подаренные книги, но в присутствии гостя ничего не сказал.

Зато дядя говорил без умолку. Для человека, убежденного в победе своего правого дела, он проявлял непомерную радость.

— Вот видишь, Артур! — торжествовал дядя. — Если бы я последовал твоему доброму совету, у нас было бы на несколько тысконок меньше!

— Они тебе достаточно дорого обошлись, — сказал отец. — Целый год тревог и волнений. Ты здорово похудел.

— Теперь уж поправлюсь! — воскликнул дядя. — Больше слышать не желаю ни о каких процессах!

Отец удивленно посмотрел на него.

— Что ты на меня уставился, Артур?.. Что-нибудь неладно?

— Нет, все в порядке! — медленно проговорил отец. — Твои адвокаты ничего тебе не сказали?

— Пожелали мне счастья! Что они еще могут сказать? Произведут расчеты, перечисления поступят сами собой!

Дядя тихо вздохнул.

— Тогда, значит, хорошо, — сказал отец.

Но дядя почувствовал, что отец вовсе не считал это хорошим.

— Артур, что мне еще должны были сказать адвокаты? — спросил он настойчиво.

— Ах! — вздохнул отец. — Я просто старый скептик в судебных делах. Видишь ли, я еще ни разу не слышал, чтобы проигравшая сторона в процессе такого рода удовлетворилась решением первой инстанции.

— Ты думаешь?..— спросил дядя и посмотрел на него растерянно.

— Я думал,— ответил отец,— что страховщики опротестуют решение. Но раз уж твои адвокаты ничего тебе об этом не сказали, то вряд ли стоит опасаться.

Воцарилось неловкое молчание.

— Не тревожься понапрасну, Альберт,— начал отец,— я поступил опрометчиво, заговорив с тобой об этом именно сегодня. И, скорее всего, мои опасения совершенно безосновательны.

Однако по отцу было видно, что он не совсем убежден в безосновательности своих опасений.

— Ну что ж,— сказал дядя вяло,— это второе решение ведь будет только формальностью. Моя правота установлена, тут не подкопаешься.— Он с вызовом посмотрел на отца. Но отец молчал.— Артур! Скажи откровенно, что ты думаешь!

— Страховые общества,— начал осторожно отец,— неохотно идут на значительные судебные издержки, если у них нет хотя бы смутной надежды на выигрыш.

— Черт возьми!— вскричал дядя.— Право всецело на моей стороне! Оно подтверждено ландгерихтом. И судьи следующей инстанции также признают это.

В душе отца происходила короткая схватка юриста с соболезнающим родственником. Через несколько секунд победу одержал юрист.

— Из опыта давно известно,— сказал отец,— правда, я выражу это в несколько кощунственной форме,— что судьи вышестоящие, то есть оберландесгерихт, всегда мудрее судей нижестоящих, то есть ландгерихта. Поэтому я опасаюсь за твои перспективы.

— Тогда я заявлю еще один протест! — запальчиво воскликнул дядя.— Имею же я на это право?

— Имеешь,— подтвердил отец.— Если тебе не надоест, то попадешь и в камергерихт.

— А там ты! — обрадовался дядя.

— В палате по уголовным делам, а не по гражданским. Если принять за аксиому рискованное утверждение, что вышестоящий судья мудрее, то камергерихт кассирует решение оберландесгерихта, и ты снова окажешься победителем.

— Значит, я снова буду победителем,— торжественно произнес дядя.— Спасибо, шурин, за откровенность.

Вижу, что меня ожидают тяжелые времена, но я добьюсь своего...

— погоди! — сказал отец. — В камергерихте твой процесс еще не окончится...

— То есть как? — разочарованно спросил дядя. — Я полагаю, что выше вас нет?!

— В Пруссии — да, но над нами еще есть рейхсгерихт.

— И каковы мои шансы там?

— По отношению к рейхсгерихту я не дерзаю кощунствовать, — произнес отец торжественно, хотя морщинки вокруг его глаз улыбались. — Ибо я еще не рейхсгерихтсрат, а только собираюсь им стать. В рейхсгерихте все очень старые и мудрые. И предсказать что-либо невозможно...

— И сколько же все это вместе протянется? — хмуро спросил дядя после долгого молчания.

— Трудно сказать даже приблизительно. Может быть, два года. А может, и пять, и десять, все это очень неопределенно...

Дядя застонал.

— Не теряй мужества, Альберт, — твердо сказал отец. — Попытайся договориться с обществом. Поручи это своему адвокату. Положение у тебя сейчас сравнительно благоприятное...

— Чтобы я примирился с этими мошенниками? — снова вспыхнул дядя. — Нет, шурин, никогда! Они украли у меня год жизни, и пусть расплачиваются!

— Они оплатят только водопроводную аварию и, пожалуй, судебные расходы, но ни пфеннига больше. А годы жизни, которые ты на это потратишь, останутся неоплаченными. Помирись!

— Никогда!!! — отчеканил подполковник в отставке фон Розен, решительно скрипнув зубами.

И он действительно не согласился на мировую. Он вел процесс во всех инстанциях. Из мирного офицера на пенсии он превратился в ходатая по своему делу. Его мысли вращались только вокруг процесса, он читал литературу по вопросам страхования и со временем так понаторел в этом, что озадачивал своих адвокатов.

У нас в Берлине дядя редко бывал в эти годы, а если и заглядывал, то рассказывать о процессе отказывался.

— Процесс идет, шурин,— уклончиво говорил дядя.— Отлично идет, особенно по части расходов! Думаю, что через годик сможем поставить точку.

Однако прошло в общей сложности четыре года и девять месяцев, прежде чем рейхсгерихт вынес решение. Все эти годы дядя существовал, отказавшись от привычного образа жизни. Прекратились поездки в Ривьеру, встречи с давнишними друзьями. Аугуста полностью завладела запущенным садом, сотворив из него огородное хозяйство, а дядя превратился в немощного, раздражительного, обиженного старика. От его бывлой офицерской выправки не осталось и следа. Ходил он ссутулившись и покашливая.

И вот он сидит у моего отца в кабинете и рассказывает ему об окончательном, бесповоротном исходе процесса. Приговор рейхсгерихта вынесен: страховое общество проиграло и было присуждено к уплате всех судебных издержек.

Но на сей раз не было заметно, чтобы дядю переполняла радость, хотя он одержал окончательную победу.

— Я рад, что все миновало, шурин! — сказал он.— Пожалуй, я радовался бы не меньше, если бы проиграл, лишь бы оно кончилось. Даже выразить не могу, как мне это осточертело за последние годы! Под конец я продолжал бороться только из упрямства, из нежелания уступить, а в сущности мне было все равно, кто окажется правым: я или они. Уж раз затеял... Если б я в самом начале знал то, что знаю теперь, никогда бы этого не затеял.

На что отец привел ему поговорку о худом мире, который лучше доброй ссоры, а потом пример с люстрой...

— Ты прав, шурин,— кивнул дядя.— Теперь я бы тоже предпочел отдать люстру, чем ввязываться в процесс. Ну разве это не ужасно? Когда начался процесс, я непоколебимо верил в свою правоту. Лишь мало-помалу во мне стали пробуждаться сомнения. А теперь, когда рейхсгерихт подтвердил мое право, я все еще продолжаю сомневаться. В конце концов я действительно нарушил важный договорный пункт, а договоры надо соблюдать.

— Ты познал на себе ненадежность всех человеческих установлений, Альберт,— сказал отец.— Добиться

права, конечно, можно, однако успех его всегда сомнителен. Но не ставь этого в заслугу только нам, юристам,— и полководец не всегда выигрывает битвы лишь потому, что его дело правое.

Такова история великого процесса дяди Альберта. Но вряд ли я стал бы ее рассказывать, если бы она этим окончилась. Увы, у нее был еще весьма прискорбный эпилог. Я и вообще-то о ней поведал ради этого эпилога.

После процесса минуло полгода, дядя уже совсем пришел в себя, и вот однажды, когда он сидел в башенной комнате своего дома, открылась дверь и Аугуста крикнула:

— Господин подполковник, какой-то господин хочет поговорить с вами!

Дядя ответил:

— Пусть войдет! — И через порог ступил человек, при виде которого дядины глаза гневно засверкали, а лоб нахмурился.

— Добрый день, господин подполковник,— любезно и очень приветливо поздоровался страховый инспектор Кольреп.— Я рад, что разногласия между нами наконец-то устранены. И мне приятно, хоть я верный служащий своего общества, что победили вы.— Сменив тон: — Надеюсь, все урегулировано? Все с точностью уплачено, и вы удовлетворены? — Довольно рассмеявшись: — Ах да, конечно! Я же сам видел ваших адвокатов и денежный перевод! Внушительная сумма, господин подполковник! Наверное, у вас сердце пело от радости!

Но сердце моего дяди и не думало петь.

— Послушайте, вы! — сказал он грозно.— Убирайтесь отсюда, да поживее! Вы что вообще...

— Но, господин подполковник! — удивленно сказал инспектор.— Неужели вы злопамятны? Ведь вы же получили свои деньги? — И серьезным тоном добавил: — Я пришел к вам с предложением. Коротко и ясно: не хотите ли вы снова у нас застраховаться?

Дядя чуть не лишился дара речи.

— Каков наглец! — простонал он.— Такого возмутительного бесстыдства я отродясь не встречал! Вы украли у меня годы жизни и после этого осмеливаетесь являться сюда и предлагать мне...

Дядя не мог больше говорить. Дрожа от ярости, он смотрел на посетителя.

— Но, господин подполковник!—сказал тот, искренне удивившись.— Мы вовсе не лишали вас этих лет жизни... как вы можете говорить такое! Был спорный юридический казус, мы боролись до конца, *sine ira et studio*, ну хорошо, теперь с этим покончено! Мы же не злимся на вас за то, что проиграли!

Дядя пристально глядел на инспектора. Так вот против каких людей он боролся, так вот на кого он досадовал и злился, из-за кого расстался со своим покоем, пожертвовал драгоценными годами идущей к закату жизни. И все это было для них лишь спорным юридическим казусом!

Дядя был из иного мира, все, что он должен был делать, он делал *cum ira aut studio*, гневом или с любовью, он был убежден, что веселая беззаботность этого человека — проявление величайшей гнусности.

— Вон! — только и простонал дядя.— Вон, или я за себя не ручаюсь!

На этот раз герр Кольреп не почувствовал вовремя опасности. Он еще надеялся уговорить дядю. Рассвирепев, дрожа от гнева, дядя двинулся на визитера и стал теснить его к полуоткрытой двери, протолкнул в коридор, затем дальше, к лестнице; инспектор затараторил еще быстрее, пытаясь задобрить клиента.

— Убирайтесь вон из моего дома! — крикнул дядя и с силой толкнул страховщика.

Герр Кольреп кубарем скатился по лестнице и сломал ногу. Нога срослась плохо. Герр Кольреп стал хромым. Суд обязал дядю выплачивать инспектору пожизненную ренту. Вот так, в самой последней инстанции, дядя все же проиграл свой процесс...

Когда отец рассказывал об этой печальной развязке, лицо его было очень серьезным. Но я видел, как вокруг его глаз лучились морщинки.

— Я пришел к убеждению,— обычно заключал отец,— что людям определенной профессии лучше не судиться. Например, судьям. Или кавалерийским офицерам. Для священников это еще приемлемо. Но уж, конечно, не для людей искусства...

Что касается последней профессии, то я могу лишь согласиться с мнением отца.

Сразу же после рождественских праздников родители принимались строить планы на лето. Летняя поездка была для всех нас чем-то само собой разумеющимся; для родителей — потому, что основную часть своей жизни они провели в маленьких, почти сельских городишках, так и не сделавшись настоящими столичными жителями. Им всегда хотелось больше света, меньше шума и хотя бы немного зелени. А мы, дети, желали, по крайней мере раз в году, вырваться; именно потому, что мы были настоящими детьми большого города, летний отдых в деревне таил в себе для нас все прелести путешествия в неведомое.

Я помню лишь один-единственный случай, когда родители отдыхали летом без нас, — они ездили в Италию. Нам, детям, пришлось остаться дома под присмотром одной «тетушки», фрау камергерихтсрат Тие-то, которую мы просто звали Тати. За безупречное поведение нам были обещаны баснословные награды: дважды в неделю нас будут водить в зоопарк и каждое воскресенье в кондитерскую — лакомиться воздушным печеньем со взбитыми сливками. Карманные деньги на время каникул были удвоены.

Родители уехали, и с их отъездом в нашем доме воцарился хаос. Тати, у которой никогда не было своих детей, вероятно, пока еще полагала, что мы вполне благовоспитанные дети. Ах, она видела нас только в присутствии наших дрессировщиков! Если мне не изменяет память, все это время было заполнено непрерывными потасовками между сестрами и братьями. Потасовками, на которые тетушка беспомощно взирала и то и дело испуганно вскудахывала; когда же сражение достигало апогея, она восклицала:

— Ах, вы же посвушные дети, ведь я знаю, что вы посвушные! Ханс, ведь ты посвушный мальчик, ты просто притворяешься! Фитэ, Итценплиц, ведь вы же девочки, а девочки не деутся! — В данный момент факты весьма противоречили этому утверждению. — Дьаться гадко, фу! Дети, дети, неужели вам хочется, чтобы я написала об этом одителям, вы их тааак огоачите!

Но мы твердо верили, что Тати не напишет родителям об этом, она была слишком доброй. Мы кричали ей:

— Тати, неужели ты ябеда?! Фу, ведь ябедничать тааак гадко!! — и продолжали потасовку.

Каких-либо принципиальных разногласий с сестрами у нас не возникало. Нам доставляло истинную радость шуметь и возиться в комнатах, где из-за отца мы всегда были вынуждены вести себя тихо. Сестры были старше и сильнее нас, но им мешала одежда. По тогдашней моде они носили длинные, почти до пят, платья и корсеты, которые мы, мальчишки, называли стальными панцирями.

И дрались они по-девчоночьи — сильно бить избегали, зато хитрили. Обычно они решали исход боя в свою пользу таким маневром: обе набрасывались на одного из нас, не обращая при этом внимания на другого, валили его с ног и молниеносно сооружали над ним гору из стульев и столиков. Затем тотчас хватали другого. И прежде, чем мы успевали выбраться из-под шаткого, грозящего обвалом нагромождения мебели, девчонки скрывались в своей комнате и запирались на ключ. (Самое важное для них было — выиграть время, чтобы успеть запереть за собой дверь.)

Нам, мальчишкам, только и оставалось, что тщетно барабанить в дверь либо, когда жажда мести особенно одолевала, пускать струю воды в замочную скважину. Помню также, как однажды мы с Эди нашли в кладовой пропитанную серой нитку, подожгли ее и просунули через замочную скважину в комнату сестер, чтобы выкурить их. Но тут осажденный неприятель предпринял отчаянную вылазку, и мы были разбиты наголову.

К несчастью для Тати, наша старая Минна тоже ушла в отпуск, она бы ни за что не потерпела подобного распутства в родительской квартире. Другая служанка, Криста Бартель, поступила к нам совсем недавно, она приехала из деревни, и ей было всего семнадцать лет. Так что Тати она не оказывала ни малейшего содействия. Напротив, вскоре нам даже удалось убедить Кристу в том, что наш образ жизни гораздо интереснее, нежели уборка комнат, после чего мы приобрели в ее лице союзника. Эта простодушная девушка, совершенно потерявшаяся в обстановке большого города, полагала, что мы, будучи детьми богачей, — а наших родителей она, естественно, считала неизмеримо богатыми, — имели полное право вести себя именно так, как

мы себя вели, и что Тати поступает совершенно несправедливо, пытаясь умалить наши права.

В самом деле, ну что за удовольствие драить медную посуду на кухне, ведь куда интереснее, пользуясь отлучкой Тати, превратить священную плюшевую гостиную в сераль Гаруна-аль-Рашида, употребив для этого все имевшиеся в квартире подушки, ковры и покрывала. Криста и сестры изображали завуалированных гаремных дам, — из тюлевых занавесей получались великолепные вуали! — Эди был визирем, а я, конечно, Гаруном. Правда, я не знал, что мне делать с моими женами. Больше всего я был склонен срубить им головы за малейшую провинность, что дамам не очень нравилось, поскольку обезглавливание производилось отцовским длинным бамбуковым ножом для разрезания бумаги. Потом мы додумались топить их в мешках: непокорных жен заворачивали в ковер, перевязывали веревкой и бросали в море, то есть оттаскивали в темный чулан.

Мы с Эди здорово наловчились закатывать в ковры всех трех девчонок. Начинали с самой большой — Кристи; тут нам помогали Итценплиц и Фитэ, потом закатывали Итценплиц уже с помощью Фитэ, ну а с Фитэ мы справлялись сами. Как-то раз, убедившись, что «жены» упакованы на славу, мы исполнили над поверженными язвительный куплет, гусле чего, невзирая на их мольбы и угрозы, захлопнули дверь в чулан и отправились на улицу в поисках новых приключений.

Тем временем вернулась добрейшая Тати. Как всегда, она забыла ключи. Она звонила и звонила с похвальным терпением, но на ее звонки никто не отзывался. В квартире, где она оставила пятерых пышущих здоровьем молодых людей, царил могильная тишина. Тати была очень пугливой, она сразу же подумала о газе, взломщиках, убийцах...

Делясь своими опасениями с консьержем, она вся дрожала. Консьерж видел только нас, мальчишек, когда мы уходили. Повторные звонки, дувтом, так же не возымели никакого действия, как и соло тетушки. Был вызван слесарь, и дверь открыли.

— Похоже на то! — воскликнул консьерж. — Тут, верно, похозяйничали взломщики!

Квартира выглядела именно так. Разбросанные постели, опрокинутые стулья, сорванные занавеси, стяну-

тые скатерти, перевернутые вазы были тому роковыми уликами. Тетушка грустно улыбнулась. В последнее время она нередко видела подобные улики, они не безословно указывали на взломщиков.

Но тишина в квартире навевала тревогу. Слесарь вооружился молотком, консьерж — чудесной отцовской тростью из эбенового дерева, а тетушка подняла упавшую акварель — древнеримский акведук в Кампанье — и понесла ее под мышкой.

Они обошли всю квартиру, преисполненные дурных предчувствий. Лишь в самом конце длинного «черного» коридора, возле чулана, они услышали обессиленные крики и, открыв дверь, обнаружили запакowanych гаремных дам.

В жарком помещении без окон, завернутые в толстые ковры, девчонки провели несколько весьма неприятных часов. Спасители подумали сперва, что это дело рук озверевших громил. Всеобщему возмущению не было предела, когда выяснилось, что все это совершили два скромных, благовоспитанных мальчика.

Слесарь тут же высказал готовность остаться и помочь тетушке как следует проучить виновников. Но Тати, заботясь о добром имени моих родителей, была вынуждена отказаться (на свою беду) от его услуг. Она решила строго, даже очень строго обойтись с нами, когда мы вернемся, она даже рискнула бы на сей раз отхлестать нас по щекам. Но Тати не учла той жажды мести, которая охватила девчонок!

Едва мы появились в квартире, едва Тати приступила к головомойке, как три девчонки набросились на нас. Да, простодушная Криста тоже приняла участие в избииении сыновей своего хозяина! Тетушка, этот увядший листок в потоке времени, тщетно пыталась своим голоском перекричать грохот битвы, напрасно ее слабые, дрожащие руки хватались то за чей-то рукав, то за чью-то ногу, внезапно вынырнувшую из свалки. Тати пришлось отступить, водоворот грозил затянуть ее самое.

Побелев от страха, она спряталась за стол и оттуда наблюдала за разбушевавшейся стихией. Изрядно поколоченных, нас отволокли в ванную и заперли. Девчонки отказались даже выпустить нас к ужину. Пусть голодают, пусть всю ночь не спят, ключа они не отдадут. Лишь после полуночи тетушке удалось стащить

ключ у Итценплиц из-под подушки и освободить нас. Мы с Эди все это время провели в купаниях и морских сражениях — ванная комната выглядела соответственно!

Бедная, теперь уже давно почившая тетушка! Боюсь, что мы со всей нашей неосознанной детской жестокостью превратили для тебя тот летний месяц в истинный кошмар! Ведь незадолго до этого ты потеряла мужа и чувствовала себя очень одинокой и покинутой. Ты ожидала хоть чуточку сострадания, а попала к настоящим разбойникам! Как сейчас, вижу тебя в черном платье, тщедушная фигурка с бледным лицом и забавно вздернутым кончиком носа, который всегда был покрасневшим. Сколько слез ты, наверное, пролила из-за нас, Тати, как мы дразнили тебя этим носом! «Почему у тебя такой красный нос, Тати?.. Неужели ты тайком пьянствуешь, Тати?.. У тебя винный нос, Тати!.. Нет, это водочный нос!.. Нет, это нос-карбункул!.. Тати, можно мы посыпем твой нос мукой,— интересно, будет он просвечивать?» Ужасные дети, и отвратительнее всех я,— а уж меня-то должны были кое-чему научить латинские штаны!

Но я должен тебя похвалить, Тати: несмотря на все муки и страхи, которых ты натерпелась по нашей милости, ты не наябедничала на нас родителям. Ты не призвала их на помощь, ты решила выдержать до конца. И хотя родители вернулись из Италии внезапно и намного раньше ожидаемого, вызванные нашими соседями сверху и снизу, которые не смогли вынести шума, ты заступилась за нас и все беды приписала своему неумению обращаться с детьми. Благодаря тебе нам не задавали никаких неприятных вопросов, не состоялся и строгий суд. Тот период летних каникул всегда обходили глубоким молчанием. Привезенные из Италии подарки мы, конечно, увидели, но и только; промелькнув перед нашими взорами, они вмиг исчезли. Лишь гораздо позднее, под влиянием наших возрастающих успехов, эти подарки нашли дорогу к нам!

Но, как уже говорилось, те летние каникулы были единственными, которые мы провели таким вольным, диким образом и тем не менее обманулись в своих ожиданиях: родители сделали соответствующие выводы и отказались от поездок в Италию, они предпочли ос-

таваться поблизости и не спускать с нас глаз. Мы опять уезжали на лето всей семьей.

Всякий раз возникали затруднения в выборе места отдыха: оно должно быть дешево, не слишком далеко от Берлина и соответствовать мечте родителей о деревенской тиши и красоте. Так, родители обнаружили несколько уголков, куда в ту пору вряд ли заглядывал хоть один берлинец. Мы отдыхали в Ной-Глобзове, покинутом стеклодувами и пришедшем в упадок селе; не одно лето провели мы в Граале, когда там еще было по-деревенски тихо и малоллюдно, без кабинок на пляже, без курортных поборов. В Мюриту уже понаехали берлинцы, Мюриту становился людным приморским курортом, но в Граале пока царил покой.

Как только место летнего отдыха было выбрано, отец первым делом покупал карты, топографические карты той местности, — так называемые листы мензурной съемки. И вот зимними вечерами, когда за окнами летали снежинки, мы усаживались возле отца и, следя за его пальцем, совершали летние прогулки. Любовь к порядку была у моего отца столь велика, что он постыдился бы отправиться в какую-либо местность, не изучив заранее, еще до того, как увидит ее, каждую дорожку, каждый мост, каждый перелесок.

Под его руководством мы незаметно учились читать карту и вскоре различали все топографические знаки. Мы знали дорогу из Гельбензанде в Грааль, все ее разветвления и все лесные полосы вдоль нее. Мы точно могли сказать, где кончится лес и покажется вытянутая длинной улицей деревня. И как бы хорошо мы ни изучили все это заранее, для нас всегда было неожиданностью, когда увиденное на черно-белом листе превращалось в действительность. Маленькие закорючки, обозначавшие на карте лес, вздымались огромным куполом буквой роши; дорога, которая казалась нам такой ровной и прямой от начала до конца, которую ничего не стоило всю окинуть одним взглядом, извивалась по лесу и от поворота до поворота просматривалась не более чем на сотню шагов вперед. Она вовсе не была ровной — врезанная в песчаный грунт, дорога переползала с холмика на холмик, о которых карта и не ведала.

Кроме карт, отец покупал еще (правда, в другом магазине, в центре Берлина, кажется, на Миттельштрас-

се) почтовые открытки с видами той местности, где нам предстояло отдыхать. Сам я ни разу не бывал в этом магазине, не смог его отыскать и позднее; сомневаюсь, существует ли он еще. Но то, что нам рассказывал о нем отец, граничило с чудом.

Там можно было приобрести видовые открытки не только любого уголка Германии, но и почти всех достопримечательных мест земного шара. Когда отец спрашивал у продавца виды Грааля, то, допустим, другой покупатель слева интересовался Марселем, а покупательница справа рылась в открытках с видами Кани, настойчиво утверждая, что существует еще одна, особенно красивая открытка, на которой три пальмы сзади и две пальмы впереди. И эту открытку находили! Отец, конечно, больше всех радовался тому, что она «находилась». Ведь он так любил порядок.

И бережливость. Поэтому весь потребный нам на лето запас открыток отец покупал не в Граале, а в той лавке, на Миттельштрассе, где они стоили пятьдесят пфеннигов за дюжину, меж тем как в Граале пришлось бы отдавать за них целую марку. Открытки надо было посылать всевозможным знакомым и родственникам в качестве доказательства, что отправитель провел лето на отдыхе; впрочем, посылать приветы во время летних каникул полагалось вообще. Но если для множества приветственных открыток выделяется весьма скудная сумма, то покупать их желательно как можно дешевле. На счету каждый пфенниг, значит, любая возможность сэкономить еще несколько пфеннигов — удача. Поэтому отец шел за открытками в берлинский магазин.

Тот, кто сам не испытал этого, вряд ли представит себе, с какой интенсивностью экономило поколение, жившее на рубеже минувшего и нынешнего столетий. И не из скупости, а из глубокого уважения к деньгам. Деньги были трудом — часто очень тяжелым, часто очень плохо оплачиваемым, а потому небрежное обращение с деньгами считалось грехом и заслуживало презрения.

Отец вовсе не был скупым; позднее я не раз убеждался в его щедрости, когда кто-либо из детей нуждался в деньгах; каким счастливым бывал он, отдавая одному из нас сбереженную с таким трудом сотню и даже тысячу. Но тот же самый отец мог страшно рассердиться, если обнаруживал туалетное мыло плавающим

В мыльнице, где оно размокало и оттого слишком быстро расходовалось. Моя руки, он особым приемом заставлял мыло проскользнуть между ладонями так, что оно едва успевало намочнуть,— экономия! Когда откупоривали бутылки с соками домашнего приготовления, то сургуч с горлышек непременно сбивали в специальный горшочек,— через год его разогревали и опять пускали в дело! Если топилась печка или горела керосиновая лампа, отец никогда не зажигал спичку: из старых почтовых открыток он нарезал «фидибусы» — узкие бумажные полоски, подносил «фидибус» к огню и раскуривал свою трубку. От каждого печатного бланка, от каждого письма от отрезал неиспользованную часть листка и употреблял эти бумажки для заметок.

У него были сотни идей, как ограничить расходы, но я должен признать, что ни одно из этих мероприятий по экономии не уменьшало достатка в доме и не наводило на мысль о бедности (исключение, конечно, составляли мои латаные штаны). Бережливость в нашем доме стала настолько привычным делом, что мы — даже я, прирожденный расточитель, — сами ограничивали свои желания. Потребовать за столом добавку к трем прозрачным ломтикам мяса казалось нам злодеянием.

Уже позднее, к нашему изумлению, мы узнали, что отец был весьма состоятельным, почти богатым человеком, который благодаря своей железной бережливости сумел сохранить и умножить несколько наследств. И я должен еще раз подчеркнуть: мы никогда не были лишены того, что имели другие дети. А если в некоторых вещах отец проявлял, пожалуй, чрезмерную экономность, то это наверняка касалось только его собственной персоны.

Забегая вперед, скажу, что одно из моих самых печальных воспоминаний связано с тем днем, когда отец, после недавно окончившейся инфляции пришел домой из банка. Ему там предложили закрыть счет «за незначительностью суммы». В ящике из-под сигар он принес жалкие остатки своих сбережений почти за пятьдесят лет жизни. Он долго сидел, перебирая пачечку акций, и бормотал: «Бумага, бумага, лишь одна бумага!»

Но и тут отец не потерял мужества. Он был уже пенсионером, старым, больным человеком, однако сразу же начал откладывать часть пенсии. Он думал

о жене, которая была гораздо моложе его, и о детях. Он снова принялся экономить, он считал это своим долгом. И несколько лет спустя, перед смертью, отец с полным правом мог сказать: «Моей жене не придется отказывать себе в том, к чему она привыкла. Если ей захочется, она и подарить кое-что может, ведь она это любит...»

Каким путем отец отыскивал первоначальную цель нашей летней поездки, то есть дом, в котором мы будем жить, я уж не помню, во всяком случае, он ни разу его не видел до того, как мы приезжали на место; поэтому иногда бывали удивительнейшие казусы, о которых я еще расскажу. Так или иначе отель и пансионат исключались не только из-за расходов, но и по причине отцовской болезни. Летом маме также приходилось готовить самой, те же диетические блюда, которые мы ели все и к которым полностью привыкли (даже теперь я испытываю глубокую антипатию ко всяким острым приправам).

Итак мы поселялись обычно у кого-нибудь из крестьян, что сулило, разумеется, выгоду нам, детям. Еще бы — здесь были домашние животные, езда верхом на лошадях, рейсы на телеге в поле во время уборки ржи и тому подобные развлечения. Для мамы, конечно, работы хватало, тем более что нас, как всегда, сопровождала только одна из служанок. В сущности, в деревню переносилось наше городское домашнее хозяйство, несколько усложненное примитивными условиями закупок съестного и необходимостью стряпать на одной плите с хозяевами. Но мама умела справляться с множеством своих обязанностей уверенно и неприметно. Нам, детям, было тогда просто невдомек, что у мамы, собственно, весь год не выдавалось ни одной свободной минуты, и все же она всегда сохраняла веселое настроение.

Такому переселению на пять-шесть недель предшествовала, естественно, бесконечная упаковка багажа. В те времена не ездили, как теперь, беря с собой лишь кое-какую одежду, белье и обувь, нет, — укладывались и кастрюли, и столовая посуда, и приборы, и консервы, которых возили по несколько ящиков; ни разу не были забыты, к сожалению, и наши школьные принадлежности, ибо «ежедневно посидеть часок за уроком во время каникул полезно для головы».

Наряду с этим разыгрывалось из года в год повторявшееся сражение между отцом и мамой из-за папок. Вообще отец никогда не вмешивался в упаковку. Но едва она подходила к концу и мама уже оповещала о своем намерении позвать рабочую силу, дабы та, усевшись на крышки корзин, помогла их закрыть, как отец начинал волноваться. Со связками папок под мышкой он шнырял вокруг корзин и чемоданов, пытаясь засунуть свою контрабанду под белье или одежду. Сюда он втискивал папку с решениями рейхсгерихта, туда — начатую рукопись о доказательствах в уголовном судопроизводстве.

Разумеется, эти тайные махинации не ускользали от мамы, и она тотчас припирала его к стене:

— Отец, когда ты прошлой осенью заболел, то сам сказал, что летом будешь отдыхать как следует! И вот ты опять суешь работу в чемоданы!

— Да я вовсе не собираюсь работать, Луиза,—говорил отец, смущаясь.—Это я беру просто так, полистать.

— Знаю я твое «полистать»!—отвечала мама.—Ты сейчас так говоришь, а на третий день тебя уже не оторвешь от бумаг. Нет, отец, сделай одолжение, оставь на сей раз всю работу дома, иначе из твоего отдыха ничего не получится!

Но как мама ни упрашивала его, в этом пункте мягкосердечный отец был непоколебим, из этого поединка он всегда выходил победителем. В конце концов мама сама приносила с чердака сундучок, который целиком заполнялся отцовскими книгами и папками. Зато сверху она молча клала два-три томика Густава Фрейтага на случай дождливой погоды. Отец обнимал маму и говорил:

— Не сердись, старушка. Я только чуть-чуть поработаю.

— Я ничего и не говорю,—отвечала мама.—Я же знаю, ты жить не можешь без работы. Но, пусть на этот раз будет действительно «чуть-чуть»,—мы хотим, чтобы ты еще долго-предолго был с нами.

Кроме упаковки багажа, следовало еще привести детей в состояние каникулярной готовности. Мама, у которой были очень плохие, ломкие зубы, испытывала панический страх перед зубной болью. И вот незадолго до каникул она отводила нас, всех четверых, к нашему дантисту на Клейшттрассе.

Герр Ленкштаке был высоким красивым мужчиной с белокурой бородой и золотыми очками. Он постоянно носил бархатную блузу со шнуровкой и вообще не походил на зубного врача. Боюсь, что и воачом он был никудышным; помню, сидя однажды у него в приемной, я услышал, как страшно закричала от боли женщина, вслед за тем раздался не менее страшный мужской вопль, и прозвучал он несомненно из уст герра Ленкштаке.

Затем послышалась громкая ругань, прерываемая жалкими всхлипываниями. Когда мы с мамой вошли в кабинет, герр Ленкштаке, еще дрожа от возмущения, сообщил нам, что пациентка укусила его в руку!

— Прямо в руку! И как!.. Вот посмотрите, госпожа советница! Что за манеры?! Конечно, ей было чуточку больно — но зачем же кусаться! Несчастный мир, несчастная профессия!.. Мальчик, открой рот пошире, и если будет больно, не вздумай кусаться! Тебе-то я сразу дам затрещину!

Позднее мне приходилось слышать от других дантистов, более искусных, нежели герр Ленкштаке, что он сам был виноват в происшедшем, — рана от укуса выглядела поистине безобразно, — так как он неумело держал между верхней и нижней челюстью пациентки зубное зеркальце, которое служит дантистам защитой от кусачих пациентов.

Однако не только бархатная блуза указывала на то, что зубо врачеванием герр Ленкштаке занимался лишь для заработка. Вся квартира его была увешана очень яркими картинами, написанными масляными красками, по поводу чего мама всякий раз качала головой.

— Ты посмотри, Ханс! — говорила она. — Ведь он тут нарисовал зеленую корову... в самом деле, зеленая корова на коричневом лугу! Ну что это такое!

Я находил картины в высшей степени привлекательными и очень необычными, но гораздо больше меня интересовало то, что все картины в этой квартире пребывали в постоянном движении. Ибо дом герра Ленкштаке стоял как раз в том месте Клейстштрассе, где надземная городская железная дорога переходила в подземную (со времени моего похода с Хансом Фётшем эту линию наконец достроили). Из окна было видно, как поезда, внезапно засверкав огнями, исчезают в зеве тоннеля или же выныривают из черноты и, потушив

огни и сбавив скорость, подъезжают к станции Ноллендорфплац. И всякий раз, когда электричка пронеслась мимо дома, здание слегка вздрагивало и картины на стенах начинали легонько покачиваться. Ради этих качающихся картин я все годы, пока жил в Берлине, с удовольствием ходил к зубному врачу. Я совершенно не помню, было ли больно, когда мне лечил зубы герр Ленкштаке, он сохранился в моей памяти только благодаря его качающимся картинам.

Когда с зубами все было в порядке, нас, мальчишек, за день до отъезда посылали к парикмахеру, ибо отец не доверял деревенским цирюльникам. Однажды во время стрижки со мной сотворили — отчасти с моего согласия, отчасти против моей воли — нечто ужасное. Я уже рассказывал, что по желанию мамы я носил длинные локоны с челкой, — не рискну назвать их золотистыми, скорее они были светло-русыми. Как бы красиво ни выглядели эти локоны с точки зрения мамы, для мальчишки они являлись страшной обузой — не только из-за насмешек товарищей, но и потому, что вечно были в беспорядке и путались. Вечером их по полчаса расчесывали гребнем и щеткой, а еженедельное мытье с последующим натиранием мазью — сущая мука! Сто раз я просил маму избавить меня от локонов, бесполезно! Ведь они выглядели так красиво!..

Но об этом я ничуть не думал, когда в тот предканукулярный день отправился в парикмахерскую. Стрижка предстояла обычная, то есть волосы следовало подстричь настолько, чтобы они не касались воротника моей кильской матросской блузы и были сантиметров на пять ниже уха. Челка должна была доходить до середины лба.

По какой-то причине — вероятно, потому, что все были слишком заняты, — я пошел в тот день один, даже без Эди. У нашего постоянного парикмахера на Мартин-Лютер-штрассе сидело полно мальчишек в ожидании стрижки. Неподдалеку, на Винтерфельдштрассе, я обнаружил какую-то захудалую парикмахерскую, в которой было гораздо меньше народу.

Мастер, тщедушный на вид, но очень проворный берлинец, приветствовал каждого садившегося в кресло мальчишку словами:

— Значит, как обычно, — сзади короче, спереди

длиннее, а? Стоит два гривенника, малый! А если все долой, на гривенник дешевле, что скажешь?

К моему удивлению, клиентура начисто отвергала «все долой»; мне же предложение о скидке на пятьдесят процентов показалось в высшей степени заслуживающим внимания.

Пока я сидел в ожидании, мастер частенько бросал на меня недоброжелательные взгляды и, когда подошла моя очередь, велел подождать еще:

— Нет, малый, с твоей кукольной завивкой дело долгое, сейчас не до тебя! погоди немного, пока я настоящих ребят обкорнаю!

Все вокруг заухмылялись, и я опять был уязвлен в самое сердце.

Наконец я уселся на трон — заведение тем временем опустело, — и мастер недовольно начал трепать гребнем мои волосы:

— Ну што этто за пакля? — ворчал он. — По-твоему, красиво, а? Ведь так носят только маленькие девочки! Вот, гляди, щас чуть причешу на лоб, и ты будешь аки пасхальный агнец у старых иудеев на тронцу!

Он дал мне полюбоваться на себя в зеркало. Глаза смотрели сквозь бахрому свисавших локонов; мне показалось, будто я слышу возглас мамы, которым она встречала меня, когда я вот таким же растрепанным возвращался с улицы: «Ханс, немедленно причешись!»

Искуситель продолжал:

— Сам знаешь, за два гривенника ятте такой кукольный фасон не исполню! Это будет стоить три. Денег у те хватит?

Официальная цена действительно была такой, мама мне и дала как раз тридцать пфеннигов. Я показал их мастеру.

— Хоть я и против своей выгоды говорю, но скажутте, малый: этто выброшенные деньги! Моя машинка бреет волос под корень, до десятой миллиметра! Вот увидишь, как те пойдет! И два гривенника остануцца, мамаше об том знать необязательно! Мамаша небось обрадуецца, когда сынка таким увидит! Она ш поняття не имеет, как ты настоящим парнем выглядишь! Ну, как?

Я осмелился робко заметить, что если уж мне надо менять прическу, то правильнее всего постричь «на про-

бор», как и других мальчиков. Но мастер решительно возразил:

— Не, малый, на полпути кто ш останавливаецца! Знаешь, как хорошо летом со стриженной головой, до чего прохла-а-дно! А у ття точно меховая шапка! Слушай, вот гляжу я на ття и думаю: сдаецца мне, што вы к морю едете. Так или нет?

Я подтвердил, что так.

— Во, вишь! — сказал он с чувством глубокого удовлетворения. — Этто я и хотел узнать! Если б в Гарц или в Тюрингию, я б еще сделал те пробор, но раз к морю, значит, што — день-деньской на пляже бушь жарицца, што твое яблоко в духовке! И в воду то и дело сигать, што ш тада останецца от твоих локонов? Вареная пакля! А покуда другие ребятишки бегают, мамаша те усадит и полчаса чесать будет. Преставляишь? Гребень цепляит, ты дергаишься, а мамаша те ругаит, сиди, мол, тихо! Ну, так как, спробуем?

Картина, которую он описал и которая соответствовала правде, — именно так все и было прошлым летом, — окончательно повлияла на мое решение. Об умеренном фасоне, о проборе я больше не думал, все или ничего — так стоял вопрос. Искуситель победил по всей линии. И я кивнул в знак согласия.

В тот же миг у него в руке сверкнула маленькая машинка, и он, начав с затылка, простриг до самого лба широкую полосу среди моих роскошных локонов. Затем остановился и спросил:

— Ну как, малый, нравицца?

Я взглянул в зеркало и обомлел от страха. Я никак не ожидал, что зрелище окажется столь ужасающим! Справа и слева еще вздымался во всем своем великолепии густой девственный лес, а посередке чашу прорезала широкая просека, целый тракт, настоящая столбовая дорога, и никакая молитва, никакое раскаяние не заставят вырасти на ней до поры до времени хотя бы одно деревце! Мелькнула мысль о родителях, но теперь я не имел права о них думать. Было бы просто наглостью думать о них в такой момент!

Мастер с любопытством наблюдал за выражением моего лица.

— Думаешь, выпорют? Ничего, этто не вредно. Настоящий парень о порке враз забудет... ты ж теперь на-

стоящий парень, не какая-нибудь там цаца! А с дурацкой паклей ты был вылитая цаца!

Но я больше не слушал его. Я думал о том, как меня встретят дома. И тут мне пришло на ум, что мастер здорово разыграл меня. Уж он-то хорошо знал, что новая прическа,— господи, о какой прическе тут речь, когда череп становится все более и более похожим на кегельный шар! — значит, он хорошо знал, что мама придет в ужас от моей стрижки! Вот так всегда у меня получается, слишком поздно я задумываюсь над тем, что мне предлагают! Всегда я попадал впросак, я слишком медленно думал. Только сейчас мне стало ясно, что замухрышка цирюльник был просто шутником. Он позволил себе посмеяться надо мной! Такие шутки, видимо, нравились ему.

Но я не доставляю ему удовольствия и не покажу, что испугался! Я испорчу ему веселье!

Изо всех сил я постарался сделать довольное лицо. И даже сам пошутил над своими ушами, которые совершенно неожиданно вылезли из-под волос и, по мере того как уменьшалась копна локонов, все больше краснели и оттопыривались.

Не знаю, удалось ли мне обмануть хитреца. Но в заключение я его все же крепко озадачил. Когда он завершил свой труд, я протянул ему заслуженный гривенник, который был, однако, великодушно отклонен:

— Ятте постриг даром, малый! Мне этто доставило удовольствие! Ты завтра заглянь сюда, расскажешь, што те твои старики выдали, я те еще один гривенник подарю.

Не принимая его дар, я сказал:

— Нет, нет, возьмите, мне тоже доставило удовольствие избавиться от дурацкой пакли!

И с этими словами покинул цирюльню — с высоко поднятой головой, гордый, как испанец! Гимназическая фуражка стала мне вдруг просторной и заскользила вниз, пока не нашла естественную опору в виде торчащих ушей. Я направился домой.

Но уже через двадцать шагов вся гордость меня покинула. Мне казалось, что каждый встречный, посмотрев на меня, тут же начинал смеяться. Я жался к стенам домов и проклинал долгий летний день, из-за которого был обречен предстать перед мамой при пол-

ном дневном освещении. Я миновал Луипольдштрассе, чтобы не встретиться с детьми наших знакомых. Я бродил по окрестным улицам, сколько мог, пока не приблизилось время ужина и волей-неволей пришлось отправляться домой; по нашей улице я промчался, опустив голову и ни с кем не заговаривая. Дома по «черному» коридору незаметно прокрался к себе в комнату и сел, ожидая неминуемого разоблачения, даже читать не хотелось!

Потом пришла мама и позвала меня ужинать. Я почувствовал, что выражение «не верить своим глазам», неосознанно употребляемое в речи, только теперь обрело для меня смысл. Мама уставилась на меня таким недоверчивым взглядом, будто я — это не я, а какой-то неизвестный, страшно искаженный двойник, фантом, кошмарное видение, призрак... надо только три раза перекрестить его, и он исчезнет в столбе дыма, а на его месте снова появится милый златокудрый мальчик...

Но сколько мама ни терла глаза, никакого златокудрого мальчика не появилось. Призрак остался. Тут она поняла, что произошло, и расплакалась:

— Мальчик мой, что же ты опять натворил! Где твои дивные волосы! Ну на кого ты стал похож?! Что у тебя за уши?! Ты похож на горшок с двумя ручками! Хотя бы постригся на пробор! Ведь я уже отца подготовила, что твоим локонам недолго осталось жить. И ты наносишь ему такой удар? Ну как ты на это решился? И не спросив нас!

Мама продолжала причитать, но я почти не слушал. Меня совершенно сбило с толку ее признание, что это не она, а отец хотел, чтобы я носил локоны. Значит, мама беспрекословно взяла на себя все хлопоты, связанные с локонами, терпела все мои жалобы и ни разу не выдала, что не она, а отец был зачинщиком.

Внезапно мне стало невыразимо жалко маму. Я прильнул к ней и сказал со слезами на глазах:

— Мам, я в самом деле не хотел. Это все случайно получилось, парикмахер очень торопился! — Гордость не позволяла мне признаться, что меня спрашивали насчет стрижки и что я дал себя обмануть. — Они же скоро отрастут, мам, ты ведь знаешь, волосы у меня растут ужасно быстро. И пусть остаются локоны, я больше не буду ругаться из-за них...

Но мама лишь грустно покачала головой:

— Ах, Ханс,— сказала она.— Вот ты всегда так: каяться готов сразу... но лучше бы ты хоть немножечко думал, прежде чем что-то сделать! А с твоими локонами покончено, навсегда! — Она вытерла глаза.— Теперь уж ничем не поможешь. Что случилось, то случилось. Пойдем к отцу, мальчик, пойдем быстрее, скажем ему об этом до ужина, пока других еще нет...

Она взяла меня за руку и повела за собой. Вот так мама поступала всегда. С детьми у нее не было никаких секретов от мужа; если мы просили у нее хотя бы гривенник, она сначала спрашивала отца. Но она всегда была готова заступиться за нас и помирить с отцом; приняв основную долю отцовского гнева на свою неповинную голову, она выдерживала первую вспышку, а уже потом, с глаза на глаз, объяснялась с отцом, защищая детей.

Должен сказать, однако, что в этом частном случае мой добрейший, кроткий отец меня разочаровал. Мне казалось, гнев его по поводу «кражи» локонов нисколько не соразмерен с тяжестью моего проступка. Отец утверждал, что у меня позорный вид, вид каторжника! Только у каторжников такие наголо остриженные головы!! Со мной стыдно показаться на улице!!! Меня надо прятать от родственников и знакомых! Что же касается нашей поездки, то он отказывается ехать со мной в одном купе! Пусть мама поступает, как ей угодно, но он, он не сядет на одну скамью с каторжником!!

Все это было настолько непривычно и неожиданно, что повергло меня в смятение. Позднее мне доводилось совершать куда большие глупости и даже низкие поступки, однако отец, поостыв после первого замешательства и раздражения, всегда становился прежним, терпеливым, готовым подать руку помощи. Но сейчас он был просто неузнаваем: когда я довольно неуклюже попытался оправдаться, сославшись на дешевизну этого фасона стрижки, и протянул отцу два сэкономленных гривенника, он с яростью выбил их у меня из руки. Отец, который вовсе не был злопамятным, еще долгое время обзывал меня «каторжником», когда в нем вдруг с новой силой вспыхивал гнев.

Размышляя ныне об этих совершенно непонятных вспышках, я думаю, что ключ к их объяснению лежит в слове «каторжник». Отец был юристом, он был

судьей, причем судьей, выносящим приговор по уголовным делам, и к числу очень болезненно воспринимаемых им обязанностей такого была обязанность выносить смертные приговоры. Я помню, как мама в такие дни особенно тщательно следила за тишиной в доме. Официально нам, разумеется, не сообщали, почему это вдруг отцу понадобилось, чтобы в квартире было тише обычного. Но мы всегда узнавали правду, уже не помню каким путем,— то ли благодаря моим тайным вылазкам в отцовский кабинет, то ли благодаря случайно оброненному слову в разговоре мамы с прислугой.

И вот мы тихо сидели по нашим комнатам, а когда наступал вечер и смолкал уличный шум, мы слышали из кабинета отца его шаги, легкие, быстрые,— час, другой, третий, пока не засыпали. Мы знали: отец взвешивает преступление и наказание. Нередко суд располагал только доказательством, основанным на косвенных уликах, и отец пытал свое сердце: способно ли оно судить без гнева и пристрастия.

(Иного, пожалуй, удивит, что мой отец, который мог так скептически отзываться о юриспруденции вообще и о гражданском процессе в частности, относился к своей работе с почти священной серьезностью. Но чтобы составить правильное мнение об отце, надо обращать внимание на его поступки, и никогда — на его слова. Он любил Жан-Поля, Вильгельма Рабе, Теодора Фонтане — людей, которым никак не удавалось удержаться от красного словца; тех, кому игра ума доставляла радость и кто, однако, с не меньшей серьезностью верил в истину и в человечество.)

Но отцу приходилось не только выносить смертные приговоры; по обычаю того времени ему, как я полагаю, надлежало также иногда присутствовать при их исполнении. Какая это, должно быть, пытка для нежного, сверхчувствительного человека! Однако нежность уживалась в нем с мужеством: он ни разу не уклонился от последствия вынесенного им приговора. Очевидно, ему доводилось иногда видеть осужденных в самых ужасных обстоятельствах, а признаком осужденного как раз и была наголо остриженная голова!

Таково лишь мое предположение, основанное исключительно на догадках, но мне думается, этим можно объяснить причину безмерного гнева, охватившего отца

при виде моей «каторжной» стрижки. Я никогда не поверю, что он рассвирипел из одного лишь безрассудного отцовского тщеславия. Нет, таким отец не был.

СЕМЕЙСТВО В ПУТИ

Наконец этот день наступал!

Хотя наш поезд отправляется со Штеттинского вокзала только в восемь утра, вся семья, включая отца, уже в половине шестого поднята с постелей, ибо постели тоже надо упаковать! Пока мама со старой Минной записывают их в гигантский мешок из красной парусины, Криста готовит на кухне штабеля бутербродов. Бутерброды с колбасой. С яйцом. С жареным мясом. С сыром. Но как ни проворно она их намазывает и укладывает, штабеля растут плохо, так как мы периодически совершаем налеты на кухню и заглатываем бутерброды один за другим. Наш аппетит не уступает охватившему нас волнению. Итак, мы в самом деле уезжаем!

Неожиданно я вспоминаю, что мне надо еще поговорить с консьержем. К радости всех соседей, мы с Эди в половине седьмого утра с грохотом мчимся вниз по лестнице и приветствуем вечно угрюмого домоправителя. Неудивительно, что он угрюм,— ведь он-то не едет к морю, у него же нет каникул!

Не менее как в десятый раз я убедительно прошу его ухаживать за моими кроликами,— я держу их в подвале. Особенно за Мукки, чтобы он каждый вечер получал свою любимую морковку, это так важно!

Консьерж — само воплощение отказа.

— Сдались мне твои кроли, у них вши!

Я оскорблен и протестую.

— Есть, да еще сколько! Ежели у тебя глаз нет, возьми лупу да загляни кролям в уши! Там не то что вши, а целая вшарня!

Разделавшись таким образом со мной, консьерж принимается за моего брата Эди.

— А насчет твоего хомяка вот что я тебе скажу! Отвечать за него не берусь! Кормить-поить согласен, но говорю тебе: ящик ненадежен, так что учти! Ежели удерет, я за ним не поскочу! Не дожидайся!

Уже месяца три Эди держит в комнате хомяка, которого поместил в ящик с проволочной сеткой. Отец

официально об этом ничего не знает, как не знает — официально — и о моем крольчатнике. Но мои кролики — смиренные ручные животные, а Эдин хомяк, по кличке Максе, — верх злобности. Эта bestия только шипит, плюется и кусается, однако Эди всей душой привязан к хомяку. Он воображает, что со временем научит его свистеть и танцевать словно сурка!

Эди заверяет консьержа, что хомяку очень хорошо живется в ящике, он еще ни разу не пытался удрать.

— Не болтай чепухи! — ворчит консьерж. — Вот уедешь, зверушка и начнет тревожиться. А у меня нету времени сидеть возле него и байки ему рассказывать: какая, мол, хорошая житуха в твоём ящике! Будь я вашим отцом, я бы вам заводить зверье не позволил; ведь это ж сущее мучительство получается — держать кролей в темном подвале, а хомячонка в ящике!.. Но то меня не касается. Я не состою в обществе защиты зверья!.. Предупреждаю, ежели что с ними случится, мое дело сторона. Поняли?!

Не понять было нельзя, — другого кормильца так скоро не сыщешь, — и мы поняли. Огорченные, мы с братом поднялись по лестнице. Но едва я увидел великолепную суматоху в нашей квартире, как тут же забыл о своем огорчении. Все домашнее хозяйство находилось в состоянии расформирования. Пять существ женского пола бегали — по всей видимости, бесцельно — взад и вперед, что-то приносили, что-то уносили.

Минна звала маму:

— Госпожа советница, мне опять нужен ключ от большой корзины!

Фитэ, держа сигарный ящичек с кукольными платьями, требовала, чтобы мама положила их в уже запертый чемодан. Итценплиц рылась в отцовских книгах, выбирая что-нибудь почитать на дорогу. Криста продолжала намазывать бутерброды.

В прихожей стоял отец и пытался сосчитать багаж; пустое занятие, ибо едва он определял окончательную цифру, как тут же уносили одно место и добавляли два.

— Луиза! — воскликнул отец. — Пора идти за извозчиком! Посылать Ханса?

— Одну минутку, Артур! Мне надо проверить, уложены ли купальные полотенца.

— Поторопись!

— Мы с Эди налетели на отца, спрашивая, кто из нас поедет на козлах с кучером. Отец сказал, что будет видно; от непривычной суматохи он уже заметно нервничал, однако старался во что бы то ни стало поддерживать свою репутацию блестящего организатора, у которого все идет как по маслу.

— Я посылаю Ханса! — сообщил он, бросив взгляд на часы. — Больше ждать нельзя!

— Еще одну минуточку, Артур! Ну, пожалуйста! Мы никак не завяжем мешок с постелями!

— Беги, Ханс! — тихо сказал мне отец и направился завязывать постельный мешок.

Я кинулся вниз по лестнице. Эди присоединился без приглашения. Пришлось с этим мириться, хотя было неприятно. Ведь когда едешь один на извозчике, в этом есть что-то помпезное. Вдвоем это не так впечатляет.

Был первый день больших каникул. Весь Берлин, все, у кого были дети и возможность уехать из города, готовились в путь. Мимо нас проезжали извозчики, но они были заняты. Мы носились в поисках свободной кареты взад и вперед, мы удвоили наши усилия, так как знали, с каким нетерпением нас ждет пунктуальный отец. Пустых карет попадалось немало, но ни одна из них по своей вместимости нам не подходила. Нужна была настоящая багажная карета, то есть повозка с черным крытым кузовом и решеткой на крыше, куда можно взгромоздить большую часть багажа вместе с постельным мешком.

Наконец у Ноллендорфплац удалось поймать такую колымагу. Гордые, мы вошли в «салон» и чинно уселись на темно-синие подушки. Но тут же вскочили и прильнули к окошкам. С чувством превосходства мы наблюдали, как, обливаясь потом, отцы семейств, мальчишки, служанки и консьержи ловили извозчиков.

— *Beati possidentes!* — сказал я Эди и, зная, что он еще не силен в латыни, тут же с гордостью перевел: — Счастливы владеющие!

Да, нам завидовали. Повсюду на тротуарах, за бастионами чемоданов и сундуков стояли семейные посты. Старые бабушки отчаянно махали нашему кучеру зонтиками. Мальчишки. — те просто вскакивали на поднож-

ку нашей кареты и предлагали кучеру лишнюю марку, если он повезет их. Мы колотили абордажников по рукам, пока те не прыгивали.

Отец, высматривая нас, тоже стоял на Луипольдштрассе возле нескольких чемоданов. Он начал было выговаривать за опоздание, но кучер за нас вступился:

— Мальчуганы не виноваты! — сказал он. — Им еще повезло, что поймали меня! Нынче во всем Берлине не сыщешь грузовой кареты... Ну, герр швейцар, — обратился он к нашему домоправителю, который только что подтащил вместе с Минной огромный чемодан, — где тут у вас что побольше? Это? Давайте-ка закинем, а ну, взяли!

И они вдвоем принялись водружать чемодан, через колесо и козлы, на крышу. Из подъезда выходили один за другим члены семейства с багажом, несли свернутые пледы, связки зонтиков, среди которых торчали наши прошлогодние лопатки для пляжа. Мы с Эди не участвовали в перетаске, мы были заняты осмотром «наших коней». От знаменитой породы Виннету они определенно не происходили, но я считал, что они восточно-пруссские, а Эди был за ганноверских, — о чем мы оба, разумеется, и понятия не имели.

Отец тем временем пытался помогать грузчикам советами. Но на главу семейства сейчас никто не обращал внимания, даже Минна не слушала его. Тогда отец внезапно ринулся в дом, чтобы поторопить маму.

Наконец все сошли вниз. Наконец все было погружено и увязано. Все уселись в карету. Я дулся, поскольку меня втиснули между сестрами, в то время как Эди восседал на козлах. Правда, не на самих козлах, а на чемоданах, поставленных возле кучера: верх экипажа оказался все же недостаточно вместительным.

Мама высунулась из окна и давала Минне, намеревавшейся до своего ухода в отпуск привести квартиру в порядок, последние указания, которые, вероятно, еще тысячелетия назад всякая хозяйка при отъезде отдавала своей ключнице:

— Проследите, чтобы не капала вода из кранов. И непременно выключите газ! А когда будете натирать паркет в столовой, то в том месте, где Криста уронила угли, потрите сначала железными опилками. Пудинг фрау Тието заберет сама. Цветы на балконе поставьте

все на пол, фрау Маркулай будет легче их поливать. Да и дождь иногда пройдет. И не забудьте отменить доставку булочек и молока. Да, а почтальону скажите, чтобы газету пока отдавал Эйкенбергам...

— Поехали! — крикнул отец кучеру, лошади тронули, и мама плюхнулась на сиденье.

— Ах! — воскликнула она испуганно. — Я наверняка что-нибудь забыла... Ведь что-то я хотела еще!..

— Если вспомнишь, — решительно сказал отец, — напишешь фрау Тьето открытку. Надо спешить, иначе опоздаем на поезд!

— На будущий год встану на час раньше, — сказала мама. — Никогда все спокойно не сделаешь. Я совершенно замучилась... Что же я забыла? Ведь что-то я хотела еще!..

И она погрузилась в размышления.

Тем временем карета, скрипя и дребезжа, проехала по Мартин-Лютер-штрассе и теперь сворачивала на Лютцовплац. Вся площадь была залита утренним солнцем. Фонтан Геркулеса уже журчал, демонстрируя свое искусство, и сверкающие струи рассыпались на свету тысячами зеленых, желтых и голубых брызг. В песочных ящиках уже копалась детвора. А мы уже сегодня вечером будем играть на морском песке!

Когда же мы еще быстрее покатали по зеленой Хофъегераллее, мне вдруг все показалось каким-то нереальным. Да, я сижу в карете, еду с родителями, сестрами и братом отдыхать к морю, — но в самом ли деле это я еду? Год непрерывно прожитой в городе жизни настолько вьелся в меня, что все происходившее сейчас в действительности казалось мне совершенно нереальным.

У меня было странное чувство, будто я все еще нахожусь дома на Луипольдштрассе. Будто стою у себя в комнате, — я и в то же время не я, ведь я также ехал здесь, в карете, по Тиргартену! На меня вдруг нашло, как уже находило не раз, — правда, слабее, — что существуют, собственно, два Ханса Фаллады, два совершенно одинаковых Ханса Фаллады, и происходит с обоими одно и то же, но переживают они это по-разному.

Я и раньше пытался додумать эту мысль до конца, однако без успеха. Ведь если есть два совсем одинаковых Ханса, то они должны жить у одних и тех же родителей в одном и том же городе. Да и не только

в том же городе; на той же улице, в том же доме и — круг все больше и больше сужался — в той же комнате. Они должны спать в одной кровати, торчать в одной шкуре, говорить одним ртом, — значит, другой Ханс Фаллада должен быть мною.

Ну это неверно, так как я не ощущаю его, а как бы вижу со стороны. Он должен быть точно таким же, но одновременно и другим, ведь я вижу его не внутри, а лишь вне себя. Он тоже — я, но у него, кроме того; и свое «я», не совсем такое же реальное, как мое «я», как я, который ехал сейчас в карете. Он — как тень или призрак. Или как двойник.

Иногда это ощущение таило в себе нечто пугающее, как если бы мое второе «я» что-то сделало, с чем я совершенно не был согласен, а мое первое «я» должно было за это отвечать, словно это сделал я сам. Но сейчас, втиснутый в переполненную карету, еще прохладным летним утром, я чувствовал чуть ли не избавление, — ведь я оставил этого другого «я» там, в квартире, угрюмого, недовольного. Я был глубоко счастлив, что уезжал от него, уезжал навстречу лету, в такое место, где второго «я» наверняка не будет.

Я знал, каникулы будут счастливыми. Я смотрел на деревья Тиргартена, видел зеленую листву, светлые платя, и мне стало вдруг так радостно, как никогда. Во мне все пело: «Я еду на каникулы! С Берлином кончено! И школа позади! В моей комнате остался другой Ханс Фаллада, которого я всегда должен стыдиться, и я уезжаю от него! До чего же я счастлив!»

Впервые, единственный раз я испытал полное согласие с самим собой. Не было больше никакой раздвоенности, никаких сомнений... Я действительно был счастлив...

И в последующие годы мы также ехали в карете по Берлину, отправляясь на летний отдых. И не раз я вспоминал пережитое мною тогда чувство. Я даже пытался вновь вызвать в себе его. Даже подсказывал себе: «Я еду! В самом деле еду! Уезжаю на каникулы! Уезжаю от всего!» Но то чувство реально-нереального больше никогда во мне не возникало, никогда больше я не испытал прежнего ощущения счастья.

Правда, в тот день оно слишком быстро исчезло.

Но вот приближается Штеттинский вокзал. Мы уже не единственная карета, нас целый войсковой обоз. Со всех поперечных улиц кареты сворачивают на Инвалиденштрассе.

Фитэ и я, наполовину высунувшись из окон, высматриваем, есть ли хоть одна карета, нагруженная выше нашей, но таковой не обнаруживаем. Мы — победители!

Мама наконец вспомнила:

— В буфете осталось полпирога, я же хотела взять его в дорогу! Напишу Тати, чтобы она забрала его себе. Жаль!..

Отец, немного нервничая, дает инструкции:

— Дети, не отходите от мамы! Вы тоже, Криста! Луиза, ты с детьми ждешь меня в зале у самой лестницы. Багажом займусь я сам. Надеюсь, в нашем купе, которое я заказал, посторонних не будет!

Мы останавливаемся у Штеттинского.

— Носильщик! — кричит отец.

Но Штеттинский вокзал как бурлящий водоворот. Перед нами наполовину разгруженная карета, за нами — те, которые хотят разгрузиться и уже напирают на нас. И ни одного носильщика, который внял бы зову отца!

— Эй, вытряхивайтесь, побыстрее! — кричит извозчик, стоящий позади нас. — Или вы за стоянку уплатили?!

Отец пересматривает все ранее принятые диспозиции.

— Кучер, сгружайте чемоданы. Криста, мы с вами поможем ему. Луиза, не отпускай от себя детей, возьми ручную багаж. Пересчитай вещи!

Мы здесь лишь частица кружащейся, бегущей, кричащей, смеющейся толпы. Внезапно я утыкаюсь носом в живот какого-то господина. Приподняв меня, он восклицает: «Малыш, не зевай!» — и сажает на чемодан, с которого меня тут же сгоняют, так как он не наш.

Отец в содружестве с Кристой пыhtят над огромным чемоданом. Зубы отца стиснуты, острые кончики усов вздрагивают.

— Осторожней, Криста! Не бросайте!

Через толкучку невозмутимо пробирается «синий», останавливается возле нас и говорит отцу, хлопнув его по плечу:

— Эй, вы! Здесь не разрешается сгружать багаж!
Вы загораживаете проезд!

Я потрясен: обыкновенный щуцман обращается к моему отцу «эй, вы!» и запросто хлопает его по плечу. Будь я на месте отца, я бы с достоинством дал ему понять: «Эй, вы! Я камергерихтсрат!»

Но отец лишь безнадежно разводит руками:

— Никакой возможности достать носильщиков!

— Надо было раньше вставать! — заявляет щуцман, что совершенно несправедливо, так как мы встали очень рано. — Во всяком случае, багаж отсюда уберите! И побыстрее!

«Синий» исчезает прежде, чем отец успевает ему ответить. Тем временем между мамой и Эди началась какая-то перебранка. Эди велят нести маленький чемоданчик и связку зонтиков, а он отказывается. Одну руку, словно после прививки, он заложил за борт летнего пальто и утверждает, будто ушиб ее на козлах. Поэтому нести этой рукой ничего не может. Мама хочет взглянуть на ушибленное место, однако Эди не желает публично обнажаться и держится от мамы подальше. Мне смешно, как он прячет руку под пальто...

Отца нет, и мы, оставшись без мужской защиты, вынуждены сносить оскорбления и брань извозчиков и пассажиров. Я с дрожью думаю, что будет, если вернется «синий» и застанет нас еще у горы чемоданов. Ради осторожности я отхожу в сторону и прячусь за чужими спинами: лучше не иметь отношения к семейству, которое все ругают. Но зоркое око мамы, то и дело пересчитывающее своих цыплят, сразу же замечает мое исчезновение. Она окрикивает меня, и я вынужден опять стоять рядом с ней в эпицентре оскорблений. Неожиданно для себя я начинаю обвинять отца в том, что он все делает наоборот. У нас всегда все не так, как у других. Те, кто сзади, давно уже взяли носильщиков...

Вот и наш извозчик поднимает бунт. Ему надо уезжать, и он требует от мамы плату. Без согласия отца мама не решается дать ему деньги — вдруг он еще нужен отцу. Кучер начинает грубить, а мне, вместо того чтобы на него рассердиться, вдруг становится стыдно за маму...

Слава богу, вот и отец. Его сопровождают двое носильщиков, толкающих большую тележку. Отец чуть

бледен, растерян, но кончики усов у него больше не дрожат. В один миг багаж погружен, и тележка катится к вокзалу. Отец рассчитался с кучером, который тотчас из грубияна превратился в учтивого человека. На прощание он даже приподнимает свой лакированный цилиндр, желает нам счастливого пути и хорошего отдыха.

Под командованием мамы мы спешим к лестнице, ведущей на перрон. Каждый из нас,— кроме Эди, который настоял на своем,— несет самое меньшее по две вещи, а Криста и мама даже по три и четыре. У подножия лестницы все сгружается, образуя бастион, но его тут же приходится ломать — мы загородили проход и нас опять ругают.

Держась за перила, я поднимаюсь на три ступеньки и с возвышения смотрю на бушующий зал, на бесконечное, непрерывно меняющееся скопление голов. Я пытаюсь разглядеть отца у длинного барьера багажного отделения среди сотен пассажиров, которые стоят там в три-четыре ряда. Бесполезное занятие. Из-за чемоданных гор ничего не видно. Тогда я смотрю в сторону касс. У всех окошечек толпятся люди. Слава богу, что отцу не надо туда идти. У нас уже есть билеты, даже заказано отдельное купе!

Но что, если там расселись другие, как в прошлом году? Есть же бессовестные, которые просто сдирают с окон наклейки с надписью «Заказано» и уверяют, что ничего не было наклеено. В таких случаях начинались бесконечные, накалявшиеся с каждой минутой переговоры, на которые отец, как я заметил, совершенно не был способен. Сколько бы ни ругались другие, он всегда разговаривал тихо и вежливо. Я бы на месте отца ругался еще хлестче! Увы, что и говорить: всякий раз, как мы покидали наш дом с его порой надоедающим порядком, над нами сгущались тучи. Мы больше ничего не значили. К нашему отцу, который нам внушал такое уважение, казалось, никто почтения не питал, все надежное становилось ненадежным.

— Ханс! — окликнула меня мама, и — смотри-ка! — отец уже здесь, с нами! Багаж сдан. Еще не остыв от недавнего боя, отец сообщил, что багаж непременно отправят нашим же поездом, — это ему твердо пообещали носильщики.

— Как только вы усядетесь, я пойду к багажному вагону и прослежу, чтобы все вещи погрузили де-факто.

— Дай-то бог! — сказала мама, глубоко вздохнув. — А то как мы будем спать сегодня?

Начинается марш на перрон, к поезду.

— Седьмая платформа! — напоминает отец.

Мама с Фитэ идут в авангарде, мы с отцом образуем арьергард. Но маршировать сомкнутым строем невозможно. То и дело между нами вклиниваются посторонние. Вновь сформироваться нам удастся лишь у будки билетного контролера. Отец предъявляет билеты и пропускает своих чад вперед, пересчитывая их по головам. Неожиданно он вскрикивает:

— Луиза! Нас ведь должно быть семеро, а тут всего шесть! Где Эдуард?

— Эди?! — зовет мама. — Эди!! Он же только что был здесь! Разве ты не видел его на лестнице?

— Не знаю! — говорит отец и с отчаянием озирается по сторонам.

— Давай, не задерживай! — кричит контролер. — Не устраивайте здесь пробку! Освободите проход!

— Когда ты видела Эди в последний раз? — кричит отец через барьер.

— Не знаю! Когда мы шли к лестнице, он еще был... по-моему!

— Ну, туда или сюда! — энергично заявляют отцу. — Нельзя же из-за вас останавливать все движение!

— Я пойду искать мальчика! — восклицает отец, и это звучит как последний завет. — А вы садитесь в вагон!

И он ныряет в толпу, словно пловец в пучину.

Подавленные, мы бредем вдоль бесконечного состава. Мама путем опроса пытается выяснить, когда мы в последний раз видели Эди, будто это имеет сейчас какое-то значение!

— А его чемоданчик здесь? Нет? Тоже нет! О боже, мой мальчик! И всегда он что-нибудь натворит! Хоть бы не попал к дурным людям! Бедный наш отец! Он так любит, когда все идет тихо, гладко! А сегодня все шиворот-навыворот...

— Мам, — говорю я. — Вот начинаются заказные купе. Посмотрим нашу фамилию!

Искать долго не приходится — вот окно, а на нем наклейка с нашей фамилией.

— Слава богу! — вздыхает мама. — Хоть это в порядке! И купе, кажется, еще не занято!

Но, открыв дверь, мы убеждаемся, что там уже кто-то сидит, и это, разумеется, не кто иной, как... наш дорогой братец Эди!

— Эди! — восклицает мама в изумлении. — Как ты сюда попал?!

— О! — говорит Эди. — На лестнице меня затолкали... Ну, я и подумал, что лучше побегу вперед и буду сторожить купе. И знаешь, мам, хорошо, что пришел, тут уже какие-то три раза хотели занять

— Но как же ты прошел без билета, Эди?!

— О! — говорит опять Эди. — Очень просто! Я сказал щелкунчику, что папа идет сзади, — я же не соврал, ведь папа пришел!

— Твой отец не пришел, — говорит мама строго. — Твой отец ищет тебя по всему вокзалу... Ганс, беги и скажи отцу... Нет, ты еще слишком мал. Фитэ... Нет, лучше Итценплиц... Нет, ты тоже мала, не увидишь через головы! Криста, идите вы, скажите, господину советнику...

— Ой, госпожа советница, пожалуйста, пожалуйста, не посылайте меня! Уж я непременно заплутаюсь и ни за что не отыщу господина советника! И поезд уйдет, а у меня никого знакомых в Берлине, и дорогу на Луипольдштрассе я не знаю...

У Кристи уже капают слезы.

— Хорошо, пойду я! — смиренно говорит мама. — Но чтобы никто из купе ни шагу! И если придут посторонние, скажете, что все места оплачены и заняты. А если кондуктор потребует билеты, скажите ему, что отец сейчас придет! Эди, слева у окошка сядет отец, пересядь...

И прежде, чем между братьями и сестрами успевают разгореться битва за места у окон, мама исчезает в перронной сутолоке. Мы чувствуем себя потерянными и брошенными. Что, если поезд отправится до возвращения родителей? У нас ни денег, ни билетов, что делать?

— Ханс! — таинственно шепчет мне Эди. — Уступи мне твое место у окошка, а?..

— И не подумаю!

— Ну уступи! — просит он. — Понимаешь, надо.. Очень!.. Вон, погляди-ка!

И он показывает вниз, как раз под то место у окна, откуда его согнала мама.

Я заглядываю под лавку, и тут же мне навстречу раздается знакомое шипение, но несколько приглушенное.

— Ты что, взял хомяка? — спрашиваю я удивленно.

— Ясно, еще бы! Не мог же я оставить его этому Маркуляйту... ты сам слышал, что старый дурень грозил! Всю дорогу я держал его за пазухой... Морду, конечно, замотал тряпкой. Воздуху ему хватает, но кусаться он не может!

— А если папа заметит?..

— О-о!.. Как только поедет, папа его уже не выбросит! А там, в Граале, он вообще никому не будет мешать. Я поймаю ему самочку, и когда будут маленькие, продам их в зоомагазин. За хомячков дают кучу денег!

— Ладно, сажай его ко мне под лавку! — решительно говорю я. — Только смотри, чтобы эти курицы не заметили, а то еще раскудахтаются!

Курицы, то есть сестры, были, слава богу, заняты: прильнув к окну, они высматривали родителей и то и дело поглядывали на часы.

— Еще восемь минут только! — говорит Итценплиц. — Если не придут, командовать буду я. Как старшая!

— Ничего подобного! — возражаю я. — Старшая — Криста!

— Криста, ты хочешь командовать? — спрашивает Итценплиц нашу семнадцатилетнюю сеньору. — Вот видишь, Ханс! Она вовсе не хочет, да и не может. Она вообще ни о чем понятия не имеет!

— Ну и какую же ты дашь команду?

— Всем выйти из вагона до того, как поезд тронется!

— Ага! Ты сегодня здорово соображаешь! — говорю я со всей братской учтивостью. — Только забыла, что мама запретила нам выходить из купе!

— Но ведь мы не можем ехать без родителей!

— Почему не можем? Купе, значит, поедет пустым, когда папа заплатил за него? Ведь тогда еще раз придется платить за всех семерых, проще им вдвоем с ма-

мой поехать за нами вслед. Может, они догонят нас еще до Гельбензанде, если поедут скорым. По-моему, это даже шикарно — поехать разок одним! Еще как здорово, правда, Эди?

— Конечно! — поддакивает Эди, думая о хомяке, спрятанном под лавкой. — Можешь твердить мне хоть десять раз, Итценплиц, я все равно не выйду. Мама запретила, и все.

— Но мы не можем ехать! — вступилась за сестру Фитэ. — Ведь у нас нет билетов!

— Еще четыре минуты! Смотри, кондукторы уже начали закрывать двери! Криста, едем или остаемся?

— Почему я знаю! — скулит Криста. — Но к чужим людям я с вами не пойду ни за что! И одна с вами тоже не поеду, вы ж меня нисколько не слушаете!

— Вот видишь, Ханс! — торжествует Итценплиц. — Криста тоже говорит, что надо выходить!

— Нет, нет, я с вами не выйду! — голосит эта рёва. — Не выйду, там полно народу! Вы враз удерете и меня бросите, куда ж мне тогда деваться!

— Итак, выяснено, — заявляю я, необычайно гордый своей проницательностью, — что Криста не желает ехать и не желает вылезать. Чего же ты, собственно, хочешь, Криста?

— Почему я знаю!.. Чего вы меня все пытаете?.. Вот вам мое слово: ежели господин советник сейчас не придут, я поеду к себе домой! Очень мне надо бродить по свету, будто я сирота какая... У меня тоже есть родители, тоже есть свой дом!

Ну вот, слава богу, вернулись господин советник с советницей. От радости, что успел на поезд, отец лишь шуточно побранил Эди да слегка потрепал его за ухо. Пока мама укладывала подушки, оборудуя отцу уютное местечко у окна (мы ехали, разумеется, третьим классом), пока отец менял толстый суконный пиджак на тонкий люстриновый и фетровую шляпу — на легкое кепи, которое защищало его уже просвечивающий сквозь редяющие волосы череп от сквозняков, пока Итценплиц приобщалась к «Тайнам старой девы», Фитэ требовала у Кресты свою большую куклу, которой тоже надо немножко полюбоваться ландшафтами, Эди в непривычно деревянной позе сидел на «моем» месте в углу, загораживая ногами убежище хомяка, которого он бечевкой привязал к отопительной трубе, а я выгляды-

вал в открытое дверное окно,— посадка уже заканчивалась; последние пассажиры спешно впихивали багаж и влезали в вагоны. Вот захлопнулись двери, раздался пронзительный свисток обер-кондуктора, и паровоз, громко пыхтя, тронул вагоны с места.

Поезд, набрав скорость, еще продолжал гроыхать на десятках стрелок, и я с любопытством вглядывался в тесные, закопченные берлинские задворки, которые казались мне сейчас, когда я ехал к морю, особенно ужасными. Мне было жаль обитавших в них людей. Я недоумевал, как это мы прожили почти целый год на четвертом этаже такого же дома на Луипольдштрассе!

Но вот стало попросторнее, я увидел кладбище общины французского собора и церкви Гедвиги и, внезапно приуныв, обернулся к отцу:

— Когда мы снова увидим это кладбище, большие каникулы уже кончатся!

— А следующие станут ближе на полтора месяца! — засмеялся отец и сладко потянулся в своем углу. — Никогда не унывай, сын, радуйся тому, что имеешь! Пусть не томит тебя неизвестность будущего, равно как и неизбежный кол за ближайшую контрольную по алгебре. Полтора месяца — это бездна времени, Ханс, давай наслаждаться им, не будем портить себе настроение. — И отец пристально посмотрел на Эди-злодея.

Только что нас гордо обогнал скорый поезд. С завистью поглядев ему вслед, я тут же забыл о своем огорчении по поводу бренности всего земного и воскликнул:

— Ах, папа, почему мы никогда не ездим скорым? Мне ужасно хочется съездить на нем хоть разок!

Отец улыбнулся всеми своими морщинками вокруг глаз.

— А к чему, сын мой? И там и здесь ты сидишь на дереве, но там ты платишь за это дороже и получаешь меньше удовольствия, так как на три часа раньше прибываешь на место. Зачем нам дарить железной дороге эти три часа?

Мне кажется, что отец и вправду так думал. Возможно, он возил нас пассажирским поездом не только из экономии. Его природе была противна всяческая суета и спешка. Ему нравилось, когда поезд останавливался на каждой маленькой станции. Выглянув в окно и понаблюдав, как три-четыре крестьянки с корзинами

поспешно влезают в вагоны, отец, удовлетворенный, садился на место: наблюдение сделано, подмечена деталь, которая ляжет в основу очередной историйки. Какое-нибудь торопливое прощальное слово, важный вопрос — что было у женщин в корзинах, одинокая корова, высунувшая влажную морду в приоткрытую дверь товарного вагона, — все это и тысячи других вещей давали ему пищу для развлекательных бесед.

Верно, теперь я вспоминаю, что отец имел особое пристрастие к книгам Генриха Зейделя, этого создателя философии уюта и будничного счастья для маленьких людей, писателя, чей слишком дешевый оптимизм ныне уже кажется пошловатым. Подобно тому, как зейделевский Леберехт-Хюнхен, съедая одно яйцо, тешился мыслью, что вместе с этим яйцом с лица земли исчезнут сотни грядущих куриных поколений — и только лишь ради насыщения его, Леберехта, утробы (он называл это кутежом), и потому он вправе приравнять себя чуть ли не к божеству, так и мой отец, которому редко удавалось оторваться от своей работы, снимал мед с каждого цветка. Каждый человек был ему интересен, каждая птица радовала его, и на каждой мусорной куче он обнаруживал цветы, которых, кроме него, никто не замечал! Так почему же он должен отказываться от третьего класса пассажирского поезда, если это ему доставляет особое удовольствие?!

Мама вернулась после рекогносцировки. Она искала «известное заведение», которое на нашем детском наречии именовалось попросту «одним местечком». Когда семь-восемь часов сидишь в поезде с четырьмя, а вернее — с пятью, детьми (ведь нельзя же считать Кристу совсем взрослой!), то проблема «одного местечка» становится насущной. Однако мама принесла утешительные вести.

— Это совсем рядышком, — сообщила она полушепотом, учитывая деликатность темы. — Оно для двух купе — нас и соседей, значит, не будет вечно занято. Правда, они едут с пятью детьми и самому старшему не больше десяти... Очень милые люди, я перекинулась с ними словечком, но у фрау не очень тонкий вкус, на ней слишком много украшений. Они едут в Брунсхауптен... уже пятое лето, подумать только! И очень довольны местом, говорят, что там все можно достать гораздо легче, чем в Граале. У них там есть даже пристань,

а ведь так интересно для детворы, когда причаливает пароход, говорят они... Правда, очень приятные люди, несмотря на массу украшений... Дети, проходя мимо соседей, обязательно здороваются с ними, слышите!

Мамин отчет о соседях я слушал лишь в пол-уха. Я был занят воспоминаниями о прежних поездках, когда мы были еще маленькими. В те времена, очевидно, не в каждом вагоне были предусмотрены «заведения», и что же оставалось делать несчастной матери с детьми, когда им хотелось «туда», а никакого «туда» не было?

Что... мы вот ездили с прибором, который у нас назывался «резиновым горшочком». Как он к нам попал,— то ли сами купили, то ли кто подарил,— я уже не помню. Стоил он наверняка недешево, но так или иначе, он был нашим семейным имуществом и остался у нас, несмотря на явные недостатки в его конструкции. Изобретателем этого дорожного горшка, вероятно, владела лишь одна идея, а именно, что у путешествующих мало места в чемоданах. Посему он сконструировал свой горшок по принципу шапокляка: при нажатии на боковые стенки он складывался, как упомянутая шляпа. Стоило нажать еще раз, он расправлялся, и его грубая резиновая оболочка натягивалась, услужливо подставляя округлое вместилище. (Кстати, это была очень соблазнительная игрушка для детей, но играть ею нам не дозволяли.)

Изобретатель, однако, не учел, что за экономию места потребителю придется расплачиваться дорогой ценой неуверенности. Горшок предназначался для поездок, а поездки, как известно, совершаются не в неподвижных сооружениях, а в снабженных колесами экипажах, которые более или менее быстро движутся. Даже на железной дороге, рельсы которой являются, по нашим понятиям, наировнейшим путем, вагон нередко трясет, качает на поворотах, бывают внезапные толчки, когда машинист рывком включает тормоз.

Ну ладно! Умеренную и равномерную нагрузку горшочек еще выдерживал, особенно если пользователь умел терпеливо балансировать на корточках или находиться в полувзвешенном состоянии. Но если давление на боковые стенки резко усиливалось, например, при неожиданном повороте поезда, то горшочек превращался в шапокляк. Он мгновенно складывался, и содержимое...

Нет, должен признаться, что еще ребенком я считал этот горшочек отъявленным злокой. Он так и поджидал, чтобы напакостить. Причем сначала терпеливо сносил даже сильные толчки, дабы соблазнить своего владельца мнимой безопасностью и позволить ему преспокойно отдаться своим делам (*laisser faire, laisser aller*); а потом вдруг «ах!», и все вскрикивали!

Пройдя суровые испытания, мои родители понаторели в обращении с этим злодеем. Они становились возле ребенка, один поддерживал его под правую руку, другой — под левую.

Отец обычно увещевал:

— Ну, делай скорее, Ханс! Я только что выглядывал в окно, дорога впереди совсем прямая!

Но не успевали мы оглянуться, как поезд вдруг тормозил или входил в поворот и все дружно ахали, все!

Иной спросит, почему же мои родители после столь горького опыта не выбросили новомодное резиновое устройство и не вернулись к оправдавшей себя эмалированной жестяной посудине, которая, хотя и занимала больше места, была устойчивее и надежнее. Не знаю, но, наверное, таков человек, что ему в конце концов становятся дороги его мучения и он без них не может прожить. К тому же мы росли, это тоже надо учитывать. А эмалированный горшок означал новую покупку; дома у нас был только фаянсовый (его называли фарфоровым), изукрашенный всевозможными цветочками.

— Ведь еще только один этот год, отец, — говорила мама. — На следующий дети уже будут большими и смогут выбежать на станции. А пока нам просто надо быть внимательнее...

Да, попробуй тут уследи! Горшочек куда внимательнее. Вот вам, пожалуйста, опять!

Итак, мы уже дважды позавтракали, съев в три раза больше, чем обычно съедали дома; все клюют носом, а кое-кто и спит. Напротив меня сидит Криста, у нее на коленях спящая голова Фитэ, а к плечу примостилась Итценплиц и дремлет с раскрытым ртом. Криста сидит как изваяние. Опорой ей служит зажатый меж колен неуклюжий деревенский зонтик, уткнувшийся в полкупе. Ее большие красные ладони твердо лежат на руч-

ке зонтика, сделанной в виде птичьей головы. Но несмотря на истуканскую позу, Криста тоже спит. Она закрыла глаза и мирно посапывает носом.

Эди спит в своем углу, прикрыв лицо от солнца занавеской. Отец тоже закрыл глаза и вытянул ноги. Они никому не мешают — мама ушла поболтать в соседнее купе.

Поезд идет и идет без усталости. Его равномерное постукивание «ра-та, та-та, ра-та, та-та!» складывается в моем сонном сознании в «Ско-ро бу-дем там! Ско-ро бу-дем там!». Глаза слипаются, я чувствую, что вот-вот засну.

Но что-то не дает мне забыться. Мешает какой-то шум в купе. И шум этот исходит не от поезда. Я бормочу про себя: «Скоро будем там! Ра-та-та! Ур-ра!», и опять прислушиваюсь. Открываю глаза, которые уже были плотно закрыты. Оглядываюсь, пытаюсь установить, откуда этот необычный шум.

И тут я кого-то вижу на полу купе. Оно сидит, держа в передних лапах огрызок яблока, и быстро-быстро грызет его. О господи, хомяк! Мы вовсе забыли о нем, и Эди и я! Хомяк отвязался!

Я смотрю на Эди, но его почти не видно за занавеской, он крепко спит. Будить его бесполезно, скорее проснется все купе. Уж я знаю его. Мы пробовали даже ставить возле Эди будильник — самый громкий будильник в доме, — причем ставили его на перевернутую тарелку, чтобы громче было. И ничего, все равно спал. Его можно разбудить, только облив водой или стащив с кровати на пол.

Нет, Эди я не смогу разбудить, да и не хочется. У хомяка очень потешный вид. Что ж, раз заснуть не удастся, буду наблюдать за ним. Необычная ситуация, мчащийся поезд, стук колес, кажется, нисколько не смущают нашего Максе, он ведет себя мирно и доверчиво, будто сидит у своей норы на пшеничном поле.

Огрызок яблока исполнил свой долг, он съеден. Хомяк приближается к туфлям Кристи и обнюхивает их; он быстро шмыгает бело-розовым раздвоенным носиком, то обнажая, то закрывая длинные желтые резцы. Обнаружив между туфлями проход в темноту, под лавку, хомяк воспользовался им и исчез из моего поля зрения.

Некоторое время я прислушиваюсь. Ничего не слыш-

но, никаких событий. До чего же скучный хомяк, я это всегда говорил Эди. Кролик ни за что бы не сидел так долго в темноте, в бездействии! Хомячок, ну сделай хоть что-нибудь, развлеки меня в этот долгий сонный полуденный час, ведь ради тебя я уступил Эди место у окошка!

Я обшариваю взглядом купе. В багажной сетке над мной лежит отцовская палка. Достаяю ее и, просунув между туфлями Кристи, тычу под лавку. Гулко звенит отопительная труба, и раздается сердитое шипение, доказывающее, что я попал не только в железо. Хомяк — зверек храбрый — снова вылезает на свет и атакует врага. Усевшись на задние лапы и гневно оскалив зубы, он пытается схватить палку. Эта большая желто-коричневая штука совершенно его не пугает, но злит, и он свирепеет все больше и больше. Подумать только, такой комочек из мяса, жира и зубов намерен проглотить метровую палку!

Я дразню хомяка, касаюсь палкой то головы, то груди, — ух, как он разъярился, как надулись его защечные мешки! Чудесная игра: я чувствую себя богом! Я ворвался с чем-то неизвестным в малюсенький хомячий мирок. Но Максе не сдается, нет, он снова и снова вступает в борьбу с досель не виданным чудищем. Он не трусит. Но я милостивый бог, хомяк и не подозревает, что один удар этой палки, с которой он так ожесточенно сражается, — и его существование придет конец. Я дотрагиваюсь до него легонько...

Потом опускаю палку. Максе не сразу соображает, что угроза миновала. Передними лапками, похожими на руки, он все еще колотит палку и кусает ее. Но палка ведет себя спокойно, она больше не хочет драться. Постепенно успокаивается и хомяк, он обнюхивает ее: ах, да ведь это всего-навсего обычная несъедобная деревяшка, на какие он уже не раз натыкался в поле, она неживая, это не враг! Хомяк презрительно поворачивается к палке спиной.

И вот он, продолжая принюхиваться, пускается в странствие по купе. Там, где удастся, лавирует между туфлями и башмаками, а там, где нет, перелезает через них. На своем пути хомяк то и дело встречает хлебные крошки от нашей трапезы. Всякий раз он сначала обнюхивает их, а затем отправляет в защечные мешки.

После того как бог в моем лице поверг хомяка в ярость, мне хочется теперь его покормить, он наверняка голоден. Но Максе уже далеко от меня — в другом конце купе, возле отца. Я с интересом жду, что сейчас будет делать зверек, так как вытянутые ноги отца образуют преграду.

Первым делом Максе обнюхивает отцовские ботинки. И хотя он стоит спиной ко мне, я отчетливо вижу, как ему противен запах сапожной ваксы. Чуть помедлив, он поворачивается к брюкам. Они кажутся ему симпатичнее; возможно, они напоминают ту пушистую и мягкую всячину, которая его хомячиха натаскала для подстилки своим будущим хомячатам. Тут у меня вдруг перехватывает дыхание: неужто Максе намерен юркнуть в теплую темную нору отцовской штанины, но нет, он все же поступает иначе: влезает на ботинок. Я, конечно, думаю, что он, направляясь к границам своей империи, хочет лишь преодолеть барьер, как преодолел до сих пор остальные. Однако Максе потянуло в высоту: он начинает карабкаться вверх по отцовской ноге.

Ну какая жалость, что Эди дрыхнет, — кроме меня, никто не видит этого зрелища, и мне не с кем поделиться избытком чувств. Ведь после мне никто не поверит, что Максе гулял по отцовским ногам, опять скажут, что я фантазирую. Но вот же, он лезет! Среди бела дня, при ясном солнце, — никакой фантазии! — хомяк лезет по отцовской ноге, — ноге камергерихтсрата! — правда, несколько тонковатой.

Отец вообще спит чутко, и, хотя он еще не проснулся, все же видно, что щеколка потревожила его сон; он представляет ногу — из вытянутого положения в вертикальное. Максе чуть было не сорвался, но его когти впились в сукно; он тихо висит, соображая, что же, собственно, произошло.

Затем продолжает свое восхождение. Ему удастся покорить отвесную стену Коленной чашки, и вот он уже переводит дух на Коленном плато. Максе озирает раскинувшийся перед ним ландшафт. Трудно сказать, понравилась ли ему панорама, во всяком случае, любознательность Максе еще не удовлетворена. И он продолжает путь.

Обе руки отца мирно покоятся на коленях. Это очень маленькие нежные руки, они очень нравятся мне. Ни разу я не видел их грязными, ногти всегда отполированы;

а мои руки похожи на лапы и далеко не всегда чистые. Может быть, внимание хомяка привлекает белизна этих рук, а может, и унаследованный отцом перстень-печатка с красивым красным камнем, на котором выгравирован наш фамильный герб. На четырех гранях изображены крюк для вешания котла, садовый домик, к которому ведет ряд деревьев, ножницы для стрижки овец и цапля-сторож с камнем в когтях левой ноги: если цапля заснет, то выпавший камень ударит ее по правой ноге и разбудит.

Ну конечно, хомяка привлекает перстень. Он подбегает к рукам, некоторое время разглядывает их и, задржав нос, пробует запах, затем опускает нос и принимается деловито обнюхивать руку. Рука слегка отстраняется. Спящий почувствовал прикосновение носа и, вероятно, подумал, что это муха.

Хомяк тут же занимает боевую позицию, но рука опять засыпает вместе с ее владельцем. По всему видно, что Максе не питает к ней антипатии, он обнюхивает ее еще раз — рука снова чуть отстраняется, но хомяк влезает на нее и заглядывает в рукав.

В этот момент рука меняет свое положение и стряхивает непрошеного гостя. Максе падает на отцовские колени. Рука вслепую наносит несколько ударов, хомяк шипит и впивается зубами..

Мгновенно зажмурившись, я «погружаюсь» в глубокий сон...

И слышу, как отец вскрикивает:

— Что это?! Меня укусили! — Еще громче: — Что это такое? Ты меня отпустишь или нет, звереныш?! Кыш!

Что-то шмякается об пол, раздается визг Максе; полный яростного протеста, и отец, крайне изумленный, говорит:

— Хомяк! Здесь, в купе, хомяк! Слава богу! Я уже было подумал, что крыса...

По шорохам я догадываюсь, что сестры, да и Криста, проснулись. Но я продолжаю спать. Эди тоже преспокойно похрапывает.

— Да, дети, меня укусили! — говорит отец. — Но это всего-навсего хомяк. Надеюсь, у него чистые зубы, иначе у меня будет заражение крови... Да нет же, его не видно, он куда-то забрался под лавку... Скажите, вы не

знаете, не взял ли с собой Эдуард (Ага! Уже не Эди, а Эдуард!) своего хомяка? Только прошу говорить мне правду!

— Эдуардов хомяк? Нет, папа,— говорит Итценплиц.— Не думаю. Он же хотел оставить его господину Маркуляйту.

— Да, но сделал ли он это?

— Утром они с Хансом бегали вниз, к Маркуляйтам,— сообщает Фитэ.— Но, может быть... знаешь, папа, когда мы на вокзале еще одни сидели в купе, Эди с Хансом все время шептались!

(Ах ты, ябеда, ну погоди! Вот приедем в Грааль, я тебе нахлобучу на башку венки из репьев!)

Отец задумался, не зря же он был когда-то следователем. «Ведь Эди на вокзале внушил всем, будто поранил руку, и все время держал ее под пальто... А здесь, в вагоне, он вообще ни разу не пожаловался на больную руку,— на Эди это совсем не похоже!»

Итценплиц подливает масла в огонь:

— Знаешь, папа, Эди просто убежал вперед нас на перрон... чтобы, конечно, спрятать его тут в купе.

(И тебе тоже достанется! Уж мы непременно положим тебе на бутерброд дождевого червяка!)

— Да,— подытоживает отец.— Подозрение, судя по всему, вполне обоснованное.

Повысив голос:

— Эди!

Похрапывание.

— Эди!!

Похрапывание.

— Эди!!!

Похрапывание.

— Итценплиц, постарайся его разбудить, можешь наступить ему на ногу, не стесняйся. У меня очень болит палец.

Отцовский голос звучит громче:

— А ты, Ханс, можешь приоткрыть свои глазки! Ведь я вижу, что ты не спишь, у тебя слишком заметно вздрагивают веки!.. Ну, так как, Ханс? Притащил Эди своего хомяка в купе?

— Какого хомяка? — спрашиваю я и сладко зеваю.— Разве здесь есть хомяк? Вот здорово!

— Предупреждаю тебя, Ханс! — ласково говорит отец.— Не увлекайся враньем. Ты всегда был плохим

врадем, если только не верил в собственные враки. А сейчас ты в них не веришь.

— Пап, я действительно ничего не знаю! Хомяк?.. Я же спал...

Слава богу, Эди меня выручил. С криком, в котором прозвучал аккорд боли и ярости, он вынырнул из-за занавески.

— Ты что, спятила?! — заорал он на свою сестру Итценплиц. — Чего щиплешься!.. погоди, я тебя так ущипну!..

— Эди! — строго сказал отец. — Эди, где твой хомяк?

Эди окинул купе испуганным взглядом и промолчал.

— Эди! — продолжал отец, повысив голос. — Я спрашиваю тебя: где твой хомяк?! Он у Маркуляйтов, как ты обещал маме, или... может быть, он наш попутчик?

Эди краснел все больше и больше. Он догадывался, что что-то произошло, но не мог решить, насколько ему следует признаваться.

— Эди! — теперь уже вскричал отец. — спрашиваю тебя в третий раз: где твой хомяк?! Не собираешься ли ты от него отречься?.. Вот посмотри-ка! — И отец размотал с раненого пальца окровавленный платок. — Эдуард, меня укусил хомяк... Не твой ли, случайно?!

— Папа, мой хомяк не кусается! — поспешно сказал Эдуард. — Никогда! Меня еще ни разу не кусал! А Маркуляйт говорил про него сегодня такие гадости, он наверняка заморил бы его голодом. Ведь это же мучительство, ну я и подумал...

— Эдуард! — сказал отец. — Ты сегодня лгал неоднократно. Рука твоя не поранена, и в купе ты помчался не для того, чтобы сторожить места. Я не рекомендую тебе идти по этой дорожке, это может сильно омрачить твои каникулы... Скажи прямо, Эди: ты обманул нас?

— Да, папа.

— Ты понимал, что я никогда не разрешу взять с собой хомяка?

— Да, папа.

— А разве держать хомяка в зарешеченном ящичке

не является жестоким обращением с животным? Подумай хорошенько, Эди!

— Да, папа, наверное... Но он мне всегда казался таким веселым... для хомяка, конечно... Вообще-то они все немножечко ворчат...

— Мне он не показался веселым,— сказал отец и посмотрел на свой палец.— Даю тебе четверть часа на искупление всех твоих сегодняшних проступков. Ты поймал хомяка,— нет, не все, ты сам! — и на ближайшей станции выпустишь его на волю. Мы сейчас едем по сельской местности, и твоему хомяку будет здесь раздолье...

— Папа,— взмолился Эди,— можно, я довезу его до Грааля? Я думал, что, если поймаю для него самочку, ему не будет так одиноко...

— Я отказываюсь,— сказал отец строго,— отказываюсь даже представить себе нашу берлинскую квартиру в виде хомячьего питомника. Отказывается мой разум, отказывается фантазия, все мое существо решительно восстает против этого. Ты слышал, Эди! Четверть часа...

Отец уселся поудобнее, вытащил из кармана «Тэглихе рундшау» и скрылся за газетой, как бы исключая тем самым всякую дальнейшую дискуссию.

Эди понял это. Тяжело вздохнув, он нагнулся под лавку и стал звать хомяка. Но Максе словно онемел, он не желал отзываться на голос своего хозяина. Слепой и глухой, как все в земле рожденное, он и не догадывался, что голос этот возвещал ему впервые нечто приятное: близкую свободу. Он забился в самый дальний угол, за отопительную трубу, и чувствовал себя как в неприступной крепости. Слышалось только злобное шипение.

Я молча протянул Эди отцовскую палку. Он ткнул ею в угол, и шипение стало более свирепым. Затем хомяк оставил непригодную теперь для обороны позицию, но лишь для того, чтобы занять аналогичную под лавкой напротив, где сидел отец и, очевидно, помешал ему. Наконец мы поняли, что отцовский приказ — Эди должен поймать хомяка сам — невыполним. На охоту за Максе вышли все, не исключая отца.

Нелегко шести пассажирам в тесном купе движущегося вагона ловить маленького рассвирепевшего звереныша, который, оскалив зубы, носится из угла в угол. Охо-

та в основном ведется ползком, на коленях, что явно не на пользу нашим дорожным костюмам, бывшим еще утром без единого пятнышка.

Мама была такого же мнения, когда вернулась из соседнего купе. Она вскрикнула от ужаса, разглядев нас, охваченных азартом погони, в облаке пыли, с палками и зонтами.

— Отец!.. Итценплиц, немедленно встать! — воскликнула она. — Фитэ, твое платье! Ханс, прекрати... Эди... Криста, что вы делаете?! Мы еще удивлялись там, за стенкой, что это за возня здесь...

Пока мы продолжали охоту, отец все разъяснил маме. Она глубоко вздохнула:

— Эди, Эди, ну чего ты только не вытворяешь!..

Поезд замедлил ход, остановился. Мы выглянули в окно: сосновая роща. Никакой станции, маленький сарай — и все.

— Открывайте же дверь! — раздался чей-то голос. Дверь распахнулась.

— Смотрите, чтобы никто не вывалился! — предупредила мама.

Один все-таки вывалился, но это был хомяк, получивший прицельный удар. Несколько мгновений он был закрыт от нас ступеньками вагона. Но вскоре мы его увидели. Он быстро перебежал усыпанную желтоватой галькой площадку, на секунду остановился перед дощатым забором, но тотчас нашел лазейку...

Еще раз мы увидели его, когда Максе поднимался по склону в сторону леса. Потом он исчез среди вереска и дрока, исчез на свободе...

— Так, Луиза, — сказал отец, когда мы отъехали, и поудобнее уселся в своем углу. — Теперь ты можешь угостить нас обедом. Я вроде бы слышал кое-что о жареных цыплятах. Думаю, что нас уже никто не потревожит, если, конечно, Ханс не запрятал где-нибудь своих кроликов...

Я возмутился.

— С вами никогда ничего не знаешь, — миролюбиво сказал отец. — Лучше всегда рассчитывать на худшее, а пока оно не стряслось, наслаждаться спокойными часами, как незаслуженным счастьем. Ведь обычно, Ханс, каждый летний сезон начинается с твоего аварийного дебюта, в чем же не повезет тебе на сей раз?!

Если отец говорил, что не стоит хвалить день до вечера, имея в виду, что со мной наверняка еще случится какая-нибудь неприятность, то он был не совсем неправ в своих опасениях. Действительно, мне всегда чрезвычайно не везло в детстве. Я обладал редким даром попадать в беду там, где для других на то не было ни малейшей возможности. Если бы мне суждено было сломать ногу, я ухитрился бы сделать это даже в постели.

Во время одной из летних поездок нашим соседом по купе оказался какой-то рыболов-спортсмен. Отец, питавший жгучий интерес (после судебных бумаг) ко всем проявлениям жизни, подбил рыболова рассказать нам о своем увлечении. Тот сделал это охотно и, как полагается рыболову, не без похвальбы. Рыбы, которых он выуживал из воды, были длиною с руку, не меньше, и по ходу его повествования росли на глазах. Они вздувались под его словами, превращаясь из мирных обитателей вод в кровожадных страшилищ.

Отец был благодарнейшим слушателем таких рассказчиков, а преувеличения он выслушивал с молчаливой улыбкой. Ведь и сам он был не лишен этой склонности. В своих рассказиках, анекдотах и «историях-нелепицах» он никогда не придерживался точности. Как бы часто мы ни слышали из уст отца некоторые истории, нам ни разу не была преподнесена одна и та же редакция. Неприкрашенная действительность была для отца лишь сырьем, из которого он лепил свои произведения.

Истории эти усложнялись, в них появлялись новые повороты, даже совсем иной смысл. Но если они изменялись настолько, что, подобно полуфунтовым щукам рыболова, превращались в маленьких китов, то кто-нибудь из нашего семейства весело восклицал: «Дождевик!» И все остальные хором присоединялись к нему.

Дело в том, что однажды в Гарце, во время прогулки, мы нашли грибы-дождевики совершенно невероятных размеров. Удивительные грибы, самые крупные из них были величиной с голову ребенка. Но когда отец принимался о них рассказывать, они с каждым разом становились все больше, «головы ребенка» ему уже не хватало. Сначала они выросли до маленьких тыкв, потом — до больших. Когда же отец с серьезным видом сообщил, как он, споткнувшись, наступил на такой гриб и прова-

лился в него по колено, когда стал изображать, какой страх пережил, очутившись в облаке желто-зеленой пыли, скрывшей его на некоторое время от всего семейства, — вот тогда-то и вынырнуло словечко «дождевик» как символ для отцовских небылиц.

Отцу выслушивал наш хор спокойно, с улыбкой. Превеличение в безобидных анекдотах было единственным эксцессом, который допускала его фантазия. «Что вы хотите?! — спрашивал он, посмеиваясь. — Вреда от этого никому, а слушателям забавно. Дождевики размером в детскую голову видел всякий, но гриб, в который человек проваливается целиком, вот это я понимаю!»

И потому, разрешая подобные эксцессы себе, отец всегда был готов с выражением глубочайшей доверчивости выслушивать небылицы других рассказчиков. Наш рыболов был в совершенном восторге от своего внимательного слушателя. Он снял с багажной сетки чемоданчик и стал нам показывать искусственных мушек и блестящих рыбок, которых закидывал в качестве приманки вместо червяков. И родители и мы искренне восхищались этими красочными поддельными существами. Особенно очаровательно выглядели мухи. Они нисколько не походили на комнатных мух; сделанные из крошечных птичьих перышек, они скорее напоминали пестрых колибри, правда, под яркой одеждой у них были спрятаны три-четыре серебристых стальных крючочка с зазубринами.

Мухи переходили из рук в руки, причем каждый из нас непременно обращал всеобщее внимание на ту, которая казалась ему наиболее красивой. А рыболов меж тем рассказывал нам, что он забрасывает мушку так, чтобы она пролетела с жужжанием над самой водой. Рыба выскакивает за ней — яркость наряда свою роль сыграла, — вступают в дело крючки, и рыба схвачена.

Черт его знает, как это получилось, но я вдруг тоже оказался «на крючке», — видимо, и тут сыграла свою роль яркая одежда! Красивая муха с красно-бурым оперением вонзила мне крючки в мякоть большого пальца. С изумлением я уставился на дело рук своих. В первый миг я не столько ощутил боль, сколько был озадачен тем, как могло со мной такое случиться! Ведь мне и в голову ничего подобного не приходило...

Мама заметила растерянное выражение моего лица, увидела, как я обалдело вперился взором в муху на пальце, и с ужасом воскликнула:

— Мальчик, ну как тебе только удалось это сделать? Опять!.. Ну что же это такое!

Мамин возглас привлек ко мне всеобщее внимание. Отец смиреннейшим голосом провозгласил:

— Так я и думал! Слишком уж безмятежно протекал день. Очень больно, Ханс? Попробуй потяни. Может, он неглубоко засел и сразу выйдет!

Но рыболов возразил:

— Ничего не получится, муху не вытянешь! Ее придется только вырезать. Там же зазубрины. Да и засела она на сантиметр, а то и глубже!. Как это тебя угораздило, парень?!

— Не знаю! — ответил я скромно и все же потянул за крючок. Ух, как было больно! Зазубрины, наверное, еще глубже впились в мясо.

— Вырезать? — спросил отец. — Но это, пожалуй, лучше сделает врач.

— Да, но нам еще пять часов ехать, не думаю, что мальчик выдержит столько времени с мухой в пальце!.. Ханс, ты храбрый мальчик? Потерпишь до дяди доктора?

Услышав этот доброжелательный, но неловкий призыв, я мгновенно растерял остатки мужества. Муха сразу еще сильнее заболела, то есть не муха, конечно...

— Нет! — сказал я, глотая подступавшие слезы. — Нет, я не выдержу! И резать не дам! Хочу, чтобы вредная муха сама вышла! Я больше не могу!

— Ханс! — сказал отец строго. — Неужели ты заплачешь? Нет, ты не станешь плакать! Я это знаю! Ты храбрый мальчик!

Больше я не мог сдерживаться. Заревев, я бросился маме на грудь и стал причитать:

— Я не храбрый мальчик! Не хочу быть храбрым! Хочу, чтобы противная муха вылезла!

(Должен заметить, что в ту пору мне было девять лет.)

И вот начались взволнованные дебаты между взрослыми. Лучше всего, наверно, было бы сойти в ближайшем городишке и обратиться к врачу. Но отцу казалось немислимым, чтобы все семеро покинули насиженные места в каникулярном поезде, — он был почти уверен, что при таком наплыве отпускников мы не достанем билетов ни сегодня, ни завтра. Мама была за то, чтобы я потерпел до конца поездки.

Однако последнее казалось маловероятным из-за моего рева. Если бы взрослые не придавали этому такого значения и не призывали меня столь настойчиво быть мужчиной, я бы еще, пожалуй, и стерпел муху. Но едва я понял, что со мной, по их мнению, приключилось нечто очень мучительное, как мне стало еще больнее и все мужество испарилось... Я ревел!

Оставалось лишь, следуя поговорке «коль есть топор в дому, то плотник ни к чему», приступить к операции. В подобных практических делах отец проявлял некоторую беспомощность; с одной стороны, он опасался заражения крови, с другой, ему надлежало сначала выяснить юридический вопрос: как отнесется рыболов к повреждению своей мухи.

Рыболов отвел эти сомнения пожатием плеч и предложил маме большой нож с черенком из оленьего рога.

— Режет, как бритва! Делайте надрез сразу — и поглубже! А не то будут одни мучения!

Эти переговоры над ухом пациента привели к тому, что мой рев перешел в пронзительный крик. Я спрятал руку и не поддавался никаким уговорам. Все растерялись...

— Ну будь же хорошим мальчиком, Ханс, — увещевала меня мама. — Будет больно только одну секунду, зато сразу избавишься от этой дурацкой мухи!

— Я знаю, у тебя есть мужество, — говорил отец. — Ты только должен захотеть, Ханс!

— Если ты дашь вырезать муху, я подарю тебе свой нож, — обещал рыболов. — Такого ножа у тебя наверняка никогда не было!

Рев стал потише, сквозь пелену слез я покосился на роговой черенок.

Но в отце была задета педагогическая струнка:

— Нет, — возразил он. — Вы очень любезны, и все же это не годится. Во-первых, такой нож — вернее сказать, кинжал — в руках моего сына представлял бы общественную угрозу. А во-вторых, педагогика не допускает, чтобы дети выполняли за вознаграждение то, что диктуется чувством долга!

Рев снова усилился.

— Ханс! — сказал отец. — Ты знаешь, в чем состоит твой долг. Ты должен сейчас быть мужественным. Из-за твоей неловкости ты сам себе причинил боль, следовательно, ты сам должен ее терпеть!

Я вопил как резанный.

— Хорошо, я вырежу муху сам! — весьма решительно заявил отец, но при этом заметно побледнел. — Покажи руку, Ханс! Я хочу, чтобы ты показал мне руку! Слышишь?..

Рыболов был глубоко оскорблен тем, что мой отец без обиняков отверг его великодушный подарок. Наверно, ему не так-то легко было бы расстаться со своим ножом.

— Не даст он вам руку, — сказал рыболов с некоторым ехидством. — Я бы тоже не дал. Да и почему, собственно, он не должен получить вознаграждения? Мы же получаем, когда делаем что-то особенное.

При этой лобовой атаке отец дрогнул, но не сдался.

— Долг не покупается, — торжественно заявил он. — Ханс, сейчас ты мне дашь свою руку...

Я и не собирался этого делать. Я чувствовал слабость отцовской позиции. Здесь, в движущемся вагоне, в присутствии явно взбунтовавшегося попутчика, отцу не «уложить» меня на операцию. И я не сдавался, упрямо глядел на него и продолжал реветь...

Отец нерешительно посмотрел на меня и сказал чуть обиженным тоном:

— Ну что ж, оставайся со своей мухой. Раз тебе так больше нравится.

И он откинулся на спинку лавки.

На некоторое время в купе воцарилось молчание. Я тихонько всхлипывал. Отказываясь от хирургических услуг отца, я не учел, что вследствие этого отказа муха останется торчать в моем пальце.

Вот теперь мне стало по-настоящему больно. Пораженное место слегка покраснело и припухло. Сколько уже раз за свою жизнь я задавал себе вопрос: почему я сначала испорчу дело, а лишь потом задумываюсь над ним? Я всегда был склонен действовать по первому побуждению и лишь позднее, оказавшись у развалин, смиренно размышлять.

Мама ласково прошептала мне на ухо:

— Сынок, пойдем «туда». Может быть, нам удастся его вытащить.

Это было поистине спасительное предложение. Но мое достоинство не позволяло сразу принять его. Маме пришлось долго меня уговаривать, прежде чем я согласился на то, чего мне и самому очень хотелось. При

всеобщем молчании мы покинули купе и направились «туда».

— Ну, садись,— сказала мама.— А то стоять тут вдвоем тесно. Дай-ка мне хорошенько рассмотреть твою руку. Нам же надо знать, как вытащить этот крючок, и чтобы тебе не было очень больно.

— Да там четыре крючка! — подчеркнул я тяжесть моего ранения.— И каждый так колет, мам!

— Еще бы,— сказала мама сочувственно.— Лучше бы эта муха в меня впилась, чем в тебя... Ну, как мальчик? Может быть, разрежем сразу?

Я пристально взглянул на маму. Потом сказал повелительно:

— Режь, мам! Только сразу не глубоко! Я хочу посмотреть, будет ли больно!

— Лучше бы, сынок,— засомневалась мама и опасливо покосилась на нож, который держала в руке,— сразу глубоко разрезать...

— Нет, сначала чуть-чуть! — приказал я.— Может, мне будет очень больно и я не дам резать.

Мама робко приставила нож к пальцу. Я зажмурил глаза и тут же снова открыл их, едва острие прикоснулось к коже. Мама глубоко вздохнула и начала резать.

— Ай! — вскрикнул я и отдернул руку.

— Сынок, я ведь только поцарапала кожу!

— Все равно, знаешь, как больно! — заверил я маму и с любопытством посмотрел на разрез, из которого медленно проступали капельки крови. На самом деле я удивился, что оказалось вовсе не так больно, как я ожидал. Для пробы я потянул за муху. Она сидела прочно. Вот когда я потянул, было по-настоящему больно.— Попробуй еще раз, мам! — согласился я милостиво.— Только немножко.

Мама молча взяла мою руку, приставила нож — и опять убрала его.

— Нет, не могу, мальчик! — воскликнула она в отчаянии.— Не могу я так кромсать! Либо сразу разрежем как следует, либо... иначе я просто не могу!

Она побелела как мел.

— Тогда давай нож мне! — сказал я.— Я смогу. Когда сам себя режешь, в два раза меньше болит.

Я взял нож, приставил его к пальцу и, чувствуя на себе неуверенный взгляд мамы, резанул в самом деле.

Как я ошибался, полагая, что резать самому себя менее больно!

Больнее в десять раз! В сто! К тому же решиться причинить себе боль куда труднее, нежели просто подставить руку под нож.

Но деваться было некуда — я сам себя поймал; и вот, сидя на стульчаке, я с передышками кромсал палец. Каждый крючок выковыривал отдельно. Кровь заливала рану, и я уже не мог разглядеть ее. Но стоило мне слегка потянуть за муху, как жгучая боль указывала, где еще прочно сидел крючок и где, стало быть, следовало резать.

Мама была не в силах смотреть на это живодерство. Отвернувшись, она глядела в приоткрытое окно. Изредка с отчаянием в голосе спрашивала:

— Еще не вытащил?

Но я в ответ лишь кряхтел.

Подо мной, в пустоте, со свистом проносились рельсы, громыхали стрелки, через открытое окно врывалось жужжание мелькавших телеграфных проводов, а я сидел и с ожесточением и болью вырезал в себе дырку. Это был образец геройской трусости: вместо того, чтобы сразу глубоко разрезать и один раз стерпеть мгновенную боль, я растянул ее на сто медленных порций! И трусливо и храбро!

Но вот и конец! Последним усилием я разжал мертвую хватку мухи.

— Мам, вытащил! — сказал я, и тут мне стало плохо.

Потом я сидел в купе и понемногу приходил в себя. О моей «аварии» не говорили ни слова. Лишь изредка кто-нибудь бросал любопытный взгляд на мою перевязанную руку да молча посматривал на меня. Рыболов дождался нашего возвращения, а потом, хмуро попрощавшись, на первой же остановке покинул купе, — скорее всего, пересел в другой вагон.

Отец, кажется, не сказал ни слова, зато купил мне коньяк, из чего я сделал вывод, что он все же доволен мною. К счастью, коньяк я не смог пить, иначе мне стало бы по-настоящему плохо.

Это была одна из моих путевых «аварий». Без них — и легких и тяжелых — ни разу не обходилось. Как ни жалели меня родители, они все-таки были склонны рассматривать подобные напасти как перст Всевышнего.

Однажды мы поехали на лето в Ной-Глобзов, затерявшуюся среди лесов деревню, которую покинули ее прежние жители — стеклодувы — и куда еще не заглядывали берлинцы. Находилась она чуть в стороне от Штехлина; к ней вели узкие, почти заросшие лесные дороги.

Это был самый красивый, уединенный, заброшенный уголок, какой только можно себе представить. Вы могли здесь часами ходить по прибрежным тропкам и не встретить ни человека, ни следов его поселений. В одном месте там был ветхий причал, довольно далеко уходящий в море. Мы очень любили на нем сидеть; ветками или камышинками мы тыкали в крабов, которые в изобилии ползали здесь по илистому дну. Часто какой-нибудь свирепый краб цеплялся за ветку, и нам удавалось вытащить его на мостки.

Сестры в таких случаях подымали визг и удирали от «мерзких тварей», но мы, мальчишки, вскоре научились хватать крабов «за талию», то есть позади клешней, и в корзинке несли домой. Отец лакомился ими за ужином. Сам я в то время еще не решался их пробовать, несмотря на заманчивый красный цвет. Позднее меня совратили поначалу раковые шейки, а потом уж и крабы. Сегодня я бы с удовольствием их поел, но, к сожалению, редко встречаю...

Дом, в котором мы жили, был целиком в нашем распоряжении, со всеми четырьмя комнатами и кухней. Отец определенно не смотрел его до того, как снял. Хозяина дома я не помню, но вряд ли он находился тогда в деревне, иначе ему бы крепко досталось от отца (даже учитывая его деликатность). Окрашенный в желтый цвет домик выглядел довольно мило, по обе стороны дверей было по два окна, перед фасадом росли старые липы; а маму особенно восхитило то, что на время каникул она будет хозяйничать на кухне одна.

Но первую ночь в этом доме я никогда не забуду. Было ветрено, шел дождь, и вот, уже лежа в постелях, мы вдруг обнаружили, что дождь идет не только на дворе. С потолка поначалу просочились капли, потом закапало сильнее, и вскоре из разных комнат слышались детские возгласы:

— Мам, мне капает прямо в лицо!.. Мам, я уже вся мокрая!

Из кухни притащили миски, кастрюли, однако им не удалось умерить потока; поставленные на пуховики, они

тотчас опрокидывались, когда засыпающая под пуховиком фигура блаженно вытягивала ноги. И тут снова раздавался крик.

Кроме того, мы оказались далеко не единственными обитателями дома, мы были даже в подавляющем меньшинстве. Как только мама погасила свечи, мыши и крысы, дружно покинув свои норы, стали шнырять и кружить вокруг нас. Казалось, они решили проверить каждую вещь, которую мы привезли с собой, и, в довершение, не стеснялись пробегать по постелям. Все это происходило под зловещее шуршание гардин, раздуваемых ветром, который, не довольствуясь тем, что бушевал снаружи, проникал в дом сквозь зиявшие в окнах и стенах щели, его порывы даже достигали наших пуховиков.

Так сказать, заключительная сцена выглядела следующим образом: мы сидим, обложившись подушками; двери между комнатами распахнуты настежь, чтобы можно было утешать друг друга и подавать советы. Возле каждого горит свеча (электричество в Ной-Глобзове еще не изобрели), а у каждого над головой раскрытый зонтик, по которому равномерно стучат капли. А на каждом пуховике лежат наготове метательные «снаряды». Туда, где раздается шорох, летит «снаряд»; время от времени кому-нибудь из мальчишек поручают вновь собрать их и доставить обратно на боевые позиции для дальнейшего использования.

С тех пор я больше ни разу не бывал в Ной-Глобзове; слышал, что он стал цивилизованным дачным курортом со всеми мыслимыми удобствами. Но вряд ли каким-нибудь берлинским мальчишкам удастся пережить там такую веселую, увлекательнейшую ночь, какую пережили мы.

На следующее утро — дождь, слава богу, перестал — отец (которому ночь показалась менее интересной, чем нам) отправился за покупками. Он вернулся с пустыми бутылками и гипсом. Бутылки разбились на мелкие осколки, перемешали их с гипсовой кашицей, и этой смесью заделали как в доме, так и снаружи его десятки мышинных и крысиных нор.

— Гипс крысы еще смогут прогрызть, — пояснил мне отец. — Но осколки стекла вряд ли им по зубам!

А вот починку дырявой крыши я не помню.

Мы долго смотрели, как отец занимался непривычным для него делом. Помню, я был восхищен, что он и

это умеет. Осколки стекла против крысиных зубов — надо же такое придумать! Отец знал решительно все!

Налюбовавшись отцовской работой, мы отправились открывать неведомые земли, это было одним из приятнейших занятий в первый каникулярный день на новом месте. Мы побродили по невозделанному участку за домом, где одуряюще пахло летом и солнцем, — там росло множество сухоцветов с резким запахом, вроде чабреца. Потом выбрались к опушке леса и у этой опушки обнаружили нечто великолепное: что-то среднее между беседкой и садовым павильоном — примитивное, не совсем сохранившееся строение, как нарочно задуманное для разбойничьего замка.

Внутри было темно, прохладно (и грязно); мы уселись на скамью и пришли к единодушному мнению, что дачное место на этот раз просто «колоссальное», а что еще дальше будет!

Возле скамьи лежал старый мельничный жернов. Раньше он, вероятно, служил столом, но пень, на котором он покоился, сгнил, и теперь жернов валялся на полу. Он был довольно большой и тяжелый, не меньше метра в диаметре, но это лишь укрепило нас в мысли, что жернов словно создан для того, чтобы его катать. От разбойничьего замка шел небольшой уклон к нашему дому, там у стены возился отец, его фигура казалась отсюда не больше зонтика. Мы подумали: вот будет здорово докатить жернов до самого дома!

— Потом разыщем крепкий пень, положим на него жернов, и у нас будет стол прямо у двери! И вечером будем на нем играть в «альма и сальта»!

Программа встретила всеобщее одобрение. С огромным трудом жернов был поставлен на ребро. Затем его покатали к двери. Это уже шло легче: Итценплиц с Эди толкали сзади, Фитэ поддерживала с одной стороны, а я с другой. У двери был порожек, катящийся жернов качнулся и...

— Держи его, Ханс! — крикнули мне хором.

Когда валится набок мельничный жернов, весящий около восьмидесяти килограммов, десятилетнему мальчику его — увы — не удержать. Жернов повалился, я упал, и, когда все движения стихли, жернов лежал плашмя, придавив мне руку. Собственно говоря, не руку, а пальцы, но придавило так, что сам я был не в силах вытащить их.

— Помогите! Помогите! — завопил я. — Ой, я больше не могу! Пальцы прищемило! Ой!

Мои милые сестрички с братцем, конечно, смогли бы вместе приподнять камень, но, натворив беду и видя мое искаженное от боли лицо, они вконец растерялись. Первым убежал Эди. За ним бросилась Фитэ. Итцен-плиц пробормотала: «Хансик, милый!», погладила меня по плечу, — и вот уже все трое, охваченные дикой паникой, скрылись; еще раз прошуршали зеленые кусты, и все стихло. Они растворились в лесу!

Скрючившись, я лежал у жернова и пытался свободной рукой хотя бы чуточку приподнять его. Было нестерпимо больно; всякий, кому случалось прищемить пальцы дверью, может подтвердить это. Боль нарастала с каждой секундой.

Я не стерпел и заорал благим матом. Хотя мне, в моем почти прометеевском положении, не было видно отца, я все же надеялся, — иной надежды быть не могло, — что мои вопли достигнут его ушей. И действительно вскоре слышались его торопливые шаги. Без единого слова отец рывком приподнял жернов, освободил меня, дрожащего, подхватил с пола и прижал к себе. Потом ласково взял мою руку в свою.

— Бедный мой мальчик, — сказал он. — Да, это ужасно. Поплачь, как следует, реви, не стесняйся, тебе сейчас можно пореветь... Хотел бы я знать, почему именно тебя так преследует судьба?

Я поднял глаза и сквозь слезы увидел, что его лицо побелело и он вот-вот заплачет. Я вдруг почувствовал, что отец меня очень любит, и любит, наверно, совсем иначе, чем других своих детей, за все постигшие меня беды, малые и большие, — ведь то, что досталось тяжело, дороже полученного даром.

— Чертовски больно, папа, — сказал я. — Но я больше не буду реветь. — И, внезапно испугавшись: — А пальцы мне не отнимут?

— Ну что ты, конечно, нет! — успокоил меня отец. — Правда, вот с этими тремя ногтями, которые уже совсем посинели, тебе придется расстаться. Хотя я думаю, они снова отрастут. Но видишь ли, что получается, — продолжал он болтать, незаметно увлекая меня к дому, — ведь ты повредил правую руку! А это плохо для тебя, Ханс, ведь ты не сможешь теперь делать уроки во время каникул! Это очень печально для тебя, просто ужасно!

Я покосился на отца. Увидев морщинки вокруг его глаз, я, несмотря на боль, расхохотался.

— Да, папа, я страшно огорчен,—сказал я, смеясь.— Ведь я хотел каждый день заниматься, часа по три, не меньше!

— Увы, тут ничего не выйдет,—сказал отец.— Но я надеюсь, что ты перенесешь это, как настоящий мужчина.

Разумеется, отец сдержал слово. И хотя рука зажила недели через две, я за все каникулы даже не притронулся к перу. Зато сестры с братом... отец ни разу не спросил их, виноваты ли они в моем несчастье,— наверное, он видел, как они удирали... Вот им-то пришлось в эти каникулы особенно много заниматься,—и не из-за того, что они были виновны в моем несчастье (виноваты мы были все одинаково), а скорее за то, что они в панике удрали.

В сравнении с жерновом мой нынешний «дебют» в Граале был сущей забавой! Я бежал вокруг дома, бежал довольно резво, а за углом было открыто окно; как во всяком крестьянском доме, оконные створки открывались здесь наружу, а не внутрь, как в городе. К тому же окно это было закреплено ветровым крючком.

Итак: я выскочил за угол, на уровне моего лба оказался нижний широкий брусок оконного переплета, так называемый сточный карниз. Стекло со звоном разлетелось вдребезги, но крючок выдержал, нападение было отбито, а нападающий повержен на землю, где провалялся минуты три, не сознавая, где он и что с ним. Несмотря на прикладывание ножа, шишка росла на глазах. Все лето меня называли «рогатым Хансом».

— Если на сей раз только этим обойдется,—сказал отец со вздохом маме,— я буду благодарить создателя.

И если мне не изменяет память, в то лето шишкой и обошлось. Никаких других «аварий» я не припоминаю.

В первый же день после ужина отец пошел с нами к морю, а мама с Кристой остались готовить постели. Было еще почти светло, мы с радостными воплями носились по проселочной дороге и у самой нивы рвали красные маки, васильки, розовый куколь, белые маргаритки. Мы были детьми большого города, нам казалось

невероятной роскошью, что все это росло «даром», что за это не надо никому платить.

Тем временем отец шел по дороге неторопливым, ровным шагом, а мы то обгоняли его, то отставали. Он радовался нашему счастью и лишь изредка тихим голосом напоминал, что даже ради самых красивых цветов нельзя топтать колосья. Тогда мне припомнилась чудесная сказка Андерсена о девочке, которая наступила на хлеб, и я довольствовался цветами, росшими на обочине. И поныне меня охватывает чувство горечи и возмущения, когда я вижу легкомысленно затоптанные посевы или луг. Отцовские наставления засели во мне крепко!

Но вот мы входим в лес, и сразу становится темнее. Мы держимся кучкой возле отца и прислушиваемся: не слышно ли уже морского прибоя. Отец говорит, что прибоя сегодня не будет, — днем почти не было ветра. Но мы все равно не теряем надежды и продолжаем вслушиваться...

Постепенно высокий сосновый лес понижается, он как бы спускается к морю гигантской пологой крышей, все деревья изогнулись в сторону суши. Они становятся все ниже, все уродливее, и вот уже виден большой просвет между ними.

Мы пускаемся наперегонки, каждому хочется увидеть море первому. Сосны кончились, мы увязаем в сыпучем песке, поднимаясь на дюны. Под ногами шуршит прибрежная трава, лицо обдувает нежная прохлада.

И вот я опять на дюне, и опять как и каждый год, когда мы приезжаем к морю, меня охватывает хорошо знакомое и тем не менее всякий раз ошеломляющее чувство необъятного простора, который распаивается передо мной. Сначала я ничего, кроме него, не вижу и не чувствую, он такой большой и нигде не кончается, даже там, где горизонт смыкается с водой. Мое мальчишечье сердечко взволнованно колотится: я стою здесь, я вижу его. И весь простор мой, и я его частица, и без меня он не был бы таким, как сейчас. Я весь во власти чего-то вечного, нетленного. Я не смог бы описать это словами, но я чувствую это...

Я маленький, слабый мальчик, меня преследуют всякие несчастья... Но вот я стою на макушке дюны, как самый сильный человек, и я чувствую это... Каждый год, когда я стою у моря, я дважды, трижды испытываю это чувство, что я живу, что я должен жить всегда. Что без

меня не было бы всего мира. Смутное чувство гордости все же вызывает в душе смирение.

Когда я сбегая с дюны и вижу маленькие волны, плещущие о ровный песчаный берег, когда я ищу ракушки или омытые морем желтоватые камешки, очень похожие на янтарь, чувство необъятного простора исчезает. Когда я смотрю на море вблизи, тысячи мелочей заслоняют его простор. Но ощущение его было, и оно осталось со мною...

Ко мне подходит отец. Он берет меня за руку и ведет вниз к брату и сестрам, которые уже давно прибежали на берег. По дороге он тихо спрашивает:

— Красиво?

— Это так огромно, папа! — отвечаю я.

— Да, огромно, — подтверждает отец. — Очень. Когда ты вернешься в Берлин, Ханс, не забывай, что ты видел нечто великое. Для человека, который способен чувствовать это, есть много великого на свете, и не только на море или в горах. Но и в книгах, в музыке, в картинах и скульптуре... А особенно в людях. Сколько было величайших людей, Ханс...

Только я собрался спросить отца, — разве теперь нет больше великих людей? — как мы уже спустились вниз, к брату и сестрам, и всякое величие померкло перед насущным вопросом: можно ли нам шлепать босиком по воде...

— Только пять минут, пап, ну пожалуйста!

Отец колеблется: а как на это посмотрит мама? А чем мы будем вытираться? И не простудимся ли? Но потом он все же разрешает, и мгновение спустя мы в воде, в ее нежной прохладе, шлепаем босыми ногами по мягкому песку. Мы счастливы. Конечно, пять минут растягиваются на десять, и, конечно, Ханс, несмотря на все предосторожности, ухитряется замочить подвернутые штанины. Но сегодня никто не обращает внимания на такие пустяки. Даже между сестрами и братьями не происходит привычного обмена «любезностями»...

Часом позднее я лежу в постели. Эди уже спит, сегодня он, как еще никогда, рано встал и поздно лег. Мне тоже показалось, что я до смерти устал, но вот лежу и не могу заснуть. То и дело прислушиваюсь к непривычным звукам. Окно распахнуто настежь, и я слышу

тихий шелест, доносящийся из маленького палисадника. В коровнике бряцает цепь, а несколькими дворами дальше лает собака. Я так счастлив, что спать совсем не хочется. Хотелось бы все время так вот лежать, жаль пропустить такое счастье.

Вычисляю, что впереди у меня еще тридцать девять каникулярных дней, полных счастья (не считая дня отъезда), и если я буду бодрствовать по пятнадцать часов в день, то это составит пятьсот восемьдесят пять часов счастья, без школы и других забот. Цифра эта кажется мне столь огромной, что каникулярным часам просто не видно конца, особенно если вспомнить, как долго тянется урок латыни. День отъезда и начало школьных занятий так же далеки, как луна, мягкий свет которой словно снегом выстилает комнату.

Просыпаюсь утром и не успеваю еще глаз открыть, как птицы в саду уже напоминают мне, что я на каникулах, что впереди у меня бесконечно долгий радостный день — один из тридцати девяти. Мне кажется, что еще совсем рано, я слышу, как сладко посапывает Эди. Но вот дверь открывается, входит мама и громко говорит:

— А ну, вставайте, сони! Скоро девять! Кто из вас пойдет в курятник за яйцами?!

Мы оба выскакиваем из постелей, и первый день каникул начинается.

Да, эти летние каникулы не обманули наших ожиданий, они были такими же чудесными, как и все, что мы проводили вместе с родителями. Отец, несмотря на свой сундучок с папками, всегда находил для нас время, да и мама частенько сидела с нами, хотя при этом обычно резала стручки фасоли или лущила горох. Каникулы очень сближали детей с родителями. Недоразумений почти не было, и озорничали мы крайне редко. Естественно, иной раз мы капризничали, когда нас отрывали от интереснейшей игры и усаживали за уроки, — отец строго следил за тем, чтобы мы хоть немного занимались, — но едва мы захлопывали тетради, огорчений как не бывало.

Утром мы обязательно шли к морю, а после обеда — почти ежедневно — отправлялись в длительную прогулку по лесам. Отец был неутомим, он придумывал все новые и новые цели походов или новые пути к старым целям. Когда же бывало слишком жарко, мы отыскивали тенистый уголок на опушке леса, и отец принимался нам

рассказывать. Он умел рассказывать великолепнейшие истории, и для нас, нового поколения, особая прелесть этих историй заключалась в том, что они были не просто сказками, а непосредственно касались нашей жизни. Они раскрывали окружающий нас мир, и мир этот становился понятнее.

Так, отец поведал нам однажды историю о четырех хлебных растениях, поспоривших, какое из них нужнее человеку. Они договорились между собой, что каждого, по очереди, не будет целый год. И вот куры оказались вдруг без ячменя, а лошади без овса почти все вымерли. Потом отец поведал нам, что говорили берлинцы, лишившись булочек и рогаликов, и как загрустили дети без пирожных из пшеничной муки. Но хуже всего оказалось без ржи; на мельницы больше не возили зерно, и у пекаря не стало муки, чтобы печь хлеб. Вот уж тут совсем по-другому заговорили берлинцы, когда им пришлось питаться одними булочками и рогаликами! И как детям надоели вечные пирожные! Да, плохое, ужасное было время, когда не стало ржи!

По дороге домой мы с особенным уважением разглядывали каждую ниву. Мы уже умели отличать желто-золотистую метелку овса от плоского остистого ячменного колоса, золотистый четырехгранный початок пшеницы от высокого белесоватого колоса ржи, в котором зеленовато-серые зерна торчали наискосок, словно целясь в землю.

Или же отец рассказывал нам об электричестве. Он знал о нем множество историй: как его впервые обнаружили, — маленького, немощного карлика, — и как его теперь выколдовывают из угля или воды на гигантских станциях, и как его можно заставить делать тысячу полезных дел. Запас отцовских историй был неисчерпаем, иногда мы просто заказывали историю на какую-нибудь тему: как обстояло с открытием Америки или может ли человек научиться летать. Отец знал все...

Я с почтением думал тогда о техническом журнале «Прометей», который приносили нам домой каждую неделю и который отец регулярно читал; его интересовало все, хотя он был только юристом. Он не хотел отставать от своего времени, он стремился понять, что происходит.

А если выдавался холодный, дождливый день и мы, слоняясь по тесным комнатам, путались у мамы под но-

гами и надоедали ей бесконечными просьбами, отец доставал из своего сундучка какую-нибудь книгу, перебирался с нами на чердак или в амбар и там часами читал вслух до полной хрипоты. Каких только книг он не прочитал нам за каникулы! «Айвенго» Вальтера Скотта и всего Макса Эйта, о пирамидах, о паровых плугах и о бедном портняжке Берблингере из Ульма, которому так хотелось научиться летать. Но самое сильное впечатление произвела на меня книга Густава Фрейтага «Приход и расход». Отец читал ее художественно, в лицах: Фейтель Итциг страшно визжал и брызгал слюной, старый барон Ротзаттель слегка брюзжал и огрызался, как мой дядя, подполковник фон Розен, когда сердился; ростовщик Эренталь говорил тихо и вкрадчиво, и только бодрый голос самого геройского героя, Антона Вольфарта, чем-то напоминал собственный голос отца.

Время от времени отец прерывал чтение, и мы слушали наши первые лекции о залоговом и вексельном праве, узнавали, чем отличается закладная от облигации. Я гордился тем, что мог досконально разобраться в темных делишках старого Ротзаттеля, и на всю жизнь усвоил основы коммерческих знаний, которые отец преподавал мне мимоходом. Больше всего, однако, я восхищался в душе господином фон Финком, хотя порой меня раздражал его заносчивый, дерзкий тон. Я хотел бы стать таким, как господин фон Финк: непревзойденный спортсмен, к тому же богат, великолепно владеет собой, и какое при сем благородство!

Ох, до чего же быстро летят каникулы! Не успеешь встать, как тебя уже снова гонят в постель! Но вот и черника поспела. Из лесу мы возвращались с черными ртами и — к маминому неудовольствию — с пятнами на белых в голубую полоску блузах. А после нескольких дождевых дней пошли грибы. Это коренастое лесное племя лезло из земли на каждом шагу, и отец учил нас отличать съедобные от ядовитых.

О, эта нескончаемая охота за грибами, все глубже и глубже в лесную чащу, без дорог и тропинок! Останавливаешься на минутку передохнуть, и от непрерывных поклонов кровь еще шумит в ушах, но тебе кажется, будто этот шум доносится извне, будто ты слышишь голос самого леса; лес и лето поют величественную оду Творению, и каждый комарик аккомпанирует им.

А счастье, а радость открывателя, когда после долгих напрасных блужданий лесная земля вдруг зажелтеет колониями лисичек! Иногда они растут кругами, напоминая деревни посреди равнины, а иногда тянутся длинной улицей, которая внезапно обрывается,— непонятно почему,— и ты можешь проплутать еще добрых четверть часа и не встретишь ни одной лисички!

А вот белые грибы селятся отдельно, это солидные хуторяне в коричневых шляпах, иногда они встречаются тебе в сопровождении двух-трех упитанных детишек, прислонившихся к отцовской ноге. С каким нетерпеливым ожиданием срезаешь их и смотришь на белый срез: не червивый ли. А потом мы бродим по лугам в поисках шампиньонов, мы уже знаем, какие они бывают: лесные, луговые и овечьи. Больше всего нам нравились последние, несмотря на то, что в их названии было что-то презрительное.

Когда мы вечером усталые, голодные возвращаемся домой, нагруженные сетками и корзинками, мама тяжело вздыхает: работе не видно конца. Ведь грибы надо тут же промыть и почистить, чтобы они не испортились на жаре. И вот женская половина семейства усаживается за работу, даже Итценплиц и Фитэ вручают кухонные ножи. А мы, мальчишки, вооружившись толстыми штопальными иглками, нанизываем чищенные резаные грибы на длинные бечевки, на которых им предстоит сушиться. Конечно, они потом сморщиваются, чернеют, вид у них делается непривлекательный, но мы знаем, что зимой, попав в грибной суп, соус или запеканку, они воскреснут вместе с добрым ароматом влажной лесной земли!

Как летят дни! А разве мы совсем не купаемся в море? Купаемся! Конечно, купаемся! Грааль уже начинает робко именовать себя морским курортом — как же тут не купаться. Правда, с тех пор минуло всего сорок лет (что, собственно говоря, не такой уж огромный срок), но тем не менее тогда еще думали о купании совершенно иначе, чем теперь! Слишком много купаться считалось вредным, «изнуряло», купаться следовало осторожно, не чересчур долго и не слишком часто!

Потому мы купались не чаще двух-трех раз в неделю, и я не могу сказать, что редкое купание в какой-то степени умалило наше каникулярное счастье. Плавать никто из нас не умел, кроме, пожалуй, отца, а ему

вообще нельзя было купаться из-за слабого здоровья. Так что купание, собственно, было для нас скорее тягостной обязанностью. Но что поделаешь, раз уж приехали на море, значит, надо купаться, хотя, в сущности, шлепать босиком по воде куда приятнее!

К тому же я оказался в весьма затруднительном положении. Здесь существовали две небольшие купальни — мужская и женская, — и разделение полов соблюдалось строжайшим образом. Идея — купаться просто на берегу — была столь безнравственной, что еще не пустила свои ядовитые ростки ни в одном мозгу. Конечно, встречались отдельные негодники, которые во время купального сезона шатались по дюнам и даже наблюдали в подзорные трубки дамскую купальню, но то были исключения; караулившие рыбаки вскоре выуживали этих наблюдателей, и их постигало всеобщее презрение. Да и вряд ли наблюдаемые ими картины (даже в подзорные трубки) были столь уж смачными, ибо тогда еще дамы облачались в те странные, обычно красного цвета купальники со штанинами ниже колен. Поверх надевалась еще сорочка, и все это, перетянутое поясом и облеплявшее тело сверкающими складками, являло скорее комичное, нежели соблазнительное зрелище.

Как я уже говорил, мое положение было нелегким. Для дамской купальни я уже оказался слишком большим, а пускать меня одного в мужскую купальню, доверившись коварной стихии, было тем более невозможно! Иногда маме удавалось убедить пляжную привратницу, что мне еще нет десяти лет, и тогда мы четверо копошились возле мамы, как цыплята вокруг наседки. Нам даже брызгаться не разрешали, так как голову ни в коем случае нельзя было мочить! И заходить в воду глубже, чем по пупок, тоже запрещалось. Нам то и дело внушали, что даже в самый тихий солнечный день может внезапно накатить большая волна. Да и морское дно «усеяно» глубокими ямами, в которые ребенок может провалиться, не успев крикнуть!

Так что купание было не удовольствием, а обязанностью, и мы всегда с радостью натягивали на себя одежду и устремлялись к нашему «замку», охваченные тревогой: не посягнул ли кто на него в наше отсутствие. Хотя приезжих в Граале было тогда еще мало, тем не менее борьба за роскошный замок на опушке леса шла вовсю, и нам не хотелось, чтобы пропали даром наши много-

дневные труды по возведению вала и рва, которые могли бы выдержать сильнейшую осаду!

Мы радовались, если находили родной замок в полном порядке, возмущались, если обнаруживали, что украден мостик через ров (мы, в свою очередь, тоже его украли) или же стащили брус, являвшийся маминым тронem! Немедленно организовывали разведку, посылали шпионов и, как только устанавливали местонахождение краденного, — в зависимости от того, что из себя представлял новый владелец и какими он располагал силами, — применяли просьбы, насилие или хитрость. Да, нынешние каникулы были еще хороши и тем, что мы, четверо детей, неожиданно сплотились в одну дружину. Каникулы не только сближали нас с родителями, но и создавали между братьями и сестрами единство хотя бы по отношению к окружающим. В Берлине мы четверо были двумя отдельными державами, и для достижения определенных целей, бывало, объединялись вдвоем против двух остальных или даже втроем против одного. Но едва цель была достигнута, как союз тут же распадался, и если я только что сражался на стороне Итценплиц против Эди и Фитэ, то полчаса спустя мог совершить вместе с Эди разбойничье нападение на старшую сестру.

Здесь в Граале все было иначе. Если мы хотели чего-то добиться, нам надо было держаться вместе. Вчетвером мы составляли великую державу, задеть которую не решился бы даже самый отчаянный берлинский «уличный мальчишка» (низшая оценка по нашей системе). Несомненно, вопрос о командовании всегда решался с муками, и добиться послушания было нелегко, ибо каждый охотнее приказывал, чем подчинялся. Но в общем уже во время военного совета выяснялось, кому командовать той или иной операцией: тому, кто подавал лучший совет.

Маме, разумеется, все эти боевые действия были глубоко противны, ее детям драться было «просто не к лицу», но ведь вовсе не обязательно сражаться на виду у слабых женщин! Дюны большие, места много, да и шлепая по воде босиком, всегда имеешь возможность сбить с ног того, кто числится в черном списке. Как правило, господа родители не предъявляли друг другу претензий, даже если позорные дела их отпрысков были доказаны. Каждая семья предпочитала держаться особняком: ведь «людей мы этих не знаем!», судя по всему, «они не бог весть что» и вообще лучше ни с кем не связываться!

Пятьсот восемьдесят пять часов кажутся в первый каникулярный день бесконечностью, но как быстро они пролетают! Кто-нибудь из нас нет-нет, да и скажет: «Наследующей неделе едем домой»; и отец на прогулках обратит наше внимание: «Посмотрите-ка хорошенько, дети! Вряд ли мы еще раз увидим это в нынешнем году!»; и нам все реже напоминают, что надо садиться за уроки. Родители уже делают нам поблажки и не мешают всю наслаждаться остатками каникул. В очередной раз обсуждается, совершим ли мы наконец еще до отъезда прогулку на паруснике с рыбаком Байдером. Четверо детей — уже который год — очень просят об этом, но опять ничего не выходит: а вдруг из-за этой ужасной морской болезни сорвется точно намеченный отъезд. (Хоть бы сорвался!)

— Пожалуй, будущим летом, дети! В самом деле, теперь уже поздно! Вы только представьте себе, что мама не сможет уложить вещи! Ее так легко укачивает. Я думаю, что в будущем году...

После чего мама осторожно добавляет:

— Если на будущий год опять приедем сюда. Все так подорожало по сравнению с прошлым летом. Я истратила на хозяйство больше, чем в Берлине. И потом я не уверена, что нам удастся снять домик по старой цене. Хозяева мне уже намекнули...

Последние дни, самые последние! У каждого вдруг возникает потребность уединиться, сходить на тайное свидание со своим любимым уголком. Я знаю одну дужайку в высоком сосновом лесу, туда я и направляюсь. Жарко, скоро полдень. Я бросаюсь на сухую землю, запрокидываю голову и, сощурившись, гляжу в сияющую высь. Надо мной большая сосновая ветвь, сквозь иглы, сквозь маленькие ветки я вижу небесную голубизну. Она мерцает от жары. К небу словно приклеилось белое облачко.

И вновь мне чудится, будто я слышу глухой летний гул леса, слышу его дыхание, как у себя в груди, его прибой, как у моря, его порывы и дуновения, как у ветра, он то усиливается, то стихает, как все живое. И больше ничего? Нет, больше ничего. Только тишина и где-то далеко-далеко чуть слышно звенит. Я лежу совершенно расслабленный, кажется, солнце растопило все мое тело и оно хочет врасти в нагретый песок. Нет больше ничего — ни родителей, ни брата с сестрами, ни школы, ни

Берлина, — только лето, его тепло и я — частица этого лета, в котором мне хочется раствориться навсегда!

И вот мы опять сидим в поезде, который мчит нас домой. Домой ли? Берлин — не дом, Берлин — местожиительство, местопребывание, только не дом. Но странно: чем дальше уносит нас поезд от моря и леса, тем легче мысли о покинутом каникулярном счастье сменяются мыслями о городе. Я вдруг вспоминаю о своих книгах, ведь я не держал их в руках так долго. Во время каникул мне пришло в голову, что книги можно расставить по совершенно иному принципу — не в алфавитном порядке, по фамилиям авторов, а по содержанию: отдельно про путешествия, отдельно сказки, отдельно про индейцев. Мне уже хочется поскорее заняться этим, а тут я еще вспоминаю, что в Берлине, перед отъездом, начал новую книгу. Вот теперь я ее дочитаю!

И завтра же навещу всех приятелей и знакомых, ведь завтра еще не в школу. Отец всегда был против того, чтобы уезжать в самый последний день. Детям тоже надо дать время освоиться перед началом учебы! Итак, завтра послушаем, что там вытворяли на каникулах мои друзья, а я расскажу им про свои приключения. Мысленно я начинаю отбирать то, что достойно рассказа.

На этот раз нам не пришлось долго бегать в поисках кареты. Чемоданы с постельным мешком отправляются наверх, и теперь на козлах восседаю я, все по справедливости. Под ногами у меня стоит розовое жестяное ведерко, которое мы брали на пляж. Вечером накануне отъезда мы с Эди набрали в него ракушек, поскольку отец запретил перевоз трех полуживых рыбешек, предназначенных для учреждения нашего берлинского аквариума.

Я смотрю на ракушки, смотрю на улицу... Еще только полдень, и светит солнце, однако его свет мне кажется каким-то бледным. Половина улицы лежит в тени, дома там серые, угрюмые. Но и те, что на солнце, не такие уж яркие, похоже скорее, что они прикрыли безжалостно обнажившиеся изъяны румянами и белилами. Настроение портится; еще только что я радовался возвращению домой, а сейчас на меня нашло какое-то уныние! Я отворачиваюсь и смотрю на ракушки...

Минна и герр Маркулайт стоят у подъезда. Мы прибыли пунктуально, и нас пунктуально встречают, привычный порядок опять вступает в свои права. Едва дождавшись окончания приветствий, я тут же направляюсь

в свою комнату. Тихонько закрываю за собой дверь и оглядываюсь вокруг. Так непривычно... Разумеется, Минна убрала здесь «генерально», пахнет воском и жидким мылом. Один стул не на месте, и уже от двери я вижу, что книги на полке стоят как попало. Портрет Бисмарка висит криво...

Но дело совсем не в этом...

А в том, что... Странно... мне кажется, будто моя комната не принимает меня, будто она и знать обо мне не хочет... Я гляжу на кресло, стоящее у секретера. На сиденье вмятина, словно в кресле только что кто-то сидел, и этот «кто-то» мой враг, я это чувствую! Да, действительно странно... что же тогда было, что же я чувствовал, когда в первый день каникул ехал через Тиргартен? Пытаюсь вспомнить. Вроде бы я оставил себя здесь, вроде бы видел себя самого, стоящего с книгой в руке у окна?

Бросаю робкий взгляд в сторону окна, но там никого нет. И все же здесь кто-то есть! За все каникулы я ни разу не ощутил этого другого я, даже не вспомнил о нем! Но стоило мне вернуться домой, и он встречает меня с холодной враждебностью, вот так он меня принимает. Еще на Инвалиденштрассе, когда потускнел солнечный свет, я почувствовал его приближение..

Значит, теперь мне опять придется с ним жить, целый год, до следующих больших каникул! А иногда он будет становиться мною, так что я сам себе окажусь врагом! Ну, как это перенести?.. И никого, с кем бы я мог поделиться! Никого, кто хоть капельку понял бы меня!

Я вышел в коридор и неслышно прикрыл за собой дверь. Сейчас у меня не хватало мужества вступить в бой с враждебной атмосферой моей комнаты. Я раздумываю, куда бы пойти. И вспоминаю о своих кроликах, о трех доверчивых существах, которые меня любят!

Стремглав лечу в подвал и подбегаю к зарешеченным ящикам. Но они пусты, на дне лежит подгнившая солома, пожелтевший капустный лист да огрызок моркови, на котором виднеются следы зубов Мукки.

Через задний двор я понуро бреду к консьержу.

— Герр Маркуляйт,— говорю я с преувеличенно бодрым видом.— Где мои кролики?

— Твои кролики? Пропали! — Герр Маркуляйт свистит, чтобы показать, что их действительно нет. Вши их зажрали! Я ж писал твоему отцу, а он мне от-

писал, чтоб я их продал. Уплатили за них марку двадцать в малом зверинце на Винтерфельдштрассе. Больше не дали, потому очень уж они завшивели. Вот деньги, держи. Ну чего ты скис, парень...

— Благодарю вас, герр Маркуляйт,— говорю я.— Оставьте их себе за труды...

Медленно возвращаюсь я через двор в подвал. Сажусь на ящик и гляжу в пустые кроличьи клетки. Глаза наполняются слезами, но почему-то не плачется, так все безнадежно...

Кончились каникулы...

БАБУШКА

Из двух пар дедов с бабками, полагающихся всякому смертному, небо сберегло для моего детства лишь мать моей мамы. Трое других умерли, так и не успев оставить в моей памяти хоть какой-нибудь след. Зато они как бы воплотились в нашей единственной бабушке. Разве только в сказках бывают такие бабушки — в ней одной соединились все качества трех усопших, и она неустанно, с утроенной щедростью, проявляла заботу, терпение и любовь ко всем своим внучатам, а их у нее было много.

Конечно, нам, внукам, бабушка всегда казалась очень древней. Как всякий ребенок, я почти не различал возраста, все взрослые между тридцатью и пятьюдесятью годами казались мне одинаково старыми. Но то, что бабушка была просто древней, много-много старше отца и мамы,— это я видел. Какой я запомнил бабушку: маленькая подвижная старушка, всегда одетая в черное, в черном кружевном чепчике с наколкой из -стекляруса. У нее был высокий, звонкий, чирикающий голос — когда бабушка говорила, казалось, будто щебечет птица. Из-за одного этого голоса мне никогда не надоедало слушать ее сказки.

Позднее мы обнаружили, что бабушка не только щебечет,— в ее речи есть какой-то оттенок, она говорит не так, как все, кого мы знали. Дело в том, что бабушка говорила на ганноверском диалекте, и если даже, по мнению ганноверцев, они (то есть ганноверцы) изъясняются на чистейшем немецком языке, то бабушкино «ст» (звучавшее вместо «шт») и «а», которое она произносила как нечто среднее между «а», «э» и «ё», были для

нас неиссякаемым источником развлечения. Частенько во время прогулок мы подходили к бабушке и с лицемернейшим видом предлагали свои услуги:

— Бабушкэ, дэавэй мы понесем твою шэаль?

И добрая бабушка, чье сердце не допускало и мысли о том, что ее внук может позволить себе подшутить над ней, добродушно отвечала:

— Спэасибо, мой милый мэльчик, пожэлуй, я не буду снимэать шэаль, что-то прохлэдно нынче.

После чего злодей, давясь от сдерживаемого смеха, возвращался к брату и сестрам. Мы выжидали минуты три, затем отправлялся следующий:

— Бабушкэ, можно я понесу твою шэаль?

Его также благодарили с неизменной ласковостью.

Или мы принимались шепелявить до полного онемения: протыкали с-таны с-пагой, с-топором, с-тыком и с-топали с-пильками... Бабушка этого не замечала. А если и замечала (наверное, иногда все-таки замечала), то лишь посмеивалась; мол, обычные детские забавы, а вообще ее внучата — образцы вежливости! Эта скромность, простота и милосердие, какая-то отрешенность от земного зла были бабушкиной защитой против всех тягот, выпавших на ее долю. Для нее просто перестало существовать все плохое и тяжелое. Ведь больше, чем ты сможешь снести, на себя не взвалишь, — наверное, думала она. И если бабушка смогла нести свою ношу, то лишь благодаря наивной, простодушной христианской вере в то, что все в жизни в конце концов образуется к лучшему. Это была вера без красивых слов, без лицемерия и не в тягость другим. Бабушка всегда поступала как христианка, хотя никогда не говорила о христианстве.

То, что мои родители отошли от церкви и мы, дети, пошли по их стопам, возможно, и даже наверняка, огорчало бабушку. Но она не говорила об этом. Бог знал, коль позволяя; не ее дело вмешиваться. Когда она приезжала к нам в гости, она, конечно, ни в чем не отступала от своих обычаев, но все делала совершенно незаметно. Незаметно уходила воскресным утром в церковь, незаметно за обедом и ужином, наклонив голову, складывала руки и тихо шептала застольную молитву. И должен сказать, что как бы мы, дети, ни были расположены подшучивать над маленькими странностями бабушки, во время ее молитвы царил тишина. Мы даже не

решались украдкой поглядывать на нее. Во всяком случае, отец пресек бы здесь малейшую бестактность с нашей стороны. Он был из тех людей, кто не мешает блаженствовать каждому на свой лад и какую-либо опеку в делах, касающихся веры, считал особенно недопустимой. Он и нас всегда воспитывал так, чтобы мы с уважением относились к чужим мнениям (даже в корне противоречившим нашим), а если не могли уважать, то, по крайней мере, молча выслушивали бы их.

Бабушка состарилась и действительно стала такой, какой казалась мне в детстве, хотя в то время была еще в расцвете сил. Родившаяся в тысяча восемьсот тридцать восьмом году, она пережила четыре войны — датскую, австрийскую, французскую и первую мировую. На все эти войны уходили ее сыновья, внуки и правнуки. Она писала им письма, отправляла посылочки, вязала, пекла, а когда кого-нибудь из них убивали, плакала. Но быстро утешалась. Она уже столько похоронила — братьев и сестер, детей и внуков; лишь ее, самую древнюю, щадилась смерть. Зато как разрослось ее потомство! Двадцать одного внука и уже двенадцать правнуков насчитывало оно. Нет, бабушке не надо было опасаться, род ее не вымирал. Кровь еще не иссякла, она играла, бурлила, отвоевывала свое место в жизни...

Меня всегда глубоко трогало, что бабушка, которая существовала на скудную пенсию пасторской вдовы и была слишком горда, чтобы принимать какую-либо денежную помощь от своих детей, что она, вынужденная жесточайше экономить даже на самом необходимом, посылала каждому внуку и правнуку по талеру ко дню рождения и к рождеству. Кажется, вроде бы немного, но если живешь на триста талеров в год и если ежегодно отправляешь по почте дважды по тридцать талеров, — то получается много. Даже слишком много, ибо дарится не за счет сбереженного, а за счет насущного.

— Но ведь мне это доставляет радость, Луиза, — сказала бабушка, когда мама однажды запротестовала. — Если я не смогу больше делать подарки, мне уж тогда и жить не стоит. Пусть ребятишки знают, что у них есть бабушка.

Передо мной две фотографии бабушки. На первой она еще молодая женщина, на второй — девяностолетняя вдова. Внешне, что касается одежды, снимки очень похожи. На обеих бабушка в черном, всю жизнь она но-

сила только черное — жене пастора и вдове иное не приличествует. Головной убор тоже запечатлен оба раза. У молодой — это еще наколка из черной бархатки с ниспадающей на затылок вуалеткой. А у состарившейся — черный кружевной чепец с черным стеклярусом, о котором я уже говорил.

Но лицо, лицо! Как может изменить лицо жизнь — даже самая скромная, смиренная, целиком посвященная любви к ближним! На меня смотрит молодая женщина с волевым лицом. Твердый подбородок, прямая, четкая линия отнюдь не маленького носа. Хотя губы с чуть приподнятыми уголками сжаты, в выражении рта есть что-то доброжелательное, какая-то затаенная улыбка. Лишь глаза смотрят несколько строго... И вот рядом портрет старухи; если бы не знал, никогда бы не поверил, что это одно и то же лицо, только состарившееся. Рот растянулся, губы стали совсем тонкими, подбородок выглядит короче и шире. Крупный нос словно погрузился в складки и морщины, окружившие его со всех сторон; да, жизнь пропахала эту плоть несчетными бороzdками. Вот — молча пережитое! Вот — глубоко скрытая скорбь! Годами таившиеся в душе тревоги и заботы теперь выступили наружу! Складки вокруг рта выдают горечь от невысказанных слов. Но глаза — и это самое поразительное, — глаза, которые в молодости смотрели так строго, почти грустно, теперь улыбаются! Они как будто стали меньше от тяжело нависших век и набухших слезных мешочков, но они улыбаются с такой добротой и любовью, словно щедро расточаемый девяносто лет подряд запас любви не убавился, а умножился. В этих глазах светится вечный триумф духа над плотью, любви над тленом. Древнее лицо напоминает скорее огрубевшую, лишаистую кору старых деревьев, чем лицо человека, но глаза сияют, как и в тот первый день, когда в них засветился пробудившийся дух.

Долгая жизнь пролегла между двумя этими лицами, жизнь, которой не очень-то благоволило счастье. Дочь сельского пастора за пастора же выходит замуж. Счастливые годы в деревне, тихая, скромная жизнь — дети, поле, скот, небольшой бедный приход среди пустоши. Может быть, такая жизнь показалась мужу слишком простой и он внял голосу свыше. Он решает ехать в Целле, к последним из пропащих. Ему хочется стать духовным пастырем в каторжной тюрьме.

Долговязого, болезненного пастора предостерегают: ведь на его щеках и без того цветут кладбищенские розы, как тогда говорили, но предпочитали не говорить. Он не внемлет предостережениям, семья переезжает в Целле, поселяется при тюрьме. В старой песне есть такие строки:

Воздвигнут в Целле теремок:
Любви — конец. Прощай, дружок!..¹

Крепкий дом в Целле не уберег мужа, он умер. Но любви не пришел конец, началось вдовство, продолжавшееся шестьдесят лет. После смерти мужа она оказалась с пятью детьми, а пенсия была такой ничтожной! Предстояло неизбежное и самое тяжкое: расстаться с тремя детьми, их отвезли к обеспеченным родственникам, в том числе мою мать. Вдова осталась одна с сыном и дочерью!

Жизнь кончилась, женская жизнь; недавней спутнице мужчины пришлось отныне учиться быть вдовой, жить впредь только для других, больше не думать о себе. Сколько желаний и надежд пришлось похоронить! Но старое лицо выдает их. Трое детей вдалеке — сколько тоски и тревоги, — и об этом можно прочесть на лице. В доме жалкие гроши, над которыми вечно дрожишь, экономя на самом необходимом, — и об этом говорит старое лицо. Но сердце живо, любовь побеждает, дети выходят в люди. И вот уже есть внуки, а о внуках нестареющее сердце думает иначе, чем о детях!..

Мне всегда казалось бессмысленно жестоким и бесчеловечным, что такому кроткому сердцу не дано было перестать биться среди тишины и покоя. Последние месяцы своей жизни эта смиренная, набожная душа была уверена, что она в аду. Страдала она ужасно, мучилась день и ночь. Когда ей давали холодное питье, она жутким голосом кричала, что ей льют в горло расплавленное железо. Все, кто находился возле нее, стали чертями, бог отверг ее. Она была проклята навеки за свои безмерные грехи. Она никогда больше не встретится со своим мужем и детьми, ей уготован адский огонь. Для всех было избавлением, когда она умерла, на девяносто пятом году жизни. Думаю, что теперь она обрела покой.

Поэтому я решаюсь рассказать несколько историй из жизни бабушки, которые показывают ее со смешной сто-

¹ Здесь и далее перевод стихов Л. Гинзбурга.

роны — но смешной только для других. Бабушка эти истории воспринимала очень серьезно; так уж она была устроена, чувство юмора у нее отсутствовало полностью. Она не понимала, что значит шутка.

Если нам хотелось растормозить бабушку, мы упрасивали ее рассказать страшную историю про маленькую Эльфриду. В ту пору, когда случилась эта трагедия, Эльфриде, младшей дочурке бабушки, было два года, а ее брату Готхольду — четыре. Ему, как подрастающему мужчине, вечно занятая мать часто поручала присматривать за сестренкой. Ко всеобщему удовольствию, он, как правило, охотно выполнял это.

И вот однажды Готхольд установил, что его сестренка обмочилась. Надо сказать, что самому Готхольду этого не разрешали делать, а если порой с ним такое и приключалось, то его наказывали. Эльфриде, которой едва минуло два годика, мокрые штанишки еще простили бы, уж бабушка сделала бы ей снисхождение. Но ведь Готхольд этого не знал и, опасаясь, что сестренку накажут, он стал соображать, как бы избавить ее от шлепков.

Время было зимнее, в печи пылал огонь, и печная дверца накалилась почти докрасна. Готхольд был уже достаточно смышленным и видел, как мокрое сушат теплом, но он еще не мог сообразить, что температуру сушки надо соразмерять с природой высушиваемого. Он думал лишь о том, что должен спасти Эльфриду от шлепков.

Подхватив сестренку, Готхольд прижал ее задиком к горячей печной дверце. Первое мгновение ощущение теплоты было еще приятным, но только самое первое мгновение, ибо Эльфрида тут же пронзительно закричала. Готхольд взволнованно уговаривал ее высушить штанишки, иначе ее отшлепают, и все крепче прижимал Эльфриду к дверце. Девочка зашлась в крике.

Слава богу, примчалась бабушка и спасла несчастную от пыточного огня. Серьезным голосом, то и дело глотая подступавший к горлу комок, бабушка рассказывала нам, что бедной девочке пришлось два месяца пролежать на животе и что следы от печной дверцы так и остались на всю жизнь.

А мы, еле сдерживая восторг, отбивали под столом друг другу ноги до синяков. Когда же к нам приезжала очень выросшая с тех пор тетя Эльфи, дама весьма плот-

ной комплекции, кто-нибудь из нас непременно прокрадывался к ней в тыл и задумчиво разглядывал ее. Как нам хотелось попросить тетю Эльфи, чтобы она хоть разок показала следы печной дверцы, но, слава богу, мы обуздывали свое любопытство — ведь тетя Эльфи очень следила за приличиями! По-нашему это называлось просто *фу-ты ну-ты!*

Тот самый дядя Готхольд, кажется, и в зрелые годы остался приверженцем сильнодействующих методов воспитания. Я дрожал от бессильной ярости, когда его дети рассказывали, как он раз и навсегда отучил их играть с огнем. Дядя Готхольд, конечно, жил в сельском приходе, дом его был крыт соломой, к дому, как водится, примыкал двор с сараями и хлевом, где много соломы и сена, — на таких дворах всегда боятся пожара. Все дети в определенном возрасте любят баловаться с огнем. И вот, когда дяде Готхольду казалось, что очередной его ребенок достиг этого возраста, он звал ребенка к себе в комнату, зажигал две-три спички и своей железной рукой держал детский пальчик над пламенем. Не обращая никакого внимания на страх, крики, ожог, он безжалостно говорил:

— Ну, вот, теперь ты знаешь, как больно баловаться с огнем. Никогда с огнем не балуйся!

На его месте я предпочел бы стать погорельцем, нежели внушать моим детям страх перед пожаром таким, мягко выражаясь, сверхнаглядным способом. Операция, которую дядя неукоснительно проводил со всеми своими шестью детьми, не совсем вяжется с его образом. Ибо дядя Готхольд был высокий здоровяк, настоящий сельский пастор нижнесаксонской породы, который, натянув сапоги с отворотами, самолично вспахивал свое поле, умел, как никто, по-свойски поговорить с крестьянами о посевах и урожае, любил детей; в общем, был веселым человеком, не совсем лишенным юмора. Я все же склонен думать, что его почти панический страх перед огнем возник после пережитого им в детстве пожара, а так как случай этот связан с матерью дяди Готхольда, то есть с нашей бабушкой, то я расскажу и о нем.

Случилось это еще до того, как бабушка с дедом перебрались в Целле, в «теремок», когда они еще жили в приходском доме с соломенной крышей. Время обеда; отец, мать и пятеро детей сидят за столом, вместе с бат-

раками и батрачками. Надвигается гроза, в окна видны иссиня-черные тучи, в комнате потемнело, будто наступили сумерки.

Но бабушку это ничуть не беспокоит: все мы в руках божьих. Она принимается разливать суп из огромной суповой миски. Тут за окнами вспыхивает ослепительный свет, затем раздается грохот, словно залп из тысячи пушек. Все вскакивают на ноги, все орут:

— Вот это вдарило!

Но вдруг становится светло и в комнате, которая после удара молнии опять было погрузилась во тьму, и свет этот какой-то мигающий, извивающийся языками, красный.

— Горим! — вскрикивают все разом и мигом выскакивают из дома.

Да, они горели, вся соломенная крыша уже охвачена пламенем. В деревне бьют в набат, но каждому ясно: тут уже ничего не спасти! Так оно и случилось на самом деле — за считанные минуты дом сгорел до фундамента, дед с бабушкой потеряли все!

Оторвав наконец взоры от пылающей кровли, все смотрят друг на друга и внезапно спохватываются: где же пасторша? В первые тревожные минуты ее никто не хватился. И только сейчас все заметили, что фрау пасторши нет. Ее зовут, ищут в саду, заглядывают в тусклые окна, отражающие пламя. К стенам почти невозможно подступиться, зной пожара нестерпим. Но дед все же хочет войти, он в отчаянии, он рвется в дом. Нет бабушки, пропала мать его детей!

Батраки пытаются его удержать:

— Что вы, герр пастор, нельзя! Туда не войти! А если и войдете, то назад не выйдете! Да гляньте, кровля уже рушится! Подумайте о детях, герр пастор!

Но деда не удержать. Он вырывается и бежит к горящему дому...

И тут из распахнутой двери появляется бабушка! Она ничуть не торопится. Осторожно ступая — чепчик неизбежно сидит на гладких, разделенных пробором волосах, — она шагает сквозь пекло. Да и как не ступать осторожно, ведь у нее в руках большая супница!

Ее встречают радостным ликованием, но бабушке непонятен этот восторг. А что с ней может случиться? Бог не отнимет мать у пяти малых детей! И с таким же спокойствием она воспринимает пожар, в котором гиб-

нет все ее добро. На то Его воля, Ему лучше знать, что дать, что взять!

— Мама!..— удивляются дети.— Зачем ты принесла супницу? Что ты будешь с ней делать?!

— Ну как же, ребятки,— отвечает она звонким, спокойным голосом,— даже если мы сгорим, вам все равно есть надо! Потому я и захватила суп.

Все восхищены самообладанием фрау пасторши, ведь она действительно обо всем успевает подумать и никогда не теряет присутствия духа. В первый момент никому не приходит в голову мысль, что, наверное, было бы разумнее спасти ту малость денег, оставшихся в ящике письменного стола, или прихватить пальтишко-другое детям, чтобы они не мокли сейчас под хлынувшим дождем. Уж пасторскую семью накормили бы обедом в любом доме общины. Нет, какова выдержка у фрау пасторши, она — само спокойствие!

Но потом выясняется, что никакого присутствия духа бабушка не проявила и даже утратила всякую выдержку. Что, несмотря на внешнее спокойствие, она все-таки действовала безрассудно...

Когда сняли крышку с супницы, то...

Погорельцы успели перебраться под какой-то кров, ибо в доме спастись было уже нечего... И когда с супницы сняли крышку, то обнаружили, что в чудесном ганноверском гороховом супе, с ветчиной и клецками, плавают бабушкино вязанье! А ведь до чего невозмутимой выглядела бабушка, как спокойно она шагала из пламени. Однако в душе ее царило полное смятение, она кинулась спасать то, что оказалось под рукой: повинувшись какому-то первобытному инстинкту домохозяйки, она схватила вязанье и сунула его в суп!

О, как все тогда смеялись, даже внуки, слушая эту историю, потом хохотали над своей бабушкой! А бабушка лишь улыбалась, нисколько не обижаясь, но и ничуть не понимая комизма истории.

— И все-таки я довязала носок для вашего деда! — обычно говорила она с гордостью.

— А суп, бабушка? Скажи, что стало с супом?

— Уж я запомнятовала, детки. Наверно, мы его съели. Суп был хороший, не пропадать же ему.

Если мое предположение правильно, то комичный эпизод со спасенным супом вряд ли запечатлелся в па-

мяти дяди Готхольда на фоне того страшного пожара, уничтожившего все имущество его родителей. Не берусь сказать, как у них обстояло дело со страхованием, но я слышал, что долгие годы они жили в крайней нужде. И мне кажется вполне вероятным, что случившийся пожар, за которым последовали бесконечные лишения, не дававшие забыть его ни на минуту, произвели на ребенка столь неизгладимое впечатление, что, став уже взрослым, мой дядюшка от одного лишь панического страха совершал поступки, противоречившие его характеру. Я ведь говорил, что дядя Готхольд был не только шумным, но и веселым человеком, а веселость вряд ли уживается с жестокостью. Моя дорогая мама утверждает, будто я весь пошел в дядю и даже похож на него лицом; мне становится не по себе при мысли, что я обречен всю жизнь совершать какие-то изуверские поступки. Может быть, именно потому я и попытался дать объяснение дядиной жестокости.

А вообще вспоминать о дяде Готхольде не очень приятно. Ибо этот человек однажды таинственно исчез, и никто не знает, когда он умер и где похоронен. Он жил, полный сил и радости, в своей ганноверской сельской общине, в красивой, зажиточной деревне, где его каждый знал и уважал. Врагов он не имел. Не было у него и никаких тайн — вся его жизнь была на виду.

И вот однажды дядя садится в поезд, собираясь ехать в Ганновер на одну из пасторских конференций, которые, если не ошибаюсь, называются синодами. Участие в этих синодах было обязательным, но дядя выполнял эту обязанность скрепя сердце. Не потому, что надо тащиться в большой город и встречаться с церковными собратьями, не из-за речей, которые надо выслушивать, — дядя не любил эти поездки только лишь из-за господина генерал-суперинтендента.

Господин генерал-суперинтендент был милым стариканом, дядя ничего не имел против него, просто тот был уже староват. Суперинтендент вечно мямлил и брызгал слюной, так что слушать его вблизи отнюдь не рекомендовалось. (Можно, правда, утереться, но именно этого и нельзя было делать, приходилось соблюдать приличия!) И вот сему довольно одряхлевшему старцу втемяшилось встречать на каждом синоде всех своих пастырей братским поцелуем, как если бы Христос вздумал лобызать своих преданных учеников.

Старец приближался к каждому из пасторов, ласково улыбался,— если можно назвать улыбкой эту старческую гримасу,— и произносил: «Дорогой брат, да благословит тебя господь!» — после чего чмокал брата прямо в губы.

Моего дядю просто передергивало от этого поцелуя. Я сам был свидетелем того, как он описывал эту церемонию тете; при слове «обслуживал» тетя возмущенно поднялась и сказала: «Готхольд, ты забываешься! Да еще при детях!» — и вышла.

Поскольку дядя был, как говорят в Северной Германии, «рваным ухом», в переводе — тертым калачом, то со временем он приспособился уклоняться от генерал-суперинтендентских поцелуев. Смешавшись с густой толпой братьев, он, как только начиналась сцена лобызания, деловито перемещался то вправо, то влево, и, когда духовное начальство приближалось к нему с елейными словами: «Дорогой брат, да благословит тебя господь!» — дядя Готхольд, ласково улыбаясь в лицо старцу, таким же елейным голосом отвечал: «Дорогой брат, мы — уже!»

Но в тот день у дяди не было необходимости прибегать к подобным уловкам, ибо он вообще не явился на синод. Ни один человек так и не узнал, где дядя сошел с поезда, хотя многие видели, как он садился. Поезд был пассажирский, следовал до Ганновера, езды было всего полтора часа, в вагонах сидело много братьев и еще больше односельчан, но никто не видел дядю с той минуты, как он садился в поезд. С этого момента он исчез, словно растворился в воздухе, а ведь был здоровенным мужчиной, такого трудно не заметить. Когда он говорил громко, его было слышно на другом конце деревни. Если же он в своем кабинете выговаривал какой-нибудь деревенской девушке за ее грехи, то тетя выпроваживала всех детей подальше из дому — ведь детишки так восприимчивы!

И ни единого следа. Даже ни малейшего намека на возможную причину, которых при таких обстоятельствах — с указанием фамилии или без — обычно хватает. Ни любовной истории, ни разочарования в жизни, ни страха за существование, ни пороков, ни каких-либо приготовлений к отъезду. На его бюро осталась лежать проповедь к будущему воскресенью, законченная на три четверти... Так и не подал о себе ни единой вести, исчез, растворился...

В связи с этим, наверное, можно понять, что мне не слишком-то приятно ходить по земле чуть ли не двойником загадочно исчезнувшего человека. Вряд ли кто совсем не верит в примету, что у людей с одинаковыми лицами одинаковые судьбы. Сплошь и рядом читаешь в газетах удивительнейшие вещи о сходстве жизненных путей у близнецов. Чего я только не напридумывал еще мальчишкой, размышляя о том, что могло случиться с моим дядей! Ложась спать, я сочинял целые романы — ни у какого Карла Мая не хватило бы на это фантазии! Как я вместе с дядиной семьей ждал — неделю за неделей, месяц за месяцем — хоть какую-нибудь весточку от него, но не дождался!

Пока из месяцев не сложились годы, пока пропавшего не объявили мертвым, пока его постепенно не начали забывать... Только бабушка его не забывала. «Кто знает, — таинственно шептала она иногда нам, уже большим детям, — кто знает... Наверное, мне не следует говорить об этом... Но я чувствую, что Готхольд жив, я непременно увижу его...»

Если твоя поистине детская вера тебя не обманула, бабушка, ты увидела своего Готхольда!

Иногда, во время малых каникул, мама с кем-нибудь из нас ездила в город Целле к бабушке, где она по-прежнему жила. Собственно, эти поездки были обременительны как для визитеров, так и для хозяйки, ибо бабушка располагала всего двумя комнатушками и не имела никаких средств, чтобы кормить гостей. Но она упрямо настаивала на том, чтобы после каждого ее визита к нам в Берлин мы наносили ей ответный. При всем своем смирении она была гордой. Ей ничего не хотелось получать даром.

Нас, детей, конечно, забавляло, как мы устраивались в обеих крохотных, старомодных даже по тем временам комнатках. Во-первых, не хватало спальных мест, и меня укладывали на трех сдвинутых рядом стульях. Вечером это ложе своим видом вполне вызывало доверие, но среди ночи оно проявляло коварство, и я с грохотом летел на пол. Оставшиеся каникулярные ночи я так и проводил на полу. Это было чудесно. Всякий раз перед тем, как заснуть, я представлял себе, что лежу в прерии у костра, и я с истинным наслаждением ощущал твердые доски под тонкой подстилкой.

Что же касалось еды, то мне приходилось терпеть у бабушки такие лишения, которые бы сделали честь преследуемому индейцами трапперу. Мама строго внушила мне, что на вопрос бабушки, сыт ли я, надо отвечать «да». Но бабушка с возрастом явно утратила представление о том, что такое мальчишеский аппетит, так что одним «да» тут не обходилось.

Как это ни было тяжело маме, ей приходилось прибегать к мелкому обману, и вечером, когда все лежали в постелях, мы с мамой тайком «ужинали» из кулька, на промасленной бумаге. До чего же было замечательно, что мама хоть раз стала моей спутницей на «скользящей дорожке». Но она решительно не находила в этом ничего замечательного, во-первых, из педагогических соображений, а во-вторых, потому что не любила обманывать свою мать. Но что ей оставалось делать, если бабушка со старческим упрямством отклоняла всякое пособие, даже в виде продовольствия?!

— Вы мои гости! — возмущенно отвечала она. — Куда бы я делась от стыда, если бы брала у вас деньги!

Уже сама закупка добавочного провианта была легкой проблемой, так как бабушка начинала волноваться, если мы исчезали с ее глаз. Нам, собственно, никуда не разрешали удаляться.

— То недолгое время нэам нэадо побыть вместе! — говорила бабушка.

Но настоящие трудности возникали после того, как нам удавалось пронести контрабанду домой, ибо ее надлежало спрятать до вечера, а у бабушки было превосходное обоняние!

Помню, как однажды вечером бабушка вдруг с беспокойством начала принюхиваться:

— Стрэнно, стрэнно, почему-то здесь пэахнет ливерной колбэасой!

Ливерная колбаса лежала наверху, на холодной кафельной печи, и мы не чувствовали никакого запаха. А бабушка почувствовала, и это, по-моему, доказывает, что и она в дни нашего визита испытывала немалый голод. Мама попыталась отвлечь бабушку разговором, но тщетно. Бабушка опять повела носом:

— Стрэнно, стрэнно, откуда здесь пэахнет ливерной колбэасой?

И бабушка начала «петлять» по комнате, точно охотничья собака по следу. «Странно, странно», — то и дело

бормотала она, все больше и больше приближаясь к печи. Мама замирала от страха. Будучи сама уже матерью нескольких подростков, она по-прежнему так же слушалась свою мать, как мы — отца. Зато я получал истинное наслаждение. Бабушка, верная своему характеру, не питала к нам ни малейшего подозрения, просто ее заинтересовал феномен необычного для ее квартиры запаха. Когда бабушка настолько приблизилась к печке, что можно было кричать «горячо!», как это делают дети в игре «горячо-холодно», маму осенила спасительная идея открыть окно... Запах выветрился, и бабушка уселась за свое вязание...

Но до полного спасения было еще далеко. Едва мы принялись за колбасу, предположив, что бабушка уже заснула, как дверь вдруг отворилась, и на пороге, словно призрак, возникла бабушка в ночной кофте и нижней юбке.

— Стрэнно, стрэнно, опять пэахнет ливерной колбасой! Вы спите?..

Мы замерли; каждый из нас держал в одной руке круглую булочку, в другой — предательскую колбасу. Мама потом призналась мне, что была готова проглотить весь кусок сразу, если бы бабушке вдруг пришло в голову зажечь свечу. Но бабушка была деликатным человеком, она считалась с покоем гостей. Некоторое время мы еще слышали, как она принюхивается и бормочет, потом дверь закрылась, и в соседней комнате тихо за скрипела кровать. С этого дня наш дополнительный рацион состоял из продуктов, не издающих резкого запаха.

Если бы еще хоть все, чем бабушка угощала нас за столом, было вкусным! К сожалению, это было не так! Не то чтобы бабушка плохо готовила, нет, — она просто чересчур экономила! Несколько дней подряд за завтраком на столе появлялась банка с домашним апельсиновым вареньем, которое мама с первого же взгляда сочла совершенно негодным. Оно и в самом деле заплесневело. Выслушав категорический приговор мамы, бабушка лишь робко заметила: «Ты думаешь, детка?» В тот день этого варенья мы больше не видели.

Когда же на следующее утро оно появилось опять, толстый верхний слой плесени был с него удален, но это мало что изменило, ибо варенье проплесневело насквозь.

— Неужели ты собираешься это есть?! — в ужасе воскликнула мама, когда бабушка намазала себе ломтик хлеба вареньем.

— Я только попробую, детка! — успокоила ее бабушка. — Жэаль, если пропэдет тэакое хорошее вэаренье!

Мама могла говорить что угодно, бабушка все равно ела варенье! Это утро у нас с мамой выдалось «свободным», так как у бабушки заболел живот. Возможно, причиной тому было не варенье, однако оно больше не появлялось на столе. Тем не менее боли у бабушки повторялись с удивительной регулярностью. Наконец мама обнаружила, что ее родительница продолжает тайком есть испорченное варенье: ведь жаль, и сахар хороший, и апельсины дорогие; просто грех пропадать такому добру! Да и живот у нее только немножко побаливает, вполне терпимо... Остаток варенья, которое мама с необычайной решительностью выбросила, был, к сожалению, незначительным.

Однажды бабушка, готовя тесто для бисквита, спросила маму, не плохое ли она взяла яйцо. Мама понюхала его и сказала, что оно совсем протухло. Бабушка очень огорчилась. Днем к кофе у нас был бисквит. Ели мы его с аппетитом, особенно я никак не мог оторваться. После кофе бабушка собрала жалкие остатки и понесла в кухню, но в дверях обернулась и с некоторым торжеством сказала своей дочери:

— А яйцо вовсе не было тухлым — разве вы что-нибудь заметили?

Значит, она все-таки пустила его в дело; и хотя вкус у бисквита был неплохой, маме тут же стало дурно. Уж очень впечатляющий был запах у яйца!

Над бабушкой, в аналогичной крохотной квартирке, жила старая-престарая фрейлейн Амели фон Рамсберг, которая тоже считалась нашей тетушкой, хотя, в сущности, была седьмая вода на киселе. Обе старушки, не боявшиеся ни смерти, ни дьявола, однако очень опасавшиеся грабителей (вот только что у них было грабить?), изобрели самое диковинное сигнальное устройство, какое можно себе представить. В потолке бабушкиной прихожей, который служил полом в прихожей тети Амели, пробили дырку и через эту дырку протянули красивую, широкую, вышитую бисером сонетку, прикрепив ее концами к двум колокольчикам. В случае появления грабителя на первом или втором этаже, подвергшаяся напа-

дению старушка должна была, дернув сонетку, дать сигнал тревоги. Еще ребенком я усомнился в целесообразности этого устройства. Трудно было поверить, что грабитель позволит старой даме использовать при нем сигнализацию, да и надежность вызываемой подмоги тоже вызывала сомнение.

Но как бы там ни было, сонетка внушала обеим старушкам чувство глубокой уверенности, и если ее ни разу не пришлось употребить по назначению, то тем усерднее она использовалась для дружеского общения между соседками. Я часто наблюдал, как бабушка, стоя в темном углу прихожей, своим звонким голосом громко кричала наверх тети Амели, которая была туга на ухо, а сверху доносился более грубый голос фрейлейн фон Рамсберг, жутко искаженный «дуплом» в потолке.

Мне самому от этого устройства порой становилось не по себе. Случалось, когда я находился в прихожей, — просто так, по каким-нибудь своим мальчишеским делам, — у меня вдруг возникала твердая уверенность, что через дыру в потолке за мной подглядывает пара бегущих черных глаз! Находясь как-то наверху, я рассмотрел эту дырку и пришел к выводу, что наблюдать оттуда можно лишь, если наблюдательница уляжется на полничком. Представить себе фрейлейн Амели фон Рамсберг, всю в черном, как и бабушка, но с негнущейся спиной (генеральская дочь!) и крайне высохшую, представить ее лежащей ничком было дико! Но ведь глаза-то в дырке были, факт бесспорный! В конце концов я стал входить в прихожую со смутным страхом перед привидениями и больше не оставался там один.

К тете Амели я никогда не питал ни малейшей симпатии, мама наверняка тоже, но это, естественно, не избавляло нас от обязанности наносить ей визит в первый же день нашего пребывания в Целле. Комнаты фрейлейн фон Рамсберг еще более, чем бабушкины, были запущены, заставлены и забиты хламом. Отличались они друг от друга лишь украшениями на стенах. Если у бабушки преобладали пасторские реликвии с примесью библейских изречений, то у тети Амели владычествовали военные (большей частью в ярких мундирах) вперемежку с батальными картинами и развешанными на стенах саблями.

Тетя Амели сидела в кресле выпрямившись, словно только что проглотила одну из своих сабель; тетя при-

надлежала к старому поколению, считавшему, что прислоняться к спинке стула вредно, ибо это расслабляет. На столе неизменно стояла тарелка с анисовым печеньем, которым нам с мамой надлежало угощаться. С той поры я не выношу запах аниса. Меня не покидало чувство, что этому печенью, наверное, столько же лет, сколько тете Амели,— таким оно было затхлым. Я с трудом жевал его.

Тем временем велся допрос мамы. Тетя Амели задавала вопросы коротко и по-военному. Она хотела знать все: сколько зарабатывает отец, какие у него виды на повышение по службе, получил ли он уже орден, почему нет, сколько он выдает маме денег на хозяйство, стирает ли она белье сама или поручает какой-нибудь из «этих берлинских прачек», известных своей недобросовестностью?

Мама отвечала на все вопросы с чуть смущенной улыбкой; но стоило лишь ей уклониться от прямого ответа на какой-либо особо нескромный вопрос, как немедленно начиналось преследование, ее настигали и беспощадно заставляли выполнить все требования противника.

Вытряхнув из мамы все, тетя Амели принималась за меня. Выглядело это примерно так:

— Сколько тебе, Ханс?

— Одиннадцать...

— Чего одиннадцать? Месяцев? Я же спрашиваю о твоём возрасте!

— А-а... Одиннадцать лет, конечно!

— Так и надо отвечать! Вот видишь, ты уже чему-то и научился у своей старой тети! — Обращаясь к маме: — Удивляюсь, Луиза, как это твой муж не замечает таких вещей! — Снова ко мне: — Сиди прямо, Ханс!.. Как у тебя обстоит в школе?

— О-о...

— Что ты хочешь этим сказать?

— Он вполне хорошо успевает,— приходит ко мне на выручку мама.

— Благодарю тебя, дорогая Луиза. Но я бы предпочла, чтобы Ханс ответил сам. Немецкий мальчик должен отвечать ясно, четко и без страха. Сколько вас в классе, Ханс?

— Тридцать два.

— И на каком ты месте по успеваемости?

— На двадцать третьем.

— Значит, в худшей половине! — уничтожающе говорит тетя. — В мое время это называлось плохой успеваемостью, Луиза! — Маму одаряют пронизывающим взглядом, как будто она умышленно пыталась обмануть тетю. Затем снова обращаются ко мне: — Кем ты хочешь стать, Ханс?

— Х-м, не знаю...

— В одиннадцать лет мальчик должен знать, кем он будет. Так кем ты хочешь стать, Ханс?

Зная, что она все равно от меня не отцепится, я брякнул наобум:

— Трубочистом!

Тетя возвела очи к потолку.

— Трубочистом! — сказала она. — Объясни мне, пожалуйста, Луиза, как это у мальчика появляются такие вульгарные идеи?! В мое время все мальчики хотели стать солдатами либо шли в университет! Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь в нашей семье хотел стать трубочистом! Это чудовишно, Луиза!

Негодующий взгляд остановился сначала на маме, потом на мне. Мама была весьма обескуражена; в растерянности она сказала мне:

— Сиди смирно, Ханс! Не болтай ногами!

— Луиза! — воскликнула тетя чуть ли не в ужасе. — Как ты сказала?!

— Чтобы он не болтал ногами, тетя Амели, — ответила мама, вконец смутившись. Ей было невдомек, какое преступление она совершила опять.

— Луиза!! — воскликнула тетя еще раз. Потом мягко, почти задумчиво произнесла: — Во всем виноват большой город, этот греховный Вавилон, а ведь ты была воспитанной девочкой, Луиза.

(Тете Амели удавалось внушать маме, будто она чуть ли не моя ровесница. Приезжая в Целле, мама всякий раз молниеносно молодела и снова превращалась в ребенка.)

Поучающим тоном тетя Амели продолжала:

— Настоящей даме лучше не упоминать про это, внизу, — она глазами показала на мои ноги, — лучше не упоминать, Луиза. Как будто ей ничего не известно, Луиза! Но если уж ей необходимо это назвать, то она говорит «пьедестал» или, во всяком случае, «постамент»... Ханс, оставь в покое свой постамент, вот так звучит прилично, Луиза!..

Но что этот пятнадцатиминутный визит к тете Амели в сравнении с дамскими посиделками за чашкой кофе, которые происходили дважды в неделю в саду на берегу Аллера! Бабушка встречалась там со «своими дамами», как это именовалось, и там же демонстрировала им маму и меня, ибо чрезвычайно нами гордилась! Мне очень нравилась дорога туда, потому что надо было переходить через речку Аллер по понтонному мосту, который назывался Пфенниговым. За переход по этому мосту каждый был обязан уплатить один пфенниг. На меня это производило глубокое впечатление. Всякий раз я настаивал, что сам буду платить за нас троих, и, взяв три однопфенниговые монетки, с гордостью вручал их сторожу-инвалиду.

Не могу понять, почему я был в таком восторге от Пфеннигова моста, что даже мирился с посиделками. Этот мост через Аллер существует и поныне, а год или два назад я убедился, что мои собственные дети ходят по нему с тем же увлечением, с каким некогда ходил их отец. Пфенниговый мост вполне их устраивает как цель прогулок.

Едва, однако, мост оставался позади, мое настроение резко падало ниже нуля. Я слишком хорошо знал, что меня ожидало: два-три часа сидеть в обществе доброй дюжины старых дам, покорно отвечать на их вопросы и пить кофе, который я не выносил. Вдобавок еще по дороге я выслушивал от мамы и бабушки массу наставлений — быть вежливым, отвечать ясно и четко, законченной фразой, а не отдельными словами, смотреть прямо в лицо и многое другое. Нет, о хорошем настроении не могло быть и речи.

За несколько шагов до садовых ворот следовала остановка: с обуви смахивалась пыль тряпочкой, специально для этого принесенной в ридикюле, без конца поправлялись и одергивались воротники, платки, чепчик, и лишь после этого мы входили в сад-кафе. Всякий раз я надеялся, что мы явимся первыми, дабы избежать строгих взглядов многочисленных экзаменаторов, но всякий раз там уже сидели шесть или семь дам, жаждавших поглазеть на «берлинцев» и отыскать у них какие-либо изъяны.

В ту пору минуло не так уж много времени с того дня, когда королевство Ганновер прекратило свое самостоятельное существование и перешло во владение Прус-

сии. Все эти старые дамы еще были верны своему прежнему королевскому дому, они были «вельфами», а мои родители, также урожденные ганноверцы, считались отщепенцами, поскольку отец состоял на службе у ненавистных пруссаков. Эта ненависть к пруссакам и любовь к вельфам, ныне умершие вместе со старым поколением, тогда еще процветали. В дамском кружке особенно восхищались одной старой дворянкой, которая не могла допустить, чтобы караульные будки перед целленским замком, окрашенные в благородные цвета вельфов, перекрасили в прусский черно-белый. Она их купила и поставила у себя в прихожей вместо гардеробов. Вот это верноподданность!

А мой отец и вовсе поступил вероломно, и нам с мамой за это приходилось отдуваться! Недостатка в замечаниях, очень мягких по форме, однако весьма язвительных по смыслу, не было: прусское — плохо уже само по себе, но берлинское — поистине воплощение всего самого отвратительного! Моя кроткая мама была довольно беззащитна против подобных колкостей, и от кофейных кумушек ей доставалось, конечно, не меньше, чем мне, но она стойко выдерживала все нападки. Она понимала, что разобьет сердце бабушки, если лишит ее возможности выводить нас «в свет». Вряд ли стоит говорить о том, что бабушке были чужды эти шпильки, — она их вообще не понимала.

Когда все дамы оказывались в сборе, начиналось длительное совещание по поводу заказа кофе. Каждая дама сообщала, сколько чашек она намерена выпить, — от этого зависели размеры заказываемого кофейника и вносимого пая. Само собой понятно, что здесь соблюдалась известная табель о рангах, и вдове пастора, скажем, не полагалось пить больше, нежели генеральской дочери.

Как только кофейник появлялся на столе, все ридикюли раскрывались и оттуда извлекалось печенье. Покупать его в кондитерской считалось кощунством, не говоря уже о том, что печенье, изготовленное кондитером, никуда не годится, — печь надо только самой, дома. Каждая придирчиво рассматривала, что принесли другие и сколько. Ах, я видел ридикюли, из которых извлекались лишь сухарики! Старушки жили, вероятно, на жалкую пенсию и на скромные подношения от родственников. Само собой разумеется, приходилось экономить и неред-

ко голодать. Однако декорум необходимо было соблюсти,— голод еще можно стерпеть, но вот появиться в не совсем безукоризненной одежде... это грозило немедленным отлучением от касты.

Допрос мамы и меня разыгрывался совершенно по тем же правилам, что и у тети Амели, только вот двенадцать следователей куда хуже, чем один! Рано или поздно разговор неизбежно возвращался к Берлину. Судя по вопросам дам, складывалось впечатление, будто Берлин находится не иначе, как в Центральной Африке. Слушательниц крайне удивляло, что в Берлине живут и едят примерно так же, как в Ганновере. А когда мама все же с некоторым волнением утверждала, что в Берлине есть и красивые парки, и магазины, где можно найти действительно элегантные вещи, дамы обменивались между собой взглядами, в которых читались усмешка и сочувствие, а тетя Амели говорила:

— Что за понятия у тебя, дорогая Луиза. Господи, да ты совсем отвыкла от своей родины. Ты столько времени уже не видела ничего по-настоящему красивого и элегантного!

И они с подчеркнутой тактичностью переводили разговор на что-либо другое.

Мама порой чуть не плакала, я видел это. Но ей надо было сдерживаться, мне тоже. Здесь мы оба были всего лишь неразумными детьми; впрочем, я с удивлением обнаружил, что и между собой старушки весьма щепетильно подчеркивали разницу в возрасте. Можно было подумать, что среди них есть даже несовершеннолетние, и в их числе, естественно, моя бабушка. Правом обращаться к собеседнице «моя дорогая» или «дитя мое» обладали немногие,— старейшие и наиболее знатные.

Боже, как они мне надоедали своей трескотней! Как мало верил я их любезным сладеньким словам! И все же они мне чем-то импонировали, я никогда бы не позволил себе взбунтоваться против них. По-видимому, я уже смутно сознавал, какая сила кроется в этих скрюченных, полувисоких, потешных созданиях. Сила переносить трудности, сила жертвовать даже самым дорогим, сила непоколебимой убежденности. Она была только не туда направлена, эта сила, для нее не нашлось разумного применения в пустом, изолированном, кастовом существова-

нии. Но если бы она понадобилась, она все еще была жива, эта сила!

Иногда за нашим кофейным столом сидели и дети, которых иные дамы приводили с собой; это были до жути благовоспитанные дети без единого пятнышка на одежде, они всегда отвечали громко, четко, законченной фразой, никогда не болтали своими «постаментами» и не цеплялись ими за ножки стульев. Я возненавидел этих «кукол», как я их называл про себя; но теперь мне думается, что я им показался таким же страшно благовоспитанным мальчиком, как и они мне. Однажды, улучив момент, я уговорил какую-то маленькую девочку в розовом платье совершить побег. Схватившись за руки, мы побежали в тот уголок сада, где была детская площадка и куда нам строго-настрого запрещали ходить.

Там были качальная доска, подвесные качели, а также брус и турник. Я предложил качели, но их отвергли: моя спутница боялась, что у нее закружится голова. Качальная доска показалась ей безопаснее. Усадив малышку на один конец доски, я энергично прижал к земле другой, чтобы сесть самому. Шестилетняя девчушка словно мячик взлетела в воздух и, потеряв равновесие, упала на песок, в котором было не столько песчинок, сколько грязи. Она закричала, на ее розовое платьице действительно было жалко смотреть. Я пытался ее утешить, но она разревелась еще пуще, вырвалась от меня и убежала обратно в кафе. Безошибочное чутье подсказало ей, что единственное ее спасение в том, чтобы выставить меня зачинщиком. В таких ситуациях существа женского пола уже в самом раннем возрасте принимают единственно правильные решения.

Поскольку терять мне было уже нечего, я совершил еще одну экскурсию в часть сада, расположенную вдоль берега Аллера. Оттуда открывался чудесный вид на плотину, через которую низвергалась река. Я знал — сюда мне тоже запрещено ходить, как из-за близости воды, так и под тем предлогом, что сырой воздух вреден для здоровья. (Качаться на качелях вредно, бегать — тоже, собственно, любая детская игра была вредной. Только ходить прямо, шагать размеренно — вот что подбало ребенку!)

Но не успел я налюбоваться водопадом, как подошла мама и положила мне руку на плечо:

— Ах, Ханс! — тихо сказала она. — Ну что ты опять натворил? Чудесное платье Айме совсем испорчено! Я заметил, что у мамы покраснели глаза.

— Мне очень жаль, мама, — сказал я. — Но я тут совсем не виноват. Доска подскочила, а она плохо держалась.

— Вот ты всегда такой опрометчивый, необузданный, — тихо сказала мама. Она потрепала меня по волосам. — Что ж, теперь ничего не поделаешь. Вернемся к столу, и ты извинишься перед фрау фон Хаберкрон.

— Мама, — сказал я возмущенно, — ведь они тебя тоже замучили, я же вижу! За что они тебя-то пилят, если я виноват?! Да и вообще они все старые карги. Что они понимают в мальчишках, ведь иногда совсем не хочешь этого делать, а выходит наоборот. Знаешь, мам, давай убежим домой. Бабушка за наш кофе заплатит.

Но мама покачала головой.

— Нет, нет, мальчик, так нельзя. Бабушка очень огорчится. И никогда больше не смей называть дам таким ужасным словом. Они все очень любезны и хорошо к тебе относятся!

— И вовсе они ко мне хорошо не относятся, мам! — воскликнул я. — Ты сама это прекрасно знаешь. Им просто хочется показать, какие они хорошие и как все хорошо было раньше, а мы вообще никуда не годимся. Я их всех терпеть не могу. Кроме бабушки, конечно!

— О боже, Ханс! — воскликнула мама, перепугавшись. — Как тебе только взбрело в голову такое?! Не смей и думать об этом!.. Нет, это у тебя не от меня, — добавила она задумчиво, — и не от папы. Хотела бы я знать, в кого ты такой упрямец! Ну, пошли!.. И не забудь извиниться! Пожалуйста, сделай мне одолжение!

На обратном пути во мне боролись мальчишеская гордость и любовь к маме. В конце концов победила любовь, хотя мне было нелегко смирить свою гордыню перед всей кофейной компанией. Наше появление, равно как и мои неуклюжие извинения перед фрау фон Хаберкрон, были встречены ледяным молчанием. Бабушка озабоченно посопела и сказала, рассчитывая, что ее поддержат:

— Он все же милый мэальчик!

Но никто ее не поддержал.

— Теперь извинись перед Айме, Ханс! — сказала мама.

Я протянул перепачканный розовой обезьянке лапу и пробубнил, что полагалось. Во время церемонии кукла, торжествуя, показала мне язык. Другим это не было видно, так как я загораживал ее. Тут я окончательно убедился, что все женщины неполноценные существа, не достойные какого-либо внимания со стороны настоящих ребят. (Для мамы я, разумеется, сделал исключение. Да ведь мама была не женщиной, она была мамой!)

По дороге домой бабушка воспрянула духом.

— Было ведь очень приятно сегодня, Луиза! — сказала она. — И все такие любезные, ты не находишь?.. Твой мальчик был тоже очень мил — ведь он вовсе не хотел этого делать, не правда ли, внучек?!

Неожиданно я разозлился.

— Нет, хотел — сказал я. — Эту козявку я бы зашвырнул в Аллер! Она мне показала язык!

Но тут бабушка так искренне возмутилась, что целый день со мной не разговаривала.

Когда бабушка последний раз приехала к нам, ей было лет восемьдесят пять. Мы уже жили в Лейпциге, отец стал рейхсгерихтсратом. Бабушка не была бы бабушкой, не прояви она живейшего желания присутствовать на заседании рейхсгерихта. Напрасно объяснял ей отец, что там крайне скучно: как правило, не выступают ни стороны, ни адвокаты, все уже заранее решено и записано, и судьи, так сказать, обсуждают готовое, они лишь проверяют, соответствует ли приговор предыдущей инстанции существующим законоположениям.

Но бабушке было виднее. Она не будет скучать, а кроме того, надо же ей хоть раз поглядеть на своего зятюшку в красной мантии рейхсгерихтсрата!

Итак, отец уступил и в один прекрасный день взял бабушку с собой в рейхсгерихт. В вестибюле он приказал служителю проводить старую даму в зал шестого отделения уголовной палаты на места для слушателей. Бабушка оказалась единственным слушателем. Она удобнее уселась, расправила шаль, положила ридикюль и с любопытством стала разглядывать обстановку; зал заседаний был не очень большой, но темные деревянные панели, цветные оконные стекла, а главное, сама атмосфера зала с его строгостью и гулкой пустотой произвели на нее глубокое впечатление.

Прямо напротив бабушки, в другом конце зала, за темным столом сидели семеро пожилых господ; на них

действительно были надеты шелковые мантии цвета бордо, а на голове — бархатные береты, тоже красные, но чуть потемнее. Все господа были уже седовласые, седобородые, большинство в очках, и сидели они так, словно находились здесь с незапамятных времен и будут сидеть вечно. Некоторые подпирали рукой голову, другие поигрывали карандашом или пенсне. Один царапал на бумаге, второй кашлял, перед каждым лежало несколько папок с делами, а тот, у которого была самая большая кипа, что-то невнятно бормотал остальным.

Бабушка с удовлетворением отметила про себя, что рейхсгерихт с его седовласыми судьями — учреждение весьма надежное. Он казался ей порукой незыблемости империи, вот именно такие бесстрастные люди хорошо оберегают закон. Но особенно радовал бабушку зять; несмотря на седую бородку и усы, он, по ее мнению, выглядел самым молодым и свежим, да и красная мантия шла ему больше, чем другим.

Из всего, что говорилось, бабушка не разобрала ни слова, но это ее ничуть не беспокоило. Постепенно, с возрастом, она стала плохо слышать и привыкла к этому. Ее глаза видели еще, слава богу, хорошо, а здесь им было на что посмотреть. Бабушка намеревалась посидеть подольше. Она даже подумала, удобно ли будет, если она достанет из ридикюля вязанье и немножко повяжет. Господам это, наверное, не помешает.

Тем временем ситуация за судейским столом изменилась. Бормотун умолк, остальные господа сказали по нескольку слов, кое-что было записано. И вот сидевший в середине господин поднялся и что-то проговорил в сторону зала, вернее, в сторону бабушки. Что бы это могло значить? — подумала бабушка, — возможно, зять сообщил господам о ее присутствии, и они здороваются с ней. На всякий случай бабушка сделала книксен и опять села.

В действительности же председатель палаты сказал следующее:

— Ввиду угрозы нравственности дело будет слушаться при закрытых дверях.

Ибо только что закончилось одно дело и предстояло заслушать новое, касающееся нарушения параграфа 175 или 176 Уголовного кодекса. Публике надлежало покинуть зал, а публикой была бабушка, она должна была выйти. Но бабушка ничего не поняла из всего этого и

осталась сидеть. Она была очень довольна, что все-таки попала в рейхсгерихт, и улыбалась...

Господа судьи сидели, ожидая, пока старуха наконец соберется и уйдет. Публика присутствовала здесь на заседаниях настолько редко, что судьи обычно оставались одни, даже служитель у них не всегда был под рукой. А отец почему-то вдруг застеснялся признаться своим коллегам, что эта старушка его теща...

Председатель палаты поднялся еще раз и почти угрожающе повторил ранее сказанное о закрытых дверях. Бабушка тоже поднялась, опять сделала книксен и продолжала стоять в ожидании возможного дальнейшего чествования, ибо господин судья все еще не садился. Председатель, полагая, что старуха теперь уйдет, сел. В тот же миг села и бабушка!

За судейским столом начали волноваться. Одни предполагали, что старуха, вероятно, сумасшедшая, другие...

Отец понял, что игра в прятки здесь не поможет, подошел сзади к председателю и прошептал ему на ухо, что бабушка эта — его теща и что она к тому же глуховата...

Председатель, который тоже неважно слышал, в особенности, когда ему шептали на ухо, с негодованием воскликнул:

— Вы совершенно правы, коллега. Ей пора быть уже трижды бабушкой, а она собирается развлекаться здесь непристойными историями! Если она сейчас же не уйдет, я прикажу ее выгнать!

И, поднявшись в третий раз, он громовым голосом распорядился очистить зал вследствие угрозы нравственности. Бабушке это показалось все же несколько преувеличенным, однако она встала еще раз и сделала книксен, правда, с некоторым замешательством.

Председатель готов был взорваться, но тут отец поднес к его глазам записку: «Моя теща! Абсолютно глуха!»

Разгневанное лицо мгновенно смягчилось, туговатый на ухо обрадовался, что встретил абсолютно глухую. Сразу же позвонили служителю, и бабушку со всей предупредительностью вывели из зала. Поскольку время близилось к обеду, бабушку эта эксмиссия ничуть не беспокоила. Очень довольная, она вернулась домой и рассказала нам за обедом, как интересно было в рейхс-

герихте и как обходительны были с ней господа судьи.

Но что стало с ней, когда отец за ужином сообщил об истинной подоплеке случившегося! Он уже перестал смущаться и находил эту историю крайне забавной. А бабушка совершенно была убита. Прослыть безнравственной, да еще на склоне лет! Семь, нет, шесть старых господ заподозрили, что она «из таких»! Трижды ее попросили покинуть зал, она угрожала общественной нравственности!

Тщетно пытался отец втолковать ей, что все уже разъяснилось, что никто не думал о ней в столь оскорбительном духе! Бабушка дрожала и плакала. Ночью она не могла уснуть. Поднявшись чуть свет, она пришла к отцу, еще лежавшему в постели, и потребовала у него адреса шести господ: она хочет немедленно поехать к ним, извиниться и все объяснить.

Ей строго запретили это делать, тогда она сказала, что напишет им. Второй вариант отец тоже отклонил и попросил бабушку успокоиться. Но она долго не могла прийти в себя. Завидев на улице какого-нибудь пожилого седовласого господина, бабушка вздрагивала, утверждая потом, что тот «стрэанно» на нее посмотрел. Не иначе он из рейхсгерихта. Когда к отцу приходил в гости кто-нибудь из коллег, бабушка запиралась в отведенной ей комнатенке. Она очень тяжело переносила это «пятно» на своей чистой жизни. Еще долгое время она и слышать ничего не хотела о рейхсгерихте.

Отец глубоко сожалел, что так ее расстроил.

— Странно, как мало развито чувство юмора в вашей семье, — сказал он маме. — У нас в семье над этим было только посмеялись!

Мама предпочла смолчать, ибо очень хорошо знала, как болезненно переживает отец малейший «позор».

СЕМЕЙНЫЕ ОБЫЧАИ

Есть страсти, которым подвержены одиночки, но бывают и такие, что поражают целые семьи. В нашем семействе все без исключения были охвачены одной и той же страстью — страстью к книгам. Этому «коньку» мы не изменили до конца жизни. И отец, и мама, и сестры, и братья. Когда мы были еще очень маленькими, у нас уже была полка для наших книжек с картинками, и эта

полка росла вместе с нами, превратилась в этажерку, потом догнала и перегнала нас в росте. Как ни бережлив был отец, он никогда не скупился на хорошую книгу; подарить кому-либо книгу доставляло ему не меньшую радость, чем получившему подарок.

Отец поддерживал порядок, и потому в нашем доме никогда не было такого безобразия, как у одного библиомана, с которым я познакомился в более поздние годы. Он радовался лишь самому приобретению книг, читать их ему было необязательно. Всю свою просторную квартиру он заполнял книгами, людям там почти не оставалось места. Книги расползались по комнатам, как водяная чума в пруду.

Жена библиомана не раз храбро вступала с ним в бой, но всегда терпела поражение. Книги вытеснили ее платья из шкафов и белье из комодов, они лежали под кроватями и на всех столах, громоздились на коврах и залезали на стулья. Стоило только жене отлучиться за покупками, как книги оккупировали еще какое-нибудь место.

Когда однажды, вернувшись домой, она увидела, что «противник» занял кладовку, а его авангарды уже ворвались в кухонный шкаф, она прекратила борьбу и покинула дом. Не знаю, почувствовал ли муж ее уход, — он обладал редкой способностью питаться лишь хлебом да яблоками. Я охотно представляю себе, как он постепенно будет погребен под своими книгами. Лет через тысячу, наверное, откопают его расплюснутую мумию под горой книжек, все еще ожидающих, что он их прочтет.

О подобных аномалиях увлечения, самого по себе похвального, в нашей семье не могло быть и речи. Книги у нас не только собирали, но прежде всего читали. И поэтому аккуратно и обозримо расставляли их по полкам, чтобы в любое время можно было найти любую. Даже несмотря на нехватку места, воспрещалось ставить книги в два ряда, хотя глубина некоторых полок позволяла это сделать. Сокровища должны всегда быть на виду; мало знать, что они существуют где-то в темноте, за другими книгами. Не место им и за стеклом, или за дверцей шкафа, книгу не следует разыскивать, она должна быть под рукой. Все эти правила по расстановке книг отец проверил на практике, он мог без конца говорить на эту тему...

Благодаря немного размашистой расстановке книги постепенно расселились у нас по всей квартире, они были в каждой комнате, и мой глаз с детства так привык к этому, что даже теперь комната без книг кажется мне если не голой, то, во всяком случае, неодетой. У отца, не считая его весьма солидного юридического арсенала, было почти три тысячи томов, у Итценплиц примерно тысяча, Фитэ, менее всех зараженная семейной «страстью», насчитывала книжек четыреста, у меня, хотя я был на три года младше ее, набралось столько же, даже маленький Эди был владельцем двухсот с лишним книг. Поскольку в нашей берлинской квартире скопилось около пяти тысяч томов, то, несмотря на весь порядок, иногда не удавалось сразу отыскать ту или иную желаемую книгу. Значит, ее взял и читает кто-либо из своих, и никто не сомневался, что рано или поздно она окажется на месте.

Но вот когда мы еще жили в Берлине, этих «пустот» в книжных рядах оказалось одно время столько, что каждая полка напоминала щербатый рот. Все удивлялись, спрашивали друг друга, но читатель отсутствующих книг не находился. На вечернем коллоквиуме отцом было с непреложностью установлено, что книги улетучивались регулярно и так же регулярно возвращались на полки, однако обнаружить их местопребывание во время исчезновения не удалось.

Подозревать обеих наших служанок не было ни малейшего повода, ибо, во-первых, они жили у нас уже много лет, а путешествия книг усилились лишь недавно. Во-вторых, Минна с Шарлоттой питали явную антипатию к книгам уже только потому, что те невероятно увеличивали объем работы при уборке. Под строжайший контроль были взяты все наши приятели и приятельницы, вне зависимости от возраста и вероисповедания, но, увы, без какого-либо результата: книги улетали и возвращались в свои гнезда, как голуби. Там, где еще вечером стоял полный ряд, утром обнаруживались изъяны; чем больше мы следили, тем меньше что-либо понимали; история становилась просто загадочной. Мы уже готовы были поверить в привидения. Кое-что о вкусах тайного читателя мы смогли установить: например, он предпочитал романы, книги же по истории брал редко, а классиков никогда... Но все это не продвинуло нас ни на шаг, а только еще больше запутало...

Все мы, включая отца и маму, были невероятно взбудоражены. Завтрак начинался с утреннего рапорта о книжной наличности. За обедом мы пускались в умопомрачительнейшие догадки, а ужин был испорчен гаданиями: что же пропадет завтра? В общем, настала жизнь поувлекательнее любого детективного романа, и, естественно, нам бывало не до школьных уроков. Отец понимал, что этому пора положить конец, но если бы он знал, как?..

И вот однажды, в счастливый час, непревзойденная рекордсменка по чтению в нашей семье Итценплиц обнаружила в третьем томе «Предков» Густава Фрейтага записку следующего содержания:

Дорогая фрау Брюнинг!

Это для меня слишком благонаравно. В следующий раз дайте опять что-нибудь про любовь, лучше всего французское.

Ваша Анна Бемайер.

Итценплиц срочно отнесла записку отцу. Кто такая Анна Бемайер, мы понятия не имели. Но фрау Брюнинг мы знали, хотя видели ее редко, она была приходящей прислугой и помогала Шарlotte убирать квартиру с полшестого до полвосьмого утра.

Нахмурившись, отец разгладил записку и сказал: — Ну что ж, Итценплиц, посмотрим... Только пока об этом никому ни слова!

После чего Итценплиц тут же примчалась к нам и сообщила о записке.

Излишне говорить, что на следующее утро, к половине шестого, мы не только проснулись, но и были уже одеты. Не отваживаясь выйти из комнаты, мы прильнули к дверным щелям и увидели, как пышная фрау Брюнинг с полотерной щеткой и машинкой для чистки ковров прошествовала в отцовский кабинет. Волосы ее были повязаны серым платком.

Следующей на театре военных действий показалась мама; ее выход за час с четвертью до обычного срока был верным признаком того, что сегодня битва непременно должна состояться. Но, к нашему разочарованию, мама направилась не в кабинет, а в сторону кухни. Мы с Эди срочно обсудили, есть ли необходимость прямо сейчас установить пост подслушивания у кабинета отца. Решили, что необходимости в этом пока нет.

Около шести, на четыре часа раньше обычного для него времени, появился тщательно одетый отец. Затаив дыхание, мы наблюдали, как он остановился в коридоре перед зеркалом, поправил галстук, а затем, слегка откашлявшись, нерешительно двинулся к своему кабинету. Дверь за ним закрылась.

Мы ждали минуты две, а может, и пять. Потом не вытерпели и подкрались к двери кабинета. Там мы столкнулись с сестрами, которые с той же целью пробрались из другого конца коридора. Четыре уха прильнули к двери. Но, увы, поскольку она, ради отцовского покоя, была обита, то ни единого звука до нас не доносилось. Тем не менее мы не отлипали от двери, пока нас не застала врасплох мама. Она тихо пристыдила нас и велела идти обратно в комнаты. Когда мама входила в кабинет, мы заметили, что у нее под мышкой зажата стопка книг.

Ох, до чего медленно тянулось время. Для детей ожидание — всегда нечто ужасное: если что-то не происходит сейчас же, то оно никогда не произойдет. Ждать в такой момент, когда мы уже несколько недель ожидаем разгадки тайны!.. Появилась Шарлотта и несколько обиженным тоном поинтересовалась, где фрау Брюнинг. Одной ей с уборкой не справиться.

Мы с радостью вцепились в жертву. После наших таинственных намеков на то и на се (чего мы и сами не знали) Шарлотта вернулась к прерванной работе в полном замешательстве, мы же остались очень довольны собой.

Наконец, около половины седьмого, дверь отцовского кабинета отворилась! Первой оттуда вышла фрау Брюнинг. Серый платок покинул свое место на голове, его прижимали теперь к лицу. Тем не менее было видно, а еще более — слышно, что владелица платка рыдает. Затем появился отец. Он сказал строго:

— Значит, сегодня, фрау Брюнинг! Непременно сегодня же!

Зарыдав еще сильнее, фрау Брюнинг отперла входную дверь и пошла вниз по парадной лестнице. Дверь она за собой не захлопнула. Мы были в ужасе от подобного нарушения заведенного в доме порядка! Если бы ее встретил на лестнице консьерж Маркуляйт, он бы ей кое-что высказал! Ибо любимым занятием Маркуляйта (как, впрочем, и многих его коллег в ту пору) было

прогонять с парадной лестницы недостойных, по его мнению, персон и отсылать их на черный ход!

Отец постоял немного в коридоре, потом вдруг топнул ногой и крикнул:

— Брысь! Брысь!

После чего подошел к входной двери и запер ее. (Мы не сводили с него глаз.) Вот он направился обратно к кабинету, вошел в него, но тут же обернулся и весело воскликнул:

— А ну, бездельники, вылезайте! Думаете, я не видел, как вы сверкали глазами и шевелили усами?

Мы расхохотались, поняв, что отец разыграл перед нами комедию со своим топанием и «брысем». Но мы поняли также, что преступление фрау Брюнинг, по всей видимости, не столь уж тяжкое, как можно было судить по ее рыданиям. Так оно и оказалось. Фрау Брюнинг, большая охотница до чтения, начала с того, что стала без нашего ведома заимствовать книги для личного пользования. На этом она даже кое-что сэкономила, аннулировав свой абонемент в платной библиотеке. Но мало-помалу она принялась затем снабжать литературой своих приятельниц и знакомых. Круг ее читателей расширялся, книгоснабжение требовало известных усилий, и было бы неестественно, если бы фрау Брюнинг отказалась от платы за эти усилия...

— Да,— сказал отец, улыбаясь.— Не приходится отрицать, что у фрау Брюнинг есть некоторые деловые способности, хотя и направленные по ложному пути. Она, правда, уверяла меня, будто ее выручка за неделю не превышает одной марки. Но если учесть, что она только сегодня принесла девять книг и что, согласно ее показаниям, она взимала за прокат одной книги пять пфеннигов,— а я подозреваю, что все десять,— то фрау Брюнинг зарабатывала на наших книгах от трех до пяти марок еженедельно.

— Но деньги она должна отдать нам, папа! — воскликнул Эди, и я был того же мнения.

— Нет уж, спасибо, сын мой! — сказал отец.— Буду рад, если она сегодня вернет недостающие книги, на чем ее деятельность в нашем доме и окончится.— Отец взглянул на маму.— Боюсь, Луиза, что ты лишаешься старательной прислуги.

— Слишком старательной! — засмеялась мама. — Найду кого-нибудь еще. А теперь возьму-ка веник, а то Шарлотта не справится.

— Меня, правда, утешает мысль о том, — сказал отец задумчиво, — что все эти читатели получали из нашей библиотеки неплохую литературу. Тут мы вне всякой конкуренции. Что же до мнения этой Бемайер о французских книгах, то я не скрываю: есть у меня и Дюма с его тремя мушкетерами, есть и несколько томов Мопассана, однако я вовсе не считаю эти книги пагубными... А нашу маму мы попросим, — сказал отец в заключение, — подобрать более необразованную прислугу. Лучше уж самый зверский берлинский диалект, чем незаконная аренда книг!

Бедный, ничего не подозревавший отец! Если бы он знал, что наиболее усердный незаконный арендатор книг стоял перед ним в образе его сына Ханса! Ибо к тому времени мне приелись вечно одни и те же романы про индейцев и приключенческие истории. Никакой пожар в прерии меня больше не волновал, я оставался равнодушным к самому дикому мустангу; что же касается героев, постоянно рисковавших жизнью, то отец радикально излечил меня от всяческих опасений за них.

Однажды, когда меня загоняли в постель и я умолял о пятиминутной отсрочке, чтобы узнать, останется герой жив или погибнет, отец, улыбаясь, взял у меня книгу, пощупал еще не прочитанную, довольно толстую часть и сказал:

— Еще двести пятьдесят страниц — и герой уже сейчас умрет? А о чем же тогда автору рассказывать на оставшихся двухстах пятидесяти? О похоронах?!

На меня это так подействовало, что впредь, как только сердце начинало тревожно колотиться, я смотрел, сколько еще осталось страниц, и сразу успокаивался!

Возможно, этот способ излечить меня от увлечения приключенческими романами (которое и так постепенно ослабевало) был очень прозаичным. Но он помог. Мой освобожденный дух стал искать новое поле деятельности; а поскольку я не доверял литературному вкусу отца с тех пор, как он запретил мне читать Карла Мая, то я на свой страх и риск предпринимал исследовательские экспедиции в отцовскую библиотеку. Кстати, о Карле Мае: мне по сей день непонятно, почему мой добродушный, неохотно что-либо запрещающий отец питал такую

антипатию именно к этому писателю. Тут отец был непреклонен. Нам раз и навсегда запретили брать у кого-либо Карла Мая. И когда дядя Альберт однажды подарил мне с Эди несколько книжек Карла Мая, то их пришлось обменять у нашего «фамильного» книготорговца на более «приличную» литературу.

Отец достиг этим лишь того, что моя любовь к Карлу Маю только разгоралась. Когда я стал взрослым и у меня завелись кое-какие деньги, я купил однажды сразу все шестьдесят пять томов Карла Мая. В то время, как я пишу это, они, выстроившись в зеленых с золотом мундирах, стоят на нижней полке справа от меня. Я прочел их все, и не один раз, несколько. Теперь я сыт Карлом Маем и вряд ли буду его перечитывать. Но вот мой старшенький во время каникул пробирается сюда наверх, таскает том за томом, клянчит, перед тем как идти спать, о пятиминутной отсрочке, — все, как прежде, и, однако, все по-иному. Потому что я не препятствую ему, не отнимаю у него иллюзии, будто герой действительно находится в смертельной опасности, — мне хочется все-таки доказать, что в споре с отцом прав был я.

Так вот: поскольку вкус к обычным приключенческим книгам я утратил, а Карла Мая мне не давали, я отправился на поиски сам. То, что на отцовских этажерках стояло открыто, меня не очень привлекало. Но в нижней части этажерок были какие-то ящики с надписями... Чаше других встречались — Франция, Англия, Америка, реже — Венгрия, Италия, Швеция, Норвегия... Сюда отец сложил брошюры и отдельные выпуски «Универсальной библиотеки», так как вытаскивать их с полки было неудобно.

Эти ящики оказались для меня истинной сокровищницей! В одиннадцать или двенадцать лет я напал на Флобера и Золя, Доде и Мопассана! Эротическое я не понимал и лишь пробегал глазами. Но какой неожиданный мир открылся для меня! Я никогда не думал, что романы могут быть *такими!* Сцены из жизни, подлинной жизни, которые могли разыгрываться в любой момент, в любом уголке земли! Во всем, что я читал до сих пор, и читал с доверием, было что-то неправдоподобное, присущее скорее сказкам моего детства, чем самой жизни. Очевидно, все это должно было происходить где-то очень далеко от Луипольдштрассе, чтобы обрести хоть чуточку правдоподобия.

Я всегда это ощущал смутно, не отдавая себе отчета. Приключенческие истории никогда не утоляли ни моего сердца, ни разума! Но здесь, этот совершенно новый мир!.. Очевидно, я уже тогда почувствовал, что писать надо только так, чтобы все получалось правдоподобно! Эти книги я буквально проглатывал. Каждую читал и перечитывал по многу раз. Наверное, именно потому, что они так прочно «сидели» во мне, я постепенно сумел освободиться от них. Золя я сейчас не переносу, Доде кажется безвкусным. Флобером я люблю, однако все-му нужному для меня я у него научился и больше не перечитываю, но каждый из этих писателей оставил во мне свой след.

Очень хорошо помню, как я восхищался «Тремя мушкетерами» Дюма. Тоже приключенческая история, но она была не только выдумана, но и возможна.

А когда в «английском» ящике мне попался «Остров сокровищ» Стивенсона! А когда открыл Чарльза Диккенса, — его «Кюперфильда» я и сейчас читаю и перечитываю с прежним восторгом. Я мог бы исписать страницу за страницей этими воспоминаниями о книгах, которые я тогда открыл для себя и которые продолжают во мне жить! А потом — русские: «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы»!

Моим читателям покажется, что я довольно рано начал знакомиться с этой литературой, родителям тоже так показалось. Мама, несомненно, перепугалась бы, застав своего старшего (но еще, ах, такого маленького) сына за чтением мопассановских фривольностей. Будучи догадливым мальчиком, я это, естественно, предвидел, и потому читал «Универсальную библиотеку», когда чувствовал себя в полной безопасности, то есть только ранним утром. Всю свою жизнь я неважно спал, даже в детстве часто просыпался около четырех утра. Босиком, на цыпочках, я прокрадывался в отцовский кабинет и с богатой добычей возвращался в постель. И читал... читал...

Позднее, когда я обнаружил, что отец ни разу не проверял содержимое тех ящиков, — они были прошедшим этапом в его читательской жизни, — позднее я обнаглед и устроил себе под матрацем солидный склад этих книжек. До чего же было приятно засыпать, сознавая, что наутро ты полностью обеспечен «провиантом». Недавно моя жена разъяснила мне, что тайная библиотека под матрацем, которую никому не удалось обнару-

жить, свидетельствует лишь о неумелой уборке в родительском доме, вряд ли заслуживающей хорошей оценки; если постель «убирать» по правилам, то матрац надо обязательно переворачивать. Надеюсь, что в моем собственном доме так оно и делается, но сейчас мне все же хочется поблагодарить и благословить Минну, Крису, Шарлотту и все остальных, — уж не помню, как их звали, — за то, что этого не случилось в родительском доме!

Вследствие такого интенсивного чтения школе пришлось отступить на задний план (иначе и быть не могло). На уроках я обычно клевал носом, а если и пробуждался, то думал лишь о прочитанном или о том, что же произойдет дальше. Однажды, один-единственный раз, мне представился шанс благодаря моей начитанности стяжать лавры и в школе. Случилось это на уроке истории, когда наш учитель, профессор Фридрихс, рассказывая о восстании тирольцев, упомянул Юрга Йенача... Услышав это имя, я насторожился. Профессор Фридрихс оглядел класс и спросил:

— Кто-нибудь из вас знает, что за писатель рассказывал нам об этом восстании?..

Посмотрев вокруг и удостоверившись, что, кроме меня, никто этого не знает, я вылез из-за парты и гордо отчеканил:

— Кординанд Фердинанд Мейер!

Взрывом хохота и ограничился весь мой успех. Даже профессор Фридрихс снисходительно улыбнулся:

— Только не Кординанд Фердинанд Мейер, — новый взрыв хохота, — а Конрад Фердинанд Мейер.

После этого случая меня называли некоторое время в классе не иначе, как только Кординандом.

Итак, я читал и читал... По отношению к нашей семье глагол «читать» можно было спрягать во всех формах и временах без риска ошибиться. Я читаю, ты читал, он будет читать, они читали — все верно. Излишним было только повелительное наклонение. Приказывать — «читай» или «читайте» — не было никакой необходимости.

Но по заглазыванию книг я в подметки не годился моей сестре Итценлиц. Она побивала любые рекорды. Когда я в четыре утра прокрадывался в отцовский кабинет за свежим пополнением, то нередко заставлял ее там. В ночной сорочке она стояла на стуле, держа в од-

ной руке раскрытую книгу, а в другой — почти догоревшую свечу. Сестре повезло меньше, чем мне: ее комната находилась рядом с родительской спальней, поэтому всякое ночное чтение исключалось, так как у мамы был хороший слух. Я предлагал Итценплиц хотя бы сесть в кресло, но она лишь смотрела на меня поверх страниц застывшим, отсутствующим взглядом, говорила: «А-а!», и снова погружалась в чтение.

Как-то Итценплиц, в награду за выдержанные с блеском приемные экзамены в гимназию, разрешили поехать с тетей в Италию. Накануне отъезда мама наказала своей старшей дочери уложить наконец чемодан. Та пообещала, а перед самым ужином мама застала ее уткнувшейся в какую-то книгу; в чемодане же лежало что-то брошенное наспех. Мама возмутилась, Итценплиц получила нагоняй и была вынуждена дать слово, что не прикоснется к книге, пока не запакует чемодан.

Когда же в половине одиннадцатого мама вошла к ней, чтобы пожелать спокойной ночи, то застала свою старшенькую сидящей возле чемодана на полу и читающей газеты. Газеты были очень старые и предназначались для заворачивания обуви. Наверное, какое-то слово привлекло внимание сестры, она начала читать, а когда уже вчиталась, то забыла обо всем на свете, включая и неуложенный чемодан. Ночью лились слезы, поездка в Италию едва не сорвалась по вине оберточной бумаги. Мама предсказывала дочери мрачное будущее: она разобьет себе жизнь из-за своего несчастного книгожорства, упустит все хорошие возможности...

Итценплиц не разбила себе жизнь (мама этому радуется больше всех!), и думаю, не столь уж много упустила, хотя так и никогда не смогла отвыкнуть от сладчайшего яда запойного чтения. Сейчас у нее есть муж и ребенок, и, когда я приезжаю к ним в гости, Итценплиц сразу же отправляется в кухню, чтобы приготовить что-нибудь вкусное, так как знает, какой я прожорливый. Спустя некоторое время мой терпеливый зять дружески говорит мне:

— Надо бы взглянуть, что там подельывает жена...

И, взглянув, мы видим, что она стоит у плиты, вода кипит, но Итценплиц этого не замечает. В одной руке у нее ложка, в другой — книга, и к этой книге приковано все ее внимание. Даже теперь Итценплиц не решается пустить газету на растопку прежде, чем не изучит ее.

Конечно, это приводит к некоторым неудобствам в быту, но мой зять не только терпеливый, но и мудрый человек. Он понимает, что без теневой стороны никакая добродетель не обходится. А Итценплиц чего только не знает, у нее всегда есть, о чем рассказать. Поваренную книгу она читает с таким же увлечением, как и трактат о наркотиках. Она снимает мед с каждого цветка, даже с дурно пахнущего, как о ней однажды сказал отец.

В связи с семейным библиофильством мне остается еще рассказать об одной не очень хорошей привычке, заведенной в нашем доме: ни один из нас не отправлялся в известное место, не вооружившись предварительно книгой. Хотя в нашей берлинской квартире имелись две такие обители, тем не менее, учитывая также, что всех домочадцев с прислугой насчитывалось восемь душ, у нас постоянно ощущалась нехватка заседательских мест. Сколько раз с отчаянием дергали дверь, умоляюще шептали, посылали проклятия небесам, все напрасно. Каждый член семейства придерживался изречения «*J'у suis, j'у reste*»¹. Каждый сидящий внутри слишком хорошо знал, что окажись дергавший и умолявший на его месте, он вел бы себя точно так же, то есть продолжал бы сидеть и читать.

До сих пор не могу вспомнить без улыбки, как отец, в серой домашней курточке, с папкой решений рейхсгегрихта под мышкой, скрывался в тихой обители. Он отнюдь не предавался развлекательному чтению — отец продолжал там серьезно работать.

Когда же обстановка в квартире становилась критической, то в большинстве случаев по настоянию мамы, которая не потворствовала этой семейной привычке, издавался указ, запрещающий ходить «туда» с книгами. Но обычно это мало помогало, так как в уборной висела связка нарезанной (опять же из соображений экономии) газетной бумаги. Было очень увлекательно составить из кусочков всю страницу и прочитать ее целиком. Кто-то из нас придумал этому месту название, слегка изменив медицинское выражение «*locus minoris resistentiae*»².

(Считаю своим долгом сообщить всем моим читателям, которые намереваются нанести мне визит или же

¹ Здесь стою, здесь останусь (фр.).

² Место наименьшего сопротивления (лат.).

пригласить меня в гости, что под влиянием своей жены я полностью излечился от упомянутого порока.)

Кроме книжного «конька», у отца был еще один — музыкальный. Музыка, особенно игра на рояле, была для него величайшей радостью, отдыхом, утешением, его спутницей в одинокие годы. Отец считался отличным пианистом, а мама, как, собственно, всякая девочка из хорошей семьи, умела немного брэнчать, но за долгие годы брака под руководством отца она совершенствовалась все больше и больше, хотя уровня своего учителя не достигла.

Иногда, играя с мамой в четыре руки, отец начинал терять терпение. Как сейчас вижу: все энергичнее и энергичнее он раскачивает головой из стороны в сторону, не позволяя партнерше сбавить темп, и начинает считать вслух: «И раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре...», а мама, сжав губы, слегка покрасневшись, старается выполнить все его требования.

И как она радовалась, когда отец после очередной фуги Баха хвалил ее:

— Ты сыграла это превосходно, Луиза.

Мама принимала участие во всем, что радовало отца, и в музыке тоже. Из года в год, изо дня в день, и в будни и в праздники, ровно в пять, родители усаживались за рояль и в четыре руки играли до шести часов. Мы, дети, настолько привыкли к непреложности этого музыкального часа, что всегда использовали его для сведения счетов друг с другом, мы знали: в этот час нам не угрожает никакое вмешательство сверху:

Рояль — настоящий «стейнвей», великолепный экземпляр, значительно превышавший доходы отца в то время. Он приобрел его на собственные средства, еще будучи молодым ассессором, а каким образом это ему удалось — особая история. Как я уже говорил, отец служил ассессором в ганноверском провинциальном городке. Вся провинция была охвачена тогда страшной эпидемией пожаров, свидетелем которой я позднее сам оказался в Тюрингии: крестьянские постройки почему-то слишком часто загорались. Если вдруг выяснялось, что сарай пришел в ветхое состояние, или жилому дому требуется новая крыша — значит, рано или поздно жди там пожара, это уж как бог свят. Страховые кассы были на грани истощения — они не успевали платить погорельцам.

Стоит подобной заразе укорениться в какой-нибудь округе, то здесь могут помочь только драконовские штрафы и хотя бы один устрашающий пример в назидание другим.

Но для того, чтобы осуществить такое наказание, необходимо схватить злоумышленника. А поджигатели тогда, то есть почти семьдесят лет назад, действовали с необычайной ловкостью. Страховые кассы объявили за поимку награду, затем удвоили ее, утроили, пока она не достигла громадной по тому времени суммы в тысячу талеров, но все напрасно, ни одного поджигателя поймать не удалось...

И вот однажды, в ту пору и в той округе, отец пошел прогуляться. Всю свою жизнь он любил дальние прогулки, особенно в одиночестве. И всегда ухитрялся отыскивать пути, по которым никто не ходил. Так вот, в тот день, в жаркое, душное воскресенье, бродил отец по полям и лугам, кругом ни души. Постепенно солнце начало заволакиваться, на горизонте собрались сизые тучи, тихое урчанье, донесшееся издалека, перешло в громкие раскаты. Отец, забеспокоившись, поискал укрытия от надвигавшейся грозы. Вдали он заметил соломенные крыши какого-то хутора и направился к нему, убыстряя шаг с каждой минутой.

Под первый оглушительный удар грома и с первыми каплями дождя отец ступил на двор хутора. Не оглядываясь по сторонам, он открыл дверь и оказался в сенях, «горнице» крестьянского дома. Такая небезызвестная в наших краях «горница» занимает почти две трети дома, слева стоят коровы, справа — лошади, наверху — люк на сеновал. На заднем плане — кухня с очагом, а уже к ней примыкают несколько жилых комнат.

Нежданном гостем вошел отец в эту «горницу» и, остолбенев, остановился. Вокруг стояли домочадцы, нагруженные постелями, ящиками и всевозможной утварью; две молодые женщины держали наготове коров, а два парня — лошадей. Все повернули к отцу оцепеневшие от испуга лица. И в этот самый момент в чердачном люке показался хозяин хутора и громко сообщил: — Вот теперь горит что надо!

Мой отец явился в момент поджога!

Наступила довольно тягостная для всех минута, когда хозяин осознал, что в «горнице» находится гость, да еще какой гость! Ибо ассессор амтсгерихта был личностью

весьма известной. Отец признавался нам, что пережил тогда одну из самых ужасных минут в своей жизни; он даже сомневался, удастся ли ему уйти из «горницы» живым. Однако эта минута прошла, отец был человеком мужественным и энергичным, а те люди были хотя и поджигателями, но все-таки не убийцами.

Отец положил руку на плечо хозяина и объявил, что тот арестован. Не дав людям опомниться, он вышел с поджигателем и повел его в город — под проливным дождем и сверкающими молниями! Путь был нелегкий для обоих — и для конвоира и для арестованного. Отец хорошо знал, что ждет поджигателя: наказание будет суровым, очень суровым, и хуторянин знал это тоже. Он стал упрашивать и умолять: ведь никто, кроме ассессора, не видел, неужели ассессор не сжадется над женой и детьми. Отец был мягким и добрым человеком, но здесь не могло быть никаких колебаний, следовало исполнить свой долг и искоренить «заразу»...

Едва ли отец при этом думал об объявленной награде, его сердце и разум устремлялись к иному. Отец был молод, его воспитали в уважении к старшим. Трудно быть суровым к пожилому человеку, когда ты еще молод, выслушивать его просьбы и отвечать «нет». Награду вручили позднее — отец, которому не было свойственно стяжательство, долго не хотел принимать ее. Он сделал это лишь по приказу начальства. И обратил деньги в стейнвейевский рояль, который на всю жизнь стал для него источником величайшей радости.

Но если отцу и удалось пробудить в своей жене все возрастающую склонность к музыке, то с детьми ему повезло меньше. Всем нам давали уроки игры на рояле, но мы так и не поднялись выше жалкого брэнчания. (Кроме Эди, о котором речь впереди.) Что касается лично меня, то тут был полнейший провал. Я никогда не мог отличить один тон от другого и по настоятельному пожеланию учителя пения был на вечные времена освобожден от его уроков, ибо стоило мне хоть раз запеть, как весь класс тут же сбивался с такта. В самом деле, я и сейчас не могу правильно взять ни одной ноты, а поскольку я люблю насвистывать, особенно народные песни, то делаю это только наедине с собой...

Но отец не падал духом. Он был неутомим в своих попытках привить нам любовь к музыке. После ужина вся семья обычно собиралась у него в комнате. Сначала

он с мамой полчаса что-нибудь играл нам, а потом объяснял. Я, гнусный мальчишка, часто использовал музыкальное вступление, чтобы доделать невыполненные домашние уроки. Это всегда удавалось, так как родители сидели к нам спиной. Надо было только не упустить момента, когда оканчивалась очередная музыкальная пьеса; в этом деле я приобрел кое-какой навык, который пригодился мне теперь: я вовремя снимаю адаптер с граммофонной пластинки.

С тех пор, как умер отец, я медленно, по-своему начал приобщаться к музыке. Пока отец был жив, я считал себя в ней полным профаном, да и «вообще ее не выносил». Связано это с тем, что долгие годы я был «зол» на отца. Из-за своей «злости» я и отвергал то, что он больше всего любил. Но это печальная история, я вспоминаю о ней с болью и раскаянием, и мне не хочется ее рассказывать.

Для своих музыкальных вступлений отец всегда подбирал что-нибудь «полегче», а к более легким у него относились «Лознгрин», Шуман, Шуберт и, пожалуй, еще «Волшебный стрелок». Один человек, понимающий в музыке больше, чем я, сказал мне впоследствии, что мой отец, собственно, вовсе не был музыкальной натурой, он был скорее математиком, нежели музыкантом, и ценил в музыке больше конструкцию, искусную композицию и анализ, чем само звучание, которое, собственно, и является сущностью музыки. Как уже говорилось, я в этом ничего не смыслю. Но мне все-таки кажется, что отец выбирал для нас, детей, несколько трудноватые темы. Вспоминаю один случай, когда я, корпя над уроками, внимательнее, чем обычно, прислушался к мелодии, доносившейся из смежной комнаты, где за роялем сидели родители. Мне даже понравилось то, что они играли.

— Сегодня ты играл что-то красивое, папа! — с признательностью отозвался я.

— Ну что у меня за сын! — воскликнул отец с комическим отчаянием и схватился за голову. — Годами исполняешь великолепные вещи Баха и Бетховена, и он этого не замечает! Просто не слышит!! Ну стоит мне лишь раз сбренчать какой-то пустячок Зуппе, как он тут же весь обращается в слух! Ну как тут не отчаяться!

Когда мы потом переехали в Лейпциг, отец каждую пятницу ходил вечером слушать мотет в Томаскирхе.

Поскольку он все еще не потерял надежду приобщить меня к музыке, то иногда брал с собой.

В церкви было довольно темно — по пятницам здесь устраивали только «репетиции» и, наверное, поэтому сэкономили свет. После мотета пастор лишь декорума ради читал короткую молитву.

Приходили мы обычно заранее, поскольку отец не хотел упустить ни единого звука, и усаживались на одну из длинных церковных скамей. Таким образом я видел всех, кто входил в церковь, кто собирался здесь каждую пятницу, чтобы послушать хор мальчиков. Многих постоянных слушателей я уже узнавал издали. Они всегда усаживались на одни и те же места и неподвижно сидели в ожидании, пока заиграет орган. Среди них попадались диковинные экземпляры — какие-то допотопные, со стертыми лицами; хорошо и плохо одетые сидели рядом, молодых почти не встречалось. Большинство — старики.

Мне запомнился один седой старик, который летом и зимой приходил в совсем выцветшей бархатной куртке, но и зимой и летом в петлице этой куртки торчал цветок. Другого старика приводили, вернее, вносили, две старые девы. Усадив его, они тут же покидали церковь... Из каких каморок, из какой жизни явились эти два одиноких старика сюда, чтобы объединиться с людьми, которые переживали те же чувства, что и они!

Потом вступал орган, и меня тут же охватывал страх. Я ничего больше не видел и не слышал, ни органа, ни пения, я не сводил глаз с отца. Ну вот, так оно и есть: отец плакал! Я был в ужасе от того, что отец плачет. Большие прозрачные капли медленно скатывались по обе стороны его носа и исчезали в усах. Всякий раз, слушая мотет, отец не мог сдержать слез. Наверно, он плакал от счастья, от радости, что на земле еще остался этот островок чистой красоты.

Но я, глупый мальчишка, находил это унижительным. Я стыдился отца за то, что он так плакал. Я до смерти боялся: что, ежели вдруг в церкви окажется кто-нибудь из моих школьных товарищей и увидит меня рядом с плачущим отцом! Я же буду опозорен перед всей гимназией! Меня не успокаивало даже то, что плакали многие. Я не замечал также, что здесь вообще никто ни на кого не обращает внимания. Сгорая от стыда, я думал лишь о том, чтобы все скорее кончилось. Я, к чьим

слабостям отец относился с бесконечным терпением, был так нетерпим к нему!

Из-за этих мотетов я утратил последний интерес к музыке. Я придумывал сотни отговорок, чтобы избежать пятничных походов. В конце концов отец тоже признал, что я неизлечим, и перестал брать меня с собой. Вместо меня его сопровождал теперь Эди. Смотрика! Эди развился, он стал единственным из нас, кто не без охоты сидел за роялем и порой мог потолковать с отцом о музыке. Отцу всегда хотелось этого, ведь он так много знал о музыке, а мы, остальные, о ней и слышать не хотели. И вот Эди стал ходить с отцом на мотет.

Все мы видели: наш маленький, чуть грубоватый прежде Эди все больше и больше становился любимцем родителей. И что странно — мы ему ничуть не завидовали, мы находили это в порядке вещей. Ибо Эди достиг привилегированного положения не благодаря тому, что вел себя примерно-показательно или же угодничал, а потому лишь, что не притворялся, и к тому же отличался порядочностью и надежностью. Он отнюдь не был образцовым мальчиком и не так уж хорошо учился, но в глупостях, которые он совершал, отсутствовало то роковое и непостижимое, что было присуще моим сумасбродствам. Глядя на Эди, родители знали: он сам выберет свой путь, ему можно спокойно предоставить свободу действий. Когда же они смотрели на меня, то, скорее всего, думали: может, из него что-нибудь и выйдет, только за ним надо как следует присматривать.

Но главное, никто из нас — ни я, ни сестры — ни разу не ощутили хотя бы малейшую зависть к младшему брату, потому что мы видели: Эди совершенно не сознает своего привилегированного положения в сердцах родителей. Он любил нас всех совершенно одинаково, ему в голову не приходило, что можно любить с разбором. И мы любили его, и в наших сердцах, как и в родительских, ему было отведено привилегированное место.

Так отец приобрел себе товарища из молодого поколения. Сестры ушли из дома, я тоже отправился в странствия. Эди остался с родителями, вся жизнь их сосредоточилась на нем. Отец даже не огорчился, когда мой младший брат довольно рано заявил ему, что хочет стать только врачом и ни в коем случае — юристом.

Когда это говорил Эди, все было в порядке, потому что он знал, чего хочет, я же каждый день менял свои решения. Так Эди стал надеждой всей семьи. Отец с матерью гордились им...

Потом началась мировая война, и брат, которому едва исполнилось семнадцать, вступил в армию добровольцем. Он пробыл всю войну на западном фронте, безвылазно во фландрской грязи, в окопах. Изредка приезжал в отпуск. Преисполненные гордости родители любили показываться со своим юным офицером, они гордились им и боялись за него — потери в полках на том участке фронта были особенно велики. Но об этом Эди не рассказывал, он вообще ничего не рассказывал о войне. Охотнее всего он говорил о будущем. Во время одной из побывок брат досрочно сдал экзамен на аттестат зрелости, позднее пришло какое-то предписание, разрешавшее зачислить его в студенты. Он сходил в университет и записался на медицинский факультет.

Это был его самый счастливый день за всю войну. Брат повел родителей в ресторан, и, хотя угощали там скудно, настроение у него было такое задорное, радостное, что ему удалось развеселить печальных, постаревших и поседевших от войны родителей. Эди принялся изображать из себя врача, будто он уже стал знаменитостью и отец пришел к нему на консультацию. Брат нес несусветный вздор о желчно-каменной болезни, разрешил отцу снова курить давно запрещенную трубку и пообещал ему девяносто девять лет жизни. Заразившись радостным настроением Эди, родители верили каждому его слову, любой выдумке, они увлеклись настолько, что забыли и про войну в окопах, и про ураганный огонь, и о своем смертельном страхе за сына.

Наступил день отъезда. Я провожал брата. По мере того, как мы приближались к вокзалу, Эди становился все молчаливее. Вот уже и воинский состав для отпусков — грязный, обшарпанный, безобразный, — как и всё в том 1918 году. Брат коротко попрощался со мной, потом молча сидел в купе, не оборачиваясь в мою сторону. Наверно, он подумал, что я уже ушел. Как сейчас вижу его: совсем еще юный, двадцать один год, но пухлые мальчишеские губы уже плотно сжаты, а в уголках рта пролегли горькие складочки разочарования.

Неожиданно он встает, подходит к окну и смотрит на меня в упор, серьезно. Потом говорит:

— Если что случится... со мной... старайся радовать стариков, Ханс. Не забывай об этом!

Поезд трогается. Эди твердо смотрит мне в глаза. Ни уныния, ни трепета. Никто из нашей семьи больше не увидел его. Он был не только любимым братом, он был самым порядочным человеком, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Родители так и не примирились с его потерей...

Но все это произошло позже, гораздо позже. А тогда мы еще были детьми и над нами сияло солнце. Ну, а если оно переставало сиять, мы знали: зимний сумрак скоро озарит рождественская елка. Там, где дети, рождество всегда празднично, но я-то думаю, что праздничнее всего бывало у нас дома. Главная заслуга в этом, конечно, принадлежала отцу; он любил с таинственным видом подразнить нас, подурочить и тем разжечь наше нетерпение.

На улицы и площади Берлина елочные полчища вступают заблаговременно. И мы, не откладывая, начинаем приставать к отцу, чтобы он купил елку. Отец сперва отнекивается: мол, дело это вообще не его, а Деда Мороза. Такая отговорка, естественно, у нас уже не проходит, даже Эди больше не верит в эту личность с тех пор, как на прошлогоднем празднике мы узнали под вывернутой наизнанку отцовской шубой башмаки нашего консьержа, герра Маркуляйта. Нет, пусть отец как хочет, а покупает елку. Самые красивые продают на Винтерфельдплац.

Наконец отец обещает, что посмотрит, правда, в ближайшие дни у него вряд ли найдется время. Но мы не отстаем. И вот он собирается и уходит, а мы с нетерпением ждем. Конечно, он возвращается с пустыми руками. Иного мы от него и не ожидали, отец никогда не покупал что-либо сразу. Первым делом он повсюду расспрашивал, где можно купить подешевле. Другой раз возвращался домой весьма удрученный: в этом году елки немислимо подорожали! Если он правильно нас понял, нам ведь хочется, чтобы елка была до потолка?.. Ну вот, значит, его предположение верно, однако елки такого размера стоят не менее девяти марок, а больше пяти он тратить ни в коем случае не намерен... Может, нас устроит небольшая елочка на столе?.. Мы дружно протестуем.

И хотя одна и та же игра повторялась из года в год, отцу всякий раз удавалось нас раззадорить и ввергнуть в сомнения. Ведь мы-то знали, что отец действительно очень бережлив и вполне возможно, что елки в этом году особенно вздорожали!

Теперь отец почти ежедневно приходил домой с какой-нибудь новой елочной историей. И истории эти, оснащенные грубоватыми берлинизмами, звучали настолько правдиво, что мы все больше убеждались: отец в самом деле ищет елку, только еще не нашел.

Он рассказывал нам, как на Виктория-Луизе-плац чуть было не купил роскошную елку, но в последний момент заметил, что многие ветки у нее не росли, как полагается, от ствола, а были воткнуты в просверленные дырки. Нам описывали искривленные, однобокие елки и такие, что уже начали осыпаться. На Байришер-плац отец уже почти купил елку — они разошлись с торговцем в цене всего на двадцать пять пфеннигов, — но тут подъехала карета, какой-то дамский голос крикнул: «Я беру эту елку!» — и ее, чуть ли не из отцовских рук, унесли к карете.

Отец с таинственным видом строил догадки насчет покупательницы. Это могла быть принцесса кайзеровского рода или же какая-нибудь придворная дама, и представьте: возможно, с «нашей» елкой будут праздновать рождество дети самого кронпринца!

Это, конечно, давало пищу нашей фантазии, но елка все не появлялась. А праздник все надвигался. Мы не давали отцу покоя. И тут он вдруг становился безразличным: ему надоела эта беготня за елками, к тому же они день ото дня дорожают. Нет, он подождет до 24 декабря; за несколько часов до рождественского сочельника торговцы всегда снижают цену, чтобы сбыть остатки. Конечно, есть риск, что все разберут, но лучше пойти на такой риск, чем платить бешеные деньги.

Слушая подобные рассуждения отца, я всегда следил за морщинками у его глаз. Эти морщинки в общем-то были верными вестниками, говорит отец всерьез или шутит. Но отец сам отлично знал про эти «вестники» на его лице и умело прятал их или сдерживался — короче, оставлял нас в неопределенности. Мы обшаривали всю квартиру, поднимались на чердак, спускались в подвал, но, к нашему отчаянию, елки не находили.

(Однажды, во время такого обыска, я наткнулся на мамин «тайник», где она спрятала все наши рождественские подарки. Я не удержался от любопытства и посмотрел их. Более плачевного, безрадостного рождества у меня никогда не было. Мне пришлось лицемерно изображать радость и удивление, хотя самому реветь хотелось. С тех пор в предрождественские дни я упрямо отводил глаза от любых свертков, даже самых обыденных.)

Итак, было решено, что отец купит елку лишь за несколько часов до раздачи подарков. Нас охватил страх. Мы с беспокойством следили, как тают запасы елок на площадях, мы умоляли отца, но он, казалось, был непреклонен.

Вместо этого он придумал новую игру: отгадывать подарки. Он задавал примерно такую загадку:

— Оно круглое, из дерева. Но также металлическое и с углами. Оно новое, хотя ему более тысячи лет. Легкое, и все-таки тяжелое. Ты получишь его к рождеству, Ганс!

И за день не отгадаешь! Правда, мама иногда испуганно ахала:

— Это слишком легко, отец. Он обязательно отгадает! Ты лишаешь его радости!

Но отец был убежден в своем, и действительно я не помню, чтобы мне хотя бы один раз удалось отгадать подарок.

Тем временем праздник приближался. 24 декабря отец вставал необычно рано и вместе с мамой удалялся в рождественскую комнату, как теперь называли его кабинет. На рождество он не прикасался к своей работе. Он хотел быть вместе с семьей. На всякий случай мы проверяли замочные скважины, хотя знали, что отец всегда предусмотрительно затыкал их. По квартире проносили таинственно прикрытые предметы. Все улыбались, даже ворчунья Минна.

В первой половине дня для нас, детей, еще находилось занятие. Обычно мы не успевали приготовить подарки друг другу и родителям и сейчас спешно выпиливали лобзиком, резали по дереву, выжигали изречения, вязали, вышивали и чем только еще не занимались, превращая квартиру в мерзость запустения.

На обед, как всегда, бывала говядина с отварным картофелем. Мама считала, что нечего нам портить же-

лудки и потому следует хорошенько поесть заранее. После обеда терпение наше иссякало, мы бродили как неприкаянные, не находя себе места, раздражались, и между нами непрерывно возникали ссоры. В конце концов отец выпроваживал нас на улицу, строго наказав не возвращаться до шести, — раньше подарки раздавать не начнут.

Выйдя на улицу, мы тут же разделялись. Сестры шли куда-нибудь вдвоем, а я с Эди отправлялся еще раз поглазеть на уже сто раз осмотренные витрины магазинов и игрушек. Мы определяли, какие из игрушек сняли за эти дни с витрин, и прикидывали: что мы хотели бы получить к следующему рождеству. Время тянулось ужасно медленно, казалось, что сегодня вообще не стемнеет, а ведь всегда сумерки наступали так быстро!

Мы бродили и бродили, но время не шло. Потом мы придумали игру: шагать по гранитным плитам тротуара так, чтобы не наступить на щель. И ступать на каждую плиту можно только раз. Если удастся подобным образом дошагать до ближайшего угла, то, значит, исполнится задуманное желание. Вот такое мы себе избрали прорицалище, но дойти до конца было нелегко! Некоторые плиты оказывались слишком широкими для детских ног, к тому же идущие навстречу взрослые требовали, чтобы мы уступали им дорогу, а рядом с плитой лежала брусчатка, ступишь — и прощай, желанная мечта!

В конце концов все же темнело. Дождавшись, когда в каком-нибудь окне зажигалась первая елка, мы врывались домой с криком:

— Уже везде елки зажгли! Почему у нас еще ничего не начинается?!

Сестры чаще возвращались раньше нас или же сразу вслед за нами; у родителей обычно все уже бывало готово, и нам не приходилось дергаться, словно «рыба на крючке», как говаривал отец.

Вспоминаю случай, когда перед самой раздачей подарков меня послали в лавку на Мартин-Лютер-штрассе за томатной пастой. Томатная паста, или, как ее еще называли, томатное пюре, была в то время дорогой вещью. Продавалась она в широкогорлых бутылочках по марке за штуку.

Итак, мне вручили одну марку, и я отправился. Был пронизывающе холодный день; я основательно намерзся перед этим, бродя по улицам, и теперь мчался со всех

ног. Руки у меня застыли, а от бутылки, с которой я вышел из магазина, они, казалось, совсем окоченели. Я зажал бутылку под мышкой, руки сунул в карманы пальто и поспешил домой, но чуть ли не у самого подъезда случилось непоправимое: бутылка выскользнула, стукнулась о тротуар, — клакс! — и на снегу расплозлось кровавое пятно. Я остолбенел...

Думаю, что родители не «съели» бы меня за это, ну пожурили бы, напомнили, что пора, в конце концов, быть более внимательным. Но от предвкушения праздника, от желания поспеть к раздаче подарков, да и оттого, что я замерз — всю жизнь я был мерзлякой, — меня словно парализовало. В полном замешательстве я стоял над красным пятном на снегу, тер глаза и горько плакал.

И хотя в этот час все торопились к началу праздника, вокруг меня собралась кучка зевак, ибо на что-нибудь поглазеть у берлинца всегда найдется время. Чего мне только не пришлось выслушать — от мягких утешений до откровенных издевок. Помню, как один особо напористый зубоскал все норовил нагнуть меня, чтобы я вылизал пролитое.

— Мамаша утешицца, што хоть в брюхе у те остаецца!

Если бы меня так тесно не обступили, я бы давно ушел, но теперь ситуация казалась весьма безнадёжной.

Вдруг чей-то голос спросил, чуть растягивая слова: — Чего ты реवेशь, мальчик?

Ко мне протиснулся какой-то мужчина. Я поднял глаза и узнал его, своего тайного идола! Он взглянул на красную лужицу.

— Томатное пюре? — по-военному четко спросил он. Я молча кивнул.

— Сколько стоит?

Я всхлипнул:

— Одну марку!

— Вот тебе марка, мальчуган, — сказал он. — Сегодня ведь рождество. Но смотри, больше не роняй баночку!

С этими словами он расчистил мне путь, и я, все еще всхлипывая, стрелой помчался на Мартин-Лютерштрассе.

Я был так счастлив оттого, что именно мой тайный идол подарил мне марку, и потому на время даже забыл

о празднике. Уже давно я издали влюбился в этого человека, я восхищался им, хотя он, без сомнения, был «простым», а не «господином», — разницу эту мы, дети, очень точно умели подмечать. Жил он, вероятно, в одном из домов неподалеку от нас, и когда мы играли на улице, летом или зимой, между пятью и шестью часами, я наблюдал, как он проходил мимо. Всякий раз я смотрел ему вслед, пока он не скрывался из виду.

Он носил форму, но военным наверняка не был, скорее — каким-нибудь муниципальным чиновником. Держался он при ходьбе очень прямо, чуть запрокинув голову и полузакрыв глаза на бледном лице. С равнодушным видом знатока он озираал из-под полуопущенных век встречных девушек и женщин, и, хотя я был еще совершенным ребенком, от меня все же не укрывалось, что этот осмотр на многих производил впечатление. Вслед ему оборачивались, он же — никогда. Я ни разу не встречал его на улице с каким-нибудь существом женского пола, он всегда шел один. Наверное, он был одним из тех бессовестных охотников за женщинами, которые выходят на добычу только в темноте, — какая гадость.

Но тогда он был моим идолом, и прежде всего из-за своей манеры запрокидывать голову и прищуривать глаза. Одно время мое восхищение им дошло до того, что я стал перед зеркалом разучивать эту манеру. Правда, здесь возникли известные трудности, ибо когда я наполовину опускал веки, то не мог сам себя разглядеть в зеркале. Но в конечном счете я остался доволен результатом тренировки и решил выступить перед публикой.

Пробовать дома было бесполезно, отец придавал значение хорошей осанке и открытому взгляду. К тому же для демонстрации чрезвычайных достижений семья, как публика, не годится: пророка в его отечестве не ценят.

Итак, я отправился на улицу и начал прохаживаться, стараясь сохранить заученную позу: откинута назад голова и полузакрытые глаза; я вышагивал взад и вперед, заложив руки за спину. Однако произвести ожидаемое впечатление не удалось. Тогда я постарался придать своей позе максимальную выразительность, но тут меня хлопнул по плечу какой-то господин:

— Эй, мальчуган, смотри не засни на улице! — крикнул он. — Ты хоть глаза открой!

Это было горькое разочарование, и я сразу прекратил все попытки подражать демонической манере моего идола. Но мое преклонение перед ним отнюдь не убавилось, напротив, оно стало еще горячее. Можно себе представить теперь, какое я ощутил счастье, когда мне подарил марку именно мой идол. В магазин и обратно я летел как на крыльях. Полагаю, что томатное пюре я донес в целости, и к раздаче подарков можно было приступать.

За четверть часа до начала отец выпроваживал из рождественской комнаты и маму. В эти минуты он извлекал приготовленные для нее подарки и зажигал свечи на елке — его привилегия, которую он ревностно охранял. Мама в невероятной спешке надевала парадный туалет и успевала еще проверить, как мы умыты и одеты.

И вот, полные ожидания, мы все собрались в коридоре, сердца колотятся, надежды — одна безумнее другой. Я ловлю себя на том, что лихорадочно сжимаю кулаки и непрерывно шепчу: «Ой-ой-ой! Ой-ой-ой!» Эди тоже безмолвно шевелит губами, я знаю: он повторяет про себя стихотворение, которое сейчас будет декламировать... И в этот напряженнейший момент мама посылает меня на кухню поторопить старую Минну. Криста уже давно здесь...

Минна занята прической. Ее редкие темные волосы торчат во все стороны короткими мышинными хвостиками. Каждый хвостик тщательно смазывается «салом из бычьих копыт» — помадой в палочках. Я умоляю Минну поторопиться (хотя по опыту знаю, что всякое понукание оказывает на нее обратное действие) и возвращаюсь к маме с отчетом. Мама решает, что будем ждать Минну. Из рождественской комнаты раздается хриплый голос:

— Вы себя хорошо ведете?

Мы восторженно орем:

— Да!

Голос спрашивает еще:

— И все вы почистили зубы?

Снова восторженный рев:

— Нет!

Голос спрашивает в третий раз:

— Все ли вы готовы?

Мы, не задумываясь, орем: «Да!», но мама поспешно добавляет:

— Ждем только Минну!

— Ну, так дожидайтесь! — отвечает голос, и за дверью все стихает.

Однако запах горящих свечей успел проникнуть в коридор. Мы взвинчены до предела. Я верчусь на одной ноге как волчок. Эди побледнел от волнения. Внезапно он с мрачной решимостью подходит к Кристе, берет ее руку и целует!

Криста становится пунцовой и вырывает у него руку. Мы от неожиданности разражаемся хохотом.

— Зачем ты это сделал, Эди? — удивленно восклицает мама.

— Просто так, — отвечает он без всякого смущения. — Что-то надо делать, ну я и... От этого ожидания с ума сойдешь!

После столь исчерпывающего объяснения он встает рядом со мной и бьет меня кулаком по плечу. Предварительные условия для хорошей потасовки налицо, но...

Но тут наконец появляется Минна! На мой взгляд, ее прилизанные волосы ничуть не отличаются от ее обычной прически, и совершенно незачем было из-за этого заставлять нас столько ждать.

— Отец, мы готовы! — кричит мама, и в ту же секунду раздается серебристый звон маленького колокольчика. Мы строимся в шеренгу, притом по возрасту, что, впрочем, точно соответствует и росту. Наша шеренга напоминает лесенку, только неудавшаяся ростом Минна, стоящая между Кристой и мамой, нарушает всю стройность...

Дверь рождественской комнаты распахивается, и всех озаряет ослепительное сияние. Ведомые Эди, мы гуськом шествуем к елке. Отец, сидя у рояля, встречает нас счастливой улыбкой.

По священному закону, нам нельзя смотреть ни вправо, ни влево, мы должны как по струнке маршировать прямо на елку и построиться перед ней, ибо первым делом — долг, а потом уж развлечение. Исполнение же долга заключается в том, что все мы после короткого музыкального вступления запеваем «Тихая ночь, святая ночь». Конечно, «все мы» — это не мы все, ведь я только так, бормочу вполголоса, да и то лишь начало, куда мне до них — вон на какие верха они полезли!

В это время я изучаю елку. Да, у нас опять настоящая рождественская елка, такая, какой она должна

быть, от пола до потолка. Значит, отцу снова удалось нас надуть, ведь не в последний же час он ее купил! И где он так долго ее прятал?! Нет уж, в будущем году я не попадусь на его удочку!

На елке все те же украшения, знакомые нам с раннего детства: золото и серебро, пестрые бумажные цепочки, всевозможные геометрические фигуры и тела с разноцветными гранями, которые мы собственноручно клеили в долгие зимние вечера. Затем древнейшие восковые фигурки, принадлежавшие еще родителям отца, нежных тонов ангелочки, и прежде всего — канарейка в зеленом кольце, которую мама каждый раз не хочет вешать, так как у птички не хватает хвоста. Но мы четверо и отец настаиваем, чтобы канарейка висела, — она неотъемлема от нашего рождества. А главное — на елке полно ярких сахарных колечек и кренделей, темных шоколадных фигурок, позолоченных орехов. Смотри-ка: ничего не забыли, — вот и традиционные конфеты-хлопушки, из которых при разграблении елки мы откроем пальбу в новогодний вечер!

Пение окончено, отец подходит к нам и говорит ободряюще:

— Ну, Эди, смелей!

И Эди, откашлявшись, начинает декламировать рождественский стишок. Это длится недолго, наступает моя очередь. Я рассказываю рождественскую историю: «Но в то самое время кайзер Аугустус издал приказ, чтобы всех почитали...» Не могу понять, почему именно мне так приспичила рождественская история, куда проще было отделаться коротким стишком, как другие. Предположить, будто родители уже тогда распознали, что я склонен более к прозе, нежели к поэзии, было бы несколько смело.

Я без запинки отбубнил свою историю, теперь очередь сестер. Слава богу, у них тоже все идет без затруднений. Правда, однажды Фитэ поленилась вызубрить рождественский стишок и взамен преподнесла стихотворение, которое они только что учили у себя в школе. Это была «Ленора», чудесная баллада Бюргера. «Как мчит вокруг — весь лунный круг!..»; я представлял себе тогда Ленору, мчавшуюся на колеснице бога солнца вокруг утренней зари. Но как бы ни была прекрасна баллада о Леноре, она вызвала некоторое волнение, слезы и задержку в раздаче подарков... Хорошо, что

был сочельник, когда все прощается и предается забвению!

Пока сестры декламируют, я украдкой разглядываю столики. Хочется, по крайней мере, знать, где мой столик, чтобы потом его сразу найти. В прошлом году он стоял у печки. Но при первом же осмотре меня ослепляет такое изобилие белых скатертей, свечек, книжных стопок и ярких блестящих предметов на каждом столике, что глаза разбегаются, не ухватывая подробностей. Да и отец уже подошел ко мне сзади, повернул мою голову к елке и прошептал:

— Перестань коситься! От косых взглядов подарки улетают!

Этому я, конечно, больше не верил, однако счел разумным выполнить требование отца.

Слава богу, Итценплиц тоже закончила. А что она, собственно, читала? Я не слышал ни слова! Затем мы обходим всех по очереди, поздравляем, желаем веселого рождества, родители нас целуют, и вот наконец-то, наконец раздается клич:

— А теперь пусть каждый отыщет свой стол!

Небольшое замешательство, толкучка — и тишина! Глубокая тишина!

Каждый, почти не дыша, стоит перед своим столиком. Ничего пока не трогают, только смотрят. Вот она, моя мечта, — «Конструктор-мостостроитель». Теперь уж я дам возможность Цезарю навести мост через Рейн. А вот «Жизнь с животными» Гагенбека. И рядом — ура! — Нансен, мой первый Нансен! Господи, ну и читаюсь я за рождество... А тут, в круглых деревянных коробках, римские легионы, германцы и настоящие греческие боевые колесницы! Эх и битву я устрою!.. Я перевожу дух. Господи, до чего красиво! Как все добры ко мне, а я то и дело грублю им. Но с сегодняшнего дня все пойдет по-другому, теперь я буду их только радовать! С волнением я вытаскиваю из коробок оловянных солдатиков, пачку за пачкой.

Тишина в рождественской комнате сменяется радостным оживлением, все поздравляют друг друга, показывают подарки... Начинается беготня... Сестры после первого беголого обзора теперь интересуются частностями... Отец с мамой переходят от столика к столику. Мама настаивает, чтобы мы оценили по достоинству и «полезные подарки»: новые кальсоны или же костюм. Но «по-

лезное» нам безразлично, кальсоны у нас были бы так или иначе, кальсоны — не рождество, вот оловянные солдатики — рождество! И блюдо, наполненное сладостями, — рождество. Зорким взглядом я окидываю горку апельсинов и мандаринов. Их немногочисленность успокаивает, главное лакомство — сласти, вполне можно объесться. А в запасе еще то, что висит на елке! Правда, грабить ее до Нового года запрещается, но ведь отец не помнит каждую висюльку, да и вообще в праздник можно сделать послабление.

Поскольку мои сестры с братом рассуждали таким же образом, то результат из года в год регулярно повторялся: в новогодний вечер «парадная» сторона елки выглядела более чем скромно. Задняя же сторона была обшипана дочиста. Так же регулярно сердился отец, но умеренно, по-рождественски.

Неожиданно в комнате послышалось рыдание. Мы вздрогнули и повернули головы. Это Криста. Она впервые празднует рождество вдали от родного дома. На нее сразу навалились и радость и тоска...

— Ах, я такая несчастная! Ах, если б я была сейчас дома! Ах, госпожа советница, вы так добры... и ночные сорочки уж чересчур шикарны для меня!.. Если б я могла показать их моей матушке, хоть на пять минут! Ах, я совсем не заслужила всего этого! Нет, госпожа советница, нет! А остатки соуса на той неделе, что госпожа советница так искали, — это я доела. И два ломтика жареной телятины! Но больше ничего, истинная правда! Как же мне теперь надевать эту шикарную сорочку... О, какая я несчастная!

Рыдания стихли вдали — мама увела плачущую в другую комнату, более подходящую для исповеди.

Думаете, осмотр закончился? И теперь можно заняться играми, лакомствами, чтением? Нет. Начинается новая раздача подарков! Ведь у нас столько тетушек и дядюшек: все, что они наслали нам к рождеству, лежит под отцовским письменным столом еще нетронутое, аккуратно упакованное, в том виде, в каком принес почтальон. Мы окружаем отца, мама уже вернулась, служанки в кухне завершают приготовления к ужину, и на нас снова сыплются подарки, и каждый новый подарок — еще один праздник среди праздника.

Но происходит это не так быстро, отец любит делать все не спеша, соблюдая порядок. Взяв первый па-

кет, он объявляет: «От тети Гермины и дяди Петера», — и принимается тщательно развязывать бечевку. В нашем доме резать бечевку нельзя ни в коем случае, все аккуратно развязывается, независимо от множества кусочков и уродливых толстых узлов. Мы трепетно следим за отцовскими руками. Узелок никак не поддается. Но отец спокоен, чего не скажешь о нас. Снятую бечевку он искусно сматывает в некое фигурное изделие, которое мы называем «спасательным кругом».

— Эди, коробку для бечевки! — говорит отец, и брат тут же приносит ее. «Спасательный круг» занимает свое место рядом с ему подобными, готовый для дальнейшего использования. Методически разворачивается оберточная бумага, под ней виднеется картонная коробка — и она тоже перевязана!

Наше терпение готово лопнуть. Процесс развязывания и сматывания повторяется. Но вот с коробки снимается крышка, и на белой шелковой бумаге, скрывающей содержимое, лежит рождественское письмо.

Опять остановка; сначала читается письмо, потом уже разворачивается пакет. А некоторые письма очень длинные и столь же скучные — так, по крайней мере, считаем мы, дети.

Наконец и с этим покончено. Подарок извлекают и делают. Одни радуются, другие пытаются скрыть свое разочарование. Дядям и тетям бывает нелегко угадать наши желания. Те, кто давно не приезжал к нам, все еще считают нас младенцами, они понятия не имеют, как мы повзрослели и поумнели...

Пустую коробку ставят в сторону, подарки относят на столы, затем берется следующая посылка.

— От дяди Альберта! — объявляет отец.

Так повторяется десять — двенадцать раз, наше терпение подвергают суровому испытанию. Но, наверное, именно такой нарочитой замедленностью отец хочет добиться одного: мы должны научиться ждать. «Дети не должны быть алчными!» Это было основным правилом нашего воспитания. (Когда я слышал эту фразу, то часто думал: значит, взрослым можно быть алчными? Им хорошо!) «Не жадничай», — предупреждали меня сотни, тысячи раз в детстве.

Самой алчной из нас бесспорно была наша сестрица Фитэ. Устоять, например, перед чем-нибудь сладким — пирожным или тортом — было выше ее сил. Когда ма-

ма брала ее с собой куда-нибудь в гости, Фитэ все время алкала пирожного, а так как ей запрещали попрошайничать, то глаза ее умоляли столь красноречиво, что не могли не разжалобить любую хозяйку дома.

Доведенная до отчаяния мама решила, что пора примерно наказать дочь. Пора покончить с ее ненасытностью. Мама заранее договорилась с хозяйкой дома, где они с Фитэ должны были появиться, что девочка ни в коем случае не получит ни единого кусочка торта. Пусть поймет, что бывает и пост.

По дороге в гости Фитэ еще раз внушили, что нельзя попрошайничать и смотреть жадными глазами, что надо сидеть спокойно, и вообще вести себя как полагается.

Все шло чудесно, Фитэ торта не дали, и она не попрошайничала. Гости встали, пожелали хозяевам доброго здоровья и уже подошли к дверям, как вдруг Фитэ повернулась, подбежала к столу, запустила всю пятерню в торт и воскликнула:

— Прощай, тортик!

Это к вопросу о том, как отучать детей от жадности.

Наконец все посылки распаковали. На столах подарки уже не помещались, пришлось их ставить прямо на пол, и я с искренним облегчением вздохнул:

— Чересчур уж много всего!

Родители подумали то же самое и тоже вздохнули. Все оттого, что родня обширная и ей нравится делать подарки. Родители отнюдь не любили нас задаривать, они держались в определенных рамках. На каждого ребенка отец выделял сумму, которую мама при покупках не должна была превышать,— за этим отец строго следил.

Мелкий педантизм отца однажды испортил нам с Эди весь рождественский праздник. Получилось это так: увлекшись драматургией, я изъявил желание, чтобы мне подарили кукольный театр с декорацией «Волшебного стрелка». Еще задолго до рождества я придумал, как чудесно оформлю Волчье ущелье: луна будет светить как настоящая — я сделаю ее из прозрачной бумаги, а позади поставлю свечку; магнием для молний я уже запасся. Эди пожелал к рождеству оловянные фигурки персонажей «Робинзона Крузо».

Уже во время декламации стихов я разглядел выступавший просцениум кукольного театра, мое сердце

радостно забилося. Едва со стихами было покончено, я кинулся к «моему театру». Да, именно такого мне хотелось, именно с этой декорацией к Волчьему ущелью. Обомлев от восторга, я не сводил с нее глаз, она превзошла все мои ожидания!

Но тут за моей спиной раздался голос отца:

— Нет, Ханс, это не твой стол. Это стол Эди! Тебе — робинзоны. — И, увидев мое огорченное лицо, пояснил: — Видишь ли, Ханс, на прошлое рождество тебе досталось больше, чем Эди. Кукольный театр намного дороже оловянных фигурок, стало быть, его получит Эди...

И он увел меня от Волчьего ущелья к дурацкому Робинзону.

Как я уже сказал, праздник был полностью испорчен! Мы с братом не могли скрыть своего разочарования, да и не хотели, и вообще не притрагивались к подаркам. Тем усерднее я косился на столик Эди, а он на мой. Наш добрейший отец, заметив это, рассердился и начал нас бранить, сперва умеренно, а потом покрепче. Но никакие бранные слова не смогли поднять нашего настроения. Наконец нам просто скомандовали: перестать дуться и играть тем, что подарили. Мы выполнили приказ с таким вызывающим безразличием, что отец, пылая гневом, отправил нас спать. Порой он тоже терял терпение — а теперь и ему был испорчен праздник!

Впоследствии меня часто спрашивали, почему мы с братом после рождества просто не обменялись подарками. Тот, кто так спрашивал, не знал нашего отца. Именно потому, что мы в праздничный вечер ворчали и упрямылись, отец следил и проверял, чтобы его приказ исполнялся. Несмотря на свою доброту и терпеливость, он болезненно реагировал на всякое сопротивление, а когда встречал отказ от повиновения, то становился безжалостным. Послушание было для него принципом, который никому не дозволено расшатывать.

В подобных случаях он оставался глух ко всем просьбам мамы, которая чисто по-женски меньше думала о принципах, а житейски мудро исходила из данной ситуации. Для отца дело было очень просто: в прошлый раз я получил слишком много, значит, теперь мне следовало дать меньше, это и дураку ясно. К сожалению, ему не приходило в голову, что нам, детям, совер-

шенно безразлично, сколько денег стоил подарок. В глазах Эди дорогой кукольный театр не стоил и марки, зато робинзоновские фигурки ценились в сотни марок, если вообще можно выразить радость в деньгах...

Да, таковы были теневые стороны отцовской бережливости и педантизма. Правда, в столь резкой форме, как в этом случае, нам их больше ни разу не дали почувствовать. Вспоминаю еще, что между отцом и мамой иногда возникали мелкие разногласия по поводу расходов на домашнее хозяйство. Мама с годами научилась поистине артистически «изворачиваться». У отца был составлен годовой бюджет, в котором учитывалось все до последней мелочи, предусматривалось также ежемесячно откладывать определенную сумму из жалованья. Поэтому всякий дополнительный расход вынуждал его пересматривать смету, идти в банк, снимать какую-то сумму со сбережений, что, в общем, вызывало у него крайнее беспокойство. «Надо же что-то откладывать», — сетовал он.

Когда же мама отвечала ему, что в таком случае придется отказаться от приема гостей, он возражал: все, мол, образуется; там, где сыты шестеро, найдется кусок и для седьмого — положение, в истинности которого усомнится любая домашняя хозяйка.

Вероятно, вследствие этих скрупулезных вычислений у нас, детей, возник миф о том, что отец записал до пфеннига все расходы на каждого ребенка со дня его рождения и у того, на кого потратили больше, чем на других, излишек будет удержан из доли наследства. Мифическая книга счетов очень часто фигурировала в наших мыслях и разговорах. Но была от этого и польза: мы никогда не завидовали друг другу. Если, например, Фитэ, получив новое платье, хвасталась им перед Итценплиц, та пренебрежительно замечала:

— Все равно вычтут из твоего наследства!

На что Фитэ возражала:

— Ах, оставь! До этого еще так далеко!

Но тон ее был уже менее хвастливым.

И хотя мифической книги счетов, разумеется, никогда не существовало, мы, став уже взрослыми, все-таки продолжали еще чуточку в нее верить, а когда отец умер, даже не удержались от поисков. Отец же распорядился совсем наоборот: все мы унаследовали совершенно равные доли, без учета того, что получили «за-

ранее». Но мне думается все же: будь у отца на то время, он бы завел такую книгу. Он был вполне способен на это. И не для того, чтобы в конечном итоге удержать с нас «перерасходы», а справедливости ради. Никто из его детей не должен был и думать, что у него есть какие-то преимущества перед другими...

Но то испорченное рождество было единственным исключением из многих-многих, ничем не омраченных праздников.

После того как с распаковкой и раздачей подарков было покончено, всех звали к столу. Мы, дети, следовали этому зову без удовольствия, нам хотелось еще и еще играть в новые игрушки, а для утоления голода стоят блюда со всякой всячиной — хватай и ешь.

Естественно, такое самовольство не допускалось. С мудрой предусмотрительностью в рождественский сочельник всегда готовили селедочный салат (мама полагала, что кисло-соленая закуска перед сладостями для нас самое лучшее!). В конце концов мы с завидным аппетитом уписывали множество вкуснейших вещей, и застольному веселью не было границ. Все наперебой галдели о своих подарках, о том, что понравилось особенно, каждый спешил поделиться своей радостью с родителями.

Отца, конечно, одолели вопросами — что означали его загадки, решения моей я так и не смог найти на своем столе и вообразил, будто отец приберег для меня еще какой-то подарок.

— Это же так просто, Ханс, — сказал отец. — Твои оловянные солдаты угловатые, но деревянная коробка круглая. Она легкая, а солдаты тяжелые. Римские легионеры существовали тысячу лет назад, а у тебя они — сегодня... Вот видишь, Ханс, не так уж сложно было отгадать.

Теперь-то мне стало ясно.

А потом был долгий вечер, нам разрешили играть до десяти часов. Пока мы возились с подарками — Итценплиц, конечно, уже читала, словно была обязана проглотить за этот рождественский вечер все свои книги, — отец сидел у рояля и «пробовал» новые ноты, подаренные ему мамой. Мама навевалась в рождественскую комнату лишь урывками, ибо в кухне кипела работа. На завтра жарился рождественский гусь и вообще готовилось как можно больше впрок, ибо при-

слуге тоже надо было облегчить жизнь на ближайшие два дня.

Затем мы отправлялись спать. Брать с собой книги запрещалось, но можно было взять самую любимую игрушку и положить ее на стул возле кровати. А пробуждение на следующее утро! До чего же хорошо — проснуться с мыслью, что сегодня рождество! Три месяца говорили о нем, так долго ждали, мечтали, и вот оно наступило!

В ночной рубашке крадешься в рождественскую комнату, но как бы рано ты ни пришел, там непременно уже кто-то есть. И вот сидишь, поеживаясь от холода (топить начинают гораздо позднее), и с гордым сознанием владельца спокойно обозреваешь свои новые сокровища. При этом не забываешь, конечно, полакомиться со стола; ну а если уж совсем потерял стыд, то пролезаешь за елку, в тыл, и тем самым бережешь свои запасы...

С утра начинались визиты. К мальчикам приходили мальчики, к девочкам девочки, весь день не прекращалась толчея, шум и трескотня. Гости наносили визиты официально, с тем чтобы пожелать друг другу хороших праздников, а на самом деле разглядывали подарки, сравнивали, одобряли или порицали.

Бедному отцу некуда было приткнуться. Но он переносил это с кротостью и лишь изредка, урывками заглядывал в свои папки. Второй день рождества протекал уже менее безоблачно, ибо все утро надлежало писать благодарственные письма.

— Приступить к этому никогда не рано, — поучал нас отец. — Они же прислали вам посылки точно к рождеству, вот и вы так же своевременно поблагодарите их и поздравьте с наступающим Новым годом!

Писать благодарственные письма было невероятной мукой. В который уже раз мы убеждались, что полного счастья на земле не бывает; получить десять — двенадцать посылок очень приятно, но это обходится каждому из нас в десять — двенадцать писем! Я старался выводить буквы как можно крупнее. А кроме того, писал всей родне один и тот же текст, опасаясь, правда, что они это могут заметить. Мне почему-то казалось, что дяди и тети обмениваются между собой нашими драгоценными рукописями!

Счастливое у человека детство или печальное — не всегда зависит лишь от него одного. Здесь не всяк своего счастья кузнец. Многие могут добавить или отнять родители и окружение. У меня были все предпосылки для счастливейшего детства: самые любящие родители в мире, благодетельные сестры и брат; и если я все-таки получился сварливым, раздражительным мальчишкой, с тягой к уединению, то причина этого была только во мне. А мама с ее кротким и приветливым нравом, казалось, была создана для счастливого детства, однако оно получилось безрадостным, и не по вине мамы, — причиной тому был ее приемный отец!

Я уже рассказывал, что бабушке после смерти ее мужа пришлось разлучиться с моей мамой. Она попала к дяде Пфайферу, вдовцу, который прежде был женат на бабушкиной сестре. Другая сестра бабушки, оставшаяся незамужней, вела у вдовца хозяйство. Дядя Пфайфер — по-иному его у нас никогда не называли, я до сих пор не знаю его имени, — был человек неплохой, но подвержен настроению, а это почти то же, что плохо... Детей у него никогда не было, да он и не любил их, — а это уже похуже. Не один десяток лет он служил нотариусом и судебным советником в небольшом провинциальном городишке, знал всех и вся и, зная все тайны, держал всех в своей власти, — а это самое скверное!

В целом у меня сложилось впечатление, что дядя Пфайфер — я успел познакомиться с ним лично — был вовсе неплохим человеком. В сущности, он скорее был, пожалуй, мимозой, но всю свою жизнь питался кровью дракона, а вскормленная драконовой кровью мимоза — это нечто ужасное! Он всегда чувствовал себя обиженным и не понимал, что другие тоже могут обижаться. Он вмешивался в чужие дела, однако не терпел ни малейшего вмешательства в свои собственные. Все лучшее было у него, он знал все, а у других не было ничего, они ничего не знали и ничего не умели! Он любил подшучивать над другими, и порой довольно грубо, но малейшую шутку в свой адрес воспринимал без всякого чувства юмора. Он помнил зло годами, однако презирал тех, кто не мог сразу же простить и забыть. Итальянцев он считал вырождающимся народом, потому что

они ели помидоры, и к тому же сырые! По его мнению, единственно приличной обувью для мужчин были штиблеты с резиновой встечкой,— короче говоря, он целый век не вылезал из своей глухой провинциальной дыры. Он был пупом земли, притом пупом, который, увы, частенько воспалялся. И как уже сказано — мимозой, питающейся кровью дракона,— лучшего сравнения я не нахожу.

А вдобавок он стал приемным отцом моей мамы. Напуганную, измученную восьмилетнюю девочку, еще не опомнившуюся после смерти отца и разлуки с матерью, сестрами и братьями, дядя Пфайфер взял за руку и повел через весь город в женскую гимназию фрейлейн Миттенцвай. Он вошел с ней во время урока в переполненный класс и сказал:

— Вот вам ковылялочка!

Потом он ушел, держась за живот от смеха. Моя мама, конечно, не засмеялась, а заплакала, ибо весь класс встретил ее шумом и гамом! Прозвище сразу прилипло к новенькой, еще многие годы ей часто приходилось выслушивать пренебрежительное:

— Эх ты, ковылялочка!

Дядя направился не то к себе в контору, не то домой и, довольный своей удачной шуткой, тут же решил пошутить еще раз. Остановив на улице знакомую пожилую фрейлейн, он прошептал ей:

— Фрейлейн Кирхгоф, эта жакетка, что на вас, краденая! Я узнал ее! Чтобы через десять минут она была у меня в конторе!

И удалился, трясясь от смеха. По дороге дядя придумал себе новое развлечение — вслед каждой молодой женщине он тихо говорил: «Фрейлейн, у вас сверкает!» — чем вызывал легкий вскрик. Ибо дамы в то время носили еще длинные юбки, которые застегивались сзади. Если кнопки не были аккуратно застегнуты или же сами по себе расстегнулись, то в соответственном месте «сверкала» белая нижняя юбка.

Не доходя до своей конторы, дядя заглянул в винный магазин и заказал на счет господина муниципального советника Бёзике, к которому был приглашен вечером, двадцать бутылок лучшего бургундского. Герр Бёзике славился тем, что угощал своих гостей третьесортными винами, поэтому дядя предположил, что муниципальный советник будет благодарен ему за намек

на способность гостей оценить и кое-что получше. Однако тут дядя ошибся...

Затем господин нотариус скрылся в своей конторе и принялся тиранить клиентов: им надлежало делать только то, что хотелось ему, иначе он вел их процессы плохо. И он сердился на клиентов, если те не слушались его, сердился на судей, если они выносили не то решение, что он ожидал, сердился на тетю, если на обед подавали мясо, а он предвкушал рыбу (пусть в тот день во всем городе не было рыбы, но его это не касалось, он все равно сердился!). А на маму он вообще сердился всегда...

Но удивительно, что при всем том этот человек был, в сущности, добр, только болезненно обидчив. Дядя искренне привязался к моей маме, делал для нее все, что можно сделать для ребенка, — естественно, по своему разумению! — но он был кошмаром ее детства, он превратил ее жизнь в ад. Мама вечно боялась его, она никогда не знала, что дяде понравится, а что — нет (он и сам этого не знал!). Ее маленькое сердечко жаждало ласки, девочка тосковала по своей милой матушке, по сестрам и братьям, но то, что она тосковала, что ей хотелось домой — это же опять оскорбление! Дядя и его дом были в сто раз лучше, чем жалкий «свекольный бурт» в Целле, в котором обитала бабушка, — о чем тут тосковать!

Была попытка общаться с подружками, но и ее вскоре пресекли.

Мама сказала:

— Дядя, меня сегодня позвала к себе Густхен Фрёбель. Можно, я пойду в гости без фартука? Все девочки будут без фартуков!

На что дядя ответил:

— Милое дитя, я бы охотно разрешил тебе, но это было бы против моего принципа. Моя мать всегда носила фартук... и вообще — к чему эти хождения по гостям?! Ведь приглашать в мой дом детей я тебе не позволю. Хватает шума от тебя одной, разбитых вещей тоже... и вообще у нас дома лучше всего!

Конечно, мама могла бы снять фартук у Фрёбелей, но вряд ли бы осмелилась. В городишке все становилось известным, а кроме того, дядя вполне был способен внезапно появиться в роли ревизора в детском обществе! Таким образом, мама все реже и реже ходила

в гости, а после того, как с ней приключилась большая беда, всякие игры и встречи с подружками и вовсе прекратились.

Случилось это так: в классе мама была первой по всем предметам, но вот с гимнастикой у нее ничего не получалось. Ее соученицы прекрасно это знали, и когда однажды во время игры в фанты на детской вечеринке пришла очередь «водить» маме, то подружки поставили на стол стул, на стул скамеечку, а маме велели взобраться на эту пирамиду и прочитать оттуда стихотворение.

Со страхом и трепетом мама карабкалась вверх, она чувствовала, что дело кончится плохо, но могла ли она отказаться?! Ну вот и все!.. Мама вместе с «башней» рухнула на большое зеркало, которое, естественно, разлетелось на кусочки. Она поранила себе лицо, дети в ужасе закричали, сбежались взрослые и подняли бедняжку. Тут выяснилось, что самая опасная рана не на лице, а на руке — у мамы была повреждена артерия.

Руку кое-как перевязали и побежали за врачом. Все дрожали, правда, не столько за жизнь моей мамы, сколько в ожидании гнева советника юстиции Пфайфера. Врача — единственного в городишке — дома не оказалось, он уехал в деревню к роженице и должен был вернуться очень поздно. Поскольку дело не терпело отлагательства, разыскали бравого асессора, которому доводилось видеть, как зашивают резаные раны после студенческих дуэлей на рапирах, да и сам он испытал это на собственной шкуре. Ассессор зашил мамину рану обычной швейной иглой с обычной ниткой — какая там асептика! Естественно, все швы нагноились, и маме пришлось немало помучиться!

Но это было еще не самое скверное. Хуже всего оказался дядя, который в наказание, — ну в чем же несчастная провинилась? — перестал с мамой разговаривать и молчал целых три месяца, минута в минуту. Как он рассчитался с хозяевами дома, где пострадала мама, и с тем асессором, что столь необдуманно пришел ей на помощь, мне — слава богу! — неизвестно! Но рассчитался он с ними наверняка!

Вот так мама и жила одна-одинешенька в большом доме у двух старых людей. К счастью, за домом имелся сад, и хотя сад этот был весьма «укрошенным», где не разрешалось ни рвать цветов, ни сходить с дорожки, все же он был какой-то отдушиной, там дышалось при-

вольнее. Мама долго упрашивала тетю купить скакалку и получила ее, выслушав, правда, немало возражений насчет «приличия» и «дикости» подобной затеи. Скакалка была единственной радостью для мамы, но однажды она исчезла — то ли потерялась, то ли ее куда-то задевали!

После бесконечных, но тщетных поисков маме стало страшно: дядя или тетя наверняка спросят ее о скакалке, и если придется признаться, что она ее потеряла, то последствия будут ужасными! И хотя маме не разрешалось иметь денег, она припрятала монетку, которую ей однажды подарил врач за то, что она мужественно держалась, когда ей рвали зуб. Поборов тяжкие сомнения, мама настолько расхрабрилась, что решила купить новую скакалку. Тайком она выбралась из сада в городок, что было, разумеется, строжайше запрещено, пошла в магазин и попросила скакалку.

Однако тут возникло новое затруднение. Скакалки были, но только с красными ручками, а та, что мама потеряла, была с зелеными! Мама долго колебалась, но в конце концов рассудила: уж лучше с красными, чем никакая, и купила скакалку. Пользовалась она ею осторожно — уходила от дома на такое расстояние, чтобы с веранды видели, что она прыгает, а какие у скакалки ручки — не разглядишь!

И вот тогда-то случилось самое ужасное: мама нашла свою старую скакалку с зелеными ручками! Что же теперь делать? Как объяснить, грозному дяде наличие двух скакалок? Мама прятала и перепрятывала веревку с красными ручками, но ни один тайник не казался ей надежным. Наконец она решила избавиться от предательской скакалки и уничтожить эту свидетельницу своего позорного поступка, вернее, утопить!

Снова мама ускользнула из дому и, когда никого не было поблизости, бросила скакалку в Хельду, речушку, которая пробиралась через городок. Но вот беда! Скакалка не пошла ко дну, она плавала! Если ее выловят, если станут искать владельца, если полицейский придет к дяде (у дяди вечно какие-то дела с полицейскими!)... ведь как только дядя услышит о скакалке, он тут же позовет ее владелицу и она выдаст себя первым же словом! Мама от страха потеряла сон.

Возможно, кому-то из читателей мамин поступок покажется на первый взгляд глупым, — ну как можно не

знать, что сделанная из пеньки и дерева скакалка не потонет! — но, с другой стороны, то, что мама, решив похоронить скакалку, подумала прежде всего о Хельде, свидетельствует и о ее сообразительности. Дело в том, что на упомянутую Хельду маме указали раньше, причем настоятельно, и она уже не раз пользовалась услугами этой речушки.

Многое в доме Пфайфера было ненавистно маме, но больше всего то, что каждое утро ей давали с собой в школу старую черствую булочку. По каким-то соображениям, совершенно мне непонятым, это считалось самой здоровой пищей — не для взрослых, естественно. Полагаю, что дядя Пфайфер завтракал кое-чем получше. Мама видеть не могла эти зачерствевшие, жесткие, как подметка, булочки. В школе она не решалась от них избавиться, поэтому всякий раз приносила булочку обратно домой и прятала на платяной шкаф. Каждый день туда добавлялась новая булочка, так что со временем их набралось довольно много. Тетя, которая, конечно, обнаружила их однажды, пришла в ужас от подобной скрытности и непослушания!

После обстоятельного консилиума эти сухари, размоченные в молоке, решили давать маме вместо ужина, что опять же было признано чрезвычайно полезным для здоровья, но симпатии у мамы к булочкам не вызвало. Каждый вечер она в слезах сидела перед голубой мисочкой, в которой были размочены сухари, давилась и глотала, не смея встать, пока не съест всё.

Лишь одна мысль утешала маму: когда-то булочки должны кончиться. Но это было, конечно, ошибкой, — ведь утренняя-то булочка оставалась постоянно... Вечерние «упражнения» не пробудили у мамы аппетита к к этой пище, она не хотела их есть ни в сухом, ни в размоченном виде, и продолжала носить булочки обратно домой. Поскольку платяной шкаф больше не годился, она подыскала новый, более надежный тайник: пустовавший ящик комода в гостиной.

Но в один прекрасный день ящик этот понадобился, склад булочек был обнаружен, и возмущению столь упорным непослушанием не было предела! Нескончаемая череда голубых мисочек ожидала маму, вечерние трапезы вызывали только отчаяние, а отвращение к утренним булочкам было непреодолимо. Собственными силами мама никогда бы не выбралась из этого мучитель-

ного положения, ее слишком уж запугали. Но здесь пора сказать, что в дядюшкином доме обитало одно старое угрюмое существо, почти бессловесное, которое с незапамятных времен убирало комнаты, кухарничало, с невозмутимым деревянным лицом выслушивало все капризы дяди и вообще, кажется, было еще более суровым изданием нашей старой Минны.

Однажды даже этой очерствевшей старой деве стало жалко смотреть на маму, она открыла наконец рот и сказала:

— Слышь-ка, Ловизочка, слышь! Когда ты в школу идешь, тебе ж надо через речку переходить... И ежели ты чего есть не можешь, то глянь через перила, глянь... В Хельде — оно верней будет, чем на платяном шкафе или в комодке.

И хотя это прорицание звучало несколько туманно (как, впрочем, подобает делать всем хорошим оракулам), тем не менее мама поняла совет, и отныне черствых утренних булочек больше не существовало. А когда позднее, как сообщалось выше, потребовалось избавиться от скакалки с «не теми» ручками, место для погребения уже было известно.

Мама вспоминает, что за все ее детские годы деньги, притом солидная сумма в пять пфеннигов, были у нее еще только один раз; наверное, они появились после каникулярной поездки в «свекольный бурт». С утра до вечера ее занимала мысль, куда вложить этот капитал; то, что от него надо быстрее избавиться, было ясно. Если бы у нее обнаружили деньги, последовала бы не только расправа над ней, но и строгое письмо матушке, а этого ни в коем случае нельзя было допускать!

После долгих колебаний мама решилась на пирожное-трубочку со взбитыми сливками, которую в те добрые времена еще можно было приобрести за пять пфеннигов. Едва решение было принято, как маме нестерпимо захотелось пирожного. Она мигом слетала к кондитеру, купила трубочку, вернулась в сад, спряталась за кустами крыжовника и съела пирожное.

Понравилось ли оно ей, мама уже не помнит, но зато очень хорошо помнит, как несколько недель подряд она пребывала в постоянном страхе, что ее бесчестный поступок станет известен. Она поступила очень необдуманно, купив пирожное в «фамильной» кондитер-

ской, и теперь, когда, гуляя с дядей и тетей, они проходили мимо этой лавки, а ее хозяин почтительно здоровался и порой обменивался двумя-тремя словами со всемогущим советником юстиции, то она всякий раз ждала, что с уст кондитера слетит вопрос:

— Ну как, Ловизочка, понравилось тебе мое пирожное?

Эти прогулки с дядей и тетей были каким-то кошмаром. Обычно дядя шел впереди; будучи небольшого роста и довольно полной комплекции, он шагал не спеша. На лацкане сюртука он всегда носил защипку, которой закреплял на груди свою панаму, как только оставались позади последние городские дома. У дяди была львиная голова — сильно потевшая! — с могучей седой гривой. Зычным голосом он заговаривал чуть ли не с каждым встречным и что-нибудь изрекал — чаще всего не очень приятное.

За дядей следовали обе его спутницы. Когда процессия приближалась к небольшой местной купальне, дядя, страдавший близорукостью, спрашивал, не обращая внимания на посторонних:

— Луиза, кто купается — мужички или бабенки?

— Мужчины, дядя Пфайфер! — отвечала мама.

— Тогда смотреть налево! — командовал дядя и тщательно следил, чтобы его приказ выполнялся.

Иногда дядю одолевало желание понаблюдать, «прилично» ли ходят его спутницы, и он пристраивался в арьергарде. При этом всякий раз доставалось и тете — то она слишком пылит, то у нее плохо расправлена шаль, — но главным образом нотации читались маме:

— Луиза, держись прямее!.. Луиза, не размахивай так руками!.. Луиза, смотри под ноги, ты только что споткнулась о камень!

И все это без устали, громогласнейше, ничуть не заботясь, что его слышат посторонние. Такие прогулки были настоящим прохождением сквозь строй. Встречные горожане, завидев местного тирана при исполнении своих владыческих прав, начинали ухмыляться еще издали, но вскоре мрачнели, так как он не упускал случая сказать каждому мимоходом какую-нибудь колкость.

По мнению дяди, у мамы была роковая склонность ставить при ходьбе правую ступню несколько вовнутрь.

— Ты опять косолапишь правой ногой, Луиза! — возмущался дядя. — Я тебе уже сто раз говорил... Ну, погоди же...

И дядя принимался громко распевать на мотив собственного сочинения:

— Некая персо-на косолапит пра-вой ногой! Некая персо-на косолапит пра-вой ногой!

Дальше у него не получалось, но с мамы вполне хватало и этого. Порой она просто не знала, как надо идти, каждое ее движение было неправильным: в такие минуты ей больше всего хотелось сесть на землю и не двигаться. Но самое ужасное было, когда дядя, шагая рядом с мамой, начинал расписывать, как ей в ближайшее время будут оперировать правую ступню. Он не опускал ни одной кровавой подробности, говорил о том, как станут перепиливать кость, сшивать разрез (у мамы уже был опыт!), упоминал всякие ножи и так далее.

Наконец они добирались до загородного кафе «Рыбачья хижина». Маму усаживали на стул, и она, как благовоспитанная девочка, шила, вышивала или вязала; а в это время ее школьные подруги тут же, поблизости, играли и веселились, изредка поглядывая с сочувствием и насмешкой на маленькую «ковылялочку». В эти горькие часы мама, наверное, думала: «Почему им так хорошо, а мне нет? Почему им разрешают делать все, а мне ничего?» Вопросы, на которые она, конечно, не находила ответа. И в том, что мама после такого детства не ожесточилась, а сохранила мягкий, приветливый нрав и даже не утратила жизнерадостности, уж в этом никакой заслуги дяди определенно нет.

На следующий день в школе маме порядком доставалось от одноклассниц за ее «образцовость». Дети ведь жестоки, они не понимали, что маме велено быть такой, что она охотно вела бы себя иначе. В школе мама ни с кем не дружила, ей и не разрешали этого, не велел дядя. Мама была обязана всегда быть первой ученицей в классе, так велел дядя. И когда однажды маму «спустили» на четвертое место за то, что она один-единственный раз засмеялась во время занятий, для дяди, казалось, наступил конец света, — во всяком случае, он так себя повел.

Поскольку мама часто болела и отсутствовала на уроках, ей было вовсе не легко постоянно удерживать за собой это первое место. Конечно, пропущенное она могла наверстать по учебникам, но если взять, к примеру, закон божий... его в заведении фрейлейн Мит-

тенцвай для девиц из высших сословий преподавали несколько странно. Если ученица могла без запинки и передышки пересказать книги Ветхого и Нового завета с начала до конца и с конца до начала, считалось, что она обладает необходимым багажом знаний по этому предмету. Кроме того, надлежало знать назубок колена Израилевы, четырех больших и малых пророков, а также двенадцать сынов Иакова и двенадцать учеников Христа.

Фрейлейн Миттенцвай была очень строгой, особенно часто она инспектировала уроки закона божьего и «гоняла» по пяти главным частям как учениц, так и учительниц. И тех и других она безжалостно отчитывала за малейшую запинку. Было у фрейлейн Миттенцвай и свое особое «блюдо»: придумав несколько групп вопросов с нужными ответами, она вдалбливала их ученицам и время от времени спрашивала в определенной последовательности. Выучить их дома мама не могла, ибо они являлись оригинальным творением фрейлейн Миттенцвай и нигде не были записаны. Придя однажды после болезни в школу, мама услышала очередную игру в вопросы-ответы:

— Каких животных и птиц не велел есть господь бог?

— Нечистых!

— Каких птиц, например, бог велел гнушаться?

— Лебедя, пеликана и сипа.

Мама очень удивилась тому, что лебедь — птица нечистая, однако спросить не решилась, и когда подошла ее очередь, она, чуть помедлив, ответила также:

— Пеликана, сипа и... лебедя.

Фрейлейн Миттенцвай удовлетворенно кивнула.

Мама долго раздумывала по поводу бедного лебедя. Ей казалось, что тут какая-то ошибка, не могли же дикие лебеди из сказки Андерсена быть нечистыми, ведь они благородные птицы, только заколдованные. Так и не придя к ясному решению, мама подумала, что в конце концов яблоко и голубь тоже играют весьма загадочную роль в законе божьем. Лишь гораздо позже мама узнала, что понятие «нечистый» не всегда означает то же самое, что «черный» или «немытый».

Да, мама много хворала, и чаще всего у нее болело горло. Врача по столь пустячному поводу не вызывали. Существовало испытанное домашнее средство: к горлу

привязывали кусок сала и держали до тех пор, пока боль не проходила. Тем временем сало начинало попахивать, но его, однако, не снимали! Несколько дней такого компресса — и больную нельзя было пускать в школу из-за одного только запаха.

Потом тетю вдруг осенило, что мама надевает слишком легкое нижнее белье (посмотрела бы тетя на белье нынешних молодых дам!). Немедленно приобрели толстые фланелевые панталоны с красной вязаной каемкой, маме они были ниже колен. Полагаю, что данное событие произошло в ту пору, когда мама уже пообвыклась в доме дяди Пфайфера, иначе я никак не могу объяснить дерзости ее поведения. Дело в том, что каждое утро мама забегала в какой-то сарай, стоявший по дороге в школу, и снимала там свои «колючки». А дядя с тетей изумлялись, почему их воспитанница, нося такие красивые, теплые фланелевые штаны, стала простуживаться еще чаще!

Наконец все же вызвали врача. Он признал маму малокровной и прописал ей железо, рыбий жир и солевые ванны. Принимать железистый препарат еще куда ни шло — его как-то смешивали с красным вином, да и сам он по вкусу не был противным. Но рыбий жир... Мама должна была пить его трижды в день по три чайных ложки. Дядю Пфайфера, разумеется, возмущало, что мама принимала столь дорогое лекарство без восторга и что после каждой ложки ее даже передергивало. Чтобы отучить маму от содроганий, дядя заставлял ее после каждой ложки трижды пробегать вокруг обеденного стола! Ей приходилось это делать, даже когда за столом сидели гости, более того, дядя специально приводил зрителей, дабы продемонстрировать им, как его воспитанница пьет рыбий жир!

Но хуже всего обстояло с солевыми ваннами. В доме имелась ванная комната, но ею никогда не пользовались, это было холодное, сырое помещение, заваленное старым хламом. Облицованная плитками ванна была вделана в пол, теплую воду носили из кухни. Теплой воды всегда не хватало, к тому же она быстро остывала в этой гробнице. В ванне полагалось пробыть четверть часа, мама начинала синеть, едва окунувшись; казалось, что у нее не только зубы, но и все кости стучат! Но ведь солевые ванны очень полезны, так сказал сам доктор! Утешало маму лишь то, что сразу после ванны ее

укладывали в постель и давали бутерброды, которых обычно она и в глаза не видела!

Шли годы, маме тем временем уже стукнуло восемнадцать, а в жизни ее, казалось, так ничего и не переменится. Но тут в их городок на должность амтсгерихтсрата назначили отца, ему было тридцать шесть лет, но он все еще ходил в холостяках. Они познакомились и поженились, получив на то явное одобрение дяди Пфайфера. Потому что отец был «партией» и мама была «партией», ну, а если «партия» подходила к «партии», значит, все в наилучшем порядке.

И на самом деле все оказалось в наилучшем порядке: отец взял маму за руку и вывел из тупика на простор. Ее, которая не смела быть собой, не смела иметь что-либо свое, которая существовала только для других, ее он учил человеческому достоинству. Отец никогда не капризничал, редко проявлял нетерпение. Поначалу у мамы совершенно не ладилось с домашним хозяйством, она ничего не могла делать самостоятельно, не решалась и слова сказать прислуге...

Но отец вселял в нее мужество, помогал ей, утешал, хвалил ее, улыбался над неудачами, но не осуждал... Он сделал человека из той, которая почти превратилась в автомат...

Сейчас маме за восемьдесят, а отец давно умер. Но когда речь заходит об отце, мама говорит:

— Всем, что есть во мне, что я сумела сделать для вас, детей, я обязана отцу. Думаю, что такого человека, как отец, больше никогда не будет...

Я тоже часто так думаю.

СТРАНСТВУЮЩИЙ ШКОЛЯР

Однажды в школьные годы мне довелось путешествовать во время каникул без родителей, брата и сестер: вместе с другими «странствующими школярами» я отправился в прекрасную Голландию...

Теперь мало кто знает, что означало тогда, на рубеже столетий, понятие «странствующий школяр». Означало же оно организацию юных, единение восставших против старых нравов, мещанства, кастовости и лицемерия. Этого не было записано в уставе общества, гласившем лишь, что «Странствующие школяры» занимаются

туристскими походами, но такова была идея, заложенная в «странствиях».

Здесь царил вольный дух и беспечность. Чем несуразнее была одежда, чем грубее нравы, тем лучше! Там насмехались над прогулками, отправлялись в дальние поездки, презирали иностранные слова, табак, алкоголь, флирт, возрождая дух бродячих школяров! Как и те, в путь отправлялись с мандолиной и «бренчалкой», то есть гитарэй. Вновь открывали бесконечное богатство народных песен, вечерами, прежде чем улечься на сеновал, играли и пели крестьянам. На постоянные дворы не ходили, ночевали только в сараях или в ригах, а на закате прыгали через костры — ведь среди членов общества были и девушки. Правда, самые бывалые «Странствующие школяры» взирали на них скептически и никогда не брали с собой в дальние походы, но для пения, стряпни и штопания носков они кое-когда вполне годились.

Быть неприятным в то изнеженное время считалось достоинством. Теплое нижнее белье презиралось, даже зимой ходили с голыми коленками и варили еду, то есть «жратву», на костре в больших котлах.

Само собой разумеется, многие родители и большинство учителей обрушились на молодое общество, обвиняя его в том, что оно приучает детей к грубости, безнравственности и распутству. Во многих учебных заведениях учащимся запретили вступать в общество. Но это не помогло. «Странствующие школяры» неудержимо ширились, и запреты пришлось отменить, тем более что ничего дурного в деяниях общества доказать не удалось.

Конечно, многие не знали меры. Как самые неуклюжие башмаки, самая невообразимая одежда, самые грубые выражения, так и многие поступки, казалось, недостаточно подрывали старые устои. Однако все это было лишь реакцией молодости на старое, косное, преграждавшее ей доступ к любому свежему веянию, а при любой реакции поначалу всегда перегибают палку. Вскоре появилась такая чудесная вещь, как песенник «Цупфгайгенхансль», в ту пору еще совсем тоненькая книжица, которая вновь открыла почти забытые народные песни.

Почему именно я, болезненный мальчик, непривычный к суровой походной жизни, решил вступить в обще-

ство «Странствующих школяров», сейчас уже не помню, скорее всего какой-нибудь одноклассник прихватил меня на воскресную вылазку. Мне, вероятно, понравилось, я отправился в другой поход, в третий, а потом меня приняли в члены общества. Поразительнее всего то, что это понравилось мне, который, как никто другой, был «изнежен» частыми простудами. К тому же застенчив и крайне чувствителен ко всякому шуму: во мне определенно не бродили ни лихость, ни безрассудство. И у меня не сложилось дружеских отношений с настоящими, бывалыми «бродягами». Просто так ходил с ними, и все. Почему-то, сейчас уже не помню, меня прозвали «Бородой», наверное, потому, что на нее и намек не было.

Но то, что родители разрешили мне стать «странствующим школяром», удивляет меня и по сей день. Ведь я вступил в общество, когда оно было еще крохотным и подвергалось нападкам со всех сторон. Вероятно, отец с мамой и не подозревали о подстерегавших меня опасностях, а я избегал распространяться о деталях нашего времяпрепровождения. Обычно по воскресеньям, а в отдельных случаях — с субботнего утра до следующего вечера я отправлялся в поход, что, по маминым понятиям, означало всего лишь «прогулку». Мама спрашивала: «В воскресенье ты опять пойдешь гулять, мальчик?» Подобная формулировка хотя и вызывала у меня глубокое возмущение, однако звучала вполне успокаивающе.

Кроме меня, в нашем классе был еще только один «странствующий школяр» по фамилии Брумбах, а по прозвищу «Пич». Если я учился все же более или менее сносно, то Пич был самым плохим учеником. Одноклассники смотрели на нас обоих с презрением и жалостью, называли нас «дикарями», однако учителям не выдавали.

Но между воскресным походом и пятидневным каникулярным путешествием, да еще за границу, разница большая, и мои родители крепко призадумались, когда я первый раз выложил им свою просьбу. В этом отношении я всегда отличался назойливостью; если мне чего-нибудь хотелось — хорошего или дурного, — я старался добиться своего не мытьем, так катаньем. Родителям я живо изобразил, сколь дешево я им обойдусь, а дешевизна поездки не вызывала сомнений, так как нам

сказали, что на железнодорожные билеты за все пять недель придется потратить только восемнадцать марок. Даже по тем «золотым временам» это представлялось почти невозможным. (Так оно, впрочем, и оказалось.) Именно дешевизна поездки и внушила маме опасения, она уже вообразила, как меня доставят домой умирающим от голода. Наконец я донял родителей настолько, что они пригласили «командира» голландской экспедиции к нам домой.

Сей «командир», как и большинство руководителей «Странствующих школяров», был студентом лет двадцати. Мне в мои тринадцать-четырнадцать лет такой возраст представлялся, естественно, очень зрелым, родители же были несколько другого мнения. Но герр Шарф, которого мы, переведя его фамилию на латынь, называли не иначе как Ацер¹, произвел на моих родителей наилучшее впечатление своим необычайно свежим видом и белокурой растительностью. Маме он дал самые успокоительные разъяснения насчет нашего питания, равно как сумел развеять отцовскую тревогу в отношении финансов.

После трехдневных размышлений отец дал согласие, мы с Пичем, который тоже ехал, кинулись к Ацеру, и я вручил ему свой взнос в сумме восемнадцати марок. Какие чувства испытывали родители, провожая меня в то раннее утро, я не знаю. С туго набитым рюкзаком и пристегнутой плащ-палаткой за плечами мне было не до родительских переживаний, мой путь лежал в Голландию! Рюкзак весил лишь в половину меньше меня, под его тяжестью я качался, как былинка на ветру. Но так повелевал «цеховой устав», а выглядеть «по уставу» было мечтой «странствующих школяров».

В мои намерения не входит подробное описание той голландской поездки. По причинам, о которых я расскажу в конце главы, эта поездка словно покрылась туманом лихорадки, а многое я просто забыл. Но некоторые картины довольно отчетливо стоят у меня перед глазами и, мне кажется, заслуживают того, чтобы о них рассказать.

Так, на пятый или шестой день пути Ацер собрал нас вокруг себя и сообщил о поразительном откры-

¹ Scharf (нем.), acer (лат.) — острый.

тии: все дорожные финансы кончились! Не было больше денег ни на жизнь в ближайшие четыре недели, ни на обратную дорогу! Наш руководитель взялся за свою задачу с оптимизмом, граничившим с легкомыслием! Уже проезд по железной дороге до Эссена съел половину наличности; в первые дни, пока все еще только утрясалось, мы особенно не экономили, и вот результат — банкротство. Встал серьезнейший вопрос: что делать?

Если я только что сказал, что руководитель собрал нас вокруг себя, то прошу не понимать это буквально. На дворе была поздняя ночь и тьма. По черепичной крыше деревенского сарая, где мы лежали, хлестал сильный дождь. Сарай этот принадлежал голландскому крестьянину, ибо днем мы уже перешли границу. И вообще, не каждому охота ругаться, когда вокруг темно, все зарылись в теплую солому, а над самой головой барабанит дождь. Целый день мы топали под дождем, и только теперь, впервые за пятнадцать часов, немного отдохнули и согрелись. Поэтому сообщение, что мы остались совершенно без денег, могло нас, конечно, озадачить, но отнюдь не сразить наповал.

Характерно также, что ни один из нас и не думал упрекать нашего замечательного Ацера за его слабость в арифметике. Значит, такова судьба, что кончились деньги, чего там зря болтать. Никому не пришла в голову мысль и о том, чтобы возвращаться домой. Об этом и думать было нечего уже только потому, что у нас не было денег на обратный путь. Хотя железная дорога принимает любую отправленную на бойню овцу без уплаты путевых расходов, взимая их потом с получателя, переправлять нас наложенным платежом любимым родителям она бы наверняка отказалась.

Итак, обсуждению подлежал лишь один вопрос: как без денег продолжать путешествие точно по плану, — ведь надо не только на что-то жить, но и заработать на обратную дорогу. Вопрос был очень мудреный, ибо работа у крестьян на уборке урожая исключалась, потому что мы должны путешествовать, а не торчать на одном месте. Правда, у каждого из нас было припрятано немного личных денег, но предусмотрительный Ацер, дабы пресечь возможное мотовство, ограничил эту сумму пятью марками на человека. Те же, кто по

своим соображениям или благодаря заботливости родителей захватили с собою больше, не спешили в том признаться. Но если даже мы сложили бы все личные деньги в общий котел, их едва хватило бы на неделю.

Я был одним из самых младших среди четырнадцати участников этого собрания, а поскольку и у лишенных предрассудков «странствующих школяров» старший по возрасту имеет естественное преимущество перед младшим, то я держал язык за зубами и слушал, как спорят старшие. Спорили долго. Особенно драли глотку Клоп и Младенец, но ничего путного так и не предложили. После часовых дебатов пришли к тому, с чего и начали: путешествие надо продолжать, но на какие...? Кое-кого уже сморил сон, и они мирно похрапывали в соломе, убаюканные надеждой — коль будет день, будет и пища. Мне не давали уснуть стертые до крови ноги.

Разговор постепенно заглох. Наверно, нашего руководителя, белокурого весельчака Ацера, все же начали понемногу одолевать сомнения, как прокормить в ближайшее время доверенных ему тринадцать странников и доставить их домой целыми и невредимыми. Да, одним весельем в жизни всего не добьешься. Неожиданно в тишине забренчали струны, и чей-то голос под звуки гитары запел чудесную старинную песню:

Итак, прощай-прости!
Счастливого пути,
Спокойной ночи!
Весной пестреть лугам,
Зимой белеть снегам,
А мне — вернуться.

Не знаю, решил ли певец поиздеваться над крушением всех надежд или же искренне желал нам спокойной ночи. Во всяком случае, во время его пения меня осенила идея, и, дождавшись, когда он умолк, я тихо сказал:

— Слушай, Ацер, я кое-что придумал!

— Кто это? Ты, Борода? Ну-ка, слушайте все, Борода что-то придумал!

Вокруг зашуршала солома, и Младенец, который меня терпеть не мог и довольно ясно дал мне это понять в первый же день поездки, сказал с издевкой:

— Ребята, спите спокойно! Оказывается, Борода что-то придумал, но то, что он придумал, мы узнаем и во сне!

Я собрал все свое мужество, ибо выступить на Совете Старейшин было с моей стороны дерзостью.

— Я подумал, Ацер... что, если мы попробуем давать концерты? Конечно, не настоящие концерты, а вот по утрам или особенно вечером в деревнях и в маленьких городках,— мы ведь можем что-нибудь сыграть и спеть? Вот сегодня, например, мы же не просили, а нам дали хлеба и колбасы, а вчера разрешили брать капусту сколько хочется...

— Поглядите на этого обжору! — снова заехидничал Младенец (самый толстый среди нас, он был похож на младенца-великана, чем и заслужил свое прозвище).— Учти, Борода, жратва — это еще не все, нам нужны деньги, денежки, деньжонки, гроши, монета, звонкая и бумажная,— выбирай, что тебе понятнее.

— Без тебя знаю! — сказал я.— Но ведь пока еще мы и не просили. А если после концерта пойти с тарелкой по кругу...

— С тарелкой! Мы же не бременские музыканты!

— Ну хотя бы со шляпой. Ведь собирается столько народу, кто-нибудь и даст.

Наступило долгое задумчивое молчание. Потом снова забренчала гитара и голос запел:

За стаей птичья стая
Летит на дальний юг...
Вновь, шляпы ввысь взметая,
Мы встали в полукруг.
Да, господа студенты,
Нам снова — в дальний край,
И наши инструменты
Поют: «Прости-прощай!»
Проща-ай! Про-о-ща-ай!..

Еще раз протяжное: «Проща-ай!» И сразу же быстро, торжествующе издеваясь над бургером, сидящим дома на печной лавке:

Beatus ille homo
Qui sedet in sua domo
Et sedet post fornacem
Et habet bonam pacem!¹

¹ Лучше сидеть дома,
Кости греть у печки.
Ни дождя, ни бурелома,
Ни холодной речки! (лат.)

В конце концов мы все дружно подхватываем эту веселую, насмешливую песню немецких студентов из города Праги, горланим с воодушевлением, задором, беззаботностью...

Когда все стихло, Ацер сказал:

— А Борода не так уж глупо придумал. Голландцы мне нравятся. В них чувствуется широкая натура; может, они и раскошелятся. Во всяком случае, попытаться нам стоит. Ведь мы для них — что-то новое, таких, как мы, они еще ни разу не видели. Спокойной ночи всем!

— Спокойной ночи! — ответили мы хором.

Зашуршала солома, все укладывались поудобнее; опять стал слышен дождь, стучавший по крыше почти над головой, мысли начали путаться, и мы заснули.

Когда мы проснулись на следующее утро, солнце уже сияло, в хлеву под нами оживленно шумел скот за кормежкой, позвякивали молочные ведра. Наша вага со смехом помчалась к колодцу. Немного хлеба у нас еще оставалось, но что эти крохи для четырнадцати пустых мальчишеских желудков! Поэтому, умывшись и одевшись, мы подошли с инструментами к обширному крестьянскому дому — чистенькому, будто его только что вымыли, — настроились и запели:

Жизнь школярская легка —
Пей все дни и ночки!..
То попьешь из ручейка,
То — из винной бочки.

Пёхом топаю, бреду,
Сплю, не зная крова,
Но отвагой превзойду
Рыцаря любого.
Пей, гуляй, не знай оков!
Выпил — фьють! — и был таков!..

Дойдя до строк:

Пусть хозяйка обождет:
Ни полушки, каюсь!
Но за мной не пропадет!
Завтра рассчитаюсь, —

мы пропели их с такой убежденностью и силой, что торчавшие в окнах слушатели — а их прибавлялось с каждым куплетом — весело расхохотались. Сам хозяин, приземистый мужчина с румяным приветливым лицом, вышел из дверей, держа на руках своего младшего. и дружески кивнул нам.

Все как будто складывалось удачно, и мы могли бы попросить что-нибудь поесть (рассчитывая, конечно, не на «что-нибудь») с надеждой, что наше желание исполнится... если бы кто-то из нас знал хоть одноединственное слово по-голландски. Да, в этом отношении поездка была подготовлена тоже не лучшим образом, даже голландского словарика никто не захватил! Но поскольку публика смотрела на нас дружески и ободряюще, мы снова взялись за инструменты и начали:

Здесь воздух свеж и чист...

Мы пели и пели и молили в душе о вознаграждении. Тут из коровника вышла батрачка с двумя полными ведрами молока на коромысле и направилась к дому. Наш чудила Пич сразу же подбежал к ней, ткнул пальцем на пенящееся молоко, сунул палец себе в рот и схватился за живот, скорчив жалобную гримасу.

Все слушатели понимающе заулыбались, а хозяин громко рассмеялся и что-то крикнул батрачке.

Мы продолжали петь с еще большим вдохновением, пока та же батрачка не подошла к нам и не сделала знак следовать за ней. Она провела нас в длинную кухню, облицованную бело-синими кафельными плитками. На всех плитках верхнего ряда были рисунки, изображавшие синие ветряные мельницы на белом фоне, синих коров и синих девочек-пастушек в больших синих шляпах и синих деревянных башмаках на синих ногах.

Пол в кухне был выложен красным кирпичом и посыпан мельчайшим белым-белым песком. Нас усадили за длинный, начищенный до блеска деревянный стол, на котором стояли большие миски с молочной кашей, а также сахар, корица и растопленное масло для заправки. Когда же мы с завидным аппетитом съели кашу, девушки внесли корзинки со всевозможными сортами хлеба. Впервые в жизни мы попробовали голландский хлеб с коринкой, в котором больше коринки, чем теста,— истинное лакомство для подрастающей молодежи! Отведавши вдоволь «коринкского», перешли к черному, который действительно был совсем темным, очень грубого помола, и по вкусу похож на наш вестфальский черный. К хлебу подали свежайшее сливочное масло и эдамский сыр — красные головки и белые бруски. Появились на столе и маленькие пряные ры-

бешки, а под конец, когда нам уж и пихать вроде было некуда, на больших тарелках внесли свежезажаренную камбалу, плававшую в желтоватом масле.

И опять началась еда!

Наконец мы поднялись. Все так отяжелели и распарились, что двигались весьма осторожно. Еще раз собрались мы во дворе перед домом, теперь уж с рюкзаками за спиной, и еще раз спели. То, что мы пели на прощание, я до сих пор помню, и мне хочется привести здесь полный текст этой песни, одной из моих самых любимых. Я так давно уже не думал о ней, но сейчас, когда я вспомнил то солнечное утро, она вдруг ожила во мне и припомнилась вся 'до единого слова. Кажется, мы спели тогда эту песню из-за ее нижне-немецкого наречия, полагая, что так будет понятнее нашим хозяевам. Вот она:

Милый избранник мой,
Как только в час ночной,
Как только в час ночной
Лягу я спать,
Ты прокрадись ко мне
И прошепчи ты мне,
Как тебя звать.

С первым ударом часов
Ты отодвинь засов.
Ночь... Тишина...
Крепко уснул весь дом.
Крепко спят мать с отцом.
Я сплю одна.

С первым боем часов
Чуть загремит засов,
Засов загремит,
Скажут отец и мать:
— Там, за окном, слышать,
Ветер шумит...

Моему сердцу в ту пору еще была неведома любимая, но грусть и тоска, звучавшие в этой голштинской песне, растрогали меня.

Когда стихли последние звуки, мы стояли некоторое время молча, молчали и слушатели возле дома. Потом мы сняли на прощание шляпы, а наш Ацер вдруг подошел к хозяину и, скорчив унылую гримасу, вытащил свой тощий кошелек. Мы обмерли. Но хозяин, засмеявшись, отмахнулся, и Ацер, улыбаясь во весь рот, схватил его руку и крепко пожал. Смеясь, мы подбросили вверх шляпы и с улыбкой зашагали по

шоссе, умытому дождем шоссе, которое гудело под ногами, как подобает гудеть всякой приличной дороге, когда по ней идут «странствующие школяры».

— Так! — сказал удовлетворенно Ацер, догнав нас. — Все обошлось великолепно. Надеюсь, вы так же сыты, как и я?!

Мы подтвердили это и весело загоготали.

— Ну, а если еще удастся и с деньгами, то все заботы побоку.

— Да, — заметил Младенец, — только Борода пусть не поет. Он скрипит, как немазаная телега, и всем мешает.

К сожалению, большинство согласилось с ним, и Ацер запретил мне вокальное участие в концертах, играть же на каком-либо инструменте я не умел.

— Ты только разевай рот, будто поешь, — сказал Ацер, что меня глубоко огорчило, ибо я с удовольствием пел все песни. Впервые я искренне пожалел, что у меня нет слуха.

— И нечего ему стоять с нами, — снова заговорил Младенец. — Пусть чего-нибудь делает. Хотя бы деньги собирает!

Было совершенно ясно, что после того, как я подал вчера дельный совет, Младенец еще сильнее меня возненавидел. Мне вовсе не хотелось собирать деньги, мне хотелось петь. Пришлось, однако, подчиниться большинству, и я странствовал по Голландии, как говорится, с шапкой в руке...

Первый наш дневной концерт состоялся в городке Аппингедаме. Мы вступили в него с песней, под треньканье мандолин и гитарные переборы и бодрым шагом направились к рыночной площади. Нас сопровождало много местных жителей. Еще больше народу собралось у городского фонтана, где мы остановились. Окруженные толпой, мы продолжали петь, притом я лишь разевал рот, не издавая ни единого звука.

Но вот Ацер подтолкнул меня и сказал:

— Давай!

Я снял свой фетровый головной убор — лихую зеленую шляпчонку, у которой спереди подрезал поля, так как они все время свисали мне на глаза. Перевернув шляпу вниз тульей, я с мужеством отчаяния протянул ее под нос первому встречному. Но оказалось, что это первая встречная, и она растерянно на меня

установилась. Потом ее растерянность перешла в смущение, как и у меня, она торопливо порылась в кармане и бросила в мою шляпу монету в десять центов (на столько я уже овладел голландским, чтобы разглядеть это).

Почин был сделан, и дальше пошло легче. Стоит одному начать, а уж другие последуют его примеру. В шляпу со звяканьем падали монеты, преимущественно медь, но иногда и серебро. Я радовался... Некоторые господа — в городах здесь многие знали немецкий — интересовались, откуда мы и куда, и спрашивали, не студенты ли мы, что необычайно льстило мне, тринадцатилетнему мальчишке! Я отвечал: «школьники-туристы», так как объяснить им, что такое «Странствующие школяры» было бы слишком долго. Все внимание я должен был уделять «кассе», взоры моих товарищей были устремлены на меня, а в Голландии тоже есть люди, которые любят увиливать, когда приходится платить.

Мои спутники пели и пели, пока я не завершил свой круг, потом мы с ликованием, — не проявляя его, однако, — зашагали из Аппингедама. Нет, мы не стали там обедать, не дали возможности городу Аппингедаму заработать, хотя он первый из голландских городов столь щедро одарил нас! Мы не решились подсчитывать нашу выручку на виду у горожан, мне тоже на этот раз не хотелось выгладеть «алчным».

Я шагал рядом с Ацером, держа шляпу за сложенные вместе поля. А шляпа была тяжеленькая! Чувствовалось, что в ней кое-что есть!

Как только мы вышли за город, тут уж нас ничто не сдерживало, все прыгнули в придорожную канаву и закричали:

— Считай, Ацер, считай!

Подсчитали. Оказалось, что за полчаса пения мы заработали двадцать семь гульденов шестьдесят два цента, а голландский гульден стоил дороже марки!

Все сияли и радостно глядели друг на друга, даже Младенцу не к чему было придаться.

— Если так пойдет дальше, мы притащим домой денег больше, чем взяли! — воскликнул кто-то.

— Спокойно! Спокойно! — призвал к порядку Ацер, в котором вдруг проснулся бережливый хозяин. — Перво-наперво надо отложить деньги на обратный путь.

Если хорошо заработаем, поедем пароходом через залив Цуйдерзе, вместо того чтобы идти в обход. Тем самым сэкономим три дня, которые проведем в Амстердаме, что будет тоже недешево...

Все заботы и тревоги как рукой сняло. Съестное было так дешево, да и нередко доставалось нам даром! Эти голландцы и в самом деле оказались щедрым народом! Чутье Ацера не подвело, почти каждый хозяин, не задумываясь, усаживал к себе за стол четырнадцать обжор. С концертами и дальше все обстояло хорошо. Мы заработали много денег, но и растранижили их, конечно, так что домой вернулись отнюдь не богачами.

Отец, когда я потом рассказывал ему о наших концертах и о том, как я собирал деньги, лишь покачивал головой. Разумеется, отца несколько покорило, что его старший сын, словно какой-нибудь нищий музыкант, со шляпой в руке собирал подаяние на улицах и площадях! Но в конце концов он все же улыбнулся. Вероятно, он счел полезным, что вечный мечтатель хоть разок вкусил реальной жизни! Ведь как часто мне приходилось слышать дома от родителей и сестер: «Опять замечтался!» — когда я не отвечал на их вопросы.

Во время путешествия мне не довелось увидеть ни красивых зданий, ни музеев, ни картин, которыми так богаты Нидерланды. Мы бродили, не отягощая себя школьными знаниями и без какой-либо тяги к просвещению. Наши глаза еще не открылись для этих красот, а весельчак Ацер, пожалуй, не являлся тем человеком, который мог бы открыть их. Никаких достопримечательностей я не помню.

Зато ясно вижу перед собой низенькие голландские домики — розовые, голубоватые, зеленоватые, невероятно чистые внутри и снаружи. Запомнилась мне еще одна картина: когда мы на рассвете проходили по какой-нибудь деревне, то у каждой двери видели вымытые деревянные башмаки с загнутыми кверху носами, они стояли рядком, по росту, сначала большие — родителей, потом все меньше и меньше — до самых маленьких. И мне слышится веселый дробный перестук множества башмаков, когда дети возвращаются из школы.

Еще я запомнил просторные белые чепцы, как бы обрамлявшие лица женщин и девочек, и серебряные головные наколки, которые по мере нашего приближения к морю попадались все чаще и словно раскрытые створки раковины охватывали голову. Помню также бесконечное широкое шоссе от Гронингена до Лееувардена — около семидесяти километров почти без единого поворота, — по которому мы шли и шли долгих два дня... Я вновь слышу шум высоких древних тополей по обочинам шоссе, вижу, как далеко, километрах в десяти, появляется сомкнутый строй крохотных деревьев, но сколь бы резво мы ни шагали, мы так и не можем дойти до этого места, оно отодвигается все дальше и дальше. А мы идем среди обоза, вместе с нами движется целый народ — на рынки и с рынков, — крестьянин с корзиной капусты или огурцов сидит на маленькой забавной тележке, которую рысцой тянут по ровному гладкому шоссе два откормленных жизнерадостных пса — не чета жалким упряжным собакам в наших деревнях.

Мысленно я вновь стою среди гор сыра, громоздящихся на рынке в Эдаме, и с изумлениемзираю на высоченные пирамиды красных головок и бастионы из желтых кругов. По всему рынку разносится острый, но приятный запах сыра; когда у такой пирамиды останавливается покупатель и оценивающе оглядывает товар, продавец мигом выхватывает из кучи какую-нибудь головку и пробирным буравчиком просверливает в ней отверстие до центра. Вынутый буравчиком столбик сыра предлагается покупателю, тот пробует его на вкус, проверяя, созрел ли сыр в середине. Узнав, что такую просверленную головку продают перед закрытием рынка за несколько центов, мы покупали их оптом. Так что мы едали эдамский сыр с пробуравленными дырками, чем не многие могут похвастаться.

Но тут ко мне врывается иной запах, и я вспоминаю большие фиолетовые поля вдоль прямого тополевого шоссе, их необычный цвет — лиловый, розовый, кремовый — и их почти одуряющий аромат.

Мы разбогатели, ничто не мешает нам выполнить намеченную программу, не надо идти в обход залива Цуйдерзе, мы переплываем его — из Гарлингена в Гельдер — на пароходике. Но стоило нам увидеть настоящее море и искупаться в нем, как мы ломаем всю

программу. Прежний маршрут по городам внутри страны отменяется, мы не в силах разлучиться с морем, а потому решаем следовать до Амстердама только вдоль берега.

Мы продвигаемся лишь короткими дневными переходами, большая часть дня посвящена купанию и солнцу. Вечером разбиваем палатку не у самого подножия дюны, как в первый раз, а повыше,— наученные горьким опытом: первой же ночью нас едва не смыло приливом. Все повскакивали спросонья в крошечной тьме, свои часы я едва выудил из воды, палатку сняли с невероятным трудом, а сколько добра было испорчено или смыто водой! Весь следующий день мы усердно сушились и впредь были осторожнее.

Тишина и величие пустынности все больше и больше окружают нас. Дюны стали выше, изломаннее, какими-то дикими, похожими на настоящие горы, они тянутся гряда за грядой. Вокруг только песок, море и солнце, а над нами чайки! До чего же хорошо жить на свете — искупаешься, высохнешь на солнце и опять прыгаешь в воду.

Иной день мы не встречали ни одной души. Заготавливать пищу и особенно питьевую воду становится все труднее. Спозаранку четыре человека отправляются через дюны на поиски какой-нибудь деревни, где покупают съестное и достают питьевую воду. Для воды мы раздобыли непромокаемый мешок. Таскать его через стометровые дюны, то вверх, то вниз, по сыпучему песку тяжело. Четверка возвращается не раньше полудня, к этому времени солнце уже подсушило прибойные дровишки и можно варить обед.

Ацер освободил меня от хождения за водой, я казался ему слишком слабым для этого. Поскольку я не умел ни готовить обед, ни чистить картошку так, чтобы, кроме очисток, что-то оставалось, пользы от меня не было почти никакой. И порой мне давали это понять без обиняков, особенно старался Младенец.

В один роковой день наши фуражиры принесли зеленую фасоль. Ее нарезали и бросили в большой котел вместе с мясом и картошкой. Огонь горел хорошо, дров было припасено вдоволь, и Ацер пристально оглядел свою команду, решая, кого оставить кочегаром у костра.

Младенец тут же подал голос:

— Слушай, Ацер, нам кажется, что пора бы подежурить и Бороде! А то он всегда увиливает! Котел заправлен, пусть только подкладывает дровишки, чтоб кипело. Все равно уже ничего не испортит!

Ацер согласился, и вся группа устремилась вдоль берега по твердой полосе, омываемой прибоем. Они двинулись в исследовательскую экспедицию на поиски выброшенных морем трофеев. Эти трофеи притягивали нас как магнит, будь то прибитый к берегу апельсин, просоленный морем и несъедобный, или же бутылка, оказавшаяся пустой, но ведь в ней спокойно могла оказаться и записка!

Я смотрел вслед уходящим, их фигуры становились все меньше и меньше, пока вовсе не исчезли за выступавшим отрогом дюны.

Я уселся на песок возле очага. Пожалуй, хорошо, что меня хоть раз оставили одного. Последние дни я себя неважно чувствовал, болела и временами кружилась голова, у меня несомненно был жар. Но об этом я никому не сказал, мне и без того было горько сознавать, что из-за своей слабости и неумения я стал для них обузой. А что бы они делали с больным Бородой?.. Через несколько дней придем в Амстердам, оттуда недалеко до германской границы, в общем еще десяток дней — и мы дома. Как-нибудь вытерплю.

Я подложил дров. Большая коряга никак не пролезала под котел, я нажал на нее и... котел опрокинулся, все его содержимое широкой струей хлынуло на песок. Растерявшись, я оторопело смотрел на лужу. В первый момент я не осознал в полной мере причиненного мною вреда. Лишь постепенно до меня дошло, что в луже обед четырнадцати очень голодных ребят и что на десять километров в округе нет ни одной деревни, где можно восполнить потерю!

Эта мысль подстегнула меня. Я вскочил и помчался к парусиновому мешку. Он оказался пустым. Я вспомнил, что еще утром говорили: воды мало, вся она пойдет на суп, а для питья принесут только вечером.

Медленно поплелся я обратно к котлу. Да, со своей задачей я справился поистине блистательно: котел как вылизанный, ни капли воды. Что-то надо предпринимать, не могу же я сидеть сложа руки у пустого котла и ждать, пока вернутся тринадцать варваров!

То, что вывалилось из котла — фасоль, мясо, картошку, вместе с изрядной долей песка, — я сгреб на плащ-палатку и потащил к морю. Окуная в воду, смыл по возможности песок и оставшееся высыпал обратно в котел. Многое, конечно, унесло волной, но то, что было теперь в котле, выглядело вполне внушительно. Основную надежду я возлагал на мясо. Мясо — это главное, а оно, по крайней мере, было в целости. Я водрузил котел на очаг и с помощью кастрюли наполнил его водой. Морской, разумеется, другой у меня не было.

С гораздо большей внимательностью я поддерживал огонь; вскоре в котле послышалось ласкавшее слух бульканье, все выглядело так, будто никакой беды и не стряслось. Во мне росла надежда, что удастся выкрутиться. Когда картошка, на мой взгляд, почти сварилась, я принес свою ложку и, затаив дыхание, снял пробу.

— О черт!

То, что варево будет на вкус немного пересоленным, я, конечно, предвидел, но оно оказалось не пересоленным, оно было просто горьким, как желчь, даже самый голодный человек не стал бы его есть. Не рискнув пробовать вторую ложку, я сел на корточки перед котлом, где варился Обед Четырнадцати, и меланхолично уставился на поднимавшийся пар.

Через некоторое время, однако, я начал оживать. Ведь должен, должен быть выход, я обязан сделать обед съедобным! В моей тогда уже воспаленной голове (я-то думал, что у меня всего-навсего легкий солнечный удар) зашевелились идеи. Вот, к примеру, плюс и минус — они взаимно уничтожаются. А если взять белое и черное и смешать их, получится нежное серое. Такими же противоположностями являются соленое и сладкое... значит, добавив сахару, можно уничтожить избыток соли! У меня в рюкзаке хранился сахар, да и не только у меня, у всех, но то был личный сахар. Все мы любили сладкое, и утренний кофе, который готовился из общих продуктов, всегда нуждался в персональном подслащивании.

Сначала я залез в свой рюкзак и высыпал почти два фунта сахара в котел. Размешал, попробовал: ужас! Залез в рюкзак Пича и стащил его сахар. Потом полез к Ацеру, потом к Клопу... Да чего там го-

ворить,— в надежде, что удастся поправить дело, я ограбил всех подряд и напоследок даже Младенца. Я ссыпал в котел сахарный песок, кусковой сахар, леденцы, но в результате получилось еще ужаснее! В конце концов я опустился на песок и с безразличием стал ждать неизбежной судьбы. Я сделал, что мог, теперь слово за другими!

Они примчались загорелые, дикие, голодные! Они были в превосходном настроении, тут же притащили котелки, шутили, смеялись, делясь со мной своими впечатлениями о походе. Ацер взмахнул черпаком и крикнул:

— Вот это аромат! А ну, налетай, кто проголодался!

Пока он разливал, я не сводил глаз с голодной братии, веселой гурьбой толпившейся вокруг котла, и думал: через минуту у вас пропадет веселье! У меня вдруг возникла какая-то бредовая надежда, я словно взывал к моему доброму ангелу: сделай так, чтобы они не попробовали ни капли! Пусть им не захочется есть!

Но у блюда был такой аппетитный вид и запах, все поднесли ложки ко рту... И сразу же опустили их... Тринадцать ложек звякнули о края тринадцати котелков, тринадцать пар глаз мрачно уставились на меня...

— Борода! — сказал Ацер зловещим голосом. — Что ты тут натворил с обедом?!!

Вот оно! Молчать бесполезно и не поможет. Я признался во всем, рассказал как можно короче, и, пока я говорил, они молча сидели с дымящимися котелками и не сводили с меня глаз. Ни единого слова, ни единого возгласа. Лишь когда я сообщил о конфискации сахара, по аудитории прошло какое-то движение, будто колыхнулась листва от первого порыва ветра перед грозой.

Я замолчал, никто еще не произнес ни слова. Ацер перевернул свой котелок и плеснул на песок содержимое. Остальные двенадцать последовали его примеру.

— Борода! — сказал Ацер. — Я заступался за тебя, но ты действительно ни на что не годен! Ты не человек, ты осел! — И, обращаясь к другим: — Всем уложиться как можно быстрее. До ближайшей деревни четырнадцать километров. С едой и питьем придется потерпеть. Давайте!

Этого марша по раскаленному песку я не забуду до конца моих дней. Еще никогда так не пекло солнце, еще никогда белые дюны так не слепили глаза. И все время справа было море с его вечным бессмысленным ревом, который что-то напоминал, но ничего не значил, это горькое, как желчь, море! Я трусил позади всех, сгибаясь под тяжестью упреков, которыми осыпал сам себя, никто со мной не заговаривал. Но всякий раз, когда кто-нибудь впереди поминал чертову жажду, я вздрагивал, чувствуя себя преступником. Голова гудела у меня еще сильнее, а свет слепил порой так, что я уже не знал, куда ступать. Мне казалось, будто даже море, эта огромная лужа рассола, проклинает меня!

Наконец мы все-таки добрались до какой-то деревни. Было уже темно. Нас накормили и напоили, но я оставался изгоем. И хотя на следующее утро настроение у спутников улучшилось, со мной по-прежнему не разговаривали, я для них не существовал. Снова отправились в поход вдоль берега, захватив провиант и полный мешок с питьевой водой. Потом была подготовка обеда, заправили котел, поваром назначили Пича, и все побежали к морю.

Нерешительно поглядывая то на Пича, то на ребят, собравшихся купаться, я спросил:

— Пич, ты тоже на меня злишься?

— Иди купаться,— ответил он.— Здесь ты мне не нужен.

Я направился к ребятам, они еще топтались на берегу, однако при моем появлении все бросились в воду. Только Ацер не стал купаться и пошел куда-то к дюнам. Я охотно последовал бы за ним, но боялся, что он мне опять начнет выговаривать, и потому шагнул в воду. Плавать я еще не умел, но в тот день даже умелый пловец не смог бы продемонстрировать своего искусства. Волны били с такой силой, что нельзя было и на ногах удержаться.

Медленно шел я вслед за ребятами, купаться мне вовсе не хотелось. Отделиться от них было нельзя. Приближаясь к ним, я не обратил внимания на то, что они тоже стали ко мне приближаться. До последней секунды я ни о чем не подозревал, ведь подобно-го со мной еще ни разу не случалось. И когда меня окружили плотным кольцом, Младенец внезапно крикнул:

— Дать ему морского супа!

И все набросились на меня.

В одно мгновение я исчез под водой, но едва над поверхностью показалась моя голова, как чья-то рука вновь окунула ее. Сперва я почти не сопротивлялся, считая, что заслужил подобную «просолку». Но потом, когда они не дали мне больше выныривать и я начал захлебываться, когда три-четыре раза глотнул горчайшей морской воды, меня охватил смертельный страх. Я принялся отбиваться руками и ногами, цепляться за своих мучителей, но они лишь еще больше разъярились...

Как долго это продолжалось, я, разумеется, понятия не имею; мне показалось, что вечность, хотя, скорее всего, несколько минут, не более. Но платить несколькими минутами настоящего смертельного страха за пересолённый суп, согласитесь, слишком дорогая цена! Наконец они отпустили свою жертву, только Младенец продолжал меня окунать, хотя я, очевидно, был почти без сознания и не мог подняться.

(На протяжении всей своей жизни я встречал подобных людей, которые инстинктивно начинали меня ненавидеть, зачастую даже не успев толком познакомиться со мной. Это древняя история о первородной ненависти, заложенной между одним семенем и другим. Я, признаться, всегда платил этим ненавистникам той же монетой!)

Но вот с берега раздался повелительный голос Ацера:

— Хватит, Младенец! Вытащи его!

Меня выволокли на берег, положили к стопам предводителя, и я первым делом, как только зашевелился, изверг из себя несколько литров морской воды. Ацер оглядел меня с некоторой тревогой, затем чуть ли не ласково обнял и помог дойти до «кухни». Я полагаю, что совесть его была не совсем чиста, что своим отсутствием он как бы дал молчаливое согласие на мою «просолку». Должен сказать, что после этого «ныряния» злополучный обед был всеми — кроме Младенца, конечно, — окончательно прощен и забыт.

Возбранились даже намеки на это, и стоило Младенцу завести старую песню, как его немедля обрывали:

— Младенец, заткнись!

Да, все относились ко мне по-дружески и проявляли такую же заботу, как и прежде. Это были самые чудесные ребята на свете, они могли прийти в ярость из-за испорченного обеда и мучительного марша без воды по жаре, но они не были злопамятны!

И когда в ближайшие же дни выяснилось, что я действительно болен, они делали все, чтобы облегчить мне жизнь. Тащили мой рюкзак, тащили меня самого многие десятки километров по бесконечным дорогам, зачастую под дождем. Об этих последних днях я мало что помню. У меня была очень высокая температура, и я «уносился» порой так далеко, что голоса моих спутников звучали словно за стеной.

Амстердама я совсем не помню, хотя мы провели там трое суток, остаток же пути до Везеля проплыл в каком-то горячем тумане. Запомнилось мне, правда, как я под дождем уселся на землю, у путевого столба, и умолял Ацера оставить меня здесь. Помню, что я сидел посреди большущей лужи и мне было почему-то приятно. Наверное, из-за прохлады. А потом опять горячий туман.

Но ни единым словом ребята не попрекнули меня, не дали понять, какой я был обузой для них, как испортил им каникулы. Вероятно, тут сыграло роль их чувство вины передо мной, ведь они «топили» меня и теперь были убеждены, что причина болезни в этом. Но все равно ребята вели себя очень порядочно. Они собрали последние гроши, чтобы купить нам с Ацером билеты в вагон второго класса скорого поезда, а сами под началом Клопа отправились пассажирским в четвертом классе. Хорошие ребята!..

Ацер отвез меня домой на извозчике, помог подняться по лестнице, положил на площадке мой рюкзак, позвонил в дверь, сказал мне: «Ну, Борода, поправляйся!» — и поспешно сбежал вниз по ступенькам. Я прекрасно понимаю, что он испытывал известную робость перед первым разговором с моими родителями, когда ему неизбежно пришлось бы объясняться и выслушивать упреки — на первый раз вполне хватало и одного меня.

В последующие четверть часа мое сознание несколько прояснилось. Оставив рюкзак за дверью, я прошагал в отцовский кабинет, где находились родители, уселся на стул, посмотрел на отца с мамой, сказал:

«Кажется, у меня солнечный удар!» — и свалился без чувств на пол. Но у меня был не солнечный удар. У меня был тиф!

Проболел я довольно долго и, когда поправился, больше не пошел к «Странствующим школярам». Не из-за родительского запрета, а потому, что ребята рассердились на меня всерьез и непримиримо. Да, я мучил их своей неловкостью. Я был беспомощен. Вечно натирал себе до крови ноги. Не мог идти столько, сколько хотелось ребятам. Не умел петь и пересолил обед. Десять дней кряду я был для них обузой, и они боялись за меня. Все это они великодушно простили мне и оставались добрыми товарищами.

Но когда узнали, что я подхватил тиф, этого они мне простить не смогли! Ведь мы пили одну и ту же воду, однако они не заболели, а я заболел!

Тем самым я испортил им все путешествие, подвел их под расследование, навредил Движению Странствующих Школяров, из-за меня их любимому командиру пришлось покинуть организацию. Такое зло не прощается, и я перестал быть «странствующим школяром»...

Год спустя Ацер случайно встретил меня на улице.

— Ну что, борода, все в порядке? — спросил он.

— Спасибо, Ацер! — ответил я. — Как видишь. Даже волосы отрасли. А при тифе они выпадают.

— Слушай, борода! — возмутился Ацер. — Да не было у тебя никакого тифа! Уж мне ты не вкручивай! Тогда бы мы все заболели тифом! Нет, это работа жирных бургеров, им захотелось насолить «школярам», вот они ловко и воспользовались тобой! А ты, как осел, веришь им! Знаешь, борода, ты всегда был ослом, весь поход...

О боги! Да если б не мой мудрый совет — давать концерты, — состоялся ли бы вообще их поход?.. И я еще после этого осел! Что слава, что заслуги? О боги!

ДЯДИ И ТЕТИ

У отца было сильно развито чувство родства, и он ожидал от нас, детей, что мы так же, как и он, с интересом, почтением и любовью изучим и запомним наши обширные родственные связи. В этом смысле отцу повезло с моей сестрой Итценлиц. У нее были хоро-

шие математические способности (чего недоставало мне), и я по сей день убежден, что только человек с развитым абстрактным мышлением сможет ориентироваться в лабиринте родственных связей.

Фитэ и Эди проявляли на этом поприще обычные способности, они, по крайней мере, запоминали то, что им часто втолковывали. Я же и тут терпел полный провал. Например, отец спрашивал меня:

— Ханс, в каком мы родстве с тетей Вике?

Я смутно припоминал, что о тете Вике когда-то слышал, но вынужден был признаться, что понятия не имею о законности ее тетушкиных полномочий.

Тогда отец терпеливо объяснял:

— Ханс, ну смотри! Это же очень просто. Твоя прабабушка и мать тети Вике были прямыми кузинами, значит, по какой линии это родство? Восходящей или нисходящей?

Я застывал в тягостном молчании. Вот если бы отец спросил: «Ты ведь помнишь тетю в белых перчатках?» — я сразу бы понял, о ком речь. Я сразу бы вспомнил старую, худощавую седую даму, которая жила в городке Аурихе и была столь утонченных манер, что говорила всегда очень тихо, опустив глаза, и не снимала белых перчаток ни днем, ни ночью. В зимнюю пору, если надо бывало затопить печь, тетя Вике отворяла окно и звонила в колокольчик, после чего из дома напротив, где жил ее брат, приходила служанка и разжигала торф. Тетя Вике была не настолько богатой, чтобы держать собственную служанку, но слишком утонченной, чтобы самой возиться с печкой. Тетя предпочитала мерзнуть.

Жена брата всю жизнь относилась к тете Вике настороженно и с недоверием, так как была «иноземкой», а именно из «Ганноверщины»; земля эта хотя и граничит с Восточной Фрисландией, но коренные фризы считают ее за границей, для них она все равно что Либереия или Вест-Индские острова.

В тот день, когда брат повел к алтарю эту чужеземку, тетя Вике записала в своем дневнике, который обычно не отличался лаконичностью: «О, бедная Восточная Фрисландия!» Надеюсь, позднее тетю несколько утешило то, что брак остался бездетным, и таким образом никаких далеко идущих дурных последствий для Восточной Фрисландии не наступило.

Впрочем, уже за свадебным столом новоявленная невестка сразу проявила свою абсолютную неполноценность. Разговор зашел о «мальках», как здесь называют северо-морских креветок, и «новенькая» осмелилась робко заметить о балтийских креветках: она находила их довольно вкусными. Сочтя своим неперемным долгом выступить в защиту отечественных интересов, тетя Вике величественно выпрямилась и заявила: «Все это сущая чепуха! Съедобны только мальки!» — чем заставила невестку умолкнуть.

Как известно, — а может, и неизвестно, — коренного восточного фриза можно узнать по трем свойствам: он не ведает, что такое горы, кекс намазывает маслом и никогда не прикрывает за собой двери. Тетя Вике была коренной уроженкой Восточной Фрисландии, а потому не только не ведала о существовании гор, но и считала подобные выпуклости на земной поверхности совершенно неприличными. И вот жене брата вздумалось, к сожалению, построить в саду беседку; а чтобы из нее можно было эффективно обозревать плоскую окрестность, невестка велела садовнику навозить земли, насыпать холм и уже на нем соорудить беседку. Все жители Ауриха, прослышав о столь неслыханной затее, лишь качали головой, а тетя Вике просто возмутилась. До конца своей жизни она решительно отказывалась взбираться на эту горку, и, когда у брата в канун его девяностолетия появились первые признаки сердечного недомогания, тетя ничуть не сомневалась, что виной тому вечное лазание по горам! Меня тоже водили в сад и предлагали подивиться на это восьмое чудо света. Должен признаться, что если бы меня не ткнули в него носом, вряд ли я заметил бы какую-либо разность уровней в саду.

Да, вот такие истории-нелепицы, как мы называли их дома, были мне по душе. Я их запоминал мгновенно, родословная же, к великому огорчению отца, была мне Гекуба. Часто, когда предстоял очередной визит, отец заранее упражнялся со мной в лазании по генеалогическому древу, но как только он выводил меня на парад перед гостями, я с позором проваливался. И тем не менее отец все же не терял надежды...

Впрочем, эти наезды родни в Берлин — несмотря на отцовские родственные чувства — были зачастую сущим

наказанием! Комнаты для гостей у нас не было, поэтому размещение их в нашей квартире всякий раз составляло проблему. О гостинице не могло быть и речи, о «переброске» к родственникам побогаче — тоже, такой обиды никто не простил бы! Гости наезжали, известив заранее о своем прибытии, наезжали и без уведомления, их надо было приютить, накормить и, кроме того, показать Берлин. Они приезжали из провинции, им хотелось посмотреть что-нибудь новенькое, по возможности все, что есть примечательного в Берлине.

Отец был слишком занят, чтобы исполнять обязанности гида, он ограничивался тем, что разок возил родню вечером в цирк или в «Винтергартен». Маме же, естественно, прибавлялось столько хлопот по дому, что она могла выкроить для гостей часок-другой, не больше. Поэтому показывать все прелести имперской столицы тетушке из Ульцена или дядюшке из Леера поручалось нам, детям, что порой бывало не так уж легко. Ибо почти все наши визитеры, чрезвычайно критически настроенные против всего «пруссаческого», выражали свое мнение вслух везде и всюду, не стесняясь.

От родителей мы никогда не слышали, чтобы ганноверцы не ладили с пруссаками. По месту рождения отец был тоже ганноверцем, а по происхождению — фризом. Ибо дед родился в Восточной Фрисландии, которая принадлежала в ту пору Пруссии, но потом на своем не столь уж долгом веку сменила множество покровителей — побывала голландской, вестфальской, снова прусской, затем ганноверской и, наконец, в третий, и последний, раз стала прусской. Потому, наверное, отец и не делал из этого вопроса неразрешимой проблемы, он воспринимал все как немец. Когда в 1866 году на рыночной площади Ниенбурга объявили о присоединении Ганновера к Пруссии, мой отец наивно кричал «ура» вместе с прусским оккупационным войском, за что многие сограждане наградили его оплеухами. А год спустя у отца возникли новые неприятности в гимназии Шульпфорте, где прусские соученики не захотели считаться с ним, ганноверцем, как с равным.

Нам теперь даже трудно себе представить, какие бурные страсти кипели вокруг политики сохранения малых государств, с какой ненавистью относились друг к другу сторонники того или иного немецкого государства и сколь мало было еще тех, кто мыслил в «обще-

германском» масштабе. Всякий уважающий себя ганноверец считал Бисмарка дьяволом, и я помню, как на загородной прогулке, когда мы приблизились к бисмарковской башне, один из моих дядьев сказал отцу:

— Если ты хочешь ему поклониться, иди, пожалуйста! Я не собираюсь!

Отец покраснел и ничего не ответил.

Если очередной безобиднейший визит тетушки или дядюшки нередко таил в себе подводные камни, то приезд высокого, весьма известного гостя, однажды посетившего нас, оказался далеко не таким страшным, как предполагали мои родители. Среди соучеников отца по Шульпфорте был один мальчик, который впоследствии высоко взлетел и даже сделался министром. Выпускников Пфорте всегда отличали тесные узы товарищества. Они переписывались, ездили друг к другу в гости, а в больших городах, где многие из них осели, регулярно встречались, чтобы обменяться школьными воспоминаниями. На такие встречи, называвшиеся «сборами привратников»¹, ходил и отец. Кстати, когда я был поменьше, слова «пфорте» и «пфёртнер» вызывали у меня подозрение, что прежде отец был чем-то вроде «портье». Мне было очень стыдно за отца, но я не решался с кем-либо поделиться своей догадкой из опасения, что она может подтвердиться...

Связи с этой важной персоной отец тоже не порывал, и однажды мы узнали, что министр вместе с супругой собирается нас навестить,— жили мы тогда уже в Лейпциге. В доме поднялся невообразимый переполох. С утра до ночи жарили, пекли и парили, мама перебрала все скатерти, но ни одна, по ее мнению, не подходила для такого случая, а посему, не считаясь с расходами, купили камчатную скатерть, которая жива и поныне под названием «министерской». Нас, детей, скребли, драили, мыли, нас облачили в лучшие наряды, нам настоятельно внушали, чтобы мы сидели прямо, не облокачивались на стол и не открывали рта, пока не спросят. Короче, наше семейство так взбудоражилось, будто предстояло важнейшее событие в жизни! А ведь речь шла всего-навсего о встрече двух старых школьных друзей, собиравшихся вспомнить былое!

¹ Игра слов: Pforte — ворота, Pfortner — привратник, портье.

Самым спокойным оставался отец, хотя у него было немало хлопот с виноторговцем, после чего на дом доставили солидную партию вина. (Вскоре, однако, выяснилось, что знаменитый однокашник охотнее всего пил воду, а поскольку отец тоже предпочитал ее, то бутылки с вином нетронутыми отправились обратно в подвал и были извлечены оттуда по назначению лишь годы спустя на свадебные столы моих сестер.)

Должен откровенно признаться, что высокий гость здорово меня разочаровал. На нем не было ни мундира, ни орденов, ни каких-либо знаков отличий, он явился в скромном, цвета маренго, штатском костюме, который еще сильнее подчеркивал его худобу и необычайно высокий рост.

Обед проходил очень торжественно. Друзья разговаривали, правда, довольно натянуто. Свыше сорока лет минуло после их школьной поры, поседевшие одноклассники с трудом узнавали друг друга. Попытались завести беседу между собой и жены. Но так как супруга высокого гостя желала говорить непременно о домашнем хозяйстве и прислуге, а мама, намереваясь предложить более интересную тему, несколько раз пробовала вести разговор о новейшем романе или о современной драме, беседа их приняла какой-то неровный, порхающий характер. Мы, дети, не произносили ни слова, сидели прямо и не облакачивались на стол, — какая же это была скучища сидеть истуканами после стольких волнений!

Так продолжалось, пока не принесли блюдо, уж не помню какое. Помнится только, что к нему в горшочке с ручкой подали соус, который, впрочем, у нас дома надлежало называть не по-иностранному — подливкой или подливой. (Отец был членом Германского филологического общества!) Мы с любопытством, не упуская ни малейшего движения, исподтишка наблюдали, как госпожа министерша управляет с блюдом. Еще бы, ведь высокой гостье доводилось кушать за кайзеровским столом, и даже не раз!

Но вот дело дошло до соуса (то есть подливки!), и на носике соусника (я не решился бы в том изысканном обществе сказать «на рыльце») повисла неизбежная капелька, грозившая упасть на «министерскую» скатерть. Мы, не отрывая глаз, следили за капелькой, у всех нас возник один и тот же молчаливый вопрос: как решают

эту проблему в самых что ни на есть аристократических кругах?

Несомненно, гостья почувствовала на себе наши взгляды и наше напряженное ожидание. Секунду-другую она помедлила... Потом указательным пальцем сняла повисшую каплю и... облизала палец.

— Вот так это делают у нас дома, — улыбнувшись, сказала она маме.

Лед был сломан. Мы все заулыбались, заерзали на стульях, я облокотился на стол, беседа старых школьников оживилась, домашние хозяйки сошлись на вопросе о прислуге. Было сделано удивительное открытие: оказалось, что министры тоже люди и, как люди, думают и поступают.

И все-таки в душе я был не вполне удовлетворен. Мне казалось, что супруга его превосходительства уклонилась от ясного ответа. У них дома делали так, хорошо, но как это делается у кайзера? Невозможно себе представить, что там слизывают каплю, равно как немислимо, что ей дают упасть на кайзеровскую скатерть! А мне так хотелось узнать... Но уже поздно наводить справки, я никогда этого не узнаю!

Да, ведь я собирался рассказывать о тетях и дядях и уже начал было о тете Вике, но нечаянно отвлекся на берлинские визиты, а потом на министерский. Значит, брата тетушки Вике, ну того, который женился на «иноземке», звали Кириак, служил он сельским врачом. И надо сказать, что в свое время врачом он был очень известным, его девятидесятилетие отмечало все врачебное сословие Германии, к нему понаехало множество депутатов. Ибо он являлся не только Нестором немецких врачей, но и продолжал еще практиковать, не уступая молодежи!

И как практиковал! Старик главным образом разъезжал по деревням и селам, каждый день он седлал своего коня и, невзирая на непогоду, снег, холод или жару, отправлялся в путь за много миль. (Говорили, будто он загонял по коню в год, что, конечно, не свидетельствует о его искусстве наездника!) Всякому, кого старик встречал по дороге, он, не слезая с седла, давал бесплатную консультацию.

— Ну, как дела? — кричит дядя Кириак крестьянину, сидящему в повозке.

— Да вроде бы по-прежнему, господин врачебный советник!

— А мазь, что вам давал, помогает?

— Да.

— Ну, так продолжайте втирать! Пока! — И дядя едет дальше.

Однажды зимой его вызвали в отдаленную местность. Он подъехал к какому-то каналу, где его ожидала баржа. Коня оставили на берегу, в сарае, и дядя ступил на палубу. Там стоял стул, дядя уселся на него и закутался в одеяло. Баржу долго-долго тянули по каналу, как вдруг, на что-то наткнувшись, она резко накренилась. Стул, дядя и одеяло полетели в студеную воду.

Все быстренько выудили, стул поставили на палубу, дядя водрузился на него и снова завернулся в одеяло — мокрое, естественно, поскольку другого не было. После чего путь продолжался без происшествий.

Посетив больного, дядя отправился таким же путем обратно, с тем лишь преимуществом, что баржа не перевернулась, а мокрое одеяло было заменено сухим. «Иноземка» пришла в ужас, когда увидела мужа: он был похож на сосульку! Супруга настаивала, чтобы ее Кириак немедленно лег в постель. Но он лишь переоделся в сухое и потребовал горячего чая.

— А потом отправимся в концерт, — заявил он. — Будет жаль, если пропадут билеты!

В то время дяде Кириаку было восемьдесят восемь лет, и его бодрости ничуть не убавилось, когда он праздновал свое девяностолетие. Съехались все родственники, включая моих родителей, прибыли делегации врачей, благодарные пациенты, земляки. Было произнесено множество поздравительных речей, еще больше — тостов. И дядя Кириак чокался со всеми, отказать себе в этом он не мог. Потом приступили к еде, а за едой снова пили. «Испорченные» городской жизнью племянники и племянницы предложили совершить небольшую прогулку, лишь бы уйти подальше от бутылок.

Дядя с восторгом согласился, возглавил процессию, и маленькая прогулка превратилась в большую. Наконец он привел гостей в какое-то место, окруженное высокими дамбами. Широкая панорама открывалась отсюда только в сторону моря, если же обернуться к суше, то взгляд упирался в окна рыбацких домиков, тесно прилепившихся к дамбе. И самое удивительное, что

здесь, где все было на виду, дядя Кириак вдруг исчез. Юбиляра искали, искали, но нигде не могли обнаружить, пока не заглянули в окошко трактира и не увидели: виновник торжества стоял у стойки и опохмелялся!

Если я не ошибаюсь (должен, однако, заранее отклонить всевозможные разъяснения и поправки родственников), итак, если я не ошибаюсь, тетя Густхен происходила от того же колена долгожителей (насколько от колена вообще можно происходить). В молодости она славилась хорошим голосом. У нее было шесть сестер, и их отчий дом называли в городе не иначе как «домом семи поющих дочерей». Но в то время, как ее сестры «напели» себе мужей, тетя Густхен осталась старой девой и ударилась в чудачества, что с годами тоже принесло ей известность, хотя и менее приятную.

Тетя Густхен постоянно утверждала, что она тяжело больна и что ее совсем замучила мигрень. Окружающий мир узнавал об этом, когда тетя повязывала голову «мигреневым платком», некогда белоснежным, но давно утратившим всякий цвет и структуру. Охватив лоб и виски, платок свисал на затылке двумя длинными унылыми концами. Бывало, что к мигрени присоединялась зубная боль (такое сочетание должно было вызывать более глубокое сочувствие!), в этом случае концы платка повязывались под подбородком, и тогда уже спереди торчали два серых хвостика.

Как только тетя надевала «мигреневый платок», говорить с ней о чем-либо ином, кроме мигрени, строго воспрещалось. С ослушниками тетя вела себя весьма язвительно. Если боли становились нестерпимыми, она укладывалась в постель, а на входной двери оставляла приколотую записку: «Я в постели и прошу не звонить. Ключ под циновкой».

Каждый, кто приходил,— будь то письмоносец, булочник или гость,— доставал из-под циновки ключ, не спрашивая ни о чем хозяйку, и делал в квартире все, что ему было надо.

Случалось иногда, что, несмотря на записку, из квартиры доносилась громкая игра на рояле. Это означало, что приехал мой отец, который в холостяцкие годы частенько играл с тетушкой в четыре руки. Перед музыкой не могла устоять даже ее головная боль. Но если кто-нибудь, услышав звуки фортепьяно, пренебре-

гал вывешенной запиской и звонил, то тетя Густхен выскакивала на порог и раздраженно заявляла:

— Ты что, читать не умеешь? Тут же написано, что я в постели!

После чего захлопывала дверь, предоставляя нарушителю право воспользоваться ключом. В доме же продолжали звучать мечтательные мелодии Шуберта или Шумана.

Больше всего тетя раздражалась, если кто-либо из родни утверждал, что он тоже болен. Она воспринимала это как дерзкое посягательство на свои благоприобретенные права. Больной в нашем роду была только она! Она перенесла все болезни, одна хуже другой! Ее племянница Фрида после рождения своего первенца пришла к тете Густхен и с нескрываемым торжеством рассказала во всех подробностях о перенесенных родах. По мере ее рассказа о подробностях и страшных муках тетино лицо вытягивалось все больше и больше, а выражение его становилось все кислее и кислее. Когда же племянница воскликнула под конец: «Вот видишь, тетя Густхен, этой болезни у тебя все-таки еще не было! А может, была?..» — тетушка выставила нахальную грешницу за дверь!

Некоторое время спустя тетя Густхен пришла к Фриде, — она была ее любимицей, — вручила ей столовое серебро и сказала замогильным голосом:

— Вот, возьми... все равно достанется тебе! Но монограмму не переделывай!

Тетушку участливо спросили, почему она вдруг решила раздавать свое имущество, на что последовало печальное разъяснение:

— Сегодня видела сон, в нынешнем году я помру.

— Ах, тетя Густхен, этого не может быть. Что же тебе приснилось?

— Снилось, будто гуляю я у Эйленриде. И вижу — ползет по дороге жук, а на каждом крыле у него по девятке, и тут раздается голос с неба: жжани-ззани! Жжан-ззани!. А ведь нынче тысяча восемьсот девяносто девятый год, и мне стукнет пятьдесят пять, значит, не миновать смерти!

Напрасно убеждали тетю Густхен, что господь бог вряд ли стал бы изъясняться с ней французскими словами, да к тому же такими исковерканными! Никакие

уговоры не помогали, тетя Густхен твердо решила внять гласу божьему и скончаться в этом же году.

Чтобы успокоить ее, Фрида приняла столовое серебро. Она даже пользовалась им от случая к случаю, а по прошествии нескольких месяцев все-таки отдала граверу переделать монограмму, полагая: раз подарено — значит, подарено.

Однако в сочельник 1899 года к ней неожиданно приходит тетя Густхен и вместо того, чтобы преподнести подарок, требует назад свое серебро:

— По всей видимости, я в нынешнем году, пожалуй, еще не помру... а завтра у меня гости и понадобится серебро. Так что, милая Фрида, верни его мне!

Милая Фрида начала было отговариваться, но потом все же призналась, что переделала монограмму. Тетя Густхен была возмущена: значит, племянница спекулировала на ее смерти! Значит, она вовсе не любимая племянница, а вымогательница наследства! Тетя забрала свое столовое серебро и удалилась. Племянница Фрида больше его не видела. Впоследствии оно досталось — с монограммой Фриды — какому-то другому родственнику.

За свою долгую жизнь тетя Густхен, по достоверным сведениям, болела всего лишь дважды. Первый раз, когда она съехала ногу на улице во время гололеда и ее немедленно положили в больницу. Об этом событии она сообщила моему отцу в письме с припиской: «Слава богу, я утром надела чистое белье!»

В другой раз у тети Густхен было что-то с желудком. Она снова попала в больницу, где ее посадили на диету: белый хлеб и чай. Но планы врачей потерпели крах. Своим посетительницам — таким же старушкам, как она, — тетя Густхен заказывала любимые ею блюда: чечевичную похлебку и перченое рагу из гуся. Все это доставлялось тайком в больших глиняных кувшинах и подвешивалось под ее окном на ветках плюща. Комбинированный стол, однако, пошел ей на пользу, тетя заметно расцвела, и врачи очень гордились достигнутым успехом. На сей счет она, конечно, в душе посмеивалась, но жаловаться на самочувствие не перестала.

Вообще тетя Густхен любила поесть... в чужих домах, конечно. Если же ей приходилось готовить на собственные средства, она довольствовалась самой бесхит-

ростной едой. Будучи в гостях, она однажды отведала рисовой каши со сливками, которая ей необычайно понравилась. Она тут же записала рецепт и вскоре пригласила своих племянниц на роскошное пиршество. Гости, однако, не выразили восторга, на вкус новое блюдо ничем не отличалось от обыкновенной молочной рисовой каши. Тетя Густхен тем не менее уверяла, будто все сделала точно по рецепту. Значит, ей нарочно дали неправильный рецепт, чтобы не раскрывать секрета «необыкновенной» каши. Лишь после настойчивых расспросов удалось выяснить, что тетя вместо восьми яиц положила одно, а вместо сливок употребила простое молоко. Можно подумать, что тетя Густхен предугадала взрац-рецепты времен мировой войны.

Когда упомянутая Фрида была в милости у тети Густхен, это далеко еще не означало, что с любимицей обходились отменно вежливо. Напротив, племянница всегда служила громоотводом, если тетушка бывала в дурном настроении. Однажды Фрида пожаловалась на это своей приятельнице, а поскольку та была дочерью друга детства тети Густхен, они договорились навестить тетушку вместе. Тетя Густхен была растрогана, увидев дочь своего друга детства, и тут же предалась приятным воспоминаниям. Молодая гостья, улучив наконец минутку, вынула из сумки фотографию и показала ее тете Густхен:

— Вот мой отец!

Тетушка, рассмотрев снимок, энергично кивнула головой.

— Да, это он! У него всегда был глуповатый вид! — сказала она и вернула фотографию.

В день свадьбы Фриды тетя Густхен, несмотря на свою скупость, взялась готовить свадебный стол. Во избежание лишних трат она не пошла на венчальную церемонию, оставшись хозяйничать в кухне. Но вот раздался звонок, и тетя подумала, что пришел кондитер с тортом и мороженым. Однако оказалось, что это ее старинный друг, который, будучи в городе проездом, решил ее навестить. Тетя Густхен сказала при-
скорбно:

— Ах, какая жалость, какая жалость, но у меня нынче как раз свадьба!

— Что?! — воскликнул тот с ужасом. — У тебя?! — хлопнул дверью и исчез навсегда.

На свадебный обед приготовили цыплят, которых тетя Густхен, используя свои связи, раздобыла по дешевке в какой-то деревне. Однако, несмотря на дешевизну товара, рассчитывать за него тетя не торопилась. Долгое время напоминали ей об уплате, и всякий раз она придумывала какие-нибудь отговорки. Но, зная тетушкину скупость, от нее не отставали уже из принципа, и в конце концов тете Густхен пришлось расплатиться. Выложив деньги, она с грустью сказала:

— Дорогие же у вас петушки!

У тети Густхен был еще один заскок: она не могла жить в квартире, не оборудованной последними техническими новинками. Когда появился газ, она переехала в квартиру с газом, а как только начали проводить электрическое освещение, опять сменила квартиру. И самое странное, что тетя никогда не пользовалась этими новшествами. До конца жизни она зажигала только керосиновую лампу. Готовила на керосине, пренебрегая газовой плитой, свой скромный обед: например, жарила рыбу и кипятила воду для чая. В том же кипятке варилось яйцо всмятку, и таким образом экономилось топливо.

Постоянные переезды, вызванные страстью к новшествам, разумеется, следовало осуществлять с минимальными затратами. А тетя Густхен обладала исключительным даром отыскивать дешевую погрузо-разгрузочную силу. Так однажды она переезжала с помощью служителей зоопарка (тетя Густхен жила в городе Ганновере). Поскольку переезд можно было совершить лишь в обеденный перерыв служителей или в вечерние часы, он протекал, так сказать, по частям. В какой-то день служители не рассчитали время и спешно помчались обратно в зоопарк, бросив тетю Густхен посреди улицы со всем ее добром. И тетушка терпеливо ждала их до вечера — ведь переезд обошелся ей так дешево! Правда, потом она недосчиталась многих вещей.

Иногда тетя Густхен была вынуждена делать и кое-какие подарки, например, моей сестре Фитэ, чьей крестной она считалась. Вообще-то говоря, тетя не признавала этого де-факто. Ибо, когда Фитэ крестили, тетя Густхен уезжала в Америку к своему брату Каспару; девочку же нарекли Фитэ, а не именем ее крестной, Аугусты, чего тетя никак не ожидала. Ну что ж, значит, крестины недействительны. Все-таки однажды она

прислала подарок — довольно жалкое пальтишко, которое к тому же оказалось мало. В сопроводительном письме моим родителям тетя писала: «Ада говорит, что я должна хоть что-то подарить, хотя я все равно не согласна!»

Вообще ее подарки были вечно с каким-нибудь изъяном: в ковре обнаружили моль, серебряная ложка оказалась паяной и то и дело ломалась, а часы с кукушкой целый день молчали, зато в полночь наверстывали все пропущенные «ку-ку».

Тетя Густхен была вечно занята; в течение семи дней недели у нее бывало всего лишь семь сборищ: сестринское, малое кузинское, большое кузинское, миссионерское, библейское и штопально-вязально-швейное. Она развивала везде бурную деятельность и буквально валялась с ног. И все равно ей это нравилось, ведь они «так мило проводили время».

Когда мама с моими сестрами как-то раз гостила у тети Густхен, ни одно из упомянутых сборищ не миновало их. Для моих сестер это было сущей пыткой. По-видимому, тетя Густхен почувствовала их молчаливый протест, так как по дороге домой она сказала утешительным тоном:

— Н-дэ, завтра прогуляйтесь-ка с вашей мамой к Старому кэнэлу. Учительница вас проводит. Вот и потолкуете с ней на всякие умные темы. Небось изголодались по духовной пище.

Сестры, засмутившись, стали отнекиваться, и тетушка удовлетворенно заключила:

— Ну, да, теперь же каникулы, и это вряд ли вам нужно!

Мне ко дню конфирмации тетя Густхен подарила книгу с золотым обрезом, трактующую поведение чистого юноши. К сожалению, мне запомнилось оттуда лишь то, что чистый юноша должен надевать по воскресеньям чистое белье... Н-да...

У тети Густхен была весьма своеобразная манера произносить застольную молитву. Начинала она ее на самых высоких нотах, так сказать, на крыше, потом медленно, этаж за этажом, спускалась вниз, в подвал, а затем — и это всякий раз поражало своей неожиданностью — лихо взлетала опять на крышу, чтобы тут же начать спуск. Тетина молитва была похожа на пение. Ее можно изобразить ступеньками примерно так:

Отче наш,	Хлеб наш насущный,	и остави
Иже еси на	даждь нам	нам
небесех!	днесь	долги наша...

И после еды:

Благодарим Тя,	Яко насытил еси нас	Амины!
Христе Боже наш,	вомных твоих благ.	

Необычайно эффектно. Однако спустя некоторое время мои сестры намекнули тете Густхен, что она, пожалуй, могла бы выбрать в своей богатейшей сокровищнице молитв и что-нибудь новенькое и пропеть для них. Тетя Густхен долго отмалчивалась, но в конце концов уступила просьбе, обещав подыскать. Сестры с любопытством ждали...

Новая застольная молитва оказалась, увы, вариацией старой. Первые две строки тетя Густхен произносила точь-в-точь, как и прежде, потом закрывала рот и последние две тихо договаривала про себя, глядя с упреком на зловредных племянниц. Но в заключение она «взлетала на крышу» и звонким, высоким голосом выкрикивала «Амины!!!».

Однажды мой бедняга отец, поддавшись уговорам, прихватил с собой тетю Густхен в небольшое путешествие по Гарцу, которое он совершал вместе с мамой. Участники встретились в Брауншвейге, и моих родителей сразу же встревожило то, что тетя Густхен прибыла без всякого багажа, — а ведь предстояло несколько ночевок! Расспрашивать ее не хотелось, так как тетя Густхен к тому времени уже совершенно оглохла и ее подчас откровенные объяснения звучали слишком громко. Но на следующее утро мама успокоила отца: багаж у тети Густхен все-таки был. Мама видела ее в negligé: под платьем тетушка обвязалась поясом, из которого во все стороны торчали губка, мыло, гребень, платяная щетка и даже зубная. *Omnia mea mecum porto*¹.

Впрочем, мне только сейчас пришло на память, что тетя Густхен явилась в Брауншвейг все-таки с ношей — единственным пакетом, в котором находился огромный пирог. Она без церемоний вручила его и без того обремененной поклажей маме, сказав:

— Ты же любишь пирог! Ведь я тебя знаю!

¹ Все мое ношу с собою (лат.).

Правда, это не помешало тете бдительно следить за мамой, чтобы та не очень-то «лакомилась» и оставила бы ей большую долю.

В Трезебурге было полно туристов, лишь с трудом нашей троице удалось найти в ресторане свободный столик, но еще труднее оказалось получить у измотанного кельнера меню. Все было вычеркнуто, осталась только говядина с изюмной подливкой. Тетя долго изучала меню, а потом громко и внятно отчеканила:

— Что? Одна говядина с изюмом? Нет, говядины с изюмом я не выношу! Пойдемте, дети!

Она поднялась и при всеобщем оживлении поплыла к выходу. Такие публичные сцены были для моего отца очень мучительны. Поэтому в следующем ресторане он предложил сначала посмотреть и обсудить вывешенное меню.

Но никакие предосторожности не помогали. Жарким днем отец с дамами поднялись на гору Брокен, вершина ее кишела людьми. Прислонясь к перилам, они не столько любовались панорамой, сколько вытирали пот с лица. И вдруг тетя Густхен, которая из-за глухоты уже не могла рассчитать силы собственного голоса, заявила во всеуслышание:

— Я ужасно вспотела! Сегодня я непременно сниму фланелевые штаны!

Еще на вершине Брокена отцу каким-то непостижимым образом доставили телеграмму, которая вынудила родителей — увы и ах — срочно прервать тако-о-ое очаровательное путешествие.

ГОРЕМЫКА

Возможно, у читателя, который до сих пор неукоснительно следовал за моими воспоминаниями, уже сложилось впечатление, что в моей ранней юности удача, прямо скажем, не гонялась за мной и что я привел тому достаточно доказательств. И все-таки, почти уже завершая свое повествование, я не могу устоять перед искушением еще раз оглянуться назад и доказать себе и другим, насколько Невезение с его мелкими и подчас забавными казусами, с болезнями и, наконец, с серьезной бедой, вторгаясь в мою жизнь, определяло ее, держало родителей в постоянной тревоге и неумолимо перечеркивало мои тщетные усилия избежать его.

Я не собираюсь излагать это во всех подробностях. Со слов мамы мне известно, что до шестнадцатилетнего возраста я ежегодно переносил какую-нибудь тяжелую болезнь, не считая мелких недугов. Многие я, слава богу, забыл, тем проще мне будет подобрать кое-какие примеры, свидетельствующие, что я прирожденный горемыка. Правда, доказывать, что существуют прирожденные горемыки, — в чем, пожалуй, никто не сомневается, — было бы бессмысленно, ибо с какого-то момента в моей жизни Невезение внезапно прекратилось. Злой рок, казалось, сделал все, чтобы я стал мрачным и недовольным, он лишал меня мужества, вселяя в меня некий фатализм, благодаря которому я воспринимал самые крупные неприятности с апатией загнанного вьючного осла.

Когда же я, вероятно, дошел до предела, злосчастье отступило, и ко мне постепенно, поначалу едва заметно, возвратилось мужество; и сейчас, когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что все это случилось с каким-то другим мальчиком, который, правда, доводился мне близким родственником: он претерпел все эти горести, и не только претерпел, а скорее одержал над ними верх. Теперь его хмурое лицо вызывает у меня веселую улыбку, ибо я знаю: все в конце концов завершилось благополучно!

Вот почему те невеселые события я могу сегодня представить в юмористическом свете. Рассказывая о летних поездках с родителями, я упоминал о пугавшем меня тогда чувстве: будто существует еще один, похожий на меня мальчик, который живет в том же городе, что и я, в той же шкуре, что и я, что он, собственно, мой двойник — и в то же время совсем-совсем другой!

Да, теперь мне ясно: оба мальчика действительно существовали. Первому жилось тяжело, он только и думал, ничего у меня не ладится, мне вечно не везет. А второй мальчик как бы смотрел на первого со стороны и посмеивался над ним: до чего же ты все воспринимаешь трагически! Погоди, все еще исправится. Ну, а поскольку так и случилось, то я и рассказываю о прошлом с точки зрения этого второго мальчика.

Я родился в Померании, в университетском городе Грейфсвальде, прославившемся в свое время богословским факультетом и особенно пристрастием его студентов к пиву. Во всяком случае, я по сей день испыты-

ваю. некоторое волнение, когда со мной заговаривают как с померанцем. Итценплиц появилась на свет в Ганновере, Фитэ — в Бойтене, Эди — в Берлине, и если бы решающим было место рождения, наша семья представляла бы пеструю смесь инородцев. По родителям все мы ганноверцы, а по отцу еще и восточные фризы, что гораздо выше сортом, нежели ганноверцы, — ганноверцев-то много, а фризов — раз-два и обчелся. Кроме того, меня увезли из Грейфсвальда в пятилетнем возрасте, так что мои воспоминания об этом городе, а следовательно, и о Померании, весьма скудны.

Но одно событие я запомнил очень четко. Я стою на лестничной площадке второго этажа в доме на Карлсплац, где мы жили. Просунув голову между балясинами перил, я внимательно смотрю вниз на площадку первого этажа, выложенную красной плиткой.

Я с нетерпением жду, пока там внизу кто-нибудь пройдет, ибо я твердо решил плюнуть на голову этому «кто-нибудь», — кем бы он ни был. Сейчас уже не помню, почему именно я принял такое решение, принял — и все, значит, надо выполнять! Открывается дверь, и, вижу, входит отец. Он не один, с ним кто-то еще. На мое решение это не действует, оно непоколебимо. Как только оба господина оказываются подо мной, я выплевываю все, что накопилось во рту за долгие минуты ожидания.

Очевидно, накопилось немало, потому что оба остановились как вкопанные и растерянно посмотрели вверх.

— Ханс, ты?! — удивленно воскликнул отец, не успев еще возмутиться. — Ты что это придумал?! Ну погоди!..

Отец стал быстро подниматься по лестнице, выражая на ходу всяческое соболезнование спутнику.

Дождаться их отнюдь не входило в мои планы. Дверь в нашу квартиру широко распахнута; прежде чем оба окажутся наверху, я прошмыгну в переднюю, захопну за собой дверь и спрячусь в платяном шкафу за одеждой. Все было продумано заранее.

Делаю резкое движение, чтобы вытащить голову, но — то ли из-за спешки, то ли из-за моей неловкости — голова, так легко просунувшаяся между балясин, не хочет пролезать обратно! Я удваиваю усилия, никакого результата, сколько ни дергаю, голова зажата, как в тисках!

А вот и мстители, бежать поздно. На всякий случай поднимаю рев — во-первых, от страха перед грозящим наказанием, во-вторых, потому, что не вытаскивается голова.

— Сейчас же вылезай, Ханс! — кричит отец. — Ты что вздумал плевать на нас!.. Вы уж извините, пожалуйста, коллега!.. Не понимаю, что это нашло на мальчика!.. Ханс, вылезай!

Мои попытки слабеют с каждым разом. Я понимаю, что самому мне не выбраться. Вся надежда на отца, которого я только что оплевал.

— Ханс, постарайся! — Это звучит уже угрожающе.

— Не могу! — хнычу я и стараюсь.

— Ханс! — Отец полон решимости. — Либо ты вылезешь, либо я тебя сейчас же отшлепаю!

— Не понимаю, — говорит задумчиво коллега отца. — Кажется, просвет между стойками действительно уже, чем голова!

— Раз она вошла, значит, должна выйти! — заявляет отец убежденно, оперируя основным законом логики.

Увы, вскоре мне пришлось доказать ему, что логика ко мне не применима.

— Может, попробуем потянуть? — предложил коллега.

Началась проба. Несомненно, балясины перил делал какой-то сверхстарательный столяр, украсивший гладкие столбики множеством фигурных выточек. Особенно острые края были у колец; мой усилившийся рев свидетельствовал, что я предпочел бы гладкие стойки без украшений.

Оба спасателя усердно тянули меня, а я орал в зависимости от их усилий. Тем временем на площадке собралось все женское население нашей квартиры, включая маму и сестер; слышались вопросы, причитания, советы.

— Он плюнул на нас! — сообщил маме отец с возмущением и потянул меня еще сильнее.

Я завопил.

(И поныне я склонен думать, что этому происшествию я обязан некоторой оттопыренностью своих ушей. До ушей голова еще пролезала, а вот дальше ее не пускали ушные раковины, словно они были из железа!)

Отец был убежден, что я не хочу вылезать, испугавшись шлепков, и оттого тащил меня за плечи все сильнее и сильнее. Потом он уступил свою позицию у плеч коллеге, а сам взялся за ноги. В горизонтальном положении я парил в пространстве, будто ангел, оглашая окрестности диким ревом.

Со всего дома сбежались жильцы, даже в соседних домах разнеслась весть, что застрял сынок ландрихтера; знакомые и друзья наперебой давали отцу добрые советы, что лишь еще больше его нервировало. В конце концов он понял, что одной логикой здесь не поможешь, и, обессилев, отпустил меня. Стоя на коленях, я продолжал рыдать.

Тут вмешалась мама. Она настояла, чтобы мне прежде всего — невзирая на совершенный проступок — дали успокоиться. Мальчик остынет и потишеоньку выберется сам. Мама приступила к делу — она ласково утешала меня, уговаривала и даже пообещала шоколадку. Отец молча стоял рядом — само воплощение протеста.

Я же заревел еще отчаяннее, насколько это вообще было возможно, учитывая только что достигнутые рекорды. Я вдруг твердо поверил, что никогда не вылезу из дурацких балясин, что мне придется всю жизнь глядеть вниз на красный пол, и я даже отказался от любимого шоколада, так как подумал, что мама хочет приучить меня есть через решетку.

Уже не помню, кого осенила мудрая мысль — р
лить одну балясину. У отца, конечно, возникли
ния юридического порядка: сначала надо, по
мере, спросить домовладельца. Коллега зам
что промедление опасно — у ребенка уже
судороги! А кроме того, «имеет место» на
щественного спокойствия (мой неутрачивающ
отвлекает окружающих от своих дел.

Отец был не только юристом, но и
человеком, которого не в последнюю очере.
вало, во сколько оценит домовладелец ущерб,
лестничным перилам. (Намеревался ли отец
слишком высокой оценки оставить меня торчат
перилами, я не знаю.)

Пока господа юристы продолжали громко дискути-
ровать, невольно стараясь перекрыть меня, явился
вызванный мамой домовладелец с ножовкой в руке.

Улыбаясь, он начал пилить над моей головой балясину, потом я услышал: «кряк», балясину отогнули, и добрые руки вытащили меня из ярма. Я очутился среди сорища людей, присутствие которых до сих пор замечал лишь по ботинкам, туфлям, подолам юбок и брючным манжетам. И когда я, зареванный, перемазанный, обалдевший, увидел множество дружески улыбавшихся лиц, мой рев мгновенно умолк.

Успокоившись, я протянул к маме руку и потребовал:

— Дай мою шоколадку!

Отец, памятуя еще о плевке, сделал отрицательное движение, но было уже поздно: я схватил шоколадку и сунул ее в рот. О каком-либо наказании теперь, понятно, не могло быть и речи.

Описанный выше случай, по-моему, настолько впечатляющ и бесподобен, что спутать его с каким-либо другим невозможно. Да, он принадлежит к самым ярким из моих ранних детских воспоминаний, даже теперь мне иногда снится, будто моя голова где-то застряла. Меня охватывает жуткий страх, я чувствую, что никакая сила не сможет меня освободить, и лишь пробуждение возвращает мне свободу.

Но кто сумеет описать мое изумление, когда после смерти отца я прочитал в его записках о подобном же случае, приключившемся с ним в детстве,— в Ниенбурге на Везере,— правда, сорока годами раньше! По его рассказу, все произошло точно так же, только отец очутился в моем положении не для того, разумеется, чтобы плевать вниз, а чтобы взглянуть с высоты птичьего полета.

Поскольку очень маловероятно, чтобы отец и сын испытали в одном и том же возрасте одно и то же необычайное приключение, возникает серьезный вопрос: кто у кого позаимствовал — сын у отца или отец у сына?

Зная душевный склад отца, я исключаю, что он сознательно заимствовал у меня этот случай, да еще не спросив на то моего согласия. Сколь свободно он обращался с фактами в своих устных рассказах,— напому одну лишь историю с грибами-дождевиками,— столь же добросовестным было его отношение ко всему написанному. А к содержанию написанного он подходил с той же щепетильностью, с какой даже в глубокой ста-

рости писал, вернее, рисовал, каждую букву — медленно, почти с педантичной четкостью.

Объективно вполне можно допустить, что в детстве я не раз слышал эту историю от отца и бессознательно включил ее в сокровищницу собственных воспоминаний. Субъективно же я горячо протестую против такого допущения. Случай с перилами исключительно мой, он с величайшей ясностью запечатлен во мне, у меня перед глазами торчат те желтые деревянные балясины, блестящие от лака, ведь я, как сейчас, вижу не только синий фартук нашего домовладельца, хозяина бондарной мастерской, но и его полосатые шлепанцы, и серые грубошерстяные носки, плохо натянутые, собравшиеся гармошкой на пятках! (Хотел бы я знать, кто сможет привести в одной фразе столько аргументов!)

Нет, это событие — моя собственность, оно принадлежит мне, принадлежит до такой степени, что даже порой, как я говорил, беспокоит меня во сне. Сожалею, что тайна, которую отец создал собственными руками, останется неразгаданной, однако меня она не собьет с толку: плюнул я, застрял я, «выпилили» меня, шоколадку дали мне, и лопухим остался я!

Отличаясь особой неловкостью, я в те ранние годы как нарочно старался попадать в опасные ситуации. За домом, во дворике, насыпали для детворы кучу песка, а над этой кучей развесил свои ветви молодой красный бук, любимец нашего бочара-домовладельца. Оды, когда я остался единовластным хозяином новой кучи, мне пришла идея незамедлительно на бук.

Не теряя времени, я подтащил с бочар несколько кадушек и лоханок — то, что мне лам,— соорудил башню и взобрался на нее рева. И вот, снова приятно вознесшись в шим миром, я сидел на суку и покачивался хонько, потом сильнее и сильнее. Дерево было молодым, сук не выдержал и сломался, а приземлившись, к счастью, на мягкий песок.

Озадаченно взглянув наверх, я с ужасом увидел помощно повисший обломок. Когда я плевал с лестной площадки, то не задумывался о последствиях, теперь же вид сломанного сука вызывал у меня предчувствие неминуемой беды.

Я побежал домой, тайком забрался в мамину швейную корзинку и, вооружившись мотком суровых ниток, вернулся к месту преступления.

Я ничуть не сомневался, что репарационные платежи за сломанный сук начисто разорят нашу семью. Возбравшись снова на башню из жадушек, я начал привязывать сук к стволу. Однако, увлеченный этим занятием, я забыл, что моя башня сооружена в буквальном смысле на песке: она «поехала», и я грохнулся опять, но на сей раз так неудачно, что выбил несколько передних зубов о край кадушки.

Увидев кровь, я страшно перепугался, на мои дикие вопли примчалась не только мама, но и бочар-домовладелец. К моему безмерному удивлению, я не услышал ни единого бранного слова за сломанный сук, напротив, меня всячески жалели и утешали, даже бочар. Непосильная это все же задача для ребенка — разобраться в том, за что накажут, а за что — нет.

Следующей в памяти возникает картинка: я иду с нашей служанкой за покупками. Должно быть, прошло уже довольно много времени — надо же дать родителям передышку — после того злополучного сука, так как, помнится, был хмурый холодный зимний день. Песчаной кучи нет, я скольжу по льду замерзшей сточной канавки, а Мари-Софи-Гелене, держа меня за руку, шагает по краю тротуара. По-видимому, ее поддержки оказалось недостаточно, и я вдруг падаю, а поскольку я принципиально не падаю, как все нормальные дети, то ударяюсь лбом об острый край бордюрного камня и теряю сознание. Окровавленного, меня принесли домой, мама захохла. Отец в это время находился в суде. Вызвали врача, и меня зашили.

В результате мой свежий вид несколько поблек; хотя я был еще довольно новенький, но внешне — с оттопыренными красными ушами, выбитыми передними зубами и широким багровым шрамом на лбу — выглядел уже весьма потрепанным. (Шов, конечно, зажил не сразу, как у других детей, а поспешил воспалиться.) Нет, красавцем я не был, но меня это мало беспокоило.

Ибо наступила весна, и я вместе с сестрами, приятелями, знакомыми и незнакомцами отдавался увлекательной игре в шарики на Карлсплац. Надо ли добавлять, что я был плохим игроком, быть может, худшим во всем Грейфсвальде? К весне мне накупили довольно много

шариков всех сортов и размеров, от простых глиняных до «настоящих мраморных» и блестящих стальных, даже до больших хрустальных с белоснежными медведями в середине. Эти хрустальные я любил больше всех.

Но даже у самого полного ящика есть дно, и оно показывается довольно скоро, если из ящика только берешь. Мой мешочек с шариками худел на глазах. Они исчезали один за другим — глиняные, настоящие мраморные, серебристые стальные, стеклянные с витыми цветными палочками внутри... Вечером, лежа в постели, ото дня ко дню я справлялся с подсчетом наличности все быстрее и быстрее и с завистью поглядывал на сестринские мешочки, которые после каждой игры не худели, а толстели.

И вот настает час, когда приходится рисковать последним — шарами с белыми медведями, — больше играть нечем. Этому предшествуют долгие возбужденные переговоры. Противная сторона тоже высоко оценивает мои любимые шарики, хотя и не столь высоко, как я. В конце концов стороны приходят к соглашению: мне предоставляется шанс одним броском «белого медведя» вернуть почти весь проигрыш.

Детвора обступила нас кольцом, момент очень ответственный. Я знаю, какова ставка, и — что со мной бывает редко — собираю все свои силы. На этот раз мне должно повезти, обязательно должно...

Зрители затаили дыхание, нечасто приходит деть, чтобы судьба таких сокровищ решалась броском шарика. Мой противник года на два старше меня, он беспокойно переступает с ноги и зорко поглядывает на меня. Я целюсь точно в ямку, куда должен упасть мой шарик, руку, размахиваюсь...

В эту секунду противник кричит:

— Гляди, аист с лягушкой!

Мои глаза устремляются к небу, а шарик далеко от цели...

— Не считается! — кричу я возмущенно.

— Проиграл! — кричит он.

— Это обман! — кричу я, так как никакого аиста с лягушкой, естественно, нет. — Не в счет!

Я кидаюсь к шарик и зажимаю его в руке.

Противник набрасывается на меня и пытается раз-

жать мою руку. Мнения зрителей разделились, но большинство считает, что в игре (о любви еще рано судить) всякая хитрость дозволена. Однако, учитывая начавшиеся военные действия, они держатся подальше.

Да мой противник и не нуждается в подкреплении, мое положение и без того безнадежно. И силой и боевым опытом он намного превосходит такое бледное, хилое создание, как я. Хладнокровно отбивая левой рукой мои удары, ногтями правой он старается разжать мне кулак. Я чувствую, что хрустальный шарик с белым медведем вот-вот уйдет от меня. Но раз уж мне им не владеть, так пусть не достанется и ему, подлому обманщику! Метрах в двух передо мной зияет отверстие водостока. Напрягая последние силы, я вырываю из вражеских когтей руку и швыряю шарик в...

«Как бы не так!» — выразился бы сегодня берлинец. Хотя отверстие было близко, но я промазал. Шарик, ударившись о мостовую, разлетается вдребезги, один из осколков попадает мне в лицо и глубоко разрезает кожу под самым глазом.

Опять меня, окровавленного, приводят домой, опять сшивают, и моя внешность становится драматичнее на один шрам. «Наш драный рыцарь-разбойник», — говорил отец, глядя на меня, и вздыхал. Этот титул сопутствовал мне на протяжении всей юности.

Но посмотрите, как нарастала эффективность постигших меня несчастий! За хулиганство я поплатился застрявшей головой — и здесь кара в сравнении с проступком была мягкой. Уже гораздо болезненнее (выбитыми зубами) я был наказан за само по себе похвальное намерение возместить причиненный ущерб, то есть привязать сломанный сук. Но самая суровая кара пала на меня после боя, в котором я сражался за свое право. Мало того, что я утратил любимую вещь, эта любимая вещь, будучи уже разбитой, стала палачом, пригрозив мне потерей глаза и нанеся внушительную рану!

Того, кто посчитает все это лишь случайностями, вряд ли переубедишь! Мне же давным-давно ясно, что Злоба собственной персоной шепнула у моей колыбели какое-нибудь ядовитое заклинание, заколдовав меня на веки вечные. Слышал ли кто-нибудь когда-нибудь, чтобы брошенный на мостовую стеклянный шарик отскочил обратно и, словно разъяренный зверь, впился в того, кто его бросил? Я не слышал, по крайней мере, с дру-

все-таки... ведь я его сын... светлая голова... подумаешь, всего-то четверть годика как следует позубрить... Зато на полгода раньше в университет... отец даже решился напомнить об одном давнишнем, почти забытом случае, а именно, когда ему рекомендовали отдать меня в учебное заведение для умственно отсталых детей. Вот теперь-то у меня есть возможность доказать, что я не отстал в своем развитии, а, наоборот, обогнал!.. Впрочем, решать должен я сам, он, естественно, не настаивает... если мне доставит удовольствие лишних полгода протирать штаны за партой, пусть, он возражать не станет.

Перед столь эффективным разговором, как «мужчина с женщиной», сын, конечно, не смог устоять. Я решил, что все одолею и готов перепрыгнуть эти полгода; меня забрали из гимназии Бисмарка и записали в институт доктора Дакельмана. Знай я заранее, что меня ожидает, я бы получше продумал свое решение. Институт доктора Дакельмана был так называемым «прессом», где в тупые головы, от которых приходили в отчаяние обычные учителя, втискивали столько знаний, сколько было необходимо для сдачи определенных экзаменов.

Осведомленность преподавателей дакельмановского института о том, что требуется знать на экзамене, поразительна. Они знают не только учебный материал вообще, им еще в точности известны специфические особенности экзаменаторов в каждом учебном заведении: например, в Гота сидит профессор, который не прощает экзаменуемому, если тот споткнется на втором аористе; а в Мерзбурге есть учитель немецкого, который требует знать наизусть монолог Геслера, «Песнь о колоколе» и «Перчатку». В лейпцигской же гимназии королевы Каролы обязательно спрашивают первые сто тридцать пять гекзаметров «Одиссеи». Именно такие «требуемые» знания, без какой-либо связи, и вдалбливали экзаменующимся. Институт был озабочен лишь тем, чтобы «курса́нт» выдержал экзамен, дальнейшей его судьбой не интересовались.

Вот в такой «пресс» я и попал, причем отец, желая сделать лучше, записал меня на индивидуальные занятия. Пять часов до обеда и три часа после я оставался один на один с учителем. Никого, кроме тебя, не вызывают, ни на что постороннее не отвлечешься, — и так восемь часов в день. Учителя сменялись ежечасно, меня же никто не сменял, я один был на вахте, да еще на какой!

А когда я, изнуренный, плелся домой, неся в школьной сумке задания, которым к завтрашнему утру надлежало перейти в мою голову, я знал, что мне еще сидеть и сидеть до позднего вечера.

Прежде я придерживался весьма неопределенных взглядов на школу и отметки. Я не усматривал ничего худого в том, если получал низшую оценку за то, что замечтался на уроке. Не пугал меня и появлявшийся порой на моих домашних заданиях постскрипtum «плохо» или «неудовлетворительно». Миновали времена, когда мама регулярно делала вместе со мной уроки, да и отец уже редко заглядывал в мои тетрадки, тем более что получал он их лишь по очень настойчивому требованию. Я обрел самостоятельность. И вообще, достаточно было чуть приналечь в последней четверти; в списке переведенных в следующий класс я все равно числился — если не пятым, то десятым или пятнадцатым, главное, числился.

Но что эта милая детская зубрежка в последней четверти по сравнению с тем, что от меня требовалось в «прессе»! Моя голова сразу распухла. Причем здесь на тебя не кричали, не придирались, учитель не выходил из терпения, не ругался и не задавал в наказание лишних уроков. Напротив, более терпеливых учителей я никогда не встречал, — без терпения им бы не справиться со свертупоголовыми, которые были их хлебом почасовым. С беспримерной выдержкой они повторяли одно и то же десять, двадцать, а если надо, и сто раз, пока это не надоедало даже самым непроходимым тупицам и они не предпочитали ответить правильно, чем выслушивать опять и опять. Ведь за этим, по крайней мере, следовало что-то новое, которое, впрочем, сразу же начинали вдалбливать прежним способом.

Я находился под особым покровительством доктора Дакельмана, которому нельзя было отказать в известной едкости. Это был невысокий, толстый, весьма неприятный человек, имевший привычку фыркать. Восседать за учительским столом он принципиально не желал и усаживался рядом со мной за парту; надо сказать, что занятия велись в большой гулко-пустой классной комнате, и таким образом я всегда выступал «последним»! То, что «первым» был доктор Дакельман, читавший рядом со мной тот же учебник, само собой разумеется.

— Фаллада! — говорил он и фыркал. — Non omnia possumus omnes, не все мы можем всё. Провалиться с треском на экзамене ты-то всегда сможешь. Но не по латыни, клянусь богом, не по латыни, даже если мне придется вдолбить герундив в последнюю клетку твоего мозга! Будь у меня основание сравнивать тебя с теми усатыми болванами, которые в ожидании призыва на военную службу делают последнюю отчаянную попытку сдать экзамен, дабы на правах вольноопределяющихся отслужить лишь год, я бы тихо страдал и безмолвствовал. Но ведь ты светлая голова... а здесь у тебя — «ut» с индикативом! Eheu te miserum! Si tacuisses! ¹

И я, воистину несчастный, знал: теперь два часа кряду мне придется слушать, что за «ut» следует конъюнктив; и сегодня и завтра он будет долбить, долбить и долбить — до тех пор, пока правило не засядет во мне намертво. И как только это будет достигнуто, он приведет исключения, где «ut» все же управляет индикативом; в голове у меня получится каша и исключения заглушат правило. Но как господь бог, он создаст в моей голове твердь и не успокоится, прежде чем отделит воду, которая над твердью (правило!), от воды, которая под твердью (исключения). И все это время он будет безостановочно глаголить о моей светлой голове, а ведь я точно знал, что другим-то он аттестовал меня как тупицу и хвалил их светлые головы!

Совсем иным был господин Мутезиус — длинный, серьезный, смугловатый человек, у которого рукава всегда были перепачканы мелом от постоянного пребывания у доски. Ему досталась гораздо более трудная задача — подготовить меня по математике — области, в которой я был, несомненно, мало одарен. Это он сразу понял; втолковать мне, что то или иное геометрическое доказательство бесспорно и какой-либо другой вариант исключается, было положительно невозможно. В минуты озарения до меня доходило, что доказательство верно, но даже в такие мгновения я продолжал сомневаться: не существует ли все же еще более бесспорного доказательства противоположного.

Поэтому герр Мутезиус ограничивался тем, что вдалбливал в меня отдельные доказательства. Я должен был механически заучивать их наизусть независимо от

¹ О несчастный! Лучше бы ты молчал! (лат.)

того, понятны они мне или нет. Сцена заучивания игралась взволнованно, чуть ли не бурно. Если речь шла о легких случаях, то герр Мутезиус, возвышаясь надо мной за своим столом, лишь стучал широкой линейкой в такт звучащим формулам и тем регулировал мой лепет.

Но в более серьезном случае учитель поднимался и заставлял меня ходить вслед за ним, шагая в ногу, между рядами парт; при этом он яростно притопывал и в том же ритме резко поднимал и опускал линейку, словно дирижерскую палочку. Как сейчас, вижу его перед собой: испачканный мелом черный сюртук, фалды, дергающиеся в такт шагам, притопывающая нога и гремящий голос, от которого a^2 и b^2 , $(a + b)$ и $(a - b)$ сразу оживали. Вслед за ним я невольно начинал притопывать на каждый «плюс» и выкрикивать каждый «минус».

Сколько часов мы протопали так вокруг парт в хмурые, безотрадные зимние дни! Газ еще не зажгли, и сумрак в этот послеполуденный час, казалось, медленно начинает вставать с пола, очнувшись ото сна; вот мы погружаемся в него по колено, потом он поднимается выше, в нем тонут руки, а под конец и лицо. Но мы продолжаем топать и зубрить: $(a + b)$ и $(a - b)$... О господи, у меня больше нет ни друзей, ни родителей, ни отчего дома, ни брата и сестер. Даже об экзамене нельзя подумать. Ибо экзамен означал бы конец тому, что сейчас происходит, а этому конца не будет! Ради самоцели мы будем здесь маршировать, притопывать, словно в каком-то диком воинственном танце, час за часом, всю жизнь, пока из мозгов пойдет пар, весь мир исчезнет, наше я сотрется и не останется ничего, кроме $a^2 + 2ab + b^2$! Боже мой! (С притопом на «мой»!)

На своем последнем уроке герр Мутезиус дал мне ценное наставление.

— Послушайте,— сказал он.— Послушайте, вы, как вас там...

(Дело в том, что герр Мутезиус упорно обращался ко всем своим ученикам, невзирая на их возраст, только на «вы». И не ради того, чтобы выразить какое-то особое уважение, а просто потому, что ему было лень запоминать, кому из учеников следует говорить «вы», а кому — «ты». Равным образом не запоминал он и фамилии и всех одинаково называл собирательным «как вас там».)

— Послушайте, вы, как вас там! — сказал герр Мутезиус. — В Лейпциге вам придется сдавать профессору, который видит насквозь, не вздумайте вкручивать ему, что вы, как вас там, хоть что-то поняли в математике! Придерживайтесь заученного, предупреждаю вас... Если что-нибудь не знаете, то не болтайте вздор, а ответьте честно: я этого не знаю, мне этого Мутезиус не вдобил. Скажете, что отсутствовали, что у вас была краснуха, — все лучше, чем бредни. А если все-таки окажетесь в затруднении, то хитро переведите разговор на Хустона Стюарта Чемберлена. Слышали когда-нибудь о нем? Нет? Еще бы! Да и откуда вам знать?! Он написал книгу «Основы двадцатого века», книга — конек профессора. Если вам удастся усадить его на конька, вы спасены. Даже если покажетесь ему еще большим невеждой, чем вы есть на самом деле!

Засим герр Мутезиус расстался со мной, и больше я о нем ничего не слышал. Вспоминая его теперь, я ломаю голову: может ли такой человек жить, как все люди, есть ли у него жена и дети, кто ему чистит черный сюртук, есть ли у него какие-либо страсти, любит ли он пиво, что он ест? Но все эти вопросы остаются без ответа. Я не могу себе представить герра Мутезиуса где-либо еще, кроме той классной комнаты: сгущаются сумерки, а он все кружит и кружит, все притопывает и притопывает, размахивая линейкой и скандируя: $(a + b)$ и $(a - b)$!

И вот лучезарный апрельский день, незадолго до праздника пасхи. Я спускаюсь по широкой лестнице гимназии имени королевы Каролы, а внизу стоит отец и с нетерпеливым ожиданием смотрит на меня. Я ступаю как можно медленнее. Чтобы скрыть переполняющую меня радость, я нахмурился и стараюсь выглядеть возможно мрачнее.

Но, наверное, я очень плохой актер, ибо полное ожидания отцовское лицо расплывается в довольной улыбке.

— Сдал, Ханс? Значит, выдержал?! — говорит он, сияя от счастья.

— Где там, пап! — пытаюсь я продолжать начатую игру. — Провалился с треском!

— Хватит притворяться! — смеется отец. — Я же по глазам вижу! Трудно было?

— Ни капельки! — смеюсь я. — Для того, кто побы-

вал в лапах у Дакельмана, это игрушки! Все сдал с блеском, даже матему!

— Математику! — поправляет меня отец, который даже в столь радостные минуты не признавал нашего школьного жаргона. — И так, ты шестиклассник, Ханс, на полгода досрочно! Ты поверг своего отца на лопатки! — Продолжая довольно улыбаться, он внезапно говорит: — Скажи, Ханс, чего тебе подарить? Ну пожелай что-нибудь солидное, настоящее, не стесняйся. Сегодня я щедрый!

— Что-нибудь солидное, настоящее? — задумчиво переспрашиваю я. — Даже если дорого стоит, папа?

— Даже если дорого, пусть! — говорит отец. — Есть у тебя что-нибудь такое на примете? Ну, сразу, не задумываясь!

— Конечно, есть! — отвечаю я. Подобный вопрос мне кажется по меньшей мере смешным: желания есть в любую минуту, в любом количестве, любого рода, — чего тут задумываться. — Идем, папа, я тебе кое-что покажу!

— Что же ты мне покажешь? Но сначала нам надо послать телеграмму доктору Дакельману!

— Пошлем. Там по дороге есть почтамт.

— А ты уже хорошо ориентируешься в Лейпциге! — удивляется отец

— Твоя заслуга, пап! — говорю я. — Ведь это ты научил нас, как запомнить все переулки на Цейцер.

И я повторяю вслух мнемоническое заклинание, разученное нами с отцом:

— Ахол Сидол Софхен Кёрнер из Шенкендорфа подарила книгу Арндта через Мольтке для кронпринца!

Что в переводе на общепонятный язык означает: Цейцерштрассе пересекают следующие улицы по порядку: Альбертштрассе, Хоэштрассе, Сидониенштрассе, Софиенштрассе, Кёрнерштрассе, Шенкендорфштрассе, Арндтштрассе, Молькештрассе и Кронпринценштрассе.

Отец питал страсть к подобным мнемоническим приемам. В таких случаях, как этот, я охотно пользовался ими, но если для облегчения запоминания отец предлагал цифры, я, естественно, бастовал. Когда, например, в моей голове никак не хотело удерживаться, что битва на Эгоспотамы произошла в четыреста пятом году до рождения Христова, отец предложил мне следующий способ: «Это же совсем просто, Ханс! Вас четверо брать-

св и сестер,— вот тебе первая цифра четыре. Больше у тебя ни брата, ни сестры нет, значит, ноль. Но если бы еще был один, то вас стало бы пять. Итак, 405!»

Для меня это звучало неубедительно. По-моему, с таким же успехом можно было сказать: в нашей семье шесть человек, итак шестерка. Если добавить бабушку, будет семь. Больше не берем никого, пишем ноль. Значит, битва на Эгоспотамы состоялась в 670 году до Р. Х. Выслушав мой очередной контрвариант, отец всегда немного обижался. Помолчав, он говорил: «Ах, какая же ты старая балаболка!»

Но сейчас, оттого что я воздал должное его «запоминалке» «Ахо! Сидо!», настроение у отца еще больше повысилось.

— Так что же это такое, Ханс? Ты меня совсем заинтриговал!

— Скоро увидишь, пап! — сказал я, устремляясь вперед. И ради предосторожности добавил: — Но я думаю, что это, пожалуй, даже наверняка, стоит чуть больше ста марок!

Отец немного призадумался.

— Совершенно не представляю себе,— сказал он почти недовольным тоном,— что такой мальчик, как ты, у которого есть все, может вдруг пожелать что-либо на сто марок и даже более!

Он обиженно умолк, но тут мы вошли в почтамт.

Отец долго размышлял над текстом телеграммы: писать, что я выдержал экзамены «блестяще» или «хорошо»? Ведь пока еще это известно лишь с моих слов. Однако мне удалось уговорить его на «блестяще», что, впрочем, соответствовало истине.

Затем мы отправились дальше. Наконец я остановился у большой витрины.

— Вот!! — сказал я и ткнул пальцем.

— Велосипед?! — воскликнул отец озадаченно.— А ездить-то ты умеешь?

Конечно, я мог бы рассказать ему историю о мальчике, который, спросив у своего отца разрешения купаться, услышал: «Да, если только ты умеешь плавать!» Но я действительно уже умел ездить на велосипеде. Научился еще в Берлине, на велосипедах других мальчиков, тайно. Тайну пришлось соблюдать по той простой причине, что ездить на велосипеде мне никогда не разрешили бы. Но, к моему собственному удив-

лению, я сравнительно дешево отделался. Лишь несколько разорванных на коленях чулок да стертые до крови ладони, в чем была исключительно виновата большая повозка с углем, которая простояла два дня на Луипольдштрассе неразгруженной. Повозка каким-то непостижимым образом притягивала меня: даже если я ехал по противоположной стороне улицы, то все равно натыкался на нее, а однажды и вовсе приземлился под ней!

Но все это давно минувшие дела, сейчас я был отличным велосипедистом и мог с гордостью ответить:

— Умею ли я крутить педали? Конечно, умею, пап! Все мальчишки умеют!

Отец был более склонен продолжать начатую тему, вместо того чтобы сосредоточиться на покупке велосипеда.

— А где же ты успел научиться, Ханс? — спросил он.

— В Берлине, конечно! — ответил я невинным тоном. — Уже давным-давно. Задолго до Дакельмана. А потом, учиться на велосипеде и не нужно. Это сразу получается. Прямо садишься и едешь.

И я честно посмотрел отцу в глаза.

— Так! — сказал он сухо. — Что же ты нам ни разу ничего не говорил об этом твоём новом искусстве? А, Ханс? Странно, очень странно! Ведь обычно ты не бываешь таким скромным, когда речь идет о твоих успехах, Ханс!

Отец глядел на меня с пронизательной, иронической улыбкой.

— О-о!.. — сказал я, заметно смутившись. — Это же чепуха! Какое там искусство!

— Ладно, — сказал отец. — Сегодня особенный день, и я не хочу больше к тебе приставать. Мне, однако, помнится, будто несколько месяцев тому назад мама жаловалась, что у тебя необычайно повысился износ чулок. Кажется, ты рассказывал нам о прыжках в длину на уроках гимнастики, где ты часто падал?.. Но, скорее всего, память мне изменяет, не правда ли, Ханс?

Я предпочел смолчать.

— Пожалуй, ты прав, не будем больше говорить об этом. Тебя создало небо превосходным велосипедистом. Верно, Ханс?

— Верно, пап!

— Ну так вот, сын мой, здесь улица тихая, и сначала сдай-ка небольшой экзамен — мне и владельцу магазина. А тогда и поговорим о покупке. Ты сегодня не вылезаете из экзаменов, Ханс!

— Уж этот я сдам еще блистательнее, пап!

Так оно и было. Четверть часа спустя я катил рядом с отцом домой, демонстрируя свое мастерство невероятно медленной езды, что, как известно, самое трудное для велосипедиста. Я тараторю без умолку, все шлюзы открыты. Я в полном блаженстве. Велосипед стоил сто тридцать пять марок, отец купил мне настоящую вещь, на всю жизнь. Он отклонил лишь полуночную модель — с загнутым книзу рулем.

— Нет, нет, видел я этих. Они похожи на обезьян в седле. Мне не хотелось бы поощрять тебя, Ханс, в этом направлении, я все еще не теряю надежды, что ты со временем разовьешься в человека.

Раз отец подтрунивал, значит, он был в превосходном настроении.

Пробуждение на следующее утро было великолепным. Я очнулся от глубочайшего сна, который, едва я открыл глаза, тут же улетел, но, улетая, оставил во мне ощущение чего-то прекрасного, пережитого ночью. Было еще очень рано. В доме все спали, и город вокруг тоже спал, только ранние птицы уже щебетали в саду.

Внезапно я осознаю, что у нас есть сад! Мы больше не в Берлине, мы живем в Лейпциге, с веранды нашего нового жилища по нескольким ступенькам можно спуститься в сад. А в этом саду уже кое-что цветет: крокусы, анемоны, подснежники. И трава зеленеет — уже весна, скоро пасха, а главное — у меня каникулы. Самые настоящие, без всяких уроков, лентяйские каникулы, ведь я вчера с блеском сдал экзамены! Я перепрыгнул целых полгода, я в шестом классе!

Горделивое чувство наполняет меня, я сумел кое-чего добиться, несмотря на то, что доктор Дакельман в душе считает меня чурбаном! Но я справился! Вне всякого сомнения, и тому есть веское доказательство — велосипед, новехонький мужской велосипед, который стоит внизу, в подвале!

Меня захлестывает такое ощущение счастья, какое редко бывает, — весна, каникулы, пасха, шестой класс

и велосипед, это чересчур! Я с наслаждением потягиваюсь и зеваю, зевок получается громким, протяжным.

Хватит валяться. Встаю тихо-тихо, чтобы никого не потревожить. С необычной поспешностью умываюсь, но воскресный костюм тем не менее надеваю. и тут же крадусь в подвал.

Вот он! Велосипед марки «Бреннабор» с втулкой свободного хода «Торпедо» и ножным тормозом. Отец проявил щедрость, он выбрал не только лучшую машину в магазине, но и купил к ней подставку и ацетиленовый фонарь. Я влюбленными глазами созерцаю мой велосипед, потом рукой нажимаю на педаль и раскручиваю заднее колесо, оно вертится так быстро, что не видно спиц! Резко поворачиваю педаль в обратную сторону, и колесо мгновенно застывает: немыслимо быстрое вращение почти без паузы сменилось полным покоем. Здорово!

Крадусь обратно наверх и, подвергнув ревизию мамин шкафчик со старьем, обнаруживаю полотенце, которое, на мой взгляд, не стоит больше чинить. Я его конфискую, затем прихватываю из швейной машинки пузырек масла (чистого костного!) и опять спускаюсь вниз; и без того сверкающий велосипед я надраиваю до зеркального блеска, а во все только вчера смазанные продавцом места добавляю по несколько капель масла.

Утро уже не самое раннее, но еще довольно рано, когда я заканчиваю работу. Сверху доносится шум — прислуга начала уборку. Раздумываю, что делать дальше. Такой счастливый день, первый день каникул, хочется начать как-то по-особенному. Вспоминаю о дяде Ахиме, который живет в пригороде Лейпцига. Дня четыре назад он с тетей ненадолго заглянул к нам, нанесу-ка я им с утра ответный визит. На велосипеде.

Еще раз поднимаюсь наверх. Встречаю старую Минну (она не без колебаний согласилась переехать из Берлина в Лейпциг) и на местном жаргоне требую у нее два бутерброда. Это вызывает у Минны некоторое раздражение, так как она зла на жителей Лейпцига за то, что они говорят не по-берлински и вообще всё выговаривают неправильно. Вот на днях какой-то полицейский прямо заявил ей, чтобы она садилась не в мягкую, а в жесткую конку. Нет, люди здесь просто нелепы. Конечно, немного подурачиться не вредно, но что слишком, то слишком!

Пока Минна, продолжая ворчать, готовит мне настоящие берлинские бутерброды, нас с любопытством разглядывает наша новая лейпцигская служанка. Она еще очень молодая, статная и отзывается на имя Альбина. У нее чуть рыжеватые волосы и белая-белая кожа. Мне Альбина нравится; во-первых, вообще, по причине, которую я еще не могу точно определить, а во-вторых, потому, что она со мной очень вежлива: обращается ко мне на «вы» и называет баричем.

Я спрашиваю ее:

— Вы не знаете, Альбина, какие фуражки носят «кароланцы»?

— Конечно, знаю, барич! Бордовые с серебряными полосками. У них самые шикарные фуражки в Лейпциге!

Разумеется, я это сам давно знаю, но все же приятно лишний раз услышать из других уст о том счастье, которое тебя ждет. В Берлине не было разноцветных гимназических фуражек.

Минна возмущается:

— Ну что это еще за глупости — разноцветные фуражки! Чтобы школьники видели, кто из какой гимназии, и сразу совались в драку!

— Шестиклассники не дерутся, Минна! — заявляю я величественно.

Под ее недоверчивыми взглядами (куда это ты спозаранку собрался, Ханс?) я завертываю бутерброды в бумагу, отвечаю через плечо:

— К завтраку меня не ждите, я поехал к дяде Ахиму! — и, прежде чем Минна успевает возразить, выскакиваю из кухни.

Теперь надо внимательно изучить план города, который я заранее «организовал» из отцовского кабинета. Так: сначала еду по Кронпринценштрассе, затем через какой-то лес, нет, — парк, а дальше вдоль берега Плейсе, все время по «зеленому», — это на карте «зелень», на деревьях-то ее еще нет! — почти до самого дядиного дома.

Еще довольно свежо, хотя светит солнце. Улицы пустынные, в этот утренний час они кажутся шире и чище, чем днем. Кроме молочниц да мальчиков, развозящих газеты и булочки, никого не видно. То есть видно еще меня, гордо восседающего на велосипеде! Я еду не торопясь, спешить некуда, еще только шесть

утра. Да и вряд ли наносят первый визит до семи часов.

Вот я и в лесу — это все же лес, а не парк — и качу по красивой светлой велосипедной дорожке вдоль Плейсе. Здесь много домиков, возле которых лежат перевернутые лодки, — сегодня же приду сюда с Эди, будем учиться грести. Конечно, Лейпциг нравится мне куда больше, чем Берлин. У ресторанчика под названием «Водяной бог» я останавливаюсь и, прислонив велосипед к скамейке, хожу взад-вперед, чтобы немного согреться; на ходу жую бутерброды. Потом кручу дальше, по дороге делаю еще две-три остановки — иначе приеду в гости слишком рано.

В семь часов с минутами я звоню у калитки палисадника. Из окна собственной персоной выглядывает дядя Ахим.

— Ты, Ханс? — спрашивает он весьма удивленно. — Что-нибудь случилось?

— Нет, ничего! — отвечаю я, несколько смутившись. — Просто решил вас навестить... У меня вот новый велосипед...

Но, судя по всему, велосипед дядю не очень интересует.

— Ладно уж, входи, сынок! — говорит он, покорившись судьбе. — Времени у меня, правда, немного, в полдевятого надо быть в городе!

Я вхожу и здороваюсь с тетей и дядей. Меня приглашают завтракать. Но я не могу сесть за стол здесь. Сидеть в этой комнате свыше моих сил. Ибо все стены увешаны сувенирами из разных стран. Дядя поездил по свету; у него плантация в Бразилии, ферма в восточноафриканской колонии. По стенам на пестрых коврах расположился чуть ли не целый этнографический музей.

Напрасно меня зовут завтракать. Не до этого. Наконец дядя говорит, посмеиваясь:

— Ну ладно, Ханс, если уж не хочешь есть, то выкури хотя бы сигарету. Ты ведь куришь?

— Конечно! — вру я, не моргнув глазом, и беру сигарету из протянутого портсигара. На самом деле я еще ни разу не курил, даже в голову не приходило курить. И по какому-то неожиданному сцеплению мыслей, желая продемонстрировать свой зрелый возраст, я заявляю:

— А я вчера сдал экзамены в шестой классе. Папа мне подарил за это велосипед.

— Вот как,— говорит дядя довольно равнодушно.— Весьма отродно, весьма. Но мне пора. Скажи тете до свидания, Ханс, и проводи меня до станции.

Не успел прийти, как уже надо уходить; даже я понимаю, что мне на это довольно ясно намекают. (Лишь позднее я узнал, что дядя с тетей терпеть не могли визитов, особенно родственных! Они предпочитали оставаться в своем домике наедине.) Но, с другой стороны, хорошо, что я вышел на улицу: можно незаметно избавиться от сигареты. А то мне как-то стало не по себе, желудок, словно лифт, устремляется ввысь, а в голове какой-то туман. Едва дядина фигура скрылась на станции, ныряю в кусты, и съеденные бутерброды извергаются обратно. «Больше ни за что! — клянусь я мысленно.— До чего же это противно — курить!» (Опустошая желудок, я и не подозревал, что эта сигарета спасла мне жизни!)

Облегченный, с прояснившейся головой, я беру курс к родному дому. Тошнота прошла, и я уже с радостью подумываю о завтраке. Обратно я еду не через лес, а по довольно унылым и тряским улицам предместьев, вымощенным булыжником. Вскоре по правую руку показываются какие-то длинные строения, на вывеске читаю: городская бойня.

Здесь уже гладкий асфальт, улицы почти пусты. Невольно начинаю жать на педали, быстрее, быстрее, до чего же хорошо мчаться на велосипеде! Опьяненный скоростью, я лихо, в крутом вираже, сворачиваю в переулочек и вижу прямо перед собой двух гнедых, скачущих на меня, и мясной фургон!

Не помню, успел ли я затормозить. Я вообще ничего не помню. Я только вижу две лошадиные груди, которые вздымаются надо мной все выше, выше, вижу длинные лошадиные ноги с блестящими подковами, ноги эти все растут, растут...

О дальнейших событиях моего первого каникулярного дня сам я, понятно, могу поведать лишь немного. Дальше было то, что бывает всегда в таких случаях: вокруг на удивление быстро собралось много народа. Сквозь толпу протиснулся полицейский и, склонившись надо мной, попытался выяснить, кто я. Когда он спросил у меня фамилию и адрес, я будто бы

четко ему ответил: «Три года», — что явно не соответствовало возрасту отвечавшего. Но вот вам лишнее подтверждение того, как все-таки полезно быть сыном очень аккуратного отца: на плане Лейпцига, обнаруженном в моем кармане, были надписаны фамилия и адрес. Какая-то сердобольная душа притащила матрац, и меня первым делом отнесли в тепло, в ближайшую лавку, владельцу которой оказался не столь жалостливым и даже энергично протестовал, опасаясь, что я не только перепачкаю кровью магазин, но и разгонию покупателей... А я действительно весь был в крови. Удар копытом пришелся прямо по рту, губа была разорвана, зубы — частью выбиты, частью — торчали во все стороны; что же до остального, выяснилось лишь потом...

(А выяснилось, что при столкновении с гнедыми мне пришлось отведать порцию дышла, хотя и минимальную. Эта порция очень долго и болезненно отделялась от меня.)

Один полицейский остался дежурить у лавки, другой поспешил к моим родителям, чтобы подготовить их к страшному событию. Тем временем за мной приехала санитарная машина. Эди, встретивший ее возле нашего дома, примчался к родителям с криком:

— Ханса привезли! Папа, мама, его привезли! Он еще чуточку жив!

Под руководством врача с меня стали удалять одежду. Особенно впечатлило меня — разумеется, гораздо позднее — то, что белье пришлось буквально срывать с тела, так как при малейшем движении я стоял и охал. Сотрясение мозга, несомненно, произошло, насколько оно тяжело — выяснится впоследствии. Повреждение полости рта оказалось «не страшным, страшным оно только выглядело». Была сломана ступня.

Но когда с меня содрали нижнее белье, врач посмотрел на родителей долгим многозначительным взглядом: на моем туловище, как ожог, отпечатался багровый след колеса. Вот чем объяснялась непрерывная кровавая рвота. Значит, я не только наглотался крови, которая текла из раны во рту, значит, кровоточил и желудок — то ли он лопнул, то ли разорван, — и это выяснится со временем.

Снова вызвали санитарный автомобиль, и меня отвезли в больницу...

Я пролежал там очень долго, более трех месяцев. Но я вовсе не собираюсь рассказывать историю болезни, почти каждому подобное известно по собственному опыту. Упомяну лишь, что долгое время мне не давали ни есть, ни пить; для операции я был слишком слаб, желудку требовался покой, так что я вынужден был голодать и томиться жаждой. Все это заменили мучительными вливаниями солевого раствора. А когда желудок чуть-чуть поправился, меня по недосмотру накормили чем-то не тем, и все началось сызнова — кровотечение, голодание и солевой раствор!

Когда меня, кое-как отремонтированного, через несколько недель привезли домой, я был похож на призрак. На одну ногу я хромял еще много месяцев, а во рту носил какой-то металлический каркас, к которому каждый из уцелевших зубов был привязан провололочкой. Ежедневно приходил дантист — коренной житель Лейпцига, по фамилии Тритше, — и копался у меня во рту: что-то вытягивал, прижимал и подвигивал, стремясь навести порядок в зубном хаосе. Было это очень неприятно, порой невыносимо. Между прочим, тот дантист порекомендовал мне средство для ухода за зубами под названием «Бebbe Го», о котором мы еще ни разу не слышали. Когда же отец, зайдя в аптеку, громко и внятно произнес «Бebbe Го», то получил давно известный «Пeбекко»!

Как уже говорилось, я был тогда почти фаталитом и воспринял эту беду, как воспринимал прежде и другие несчастья. Что делать, если такова моя судьба, приходится с этим мириться. Вначале: весна, каникулы, шестой класс, новый велосипед. В конце: зима, дополнительные занятия в гимназии, снова пятый класс, разбитый велосипед исчез, и никакой надежды на новый. Да, все усилия в институте доктора Дакельмана оказались напрасными. Напрасно я день и ночь зубрил, чтобы доказать, что я не тупица, каким меня считал герр доктор. Напрасно я зимними днями, в полусумерках, топал вслед за герром Мутезиусом по классной комнате. Напрасно я с «блеском» выдержал экзамены. Я не попал в шестой класс, меня оставили в пятом. Я не перепрыгнул полгода, я на год отстал.

В результате в моей жизни все переменялось. Появились другие школьные товарищи, другие учителя.

Из-за того, что я долгое время хромял, мне пришлось отказаться не только от уроков физкультуры, но и от танцев. Мне думается порой, умею я танцевать, моя жизнь могла бы сложиться совсем иначе. Постепенно я все больше и больше оказывался в изоляции, ведь у меня было так мало общего с другими.

Но когда на меня находило уныние, я часто говорил себе: а ведь тебе еще повезло! Если бы ты в то утро позавтракал у дяди Ахима, если бы не выкурил сигарету, ты, пожалуй, не воскрес бы...

Да, я был горемыкой, но в несчастье мне улыбалось счастье, много счастья. И теперь, собственно, можно подытожить: в общем и целом у меня, как у большинства людей, и худа и добра было поровну, да и сейчас чаши их уравновешены. Нет, тут я несправедлив: чаша счастья наполнена сегодня гораздо больше, она заметно перевешивает. А горе — оно лишь приправа к радости!

БГОЖЕНИЕ

Прежде чем расстаться с этими записками, мне хочется еще вспомнить о той переходной поре, когда детство прощалось со мной. Подобно капризной погоде, пора эта отличалась переменчивостью, нередко — без заметных переходов. То ненастье и сразу похолодает, выпадет снег. Потом сквозь облака проглянет солнце, снег тает, и вот уже снова наплывают тучи. Поднимается ледяной ветер и хлещет дождем в окна...

Так бывало и со мной. Я мог быть грустным, угрюмым, неразговорчивым, потом вдруг вскакивал и начинал дурачиться, а пуще того — дразниться. Терпение Эди я подвергал жестокому испытанию, а с сестрами вел себя так, что отец срочно прописал мне «Озорные годы» Жан-Поля. Я надулся. Книгу эту я обнаружил еще давно, когда рылся в отцовской библиотеке, и отбросил как «заумную чушь». (Многие воззрения, казавшиеся мне в юности незыблемыми, были мною вскоре так же отброшены!)

Доставляя много хлопот близким, я и самому себе был в тягость. Так же, как я не знал, куда девать свои руки и ноги, которые росли непомерно быстро и все время мешали мне, я не знал, куда девать самого себя. Иногда я подолгу смотрелся в зеркало. Мне ка-

залось, будто у меня не то лицо, какое должно быть в действительности, и я должен выглядеть совсем-совсем иначе! И вот из давних, как будто бы уже забытых времен всплывали полугрезы-полувоспоминания о каком-то другом я, которым я был в прошлом, всплывали и исчезали, оставляя всякий раз горький привкус грусти.

Но стоило мне, освеженному ванной, поглядеться в зеркало, как меня охватывало своего рода упоение тождеством. Сто раз я повторял своему отражению: «Это я! Я! Ханс Фаллада! Это я!..» Потом бросался на кровать и плакал, вне себя от счастья, что я — это я, и все же не мог понять, почему так нестерпимо тяжело переносить счастье...

От отца я унаследовал шесть холщовых папок с комплектами мюнхенского журнала «Югенд» первых лет издания. С тысяча восемьсот девяносто шестого года по девяносто девятый — времен невообразимо давних. Помню, что журнал этот обратился тогда с призывом собрать средства для какого-то молодого писателя, оказавшегося в нищете. Помнится также, что поступившие суммы были смехотворно малыми: один раз двенадцать марок, другой раз — двадцать. Писателя того звали и зовут Кнут Гамсун. За сорок пять лет, прошедших с тех пор, он стал большим писателем и намного перерос всех ныне живущих. Но уже тогда он написал «Голод» и «Мистерии»...

Все это я помню, как помню и многое другое, но журнальные комплекты больше не перелистываю. Я храню их уже немало лет, однако с той мальчишеской поры ни разу в них не заглянул. Не хочется. Да и листов тех, которые живее всего сохранились в моей памяти, я там не найду. Их нет. Я знаю, их нет — ни одного.

На листах были черно-белые, чаще всего контурные рисунки нагого тела. И вот в ту пору меня увлекла новая идея: по утрам, прокравшись в отцовский кабинет, я выдираю из журналов эти рисунки, а затем тайком с величайшим усердием раскрашивал в розовый цвет. Я уже не помню, что я при этом чувствовал. Наверное, то были какие-то неясные ощущения, которые вряд ли можно было выразить словами. То был лишь дым, огонь еще был глубоко за-
прятан.

Да, в мою жизнь вошло нечто новое, но оно не доставляло мне удовольствия, в нем было скорее что-то томительное. Я стал чутко прислушиваться к тому, о чем шептались некоторые мои школьные товарищи. При этом я нисколько не менялся в лице, делая вид, что меня это ничуть не интересует, что все мне давным-давно известно и вопрос ясен. А дома я раскрывал энциклопедический словарь и пытался разобраться, но тут же поспешно захлопывал книгу.

Меня пугало то, что я читал. Значит, все совсем не так, как мне рассказывали, значит, и учителя, и родители, и пасторы вралы?.. Бессовестно вралы! И уже с каких пор! Всегда! Мир зашатался. Я больше ничего не хотел знать, мне было противно то, что я узнал, и все-таки я опять тянулся к книгам. Почему родители ни разу не говорили со мной об этом? Ведь они-то должны знать! А может, вдруг не знают?

Помню, как однажды утром я обнаружил позади шеренги отцовских «Решений рейхсгерихта» красную брошюру, которая, кажется, называлась «Как мы воспитываем нашего сына Вениамина?». В брошюре торчала закладка, я раскрыл на заложённой странице и начал читать. Читал не отрываясь. Потом дрожащими руками спрятал брошюру на прежнее место. Мне было стыдно, что отец это читал, но еще больше меня смущало то, что я знаю, что он читал...

Нагих тетечек, которых я немилосердно размалевывал розовой краской, — они были похожи на марципановых свинок, — я складывал в синюю папку и запирали в своем письменном столе. Но вот как-то поздно вечером — я уже лежал в постели — ко мне в комнату вошла мама. Она была очень взволнована, чуть ли не плакала, то и дело сжимала мне руки и тревожно поглядывала на меня. Неожиданно она положила эту синюю папку на кровать и с отчаянием воскликнула:

— А я-то думала, что мой мальчик еще невинный!

И плача выбежала из комнаты.

Знаю, то было проклятое время. Выросшие в атмосфере ханжества и преувеличенной чопорности, родители были столь же беспомощны, как и дети. Из ложного стыда и те и другие боялись вымолвить хоть слово о запретном. Родители, несомненно, чувствовали, что это неправильно, что дети ждут от них помощи, что без их помощи испорченные товарищи или дурные

женщины сообщат детям в безобразной форме то, что родители сами должны были объяснить достойно, однако не умели. Они только почитывали брошюры «Как мы воспитываем нашего сына Вениамина?» да еще были способны, швырнув синюю папку, намекнуть, что, мол, знают о тебе все, а потом в слезах выбегали из комнаты, крича о потерянной невинности!

Слово «невинность» поразило меня как удар. Я и прежде совершал глупости и бывал наказан за них, но тут я сразу понял: это нечто иное. Раньше я был «непослушным», теперь — «виноватым»! Раз я больше не был невинным, значит, стал виновным; — это же ясно. И я понял, что вина моя не в том, что я выдрал страницы из отцовских журналов, и даже не в том, что размалевал их. Она была гораздо глубже...

Я стал ломать голову над проблемой. С юридической точки зрения я уже понимал благодаря отцу, что всякая вина предполагает умысел. Нельзя стать виновным без умысла, без желания. Но разве у меня был определенный умысел? Ведь не раскрашивание рисунков и не копание в книгах в поисках ответа тяготило меня, а состояние моего духа, мучительная встревоженность, предчувствующее Неведение, от которых мне так хотелось избавиться!

Виноватым я себя не считал. Я ведь не хотел всего этого. Раньше мне было гораздо лучше. Я бы с удовольствием поменял настоящее на прошлое! Нет, я не признавал за собой умышленной вины.

Но, что самое странное, в глубине души я все же чувствовал, что виноват. Зачем я тайком прислушивался к разговорам школьных товарищей? Почему, когда мне захотелось прочитать в энциклопедии о «зачатии», я взял с полки соответствующий том не с той же естественностью, как сделал бы, если бы меня заинтересовал «Занзибар»? Я совершенно инстинктивно стал делать все тайком, а ведь я усвоил поговорку — все, что прячется от дневного света, что делается тайком, то дурно. Почему я не мог спросить отца? Я же обычно спрашивал его обо всем! Почему я был уверен, что мама ни завтра, ни когда-либо еще не вернется больше к этой теме? Тема была тайной, тайной и для взрослых...

И, подумав об этом, я вдруг понял, в чем заключается разница между большими и маленькими, между взрослыми и детьми: одни знают об этой тайне, другие

нет. Я понял также, что теперь принадлежу к взрослым, что мне больше никогда не быть ребенком.

Меня охватил страх. Я не хотел быть взрослым. Моя детская жизнь постепенно упрочилась, я знал ее границы, обязанности и радости. Я научился в ней существовать, избегая слишком чувствительных столкновений. И вот все опять становится неопределенным! Стоит лишь подумать об этом тайном, как пропадает всякая уверенность. Родители и все авторитеты рухнули с пьедесталов, ибо оказались лжецами. Мир в смятении раскололся на две половины, и опять же было неизвестно — хорошо или плохо относятся эти половины друг к другу! Нет, я не хотел этого! Никогда не хотел! Я оказался без вины виноватым, мне захотелось вернуть былую уверенность, снова стать невинным. И я решил, что больше не буду ни копаться в книгах, ни подслушивать, ни малевать — даже думать об этом перестану! Я хотел обратно в сад детства!

Но суждено мне было то, что суждено всем: как только калитка в этот сад захлопнется, никаким ключом ее больше не откроешь. Он уплыл в вечность, сказочный сад... В сладостные минуты он еще является нам в мечтах, мы вдыхаем его ароматы, но ступить в него нам более не дано. Жизнь не хочет невинности. Каждая жизнь вынуждена стать виноватой...

А тут была Альбина, Альбина с белой кожей и рыжеватыми волосами. Она часто поглядывала на меня с улыбкой, но я в этот период смуты почти не замечал ее. Когда я, случалось, проходил мимо нее, она тихо вздыхала:

— Барич, ах, барич...

Оглянувшись, я видел, что она стоит, прислонясь к стене и подняв руки, потягивается, изгибается и смотрит на меня сквозь полузакрытые веки... Я обычно ускорял шаг... А однажды она прямо сказала мне:

— Ах, какой вы глупый, барич! Ну до чего же глупый!

При этом она улыбнулась и показала мне красный язык. Когда же я стал допытываться, почему я глупый, она проворчала:

— Придет время — узнаете...

И занялась своей работой.

Я вовсе не был столь глуп, как полагала Альбина, я уже давно заметил, что она поглядывает на меня с

удовольствием. Но я все же опасался ее именно потому, что не знал, к чему может привести это поглядывание. А кроме того, на меня всегда действовало прочитанное: при виде Альбины мне в голову лезли строки Вильгельма Буша: «У каждого юноши бывает пора, когда его влечет к кухонной прислуге». Мне казалось, что в этом влечении есть что-то недостойное...

Но однажды вечером родители ушли в театр. Я уже лег в постель, потушил свет и собирался было заснуть, как дверь тихонько отворилась. Я затаил дыхание и не пошевелился даже, услышав шепот:

— Барич! А барич!

Тишина. И среди тишины вдруг заколотилось мое сердце, заколотилось от страха; оно стучало так сильно, что ей, осторожно подкравшейся к кровати, наверное, было слышно. Я же по-прежнему лежал не дыша и не шевелился. Она наклонилась ко мне и тихо спросила прямо в лицо:

— Барич, вы спите?

Наступила долгая минута страха. (Я боялся, что Альбина уйдет! Боялся, что останется!) Потом я почувствовал ее губы. И словно все это я давным-давно знал и умел, я обвил руками ее шею и прошептал:

— Останься, Альбина, останься...

И вот сад детства закрылся для меня навсегда, но меня это больше не огорчало. Я уже не чувствовал себя дома у нас, в доме моих родителей, я ушел от них далеко-далеко, и мне было радостно...

ПРИМЕЧАНИЯ

МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК, ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?

Стр. 35. *...броненосные герои...* — Намек на то, что в свое время социал-демократы поддержали в рейхстаге ассигнования на строительство военного флота.

Стр. 54. *...полцентнера...* — Центнер, принятый в Германии, равняется 50 кг.

Стр. 64. *Рейхсбаннер* — одна из организаций немецкой социал-демократической партии.

Стр. 73. *Груф* — сокращенно группенунтерфюрер.

Стр. 113. *Штефан Генрих фон (1831—1897)* — основатель немецкой государственной почты.

Стр. 165. *...принесли от Кампинского...* — Один из самых дорогих берлинских ресторанов.

Стр. 268. *Дальдорф* — в Дальдорфе, под Берлином, находится известная психиатрическая лечебница.

У НАС ДОМА В ДАЛЕКИЕ ВРЕМЕНА

Стр. 355. *Что им, например, тетя Густхен? Гекуба...* — Выражение заимствовано из трагедии Шекспира «Гамлет»; а. 2, сц. 2: «...Что он Гекубе, что она ему?» (то есть мне это ни о чем не говорит).

Стр. 357. *Тирпиц Альфред фон (1849—1930)* — немецкий адмирал и политический деятель, один из наиболее реакционных и агрессивных представителей германского империализма, учреди-

гель «Германского флотского союза», основанного в 1898 г. в Берлине с целью пробуждения интереса к значению и задачам флота.

Камергерихтсрат — член камергерихта, «Высшего» (апелляционного) суда в бывшей Пруссии и провинции Бранденбург.

Стр. 366. *Тафельдекер* — накрывающий стол.

Куверт — столовый прибор.

Уэджвудский сервиз. — Уэджвуд — фабрика керамических изделий, основанная в 1762 г. в Англии, в Бёрслеме, Джозайей Уэджвудом (1730—1795) и существующая доныне.

Стр. 382. *Май Карл* (1842—1912) — немецкий писатель, автор приключенческих романов, в которых фигурируют североамериканские индейцы, арабы, индусы — и непременно «белый» герой немецкого происхождения.

Ситтинг Буль, Ник Картер — сыщики, герои бульварных детективных романов.

Стр. 384. *Турн-и-Таксис* — немецкий княжеский род, управлявший в XVII—XIX вв. генеральным почтовым ведомством. Франц фон Таксис (1460—1517) учредил первую почтовую связь между Веной и Брюсселем.

Стр. 386. «*Штольверк*» — кондитерская фабрика в Берлине.

Либиг Юстус (1803—1873) — выдающийся немецкий химик, основатель агрохимии, автор исследований о питании человека. Известны мясные экстракты и мясной бульон Либига.

Стр. 391. *Ливингстон Давид* (1813—1873) — выдающийся английский путешественник, исследователь Африки, миссионер.

Стэнли Генри Мортон (1841—1904) — английский путешественник по Африке, журналист.

Стр. 396. *Район трущоб* — существовал в Берлине возле Александерплац, снесен в 1907 г.

Стр. 397. *Купер Джеймс Фенимор* (1789—1851) — североамериканский писатель, родоначальник жанра исторического приключенческого романа в американской литературе.

Марриат Фредерик (1792—1848) — английский писатель, автор морских приключенческих романов.

Стр. 403. «*Блейль*» — фирма, изготовлявшая костюмы для детей по стандартным выкройкам.

Стр. 409. *Герштеккер Фридрих* (1816—1872) — немецкий писатель, популярный в те времена автор приключенческих романов и повестей.

Стр. 416. «*Шульпфорта*» — немецкая гимназия, основанная в бывшем монастыре «Пфорта» близ города Наумбурга. Сейчас «Шульпфорта» — район города Бад Кёзен-на-Заале.

Рейхсгерихт — имперский суд. Создан после основания Германской империи в 1871 г.

Рейхсгерихтсрат — член имперского суда.

Стр. 417. *Фонтане Теодор* (1819—1898) — немецкий писатель, автор стихотворений и баллад, путевых очерков, исторических романов и романов из современной жизни.

Стр. 433. *Ландгерихт* — земельный суд, в который апеллировали на решения амтсгерихта.

Оберландсгерихт — Высший земельный суд.

Стр. 440. *Гарун-аль-Рашид* — халиф Багдада (786—809).

Стр. 447. *Фрейтаг Густав* (1816—1895) — немецкий писатель, автор прославлявшего буржуазию романа «Приход и расход» и цикла исторических романов «Предки».

Стр. 455. *Жан-Поль* (псевдоним Иоганна Пауля Рихтера, 1763—1825) — немецкий писатель, основоположник направления в немецкой литературе, которое сочетало в себе просветительские идеи с принципами сентиментализма. Его первые произведения — острая сатира. Вершиной прозы Жан-Поля является роман «Зибенкэз» (1796) на тему о губительном влиянии нищеты на натуру человека. С сочувствием изображая бюргерскую интеллигенцию и городскую бедноту, писатель осмеивает дворянство, богачей. В незавершенном романе «Озорные годы» (1804) сентиментально-романтическое начало причудливо переплетается с реализмом.

Раабе Вильгельм (1831—1910) — немецкий писатель. В своей первой повести «Хроника Воробьиной улицы» (1856) нарисовал судьбы обитателей берлинской окраины, ищущих счастья, голодающих, гибнущих и, однако, не теряющих чувства юмора. Основное произведение Раабе — трилогия: «Голодный пастор», «Абу Тельфан» и «Чумная повозка».

Стр. 459. *Виннету* — герой романов Карла Мая, вождь племени североамериканских индейцев.

Стр. 460. *Тиргартен* — парк и район Берлина.

Стр. 468. «*Тайна старой девы*» — сентиментальный роман, написанный немецкой писательницей Евгенией Марлитт (псевдоним Евгении Ион, 1825—1887).

Стр. 470. *Зейдель Генрих* (1842—1906) — немецкий писатель. С мягким добродушным юмором Зейдель рисует в идиллическом плане жизнь мелкого бюргерства, его радости и печали; любимые герои его — чудачки и наивные мечтатели. Наибольшей популярностью у современников Зейделя пользовалась его серия рассказов «Леберехт-Хюнхен».

Стр. 471. *Шапокляк* — складная (на пружинах) шляпа-цилиндр.

Стр. 490. «*Альма и сальта*» — настольная игра, похожая на игру в столкеточные шашки.

Стр. 497. *Эйт Макс* (1836—1906) — немецкий инженер и

писатель. Автор путевых записок «В потоке нашего времени. Из писем инженера» и романа «Портной из Ульма».

Берблингер — герой романа Макса Эйта «Портной из Ульма».

Стр. 513. *Генерал-суперинтендент* — духовное лицо (у протестантов), стоящее во главе церковного округа.

Стр. 523. *Вельфы* — немецкий феодальный род, игравший видную роль в Германии в средние века. Город Ганновер в 1636 г. стал резиденцией династии вельфов. В 1866 г., в ходе австро-прусской войны, королевство Ганновер было оккупировано прусскими войсками и объявлено прусской провинцией.

Стр. 537. «*Универсальная библиотека*» — произведения мировой литературы, издаваемые с 1867 г. карманным форматом. Это издание носит имя его создателя — лейпцигского издателя Антона Филиппа Реклам (1807—1896).

Стр. 539. *Йенач Юрг* (1596—1639) — борец за освобождение Швейцарии от испанского и французского господства.

Мейер Конрад Фердинанд (1825—1898) — швейцарский поэт и писатель, автор поэмы «Последние дни Гуттена», повести «Святой», исторического романа «Юрг Йенач» и др.

Стр. 543. *Амтсгерихт* — низшая судебная инстанция в Германии (участковый суд), где все дела решал единолично судья.

Стр. 545. *Мотет* — жанр вокальной многоголосной музыки.

Стр. 557. *Бюргер Готфрид* (1747—1794) — немецкий поэт. Используя фольклорные традиции, Бюргер создал новый для немецкой литературы жанр баллады, отличавшийся драматизмом, патетикой и народным колоритом.

Стр. 558. *Гагенбек Карл* (1844—1913) — основатель всемирно известной фирмы в Гамбурге, торгующей дикими животными. Знаменитый зоосад Гагенбека близ Гаамбурга впервые осуществил демонстрацию диких животных в условиях, имитирующих естественные.

Нансен Фритъоф (1861—1930) — известный норвежский исследователь Арктики, ученый и общественный деятель.

Стр. 561. «*Волшебный стрелок*» — опера Вебера на либретто Фридриха Кинда, написанное по народным сказаниям и легендам.

Стр. 578. «*Цупфгайгенхансль*» — сборник туристских песен, впервые был издан в 1908 г.

Стр. 624. *Аорист* — грамматическая форма времени, обозначающая действие, законченное в прошлом.

Монолог Геслера — из драмы Ф. Шиллера «Вильгельм Телль», д. 2, сц. 3.

«*Песнь о колоколе*», «*Перчатка*» — стихотворения Ф. Шиллера.

Стр. 626. *Герундив* — причастие будущего времени страдательного залога (с оттенком долженствования) в латинском языке.

Стр. 628. *Чемберлен Хустон Стюарт* (1855—1927) — английский историк и философ. С 1916 г. — германский подданный. Как пропагандист германского шовинизма и империализма — предтеча гитлеровской фашистской идеологии.

Стр. 629. *Эгоспотамы—Эгоспотамос* (греч.), в древности река на Херсонесе Фракийском, впадающая в пролив Геллеспонт (совр. Дарданеллы); в ее устье произошло последнее морское сражение Пелопонесской войны (431—404 гг. до н. в.).

Стр. 640. *«Югенд»* — иллюстрированный литературный общественно-политический еженедельник с юмористически-сатирическим уклоном, издававшийся в Мюнхене. Был основан в 1896 г. Г. Хиртом как орган современного литературного направления и нового стиля в искусстве (стиль «Югенд»).

Стр. 644. *Буш Вильгельм* (1832—1908) — немецкий поэт-юморист и художник, иллюстрировавший собственные стихи. Всемирную известность приобрела его книга для детей «Макс и Мориц».

СОДЕРЖАНИЕ

Б. Сичков. Писатель и его герои	3
---	---

МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК, ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?

Пролог

БЕСПЕЧНЫЕ

Пиннеберг узнает что-то касающееся Киски и принимает серьезное решение	19
Мамаша Мершель. Папаша Мершель. Карл Мершель. Пиннеберг попадает в мершелевский семейный бульон	27
Ночной разговор о любви и деньгах	35

Часть первая

В ПРОВИНЦИАЛЬНОМ ГОРОДКЕ

Брак начинается по всем правилам — свадебным путешествием, но вот вопрос: нужна ли гусятница?	43
Пиннеберг напускает на себя таинственность и задает Киске загадки	47

Супруги Пиннеберг делают свой первый визит. Фрау Шаренхсфер плачет, а свадебные часы бьют и бьют	55
Завеса таинственности приподнимается. Бергман и Клейнгольц. Почему Пиннебергу нельзя быть женатым . . .	59
Что мы будем есть? С кем нам можно танцевать? Надо ли нам теперь пожениться?	67
Измывательство начинается. Нацист Лаутербах, демонический Шульц и тайный супруг попадают в беду . . .	72
Гороховый суп приготовлен, письмо написано, но вода оказалась слишком жидкой	78
Клейнгольц затевает ссору. Кубе затевает ссору, а служащие прячутся в кусты. Гороховый суп снова не удался . . .	84
У Пиннеберга нет никаких планов, и все же он едет на прогулку и привлекает к себе внимание	91
Как Пиннеберг борется с собственной совестью и с Марихен Клейнгольц и почему все же оказывается слишком поздно	96
Господин Фридрихс. Семга и господин Бергман, но все напрасно: для Пиннеберга места нет	106
Почтальон приносит письмо, а Киска в кухонном переднике бежит через весь город и рыдает в конторе у Клейнгольца	113

Часть вторая

В БЕРЛИНЕ

Фрау Миа Пиннеберг в роли помехи уличному движению. Она нравится Киске, не нравится сыну и объясняет, кто такой Яхман	117
Настоящая княжеская кровать, только уж очень дорогая. Яхман слыхом не слыхал ни о каком месте. Киска учится просить	122
Яхман жлет, фрейлейн Землер жлет, господин Леман жлет, и Пиннеберг тоже жлет, но все же он получает место, да еще и папашу в придачу	127
Пиннеберг бродит по Малому Тиргартену, испытывает страх и не может радоваться	136

Что за человек Кеслер. Пиннеберг не упускает покупателя.	
Гейльбут выручает	140
О трех типах продавцов. Какой тип нравится заместителю заведующего Иенке. Приглашение на чай	148
Пиннеберг получает жалованье, задирает нос перед продавцом и приобретает туалетный столик	151
К Киске приходит гость. Она смотрится в зеркало. О деньгах весь вечер не заговаривают	157
Супружеские привычки четы Пиннеберг. Мать и сын. Яхман, как всегда, в роли спасителя	163
Кеслер разоблачен и получает пощечину. Но Пиннебергам все же приходится переехать на другую квартиру	175
Киска ищет квартиру. Никто не пускает с детьми. Она падает в обморок.— и не напрасно	179
Квартира, каких мало. Путбресе перевозит вещи. Яхман помогает	184
Бюджет утвержден — мяса в обрез. Пиннеберг не понимает Киску	190
Елка с одеколоном и мать двоих детей. Гейльбут говорит: «Вы смелые люди». Правда ли, что мы смелые люди?	200
Мальчуган должен пообедать, а Фрида — получить наглядный урок. А вдруг я больше ее не увижу?	206
Слишком мало грязной посуды! Сотворение Малыша. Киска тоже будет кричать!	214
Пиннеберг идет в гости и проходит искус наготы	219
Что думает Пиннеберг о культуре нагого тела и что говорит по этому поводу фрау Нотнагель	224
Пиннебергу ставят кружку пива. Он идет воровать цветы и в заключение говорит неправду своей Киске	232
Столпы мироздания в роли отцов. Киска обнимает Путбресе	237
Детская коляска и братья-враги. Когда выплатят пособие на кормление?	248
Апрель нагоняет страху. Гейльбут приходит на помощь. Куда делся Гейльбут? Гейльбут пропал	260
Пиннеберг под арестом. Яхману мерещатся призраки. Ром без чаю	268

Непрошенный постоялец. Яхман открывает хорошую, здоровую жизнь	275
Яхман в роли изобретателя. Маленький человек в роли бога.	
Но мы-то с тобою вместе!	278
Кино и жизнь. Дядюшка Кинлли забирает господина Яхмана	286
Малыш болел. В чем дело, молодой папаша?	290
Что в лоб, что по лбу. Фрейлейн Финшер перед судом инквизиторов. Еще одна отсрочка, Пиннеберг!	298
Опять фрау Миа. Это мои чемоданы! Явится ли полиция?	304
Актер Шлютер и молодой человек с Аккерштрассе. Все кончено	310

Э п и л о г

ВСЕ ИДЕТ СВОИМ ЧЕРЕДОМ

Красть или не красть дрова? Киска хорошо зарабатывает и находит занятие Ганнесу	317
Муж в роли жены. Хорошая водичка и слепой Малыш.	
Спор из-за шести марок	322
Почему Пиннеберги не живут там, где живут. Фотоателье Иоахима Гейльбута. Леман уволен!	328
Пиннеберг — камень преткновения. Забытое масло и полицейский. Ночь недостаточно темна	338
Гость на такси. Двое ждут ночью. О Киске не может быть и речи	343
Куст сседи кустов и старая любовь	349

У НАС ДОМА В ДАЛЕКИЕ ВРЕМЕНА

Пиршества	356
Порка	382
Школярня	403
Судебные процессы	415

Приготовление к летнему отдыху	438
Семейство в пути	456
Летний отдых	481
Бабушка	504
Семейные обычаи	530
Мама	566
Странствующий школяр	577
Дяди и тети	598
Горемыка	613
Брожение	639
Примечания Н. Бунина	645

Ханс ФАЛЛАДА
МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК, ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?
У НАС ДОМА В ДАЛЕКИЕ ВРЕМЕНА

Редактор
Н. Н. Ермолаева
Оформление художника
Б. Б. Иовика
Художественный редактор
Н. Н. Каминская
Технический редактор
К. И. Заботина

ИБ 611

Сдано в набор 09.07.82.
Подписано к печати 12.10.82. Формат 84×108¹/₂.
Бумага типографская № 3.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 34,44. Уч.-изд. л. 36,93.
Тираж 500 000 экз. (1-й завод: 1—150 000).
Цена 3 р. 20 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии газеты «Правда»
имени В. И. Ленина, 125865, ГСП: Москва, А-137,
улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии изд-ва
«Советское Зауралье»,
г. Курган, ул. Карла Маркса, 106.
Заказ № 173.

